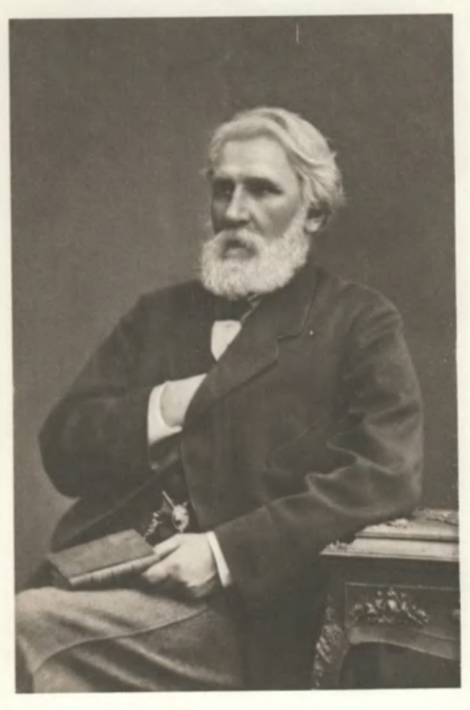
И. С. ТУРГЕНЕВ



СОЧИНЕ-
НИЯ

10

Ив. Тургенев



И. С. ТУРГЕНЕВ.

Фотография А. И. Деньера, 1879 г.

Институт русской литературы (Пушкинский Дом)
АН СССР, Ленинград.

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)



И. С. ТУРГЕНЕВ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ И ПИСЕМ

В ТРИДЦАТИ ТОМАХ

СОЧИНЕНИЯ

В ДВЕНАДЦАТИ ТОМАХ

♦

Издание второе.
исправленное и дополненное

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА
1982

И. С. ТУРГЕНЕВ

СОЧИНЕНИЯ

Том десятый

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ
1881—1883

СТИХОТВОРЕНИЯ В ПРОЗЕ
1878—1883

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РАЗНЫХ ГОДОВ

♦

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА
1982

Т $\frac{4702010200—332}{042(02)\text{-}82}$ Подписное

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

1881—1883

ОТРЫВКИ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ — СВОИХ И ЧУЖИХ

Считаю нужным предпослать моим «Отрывкам» небольшое объяснение. Я избрал форму рассказа от собственного лица для большего удобства — и потому прошу читателя не принимать «я» рассказчика сплошь за личное «я» самого автора. На это намекает и самое заглавие отрывков: «Из воспоминаний — своих и ч у ж и х».

И. Т.

I

СТАРЫЕ ПОРТРЕТЫ

...Верстах в сорока от нашего села проживал много лет тому назад двоюродный дядя моей матери, отставной гвардии сержант и довольно богатый помещик, Алексей Сергеич Телегин — в родовом своем имении Суходоле. Он сам никуда не выезжал, а потому и не посещал нас; но меня, раза два в год, посылали к нему на поклон — сперва с гувернером, а потом одного. Алексей Сергеич принимал меня всегда очень радушно — и я гащивал у него дня по три, по четыре. Зазнал я его уже стариком: в первый мой приезд мне, помнится, было лет двенадцать; а ему уже за семьдесят лет перевалило. Родился он еще при императрице Елизавете — в последний год ее царствования. Он жил один с своей женой, Маланьей Павловной; она была лет на десять моложе его. Двух дочерей он с ней прижил; но они уже давно вышли замуж и редко посещали Суходол; между ними и их родителями черная кошка пробежала, и Алексей Сергеич почти никогда не упоминал о них.

Вижу, как теперь, этот старинный, уж точно дворянский, степной дом. Одноэтажный, с громадным мезонином, построенный в начале нынешнего столетия из удивительно толстых сосновых бревен — такие бревна при-

возились тогда из-за жиздринских боров, их теперь и в помине нет! — он был очень обширен и вмещал множество комнат, довольно, правда, низких и темных: окна в стенах были прорублены маленькие, теплоты ради. Как водится (по-настоящему следует сказать: как водилось), службы, дворовые избы окружали господский дом со всех сторон — и сад к нему примыкал небольшой, но с хорошими фруктовыми деревьями, наливными яблоками и бессемянными грушами; на десять верст кругом тянулась плоская, жирно-черноземная степь. Никакого высокого предмета для глаза: ни дерева, ни даже колокольни; где-где разве торчит ветряная мельница с прорехами в крыльях; уж точно: Суходол! Внутри дома комнаты были наполнены заурядною, нехитрою мебелью; несколько необычным являлся стоявший на окне залы верстовой столбик со следующими надписями: «Если ты 68 раз пройдешь вокруг сей залы — то сделаешь версту; если ты 87 раз пройдешь от крайнего угла гостиной до правого угла биллиарда — то сделаешь версту» — и т. п. Но пуще всего поражало в первый раз приехавшего гостя вéликое количество картин, развешанных по стенам, большей частью работы так называемых итальянских мастеров: всё какие-то старинные пейзажи да мифологические и религиозные сюжеты. Но так как все эти картины очень почернели и даже покоробились, то в глаза били одни пятна телесного цвета — а не то волнистое красное драпери на незримом туловище, или арка, словно в воздухе висящая, или растрепанное дерево с голубой листвой, или грудь нимфы с большим сосцом, подобная крыше с суповой чаши, взрезанный арбуз с черными семечками, чалма с пером над лошадиной головой — или вдруг выпячивалась гигантская коричневая нога какого-то апостола, с мускулистой икрой и задранными кверху пальцами. В гостиной на почетном месте висел портрет императрицы Екатерины II во весь рост, копия с известного портрета Лампи, предмет особого поклонения, можно сказать, обожания хозяина. С потолков спускались стеклянные люстры в бронзовых оправах, очень маленькие и очень пыльные.

Сам Алексей Сергеич был приземистый, пузатенький старичок с одноцветным пухлым, но приятным лицом, с ввалившимися губками и очень живыми глазками под высокими бровями. Он зачесывал на затылок свои редкие волоски: он только с 1812 года перестал пудриться. Ходил Алексей Сергеич постоянно в сером «реденготе» с тре-

мя воротниками, падавшими на плечи, полосатом жилете, замшевых штанах и темно-красных сафьянных сапожках с сердцевидными вырезами и кисточками наверху голенищ; носил белый кисейный галстух, жабо, маншеты и две золотые английские «луковицы», по одной в каждом кармане жилета. В правой руке он обыкновенно держал эмалированную табатерку со «шпанским» табаком — а левой опирался на трость с серебряным, от долгого употребления гладко вытертым набалдашником. Голосок имел Алексей Сергеич носовой, пискливый — и постоянно улыбался, ласково, но как бы свысока, не без некоторой самодовольной важности. Он и смеялся тоже ласково, тонким, как бисер мелким смехом. Вежлив и приветлив был он до крайности — на старинный екатерининский манер — и двигал руками медленно и округло, тоже по-старинному. По слабости ног он не мог ходить, а перебегал торопливыми шажками с кресла на кресло, в которое садился вдруг — скорее падал — мягко, как подушка.

Как я уже сказал, Алексей Сергеич никуда не выезжал и с соседями знался мало, хоть и любил общество,— ибо словоохотлив был! Правда, общества у него вдоволь водилось и дома: разные Никаноры Никанорычи, Савастеи Савастеичи, Федулычи, Михеичи, всё бедные дворянчики в поношенных казакинах и камзолах, часто с барского плеча, проживали под его кровом, не говоря уже о бедных дворяночках в ситцевых платьях, черных платках внакидку и с гарусными ридикюлями в крепко стиснутых пальцах — разных Авдотиях Савишных, Пелагеях Мироновных и просто Феклушках и Аринках, приютившихся на женской половине. За стол у Алексея Сергеича никогда меньше пятнадцати человек не садилось... Такой он был хлебосол! Между всеми этими приживальщиками особенно выдавались две личности: карлик, по прозвищу Янус, или Двулицый, датского, а иные утверждали — еврейского происхождения, да сумасшедший князь Л. В противность тогдашним обычаям, карлик этот вовсе не служил потехой для господ и не был шутом; напротив: он постоянно молчал, вид имел озлобленный и суровый, хмурил брови и скрипел зубами, как только обращались к нему с вопросами. Алексей Сергеич звал его также филозóфом и даже уважал его; за столом ему всегда первому, после гостей и хозяев, подавали блюда. «Бог его обидел,— говаривал Алексей Сергеич,— на то его господня воля; а уж мне-то его не обижать стать».— «Почему же он фило-

зо́ф?» — спросил я однажды. (Меня Янус не жаловал; бывало, лишь только я подойду к нему — он тотчас окрысится и проворчит хрипло: «Чужак! не приставай!») «Как же, помилуй бог, не филозо́ф? — ответил Алексей Сергеич.— Ты, сударик, посмотри, как он таково хорошо молчит!» — «А почему же он Двулицый?» — «А потому, сударик, что наружу-то у него одно лицо — вот вы, верхогляды, и судите... А другое, настоящее, он скрывает. И то лицо знаю я один — и люблю его за это... Потому: хорошее то лицо. Ты, например, и глядишь, да ничего не видишь... а я и без слов вижу: осуждает он меня за нечто; потому: он строгий! И всегда-то за дело! Сего ты, сударик, не поймешь; но только верь мне, старику!» Настоящей истории Двулицего Януса — откуда он прибыл, как попал к Алексею Сергеичу — никто не ведал; зато история князя Л. была хорошо всем известна. Двадцатилетним юношей, из богатой и знатной фамилии, он приехал в Петербург на службу в гвардейском полку; на первом же куртаге императрица Екатерина его заметила — и, остановившись перед ним да указав на него веером, громко промолвила, обратясь к одному из своих приближенных: «Посмотри, Адам Васильевич, какой красавчик! Настоящая куколка!» Кровь бросилась бедному мальчику в голову: вернувшись домой, он велел заложить коляску — и, надев на себя анненскую ленту, пустился разъезжать по городу, словно он и точно в случай попал. «Дави всех,— кричал он кучеру,— кто не посторонится!» Тотчас же всё это было доведено до высочайшего сведения; вышел приказ — объявить его сумасшедшим и отдать на поруки двум его братьям; а те, нимало не медля, отвезли его в деревню и посадили в каменный мешок на цепь. Желая воспользоваться его имением, они не выпустили несчастного даже тогда, когда он опомнился и пришел в себя,— и так и продержали его взаперти, пока он действительно не сошел с ума. Но не впрок пошло им их злодейство: князь Л. пережил своих братьев и, после долгих мытарств, очутился на попечении Алексея Сергеича, которому доводился родственником. Это был толстый, совершенно лысый человек с длинным тонким носом и голубыми глазами навыкат. Он совсем разучился говорить — он только бурчал что-то непонятное; но отлично пел старинные русские песни, сохранив до глубокой старости серебристую свежесть голоса и во время пения ясно и четко произнося каждое слово. Иногда находило на него нечто вроде яро-

сти — и тогда он делался страшен: становился в угол, к стене лицом — и весь потный да красный, через всю лысину до затылка красный, заливаясь злобным хохотом и топая ногами, повелевал наказывать кого-то — вероятно, братьев. «Бей! — хрипел он, давясь и кашляя от смеха,— секи, не жалей, бей, бей, бей извергов, злодеев моих! Вот так! Вот так!» Накануне своей смерти он очень удивил и испугал Алексея Сергеича. Вошел к нему в комнату весь бледный да тихий — и, поклонившись поясным поклоном, сперва поблагодарил за приют и призрение, а потом попросил послать за священником; ибо смерть пришла к нему — он ее видел — и ему надо всех простить и себя обелить. «Как же ты ее видел? — пробормотал изумленный Алексей Сергеич, в первый раз услыхав от него связную речь.— Какова она из себя? С косою, что ли?» — «Нет,— отвечал князь Л.,— старушка простенькая, в кофте — только на лбу глаз один, а глазу тому и веку нет». И на другой день князь Л. действительно скончался, совершив всё должное и простившись со всеми, вразумительно и умиленно. «Вот так и я умру»,— замечал, бывало, Алексей Сергеич. И точно: нечто подобное с ним случилось — о чем после.

А теперь возвратимся к прежнему. С соседями, я уже сказал, Алексей Сергеич не водился; и они его недолюбливали, называли его чудаком, гордецом, пересмешником и даже не признающим властей мартинистом, не понимая, конечно, значения этого последнего слова. До некоторой степени соседи были правы: Алексей Сергеич чуть не семьдесят лет сряду прожил в своем Суходоле, не имея почти никаких сношений с предержащими властями, с начальством и судом. «Суд для разбойника, команда для солдата,— говаривал он,— а я, слава богу, не разбойник и не солдат». Чудаковат был точно Алексей Сергеич, но душа в нем была не из мелких. Порасскажу кое-что о нем.

Доподлинно я никогда не знал, какие были его политические мнения — если только можно применить к нему такое новейшее выражение; но, по-своему, он был аристократ — скорей аристократ, чем барин. Не раз он сожалел о том, что бог не дал ему сына-наследника «в честь роду, в продолжение фамилии». У него в кабинете висело на стене родословное дерево Телегиных, очень ветвистое, со множеством кружков в виде яблоков, в золотой раме. «Мы, Телегины,— говорил он,— род исконный, извечный; сколько нас, Телегиных, ни было,— по прихожим мы не таска-

лись, хребта не гнули, по рундучкам ног не отстаивали, по судам не кормились, жалованного не нашивали, к Москве не тянули, в Питере не кляузничали; сиднями сидели, каждый на своей *чети*, свой человек, на своей земле... гнездари, сударь, домовитые! Я сам хоть и в гвардии служил — да, спасибо, недолго». Алексей Сергеич предпочитал старое время. «Вольнее было тогда, благообразнее, по чести тебе доложу! — а с тысяща восемьсотого года (почему именно с этого года? — он не объяснял) пошла, братец ты мой, эта военщина, солдатчина пошла. Надели себе на голову господа военные какие-то там салтаны из петушиных хвостов — и сами петухам уподобились; шею затянули туго-нáтуго... хрипят, глаза таращат — да и как не хрипеть? Надысь ко мне полицейский капрал какой-то наехал: „Я, мол, до вас, ваше благородие... (вишь, чем удивить вздумал!.. я и сам знаю, что рожден благо...) имею до вас дело“. А я ему: „Сударь почтенный, ты сперва крючки-то на воротнике расстегни. А то, помилуй бог, чихнешь! Ах, что с тобою будет! Что с тобою будет! Лопнешь ты, как гриб-дождевик... А я отвечай!“ И пьют же они, эти военные господа,— о-го-го! Я им всё больше цимлянского велю подавать; потому — им что цимлянское, что понтак — всё едино; гладко, скоро так у них в горле проходит — где тут различить? А то вот еще: соску стали эту сосать, табак курить. Запихает себе военный человек эту самую соску под усища в губища — ноздрями, ртом и даже ушами дым пущает,— и думает, что герой! Вот и зятики мои — хоть один из них и сенатóр, а другой какой-то там куратóр — тож эту соску сосут и за умниц тож себя почитают!..»

Алексей Сергеич терпеть не мог курительного табаку, да вот еще собак, особенно маленьких. «Ну, коли ты француз, держи себе болонку: *ты* бегаешь, *ты* прыгаешь тюды-сюды, и она за тобой, задравши хвост... а нашему-то брату на что она?» Очень он был опрятен и привередлив. Об императрице Екатерине говорил не иначе как с восторгом и возвышенным, несколько книжным слогом: «Полубог был, не человек! Ты, сударик, посмотри только на улыбку сию,— прибавлял он, почтительно указывая на лампиевский портрет,— и сам согласишься: полубог! Я в жизни своей столь счастлив был, что удостоился улицезреть сию улыбку, и вовек она не изгладится из сердца моего!» И при этом он сообщал анекдоты из жизни Екатерины, каких мне нигде не случалось ни читать, ни слышать.

Вот один из них. Алексей Сергеич не позволял ни малейшего намека на слабости великой царицы. «Да и наконец,— восклицал он,— разве о ней можно так судить, как о прочих людях? Однажды она, во время утреннего туалета. в пудрманте сидя, повелела расчесать себе волосы... И что же? Камерфрау проводит гребнем — а электрические искры так и сыплются! Тогда она подозвала к себе тут же по дежурству находившегося лейб-медика Роджерсона и говорит ему: «Меня, я знаю, за некоторые поступки осуждают: но видишь ты электричество сие? Следовательно, при таковой моей натуре и комплекции — сам ты можешь заключить, ибо ты врач,— что несправедливо меня осуждать, а постичь меня должно!» Неизгладимым остался в памяти Алексея Сергеича следующий случай. Стоял он однажды во внутреннем карауле, во дворце — а было ему всего лет шестнадцать. И вот проходит императрица мимо его — он отдает честь... «а она,— с умилением тут опять восклицал Алексей Сергеич,— улыбнувшись на юность мою и на усердие мое, изволила дать мне ручку свою поцеловать и по щеке потрепать и расспросить: кто я? откуда? какой фамилии? а потом...— Тут голос старика обыкновенно прерывался,— потом приказала моей матушке от своего имени поклониться и поблагодарить ее за то, что так хорошо воспитывает детей своих. И был ли я при сем на небе или на земле — и как и куда она изволила удалиться, в горния ли воспарила, в другие ли покои проследовала... по сие время не знаю!»

Я не раз пытался расспрашивать Алексея Сергеича о тех давних временах, о людях, окружавших императрицу... Но он большей частью уклонялся. «Что о старине толковать-то? — говаривал он...— только себя мучить: что вот, мол, был ты тогда молодцом, а теперь и последних зубов у тебя во рту не стало. Да и то сказать: хороша старина... ну и бог с ней! А что касательно до тех людей — ведь ты, чай, егоза, о случайных людях речь заводишь? — так видал ты, как на воде волдырь вскочит? Пока он цел да держится — какие же на нем цвета играют! И красные, и желтые, и синие — просто сказать надо: радуга или вот алмаз! Только вскорости он лопается — и следа от него нет. Так вот и люди те такие были».

— Ну, а Потемкин? — спросил я однажды.

Алексей Сергеич принял важный вид.

— Потемкин, Григорий Александрович, был муж государственный, богослов, екатерининский воспитанник,

чадо ее, так надо сказать... Но довольно о сем, сударик!

Алексей Сергеич был человек очень набожный — и хотя через силу, но церковь посещал исправно. Суеверия в нем не замечалось; он издевался над приметами, глазом и прочей «нескладицей», однако не любил, когда заяц ему перебегал дорогу, и встреча с попом была ему не совсем приятна. Со всем тем был к духовным лицам очень почтителен и под благословенье подходил и даже руку всякий раз целовал, но неохотно с ними беседовал. «Очень от них дух силён идет,— объяснял он,— я же, грешный, непутем изнежился; волосы у них такие большие да масленые, расчешут их во все стороны — думают, что тем мне уважение доказывают, и громко так между разговором крякают — от робости, что ли, или тоже желают мне тем угодить. Ну да и смертный час напоминают. А я, как-никак, еще жить желаю. Только ты, сударик, этих речей за мной не повторяй; уважай духовный чин — одни дураки его не уважают; и я виноват, что на старости лет вздор горожу».

Учен был Алексей Сергеич на медные деньги — как все тогдашние дворяне; но до некоторой степени сам чтением восполнил этот недостаток. Книги же читал одни русские, конца прошлого века; новейших сочинителей находил пресными и в слоге слабыми... Во время чтения ставился возле него на одноногий круглый столик серебряный жбан с каким-то особенным мятным пенистым квасом, от которого приятный запах распространялся по всем комнатам. Сам же он надевал при этом на конец носа большие круглые очки; но в последнее время не столько читал, сколько задумчиво глядел выше оправы очков, поднимая брови, жуя губами и вздыхая. Раз я застал его плачущим с книгою на коленях — что меня очень, признаться, удивило.

Вспомнились ему следующие стишки:

О, всебедный род людской!
Незнаком тебе покой!
Ты лишь оный обретаешь,
Пыль могильну коль глотаешь...
Горек, горек сей покой!
Спи, мертвец!.. Но плачь, живой!

Стишки эти были сочинены некиим Гормич-Гормицким, странствующим пиитой, которого Алексей Сергеич при-

ютил было у себя в доме — так как он показался ему человеком деликатным и даже субтильным: носил башмачки с бантиками, говорил на о́ и, поднимая глаза к небу, часто вздыхал; кроме всех этих достоинств, Гормич-Гормицкий изрядно говорил по-французски, ибо получил воспитание в иезуитском коллегиуме,— а Алексей Сергеич только «понимал». Но, напившись раз мертвецки пьяным в кабаке, этот самый субтильный Гормицкий оказал буйство непомерное: «вдребезгу» раскровянил Алексей Сергеичина камердинера, повара, двух подвернувшихся прачек и даже постороннего столяра — да несколько стекол перебил в окнах, причем кричал неистово: «А вот я им докажу, этим русским тунеядцам, кацапам необтесанным!» И какая в этом тщедушном существе сила проявилась! Едва с ним сладило восемь человек! За самое это буйство Алексей Сергеич велел стихотворца вытолкать вон из дому, посадивши его предварительно «афендроном» в снег — дело было зимою — для протрезвления.

«Да,— говаривал, бывало, Алексей Сергеич,— прошла моя пора; был конь, да изъездился. Вот я и стихотворцев на своем иждивенье содержал, и картины и книги скупал у евреев,— и гуси были не хуже мухановских, голуби-турманы глинистые настоящие... До всего-то я был охоч! Разве вот собачником никогда не был — потому пьянство, вонь, гаерство! Рьяный был я, неукротимый. Чтобы у Телегина да не первый во всем сорт... да помилуй бог! И конский завод имел на славу. И шли те кони... откуда ты думаешь, сударик? От самых тех знаменитейших заводов царя Ивана Алексеича, брата Петра Великого... верно тебе говорю! Все жеребцы бурые в масле — гривы по́колень, хвосты по́копыть... Львы! И всё то было — да быльем поросло. Суета суетствий и всяческая суета! А впрочем — чего жалеть! Всякому человеку свой предел положо́н. Выше неба не взлетишь, в воде не проживешь, от земли не уйдешь... поживем еще, как-никак!»

И старик опять улыбался и понюхивал свой шпанский табачок.

Крестьяне любили его; барин был, по их словам, добрый, сердца не срывчивого. Только и они повторяли, что изъезжен, мол, конь. Прежде Алексей Сергеич сам во всё входил — и в поле выезжал, и на мельницу, и на маслобойню — и в амбары, и в крестьянские избы заглядывал; всем знакомы были его беговые дрожки, обитые малиновым плисом и запряженные рослой лошадью с ши-

рокой проточиной во весь лоб, по прозвищу «Фонарь» — из самого того знаменитого завода; Алексей Сергеич сам ею правил, закрутив концы вожжей на кулаки. А как стукнул ему семидесятый годок — махнул старик на всё рукою и поручил управление именьем бурмистру Антипу, которого втайне боялся и звал Микромэгасом (волтеровские воспоминания!), а то и просто — грабителем. «Ну, грабитель, что скажешь? Много в пуньку натаскал?» — говорит он, бывало, с улыбкой глядя в самые глаза грабителю. «Всё вашею милостью»,— весело отвечает Антип. «Милость милостью — а только ты смотри у меня, Микромэгас! крестьян, заглазных подданных моих, трогать не смей! Станут они жаловаться... трость-то у меня, видишь, недалеко!» — «Тросточку-то вашу, батюшка Алексей Сергеич, я завсегда хорошо помню»,— отвечает Антип-Микромэгас да поглаживает бороду. «То-то, помни!» И барин и бурмистр, оба смеются в лицо друг другу. С дворовыми, вообще с крепостными людьми, с «подданными» (Алексей Сергеич любил это слово) он обходился кротко. «Потому, посуди, племянничек, своего-то ничего нету, разве крест на шее — да и тот медный,— на чужое зáриться не моги... где ж тут быть разуму?» Нечего и говорить, что о так называемом крепостном вопросе в то время никто и не помышлял; не мог он волновать и Алексея Сергеича: он преспокойно владел своими «подданными»; но дурных помещиков осуждал и называл врагами своего звания. Он вообще дворян разделял на три разряда: на путных, «коих маловато»; на распутных, «коих достаточно», и на беспутных, «коими хоть пруд пруди». А если кто из них с подданными крут и притеснителен — тот и перед богом грешен и перед людьми виноват! Да: хорошо жилось дворовым у старика; «заглазным подданным», конечно, хуже, несмотря на трость, которою он грозил Микромэгасу. И сколько их водилось, этих самых дворовых, в его доме! И всё больше старые, жилистые, волосатые, ворчливые, в плечах согбенные, в нанковые длиннополые кафтаны облеченные — с крепким, кислым запахом! А на женской половине только и слышно было, что топот босых ног да шлюпанье юбок. Главного камердинера звали Иринархом; и кликал его всегда Алексей Сергеич протяжным криком: «И-ри-на-а-арх!» Других он звал: «Малый! Малец! Кто там есть подданный!» Колокольчиков он не терпел: что за трактир, помилуй бог! И удивляло меня то, что в какое бы время ни позвал Алексей Сергеич своего камердинера —

тот немедленно являлся, словно из земли вырастал — и, сдвинув каблуки и заложив за спину руки, стоял перед барином угрюмый и как бы злой, но усердный слуга!

Щедр был Алексей Сергеич не по состоянию; но не любил, когда его величали благодетелем. «Какой я вам, сударь, благодетель!.. Я себе благо делаю — а не вам, сударь мой!» (когда он гневался или негодовал, он всегда «выкал»). «Нищему,— говаривал он,— подай раз, подай два, подай три... Ну, а коли он в четвертый раз придет — подать ему ты все-таки подай, только прибавь при сем: ты бы, братец, чем бы другим поработал — не всё ртом».— «Дяденька,— спросишь его, бывало,— если же нищий и после этого в пятый раз придет?» — «А ты и в пятый раз подай». Больных, которые к нему прибегали за помощью, он на свой счет лечил — хотя сам в докторов не верил и никогда за ними не посылал. «Матушка-покойница,— уверял он,— ото всех болезней прованским маслом с солью лечила — и внутрь давала и натирала — и всё прекрасно проходило. А матушка моя кто такая была? При Петре Первом рожденье свое имела — ты только это сообрази!»

Русский человек был Алексей Сергеич во всем: любил одни русские кушанья, любил русские песни — а гармонику, «фабричную выдумку», ненавидел; любил глядеть на хороводы девок, на пляску баб; в молодости он сам, говорят, пел заливисто и плясал лихо; любил париться в бане — да так сильно париться, что Иринарх, который, служа ему банщиком, сек его березовым, в пиве вымоченным веником, тер мочалкой, тер суконкой, катал намыленным пузырем по барским членам,— этот вернопреданный Иринарх всякий раз, бывало, говаривал, слезая с полка, красный, как «новый медный статуй»: «Ну, на сей раз я, раб божий, Иринарх Тоболеев, еще уцелел... Что-то будет в следующий?»

И говорил Алексей Сергеич славным русским языком, несколько старомодным, но вкусным и чистым, как ключевая вода, то и дело пересыпая речь любимыми словцами: «по чести, помилуй бог, как-никак, сударь да сударик...»

А впрочем, будет о нем. Побеседуем об Алексей Сергеичевой супруге, Маланье Павловне.

Была Маланья Павловна московская уроженка, первой слыла красавицей по Москве, la Vénus de Moscou [1].

[1] московской Венерой *(франц.)*

Я ее зазнал уже старой, худой женщиной, с тонкими, но незначительными чертами лица, с заячьими кривыми зубками в крошечном ротике, со множеством мелко завитых желтых кудряшек на лбу, с крашеными бровями. Ходила она постоянно в пирамидальном чепце с розовыми лентами, высоком крагене вокруг шеи, белом коротком платье и прюнелевых башмаках на красных каблучках; а сверху платья носила кофту из голубого атласу, со спущенным с правого плеча рукавом. Точно такой туалет был на ней в самый Петров день 1789 года! Пошла она в тот день, еще девицей будучи, с родными на Ходынское поле, посмотреть знаменитый кулачный бой, устроенный Орловым. «И граф Алексей Григорьевич (о, сколько раз слышал я этот рассказ!)... заметив меня, подошел, поклонился низехонько, взяв шляпу в обе руки, и сказал так: „Красавица писаная,— сказал он,— что ты это рукав с плечика спустила? Аль тоже на кулачки со мной побиться желаешь?.. Изволь; только напредки говорю тебе: победила ты меня — сдаюсь! И я твой есмь пленник!..“ И все на нас смотрели и удивлялись». И самый этот туалет она с тех пор постоянно носила. «Только не чепец тогда был на мне — а шляпа а-ля бержер де Трианон; и хотя я и напудренная была — но волосы мои, как золото, так и сквозили, так и сквозили!» Маланья Павловна была глупа, что называется, до святости; болтала зря, словно и сама хорошенько не знала, что это у ней из уст выходит,— и всё больше об Орлове. Орлов стал, можно сказать, главным интересом ее жизни. Она обыкновенно входила... нет! вплывала, мерно двигая головою, как пава, в комнату, становилась посередине, как-то странно вывернув одну ногу и придерживая двумя пальцами конец спущенного рукава (должно быть, эта поза тоже когда-нибудь понравилась Орлову); горделиво-небрежно взглядывала кругом, как оно и следует красавице,— даже пофыркивала и шептала: «Вот еще!», точно к ней какой-либо назойливый кавалер-супирант [1] приставал с комплиментами,— и вдруг уходила, топнув каблучком и дернув плечиком. Табак она тоже нюхала шпанский, из крошечной бонбоньерки, доставая его крошечной золотой ложечкой,— и от времени до времени, особенно когда появлялось новое лицо, подносила снизу — не к глазам, а к носу (она видела отлично) — двойной лорнет, в виде рогульки, щеголяя и вертя

[1] кавалер-вздыхатель (от *франц.* cavalier-soupirant).

беленькой ручкой с отделенным пальчиком. Сколько раз описывала мне Маланья Павловна свою свадьбу в церкви Вознесения, что на Арбате,— такая хорошая церковь! — и как вся Москва тут присутствовала... давка была какая! ужасти! Экипажи цугом, золотые кареты, скороходы... один скороход графа Завадовского даже под колесо попал! И венчал нас сам архиерей — и предику какую сказал! все плакали — куда я ни посмотрю, всё слезы, слезы... а у генерал-губернатора лошади были тигровой масти... И сколько цветов, цветов нанесли!.. Завалили цветами! И как по этому случаю один иностранец, богатый-пребогатый, от любви застрелился — и как Орлов тоже тут присутствовал... И, приблизившись к Алексею Сергеичу, поздравил его и назвал его счастливчиком... Счастливчик, мол, ты, брат губошлеп! И как, в ответ на эти слова, Алексей Сергеич так чудесно поклонился и махнул плюмажем шляпы по полу слева направо... Дескать, ваше сиятельство, теперь между вами и моей супругой есть черта, которую вы не преступите! И Орлов, Алексей Григорьевич, тотчас понял и похвалил. О! Это был такой человек! такой человек! А то, в другой раз, мы с Алексисом были у него на бале — я уже замужем была — и какие были на нем чудесные бриллиантовые пуговицы! И я не выдержала, похвалила. Какие, говорю, у вас, граф, чудесные бриллианты! — А он, взяв тут же со стола нож, отрезал одну пуговицу и презентовал мне ее и сказал: «У вас, голубушка, в глазах во сто крат лучше бриллианты; станьте-ка перед зеркалом да посравните». И я стала, и он стал со мной рядом. «Ну что? кто прав?»— говорит, а сам глазами так и водит, так и водит вокруг меня. И Алексей Сергеич тут очень сконфузился; но я ему сказала: «Алексис,— сказала я ему,— ты, пожалуйста, не конфузься; ты должен лучше меня знать». И он мне ответил: «Будь покойна, Мелани́!» И самые эти бриллианты у меня теперь вокруг медальона Алексея Григорьевича — ты, чай, видел, голубчик, я его по праздникам на плече ношу, на георгиевской ленте — потому храбрый был он очень герой, георгиевский кавалер: турку сжег!

Со всем тем была Маланья Павловна женщина очень добрая: угодить ей было легко. «Ни она тебя грызь, ни она тебя шпынь»,— отзывались о ней горничные. До страсти любила Маланья Павловна всё сладкое — и особая старушка, которая только и занималась, что вареньем, а потому и прозывалась варенухой, раз по десяти на день

подносила ей китайское блюдечко — то с розовыми листочками в сахаре, то с барбарисом в меду или с ананасным шербетом. Маланья Павловна боялась одиночества — страшные мысли тогда находят — и почти постоянно была окружена приживалками, которых убедительно просила: «Говорите, мол, говорите, что так сидите — только места свои греете!» — и они трещали, как канарейки. Будучи набожной не меньше Алексея Сергеича, она очень любила молиться; но так как, по ее словам, она хорошо читать молитвы не выучилась, то и держалась на то бедная вдова-дьяконица, которая уж так-то вкусно молилась! Не запнется ни вовек! И действительно: дьяконица эта умела как-то неудержимо произносить молитвенные слова, не прерывая их ни при вдыханье, ни при выдыханье — а Маланья Павловна слушала и умилялась. Состояла при ней другая вдовушка; та должна была рассказывать ей на ночь сказки,— но только старые, просила Маланья Павловна, те, что я уж знаю; новые-то все выдуманы. Очень была Маланья Павловна легкомысленна, а иногда и мнительна: вдруг ей что в голову взбредет! Не жаловала она, например, карлика Януса; всё думалось ей, что он вдруг возьмет да закричит: «А знаете вы, кто я? Бурятский князь! Вот вы и покоряйтесь!» — А не то дом от меланхолии подожжет. Щедра была Маланья Павловна так же, как и Алексей Сергеич; но никогда деньгами не подавала — ручек не хотела марать,— а платками, сережками, платьями, лентами; или со стола пошлет пирог да жаркого кусок — а не то стклянпцу вина. Баб по праздникам тоже угощать любила: станут они плясать, а она каблучками притопывает и в позу становится.

Алексей Сергеич очень хорошо знал, что жена его глупа; но чуть ли не с первого году женитьбы приучил себя притворяться, будто она очень остра на язык и любит колкости говорить. Бывало, как только она слишком разболтается, он тотчас погрозит ей мизинцем и приговаривает: «Ох, язычок, язычок! уж достанется ему на том свете! Проткнут его горячей шпилькой!» Маланья Павловна этим, однако, не обижалась; напротив — ей как будто лестно было слышать такие слова: что ж, мол! Не моя вина, что умна родилась!

Маланья Павловна обожала своего мужа — и всю жизнь оставалась примерно верной женой; но был и в ее жизни «предмет», молодой племянник, гусар, убитый, как она полагала, на дуэли из-за нее — а по более досто-

верным известиям, умерший от удара кием по голове в трактирной компании. Акварельный портрет этого «предмета» хранился у ней в секретном ящике. Маланья Павловна всякий раз краснела до ушей, когда упоминала о Капитонушке — так звался «предмет»; а Алексей Сергеич нарочно хмурился, опять грозил жене мизинцем и говорил: «Не верь коню в поле, а жене в доме! Ох, уж этот мне Капитонушка, Купидонушка!» Тогда Маланья Павловна вся вострепещивалась и восклицала: «Алексис, грешно вам, Алексис! Сами-то вы в молодости, небось, „махались“ с разными сударками — так вот, вы и полагаете...» — «Ну полно, полно, Маланьюшка,— перебивал с улыбкой Алексей Сергеич,— бело твое платье, а душа еще белей!» — «Белей, Алексис, белей!» — «Ох, язычок, по чести язычок»,— повторял Алексис и трепал ее по руке.

Упоминать об «убеждениях» Маланьи Павловны было бы еще неуместнее, чем об убежденьях Алексея Сергеича; однако мне раз пришлось быть свидетелем странного проявления затаенных чувств моей тетушки. Я как-то раз, в разговоре, упомянул об известном Шешковском: Маланья Павловна внезапно помертвела в лице — так-таки помертвела, позеленела, несмотря на наложенные белила и румяна — и глухим, совершенно искренним голосом (что с ней случалось очень редко — она обыкновенно всё как будто немножко рисовалась, тонировала да картавила) проговорила: «Ох! кого ты это назвал! Да еще к ночи! Не произноси ты этого имени!» Я удивился: какое могло иметь значение это имя для такого безобидного и невинного существа, которое не только сделать, но и подумать не сумело бы ничего непозволительного? На не совсем веселые размышления навел меня этот страх, проявившийся чуть не через полстолетия.

Скончался Алексей Сергеич на восемьдесят восьмом году от рождения, в самый 1848 год, который, видно, смутил даже его. И смерть его была довольно странная. Он еще поутру хорошо себя чувствовал, хотя уже совсем не покидал кресла. И вдруг он зовет жену: «Маланьюшка, подь-ка сюда».— «Что тебе, Алексис?» — «Помирать мне пора, голубушка, вот что».— «Бог с вами, Алексей Сергеич! Отчего так?» — «А вот отчего: перво-наперво, надо и честь знать; и еще: смотрю я себе давеча на ноги... чужие ноги — да и полно! На руки... и те чужие! Посмотрел на брюхо — и брюхо чужое! Значит: чужой век заедаю. Пошли-ка за попом; а пока — уложи меня на постелюшку,

с которой я уже не встану». Маланья Павловна переполошилась — однако уложила старика и за попом послала. Алексей Сергеич исповедался, причастился, попростился с домочадцами — и стал засыпать. Маланья Павловна сидела у его кровати. «Алексис! — вскрикнула она вдруг,— не пугай меня, не закрывай глазки! Аль болит что?» Старик посмотрел на жену. «Нет, не болит ничего... а трудновато... дышать трудновато». Потом, помолчав немного: «Маланьюшка,— промолвил он,— вот и жизнь проскочила, а помнишь, как мы венчались... какова была парочка?» — «Была, красавчик ты мой, Алексис ненаглядный!» Старик опять помолчал. «Маланьюшка, а встретимся мы на том свете?» — «Буду о том бога молить, Алексис». И старушка залилась слезами. «Ну не плачь, глупенькая; авось, нас там господь бог помолодит — и мы опять станем парочкой!» — «Помолодит, Алексис!» — «Ему, господу, всё возможно,— заметил Алексей Сергеич.— Он чудотворец! — пожалуй, и умницей тебя сотворит... Ну, душка, пошутил; дай поцелую ручку».— «А я твою». И оба старичка поцеловали друг у друга в подвертку руку.

Алексей Сергеич начал утихать и забываться. Маланья Павловна умиленно глядела на него, сбрасывая кончиком пальца слезинки с ресниц. Часа два просидела она так. «Започивал?» — спрашивала шёпотом старушка, что молиться хорошо умела, высовываясь из-за Иринарха, который неподвижно как столб стоял у двери и пристально смотрел на отходившего барина. «Почивает»,— отвечала Маланья Павловна тоже шёпотом. И вдруг Алексей Сергеич открыл глаза. «Подруга моя верная,— пролепетал он,— супруга моя почтенная, в ножки тебе бы поклонился за всю твою любовь и верность — да где встать? Дай хоть перекрещу тебя». Маланья Павловна придвинулась, наклонилась... Но приподнятая рука упала бессильно на одеяло — и через несколько мгновений не стало Алексея Сергеича.

Дочери его поспели только к похоронам с мужьями; детей у них не было — ни у той, ни у другой. Алексей Сергеич их не обидел в своем завещанье, хотя и не вспомнил о них на смертном одре. «Замшилось к ним мое сердце»,— сказал он мне однажды. Зная его доброту, я дивился его словам. Трудно рассудить родителей с детьми. «Большой овраг малой начинается трещиной,— сказал Алексей Сергеич мне в другой раз по тому же поводу,—

в аршин рана заживает, а отруби хоть ноготь — не прирастет».

Мне сдается, что дочери стыдились своих чудаковатых стариков.

Месяц спустя не стало и Маланьи Павловны. С самого дня кончины Алексея Сергеича она уже почти не вставала и не наряжалась; но похоронили ее в голубой кофте и с медальоном Орлова на плече, только без бриллиантов. Их поделили дочери под тем предлогом, что пойдут те бриллианты на оклады образов; на деле же они их употребили на украшение собственных особ.

И вот — как живые стоят передо мною мои старики, и хорошее храню я о них воспоминание. А между тем в самый мой последний приезд к ним (я уже тогда был студентом) совершилось событие, которое внесло некоторый разлад в то гармонически патриархальное настроение, которое телегинский дом навевал на меня.

В числе дворовой прислуги состоял некто Иван, по кличке Сухих — кучер или кучерóк, как его прозывали за малый его рост, несмотря на его уже немолодые лета. Крошечный это был человечек, вертлявый, курносый, кудрявый, с вечно смеющимся младенческим лицом и мышиными глазками. Большой он был балагур и потешник; всякую штуку умел смастерить, фейерверки пускал, змеи, во все игры играл, стоя на лошади скакал, выше всех взлетал на качелях, даже китайские тени умел представлять. Никто лучше его не забавлял детей — и сам он с ними хоть целый день рад был возиться. Примется хохотать — весь дом расколышет: то тут, то там ему отвечают — разберет всех... И ругаются, да смеются. Плясал Иван удивительно — особенно «рыбку». Грянет хор плясовую, парень выйдет на середину круга — да и ну вертеться, прыгать, ногами топотать, а потом как треснется оземь — да и представляет движения рыбки, которую выкинули из воды на сушь: и так изгибается и этак, даже каблуки к затылку подводит; а там как вскочит, загогочет — просто земля под ним дрожит! Бывало, Алексей Сергеич, большой, как я уже сказывал, охотник до хороводов, никак не может утерпеть, чтоб не закричать: «Ванюшу сюда! кучерка! Рыбку нам валяй, живо!» — а через минуту уже восторженно шепчет: «Ах он, такой-сякой!»

И вот в последний мой приезд входит этот самый Иван Сухих ко мне в комнату и, ни слова не говоря, становится на колени. «Иван, что с тобой?» — «Спасите, барин!» —

«Как, что такое?» И рассказал мне тут Иван свою беду.

Был он выменян — лет двадцать тому назад — от господ Сухих на другого крепостного телегинского человека; так-таки просто выменян, безо всяких формальностей и бумаг; отданный за него человек помер, а господа Сухие забыли об Иване — и остался он в доме Алексея Сергеича, как свой; одно лишь прозвище его напоминало об его происхождении. Но вот умерли и прежние его господа; имение попало в другие руки — и новый владелец, о котором ходили слухи, что он человек жестокий, мучитель, проведав, что один из его крепостных обретается безо всякого вида и права у Алексея Сергеича, стал его требовать обратно; в случае же отказа грозил судом и штрафом — и грозил не по-пустому, так как сам состоял в чине тайного советника и большой имел по губернии вес. Иван, с перепугу, бросился к Алексею Сергеичу. Жалко стало старику своего плясуна — и предложил он тайному советнику купить у него Ивана за хорошие деньги; но тайный советник и слышать не хотел: был он малоросс и упрям как чёрт. Приходилось отдавать бедняка. «Я здесь сжился, я здесь освоился, я здесь служил, хлеб ел и помереть здесь желаю»,— говорил мне Иван — и уже не было усмешки на его лице; напротив — оно точно окаменело... «А теперь я должон идти к этому злодею... Али я собака, что с одной псарни на другую, завязавши оселом шею... на, мол, тебе! Спасите, барин; помолите вы дяденьку — вспомните, как я всегда вас потешал... А то худо ведь будет; без греха дело не обойдется».

— Без какого греха, Иван?

— А убью я того-то барина. Так и приду да скажу ему: «Барин, отпустите меня обратно; а не то — смотрите, оберегайтесь... я вас убью».

Если бы зяблик или чиж мог говорить и стал бы уверять меня, что он заклюет другую птицу — не привел бы он меня в большее изумление, чем Иван о ту пору. Как! Ваня Сухих, этот плясун, балагур, потешник, любимец детей и сам дитя — это добродушнейшее существо — убийца! Что за чепуха! Ни на мгновенье не поверил я ему; меня до крайности поразило уже то, что он мог выговорить такое слово! Однако я отправился к Алексею Сергеичу. Не передал я ему того, что сказал мне Иван, но всячески стал просить его, нельзя ли как-нибудь поправить дело? «Сударик ты мой,— отвечал мне старик,— и

рад бы радостью, но как быть? Предлагал я этому хохлу вознаграждения великие — триста рублей предлагал, по чести тебе говорю! а он — куды тебе! Что станешь делать? Поступлено было противозаконно, на веру, по старине... а теперь вон какое худо вышло! Ведь хохол тот, чего доброго, силком Ивана у меня возьмет — рука его властная, губернатор у него щи хлебает — солдат пришлет хохол! А боюсь я солдат-то этих! Прежде, что говорить, я как-никак отстоял бы Ивана; а теперь посмотри ты на меня, какой я дряхлец стал. Где мне воевать?» Действительно: в последний мой приезд я нашел Алексея Сергеича чрезвычайно постаревшим: даже зрачки его глаз приняли молочный цвет — как у младенцев — и на губах появилась не прежняя сознательная улыбка, а та напряженно-слащавая, бессознательная усмешка, которая и во время сна не сходит с них у очень дряхлых людей.

Сообщил я решение Алексея Сергеича Ивану. Он постоял, помолчал, помотал головою. «Ну,— сказал он наконец,— чему быть, того не миновать. А только слово мое крепко. Значит: одно осталось... почудесить напоследях. Барин, пожалуйте на водку!» Я ему дал; он напился пьян и в тот же день такую отколол «рыбку», что девки и бабы даже взвизгивали — до того он кочевряжился!

На другой день я уехал домой, а месяца через три — уже в Петербурге — я узнал, что Иван сдержал-таки свое слово! Выслали его к новому барину; позвал его барин в кабинет и объявил ему, что будет он у него состоять кучером, что поручается ему тройка вяток и что строго с него взыщется, если будет худо за ними ходить и вообще не будет исправен. «Я-де шутить не люблю». Иван выслушал барина, сперва в ноги ему поклонился,— а потом объявил, что, как его милости угодно, а не может он быть ему слугою. «Отпустите, мол, меня на оброк, ваше благородие, али в солдаты определите; а то долго ли до беды?»

Барин вспылил.

— Ах ты, такой-сякой! Что ты это мне сказать посмел? Во-первых, знай, что я превосходительство, а не высокоблагородие; во-вторых, ты уж из лет вышел и рост у тебя не такой, чтобы тебя в солдаты отдать; а наконец — какою это ты мне бедой грозишь? Поджечь, что ли, меня собираешься?

— Нет, ваше превосходительство, не поджечь.

— Так убить, что ли?

Иван промолчал.

— Не слуга я вам,— промолвил он наконец.

— А вот я тебе покажу,— взревел барин,— мой ли ты слуга или нет! — И, жестоко наказав Ивана, все-таки повелел ему выдать на руки тройку вяток и определить его кучером на конный двор.

Иван, по-видимому, покорился; начал ездить кучером. Так как он на это дело был мастер, то вскоре полюбился барину — тем более, что вел себя Иван очень скромно и тихо, и лошади у него раздобрели; выхолил он их — такие огурчики стали — загляденье! Стал барин выезжать с ним чаще, чем с другими кучерами. Бывало, спросит: «А что, помнишь, Иван, как мы с тобой неладно встретились? Чай, дурь-то с тебя соскочила?» Но Иван на эти слова никогда ничего не отвечал. Вот однажды, под самое крещение, отправился барин с Иваном в город на его тройке с бубенцами, в ковровых пошевнях. Стали лошади шагом подниматься в гору — а Иван слез с облучка и зашел за пошевни, словно что обронил. Мороз стоял сильный: барин сидел, закутавшись, и бобровую шапку на уши надвинул. Тогда Иван достал из-под полы топор, подошел сзади к барину, сбил с него шапку — да, промолвив: «Я тебя, Петр Петрович, остерегал — сам на себя теперь пеняй!» — раскроил ему голову одним ударом. Потом остановил лошадей, надел на мертвого барина сбитую шапку — и, снова взобравшись на облучок, привез его в город прямо к присутственным местам.

— Вот, мол, вам сухинский генерал, убитый; и убил его я. Как я ему сказал — так я ему и сделал. Вяжите!

Ивана схватили, судили, присудили к кнуту, а потом на каторгу. Попал в рудники веселый, птицеобразный плясун — да и исчез там навеки...

Да; поневоле — хоть и в ином смысле — повторишь с Алексеем Сергеичем:

— Хороша старина... ну, да и бог с ней!

II

ОТЧАЯННЫЙ

I

...Нас было человек восемь в комнате — и мы разговаривали о современных делах и людях.

— Не понимаю я этих господ! — заметил А.,— они отчаянные какие-то! Право, отчаянные... Ничего подобного еще никогда не бывало.

— Нет, бывало,— вмешался П., уже старый, седоволосый человек, родившийся около двадцатых годов нынешнего столетия,— отчаянные люди водились и прежде; только не походили они на нынешних отчаянных. Про поэта Языкова кто-то сказал, что у него был восторг, ни на что не обращенный, беспредметный восторг; так и у тех людей — отчаянность была беспредметная. Да вот, если позволите, я вам расскажу историю моего двоюродного племянника, Миши Полтева. Она может служить образчиком тогдашней отчаянности.

Явился он на свет божий, помнится, в 1828 году, в родовом поместье своего отца, в одном из самых глухих уголков глухой, степной губернии. Мишина отца, Андрея Николаевича Полтева, я еще хорошо помню. Это был настоящий старозаветный помещик, богобоязненный, степенный человек, достаточно — по тому времени — образованный, немного, правду сказать, придурковатый, да и к тому же страдавший падучей болезнью... Это тоже старозаветная, дворянская болезнь... Впрочем, припадки у Андрея Николаевича бывали тихие, и разрешались они обыкновенно сном да унылостью. Сердца он был доброго, обращения приветливого, не без некоторой величавости: я себе всегда таким воображал царя Михаила Федоровича. Вся жизнь Андрея Николаевича протекла в неукоснительном исполнении всех с давних времен установившихся обрядов, в строгом соответствии со всеми обычаями древнеправославного, святорусского быта. Он вставал и ложился, кушал и в баню ходил, веселился и гневался (то и другое, правда, редко), даже трубку курил, даже в карты играл (два больших новшества!) не так, как бы ему вздумалось, не на свой манер, а по завету и преданию отцов — истово и чинно. Сам он был высокого росту, осанист и мясист, голос имел тихий и несколько хрипловатый, как оно часто бывает у русских добродетельных людей; соблюдал опрятность в белье и одежде, носил белые галстухи и табачного цвета длиннополые сюртуки, а дворянская кровь все-таки сказывалась: за поповича или купца никто бы его не принял! Всегда, при всех возможных случаях и встречах Андрей Николаевич несомненно знал, как надо поступать, что надо говорить и какие именно выражения употреблять; знал, когда должно лечиться и чем именно, каким приметам должно верить и какие можно оставлять без внимания... словом, знал всё, что следует делать... Ибо всё, мол, стариками преду-

смотрено и указано — своего только не придумывай... А главное: без бога — ни до порога! Должно сознаться: скука смертельная царила в его доме, в этих низких, теплых и темных комнатах, столь часто оглашаемых пением всенощных и молебнов, с почти не переводившимся запахом ладана и постных кушаний!

Женился Андрей Николаевич, уже не в первой молодости, на соседней бедной барышне, очень нервической и болезненной особе, бывшей институтке. Она недурно играла на фортепиано, говорила по-французски на институтский лад; охотно восторгалась и еще охотнее предавалась меланхолии и даже слезам... Словом — характера была беспокойного. Считая жизнь свою загубленной, она не могла любить своего мужа, который, «конечно», ее не понимал; но она уважала... она сносила его; и будучи существом вполне честным и вполне холодным, ни разу даже не подумала о другом «предмете». К тому же ее постоянно поглощали заботы, во-первых, о своем собственном, действительно слабом здоровье; во-вторых, о здоровье мужа, припадки которого ей всегда внушали нечто вроде суеверного ужаса; а наконец, и о единственном своем сыне, Мише, которого она воспитывала сама с большим рвением. Андрей Николаевич не мешал жене заниматься Мишей — но с условием: ни под каким видом не выступать из однажды навсегда назначенных рамок, в которых всё должно было вращаться у него в доме! Так, например: в святки и под Новый год, в Васильев вечер Мише позволялось наряжаться вместе с другими «хлопчиками», и не только позволялось, но даже ставилось в обязанность... Зато — сохрани бог в другое время! и т. д. и т. д.

II

Помню я этого Мишу лет тринадцати. Это был очень миловидный мальчик с розовыми щечками и мякенькими губками (да и весь он был мякенький да пухленький), с несколько выпуклыми влажными глазами, тщательно приглаженный и причесанный, ласковый и стыдливый — настоящая девочка! Одно только в нем мне не нравилось: смеялся он редко; но когда смеялся — зубы его, крупные, белые и по-звериному заостренные, неприятно выставлялись — и самый смех звучал чем-то резким и даже диким, почти зверским,— а в глазах пробегали нехорошие искры. Мать всё хвалила его за то, что он такой послушный и вежливый — и с мальчиками-шалунами не любит знать-

ся, а всё больше льнет к женскому обществу. «Матушкин сынок, неженка,— отзывался о нем отец, Андрей Николаевич,— но зато в храм божий ходит охотно... И это меня радует». Один только старик сосед, бывший исправник, сказал раз при мне о Мише: «Помилуйте, бунтовщик будет». И это слово меня, помнится, тогда очень удивило. Бывший исправник, правда, всюду видел бунтовщиков.

Точно таким примерным юношей оставался Миша до 18-летнего возраста, до самой смерти родителей, которых он лишился едва ли не в один и тот же день. Живя постоянно в Москве, я ничего не слышал о моем молодом родственнике. Правда, один приезжий из его губернии уверял меня, будто бы Миша продал за бесценок свое родовое имение; но это известие казалось мне слишком неправдоподобным! И вот вдруг, в одно осеннее утро, на двор моего дома влетает коляска, запряженная парой превосходных рысаков, с чудовищным кучером на козлах; а в коляске — облеченный в шинель военного покроя с двухаршинным бобровым воротником, с фуражкой набекрень à la diable m'emporte [1], сидит... Миша! Увидав меня (я стоял у окна гостиной и с изумленьем глядел на влетевший экипаж), он захохотал своим резким хохотом и, лихо тряхнув обшлагом шинели, выпрыгнул из коляски и вбежал в дом.

— Миша! Михаил Андреевич! — начал было я...— Вы ли это?

— Говорите мне: «ты» и «Миша»,— перебил он меня.— Я... это я, собственной персоной... явился в Москву... на людей посмотреть... и себя показать. Вот и к вам заехал. Каковы рысачки?.. А? — он опять захохотал.

Хотя лет семь прошло с тех пор, как я в последний раз видел Мишу, но узнал я его тотчас. Лицо у него осталось совсем молодым и по-прежнему миловидным,— даже ус не пробился; только под глазами на щеках появилась одутловатость — и изо рту пахло вином.

— Да давно ли ты в Москве? — спросил я.— Я полагал, что ты там в деревне, хозяйничаешь...

— Э! Деревню-то я тотчас побоку! Как только родители, царство им небесное, скончались (Миша перекрестился истово, без малейшего кощунства) — я сейчас, нимало не медля... эйн, цвей, дрей! ха-ха! Дешево спустил, канальство! Такой подвернулся шельмец. Ну, да всё рав-

---

[1] а-ля чёрт меня побери *(франц.)*.

но! По крайней мере поживу в свое удовольствие — и других потешу. Да что вы на меня так уставились? Неужто же в самом деле мне было тянуть да тянуть эту канитель?.. Голубчик, родной, нельзя ли чарочку?

Миша говорил ужасно скоро, торопливо и в то же время как бы спросонья.

— Миша, помилуй! — возопил я,— побойся ты бога! На кого ты похож, в каком ты виде? А еще чарочку! И продать такое хорошее имение за бесценок...

— Бога я всегда боюсь и помню,— подхватил он.— Да ведь он добрый — бог-то... простит! И я тоже добрый... никого еще в жизни не обидел. И чарочка тоже добрая; и обижать... тоже никого не обижает. А вид у меня самый настоящий... Дяденька, желаете, стрункой по половице пройду? Или попляшу немного?

— Ах, пожалуйста, избавь! Какой тут пляс? Ты лучше сядь.

— Сесть-то я сяду... Да что вы мне ничего не скажете о моих серых? Вы посмотрите, ведь львы! Пока я их нанимаю, но куплю непременно... вместе с кучером. Свои лошади не в пример выгоднее. И деньги ведь были, да спустил их вчера в банчишко. Ничего, завтра наверстаем. Дяденька... а что же чарочку?

Я всё еще не мог опомниться.

— Помилуй, Миша, сколько тебе лет? Не лошадьми, не карточной игрой тебе заниматься следует... а в университет поступить, или на службу.

Миша сперва опять захохотал, потом свистнул протяжно.

— Ну, дяденька, я вижу, вы теперь в меланхолическом настроении. Заверну в другой раз. А вы вот что: заезжайте-ка вечерком в Сокольники. Там у меня палатка разбита. Цыгане поют... Фу ты! ну ты! держись только! А на палатке вымпел, а на вымпеле ба-альшими буквами написано: «Хор полтевских цыган». Змеем вымпел-то вьется, буквы золотые, всякому прочесть лестно. Угощение — кто только пожелает!.. Отказу нет. Пыль по всей Москве пошла... мое почтение!.. Что ж? Заедете? Уж какая там у меня есть одна... аспид! Черна, как сапог, злюща, как собака, а глаза... уголья! Никогда невозможно знать: что она — поцелует или укусит? Заедете, дяденька?.. Ну, до свидания!

И, внезапно обняв и чмокнув меня в плечо, Миша выскочил на двор, в коляску, махнул над головой фу-

ражкой, гикнул,— чудовищный кучер покосился на него через бороду, рысаки рванулись, и всё исчезло!

На другой день я, грешный человек, поехал-таки в Сокольники и действительно увидал палатку с вымпелом и надписью. По́лы палатки были приподняты: шум, треск, визг неслись оттуда. Народ толпился кругом. На земле на разостланном ковре сидели цыгане, цыганки, пели, били в бубны, а посреди их, с гитарой в руках, в шелковой рубахе и бархатных шароварах, юлою вертелся Миша. «Господа! почтенные! милости просим! сейчас представление начнется! Даровое! — кричал он надтреснутым голосом.— Эй! шампанского! хлоп! в лоб! в потолок! Ах ты, шельма, Поль де Кок!» — К счастью, он не увидал меня, и я поспешил удалиться.

Не буду, господа, я распространяться о моем изумлении при виде такой перемены. И в самом деле, как мог этот смирный и скромный мальчик превратиться вдруг в пьяного шалопая?! Неужто же это всё в нем таилось с детства и тотчас выступило наружу, как только соскочил с него гнет родительской власти? А что пыль пошла от него по Москве, как он выражался,— в этом уже точно не было никакого сомнения. Видал я кутил на своем веку; но тут проявлялось нечто неистовое, какое-то бешенство самоистребления, какое-то отчаяние!

III

Месяца два продолжалась эта потеха... И вот стою я опять у окна в гостиной и посматриваю на двор... Вдруг— что за притча?! входит в ворота тихой поступью послушник... Шапонька гречником надвинута на лоб, волосики из-под ней расчесаны направо и налево... длинный подрясник, кожаный пояс... Неужели Миша? Он и есть!

Вышел я к нему на крыльцо...

— Это что за маскарад? — спрашиваю я.

— Не маскарад, дяденька,— отвечает мне Миша с глубоким вздохом.— А так как я всё мое имущество до последней копеечки растранжирил — да и раскаяние мною овладело сильное,— то и решился я отправиться в Троицкую Сергиеву лавру грехи свои отмаливать. Ибо какой мне теперь приют остался?.. И вот пришел я к вам проститься, дяденька, как блудный сын...

Я посмотрел в упор на Мишу. Лицо всё такое же, розовое да свежее (впрочем, оно так и не изменилось

у него до конца), и глаза влажные да ласковые с поволокой, и ручки беленькие... А вином отдает.

— Что ж? — промолвил я наконец,— дело хорошее — коли другого исхода нет. Но зачем же от тебя вином-то пахнет?

— Старая закваска,— ответил Миша и вдруг засмеялся — да тотчас спохватился и, поклонившись прямым и низким, монашеским поклоном, прибавил: — Не пожалуете ли что на путь-дороженьку? Ведь в монастырь иду я пешком...

— Когда?

— Сегодня... сейчас.

— К чему же так спешить?

— Дяденька! Мой девиз всегда был: скорей! скорей!

— А теперь какой у тебя девиз?

— И теперь тот же... Только — к *добру* скорей!

Так Миша и ушел, предоставив мне размышлять о превратностях судеб человеческих.

Но он скоро опять напомнил мне о своем существовании. Месяца два спустя после его посещения я получил от него письмо, первое из тех писем, которыми он впоследствии наделял меня. И заметьте странность: я редко видывал более опрятный и четкий почерк, чем у этого безалаберного человека. И слог его писем был очень правильный, слегка витиеватый. Неизменные просьбы о помощи всегда чередовались с обещаниями исправиться, честными словами и клятвами... Всё это казалось — а может, и было — искренним. Росчерк Миши под письмом постоянно сопровождался особенными закрутасами, черточками и точками — и много употреблял он восклицательных знаков. В том первом письме Миша извещал меня о новом «обороте своей фортуны». (Впоследствии он называл эти обороты — нырками... и нырял он часто.) Он отправлялся на Кавказ служить «грудью» царю и отечеству, в качестве юнкера! И хотя некая добродетельная тетка вошла в его бедственное положение и прислала ему незначительную сумму,— он, однако, все-таки просил и меня помочь ему экипироваться. Я исполнил его просьбу и в течение двух лет опять ничего не слышал о нем.

Признаться, я сильно сомневался в том, поехал ли он на Кавказ? Но оказалось, что он точно поехал туда, по протекции поступил в Т...й полк юнкером и прослужил в нем эти два года. Целые легенды составились там о нем. Мне их сообщил один офицер его полка.

IV

Я узнал много такого, чего я и от него не ожидал. Меня, конечно, не удивило то, что военным человеком, служакой, он оказался плохим, даже просто негодным; но чего я не ожидал, так это того, что и храбрости в нем особенной не замечалось; что в сражениях он имел вид унылый и вялый, не то скучал, не то смущался. Всякая дисциплина его стесняла, внушала ему грусть; дерзок он был до сумасбродства, когда дело шло только о нем *лично*: не было такого безумного пари, от которого бы он отказался; но делать зло другим, убивать, драться он не мог — быть может, оттого, что сердце у него было доброе, а быть может, оттого, что «хлопчатобумажное» (как он выражался) воспитание его изнежило. Самого себя истреблять он был готов всячески и во всякое время... Но других — нет. «Чёрт его разберет,— толковали о нем товарищи,— дряблый он, тряпка — и отчаянный какой-то, просто оглашенный!» Случалось мне впоследствии спрашивать Мишу: какой это злой дух его толкает, заставляет пить запоем, рисковать жизнью и т. п.? У него всегда был один ответ: тоска!

— Да отчего — тоска?

— Как же, помилуйте! Придешь этаким образом в себя, очувствуешься, станешь размышлять о бедности, о несправедливости, о России... Ну — и кончено! Сейчас тоска — хоть пулю в лоб! Закутишь поневоле.

— Россию-то ты зачем сюда приплел?

— А то как же? Нельзя! Оттого я и боюсь размышлять.

— Всё это у тебя — и тоска эта — от бездействия.

— Да не умею я ничего делать, дяденька! родной! Вот взять да жизнь на карту поставить — паролй пэ, да щелк за воротник! Это я умею! Вы вот научите меня, что мне делать, жизнью из-за чего рискнуть! Я — сию минуту!..

— Да ты живи просто... Зачем рисковать?

— Не могу! Вы скажете: необдуманно я поступаю... Как же иначе?.. Станешь думать — и, господи, что в голову полезет! Это немцы одни думают!..

Как тут было разговаривать с ним? Отчаянный — да и полно!

Из числа кавказских легенд, о которых я упомянул, расскажу вам две, три. Однажды, в обществе офицеров,

стал Миша хвастаться выменянной шашкой: «Настоящий персидский клинок!» Офицеры выразили сомнение, точно ли клинок настоящий? Миша заспорил. «Да вот,— воскликнул он наконец,— говорят, насчет шашек первый знаток — Абдулка кривой. Поеду к нему и спрошу». Офицеры изумились. «Это какой Абдулка? Что в горах живет? Не мирной? Абдулхан?» — «Он самый и есть».— «Да он тебя за лазутчика примет, в клоповник засадит — а не то этой самой шашкой голову тебе срежет. Да и как ты доберешься до него? Тебя сейчас сцапают».— «А я все-таки поеду к нему».— «Пари, что не поедешь!» — «Пари!» — И Миша тотчас оседлал лошадь и поехал к Абдулке. Три дня пропадал. Все были убеждены, что пришел оглашенному конец. Глядь! вернулся — пьянехонек и с шашкой, только не с той, которую повез, а с другою. Стали его расспрашивать. «Ничего, говорит, добрый Абдулка человек. Сперва точно кандалы велел мне на ноги набить и даже на кол посадить собирался. Только я объяснил ему, зачем приехал, и шашку показал. „И не задерживай ты меня, говорю: выкупа, говорю, за меня не жди; гроша у меня за душою нет — и родных не имеется". Удивился Абдулка; посмотрел на меня единым своим глазом. „Ну, говорит, делибаш ты, урус; должен я тебе верить?" — „Верь, говорю; я не лгу никогда". (И точно Миша никогда не лгал.) Опять посмотрел на меня Абдулка. „А пить вино умеешь?"— „Умею, говорю; сколько дашь, столько и выпью". Опять удивился Абдулка, аллаха помянул. И велел он тут своей — дочке, что ли, хорошенькая такая, только взгляд, как у чекалки,— притащить бурдюк. И начал я действовать. „А шашка твоя, говорит, фальшивая; вот возьми настоящую. И теперь мы с тобой кунаки". А пари вы, господа, проиграли; платите!»

Вторая легенда о Мише вот какого свойства: он до страсти любил карты; но так как денег у него не водилось и карточные долги он не платил (хотя шулером никогда не был), то играть с ним уже никто не садился. Вот однажды начал он приставать к одному товарищу-офицеру: сыграй да сыграй с ним! «Да ведь ты проиграешь — не отдашь».— «Деньгами точно не отдам — а левую руку себе прострелю, вот этим самым пистолетом!» — «Да какая мне от этого выгода будет?» — «Выгоды никакой — а все-таки любопытно». Разговор этот происходил после попойки, при свидетелях. Точно ли показалось офицеру любопытным Мишино предложение — только он согласился.

Принесли карты, началась игра. Мише повезло: он выиграл сто рублей. И тут противник его ударил себя по лбу. «Какой же я олух! — воскликнул он,— на какую удочку попался! Кабы ты проиграл, стал бы ты себе простреливать руку — как же, держи карман!» — «А вот ты и соврал,— возразил Миша,— я и выиграл, да руку себе прострелю». Он схватил пистолет — и бац! прострелил себе руку. Пуля пролетела насквозь... а неделю спустя рана зажила совершенно.

В другой еще раз ехал Миша ночью с товарищами по дороге... И видят они, возле самой дороги зияет узкий овраг вроде расселины, темный-претемный, дна не видать. «Вот,— говорит один товарищ,— уж на что Мишка отчаянный, а в этот овраг не прыгнет».— «Нет, прыгну!» — «Нет, не прыгнешь, потому что в нем, пожалуй, саженей десять глубины и шею сломить можно». Знал приятель, за что его задеть: за самолюбие... Очень оно было у Миши велико. «А я все-таки прыгну! Хочешь пари? Десять рублей».— «Изволь!» И не успел товарищ выговорить это слово, как уже Миша с коня долой — в овраг — и загремел по каменьям. Все так и замерли... Прошла добрая минута, и слышат они, словно из земной утробы, доносится Мишин голос, глухо таково: «Цел! в песок попал... А летел долго! Десять рублей за вами».— «Вылезай!» — закричали товарищи. «Да, вылезай! — отозвался Миша,— чёрта с два! вылезешь тут. Вам теперь за веревками да за фонарями ехать надо. А пока, чтобы не скучно было ждать, бросьте-ка мне фляжку...»

Так и пришлось Мише просидеть часов пять на дне оврага; и когда его вытащили, у него плечо оказалось вывихнутым. Но это нисколько его не смутило. На другой же день костоправ из кузнецов вправил ему плечо, и он действовал им как ни в чем не бывало.

Вообще здоровье у него было удивительное, неслыханное. Я уже сказывал вам, что он до самой смерти сохранил почти детскую свежесть лица. Болезней он не ведал, несмотря на все излишества; крепость его организма ни разу не пошатнулась. Где бы другой непременно занемог опасно или даже умер бы, он только встряхивался, как утка на воде, и расцветал пуще прежнего. Раз, тоже на Кавказе... Правда, *эта* легенда довольно неправдоподобна, но по ней можно судить, на что считали Мишу способным... Итак, раз на Кавказе он в пьяном виде свалился в ручей нижней частью туловища — голова и руки

остались на берегу, наружу. Дело было зимою, ударил сильный мороз, и когда его нашли на другое утро, ноги его и живот сквозили из-под крепкой ледяной коры, намерзшей в течение ночи — и хоть бы насморк он схватил! В другой раз (это было уже в России, под Орлом, и тоже в жестокий мороз) попал он в загородный трактир, в компанию семи молодых семинаристов. Семинаристы эти праздновали свой выпускной экзамен, а Мишу пригласили, как милого человека, человека «со вздохом», как говорилось тогда. Выпито было чрезвычайно много, и когда наконец веселая ватага собралась к отъезду, Миша, мертвецки пьяный, находился уже в бесчувственном состоянии. У всех семи семинаристов были одни только троечные сани с высоким задком; куда было деть безответное тело? Тогда один из молодых людей, вдохновившись классическими воспоминаниями, предложил привязать Мишу за ноги к задку саней, как Гектора к колеснице Ахиллеса! Предложение было одобрено... и, подпрыгивая на ухабах, скользя боком на раскатах, с задранными кверху ногами, с вывалянной в снегу головою, проехал наш Миша на спине все двухверстное расстояние от трактира до города и хоть бы кашлянул потом, хоть бы поморщился! Таким дивным здоровьем наделила его природа!

V

С Кавказа он опять отъявился в Москву, в черкеске, с патронами на груди, с кинжалом на поясе, с высокой папахой на голове. С этим костюмом он уже до конца не расстался, хоть и не находился более на военной службе, из которой его выключили за неявку к сроку. Он побывал у меня, занял немного денег... и тут-то начались его «нырки», начались его хождения по мытарствам, или, как он выражался, по семи Семионам; начались внезапные отлучки и возвращения, посыпались красиво написанные письма, адресованные ко всем возможным лицам, начиная с митрополита и кончая берейторами и повивальными бабками! Пошли визиты к знакомым и незнакомым! И вот что следует заметить: делая свои визиты, он не низкопоклонничал и не канючил, а, напротив, держался прилично и даже вид имел веселый и приятный, хотя заматерелый запах вина сопровождал его повсюду — и восточный костюм понемногу превращался в лохмотья. «Дадите, бог вас наградит, хоть я этого и не стою,— говорил он, светло улыбаясь и откровенно краснея,— не дадите, будете впол-

не правы, и сердиться я уже никак не стану. Прокормлюсь, бог даст! Ибо людей беднее меня и более достойных помощи — много, очень много!» Миша особенно успевал у женщин: он умел возбуждать их сожаление. И не думайте, чтобы он был или воображал себя Ловласом... О нет! в этом отношении он был очень скромен. Унаследовал ли он от родителей такую холодную кровь или, наконец, и тут сказывалось его нежелание делать кому-либо зло,— так как, по его понятиям, с женщиной знаться значит непременно женщину обидеть,— решить я не берусь; только он в своих поступках с прекрасным полом был весьма деликатен. Женщины это чувствовали и тем охотнее жалели его и помогали ему, пока он, наконец, не отталкивал их своим загулом и запоем, той отчаянностью, о которой я уже говорил... другого слова я придумать не могу.

Зато в других отношениях он уже всякую деликатность утратил и понемногу спустился до последних унижений. Он раз до того дошел, что в Т...м дворянском собрании выставил на столе кружку с надписью: «Всякий, кому покажется лестным щелкнуть по носу столбового дворянина Полтева (подлинные документы при сем прилагаются), может удовлетворить свое желание, положивши рубль в сию кружку». И говорят, нашлись любители щелкать дворянина по носу! Правда, он одного из этих любителей, за то, что тот, положивши *один* рубль в кружку, дал ему *два* щелчка, сперва чуть не задушил, а потом заставил попросить извинения; правда и то, что часть вырученных таким образом денег он тут же роздал другим голышам... но всё же какое безобразие!

В течение своих странствований по семи Семионам он добрался также до своего родового гнезда, проданного им за бесценок известному в то время аферисту и ростовщику. Аферист был дома и, узнав о прибытии прежнего владельца, превратившегося в бродягу, приказал не пускать его в дом, а в случае нужды даже турнуть его в шею. Миша объявил, что в дом, оскверненный присутствием мерзавца, он сам не пойдет; турнуть же себя никому не позволит, а отправится на церковный погост поклониться праху своих родителей. Он так и сделал. На погосте присоединился к нему старик дворовый, бывший когда-то его дядькой. Аферист лишил старика месячины и прогнал его вон из усадьбы; тот с тех пор ютился в закутке у мужика. Миша такое недолгое время заведовал своим именьем,

что особенно хорошей памяти о себе оставить не успел; однако старый слуга все-таки не вытерпел и, узнав о прибытии своего барчука, тотчас побежал на погост, нашел Мишу сидевшим на земле между надгробными плитами, попросил у него, по старой памяти, ручку и даже прослезился, глядя на лохмотья, которыми облекались некогда выхоленные члены его воспитанника. Миша долго, молча, смотрел на старика. «Тимофей!» — сказал он наконец. Тимофей встрепенулся. «Чего изволите?» — «Есть у тебя лопата?» — «Достать можно... А на что вам лопата, сударь Михайло Андреич?» — «Хочу себе тут могилку вырыть, Тимофей,— да и лечь тут на веки вечные, между родителями. Ведь только одно местечко и осталось у меня на свете. Принеси лопату!» — «Слушаю»,— сказал Тимофей; пошел и принес. И Миша тотчас начал рыть землю, а Тимофей стоял возле, подперши рукою подбородок и повторяя: «Только и осталось нам с тобою, барин!» А Миша рыл да рыл, от времени до времени спрашивая: «Ведь не стоит жить, Тимофей?» — «Не стоит, батюшка». Ямка уже становилась довольно глубокой. Люди увидали Мишину работу и побежали доложить о ней новому владельцу, аферисту. Аферист сперва разгневался, хотел за полицией послать: это, мол, кощунство! Но потом, вероятно, сообразив, что дело иметь с этим сумасбродом все-таки неудобно, может выйти скандал,— отправился самолично на погост — и, подойдя к трудившемуся Мише, вежливо ему поклонился. Тот продолжал рыть, как бы не замечая своего преемника. «Михаил Андреич,— начал аферист,— позвольте узнать, что это вы тут делаете?» — «А вот видите — могилу себе рою».— «Это зачем же?» — «А затем, что жить больше не желаю». Аферист даже руками развел. «Не желаете жить?» Миша грозно взглянул на афериста: «Это вас удивляет? Разве не вы всему причиной?.. Не вы?.. Не ты?.. Не ты, Иуда, меня ограбил, воспользовавшись моим младенчеством? Не ты с мужиков шкуру дерешь? Не ты вот этого дряхлеца хлеба насущного лишил? Не ты?.. О господи! везде одна несправедливость, да притеснение, да злодейство... Пропадай, значит, всё — и я туда же! Не хочу жить, не хочу в России более жить!» И лопата еще быстрее заходила в Мишиных руках.

«Чёрт знает что это такое! — подумал аферист,— ведь взаправду закопается». — «Михаил Андреевич,— начал он снова,— послушайте; я перед вами точно виноват; мне об вас не так доложили». Миша рыл. «Но к чему такое от-

чаяние?» Миша всё рыл — и землю бросал на ноги аферисту: «На, мол. тебе, землеед!» — «Право, это вы напрасно. Не угодно ли будет вам зайти ко мне — закусить да отдохнуть?» Миша приподнял голову. «Вот ты теперь как! А выпивка будет?» Аферист обрадовался. «Помилуйте... еще бы!» — «И Тимофея пригласишь?» — «Отчего же... и его». Миша задумался. «Только смотри... ведь ты меня по миру пустил... Одной бутылочкой не полагай отделаться!» — «Не беспокойтесь... будет всего вволю». Миша встал и бросил лопату... «Ну, Тимоша,— обратился он к старому дядьке,— уважим хозяина... Идем!» — «Слушаю»,— отвечал старик.

И все трое отправились в дом.

Аферист знал, с кем имел дело. Спервоначала Миша, правда, взял с него слово, что он крестьянам «всякие льготы определит»; но уже час спустя тот же Миша, вместе с Тимофеем, оба пьяные, плясали галопад по самым тем комнатам, где, казалось, еще витала богобоязненная тень Андрея Николаевича; а еще час спустя беспробудно заснувший Миша (он был очень слаб на вино) — уложенный в телегу вместе с папахой и кинжалом — отправился в город, за двадцать пять верст,— и оказался там под забором... Ну, а Тимофея, который всё еще стоял на ногах и только икал, конечно, «турнули»: барина не удалось, так хоть слугу.

VI

Опять прошло несколько времени, и я ничего не слышал о Мише... Бог его знает, где он пропадал. Вот однажды, сидя за самоваром на станции Т...го шоссе в ожидании лошадей, я вдруг услышал под раскрытым окном станционной комнаты сиплый голос, произносивший по французски: «Monsieur... monsieur... prenez pitié d'un pauvre gentilhomme ruiné...» [1] Я поднял голову, взглянул... Облезлая папаха, поломанные патроны на разорванной черкеске, кинжал в потресканных ножнах, опухшее, но всё еще розовое лицо, растрепанные, но всё еще густые волосы... Боже мой! Миша! Он уже начал просить милостыню по большим дорогам! Я невольно вскрикнул. Он узнал меня, дрогнул, отвернулся и хотел было отойти от окна. Я остановил его... но что было ему сказать? Не нравоучение же читать?! Молча протянул я ему пятирублевую

[1] «Сударь... сударь... сжальтесь над бедным, разорившимся дворянином...» *(франц.)*.

ассигнацию,— он так же молча схватил ее своей всё еще белой и пухлой, хоть и дрожавшей и неопрятной ручкой,— и исчез за углом дома. Мне не скоро подали лошадей — и я успел предаться невеселым размышлениям по поводу неожиданной встречи с Мишей; совестно мне стало, что я его так безучастно отпустил. Наконец я отправился дальше и, отъехав с полверсты от станции, заметил впереди на дороге толпу людей, подвигавшуюся странной, словно размеренной поступью. Я нагнал эту толпу — и что же я увидел? Человек двенадцать нищих, с сумами через плечо, шли по два в ряд, подпевая и подскакивая, а впереди их отплясывал Миша, топая в лад ногами и приговаривая: «Náчики-чикалды, чух-чух-чух! Нáчики-чикалды, чух-чух-чух!» Как только моя коляска поравнялась с ним и он увидал меня,— он тотчас закричал: «Ура! Стой-равняйсь! во фрунт, гвардия придорожная!» Нищие подхватили его крик и остановились — а он, с обычным своим хохотом, вскочил на подножку коляски и опять гаркнул: «Ура!» — «Это что же такое?» — спросил я с невольным изумлением. «Это? — Это моя команда, армия моя — все нищенки, божьи люди, друзья-приятели! Каждый из них, по вашей милости, чарочку пропустил — и вот теперь мы все радуемся и веселимся!.. Дяденька! Ведь только с нищими, с божьими людьми, и можно жить на свете... ей-богу!» Я ничего ему не ответил... но он мне в этот раз показался таким добряком, лицо его выражало такое детское простодушие... Меня вдруг что-то как будто и озарило, и в сердце кольнуло... «Садись ко мне в коляску»,— сказал я ему. Он изумился... «Как? в коляску?» — «Садись, садись,— повторил я,— я хочу сделать тебе предложение. Садись!.. Поедем со мной».— «Ну, как прикажете». Он сел. «Ну, а вы, друзья любезные, товарищи почтенные,— прибавил он, обращаясь к нищим,— прощайте! до свиданья!» — Миша снял папаху и поклонился низко. Нищие все словно опешили... Я велел кучеру погнать лошадей, и коляска покатилась.

Вот что я хотел предложить Мише: мне вдруг пришла мысль взять его ко мне, в деревенский мой дом, отстоявший верст тридцать от той станции,— спасти его, или по крайней мере попытаться спасти его. «Слушай, Миша,— сказал я,— хочешь ты поселиться у меня?.. Будешь ты жить на всем готовом, платье тебе сошьют, белье, экипируют тебя как следует, и деньги тебе будут выдаваться на табак и на прочее, под одним только условием:

не пить вина!.. Согласен ты?» Миша даже испугался от радости; вытаращил глаза, побагровел и вдруг, припав к моему плечу, начал целовать меня и повторять прерывистым голосом: «Дяденька... благодетель...дай вам бог!...» Он расплакался наконец и, сняв папаху, принялся утирать ею глаза, нос и губы. «Смотри же,— заметил я ему,— помни условие: вина не пить!» — «Да будь оно проклято! — воскликнул он, взмахнув обеими руками — и, вследствие этого порывистого движенья, еще сильнее обдал меня тем спиртным запахом, которым он весь был пропитан...— Ведь, дяденька, если б вы знали жизнь мою... Ведь если бы не горе, не судьба жестокая... Зато теперь, клянусь, клянусь, я исправлюсь, я докажу... Дяденька, я никогда не лгал — спросите хоть кого... Я честный, но я несчастный человек, дяденька; ласки ни от кого не видел...»

Тут он окончательно разрыдался. Я постарался его успокоить и успел в том, потому что когда мы подъехали к моему дому, Миша уже давно спал мертвым сном, уронив голову ко мне на колени.

VII

Ему тотчас определили особую комнату и тотчас же, первым делом, свели в баню, что было совершенно необходимо. Всю его одежду — и кинжал, и папаху, и дырявые сапоги бережно сложили в чулан, надели на него чистое белье, туфли и кой-какое мое платье, которое, как это всегда бывает с бедняками, как раз пришлось по его сложению и росту. Когда он пришел к столу, вымытый, опрятный, свежий,— он казался до того умиленным и счастливым, он весь сиял такою радостной благодарностью, что и я почувствовал умиление и радость... Его лицо совсем преобразилось... У двенадцатилетних мальчиков бывают такие лица в светлое воскресенье, после причастья, когда они, густо напомаженные, в новых курточках и накрахмаленных воротничках, идут христосоваться с своими родителями. Миша то и дело осторожно и недоверчиво ощупывал себя и всё повторял: «Что это?.. Не на небесах ли я?» А на другой день объявил, что спать всю ночь не мог от восхищения! У меня в доме жила тогда старушка тетка с своей племянницей; обе они чрезвычайно смутились, когда узнали о прибытии Миши; они не понимали, как я мог пригласить его к себе в дом! Очень уже худая шла о нем слава. Но, во-первых, я знал, что он всегда был очень вежлив с дамами; а во-вторых, я надеялся на

его обещание исправиться. И действительно: в первые два дня своего пребывания под моим кровом Миша не только оправдал мои ожидания, но превзошел их, а дам моих он просто очаровал. Со старушкой он играл в пикет, помогал ей разматывать гарус, показал ей два новых пасьянса; племяннице, у которой был небольшой голосок, он аккомпанировал на фортепьяно, читал ей русские, французские стихи; рассказывал обеим дамам веселые, но приличные анекдоты; словом, услуживал им всячески, так что они неоднократно выражали мне свое удивление, а старушка даже заметила, что вот как люди бывают иногда несправедливы... Чего-чего о нем не говорили... а он такой смирный да вежливый... бедный Миша! Правда, за столом «бедный Миша» как-то особенно торопливо облизывался всякий раз, как только взглядывал на бутылку. Но стоило мне погрозить пальцем, и он поднимал глаза кверху и прижимал руку к сердцу... «Я, мол, клялся!.. Я теперь переродился!» — уверял он меня. «Что ж, дай бог!» — думалось мне... Однако это перерождение продолжалось недолго.

Первые два дня он был очень разговорчив и весел. Но уже начиная с третьего дня он как-то затих, хотя по-прежнему держался возле дам и занимал их. Не то грустное, не то задумчивое выражение стало пробегать по его лицу, да и самое лицо побледнело и будто похужело. «Тебе нездоровится?» — спросил я его. «Да,— ответил он,— голова немного болит». На четвертый день он уже совсем умолк; всё больше сидел в уголку, сиротливо склонив голову и своим унылым видом возбуждая чувство жалости в обеих дамах, которые теперь в свою очередь старались занимать его. За столом он ничего не ел; глядел в тарелку и катал шарики. На пятый день чувство жалости в дамах стало сменяться другим: недоверчивостью и даже страхом. Миша одичал, сторонился от людей и всё ходил вдоль стен, как бы крадучись и внезапно озираясь, точно кто его звал. И куда девался розовый цвет его лица? Оно словно землею перекрылось. «Тебе всё нездоровится?» — спросил я его. «Нет, я здоров»,— ответил он отрывисто. «Скучно тебе?» — «С чего скучать!» А сам отворачивается и в глаза не глядит. «Иль опять затосковал?» На это он ничего не ответил. Так прошли еще сутки. На следующий день тетка прибежала ко мне в кабинет в большом волнении и объявила, что выедет с племянницей из моего дома, если Миша должен в нем

остаться. «Отчего так?» — «Да уж очень нам жутко с ним. Не человек, волк, как есть волк. Ходит, ходит, молчит — да смотрит так дико... Только что зубами не ляскает. Катя, ты знаешь, у меня такая нервическая... Она же в первый день очень им заинтересовалась... Мне за нее страшно, да и за себя...» Я не знал, что отвечать тетке... Не мог я, однако, выгнать Мишу, которого я же пригласил.

Он сам вывел меня из затруднительного положения.

В тот же день,— я еще не выходил из кабинета,— вдруг слышу за собою глухой и злобный голос: «Николай Николаич, а Николай Николаич!» Я оглянулся: у двери стоит Миша, с страшным, потемневшим, искаженным лицом. «Николай Николаич!..» — повторил он (уже не «дяденька»). «Чего тебе?»— «Отпустите меня... сейчас!»— «Что?» — «Отпустите меня, а то я бед наделаю, дом подожгу или кого зарежу.— Миша вдруг затрясся.— Велите мне мою одёжу возвратить, да телегу дайте до шоссе довезти, и денег какую ни на есть малость дайте!» — «Да разве ты чем недоволен?» — начал было я. «Не могу я так жить! — закричал он во всю голову.— Не могу я жить в вашем барском треклятом доме! Мне гадко, мне совестно так спокойно жить!.. Как это только *вы* выносите!» — «То есть,— перебил я в свою очередь,— ты хочешь сказать — без вина жить ты не можешь...» — «Ну да! ну да! — закричал он опять,— только отпустите вы меня к моим братьям, к моим друзьям, к нищим!.. Прочь от вашей дворянской, приличной, противной породы!» Я хотел было напомнить ему об его клятвенных обещаниях... но исступленное выражение Мишина лица, его сорвавшийся голос, судорожный трепет всех его членов — всё это было так ужасно, что я поспешил отделаться от него; объявил ему, что ему сейчас выдадут его платье, заложат ему телегу, и, вынув из ящика двадцатипятирублевую бумажку, положил ее на стол. Миша начинал уже с угрозой наступать на меня — но тут вдруг уперся, лицо его мгновенно перекосилось, вспыхнуло, он ударил себя в грудь, слезы брызнули из глаз и, пробормотав: «Дяденька! ангел! ведь я погибший человек — спасибо! спасибо!» — он схватил ассигнацию и выбежал вон.

Час спустя он уже сидел в телеге, снова одетый черкесом, снова розовый и веселый, и когда лошади тронулись с места, он гикнул, сорвал папаху с головы и, размахивая ею над головою, отвешивал поклон за поклоном.

Перед самым отъездом он долго и крепко обнимал меня и лепетал: «Благодетель, благодетель... спасти меня нельзя!» Он даже к дамам сбегал и ручки у них перецеловал, на колени становился, взывал к богу и прощенья просил! Катю я потом застал в слезах.

А кучер, с которым отправился Миша, вернувшись, доложил мне, что довез его до первого кабака на шоссе — и что там «они и застряли», стали угощать всех без разбору и скоро пришли в бесчувствие.

С тех пор я уже не встречался с Мишей, но окончательную судьбу его я узнал следующим образом.

VIII

Года три спустя я опять находился у себя в деревне; вдруг входит человек и докладывает, что меня спрашивает госпожа Полтева. Я никакой госпожи Полтевой не знал, да и человек, докладывавший мне, почему-то саркастически улыбался. На вопросительный мой взгляд он отвечал, что барыня меня спрашивает молодая, бедно одетая, и что приехала она в крестьянской телеге в одну лошадь и сама правила! Я велел попросить госпожу Полтеву пожаловать ко мне в кабинет.

Я увидал женщину лет двадцати пяти, в одежде мещанки, с большим платком на голове. Лицо простое, кругловатое, не лишенное приятности; взгляд понурый и немного печальный, движения застенчивые.

— Вы госпожа Полтева? — спросил я — и попросил ее сесть.

— Точно так-с,— отвечала она тихим голосом и не садясь.— Я вдова вашего племянника Михаила Андреевича Полтева.

— Михаил Андреевич скончался? Давно ли? Да сядьте, прошу вас.

Она опустилась на стул.

— Второй месяц пошел.

— И давно вы за него замуж вышли?

— Я с ним всего год пожила.

— Вы теперь откуда?

— Я из-под Тулы... Село там есть Знаменское-Глушково — может быть, изволите знать. Я тамошнего дьячка дочь. Мы с Михаилом Андреичем там и жили... Он у моего батюшки поселился. Всего год мы с ним пожили.

У молодой женщины слегка задергались губы — и она поднесла к ним руку. Казалось, она собиралась заплакать... однако одолела себя, откашлянулась.

— Мне Михаил Андреевич покойный,— продолжала она,— перед смертью наказал к вам съездить; беспременно, говорит, съезди! И сказал он мне, чтобы я поблагодарила вас за всю вашу доброту и чтобы передала вам... вот эту... эту самую вещицу (она достала из кармана небольшой сверток), которую он всегда при себе имел... И Михаил Андреевич сказал — если вам угодно будет принять это на память,— так чтобы вы не побрезговали... Другим, говорит, я ничем отдарить их... то есть вас... не могу...

В сверточке находилась небольшая серебряная чашечка с вензелем Мишиной матери. Эту чашечку я часто видал в Мишиных руках — и раз он даже сказал мне, говоря про одного бедняка, что, стало быть, он гол, коли у него ни чашечки, ни плошечки,— а у меня вот хоть эта есть.

Я поблагодарил, взял чашечку и спросил: какой болезнью умер Миша? — Вероятно...

Тут я прикусил язык... но молодая женщина поняла мою недомолвку... Она быстро взглянула на меня, потом потупилась, печально улыбнулась и тотчас же промолвила:

— Ах нет! это уж он совсем бросил, с тех пор как со мной спознался... Только здоровье его было какое?!. Потерянное совсем. Как бросил пить, так сейчас болезнь его и обнаружилась. Такой он стал степенный; всё отцу подсоблять хотел, по хозяйству, аль в огороде... или какая другая случалась работа... даром, что дворянского был роду. Только где сил взять?.. Тоже по письменной части хотел было заняться — часть эту, вам известно, он знал прекрасно; но руки у него тряслись — и перо держать он не мог как следует... Всё себя упрекал: белоручка, мол, я, никому добра не делал, не помогал, не трудился! Убивался он очень об этом о самом... Говорил, что народ, мол, наш трудится — а мы что?.. Ах, Николай Николаич, хороший он был человек — и меня любил... и я... Ах, извините...

Тут молодая женщина впрямь заплакала. Хотелось бы мне ее утешить — да не знал я, как.

— Остался ли у вас ребеночек? — спросил я наконец.

Она вздохнула.

— Нет, не остался... Да где уж тут! — И слезы полились еще сильнее.

— Так вот чем разрешились Мишины скитанья по мытарствам,— завершил старик П. свой рассказ.— Вы, господа, конечно, согласитесь со мною, что я имел право назвать его отчаянным; но, вероятно, согласитесь также и в том, что он не походил на нынешних отчаянных, хотя, полагать надо, иной философ и нашел бы родственные черты между ним и ими. И там и тут жажда самоистребления, тоска, неудовлетворенность... А с чего это всё берется, предоставляю судить — именно философу.

ПЕСНЬ ТОРЖЕСТВУЮЩЕЙ ЛЮБВИ

[MDXLII]

Посвящается памяти Гюстава Флобера

«Wage Du zu irren und zu träumen!»
Schiller [1]

Вот что я вычитал в одной старинной итальянской рукописи:

I

Около половины XVI столетия проживало в Ферраре (она процветала тогда под скипетром своих великолепных герцогов, покровителей искусств и поэзии) — проживало два молодых человека, по имени Фабий и Муций. Ровесники годами, близкие родственники, они почти никогда не разлучались; сердечная дружба связала их с раннего детства... одинаковость судьбы скрепила эту связь. Оба принадлежали к старинным фамилиям; оба были богаты, независимы и бессемейны; вкусы, наклонности были схожие у обоих. Муций занимался музыкой, Фабий — живописью. Вся Феррара гордилась ими, как лучшим украшением двора, общества и города. Наружностью они, однако, не походили друг на друга, хотя оба отличались стройной юношеской красотою: Фабий был выше ростом, бел лицом и волосом рус, а глаза имел голубые; Муций, напротив, имел лицо смуглое, волосы черные, и в темнокарих его глазах не было того веселого блеска, на губах той приветливой улыбки, как у Фабия; его густые брови надвигались на узкие веки — тогда как золотистые брови Фабия уходили тонкими полукругами на чистый и ровный лоб. Муций и в разговоре был менее жив; со всем тем оба друга одинаково нравились дамам, ибо недаром были образцами рыцарской угодливости и щедрости.

В одно и то же время с ними проживала в Ферраре девица по имени Валерия. Ее считали одной из первых красавиц города, хотя видеть ее можно было очень редко, так как она вела жизнь уединенную и выходила из дому только в церковь — да в большие праздники на гулянье. Она жила с своей матерью, благородной, но не-

[1] «Дерзай заблуждаться и мечтать!» — *Шиллер* *(нем.)*.

богатой вдовою, у которой не было других детей. Всякому, кому только ни встречалась Валерия, она внушала чувство невольного удивления и столь же невольного, нежного уважения: так скромна была ее осанка, так мало, казалось, сознавала она сама всю силу своих прелестей. Иные, правда, находили ее несколько бледной; взгляд ее глаз, почти всегда опущенных, выражал некоторую застенчивость и даже боязливость; ее губы улыбались редко — и то слегка; голос ее едва ли кто слышал. Но ходила молва, что он был у нее прекрасен и что, запершись у себя в комнате, ранним утром, когда всё в городе еще дремало, она любила напевать старинные песни, под звуки лютни, на которой сама играла. Несмотря на бледность лица, Валерия цвела здоровьем; и даже старые люди, глядя на нее, не могли не подумать: «О, как счастлив будет тот юноша, для кого распустится наконец этот еще свернутый в лепестках своих, еще нетронутый и девственный цветок!»

II

Фабий и Муций увидали Валерию в первый раз на пышном народном празднике, устроенном по повелению герцога Феррарского, Эркола, сына знаменитой Лукреции Борджиа, в честь знатных вельмож, прибывших из Парижа по приглашению герцогини, дочери французского короля Людовика XII. Рядом с своею матерью сидела Валерия посреди изящной трибуны, возведенной по рисунку Палладия на главной феррарской площади для почетнейших дам города. Оба — и Фабий и Муций— страстно в нее влюбились в тот же день; и так как они ничего не скрывали друг от друга, то каждый из них скоро узнал, что происходило в сердце товарища. Они положили между собою: постараться обоим сблизиться с Валерией — и если она удостоит избрать кого-нибудь из них, то другой безропотно покорится ее решению. Несколько недель спустя благодаря доброй славе, которой они пользовались по праву, им удалось проникнуть в труднодоступный дом вдовы; она позволила им посещать ее. С тех пор они почти каждый день могли видеть Валерию и беседовать с нею — и с каждым днем огонь, зажженный в сердцах обоих юношей, разгорался сильнее и сильнее; однако Валерия ни одному из них не оказывала предпочтения, хотя присутствие их ей видимо нравилось. С Муцием она занималась

3

Пѣснь торжествующей любви

(MDXLII.)

Вотъ что я вычиталъ въ одной старинной Италіянской рукописи:

I.

Около сороковыхъ годовъ XVI столѣтія проживало въ Феррарѣ — (она процвѣтала тогда подъ скипетромъ своихъ великолѣпныхъ Герцоговъ, покровителей искусствъ и поэзіи) проживало два молодыхъ человѣка, по имени Фабій и Муцій. Ровесники годами, близкіе родственники, они почти никогда не разлучались; сердечная дружба связала ихъ съ ранняго дѣтства: одинаковость судьбы скрѣпила эту связь. — Оба принадлежали къ стариннымъ фамиліямъ; оба были богаты, независимы и безсемейны; вкусы, наклонности были сходны у обоихъ. Оба любили искусство: Муцій занимался музыкой, Фабій живописью. Вся Феррара гордилась ими, какъ украшеніями двора, общества и города. Наружностью они однако не походили другъ на друга, хотя оба отличались стройной юношеской красотою: Фабій былъ выше ростомъ, бѣлъ лицомъ и волосомъ русъ, а глаза имѣлъ голубые. Муцій, напротивъ, имѣлъ лицо смуглое, волосы черные — и въ темно-карихъ его глазахъ не было того веселаго блеска, на губахъ той привѣтливой улыбки, какъ у Фабія; его густыя брови нависли на узкія вѣки —

«ПЕСНЬ ТОРЖЕСТВУЮЩЕЙ ЛЮБВИ».
ПЕРВАЯ СТРАНИЦА НАБОРНОЙ РУКОПИСИ.

Институт русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР, Ленинград.

музыкой; но разговаривала больше с Фабием; с ним она меньше робела. Наконец они решились узнать окончательно свою участь — и послали к Валерии письмо, в котором просили ее объясниться и сказать, кому она готова отдать свою руку. Валерия показала это письмо матери — и объявила ей, что готова остаться в девицах; но если мать находит, что ей пора вступить в брак, то она выйдет за того, на кого укажет ее выбор. Почтенная вдова пролила несколько слез при мысли о разлуке с любимым детищем; однако отказать женихам не было причины: она считала их обоих равно достойными руки ее дочери. Но, втайне предпочитая Фабия и подозревая, что и Валерии он приходится более по нраву, она указала на него. На другой же день Фабий узнал о своем счастье; а Муцию осталось сдержать свое слово — и покориться.

Он так и сделал; но быть свидетелем торжества своего друга, своего соперника — он не мог. Немедленно продал он бо́льшую часть своего имущества и, собрав несколько тысяч дукатов, отправился в дальнее путешествие на Восток. Прощаясь с Фабием, он сказал ему, что вернется не прежде, чем почувствует, что последние следы страсти в нем исчезли. Тяжело было Фабию расстаться с другом детства и юности... но радостное ожидание близкого блаженства вскоре поглотило всякие другие ощущения — и он отдался весь восторгам увенчанной любви.

Вскоре он вступил в брак с Валерией — и только тогда узнал всю цену сокровища, которым ему довелось обладать. У него была прекрасная вилла, окруженная тенистым садом, в недальнем расстоянии от Феррары; он переехал туда вместе с женою и ее матерью. Светлое время наступило для них тогда. Супружеская жизнь выказала в новом пленительном свете все совершенства Валерии; Фабий становился замечательным живописцем — уже не простым любителем, а мастером. Мать Валерии радовалась и благодарила бога, глядя на счастливую чету. Четыре года промчались незаметно, как блаженный сон. Одного недоставало молодым супругам; одно завелось у них горе: детей у них не было... но надежда не покидала их. К концу четвертого года их посетило великое, на этот раз настоящее горе: мать Валерии скончалась, поболев несколько дней.

Много слез пролила Валерия; долго не могла привыкнуть к своей утрате. Но прошел еще год, жизнь опять

вступила в свои права, потекла прежним руслом. И вот в один прекрасный летний вечер, никого не предупредив, в Феррару вернулся Муций.

III

Во все пять лет, прошедших с его отъезда, никто о нем ничего не ведал; всякие слухи о нем замерли, точно он исчез с лица земли. Когда Фабий встретил своего друга на одной из улиц Феррары, он чуть не закричал, сперва от испуга, потом от радости — и тотчас пригласил его в свою виллу. Там у него в саду находился отдельный, поместительный павильон; он предложил своему другу поселиться в этом павильоне. Муций охотно согласился и в тот же день переехал туда вместе с своим слугою, немым малайцем — немым, но не глухим, и даже, судя по живости его взгляда, очень понятливым человеком... Язык у него был вырезан. Муций привез с собою десятки сундуков, наполненных разнообразными драгоценностями, собранными им во время своих продолжительных странствований. Валерия обрадовалась возвращению Муция; и он ее приветствовал дружески весело, но спокойно: по всему видно было, что он сдержал слово, данное Фабию. В течение дня он успел устроиться в своем павильоне; выложил, с помощью малайца, привезенные редкости: ковры, шелковые ткани, бархатные и парчовые одежды, оружия, чаши, блюда и кубки, украшенные финифтью, золотые, серебряные вещи, обделанные в жемчуг и бирюзу, резные ящики из янтаря и слоновой кости, граненые бутыли, пряности, курева, звериные шкуры, перья неведомых птиц и множество других предметов, самое употребление которых казалось таинственным и непонятным. В числе всех этих драгоценностей находилось богатое жемчужное ожерелье, полученное Муцием от персидского шаха за некоторую великую и тайную услугу; он попросил позволения у Валерии собственноручно возложить ей это ожерелье на шею; оно показалось ей тяжелым и одаренным какой-то странной теплотой... оно так и прильнуло к коже. К вечеру, после обеда, сидя на террасе виллы, в тени олеандров и лавров, Муций принялся рассказывать свои похождения. Он говорил о виденных им далеких странах, заоблачных горах, безводных пустынях, о реках, подобных морям; говорил о громадных зданиях и храмах, о тысячелетних деревьях, о радужных цветах и птицах; называл посещенные им города и народы...

чем-то сказочным веяло от одних их имен. Весь Восток был знаком Муцию: он проехал Персию, Аравию, где кони благороднее и красивее всех других живых существ, проник в самую глубь Индии, где род людской подобен величественным растениям, достиг границ Китая и Тибета, где живой бог, по имени Далай-Лама, обитает на земле во образе безмолвного человека с узкими глазами. Чудны были его рассказы! Как очарованные, слушали его и Фабий и Валерия. Собственно, черты Муциева лица мало изменились: с детства смуглое, оно еще потемнело, загорело под лучами более яркого солнца, глаза казались углубленнее прежнего — и только; но выражение этого лица стало другое: сосредоточенное, важное, оно не оживлялось даже тогда, когда он упоминал об опасностях, которым подвергался ночью, в лесах, оглашаемых воем тигров, или днем, на пустых дорогах, где путешественников караулят изуверы, которые удавливают их в честь железной богини, требующей человеческих жертв. И голос Муция стал глуше и ровнее; движения рук, всего тела утратили развязность, свойственную итальянскому племени. С помощью слуги своего, раболепно-проворного малайца, он показал хозяевам своим несколько фокусов, которым научили его индийские брамины. Так, например, он, предварительно скрыв себя занавесом, явился вдруг сидящим на воздухе с поджатыми ногами, слегка опираясь концами пальцев на отвесно поставленную бамбуковую трость, что немало удивило Фабия, а Валерию даже испугало... «Уж не чернокнижник ли он?» — подумалось ей. Когда же он принялся вызывать, насвистывая на маленькой флейте, из закрытой корзины ручных змей, когда, шевеля жалами, показались из-под пестрой ткани их темные плоские головки, Валерия пришла в ужас и попросила Муция спрятать поскорей этих ненавистных гадов. За ужином Муций попотчевал своих друзей ширазским вином из круглой бутыли с длинным горлышком; чрезвычайно пахучее и густое, золотистого цвета с зеленоватым отливом, оно загадочно блестело, палитое в крошечные яшмовые чашечки. Вкусом оно не походило на европейские вина; оно было очень сладко и пряно и, выпитое медленно, небольшими глотками, возбуждало во всех членах ощущение приятной дремоты. Муций заставил и Фабия и Валерию откушать по чашечке и выпил сам. Над ее чашечкой он, наклонясь, что-то прошептал, потряс пальцами. Валерия это заметила; но так

как вообще в приемах Муция, во всей его повадке проявлялось нечто чуждое и небывалое, то она только подумала: «Не принял ли он в Индии новой какой веры, или у них там обычаи такие?» Потом, помолчав немного, она спросила его: продолжал ли он, во время своего путешествия, заниматься музыкой? В ответ ей Муций приказал малайцу принести свою индийскую скрипку. Она походила на нынешние, только вместо четырех струн у ней было три, верх ее обтягивала голубоватая змеиная кожа, и тонкий тростниковый смычок имел вид полукруглый, а на самом его конце блистал заостренный алмаз.

Муций сыграл сперва несколько заунывных, по его словам, народных песен, странных и даже диких для итальянского уха; звук металлических струн был жалобен и слаб. Но когда Муций начал последнюю песнь — этот самый звук внезапно окреп, затрепетал звонко и сильно; страстная мелодия полилась из-под широко проводимого смычка, полилась, красиво изгибаясь, как та змея, что покрывала своей кожей скрипичный верх; и таким огнем, такой торжествующей радостью сияла и горела эта мелодия, что и Фабию и Валерии стало жутко на сердце, и слезы выступили на глаза... а Муций, с наклоненной, прижатой к скрипке головою, с побледневшими щеками, с бровями, сдвинутыми в одну черту, казался еще сосредоточенней и важней — и алмаз на конце смычка бросал на ходу лучистые искры, как бы тоже зажженный огнем той дивной песни. Когда же Муций кончил и, всё еще крепко стискивая скрипку между подбородком и плечом, уронил руку, державшую смычок. «Что это такое? Что ты нам сыграл?» — воскликнул Фабий. Валерия не промолвила ни слова — но, казалось, всё ее существо повторило вопрос ее мужа. Муций положил скрипку на стол — и, слегка встряхнув волосами, с вежливой улыбкой промолвил: «Это? Эту мелодию.. эту песнь я услышал раз на острове Цейлоне. Эта песнь слывет там, между народом, песнью счастливой, удовлетворенной любви».— «Повтори»,— прошептал было Фабий. «Нет; этого повторить нельзя,— ответил Муций,— теперь же поздно. Синьоре Валерии следует отдохнуть; и мне пора... я устал». В течение целого дня Муций обращался с Валерией почтительно-просто, как давнишний друг; но уходя, он пожал ей руку крепко-накрепко, надавив пальцами на ее ладонь и так настойчиво заглядывая ей в лицо, что она, хоть и не поднимала век, однако почувствовала этот

взгляд на внезапно вспыхнувших своих щеках. Она ничего не сказала Муцию, но отдернула руку, а когда он удалился, посмотрела на дверь, через которую он вышел. Она вспомнила, как и в прежние годы она его побаивалась... и теперь нашло на нее недоумение. Муций ушел в свой павильон; супруги отправились в спальню.

IV

Валерия не скоро заснула; кровь ее тихо и томно волновалась, и в голове слегка звенело... от странного того вина, как она полагала, а может быть, и от рассказов Муция, от игры его на скрипке... К утру она наконец заснула, и ей привиделся необычайный сон.

Ей почудилось, что вступает она в просторную комнату с низким сводом... Такой комнаты она в жизни не видывала. Все стены выложены мелкими голубыми изразцами с золотыми «травами»; тонкие резные столбы из алебастра подпирают мраморный свод; самый этот свод и столбы кажутся полупрозрачными... бледно-розовый свет отовсюду проникает в комнату, озаряя все предметы таинственно и однообразно; парчовые подушки лежат на узком ковре по самой середине гладкого, как зеркало, пола. По углам едва заметно дымятся высокие курильницы, представляющие чудовищных зверей; окон нет нигде; дверь, завешенная бархатным пологом, безмолвно чернеет во впадине стены. И вдруг этот полог тихонько скользит, отодвигается... и входит Муций. Он кланяется, раскрывает объятия, смеется... Его жесткие руки обвивают стан Валерии; его сухие губы обожгли ее всю... Она падает навзничь, на подушки...

. . . .

Стеня от ужаса, после долгих усилий, проснулась Валерия. Еще не понимая, где она и что с нею, она приподнимается на кровати, озирается... Дрожь пробегает по всему ее телу... Фабий лежит с нею рядом. Он спит; но лицо его, при свете круглой и яркой луны, глядящей в окна, бледно, как у мертвеца... оно печальнее мертвого лица. Валерия разбудила мужа — и как только он взглянул на нее, «Что с тобою?» — воскликнул он. «Я видела... я видела страшный сон»,— прошептала она, всё еще содрогаясь...

Но в это мгновенье со стороны павильона принеслись сильные звуки, и оба — и Фабий и Валерия — узнали мелодию, которую сыграл им Муций, называя ее

песней удовлетворенной, торжествующей любви. Фабий с недоумением посмотрел на Валерию... она закрыла глаза, отвернулась — и оба, притаив дыхание, прослушали песнь до конца. Когда замер последний звук, луна зашла за облако, в комнате вдруг потемнело... Оба супруга опустили головы на подушки, не обменявшись словом,— и ни один из них не заметил, когда заснул другой.

V

На другое утро Муций пришел к завтраку; он казался довольным — и весело приветствовал Валерию. С замешательством ответила она ему — взглянула на него мельком — и страшно ей стало от этого довольного, веселого лица, от этих пронзительных и любопытных глаз. Муций принялся было снова рассказывать... но Фабий перервал его на первом слове.

— Ты, видно, не мог заснуть на новом месте? Мы с женою слышали, как ты сыграл вчерашнюю песнь.

— Да? вы слышали? — промолвил Муций.— Я ее сыграл точно, но я спал перед тем и даже видел удивительный сон.

Валерия насторожилась.

— Какой сон? — спросил Фабий.

— Я видел,— отвечал Муций, не спуская глаз с Валерии,— будто я вступаю в просторную комнату со сводом, убранную по-восточному. Резные столбы подпирали свод, стены были покрыты изразцами, и хотя не было ни окон, ни свечей, всю комнату наполнял розовый свет, точно она вся была сложена из прозрачного камня. По углам дымились китайские курильницы, на полу лежали парчовые подушки вдоль узкого ковра. Я вошел через дверь, завешенную пологом, а из другой двери, прямо напротив — появилась женщина, которую я любил когда-то. И до того она мне показалась прекрасной, что я загорелся весь прежнею любовью...

Муций знаменательно умолк. Валерия сидела неподвижно и только медленно бледнела... и дыхание ее стало глубже.

— Тогда,— продолжал Муций,— я проснулся и сыграл ту песнь.

— Но кто была эта женщина? — проговорил Фабий.

— Кто она была? Жена одного индийца. Я встретился с нею в городе Дéли... Ее уже теперь нет в живых. Она умерла.

— А муж? — спросил Фабий, сам не зная, зачем он это спрашивает.

— Муж тоже, говорят, умер. Я их обоих скоро потерял из виду.

— Странно! — заметил Фабий.— Моя жена тоже видела нынешней ночью необыкновенный сон,— Муций пристально взглянул на Валерию,— который она мне не рассказала,— добавил Фабий.

Но тут Валерия встала и вышла из комнаты. Тотчас после завтрака Муций тоже ушел, объявив, что ему нужно быть в Ферраре по делам и что он раньше вечера не вернется.

VI

За несколько недель до возвращения Муция Фабий начал портрет своей жены, изобразив ее с атрибутами святой Цецилии. Он значительно подвинулся в своем искусстве; знаменитый Луини, ученик Леонардо да Винчи, приезжал к нему в Феррару — и, помогая ему собственными советами, передавал также наставления своего великого учителя. Портрет был почти совсем готов; оставалось докончить лицо несколькими штрихами — и Фабий мог бы по справедливости гордиться своим произведением. Отпустивши Муция в Феррару, он отправился в свою студию, где Валерия обыкновенно его ожидала; но он не нашел ее там; кликнул ее — она не отозвалась. Фабием овладело тайное беспокойство; он принялся ее отыскивать. В доме ее не было; Фабий побежал в сад — и там, в одной из отдаленнейших аллей, он увидел Валерию. С опущенной на грудь головою, со скрещенными на коленях руками, она сидела на скамье — а за ней, выделяясь из темной зелени кипариса, мраморный сатир, с искаженным злорадной усмешкой лицом, прикладывал к свирели свои заостренные губы. Валерия заметно обрадовалась появлению мужа — и на его тревожные вопросы ответила, что у ней немного болит голова; но что это ничего не значит и что она готова пойти на сеанс. Фабий привел ее в студию, усадил, взялся за кисть; но к великой своей досаде никак не мог кончить лица так, как бы он того желал. И не потому, что оно было несколько бледно и казалось утомленным... нет; но того чистого, святого выражения, которое так ему в нем нравилось и которое навело его на мысль представить Валерию в образе святой Цецилии,— он сегодня не находил. Он наконец бро-

сил кисть, сказал жене, что он не в ударе, что и ей не мешало бы прилечь. так как на вид она кажется не совсем здоровой,— и поставил мольберт с картиной лицом к стене. Валерия согласилась с ним, что ей следует отдохнуть, и, повторив свою жалобу на головную боль, удалилась к себе в спальню.

Фабий остался в студии. Он чувствовал странное, ему самому непонятное смущение. Пребывание Муция под его кровом. пребывание. на которое он, Фабий, сам напросился. стесняло его. И не то. чтобы он ревновал... возможно ли было ревновать Валерию! — но в своем друге он не узнавал прежнего товарища. Всё то чуждое. неизвестное, новое. что Муций вынес с собою из тех далеких стран — и что, казалось. вошло ему в плоть и кровь,— все эти магические приемы, песни, странные напитки, этот немой малаец, самый даже пряный запах, которым отдавало от одежды Муция, от его волос, от его дыхания,— всё это внушало Фабию чувство, похожее на недоверчивость, пожалуй, даже на робость. И отчего этот малаец, служа за столом, с таким неприятным вниманием глядит на него, Фабия? Право, иной мог бы подумать, что он понимает по-итальянски. Муций говорил о нем, что, поплатившись языком, этот малаец принес великую жертву — и зато обладает теперь великою силой. Какою силою? и как он мог приобрести ее ценою языка? Всё это очень странно! очень непонятно! Фабий пошел к жене в спальню; она лежала на постели, одетая — но не спала. Услышав его шаги, она вздрогнула, потом опять обрадовалась ему так же, как и в саду. Фабий сел возле кровати, взял Валерию за руку и, помолчав немного, спросил ее: какой это необыкновенный сон напугал ее нынешней ночью? И был ли он вроде того сна. о котором рассказывал Муций? Валерия покраснела и поспешно промолвила: «О нет! нет! я видела... какое-то чудовище, которое хотело растерзать меня».— «Чудовище? В образе человека?» — спросил Фабий. «Нет, зверя... зверя!» — И Валерия отвернулась и скрыла в подушки свое пылавшее лицо. Фабий еще некоторое время подержал руку жены; молча поднес ее к губам своим— и удалился.

Невесело провели этот день оба супруга. Казалось, что-то темное нависло над их головами... но что это было — они назвать не могли. Им хотелось быть вместе — словно опасность им грозила; а что сказать друг другу — они не знали. Фабий попытался было взяться за портрет,

читать Ариоста, поэма которого, недавно перед тем появившаяся в Ферраре, уже гремела по Италии; но ничего не удавалось... Поздно вечером, к самому ужину, вернулся Муций.

VII

Он казался спокойным и довольным — но рассказывал мало; всё больше расспрашивал Фабия о прежних общих знакомых, о немецком походе, об императоре Карле; говорил о своем желании съездить в Рим, посмотреть на нового папу. Он опять предложил Валерии ширазского вина — и, в ответ на ее отказ, промолвил, словно про себя: «Теперь уже не нужно». Вернувшись с женою в спальню, Фабий скоро заснул... и, проснувшись час спустя, мог убедиться, что никто не разделял его ложа: Валерии не было с ним. Он быстро приподнялся — и в то же мгновенье увидел жену, в ночном платье, входившую из сада в комнату. Луна светила ярко, хотя незадолго перед тем пробежал легкий дождик. С закрытыми глазами, с выражением тайного ужаса на неподвижном лице, Валерия приблизилась к постели и, ощупав ее протянутыми вперед руками, легла поспешно и молча. Фабий обратился к ней с вопросом — но она ничего не ответила; казалось, она спала. Он коснулся ее и почувствовал на ее одежде, на ее волосах дождевые капли, а на подошвах ее обнаженных ног — песчинки. Тогда он вскочил и побежал в сад через полуоткрытую дверь. Лунный, до жесткости яркий свет обливал все предметы. Фабий оглянулся — и увидел на песку дорожки следы двойной пары ног — одна пара была босая; и вели эти следы к беседке из жасминов, находившейся в стороне между павильоном и домом. Он остановился в недоумении — и вот внезапно снова раздаются звуки той песни, которую он уже слышал в прошлую ночь! Фабий вздрагивает, вбегает в павильон... Муций стоит посреди комнаты и играет на скрипке. Фабий бросается к нему.

— Ты был в саду, ты выходил, твое платье мокро от дождя?

— Нет... не знаю... кажется... не выходил...— с расстановкой отвечает Муций, словно удивленный приходом Фабия и его волнением.

Фабий схватывает его за руку.

— И почему ты опять играешь эту мелодию? Разве ты опять видел сон?

Муций взглядывает на Фабия с тем же удивлением — и молчит.

— Отвечай же!

Месяц стал, как круглый щит.
Как змея, река блестит...
Друг проснулся, недруг спит —
Ястреб курочку когтит...
Помогай! —

бормочет Муций нараспев, как бы в забытьи.

Фабий отступил шага на два, уставился на Муция, подумал... и вернулся в дом, в спальню.

Склонив голову на плечо и бессильно раскинув руки, Валерия спала тяжелым сном. Он не скоро ее добудился... но как только она увидала его, она бросилась к нему на шею, обняла его судорожно; всё тело ее трепетало.

— Что с тобой, моя дорогая, что с тобою? — повторял Фабий, стараясь ее успокоить. Но она продолжала замирать на его груди.

— Ах, какие страшные сны я вижу,— шептала она, прижимаясь к нему лицом. Фабий хотел было ее расспросить... но она только содрогалась...

Ранним отблеском утра заалелись стекла окон, когда она наконец задремала в его объятиях.

VIII

На другой день Муций исчез с утра, а Валерия объявила мужу, что намерена съездить в соседний монастырь, где проживал ее духовный отец, старый и степенный монах, к которому она питала безграничное доверие. На расспросы Фабия она ответила, что желает облегчить исповедью свою душу, обремененную необычайными впечатлениями последних дней. Глядя на осунувшееся лицо Валерии, слушая ее угасший голос, Фабий и сам одобрил ее намерение: почтенный отец Лоренцо мог преподать ей полезный совет, рассеять ее сомнения... Под охраной четырех провожатых Валерия отправилась в монастырь, а Фабий остался дома и, до возвращения жены, пробродил по саду, стараясь понять, что происходило с нею — и чувствуя постоянный страх, и гнев, и боль неопределенных подозрений... Он не раз заходил в павильон; но Муций не возвращался — а малаец глядел на Фабия, как истукан, подобострастно наклонив голову, с далеко — так по крайней мере показалось Фабию — далеко затаенной усмешкой на бронзовом лице. Между тем Валерия на исповеди всё

рассказала своему духовнику, не столько стыдясь, сколько ужасаясь. Духовник выслушал ее внимательно, благословил ее, отпустил ей ее невольный грех — а сам про себя подумал: «Колдовство, чары бесовские... это так оставить нельзя»... и вместе с Валерией отправился в ее виллу, как бы для того, чтобы окончательно ее успокоить и утешить. При виде духовника Фабий несколько перетревожился; но многоопытный старец заранее обдумал, как поступить ему следовало. Оставшись наедине с Фабием, он, конечно, не выдал тайны исповеди, однако посоветовал ему удалить, буде возможно, из дому приглашенного им гостя, который своими рассказами, песнями, всем поведением своим расстраивал воображение Валерии. Притом, по мнению старика, Муций и прежде, помнится, не совсем был тверд в вере, а, побывав такое долгое время в странах, не озаренных светом христианства, мог вынести оттуда заразу ложных учений, мог даже спознаться с тайнами магии; а потому хотя старинная дружба и предъявляла свои права, однако благоразумная осторожность указывала на необходимость разлуки! Фабий вполне согласился с почтенным монахом, Валерия даже просветлела вся, когда муж сообщил ей совет ее духовника,— и, напутствуемый благими пожеланиями обоих супругов, снабженный богатыми подарками для монастыря и для бедных, отец Лоренцо отправился домой.

Фабий намеревался тотчас после ужина объясниться с Муцием; но странный его гость не возвратился к ужину. Тогда Фабий решил отсрочить разговор с Муцием до следующего дня — и оба супруга удалились в свою опочивальню.

IX

Валерия скоро заснула; но Фабий заснуть не мог. В ночной тишине ему живее представлялось всё виденное, всё прочувствованное им; он еще настойчивее задавал себе вопросы, на которые по-прежнему не находил ответа. Точно ли Муций стал чернокнижником — и уж не отравил ли он Валерию? Она больна... но какою болезнью? Пока он, положив голову на руку и сдерживая горячее дыхание, предавался тяжелому раздумью — луна опять взошла на безоблачное небо; и вместе с ее лучами, сквозь полупрозрачные стекла окон, со стороны павильона — или это почудилось Фабию? — стало вливаться дуновение, подобное легкой, пахучей струе... вот слышится назойливое,

страстное шептание... и в тот же миг он заметил, что Валерия начинает слабо шевелиться. Он встрепенулся, смотрит: она приподнимается, опускает сперва одну ногу, потом другую с постели — и, как лунатик, безжизненно устремив прямо перед собою потускневшие глаза, протянув вперед руки, направляется к двери сада! Фабий мгновенно выскочил в другую дверь спальни — и, проворно обежав угол дома, припер ту, что вела в сад... Едва он успел ухватиться за замок, как уже почувствовал, что кто-то силится отворить дверь изнутри, налегает на нее... еще и еще... потом раздались трепетные стенанья...

«Но ведь Муций не вернулся из города»,— мелькнуло в голове у Фабия,— и он бросился к павильону...

Что же он видит?

Навстречу ему, по дороге, ярко залитой блеском месячных лучей, идет, тоже как лунатик, тоже протянув руки вперед и безжизненно раскрыв глаза,— идет Муций... Фабий подбегает к нему — но тот, не замечая его, идет, мерно выступая шаг за шагом — и недвижное лицо его смеется при свете луны, как у малайца. Фабий хочет кликнуть его по имени... но в это мгновение он слышит: сзади его, в доме, стукнуло окно... Он оглядывается...

Действительно: окно спальни распахнулось сверху донизу — и, занеся ногу через порог, стоит в окне Валерия... руки ее как будто ищут Муция... она вся тянется к нему.

Несказанное бешенство залило грудь Фабия внезапно нахлынувшей волной. «Проклятый колдун!» — возопил он неистово — и, схватив Муция одной рукою за горло, он нащупал другою кинжал в его поясе — и по самую рукоятку воткнул лезвие ему в бок.

Пронзительно закричал Муций и, притиснув ладонью рану, побежал, спотыкаясь, назад в павильон... Но в самый тот миг, когда его ударил Фабий, так же пронзительно закричала Валерия и, как подкошенная, упала на землю.

Фабий бросился к ней, поднял ее, понес на кровать, заговорил с нею...

Она долго лежала неподвижно; но открыла наконец глаза, вздохнула глубоко, прерывисто и радостно, как человек, только что спасенный от неминучей смерти,— увидала мужа — и, обвив его шею руками, прижалась к его груди. «Ты, ты, это ты», — лепетала она. Понемногу руки ее разжались, голова откинулась назад и, про-

шептав с блаженной улыбкой: «Слава богу, всё кончено... Но как я устала!» — она заснула крепким, но не тяжелым сном.

X

Фабий опустился возле ее ложа — и, не спуская глаз с ее бледного и похудевшего, но уже успокоенного лица, начал размышлять о том, что произошло... а также о том, как поступить ему теперь? Что предпринять? Если он убил Муция,— а вспомнив о том, как глубоко вошло лезвие кинжала, он в этом сомневаться не мог,— если он убил Муция, то нельзя же это скрыть! Следовало довести это до сведения герцога, судей... но как объяснить, как рассказать такое непонятное дело? Он, Фабий, убил, у себя в доме, своего родственника, своего лучшего друга! Станут спрашивать: за что? по какому поводу?.. Но если Муций не убит? Фабий не в силах был оставаться долее в неведении — и, удостоверившись, что Валерия спит, он осторожно встал с кресла, вышел из дому и направился к павильону. Всё в нем было тихо; только в одном окне виднелся свет. С замиравшим сердцем раскрыл он наружную дверь (на ней остался след окровавленных пальцев, и по песку дороги чернели капли крови) — перешел первую темную комнату... и остановился на пороге, пораженный изумлением.

Посередине комнаты, на персидском ковре, с парчовой подушкой под головою, покрытый широкой красной шалью с черными разводами, лежал, прямо вытянув все члены, Муций. Лицо его, желтое, как воск, с закрытыми глазами, с посинелыми веками было обращено к потолку, не было заметно дыхания: он казался мертвецом. У ног его, тоже закутанный в красную шаль, стоял на коленях малаец. Он держал в левой руке ветку неведомого растения, похожего на папоротник, и, наклонившись слегка наперед, неотвратно глядел на своего господина. Небольшой факел, воткнутый в пол, горел зеленоватым огнем, и один освещал комнату. Пламя не колебалось и не дымилось. Малаец не пошевельнулся при входе Фабия, только вскинул на него глазами — и опять устремил их на Муция. От времени до времени он приподнимал и опускал ветку, потрясал ею в воздухе,— и немые его губы медленно раскрывались и двигались, как бы произнося беззвучные слова. Между малайцем и Муцием лежал на полу кинжал, которым Фабий поразил своего друга; малаец

раз ударил той веткой по окровавленному лезвию. Прошла минута... другая. Фабий приблизился к малайцу и, нагнувшись к нему, промолвил вполголоса: «Умер?» — Малаец наклонил голову сверху вниз и, высвободив из-под шали свою правую руку, указал повелительно на дверь. Фабий хотел было повторить свой вопрос, но повелевающая рука возобновила свое движение — и Фабий вышел вон, негодуя и дивясь, но повинуясь.

Он нашел Валерию спавшею по-прежнему, с еще более успокоенным лицом. Он не разделся, присел под окном, подперся рукою — и снова погрузился в думу. Поднявшееся солнце застало его на том же самом месте. Валерия не просыпалась.

XI

Фабий хотел дождаться ее пробуждения и уехать в Феррару — как вдруг кто-то легонько постучался в дверь спальни. Фабий вышел и увидел перед собою своего старого дворецкого Антонио.

— Синьор,— начал старик,— малаец нам сейчас объявил, что синьор Муций занемог и желает перебраться со всеми своими пожитками в город; а потому просит вас, чтоб вы дали ему в помощь людей для укладки вещей, а к обеду прислали бы вьючных и верховых лошадей да несколько провожатых. Вы позволяете?

— Малаец тебе объявил это? — спросил Фабий.— Каким образом? Ведь он немой.

— Вот, синьор, бумага, на которой он это всё написал на нашем языке — очень правильно.

— И Муций, ты говоришь, болен?

— Да, очень болен — и видеть его нельзя.

— За врачом не посылали?

— Нет. Малаец не позволил.

— И это написал тебе малаец?

— Да, он.

Фабий помолчал.

— Ну, что ж — распорядись.— промолвил он наконец.

Антонио удалился.

Фабий с недоуменьем посмотрел вслед своему слуге. «Стало быть, не убит?» — подумалось ему... и он не знал, радоваться ли — или сожалеть.— Болен? Но несколько часов тому назад — ведь мертвеца же он видел!

Фабий вернулся к Валерии. Она проснулась и приподняла голову. Супруги обменялись долгим, значитель-

ным взглядом. «Его уже нет?» — промолвила вдруг Валерия. Фабий вздрогнул. «Как... нет? Ты разве...» — «Он уехал?» — продолжала она. Фабию отлегло от сердца. «Нет еще; но он уезжает сегодня».— «И я его больше никогда, никогда не увижу?» — «Никогда».— «И те сны не повторятся?» — «Нет». Валерия опять радостно вздохнула; блаженная улыбка появилась опять на ее губах. Она протянула обе руки мужу. «И мы не будем никогда говорить о нем, никогда, слышишь, мой милый? И я из комнаты не выйду — пока он не уедет. А ты теперь пришли мне моих служанок... да постой: возьми ты эту вещь! — она указала на жемчужное ожерелье, лежавшее на ночном столике, ожерелье, данное ей Муцием,— и брось ее тотчас в самый наш глубокий колодезь. Обними меня — я твоя Валерия — и не приходи ко мне, пока... тот не уедет». Фабий взял ожерелье — жемчужины показались ему потускневшими — и исполнил приказание своей жены. Потом он стал скитаться по саду, издали поглядывая на павильон, около которого уже началась возня укладки. Люди выносили сундуки, вьючили лошадей... но малайца не было между ними. Неотразимое чувство влекло Фабия посмотреть еще раз на то, что происходило в павильоне. Он вспомнил, что на заднем его фасе находилась потаенная дверь, через которую можно было проникнуть во внутренность комнаты, где утром лежал Муций. Он подкрался к той двери, нашел ее незапертою и, раздвинув полости тяжелого занавеса, бросил нерешительный взгляд.

XII

Муций уже не лежал на ковре. Одетый в дорожное платье, он сидел в кресле, но казался трупом, так же как в первое посещение Фабия. Окаменелая голова завалилась на спинку кресла, и протянутые, плашмя положенные, руки недвижно желтели на коленях. Грудь не поднималась. Около кресла, на полу, усеянном засохшими травами, стояло несколько плоских чашек с темной жидкостью, издававшей сильный, почти удушливый запах, запах мускуса. Вокруг каждой чашки свернулась, изредка сверкая золотыми глазками, небольшая змейка медного цвета; а прямо перед Муцием, в двух шагах от него, возвышалась длинная фигура малайца, облеченного в парчовую пеструю хламиду, подпоясанную хвостом тигра, с высокой шляпой в виде рогатой тиары на голове. Но он не был неподвижен; он то благоговейно кланялся и слов-

но молился, то опять выпрямлялся во весь рост, становился даже на цыпочки; то мерно и широко разводил руками, то настойчиво двигал ими в направлении Муция и, казалось, грозил или повелевал, хмурил брови и топал ногою. Все эти движения, видимо, стоили ему большого труда, причиняли даже страдания: он дышал тяжело, пот лил с его лица. Вдруг он замер на месте и, набрав в грудь воздуха, наморщивши лоб, напряг и потянул к себе свои сжатые руки, точно он вожжи в них держал... и, к неописанному ужасу Фабия, голова Муция медленно отделилась от спинки кресла и потянулась вслед за руками малайца... Малаец отпустил их — и Муциева голова опять тяжело откинулась назад; малаец повторил свои движения — и послушная голова повторила их за ними. Темная жидкость в чашках закипела; самые чашки зазвенели тонким звоном, и медные змейки волнообразно зашевелились вокруг каждой из них. Тогда малаец ступил шаг вперед и, высоко подняв брови и расширив до огромности глаза, качнул головою на Муция... и веки мертвеца затрепетали, неровно расклеились, и из-под них показались тусклые, как свинец, зеницы. Гордым торжеством и радостью, радостью почти злобной, просияло лицо малайца; он широко раскрыл свои губы, и из самой глубины его гортани с усилием вырвался протяжный вой... Губы Муция раскрылись тоже, и слабый стон задрожал на них в ответ тому нечеловеческому звуку...

Но тут Фабий не выдержал более: ему представилось, что он присутствует на каких-то бесовских заклинаниях! Он тоже закричал и бросился бежать без оглядки домой, скорей домой, творя молитвы и крестясь.

XIII

Часа три спустя Антонио явился к нему с докладом, что всё готово, все вещи уложены, и синьор Муций собирается в отъезд. Ни слова не ответив своему слуге, Фабий вышел на террасу, откуда был виден павильон. Несколько вьючных лошадей скучилось перед ним; к самому крыльцу был подведен могучий вороной жеребец с широким седлом, приспособленным для двух седоков. Тут же стояли слуги с обнаженными головами, вооруженные провожатаи. Дверь павильона растворилась, и, поддерживаемый малайцем, снова надевшим обычное платье, появился Муций. Лицо его было мертвенно и руки висели, как у мертвеца,— но он переступал... да! переступал но-

гами и, посаженный на коня, держался прямо и ощупью нашел поводья. Малаец вдел ему ноги в стремена, вскочил сзади его на седло, охватил рукой его стан — и весь поезд двинулся. Лошади шли шагом, и когда они заворачивали перед домом, Фабию почудилось, что на темном лице Муция мелькнуло два белых пятнышка... Неужели это он к нему обратил свои зрачки? Один малаец ему поклонился... насмешливо, по обыкновению.

Видела ли это всё Валерия? Жалузи ее окон были закрыты... но, может быть, она стояла позади их.

XIV

К обеду она пришла в столовую и очень была тиха и ласкова; однако всё еще жаловалась на усталость. Но ни тревоги уже не было в ней, ни прежнего постоянного изумления и тайного страха; и когда, на другой день после отъезда Муция, Фабий снова принялся за ее портрет, он нашел в ее чертах то чистое выражение, мгновенное затмение которого так смутило его... и кисть побежала по полотну легко и верно.

Супруги зажили прежней жизнью. Муций для них исчез, как будто его никогда не существовало. И Фабий и Валерия, оба точно условились не упоминать о нем ни единым звуком, не осведомляться об его дальнейшей судьбе: она, впрочем, и для всех осталась тайной. Муций действительно исчез, точно провалился сквозь землю. Фабию однажды показалось, что он обязан рассказать Валерии, что именно произошло в ту роковую ночь... но она, вероятно, угадала его намерение и притаила дыхание, глаза ее прищурились, точно она ожидала удара... И Фабий ее понял: он не нанес ей этого удара.

В один прекрасный осенний день Фабий оканчивал изображение своей Цецилии; Валерия сидела перед орга́ном, и пальцы ее бродили по клавишам... Внезапно, помимо ее воли, под ее руками зазвучала та песнь торжествующей любви, которую некогда играл Муций,— и в тот же миг, в первый раз после ее брака, она почувствовала внутри себя трепет новой, зарождающейся жизни... Валерия вздрогнула, остановилась...

Что это значило? Неужели же...

На этом слове оканчивалась рукопись.

КЛАРА МИЛИЧ

(ПОСЛЕ СМЕРТИ)

I

Весной 1878 года проживал в Москве, в небольшом деревянном домике на Шаболовке, молодой человек, лет двадцати пяти, по имени Яков Аратов. С ним проживала его тетка, старая девица, лет пятидесяти с лишком, сестра его отца, Платонида Ивановна. Она заведовала его хозяйством и вела его расходы, на что Аратов совершенно не был способен. Других родных у него не было. Несколько лет тому назад отец его, небогатый дворянчик Т...й губернии, переехал в Москву вместе с ним и Платонидой Ивановной, которую, впрочем, всегда звал Платошей; и племянник так же ее звал. Покинув деревню, в которой они все до тех пор постоянно жили, старик Аратов поселился в столице с целью поместить сына в университет, к которому сам его подготовил; купил за бесценок домик в одной из отдаленных улиц и устроился в нем со всеми своими книгами и «препаратами». А книг и препаратов у него было много — ибо человек он был не лишенный учености... «чудак преестественный», по словам соседей. Он даже слыл у них чернокнижником; даже прозвище получил «инсектонаблюдателя». Он занимался химией, минералогией, энтомологией, ботаникой и медициной; лечил добровольных пациентов травами и металлическими порошками собственного изобретения, по методе Парацельсия. Этими самыми порошками он свел в могилу свою молоденькую, хорошенькую, но уж слишком тоненькую жену, которую любил страстно и от которой имел единственного сына. Теми же металлическими порошками он порядком попортил здоровье также и сына, которое, напротив, желал подкрепить, находя в его организме анемию и склонность к чахотке, унаследованные от матери. Имя «чернокнижника» он, между прочим, получил оттого, что считал себя правнуком — не по прямой линии, конечно,— знаменитого Брюса, в честь которого он и сына назвал Яковом. Человек он был, что называется, «добрейший», но нрава меланхолического, копотливый, робкий,— склон-

ный ко всему таинственному, мистическому... Полушёпотом произнесенное «А!» было его обычным восклицанием; он и умер с этим восклицанием на устах — года два спустя после переселения в Москву.

Сын его Яков наружностью не походил на отца, который был некрасив собою, неуклюж и неловок; он скорей напоминал свою мать. Те же тонкие, миловидные черты, те же мягкие волосы пепельного цвета, тот же маленький нос с горбиной, те же выпуклые детские губки — и большие зеленовато-серые глаза с поволокой и пушистыми ресницами. Зато нравом он походил на отца; и несхожее с отцовским лицо носило отпечаток отцовского выражения, и руки имел он узловатые, и впалую грудь, как старик Аратов, которого, впрочем, едва ли следует называть стариком, так как он и до пятидесяти лет не дотянул. Еще при жизни его Яков поступил в университет, по физико-математическому факультету; однако курса не кончил — не по лености, а потому что, по его понятиям, в университете не узна́ешь больше того, чему можно научиться и дома; а за дипломом он не гонялся, так как на службу поступить не рассчитывал. Он дичился своих товарищей, почти ни с кем не знакомился, в особенности чуждался женщин и жил очень уединенно, погруженный в книги. Он чуждался женщин, хотя сердце имел очень нежное и пленялся красотою... Он даже приобрел роскошный английский кипсэк — и (о позор!) любовался «украшавшими» его изображениями разных восхитительных Гюльнар и Медор... Но его постоянно сдерживала прирожденная стыдливость. В доме он занимал бывший отцовский кабинет, который был также его спальней; и постель его была та же самая, на которой скончался его отец.

Великим подспорьем всего его существования, неизменным товарищем и другом была ему его тетка, та Платоша, с которой он едва ли менялся десятью словами в день, но без которой он не мог бы ступить шагу. Это было длиннолицее, длиннозубое существо, с бледными глазами на бледном лице, с неизменным выражением не то грусти, не то озабоченного испуга. Вечно одетая в серое платье и серую шаль, от которой пахло камфорой, она скиталась по дому, как тень, неслышными шагами; вздыхала, шептала молитвы — особенно одну, любимую, состоявшую всего из двух слов: «Господи, помози!» — и очень дельно распоряжалась по хозяйству, берегла каждую копейку и

всё закупала сама. Племянника своего она обожала; постоянно кручинилась об его здоровье, всего боялась — не за себя, а за него — и, бывало, чуть что ей покажется, сейчас тихонько подойдет и поставит ему на письменный стол чашку грудного чаю или погладит его по спине своими мягкими, как вата, руками. Яков не тяготился этим ухаживаньем — грудного чаю, однако, не пил — и только одобрительно покачивал головою. Впрочем, здоровьем он тоже похвастаться не мог. Очень он был впечатлителен, нервен, мнителен, страдал сердцебиеньем, иногда одышкой; подобно отцу, верил, что существуют в природе и в душе человеческой тайны, которые можно иногда прозревать, но постигнуть — невозможно; верил в присутствие некоторых сил и веяний, иногда благосклонных, но чаще враждебных... и верил также в науку, в ее достоинство и важность. В последнее время он пристрастился к фотографии. Запах употребляемых при этом снадобий очень беспокоил старуху тетку — опять-таки не для себя, а для Яши, для его груди; но, при всей мягкости нрава, в нем было немало упорства — и он настойчиво продолжал полюбившееся ему занятие. Платоша покорилась и только пуще прежнего вздыхала и шептала: «Господи, помози!», глядя на его окрашенные иодом пальцы.

Яков, как уже сказано, чуждался товарищей; однако с одним из них сошелся довольно близко и видал его часто, даже после того, как этот товарищ, выйдя из университета, поступил на службу, мало, впрочем, обязательную: он, говоря его словами, «примостился» к постройке Храма Спасителя, ничего, конечно, в архитектуре не смысля. Странное дело: этот единственный приятель Аратова, по фамилии Купфер, немец до того обрусевший, что ни одного слова по-немецки не знал и даже ругался «немцем»,— этот приятель не имел с ним, по-видимому, ничего общего. Это был чернокудрый, краснощекий малый, весельчак, говорун и большой любитель того самого женского общества, которого так избегал Аратов. Правда, Купфер и завтракал и обедал у него частенько — и даже, будучи человеком небогатым, занимал у него небольшие суммы; но не это заставляло развязного немчика прилежно посещать укромный домик на Шаболовке. Душевная чистота, «идеальность» Якова ему полюбилась, быть может, как противоречие тому, что он каждый день встречал и видел; или, быть может, в этом самом влечении к «идеальному» юноше сказывалась его все-таки германская кровь. А Яко-

ву нравилась добродушная откровенность Купфера; да, кроме того, рассказы его о театрах, о концертах, о балах, где он был завсегдатаем,— вообще о том чуждом мире, куда Яков не решался проникнуть,— тайно занимали и даже волновали молодого отшельника, не возбуждая, впрочем, в нем желания изведать всё это собственным опытом. И Платоша жаловала Купфера; правда, она находила его иногда чересчур бесцеремонным, но, инстинктивно чувствуя и понимая, что он искренне привязан к ее дорогому Яше, она не только терпела шумного гостя, но благоволила к нему.

II

В то время, о котором идет наша речь, обреталась в Москве некая вдова, грузинская княгиня — личность неопределенная, почти подозрительная. Ей было уже под сорок лет; в молодости она, вероятно, цвела той особенной восточной красотой, которая так скоро блекнет; теперь она белилась, румянилась и красила волосы в желтую краску. О ней ходили разные, не совсем выгодные и не совсем ясные слухи; мужа ее никто не знавал — и ни в одном городе она подолгу не живала. Ни детей, ни состояния у ней не было; но она жила открыто — в долг или иначе; держала, как говорится, салон и принимала довольно смешанное общество — большей частью молодежь. Всё в ее доме, начиная с ее собственного туалета, мебели, стола и кончая экипажем и прислугой, носило печать чего-то недоброкачественного, поддельного, временного... но и сама княгиня и ее гости, по-видимому, ничего лучшего не требовали. Княгиня слыла любительницей музыки, литературы, покровительницей артистов и художников; да и действительно интересовалась всеми этими «вопросами», даже до восторженности — и до восторженности не совсем напускной. Эстетическая жилка в ней, несомненно, билась. К тому же она была очень доступна, любезна, без чванливости и ломания — и, чего многие не подозревали, в сущности очень добра, мягкосердечна и снисходительна... Качества редкие — и тем более дорогие — именно в подобного рода личностях! «Пустая баба! — выразился о ней один умник,— а в рай попадет непременно! Потому: всё прощает — и ей всё простится!» О ней говорили также, что когда она исчезала из какого-нибудь города — она всегда оставляла в нем столько же заимодавцев, сколько

людей, облагодетельствованных ею. Мягкое сердце в какую хочешь сторону гнется.

Купфер, как и следовало ожидать, попал в ее дом и стал к ней близким... злые языки уверяли: слишком близким человеком. Сам же он всегда отзывался о ней не только дружески, но с уважением; величал ее золотою женщиной — что там ни толкуй! — и твердо верил и в ее любовь к искусству и в понимание ею искусства! Вот однажды, после обеда у Аратовых, разговорившись о княгине и об ее вечерах, он начал убеждать Якова нарушить хоть раз свою анахоретскую жизнь и позволить ему, Купферу, представить его своей приятельнице. Яков сперва и слушать не хотел.

— Да ты что думаешь? — воскликнул наконец Купфер,— о каком представлении речь? Просто возьму тебя, вот как ты теперь сидишь, в сюртуке — и повезу тебя к ней на вечер. Никаких там, брат, этикетов не водится! Ты вот и ученый, и литературу любишь, и музыку (у Аратова в кабинете действительно находилось пианино, на котором он изредка брал аккорды с уменьшенной септимой) — а у ней в доме всего этого добра вдоволь!.. И людей ты там встретишь симпатических, безо всяких претензий! Да и, наконец, нельзя же в твои годы, с твоей наружностью (Аратов опустил глаза и махнул рукою) — да, да, с твоей наружностью, так чуждаться общества, света! Ведь не к генералам я тебя везу! Впрочем, я сам генералов не знаю! Не упирайся, голубчик! Нравственность — дело хорошее, почтенное... Но зачем же в аскетизм вдаваться? Не в монахи же ты себя готовишь!

Аратов, однако, продолжал упираться; но на подмогу Купферу неожиданно явилась Платонида Ивановна. Хотя она и не поняла хорошенько, что это за слово такое, аскетизм — однако тоже нашла, что Яшеньке не худо развлечься, на людей посмотреть и себя показать. «Тем более,— прибавила она,— что я уверена в Федор Федорыче! В дурное место он тебя не повезет!..» — «Во всей непорочности представлю его вам обратно!» — вскричал Купфер, на которого Платонида Ивановна, несмотря на свою уверенность, бросала беспокойные взгляды. Аратов покраснел до ушей — но возражать перестал.

Кончилось тем, что на следующий день Купфер повез его на вечер к княгине. Но Аратов недолго там остался. Во-первых, он нашел у ней человек двадцать гостей, мужчин и женщин, положим, и симпатических, но

все-таки чужих; и это его стесняло, хотя беседовать ему пришлось очень немного: а этого он больше всего боялся. Во-вторых, сама хозяйка ему не понравилась, хотя она и приняла его очень радушно и просто. Всё в ней ему не понравилось: и раскрашенное лицо, и взбитые кудри, и хрипловато-слащавый голос, визгливый смех, манера закатывать глаза под лоб, излишнее декольте — и эти пухлые, глянцевитые пальцы со множеством колец!.. Забившись в угол, он то быстро пробегал глазами по всем лицам гостей, как-то даже не различая их, то упорно глядел себе на ноги. Когда же, наконец, один заезжий артист с испитым лицом, длиннейшими волосами и стеклышком под съёженной бровью сел за рояль и, ударив с размаху руками по клавишам, а ногой по педали, начал валять фантазию Листа на вагнеровские темы — Аратов не выдержал и улизнул, унося в душе смутное и тяжелое впечатление, сквозь которое, однако, пробивалось нечто ему самому непонятное, но значительное и даже тревожное.

III

Купфер пришел на другой день обедать; однако распространяться о вчерашнем вечере не стал, даже не попрекнул Аратова за его поспешное бегство — и только пожалел о том, что он не дождался ужина, за которым подавали шампанское! (Нижегородского изделия, заметим в скобках.) Купфер, вероятно, понял, что напрасно вздумал расшевелить своего приятеля — и что Аратов к тому обществу и образу жизни человек решительно «не подходящий». С своей стороны, Аратов тоже не заговаривал ни о княгине, ни о вчерашнем вечере. Платонида Ивановна не знала, радоваться ли неуспеху этой первой попытки, или сожалеть о нем? Она решила наконец, что здоровье Яши могло пострадать от подобных выездов,— и успокоилась. Купфер ушел тотчас после обеда и целую неделю потом не показывался. И не то, чтобы он дулся на Аратова за неудачу своей рекомендации — добряк на это не был способен,— но он, очевидно, нашел некоторое занятие, которое поглощало всё его время, все его помыслы, потому что и впоследствии являлся редко к Аратовым, вид имел рассеянный, говорил мало и вскорости исчезал... Аратов продолжал жить по-прежнему; но какая-то, если можно так выразиться, закорючка засела ему в душу. Он всё что-то припоминал, сам не зная хорошенько, что именно,— и это «что-то» относилось к вечеру, проведен-

ному у княгини. Со всем тем вернуться к ней он не желал нисколько — и свет, часть которого он улицезрел у нее в доме, отталкивал его больше чем когда-либо. Так прошло недель шесть.

И вот в одно утро опять предстал перед ним Купфер, на этот раз с несколько смущенным лицом.

— Я знаю,— начал он с принужденным смехом,— что тебе не по вкусу пришелся твой тогдашний визит; но я надеюсь, что ты все-таки согласишься на мое предложение... не откажешь мне в моей просьбе!

— В чем дело? — спросил Аратов.

— Вот, видишь ли,— продолжал Купфер, всё более и более оживляясь,— здесь есть одно общество любителей, артистов, которое от времени до времени устраивает чтения, концерты, даже театральные представления с благотворительной целью...

— И княгиня участвует? — перебил Аратов.

— Княгиня всегда в добрых делах участвует — но это ничего. Мы затеяли литературно-музыкальное утро... и на этом утре ты можешь услышать девушку... необыкновенную девушку! Мы еще не знаем хорошенько: Рашель она или Виардо?.. потому что она и поет превосходно, и декламирует, и играет... Талант, братец ты мой, первоклассный! Без преувеличения говорю. Так вот... не возьмешь ли ты билет? Пять рублей, если в первом ряду.

— А откуда взялась эта удивительная девушка? — спросил Аратов.

Купфер осклабился.

— Уж этого я не могу сказать... В последнее время она приютилась у княгини. Княгиня, ты знаешь, всем таким покровительствует... Да ты ее, вероятно, видел на том вечере.

Аратов дрогнул — внутренно, слабо... но ничего не промолвил.

— Она даже играла где-то в провинции,— продолжал Купфер,— и вообще она создана для театра. Вот ты сам увидишь!

— Как ее имя? — спросил Аратов.

— Клара...

— Клара? — вторично перебил Аратов.— Не может быть!

— Отчего не может быть? Клара... Клара Милич; это не настоящее ее имя... но ее так называют. Петь она будет глинкинский романс... и Чайковского; а потом письмо

из «Евгения Онегина» прочтет. Что ж? берешь билет?

— А когда это будет?

— Завтра... завтра в половине второго, в частной зале, на Остоженке... Я заеду за тобой. В пять рублей билет?.. Вот он... нет — это трехрублевый. Вот. Вот и афишка. Я один из распорядителей.

Аратов задумался, Платонида Ивановна вошла в эту минуту и, взглянув ему в лицо, вдруг перетревожилась.

— Яша,— воскликнула она,— что с тобою? Отчего ты такой смущенный? Федор Федорыч, что вы ему такое сказали?

Но Аратов не дал своему приятелю ответить на вопрос тетки — и, торопливо выхватив протянутый к нему билет, приказал Платониде Ивановне сейчас выдать Купферу пять рублей.

Та удивилась, глазами заморгала... Однако вручила Купферу деньги молча. Очень уж строго крикнул на нее Яшенька.

— Я тебе говорю, чудо из чудес! — воскликнул Купфер и бросился к дверям.— Жди меня завтра!

— У ней черные глаза? — промолвил ему вслед Аратов.

— Как уголь! — весело гаркнул Купфер и исчез.

Аратов ушел к себе в комнату, а Платонида Ивановна так и осталась на месте, шёпотом повторяя: «Помози, господи! Господи, помози!»

IV

Большая зала в частном доме на Остоженке уже наполовину была полна посетителями, когда Аратов с Купфером прибыли туда. В этой зале давались иногда театральные представления, но на этот раз не было видно ни декораций, ни занавеса. Учредители «утра» ограничились тем, что воздвигнули на одном конце эстраду, поставили на ней фортепиано, пару пюпитров, несколько стульев, стол с графином воды и стакан — да завесили красным сукном дверь, которая вела в комнату, предоставленную артистам. В первом ряду уже сидела княгиня в ярко-зеленом платье; Аратов поместился в некотором от нее расстоянье, едва обменявшись с ней поклоном. Публика была, что называется, разношерстная; всё больше молодые люди из учебных заведений. Купфер, как один из распорядителей, с белым бантом на обшлаге фрака, суетился и хло-

потал изо всех сил; княгиня видимо волновалась, оглядывалась, посылала во все стороны улыбки, заговаривала с соседями... около нее были одни мужчины. Первым на эстраде явился флейтист чахоточного вида и престарательно проплевал... то бишь! просвистал пьеску тоже чахоточного свойства; два человека закричали: «Браво!» Потом какой-то толстый господин в очках, очень на вид солидный и даже угрюмый, прочел басом щедринский очерк; хлопали очерку, не ему; потом явился фортепианист, уже знакомый Аратову, и пробарабанил ту же листовскую фантазию; фортепианист удостоился вызова. Он кланялся, опершись рукою на спинку стула, и после каждого поклона взмахивал волосами, совсем как Лист! Наконец, после довольно долгого промежутка, красное сукно на двери за эстрадой зашевелилось, распахнулось широко — и появилась Клара Милич. Зала огласилась рукоплесканиями. Нерешительными шагами подошла она к передней части эстрады, остановилась и осталась неподвижной, сложив перед собою большие красивые руки без перчаток, не приседая, не наклоняя головы и не улыбаясь.

Это была девушка лет девятнадцати, высокая, несколько широкоплечая, но хорошо сложенная. Лицо смуглое, не то еврейского, не то цыганского типа, глаза небольшие, черные, под густыми, почти сросшимися бровями, нос прямой, слегка вздернутый, тонкие губы с красивым, но резким выгибом, громадная черная коса, тяжелая даже на вид, низкий неподвижный, точно каменный, лоб, крошечные уши... всё лицо задумчивое, почти суровое. Натура страстная, своевольная — и едва ли добрая, едва ли очень умная, но даровитая — сказывалась во всем.

Она некоторое время не поднимала глаз, но вдруг встрепенулась и провела по рядам зрителей свой пристальный, но невнимательный, словно в себя углубленный взгляд... «Какие у нее трагические глаза!» — заметил сидевший позади Аратова некий седоволосый фат с лицом кокотки из Ревеля, известный по Москве сотрудник и соглядатай. Фат был глуп и хотел сказать глупость... а сказал правду! Аратов, который с самого появления Клары не спускал с нее взора, только тут вспомнил, что он действительно видел ее у княгини; и не только видел ее, но даже заметил, что она несколько раз с особенной настойчивостью посмотрела на него своими темными, пристальными глазами. Да и теперь... или это ему показалось? — она, увидав его в первом ряду, как будто обрадовалась, как будто

покраснела — и опять настойчиво посмотрела на него. Потом она, не оборачиваясь, отступила шага два в направлении фортепиано, за которым уже сидел ее аккомпаниатор, длинноволосый чужестранец. Ей приходилось исполнить романс Глинки: «Только узнал я тебя...» Она тотчас начала петь, не переменив положения рук и не глядя в ноты. Голос у ней был звучный и мягкий — контральто,— слова она выговаривала отчетливо и веско, пела однообразно, без оттенков, но с сильным выражением. «С убежденьем поет девка»,— промолвил тот же фат, сидевший за спиной Аратова,— и опять сказал правду. Крики: «Bis! браво!» раздались кругом... но она бросила быстрый взгляд на Аратова, который не кричал и не хлопал — ему не особенно понравилось ее пение,— слегка поклонилась и ушла, не приняв подставленной калачиком руки волосатого пианиста. Ее вызвали... Она не скоро появилась, теми же нерешительными шагами подошла к фортепиано — и, шепнув слова два аккомпаниатору, которому пришлось достать и положить перед собою не приготовленные, а другие ноты,— начала романс Чайковского: «Нет, только тот, кто знал свиданья жажду...» Этот романс она спела иначе, чем первый — вполголоса, словно усталая... и только на предпоследнем стихе: «Поймет, как я страдал» — у нее вырвался звенящий, горячий крик. Последний стих: «И как я стражду...» — она почти прошептала, горестно растянув последнее слово. Романс этот произвел меньшее впечатление на публику, чем глинкинский; однако хлопанья было много... Особенно отличался Купфер: складывая ладони при ударе особенным манером, в виде бочонка, он производил необыкновенно гулкий звук. Княгиня передала ему большой растрепанный букет с тем, чтобы он преподнес его певице; но она словно не заметила наклоненной фигуры Купфера, его вытянутой с букетом руки, повернулась и ушла, вторично не дождавшись пианиста, который поспешнее прежнего вскочил, чтобы ее проводить,— и, оставшись ни при чем, так взмахнул волосами, как, вероятно, сам Лист никогда не взмахивал!

Во всё время пения Аратов наблюдал лицо Клары. Ему казалось, что глаза ее, сквозь прищуренные ресницы, были обращены опять-таки на него; но его в особенности поразила неподвижность этого лица, лба, бровей — и только при ее страстном вскрике он заметил, как сквозь едва раскрытые губы тепло сверкнул ряд белых, тесно поставленных зубов. Купфер подошел к нему.

— Ну что, брат, как ты находишь? — спросил он, весь сияя удовольствием.

— Голос хороший,— ответил Аратов,— но она петь еще не умеет, настоящей школы нет. (Почему он это сказал и какое он сам имел понятие о «школе» — господь ведает!)

Купфер удивился.

— Школы нет,— повторил он с расстановкой...— Ну, это... Она еще подучиться может. Зато какая душа! Да вот погоди: ты ее в письме Татьяны послушаешь.

Он отбежал прочь от Аратова, а тот подумал: «Душа! С этаким неподвижным лицом!» Он находил, что она и держится и движется, как намагнетизированная, как сомнамбула. И в то же время она несомненно... да! несомненно смотрит на него.

Между тем «утро» продолжалось. Толстый человек в очках появился опять; несмотря на свою серьезную наружность, он воображал себя комиком — и прочел сцену из Гоголя, не вызвавши на этот раз ни единого знака одобрения. Промелькнул опять флейтист, прогремел опять пианист; двенадцатилетний мальчик, напомаженный и завитой, но со следами слез на щеках, пропиликал какие-то вариации на скрипке. Странным могло показаться то, что в промежутках чтения и музыки из комнаты артистов изредка доносились отрывистые звуки валторны; между тем этот инструмент так и остался без употребления. Впоследствии выяснилось, что любитель, вызвавшийся поиграть на нем, заробел в момент выхода перед публику. Вот, наконец, опять появилась Клара Милич.

Она держала в руке томик Пушкина; однако во время чтения ни разу в него не заглянула... Она явно робела; небольшая книжка слегка дрожала в ее пальцах. Аратов заметил также выражение унылости, разлитое *теперь* по всем ее строгим чертам. Первый стих: «Я к вам пишу... чего же боле?» — она произнесла чрезвычайно просто, почти наивно — и с наивным, искренним, беспомощным жестом протянула обе руки вперед. Потом она стала немного спешить; но уже начиная со стихов: «Другой!.. Нет, никому на свете не отдала бы сердца я!» — она овладела собою, оживилась — и когда она дошла до слов: «Вся жизнь моя была залогом свиданья верного с тобой»,— ее до тех пор довольно глухой голос зазвенел восторженно и смело — а глаза ее так же смело и прямо вперились в Аратова. С таким же увлеченьем продолжала она —

и только к концу голос ее опять понизился, и в нем и на лице отразилась прежняя унылость. Последнее четверостишие она совсем, как говорится, скомкала — томик Пушкина вдруг выскользнул из ее рук,— и она поспешно удалилась.

Публика принялась рукоплескать отчаянно, вызывать... Один семинарист из малороссов, между прочим, так громогласно орал: «Мылыч! Мылыч!», что его сосед вежливо, с участьем попросил его «пощадить в себе будущего протодьякона!» Но Аратов тотчас встал и направился к выходу. Купфер нагнал его...

— Помилуй, куда же ты? — возопил он,— хочешь, я тебя представлю Кларе?

— Нет, спасибо,— торопливо возразил Аратов — и почти бегом пустился домой.

V

Странные, ему самому неясные ощущения волновали его. В сущности чтение Клары тоже не совсем ему понравилось... хоть он и не мог себе отдать отчета: почему именно? Оно его беспокоило, это чтение; оно казалось ему резким, негармоническим... Оно как будто нарушало что-то в нем, являлось каким-то насилием. И эти пристальные, настойчивые, почти навязчивые взгляды — к чему они? Что они значат?

Скромность Аратова не допускала в нем даже мгновенной мысли о том, что он мог понравиться этой странной девушке, мог внушить ей чувство, похожее на любовь, на страсть!.. Да и он сам совсем не такою представлял себе ту, еще неведомую женщину, ту девушку, которой он отдастся весь, которая и его полюбит, станет его невестой, его женой... Он редко мечтал об этом: он и душой и телом был девственник; но чистый образ, возникавший тогда в его воображении, был навеян другим образом — образом его покойной матери, которую он едва помнил, но портрет которой он сохранял как святыню. Портрет этот был писан акварелью, довольно неискусно, приятельницей-соседкой; но сходство, по уверенью всех, было поразительное. Такой же нежный профиль, такие же добрые, светлые глаза, такие же шелковистые волосы, такую же улыбку, такое же ясное выражение должна была иметь та женщина, та девушка, которой он даже еще не осмеливался ожидать...

А эта черномазая, смуглая, с грубыми волосами, с усиками на губе, она наверно недобрая, взбалмошная... «Цыганка» (Аратов не мог придумать худшего выражения),— что она ему?

И между тем Аратов не в силах был выкинуть из головы своей эту черномазую цыганку,— пение и чтение и самая наружность которой ему не нравились. Он недоумевал, он сердился на себя. Незадолго перед тем он прочел роман Вальтера Скотта: «Сен-Ронанские воды» (полное собрание сочинений Вальтера Скотта находилось в библиотеке его отца, который уважал в английском романисте серьезного, чуть не научного писателя). Героиня этого романа называется Клара Мобрай. Поэт сороковых годов, Красов, написал на нее стихотворение, оканчивающееся словами:

Несчастная Клара! безумная Клара!
Несчастная Клара Мобрай!

Аратов знал также это стихотворение... И вот теперь эти слова беспрестанно приходили ему на память... «Несчастная Клара! безумная Клара!..» (Оттого он и удивился так, когда Купфер назвал ему Клару Милич.) Сама Платоша заметила — не то чтобы перемену в настроении Якова,— в нем собственно никакой перемены не произошло,— а что-то неладное в его взглядах, в его речах. Она осторожно расспросила его о литературном утре, на котором он присутствовал; пошептала, повздыхала, поглядела на него спереди, поглядела сбоку, сзади — и вдруг, хлопнув ладонями себе по ляжкам, воскликнула:

— Ну, Яша! Я вижу, в чем дело!

— Что такое? — переспросил Аратов.

— Ты, наверное, на этом утре встретил какую-нибудь из этих хвостовозок... (Платонида Ивановна называла так всех барынь, носящих модные платья.) Рожица у ней смазливая — и *так* она ломается, и *сяк* кривляется (Платоша представила всё это в лицах), и глазами такие круги описывает (и это она представила, проводя указательным пальцем большие круги по воздуху)... Тебе с непривычки и показалось... но ведь это ничего, Яша... ни-и-чего не значит! Выпей чайку на ночь... и конец!.. Господи, помози!

Платоша умолкла и удалилась... Она отроду едва ли произносила такую длинную и оживленную речь... а Аратов подумал: «Тетка-то, чай, права... С непривычки всё это... (Ему действительно в первый раз пришлось воз-

будить к себе внимание особы женского пола... во всяком случае он этого прежде не замечал.) Баловать себя не надо».

И он принялся за свои книги, а на ночь напился липового чаю — и даже спал хорошо всю эту ночь — и снов не видел. На следующее утро он опять как ни в чем не бывало занялся фотографией...

Но к вечеру его душевный покой возмутился снова.

VI

А именно: рассыльный принес ему записку следующего содержания, написанную неправильным и крупным женским почерком:

«Если Вы догадываетесь, кто Вам пишет, и если это Вам не скучно, приходите завтра после обеда на Тверской бульвар — около пяти часов — и ждите. Вас задержат недолго. Но это очень важно. Придите».

Подписи не было. Аратов тотчас догадался, кто была его корреспондентка,— и это именно его возмутило. «Что за вздор! — промолвил он почти вслух,— этого еще недоставало. Разумеется, я не пойду». Он, однако, велел позвать рассыльного, от которого узнал только то, что письмо ему было вручено горничной на улице. Отпустив его, Аратов перечел письмо, бросил его на пол... Но погодя немного поднял и опять перечел; вторично воскликнул: «Вздор!» — однако на пол письма уже не бросил, а спрятал в ящик. Аратов принялся за свои обычные занятия, то за одно, то за другое; но дело у него не спорилось и не клеилось. Он вдруг заметил за самим собою, что ожидает Купфера! Хотел ли он расспросить его, или, быть может, даже сообщить ему... Но Купфер не являлся. Потом Аратов достал Пушкина, прочел письмо Татьяны и снова убедился, что та «цыганка» совсем не поняла настоящего смысла этого письма. А этот шут Купфер кричит: «Рашель! Виардо!» Потом он подошел к своему пианино, как-то бессознательно приподнял его крышку, попытался отыскать на память мелодию романса Чайковского; но тотчас же с досадой захлопнул пианино и пошел к тетке, в ее особенную, всегда жарко натопленную комнату, с вечным запахом мяты, шалфея и других целебных трав и с таким множеством ковриков, этажерок, скамеечек, подушечек и разной мягкой мебели, что непривычному человеку и повернуться было в этой комнате трудно и дышать стеснительно. Платонида Ивановна сидела под окном со спицами в руках (она вязала Яшеньке шарф, сче-

том в течение его жизни — тридцать восьмой!) — и очень изумилась. Аратов заходил к ней редко и, если ему было что нужно, всякий раз кричал тоненьким голосом из своего кабинета: «Тетя Платоша!» Однако она его усадила и в ожидании его первых слов насторожилась, глядя на него одним глазом через круглые очки, другим выше их. Она не осведомилась о его здоровье и не предложила ему чаю, ибо видела, что он пришел не за тем. Аратов немного помялся... потом заговорил... заговорил о своей матери, о том, как она жила с отцом и как отец с ней познакомился. Всё это он знал очень хорошо... но ему хотелось говорить именно об этом. На его беду, Платоша совсем беседовать не умела; отвечала очень кратко, словно она подозревала, что и не за этим пришел Яша.

— Что ж! — повторяла она, поспешно, чуть не с досадой шевеля спицами.— Известно: мать твоя была голубка... голубка, как есть... И отец твой любил ее, как следует мужу, верно и честно, по самый гроб; и никакой другой женщины он не любил,— прибавила она, возвысив голос и сняв очки.

— А робкого она была нрава?— спросил, помолчав, Аратов.

— Известно, робкого. Как следует женскому полу. Смелые-то в последнее время завелись.

— А в ваше время смелых не было?

— Было и в наше... как не быть! Да ведь кто? Так, потаскушка какая-нибудь, бесстыжая. Зашлюндает подол — да и мечется зря... Ей что? Какая печаль? Подвернется дурачок — ей и на руку. А степенные люди пренебрегали. Ты вспомни, разве ты в нашем доме таких видал?

Аратов ничего не ответил и вернулся к себе в кабинет. Платонида Ивановна посмотрела ему вслед, покачала головою и опять надела очки, опять взялась за шарф... но не раз задумывалась и роняла спицы на колени.

А Аратов до самой ночи — нет, нет, да и начнет опять с той же досадой, с тем же озлоблением размышлять об этой записке, о «цыганке», о назначенном свидании, на которое он наверное не пойдет! И ночью она его беспокоила. Ему всё мерещились ее глаза, то прищуренные, то широко раскрытые, с их настойчивым, прямо на него устремленным взглядом,— и эти неподвижные черты с их властительным выражением...

На следующее утро он опять почему-то всё ожидал Купфера; чуть-чуть было не написал ему письма... а впро-

чем, ничего не делал... всё больше расхаживал по своему кабинету. Он ни на одно мгновенье не допускал в себе даже мысли, что пойдет на этот глупый «рандеву»... и в половине четвертого часа, после торопливо проглоченного обеда, внезапно надев шинель и нахлобучив шапку, украдкой от тетки выскочил на улицу и отправился на Тверской бульвар.

VII

Аратов застал на нем немного прохожих. Погода стояла сырая и довольно холодная. Он старался не размышлять о том, что делал, заставлял себя обращать внимание на все попадавшиеся предметы и как бы уверял себя, что и он так же вышел погулять, как и те прохожие... Вчерашнее письмо находилось у него в боковом кармане, и он постоянно чувствовал его присутствие. Он прошелся раза два по бульвару, зорко вглядываясь в каждую подходившую к нему женскую фигуру,— и сердце его билось, билось... Он почувствовал усталость и присел на лавочку. И вдруг ему пришло в голову: «Ну, а если это письмо написано не ею, а кем-нибудь другим, другой женщиной?» По-настоящему, это для него должно было быть всё едино... и, однако же, он должен был самому себе признаться, что этого он не желал. «Уж очень было бы глупо,— подумалось ему,— еще глупей *того*!» Нервное беспокойство начинало овладевать им; он стал зябнуть — не извне, а изнутри. Он несколько раз вынул часы из кармана жилета, глядел на циферблат, клал их обратно и всякий раз забывал, сколько оставалось минут до пяти часов. Ему казалось, что все мимо идущие как-то особенно, с каким-то насмешливым удивлением и любопытством оглядывали его. Дрянная собачонка подбежала, понюхала его ноги и стала вертеть хвостом. Он сердито на нее замахнулся. Больше всех надоедал ему фабричный мальчик, в затрапезном халате, который уселся на скамье, по той стороне бульвара — и, то посвистывая, то почесываясь и болтая ногами в громадных прорванных сапогах, то и дело посматривал на него. «Ведь вот,— думал Аратов,— хозяин наверное его ждет — а он тут, лентяй, баклуши бьет...»

Но в это самое мгновенье ему почудилось, что кто-то подошел и близко стал сзади его... чем-то теплым повеяло оттуда...

Он оглянулся... Она!

Он тотчас узнал ее, хотя густая темно-синяя вуаль закрывала ее черты. Он мгновенно вскочил со скамьи — да так и остался, и слова не мог промолвить. Она тоже молчала. Он чувствовал большое смущение... но и ее смущенье было не меньше: Аратов даже сквозь вуаль не мог не заметить, как мертвенно она побледнела. Однако она заговорила первая.

— Спасибо,— начала она прерывистым голосом,— спасибо, что пришли. Я не надеялась...— Она слегка отвернулась и пошла по бульвару. Аратов отправился вслед за нею.

— Вы, может быть, меня осудили,— продолжала она, не оборачивая головы.— Действительно, мой поступок очень странен... Но я много слышала о вас... да нет! Я... не по этой причине... Если б вы знали... Я так много хотела вам сказать, боже мой!.. Но как это сделать... Как это сделать!

Аратов шел с ней рядом, немного позади. Он не видел ее лица; он видел только ее шляпу да часть вуали... да длинную, черную, уже поношенную мантилью. Вся его досада и на нее и на себя вдруг к нему вернулась; всё смешное, всё нелепое этого свиданья, этих объяснений между совершенно незнакомыми людьми, на публичном бульваре, предстало ему вдруг.

— Я явился на ваше приглашение,— начал он в свою очередь,— явился, милостивая государыня (ее плеча тихонько дрогнули — она свернула на боковую дорожку, он последовал за ней), для того только, чтобы разъяснить, чтобы узнать, вследствие какого странного недоразумения вам было угодно обратиться ко мне, человеку вам чужому, который... который потому только и *догадался* — как вы выразились в вашем письме,— что писали ему именно вы... потому догадался, что вам, в течение того литературного утра, захотелось выказать ему слишком... слишком явное внимание!

Вся эта небольшая речь была произнесена Аратовым тем, хоть и звонким, но нетвердым голосом, каким очень еще молодые люди отвечают на экзамене по предмету, к которому они хорошо приготовились... Он сердился; он гневался... Этот-то самый гнев и развязал его в обыкновенное время не очень свободный язык.

Она продолжала идти по дорожке несколько замедленными шагами... Аратов по-прежнему шел за нею и по-прежнему видел одну эту старенькую мантилью да шляп-

ку, тоже не совсем новую. Самолюбие его страдало при мысли, что вот теперь она должна думать: «Мне стоило только знак подать — и он тотчас прибежал!»

Аратов молчал... он ожидал, что она ему ответит; но она не произносила ни слова.

— Я готов выслушать вас,— начал он опять,— и очень даже буду рад, если могу быть вам чем-нибудь полезен... хотя все-таки мне, признаюсь, удивительно... При моей уединенной жизни...

Но при последних его словах Клара внезапно к нему обернулась — и он увидал такое испуганное, такое глубоко опечаленное лицо, с такими светлыми большими слезами на глазах, с таким горестным выражением вокруг раскрытых губ — и так было это лицо прекрасно, что он невольно запнулся и сам почувствовал нечто вроде испуга — и сожаления и умиления.

— Ах, зачем... зачем вы так...— промолвила она с неотразимо искренней и правдивой силой — и как трогательно зазвенел ее голос! — Неужели мое обращение к вам могло оскорбить вас... неужели вы ничего не поняли?... Ах да! Вы не поняли ничего, вы не поняли, что я вам говорила, вы бог знает что вообразили обо мне, вы даже не подумали, чего мне это стоило — написать вам!.. Вы только о себе заботились, о своем достоинстве, о своем покое!.. Да разве я (она так сильно стиснула свои поднесенные к губам руки, что пальцы явственно хрустнули)... Точно я какие требования к вам предъявляла, точно нужны были сперва разъяснения... «Милостивая государыня...», «мне даже удивительно...», «я могу быть полезным...» Ах я, безумная! Я обманулась в вас, в вашем лице!.. Когда я увидала вас в первый раз... Вот... Вы стоите... И хоть бы слово! Так-таки ни слова?

Она умолкла... Лицо ее внезапно вспыхнуло — и так же внезапно приняло злое и дерзкое выражение.

— Господи! как это глупо! — воскликнула она вдруг с резким хохотом.— Как наше свидание глупо! Как я глупа!.. да и вы... Фуй!

Она презрительно двинула рукою, словно отстраняя его прочь с дороги, и, минуя его, быстро сбежала с бульвара и исчезла.

Это движение рукою, этот оскорбительный хохот, это последнее восклицание разом возвратили Аратову его прежнее настроение и заглушили в нем то чувство, которое возникло в его душе, когда с слезами на глазах она

к нему обратилась. Он опять рассердился — и чуть не закричал вслед удалявшейся девушке: «Из вас может выйти хорошая актриса — но зачем вы вздумали надо мной-то комедию ломать?»

Большими шагами вернулся он домой — и хотя продолжал и досадовать и негодовать в течение всей дороги, однако в то же время сквозь все эти нехорошие, враждебные чувства невольно пробивалось воспоминание о том чудном лице, которое он видел один только миг... Он даже поставил себе вопрос: «Отчего я не ответил ей, когда она требовала от меня хоть слово? Я не успел...— думал он...— Она мне не дала произнести это слово. И какое слово я бы произнес?»

Но он тотчас тряхнул головою и с укоризной промолвил: «Актерка!»

И опять-таки в то же время — самолюбие неопытного, нервического юноши, сперва оскорбленное, теперь как будто было польщено тем, что вот, однако, какую он внушил страсть...

«Но зато в эту минуту,— продолжал он свои размышления,— всё это, разумеется, кончено... Я должен был показаться ей смешным...»

Эта мысль ему была неприятна — и он снова сердился... и на нее... и на себя. Возвратившись домой, он заперся в своем кабинете. Ему не хотелось видеться с Платошей. Добрая старушка раза два подходила к его двери — прикладывалась ухом к замочной скважине — и только вздыхала да шептала свою молитву...

«Началось! — думалось ей...— А ему всего двадцать пятый год... Ах, ра́но, рано!»

VIII

Весь следующий день Аратов был очень не в духе. «Что это, Яша? — говорила ему Платонида Ивановна,— ты сегодня какой-то растрепанный?!» На своеобразном языке старушки выражение это довольно верно определяло нравственное состояние Аратова. Работать он не мог, да и сам не знал, чего ему желалось? То он опять поджидал Купфера (он подозревал, что Клара именно от Купфера получила его адрес... да и кто другой мог ей «много говорить» о нем?); то он недоумевал: неужели так и должно кончиться его знакомство с нею? то он воображал, что она ему напишет опять; то он себя спрашивал, не следует ли ему

написать ей письмо, в котором он всё объяснит, так как он всё же не желает оставить невыгодное о себе мнение... Но собственно — *что* объяснить? То он возбуждал в себе чуть не отвращение к ней, к ее назойливости, дерзости; то ему снова представлялось это несказанно трогательное лицо и слышался неотразимый голос; то он припоминал ее пенье, ее чтенье — и не знал: прав ли он был в своем огульном осуждении? Одним словом, растрепанный человек! Наконец это ему всё надоело — и он решился, как говорится, «взять на себя» и *похерить* всю эту историю, так как она, несомненно, мешала его занятиям и нарушала его покой. Не так-то легко далось ему исполнить это решение... Более нежели неделя прошло, прежде чем он опять попал в обычную колею. К счастью, Купфер совсем не являлся: точно его и в Москве не было. Незадолго до «истории» Аратов начал заниматься живописью для фотографических целей; он с удвоенным рвением принялся за нее.

Так, незаметно, с некоторыми, как выражаются доктора, «возвратными припадками», состоявшими, например, в том, что он раз чуть не отправился с визитом к княгине,— прошло два... прошло три месяца... и Аратов стал прежним Аратовым. Только там, внизу, под поверхностью его жизни, что-то тяжелое и темное тайно сопровождало его на всех его путях. Так большая, только что пойманная на крючок, но еще не выхваченная рыба плывет по дну глубокой реки под самой той лодкой, на которой сидит рыбак с крепкой лесою в руке.

И вот однажды, пробегая уже не совсем свежие «Московские ведомости», Аратов наткнулся на следующую корреспонденцию:

«С великим прискорбием,— писал некий местный литератор из Казани,— заносим мы в нашу театральную летопись весть о внезапной кончине нашей даровитой актрисы Клары Милич, успевшей в короткое время ее ангажемента сделаться любимицей нашей разборчивой публики. Прискорбие наше тем сильнее, что г-жа Милич самовольно покончила со своей молодой, столь много обещавшей жизнью,— посредством отравления. И это отравление тем ужаснее, что артистка приняла яд в самом театре! Ее едва довезли домой, где она, к общему сожалению, скончалась. В городе ходят слухи, что неудовлетворенная любовь довела ее до этого страшного поступка».

Аратов тихонько положил номер газеты на стол. На вид он остался совершенно спокойным... но что-то разом толкнуло его в грудь и голову — и медленно поплыло потом по всем его членам. Он встал, постоял немного на месте — и опять сел, опять перечел эту корреспонденцию. Потом он опять встал, лег на кровать и, заложив руки за голову, как отуманенный, долго глядел на стену. Понемногу эта стена словно сгладилась... исчезла... и он увидал перед собою и бульвар под серым небом и *ее* в черной мантилье... потом ее же на эстраде... увидал даже самого себя возле нее. То, что так сильно толкнуло его в грудь в первое мгновенье, стало теперь подниматься... подниматься к горлу... Он хотел откашляться, хотел позвать кого-нибудь, но голос изменил ему — и, к собственному его изумлению, из его глаз неудержимо покатились слезы... Что вызвало эти слезы? Жалость? Раскаяние? Или просто нервы не выдержали внезапного потрясения? Ведь для него она была ничем? Не так ли?

«Да, может быть, это еще неправда? — вдруг осенила его мысль.— Надо узнать! Но от кого? От княгини? Нет, от Купфера... от Купфера! Да его, говорят, в Москве нет? Всё равно! Сперва к нему надо!»

С этими соображениями в голове Аратов наскоро оделся, взял извозчика и поскакал к Купферу.

IX

Не надеялся он его застать... а застал. Купфер точно отлучался из Москвы на некоторое время, но уже с неделю как вернулся и даже снова собирался посетить Аратова. Он встретил его с обычным радушием и начал было ему что-то объяснять... но Аратов тотчас перебил его нетерпеливым вопросом:

— Ты читал? Правда?

— Что правда? — отвечал озадаченный Купфер.

— Насчет Клары Милич?

Лицо Купфера выразило сожаление.

— Да, да, брат, правда; отравилась! Такое горе!

Аратов помолчал.

— Да ты тоже в газете вычитал? — спросил он,— или, может быть, сам ездил в Казань?

— Я ездил в Казань точно; мы с княгиней ее туда отвезли. Она на сцену там поступила — и большой успех имела. Только до самой катастрофы я там не дожил... Я в Ярославле был.

— В Ярославле?

— Да. Я княгиню туда проводил... Она теперь в Ярославле поселилась.

— Но ты имеешь верные сведения?

— Вернейшие... из первых рук! Я в Казани с ее семейством познакомился. Да постой, брат... тебя, кажется, это известие очень волнует? А, помнится, тебе Клара тогда не понравилась? Напрасно! Чудная была девушка — только голова! Бедовая голова! Очень я о ней сокрушался!

Аратов не промолвил слова, опустился на стул — и погодя немного попросил Купфера рассказать ему... Он запнулся.

— Что? — спросил Купфер.

— Да... всё,— ответил с расстановкой Аратов.— Вот хоть насчет ее семейства... и прочего. Всё, что знаешь!

— А это тебя интересует? Изволь!

И Купфер, по лицу которого вовсе нельзя было заметить, чтобы он уж очень так сокрушался о Кларе, начал рассказывать.

Из его слов Аратов узнал, что настоящее имя Клары Милич было Катерина Миловидова; что отец ее, теперь уже умерший, был штатным учителем рисования в Казани, писал плохие портреты и казенные *образа* — да к тому же слыл за пьяницу и за домашнего тирана... а еще *образованный человек!*.. (тут Купфер самодовольно засмеялся, намекая тем на сделанный им каламбур); что после него остались, во-первых: вдова из купеческого рода, совсем глупая баба, прямо из комедий Островского; а во-вторых: дочь, гораздо старше Клары и на нее не похожая — девушка очень умная, только восторженная, больная, замечательная девушка — и преразвитая, братец ты мой! Что живут они обе — и вдова и дочь — безбедно, в порядочном домике, приобретенном от продажи тех плохих портретов и образо́в; что Клара... или Катя, как хочешь, с детских лет поражала всех своей даровитостью, но нрава была непокорного, капризного — и постоянно грызлась с отцом; что, имея врожденную страсть к театру, на шестнадцатом году убежала из родительского дома с актрисой...

— С актером? — перебил Аратов.

— Нет, не с актером, а с актрисой, к которой привязалась... Правда, у этой актрисы был покровитель, богатый и уже старый барин, который потому только на ней

не женился, что сам был женат,— да и актриса, кажется, была женщина замужняя.— Далее Купфер сообщил Аратову, что Клара уже до приезда в Москву играла и пела на провинциальных театрах; что, потеряв свою приятельницу актрису (барин тоже, кажется, умер или опять с женой сошелся — этого Купфер хорошенько не помнил...), познакомилась с княгиней, этой золотой женщиной, которую ты, друг мой, Яков Андреич,— прибавил с чувством рассказчик,— не умел оценить как следует; что, наконец, Кларе предложили ангажемент в Казани — и что она его приняла, хотя перед тем уверяла, что Москвы никогда не покинет! Зато, как казанцы ее полюбили — даже удивительно! Что ни представление — букеты и подарок! букеты и подарок! Хлебный торговец, первый по губернии туз, тот даже золотую чернильницу преподнес! — Купфер рассказал всё это с большим оживлением, не высказывая, впрочем, особой сентиментальности и перерывая речь вопросами: «Это тебе зачем?..» или: «Это на что?» — когда Аратов, слушавший его с пожирающим вниманием, требовал всё бóльших да бóльших подробностей. Всё было высказано наконец, и Купфер умолк, наградив себя за труд сигаркой.

— А отчего же она отравилась? — спросил Аратов.— В газете напечатано...

Купфер взмахнул руками.

— Ну... этого я не могу сказать... Не знаю. А газета врет. Вела себя Клара примерно... амуров никаких... Да и где с ее гордостью! Горда она была — как сам сатана — и неприступнá! Бедовая голова! Тверда, как камень! Веришь ли ты мне — уж на что я ее близко знал, а никогда на ее глазах слез не видел!

«А я видел»,— подумал про себя Аратов.

— Только вот что,— продолжал Купфер,— в последнее время я большую перемену в ней заметил: скучная такая стала, молчит, по целым часам слова от нее не добьешься. Уж я ее спрашивал: не обидел ли кто вас, Катерина Семеновна? Потому я знал ее нрав: обиду перенести она не могла! Молчит, да и баста! Даже успехи на сцене ее не веселили; букеты сыплются... а она и не улыбнется! На золотую чернильницу взглянула раз — и в сторону! Жаловалась, что настоящей роли, как она ее понимает, никто ей не напишет. И петь совсем бросила. Я, брат, виноват!.. передал ей тогда, что ты в ней *школы*

не находишь. Но все-таки... отчего она отравилась — непостижимо! Да и как отравилась!..

— В какой роли она больше имела успеха? — Аратов хотел было узнать, в какой роли она выступила в последний раз,— но почему-то спросил другое.

— Помнится, в «Груне» Островского. Но повторяю тебе: амуров никаких! Ты одно посуди: жила она у матери в доме... Знаешь — есть такие купеческие дома: в каждом углу киот и лампадка перед киотом, духота смертельная, пахнет кислятиной, в гостиной по стенам одни стулья, на окнах ерань, а приедет гость — хозяйка взáхается, словно неприятель подступает. Какие уж тут ферлакуры да амуры? Бывало, даже меня не пускают. Служанка ихняя, баба здоровенная, в кумачном сарафане, с отвислыми грудями, станет в передней поперек да и рычит: «Куды?» Нет, я решительно не понимаю, с чего она отравилась. Жить, значит, надоело,— философически заключил Купфер свои рассуждения.

Аратов сидел, потупя голову.

— Можешь ты мне дать адрес этого дома в Казани? — промолвил он наконец.

— Могу; но на что тебе? Или ты письмо туда послать хочешь?

— Может быть.

— Ну, как знаешь. Только старуха тебе не ответит, ибо безграмотна. Вот разве сестра... О, сестра умница! Но опять-таки удивляюсь, брат, тебе! Какое прежде равнодушие... а теперь какое внимание! Всё это, любезный, от одиночества!

Аратов ничего не ответил на это замечание и ушел, запасшись казанским адресом.

Когда он ехал к Купферу, на лице его изображалось волнение, изумление, ожидание... Теперь он шел ровной походкой, с опущенными глазами, с надвинутой на лоб шляпой; почти каждый встречный прохожий провожал его пытливым взором... но он не замечал прохожих... не то что на бульваре!..

«Несчастная Клара! безумная Клара!» — звучало у него на душе.

X

Однако следующий день Аратов провел довольно спокойно. Он даже мог предаться обычным занятиям. Одно только: и во время занятий, и в свободное время он пос-

тоянно думал о Кларе, о том, что ему накануне сказал Купфер. Правда, его думы были тоже довольно мирного свойства. Ему казалось, что эта странная девушка интересовала его с психологической точки зрения, как нечто вроде загадки, над разрешением которой стоило бы поломать голову. «Убежала с актрисой на содержании,— думалось ему,— отдалась под покровительство этой княгини, у которой, кажется, жила,— и никаких *амуров*? Неправдоподобно!.. Купфер говорит: гордость! Но, во-первых, мы знаем (Аратову следовало сказать: мы вычитали в книгах)... мы знаем, что гордость уживается с легкомысленным поведением; а во-вторых, как же она, такая гордая, назначила свидание человеку, который мог оказать ей презрение... и оказал... да еще в публичном месте... на бульваре!» Тут Аратову вспомнилась вся сцена на бульваре — и он спросил себя:

«Точно ли он оказал Кларе презрение? Нет,— решил он... Это было другое чувство... чувство недоумения... недоверчивости наконец! Несчастная Клара! — снова прозвучало у него в голове.— Да, несчастная,— решил он опять...— Это самое подходящее слово. А коли так — я был несправедлив. Она верно сказала, что я ее не понял. Жаль! Такое, быть может, замечательное существо прошло так близко мимо... и я не воспользовался, я оттолкнул... Ну, ничего! Жизнь еще вся впереди. Пожалуй, еще не такие случатся встречи!

Но с какой стати она именно *меня* выбрала? — Он взглянул на зеркало, мимо которого проходил.— Что во мне особенного? И какой я красавец? — Так лицо... как все лица... Впрочем, и она не красавица.

Не красавица... а какое выразительное лицо! Неподвижное... а выразительное! Я такого лица еще не встречал. И талант у ней есть... то есть был, несомненный. Дикий, неразвитый, даже грубый... но несомненный. И в этом случае я был к ней несправедлив.— Аратов мысленно перенесся на литературно-музыкальное утро... и сам заметил за собою, что он чрезвычайно ясно вспоминал каждое пропетое и сказанное ею слово, каждую интонацию...— Этого бы не случилось, если б она была лишена таланта.

И теперь всё это в могиле, куда она сама себя толкнула... Но я тут ни при чем...Я не виноват! Было бы даже смешно думать, что я виноват.— Аратову опять пришло в голову, что если бы даже и было у ней «что-нибудь такое»— его поведение во время свидания, несомненно, ее

разочаровало... Оттого-то она так жестоко и рассмеялась на прощание.— Да и где доказательство, что она отравилась от несчастной любви? Это одни газетные корреспонденты всякую подобную смерть приписывают несчастной любви! Людям с таким характером, как у Клары, жизнь легко становится постылой... скучной. Да, скучной. Купфер прав: просто ей надоело жить.

Несмотря на успехи, на овации?»

Аратов задумался. Ему даже приятен был психологический анализ, которому он предавался. Чуждый до сих пор всякого соприкосновения с женщинами, он и не подозревал, как знаменательно было для него самого это напряженное разбирательство женской души.

«Значит,— продолжал он свои размышления,— искусство не удовлетворяло ее, не наполняло пустоты ее жизни. Настоящие художники только и существуют для художества, для театра... Всё остальное бледнеет перед тем, что они считают своим призваньем... Она была дилетантка!»

Тут Аратов опять задумался. Нет, слово «дилетантка» не вязалось с тем лицом, с выражением того лица, тех глаз...

И перед ним опять всплыл образ Клары с устремленным на него, залитым слезами взором, с приподнятыми к губам стиснутыми руками...

«Ах, не надо, не надо...— прошептал он...— К чему?»

Так прошел целый день. За обедом Аратов много разговаривал с Платошей, расспрашивал ее о старине, которую она, впрочем, и помнила и передавала плохо, так как не очень-то владела языком и, кроме своего Яши, в течение своей жизни почти ничего не замечала. Она только радовалась тому, что вот он какой сегодня добрый да ласковый! К вечеру Аратов затих до того, что сыграл несколько раз с теткой в свои козыри.

Так прошел день...— зато ночь!!

XI

Началась она хорошо; он скоро заснул, и когда тетка вошла к нему на цыпочках, чтобы трижды перекрестить его спящего — она это делала каждую ночь,— он лежал и дышал спокойно, как дитя. Но перед зарею ему привиделся сон.

Ему снилось:

Он шел по голой степи, усеянной камнями, под низким небом. Между камнями вилась тропинка; он пошел по ней.

Вдруг перед ним поднялось нечто вроде тонкого облачка. Он вглядывается; облачко стало женщиной в белом платье с светлым поясом вокруг стана. Она спешит от него прочь. Он не видел ни лица ее, ни волос... их закрывала длинная ткань. Но он непременно хотел догнать ее и заглянуть ей в глаза. Только как он ни торопился — она шла проворнее его.

На тропинке лежал широкий, плоский камень, подобный могильной плите. Он преградил ей дорогу... Женщина остановилась. Аратов подбежал к ней. Она к нему обернулась — но он все-таки не увидал ее глаз... они были закрыты. Лицо ее было белое, белое как снег; руки висели неподвижно. Она походила на статую.

Медленно, не сгибаясь ни одним членом, отклонилась она назад и опустилась на ту плиту... И вот Аратов уже лежит с ней рядом, вытянутый весь, как могильное изваяние, и руки его сложены, как у мертвеца.

Но тут женщина вдруг приподнялась — и пошла прочь. Аратов хочет тоже подняться... но ни пошевельнуться, ни разжать рук он не может и только с отчаяньем глядит ей вслед.

Тогда женщина внезапно обернулась — и он увидал светлые, живые глаза на живом, но незнакомом лице. Она смеется, она манит его рукою... а он всё не может пошевельнуться...

Она засмеялась еще раз — и быстро удалилась, весело качая головою, на которой заалел венок из маленьких роз.

Аратов силится закричать, силится нарушить этот странный кошемар...

Вдруг всё кругом потемнело... и женщина возратилась к нему. Но это уже не та незнакомая статуя... это Клара. Она остановилась перед ним, скрестила руки — и строго и внимательно смотрит на него. Губы ее сжаты — но Аратову чудится, что он слышит слова:

«Коли хочешь знать, кто я, поезжай туда!..»

«Куда?» — спрашивает он.

«Туда! — слышится стенящий ответ.— Туда!»

Аратов проснулся.

Он приподнялся в постели, зажег свечку, стоявшую на ночном столике, но не встал — и долго сидел, весь

похолоделый, медленно осматриваясь кругом. Ему казалось, что с ним что-то свершилось с тех пор, как он лег; что в него что-то внедрилось... что-то завладело им. «Да разве это возможно? — шептал он бессознательно.— Разве существует такая власть?»

Он не мог остаться в постели. Он тихонько оделся — и до утра пробродил по комнате. И странное дело! О Кларе он не думал ни минуты — и не думал оттого, что решился на другой же день ехать в Казань!

Он думал только об этой поездке; о том, как это сделать, и что с собою взять, и как он там всё разыщет и узнает — и успокоится. «Не поедешь,— рассуждал он сам с собою,— пожалуй, с ума сойдешь!» Он боялся этого; боялся своих нервов. Он был уверен, что, как только он там всё это увидит воочию, всякие наваждения разлетятся — как тот ночной кошемар. «И всего-то на поездку пойдет неделя...— думал он,— что такое неделя? а иначе не отделаешься».

Вставшее солнце осветило его комнату; но свет дневной не разогнал налегших на него ночных теней и не изменил его решения.

С Платошей чуть не сделался удар, когда он сообщил ей это решение. Она даже на корточки присела... ноги у ней подкосились. «Как в Казань? зачем в Казань?» — шептала она, выпучив и без того слепые глаза. Она бы не больше удивилась, если б узнала, что ее Яша женится на соседней булочнице или уезжает в Америку.

— И надолго в Казань?

— Я через неделю вернусь,— отвечал Аратов, стоя в полуоборот к тетке, всё еще сидевшей на полу.

Платонида Ивановна хотела еще возражать — но Аратов совершенно неожиданным и необыкновенным образом закричал на нее.

— Я не ребенок,— закричал он и весь побледнел, и губы его задрожали, и глаза сверкнули злобно.— Мне двадцать шестой год, я знаю, что делаю,— я волен делать, что хочу! Я никому не позволю... Дайте мне денег на дорогу, приготовьте чемодан с бельем и платьем... и не мучьте меня! Я через неделю вернусь, Платоша,— прибавил он более мягким голосом.

Платоша приподнялась кряхтя и, уже не возражая более, поплелась в свою комнатку. Яша испугал ее. «Не голова у меня на плечах,— говорила она кухарке, помогавшей ей укладывать Яшины вещи,— не голова, а улей...

и какие там пчелы жужжат — не знаю. В Казань уезжает, мать моя, в Каза-ань!» Кухарка, видевшая накануне, что дворник их о чем-то долго беседовал с городовым, хотела, было доложить об этом обстоятельстве своей госпоже — да не посмела и только подумала: «В Казань? Как бы не подальше куда-нибудь!» А Платонида Ивановна до того растерялась, что даже обычной молитвы своей не произносила. В такой беде и господь бог помочь не мог!

В тот же день Аратов уехал в Казань.

XII

Не успел он прибыть в этот город и занять номер в гостинице — как уже бросился отыскивать дом вдовы Миловидовой. Во время всего путешествия он находился в каком-то оцепенении, что, впрочем, нисколько не мешало ему принимать все нужные меры, в Нижнем Новгороде перебраться с железной дороги на пароход, кушать на станциях и т. п. Он по-прежнему был уверен, что *там* всё разрешится — и потому отгонял от себя всякие воспоминания и соображения, удовлетворяясь одним: мысленным приготовлением того *спича*, в котором он изложит перед семейством Клары Милич настоящую причину своей поездки. Вот он наконец добрался до цели своего стремленья, велел о себе доложить. Его впустили... с недоумением и испугом — но впустили.

Дом вдовы Миловидовой оказался действительно таким, каким описал его Купфер; и сама вдова точно походила на одну из купчих Островского, хотя была чиновница: муж ее состоял в чине коллежского асессора. Не без некоторого затруднения Аратов, предварительно извинясь в своей смелости, в странности своего посещения, произнес приготовленный спич о том, как бы ему хотелось собрать все нужные сведения о столь рано погибшей даровитой артистке; как им руководит в этом случае не праздное любопытство, а глубокое сочувствие к ее таланту, которого он был поклонником (он так и сказал: поклонником); как, наконец, было бы грешно оставить публику в неведении о том, что она потеряла — и почему не сбылись ее надежды! Г-жа Миловидова не прерывала Аратова; она едва ли хорошо понимала, что такое ей говорит этот незнакомый гость,— и только пучилась слегка и таращила на него глаза, находя, однако, что вид у него смирный, одет он прилично — и не мазурик какой... денег не попросит.

— Вы это о Кате? — спросила она, как только Аратов умолк.

— Точно так... о вашей дочери.

— И вы для этого из Москвы приехали?

— Из Москвы.

— Только для этого?

— Для этого.

Г-жа Миловидова вдруг встрепенулась.

— Да вы — сочинитель? В журналах пишете?

— Нет, я не сочинитель — и в журналах до сих пор не писал.

Вдова наклонила голову. Она недоумевала.

— Стало быть... по собственной охоте? — спросила она вдруг. Аратов не тотчас нашелся что ответить.

— По сочувствию, из уважения к таланту,— промолвил он наконец.

Слово «уважение» понравилось г-же Миловидовой.

— Что ж!..— произнесла она со вздохом.— Я хоть и мать ее — и очень о ней горевала... Ведь такое вдруг несчастье!.. Но должна сказать: шальная она была всегда — и покончила таким же манером!.. Срам такой... Посудите: каково это для матери? Уж на том спасибо, что похоронили ее по-христиански...— Г-жа Миловидова перекрестилась.— Сызмала она никому не покорялась — родительский дом покинула... и наконец—легко сказать!— в актерки пошла! Известно: от дому я ей не отказала: ведь я любила ее! Ведь я все-таки мать! Не у чужих же ей жить — да побираться!.. — Тут вдова прослезилась.— А если у вас, господин,— заговорила она снова, утирая глаза концами косынки,— точно есть такое намерение и вы против нас никакого бесчестия не замышляете —а, напротив, хотите внимание оказать — так вы вот с моей другой дочкой поговорите. Она всё вам расскажет лучше моего... Анночка! — кликнула г-жа Миловидова,— Анночка, подь сюда! Вот здесь какой-то господин из Москвы насчет Кати побеседовать желает!

Что-то стукнуло в соседней комнате, но никто не появлялся.

— Анночка! — кликнула опять вдова,— Анна Семеновна! Иди, говорят тебе!

Дверь тихонько растворилась, и на пороге показалась девушка, уже немолодая, болезненного вида и некрасивая — но с очень кроткими и грустными глазами.

Аратов поднялся с места ей навстречу и отрекомендовался, причем назвал своего друга Купфера.

— А! Федор Федорыч! — тихонько произнесла девушка и тихонько опустилась на стул.

— Ну вот, побеседуй с господином,— промолвила г-жа Миловидова, грузно поднимаясь с места,— потрудился, нарочно из Москвы приехал,— о Кате сведения собрать желает. А вы меня, господин,— прибавила она, обращаясь к Аратову,— извините... Я уйду, по хозяйству. С Анночкой вы можете хорошо объясниться — она вам и о театре расскажет... и всё такое. Она у меня умница, образованная: по-французски говорит и книжки читает, не хуже сестры ее покойницы. Она же ее, можно сказать, воспитывала... Старше ее была — ну, и занялась.

Г-жа Миловидова удалилась. Оставшись наедине с Анной Семеновной, Аратов повторил ей свой спич; но с первого же взгляду поняв, что имеет дело с девушкой действительно образованной, не с купеческой дочкой,— несколько распространился и выражения другие употребил; а под конец сам разволновался, покраснел и почувствовал, что сердце у него застучало. Анна слушала его молча, положив руку на руку; печальная улыбка не сходила с ее лица... горькое, не переболевшее горе сказывалось в этой улыбке.

— Вы знали мою сестру? — спросила она Аратова.

— Нет; я ее собственно не знал,— отвечал он.— Виделся с нею и слышал ее раз... но вашу сестру стоило раз увидеть и услышать...

— Вы хотите ее биографию написать? — спросила опять Анна.

Аратов не ожидал этого слова; однако тотчас же ответил, что — отчего же нет? Но главное, он хотел познакомить публику...

Анна остановила его движением руки.

— Это на что же? Публика ей без того много горя наделала; да и Катя только что начинала жить. Но если вы сами (Анна посмотрела на него и опять улыбнулась той же печальной, но уже более приветной улыбкой... она как будто подумала: да, ты внушаешь мне доверие)... если вы сами питаете к ней такое участие, то позвольте вас попросить прийти к нам сегодня вечером... после обеда. Я теперь не могу... так вдруг... Я соберусь с силами... Я попытаюсь... Ах, я слишком любила ее!

Анна отвернулась; она готова была зарыдать.

Аратов проворно поднялся со стула, поблагодарил за предложение, сказал, что придет непременно... непременно! — и ушел, унося в душе впечатление тихого голоса, кротких и грустных глаз — и сгорая томленьем ожидания.

XIII

Аратов в тот же день вернулся к Миловидовым и целых три часа пробеседовал с Анной Семеновной. Г-жа Миловидова ложилась спать тотчас после обеда — в два часа — и «отдыхала» до вечернего чаю, до семи часов. Разговор Аратова с сестрою Клары не был собственно беседой: она говорила почти одна, сперва с запинкой, с смущеньем, но потом с неудержимым жаром. Она, очевидно, боготворила свою сестру. Доверие, внушенное ей Аратовым, росло и крепло; она уже не стеснялась; она даже раза два, молча, всплакнула перед ним. Он казался ей достойным ее откровенных сообщений и излияний... в ее собственной глухой жизни ничего такого еще не случалось!.. А он... он впивал каждое ее слово.

Вот что он узнал... многое, конечно, из недомолвок... многое он дополнил сам.

В детстве Клара была, несомненно, неприятным ребенком; и в девушках она была немногим мягче: своевольная, вспыльчивая, самолюбивая, она не ладила особенно с отцом, которого презирала — и за пьянство и за бездарность. Он это чувствовал и не прощал ей этого. Музыкальные способности в ней оказались рано; отец не давал им ходу, признавая художеством одну живопись, в которой так мало сам преуспел, но которая кормила и его и семью. Мать свою Клара любила... небрежно, как няню; сестру обожала, хоть и дралась с ней и кусала ее... Правда, она потом становилась на колени перед нею и целовала укушенные места. Она была вся — огонь, вся — страсть и вся — противоречие: мстительна и добра, великодушна и злопамятна; верила в судьбу — и не верила в бога (эти слова Анна прошептала с ужасом); любила всё красивое, а сама о своей красоте не заботилась и одевалась как попало; терпеть не могла, чтобы за ней ухаживали молодые люди, а в книгах перечитывала только те страницы, где речь идет о любви; не хотела нравиться, не любила ласки и никогда ласки не забывала, как и не забывала оскорбления; боялась смерти и сама себя убила! Она говаривала иногда: «Такого, как *я* хочу, я не встре-

чу... а других мне не надо!» — «Ну а если встретишь?» — спрашивала Анна. «Встречу... возьму».— «А если не дастся?» — «Ну, тогда... с собой покончу. Значит, не гожусь». Отец Клары (он иногда с пьяных глаз спрашивал у жены: «От кого у тебя этот бесенок черномазый? — не от меня!»)— отец Клары, стараясь ее сбыть поскорее с рук, просватал было ее за богатого молодого купчика, преглупенького,— из «образованных». За две недели до свадьбы (ей было всего шестнадцать лет) она подошла к своему жениху, скрестивши руки и играя пальцами по локтям (любимая ее поза), да вдруг как хлоп его по румяной щеке своей большой сильной рукой! Он вскочил и только рот разинул — надо сказать, что он был смертельно в нее влюблен... Спрашивает: «За что?» Она засмеялась и ушла. «Я тут же, в комнате, находилась,— рассказывала Анна,— была свидетельницей. Побежала за ней да говорю ей: „Катя, помилуй, что ты это?" А она мне в ответ: „Коли б настоящий был человек — прибил бы меня, а то — курица мокрая! И еще спрашивает: за что? Коли любишь и не отомстил, так терпи и не спрашивай: за что? Ничего ему от меня не будет — во веки веков!" Так она замуж за него и не пошла. Тут же скоро она с той актрисой познакомилась — и оставила наш дом. Матушка поплакала, а отец только сказал: „Строптивую козу из стада вон!" И хлопотать, разыскивать не стал. Отец не понимал Клары. Меня она, накануне своего бегства,— прибавила Анна,— чуть не задушила в своих объятиях— и всё повторяла: „Не могу! не могу иначе!.. Сердце пополам, а не могу. Клетка ваша мала... не по крыльям! Да и своей судьбы не минуешь..."»

— После этого,— заметила Анна,— мы с ней редко видались... Когда умер отец, она приехала на два дня, ничего из наследства не взяла — и опять скрылась. Ей у нас было тяжело... я это видела. Потом она приехала в Казань уже актрисой.

Аратов начал расспрашивать Анну о театре, о ролях, в которых появлялась Клара, об ее успехах... Анна отвечала подробно, с тем же горестным, хоть и живым увлечением. Она даже показала Аратову фотографическую карточку, на которой Клара была представлена в костюме одной из ее ролей. На карточке она глядела в сторону, словно отворачивалась от зрителей; перевитая лентой густая коса падала змеей на обнаженную руку. Аратов долго рассматривал эту карточку, нашел ее схожей, спросил, не участвовала ли Клара в публичных чтениях, и узнал,

что нет; что ей нужно было возбуждение театра, сцены... но другой вопрос горел у него на губах.

— Анна Семеновна! — воскликнул он наконец, не громко, но с особенной силой,— скажите, умоляю вас, скажите, отчего она... отчего она решилась на тот ужасный поступок?..

Анна опустила глаза.

— Не знаю! — промолвила она спустя несколько мгновений.— Ей-богу, не знаю!..— продолжала она стремительно, заметив, что Аратов развел руками, как бы не веря ей.— С самого приезда сюда она точно была задумчива, мрачна. С ней непременно что-нибудь в Москве случилось, чего я не могла разгадать! Но, напротив, в тот роковой день она как будто была... если не веселее, то спокойнее обыкновенного. Даже у меня никаких предчувствий не было,— прибавила Анна с горькой усмешкой, как бы упрекая себя в этом.

— Видите ли,— заговорила она опять,— у Кати словно на роду было написано, что она будет несчастна. С ранних лет она была в этом убеждена. Подопрется так рукою, задумается и скажет: «Мне не долго жить!» У ней бывали предчувствия. Представьте, что она даже заранее — иногда во сне, а иногда и так — видела, что с ней будет! «Не могу жить, как хочу, так и не надо...» — тоже была ее поговорка. «Ведь наша жизнь в нашей руке!» И она это доказала!

Анна закрыла лицо руками — и умолкла.

— Анна Семеновна,— начал погодя немного Аратов,— вы, может быть, слышали, чему приписывали газеты...

— Несчастной любви? — перебила Анна, разом отдернув руки от лица.— Это клевета, клевета, выдумка!.. Моя нетронутая, неприступная Катя... Катя!.. и несчастная, отвергнутая любовь?!! И я бы этого не знала?.. В нее, в нее все влюблялись... а она... И кого бы она здесь полюбила? Кто изо всех этих людей, кто был ее достоин? Кто дорос до того идеала честности, правдивости, чистоты, главное, чистоты, который, при всех ее недостатках, постоянно носился перед нею?.. Ее отвергнуть... ее...

Голос перервался у Анны... Ее пальцы слегка задрожали. Она вдруг вся покраснела... покраснела от негодования, и в этот миг — и только на миг стала похожа на сестру.

Аратов начал было извиняться.

— Послушайте,— опять перебила Анна,— я непре-

менно хочу, чтобы вы и сами не верили в эту клевету и рассеяли бы ее, если это возможно! Вот вы хотите написать о ней статью, что ли, вот вам случай защитить ее память! Я оттого и говорю с вами так откровенно. Послушайте: от Кати остался дневник...

Аратов вздрогнул.

— Дневник,— прошептал он...

— Да, дневник... то есть всего несколько страничек. Катя не любила писать... по целым месяцам ничего не записывала... и письма ее были такие короткие. Но она всегда, всегда была правдива, она никогда не лгала... С ее самолюбием да лгать! Я... я вам покажу этот дневник! Вы увидите сами, был ли в нем хотя намек на какую-то несчастную любовь!

Анна торопливо достала из столового ящика тоненькую тетрадку, страниц в десять, не более, и протянула ее Аратову. Тот схватил ее с жадностью, узнал неправильный, размашистый почерк, почерк того безымянного письма, развернул ее наудачу — и тотчас же напал на следующие строки:

«Москва. Вторник ...го июня. Пела и читала на литературном утре. Сегодня для меня знаменательный день. *Он должен решить мою участь.* (Эти слова были дважды подчеркнуты.) Я опять увидала...» Тут следовало несколько тщательно замаранных строк. И потом: «Нет! нет! нет!.. Надо опять за прежнее, если только...»

Аратов опустил руку, в которой он держал тетрадку, и голова его тихо свесилась на грудь.

— Читайте! — воскликнула Анна.— Что ж вы не читаете? Прочтите с начала... Тут всего на пять минут чтения, хоть и на целых два года тянется этот дневник. В Казани она уже ничего не записывала...

Аратов медленно поднялся со стула и так и обрушился на колени перед Анной.

Та просто окаменела от удивления и испуга.

— Дайте... дайте мне этот дневник,— заговорил Аратов замиравшим голосом,— и протянул к Анне обе руки.— Дайте мне его... и карточку... у вас, наверное, есть другая — а дневник я вам возвращу... Но мне нужно, нужно...

В его мольбе, в искаженных чертах его лица было что-то до того отчаянное, что оно походило даже на злобу, на страдание... Да он и страдал действительно. Он словно сам не мог предвидеть, что над ним стрясется такая беда,— и раздраженно молил о пощаде, о спасении...

— Дайте,— повторял он.
— Да... вы... вы были влюблены в мою сестру? — проговорила наконец Анна.
Аратов продолжал стоять на коленях.
— Я ее всего два раза видел... верьте мне!.. и если бы меня не побуждали причины, которые я сам ни понять, ни изъяснить хорошенько не могу... если б не была надо мною какая-то власть, сильнее меня... я не стал бы вас просить... я бы не приехал сюда. Мне нужно... я должен... ведь вы сами сказали, что я обязан восстановить ее образ!
— И вы не были влюблены в сестру? — спросила Анна вторично.
Аратов не тотчас ответил — и отвернулся слегка, как от боли.
— Ну, да! был! был! Я и теперь влюблен...— воскликнул он с тем же отчаяньем.
Послышались шаги в соседней комнате.
— Встаньте... встаньте...— поспешно промолвила Анна.— К нам матушка идет.
Аратов приподнялся.
— И возьмите дневник и карточку, бог с вами! Бедная, бедная Катя!.. Но вы дневник мне возвратите,—прибавила она с живостью.— И если вы что напишете, пришлите мне непременно... Слышите?
Появление г-жи Миловидовой избавило Аратова от необходимости отвечать. Он успел, однако, шепнуть:
— Вы ангел! Спасибо! Пришлю всё, что напишу...
Г-жа Миловидова спросонья ни о чем не догадалась.
Так Аратов и уехал из Казани с фотографической карточкой в боковом кармане сюртука. Тетрадку он возвратил Анне — но, незаметно для нее, вырезал листик, на котором находились подчеркнутые слова.
На обратном пути в Москву им опять овладело оцепенение. Хоть он и радовался втайне, что добился-таки того, зачем ездил, однако все помышления о Кларе он откладывал до возвращения домой. Он гораздо больше думал о ее сестре Анне. «Вот,— думал он,— чудесное, симпатическое существо! Какое тонкое понимание всего, какое любящее сердце, какое отсутствие эгоизма! И как это у нас в провинции — да еще в такой обстановке — расцветают такие девушки! Она и болезненна, и собой дурна, и не молода,— а какой бы отличной была подругой для

порядочного, образованного человека! Вот в кого следовало бы влюбиться!..» Аратов думал так... но по прибытии в Москву дело приняло совсем другой оборот.

XIV

Платонида Ивановна несказанно обрадовалась возвращению своего племянника. Чего-чего она не передумала в его отсутствие! «По меньшей мере, в Сибирь! — шептала она, сидя неподвижно в своей комнатке,— по меньшей мере на год!» К тому же и кухарка пугала ее, сообщая наивернейшие известия об исчезновении то того, то другого молодого человека по соседству. Совершенная невинность и благонадежность Яши нисколько не успокоивали старушку. «Потому... мало ли что! — фотографией занимается... ну и довольно! Бери его!» И вот ее Яшенька вернулся цел и невредим! Правда, она заметила, что он как будто похужел и в личике осунулся — дело понятное... без призора! — но расспрашивать его об его путешествии не посмела. Спросила за обедом: «А хороший город Казань?» — «Хороший»,— отвечал Аратов. «Чай, там всё татары живут?» — «Не одни татары».— «А халата оттуда не привез?» — «Нет, не привез». Тем и кончился разговор.

Но как только Аратов очутился один в своем кабинете — он немедленно почувствовал, что его как бы кругом что-то охватило, что он опять находится *во власти*, именно во власти другой жизни, другого существа. Хоть он и сказал Анне — в том порыве внезапного исступлѐния,— что он влюблен в Клару, но это слово ему самому теперь казалось бессмысленным и диким. Нет, он не влюблен, да и как влюбиться в мертвую, которая даже при жизни ему не нравилась, которую он почти забыл? Нет! но он во власти... в *ее* власти... он не принадлежит себе более. Он — *взят*. Взят до того, что даже не пытается освободиться ни насмешкой над собственной нелепостью, ни возбужденьем в себе если не уверенности, то хоть надежды, что это всё пройдет, что это — одни нервы, ни приискиваньем к тому доказательств, ни чем иным! «Встречу — возьму»,— вспомнились ему слова Клары, переданные Анной... вот он и взят. «Да ведь она — мертвая? Да; тело ее мертвое... а душа? разве она не бессмертная... разве ей нужны земные óрганы, чтобы проявить свою власть? Вон магнетизм нам доказал влияние живой человеческой души на другую живую человеческую душу... Отчего же это влияние не

продолжится и после смерти — коли душа остается живою? Да с какой целью? Что из этого может выйти? Но разве мы — вообще — постигаем, какая цель всего, что совершается вокруг нас?» Эти мысли до того занимали Аратова, что он внезапно, за чаем, спросил Платошу: верит ли она в бессмертие души? Та сначала не поняла, что он такое спрашивает,— а потом перекрестилась и ответила, что еще бы — душе да не быть бессмертной! «А коли так, может она действовать после смерти?» — опять спросил Аратов. Старушка отвечала, что может... за нас молиться то есть; и то, когда пройдет все мытарства — в ожиданье страшного суда. А первые сорок дней она только витает около того места, где ей смерть приключилась.

— Первые сорок дней?

— Да; а потом пойдут мытарства.

Аратов подивился познаньям тетки — и ушел к себе. И опять почувствовал то же, ту же власть над собой. Власть эта сказывалась и в том, что ему беспрестанно представлялся образ Клары, до малейших подробностей, до таких подробностей, которые он при жизни ее как будто и не замечал: он видел... видел ее пальцы, ногти, грядки волос на щеках под висками, небольшую родинку под левым глазом; видел движения ее губ, ноздрей, бровей... и какая у ней походка — и как она держит голову немного на правый бок... всё видел он! Он вовсе не любовался всем этим; он только не мог об этом не думать и не видеть. В первую ночь после своего возвращения она, однако, ему не снилась... он очень устал и спал как убитый. Зато, как только он проснулся, она снова вошла в его комнату — и так и осталась в ней, точно хозяйка; точно она своей добровольной смертью купила себе это право, не спросясь его и не нуждаясь в его позволенье. Он взял ее фотографическую карточку; начал ее воспроизводить, увеличивать. Потом он вздумал ее приладить к стереоскопу. Хлопот ему было много... наконец это ему удалось. Он так и вздрогнул, когда увидел сквозь стекло ее фигуру, получившую подобие телесности. Но фигура эта была серая, словно запыленная... и к тому же глаза... глаза всё смотрели в сторону, всё как будто отворачивались. Он стал долго, долго глядеть на них, как бы ожидая, что вот они направятся в его сторону... он даже нарочно прищуривался... но глаза оставались неподвижными и вся фигура принимала вид какой-то куклы. Он отошел прочь, бросился в кресло, достал вырванный листик ее дневника с

подчеркнутыми словами — и подумал: «Ведь вот, говорят, влюбленные целуют строки, написанные милой рукою.— а мне этого не хочется делать — да и почерк мне кажется некрасивым. Но в этой строке — мой приговор». Тут ему пришло в голову обещанье, данное Анне насчет статьи. Он сел за стол и принялся было ее писать; но всё у него выходило так ложно, так риторично... главное, так ложно... точно он не верил ни в то, что он писал, ни в собственные чувства... да и сама Клара показалась ему незнакомой, непонятной! Она не давалась ему. «Нет! — подумал он, бросая перо...— либо сочинительство вообще не мое дело, либо еще подождать надо!» Он стал припоминать свое посещение у Миловидовых и весь рассказ Анны, этой доброй, чудной Анны... Сказанное ею слово «Нетронутая!» внезапно поразило его... Словно что и обожгло его и осветило.

— Да,— промолвил он громко,— она нетронутая — и я нетронутый... Вот что дало ей эту власть!

Мысли о бессмертии души, о жизни за гробом снова посетили его. Разве не сказано в Библии: «Смерть, где жало твое?» А у Шиллера: «И мертвые будут жить!» (Auch die Todten sollen leben!) Или вот еще, кажется, у Мицкевича: «Я буду любить до скончания века... и по скончании века!» А один английский писатель сказал: «Любовь сильнее смерти!» Библейское изречение особенно подействовало на Аратова. Он хотел отыскать место, где находятся эти слова... Библии у него не было; он пошел попросить ее у Платоши. Та удивилась; однако достала старую-старую книгу в покоробленном кожаном переплете, с медными застежками, всю закапанную воском — и вручила ее Аратову. Он унес ее к себе в комнату — но долго не находил того изречения... зато ему попалось другое:

«Большее сея любве никто же имать, да кто душу свою положит за други своя...» (Ев. от Иоанна, XV гл., 13 ст.).

Он подумал: «Не так сказано. Надо было сказать: «Большее сея *власти* никто же имать...»

«А если она вовсе не за меня положила свою душу? Если она только потому покончила с собою, что жизнь ей стала в тягость? Если она, наконец, вовсе не для любовных объяснений пришла на свидание?»

Но в это мгновенье ему представилась Клара перед разлукой на бульваре... Он вспомнил то горестное вы-

ражение на ее лице — и те слезы, и те слова: «Ах, вы ничего не поняли!..»

Нет! он не мог сомневаться в том, из-за чего и для кого она положила свою душу...

Так прошел весь этот день до ночи.

XV

Аратов лег рано, без особенного желания спать; но он надеялся найти отдых в постели. Напряженное состояние его нервов причинило ему утомление, гораздо более несносное, чем физическая усталость путешествия и дороги. Однако, как ни было велико его утомление, заснуть он не мог. Он попытался читать... но строки путались перед его глазами. Он погасил свечку — и мрак водворился в его комнате. Но он продолжал лежать без сна, с закрытыми глазами... И вот ему почудилось: кто-то шепчет ему на ухо... «Стук сердца, шелест крови...»,— подумал он. Но шёпот перешел в связную речь. Кто-то говорил по-русски, торопливо, жалобно — и невнятно. Ни одного отдельного слова нельзя было уловить... Но это был голос Клары!

Аратов открыл глаза, приподнялся, облокотился... Голос стал слабее, но продолжал свою жалобную, поспешную, по-прежнему невнятную речь...

Это, несомненно, голос Клары!

Чьи-то пальцы пробежали легкими арпеджиями по клавишам пианино... Потом голос опять заговорил. Послышались более протяжные звуки... как бы стоны... всё одни и те же. А там начали выделяться слова...

«Розы... розы... розы...»

— Розы,— повторил шёпотом Аратов.— Ах, да! это те розы, которые я видел на голове той женщины во сне...

«Розы»,— послышалось опять.

— Ты ли это? — спросил тем же шёпотом Аратов.

Голос вдруг умолк.

Аратов подождал... подождал — и уронил голову на подушку. «Галлюцинация слуха,— подумал он.— Ну, а если... если она точно здесь, близко?.. Если бы я ее увидел — испугался ли бы я? Или обрадовался? Но чего бы я испугался? Чему бы обрадовался? Разве вот чему: это было бы доказательством, что есть другой мир, что душа бессмертна. Но, впрочем, если бы я даже что-нибудь увидел — ведь это могло бы тоже быть галлюцинацией зренья...»

Однако он зажег свечку — и быстрым взором, не без некоторого страха, обежал всю комнату... и ничего в ней необыкновенного не увидел. Он встал, подошел к стереоскопу... опять та же серая кукла с глазами, смотрящими в сторону. Чувство страха заменилось в Аратове чувством досады. Он как будто обманулся в своих ожиданьях... да и смешны ему показались эти самые ожиданья. «Ведь это, наконец, глупо!» — пробормотал он, снова ложась в постель, и задул свечку. Опять водворилась глубокая темнота.

Аратов решился заснуть на этот раз... Но в нем возникло новое ощущение. Ему показалось, что кто-то стоит посреди комнаты, недалеко от него — и чуть заметно дышит. Он поспешно обернулся, раскрыл глаза... Но что же можно было видеть в этой непроницаемой темноте? Он стал отыскивать спичку на ночном столике... и вдруг ему почудилось, что какой-то мягкий, бесшумный вихрь пронесся через всю комнату, через него, сквозь него — и слово «Я!» явственно раздалось в его ушах...

«Я!.. Я!..»

Прошло несколько мгновений, прежде чем он успел зажечь свечку.

В комнате опять никого не было — и он уже не слышал ничего, кроме порывистого стука собственного сердца. Он выпил стакан воды — и остался неподвижен, опершись головою на руку. Он ждал.

Он подумал: «Буду ждать. Либо это всё вздор... либо она здесь. Не станет же она играть со мною, как кошка с мышью!» Он ждал, ждал долго... так долго, что рука, которой он поддерживал голову, отекла... но ни одно из прежних ощущений не повторялось. Раза два глаза его слипались... Он тотчас открывал их... по крайней мере ему казалось, что он их открывал. Понемногу они устремились на дверь и остановились на ней. Свеча нагорела — и в комнате стало опять темно... но дверь белела длинным пятном среди полумрака. И вот это пятно шевельнулось, уменьшилось, исчезло... и на его месте, на пороге двери, показалась женская фигура. Аратов всматривается... Клара! И на этот раз она прямо смотрит на него, подвигается к нему... На голове у ней венок из красных роз... Он весь всколыхнулся, приподнялся...

Перед ним стоит его тетка, в ночном чепце с большим красным бантом и в белой кофте.

— Платоша! — с трудом проговорил он.— Это вы?

— Это я,— ответила Платонида Ивановна.— Я, Яшенёночек, я.

— Зачем вы пришли?

— Да ты меня разбудил. Сперва всё как будто стонал... а потом вдруг как закричишь: «Спасите! помогите!»

— Я кричал?

— Да; кричал — и хрипло так: «Спасите!» Я подумала: «Господи! Уж не болен ли он?» Я и вошла. Ты здоров?

— Совершенно здоров.

— Ну, значит, тебе дурной сон приснился. Хочешь, ладанком покурю?

Аратов еще раз пристально вгляделся в тетку— и громко засмеялся... Фигура доброй старушки в чепце и кофте, с испуганным, вытянутым лицом, была действительно очень забавна. Всё то таинственное, что его окружало, что давило его,— все эти чары разлетелись разом.

— Нет, Платоша, голубушка, не надо,— промолвил он.— Извините, пожалуйста, что я нехотя вас потревожил. Почивайте спокойно — и я усну.

Платонида Ивановна постояла еще немного на месте, показала на свечку, поворчала: зачем, мол, не гасишь... долго ли до беды! — и уходя, не могла удержаться, чтобы хоть издали, да не перекрестить его.

Аратов немедленно заснул — и спал до утра. Он и встал в хорошем расположении духа... хотя ему и было жаль чего-то... Он чувствовал себя легко и свободно. «Экие романтические затеи, подумаешь»,— говорил он самому себе с улыбкой. Он ни разу не взглянул ни на стереоскоп, ни на вырванный им листик. Однако тотчас после завтрака отправился к Купферу.

Что его туда влекло... он сознавал смутно.

XVI

Аратов застал своего сангвинического приятеля дома. Поболтал с ним немного, попрекнул ему, что он совсем их с теткой забывает,— выслушал новые похвалы золотой женщине, княгине, от которой Купфер только что получил из Ярославля ермолку, вышитую рыбьей чешуей... и вдруг, усевшись перед Купфером и глядя ему прямо в глаза, объявил, что ездил в Казань.

— Ты ездил в Казань? Это зачем?

— Да вот хотел собрать сведения об этой... Кларе Милич.

— О той, что отравилась?
— Да.
Купфер покачал головою.
— Вишь ты какой! А еще тихоня! Тысячу верст отломал туда и сюда... из-за чего? А? И хоть бы женский интерес тут был какой! Тогда я всё понимаю! всё! всякие безумства! — Купфер взъерошил себе волосы.— Но чтобы одни материалы собирать, как это у вас говорится — у ученых мужей... Слуга покорный! На это существует статистический комитет! Ну и что ж, познакомился ты со старухой и с сестрой? Не правда ли, чудесная девушка?
— Чудесная,— подтвердил Аратов.— Она мне много любопытного сообщила.
— Сказала она тебе, как именно отравилась Клара?
— То есть... как же?
— Да; каким манером?
— Нет... Она еще так была огорчена... Я не посмел слишком-то расспрашивать. А разве было что особенное?
— Конечно, было. Представь: она должна была в самый тот день играть — и играла. Взяла с собою стклянку яду в театр, перед первым актом выпила — и так и доиграла весь этот акт. С ядом-то внутри! Какова сила воли? Характер каков? И, говорят, никогда она с таким чувством, с таким жаром не проводила своей роли! Публика ничего не подозревает, хлопает, вызывает... А как только занавес опустился — и она тут же, на сцене, упала. Корчи... корчи... и через час и дух вон! Да разве я тебе этого не рассказывал? И в газетах об этом было!
У Аратова внезапно похолодели руки и в груди задрожало.
— Нет, ты мне этого не рассказывал,— промолвил он наконец.— И ты не знаешь, какая это была пьеса?
Купфер задумался.
— Называли мне эту пьесу... в ней является обманутая девушка... Должно быть, драма какая-нибудь. Клара была рождена для драматических ролей... Самая ее наружность... Но куда же ты? — перебил самого себя Купфер, видя, что Аратов берется за шапку.
— Мне что-то нездоровится,— отвечал Аратов.— Прощай... Я в другой раз зайду.

Купфер остановил его и заглянул ему в лицо.

— Экой ты, брат, нервический человек! Посмотри-ка на себя... Побелел, как глина.

— Мне нездоровится,— повторил Аратов, освободился от руки Купфера и отправился восвояси. Только в это мгновение ему стало ясно, что он и приходил-то к Купферу с единственной целью поговорить о Кларе...

«О безумной, о несчастной Кларе...»

Однако, придя домой, он опять скоро успокоился — до некоторой степени.

Обстоятельства, сопровождавшие смерть Клары, сначала произвели на него потрясающее впечатление; но потом эта игра «с ядом внутри», как выразился Купфер, показалась ему какой-то уродливой фразой, бравировкой— и он уже старался не думать об этом, боясь возбудить в себе чувство, похожее на отвращение. А за обедом, сидя перед Платошей, он вдруг вспомнил ее полуночное появление, вспомнил эту куцую кофту, этот чепец с высоким бантом (и к чему бант на ночном чепце?!), всю эту смешную фигуру, от которой, как от свистка машиниста в фантастическом балете, все его видения рассыпались прахом! Он даже заставил Платошу повторить рассказ о том, как она услышала его крик, испугалась, вскочила, не могла разом попасть ни в свою, ни в его дверь, и т. д. Вечером он с ней поиграл в карты и ушел в свою комнату немного грустный, но опять-таки довольно спокойный.

Аратов не думал о предстоявшей ночи и не боялся ее: он был уверен, что проведет ее как нельзя лучше. Мысль о Кларе от времени до времени пробуждалась в нем; но он тотчас вспоминал, как она «фразисто» себя уморила и отворачивался. Это «безобразие» мешало другим воспоминаниям о ней. Взглянувши мельком на стереоскоп, ему даже показалось, что она оттого смотрела в сторону, что ей было *стыдно*. Прямо над стереоскопом на стене висел портрет его матери. Аратов снял его с гвоздя, долго его рассматривал, поцеловал и бережно спрятал в ящик. Отчего он это сделал? Оттого ли, что тому портрету не следовало находиться в соседстве той женщины... или по другой какой причине — Аратов не отдал себе отчета. Но портрет матери возбудил в нем воспоминание об отце... об отце, которого он видел умирающим в этой же самой комнате, на этой постели. «Что ты думаешь обо всем этом, отец? — обратился он мысленно к нему.— Ты всё это понимал;

ты тоже верил в шиллеровский „мир духов“. Дай мне совет!»

— Отец дал бы мне совет все эти глупости бросить,— промолвил Аратов громко и взялся за книгу. Читать он, однако, долго не мог и, чувствуя какое-то отяжеление всего тела, раньше обыкновенного лег в постель в полной уверенности, что заснет немедленно.

Оно так и случилось... но не оправдались его надежды на мирную ночь.

XVII

Полночь еще не успела пробить, как ему уже привиделся необычайный, угрожающий сон.

Ему казалось, что он находится в богатом помещичьем доме, которого он был хозяином. Он недавно купил и дом этот и всё прилегавшее к нему имение. И всё ему думается: «Хорошо, теперь хорошо, а быть худу!» Возле него вертится маленький человечек, его управляющий; он всё смеется, кланяется и хочет показать Аратову, как у него в доме и имении всё отлично устроено. «Пожалуйте, пожалуйте,— твердит он, хихикая при каждом слове,— посмотрите, как у вас всё благополучно! Вот лошади... экие чудесные лошади!» И Аратов видит ряд громадных лошадей. Они стоят к нему задом, в стойлах; гривы и хвосты у них удивительные... но как только Аратов проходит мимо, головы лошадей поворачиваются к нему — и скверно скалят зубы. «Хорошо...— думает Аратов,— а быть худу!» — «Пожалуйте, пожалуйте,— опять твердит управляющий,— пожалуйте в сад: посмотрите, какие у вас чудесные яблоки». Яблоки точно чудесные, красные, круглые; но как только Аратов взглядывает на них, они морщатся и падают... «Быть худу»,— думает он. «А вот и озеро,— лепечет управляющий,— какое оно синее да гладкое! Вот и лодочка золотая... Угодно на ней прокатиться?.. Она сама поплывет».— «Не сяду! — думает Аратов,— быть худу!» — и все-таки садится в лодочку. На дне лежит, скорчившись, какое-то маленькое существо, похожее на обезьяну; оно держит в лапе стклянку с темной жидкостью. «Не извольте беспокоиться,— кричит с берегу управляющий...— Это ничего! Это смерть! Счастливого пути!» Лодка быстро мчится... но вдруг налетает вихрь, не вроде вчерашнего, бесшумного, мягкого — нет; черный, страшный, воющий вихрь! Всё мешается кругом — и среди кру-

тящейся мглы Аратов видит Клару в театральном костюме: она подносит стклянку к губам, слышатся отдаленные: «Браво! браво!» — и чей-то грубый голос кричит Аратову на ухо: «А! ты думал, это всё комедией кончится? Нет, это трагедия! трагедия!»

Весь трепеща, проснулся Аратов. В комнате не темно... Откуда-то льется слабый свет и печально и неподвижно освещает все предметы. Аратов не отдает себе отчета, откуда льется этот свет... Он чувствует одно: Клара здесь, в этой комнате... он ощущает ее присутствие... он опять и навсегда в ее власти!

Из губ его исторгается крик:

— Клара, ты здесь?

— Да! — раздается явственно среди неподвижно освещенной комнаты.

Аратов беззвучно повторяет свой вопрос...

— Да! — слышится снова.

— Так я хочу тебя видеть! — вскрикивает он и соскакивает с постели.

Несколько мгновений простоял он на одном месте, попирая голыми ногами холодный пол. Взоры его блуждали. «Где же? где?» — шептали его губы...

Ничего не видать, не слыхать...

Он осмотрелся — и заметил, что слабый свет, наполнявший комнату, происходил от ночника, заслоненного листом бумаги и поставленного в углу, вероятно, Платошей, в то время как он спал. Он даже почувствовал запах ладана... тоже, вероятно, дело ее рук.

Он поспешно оделся. Оставаться в постели, спать — было немыслимо. Потом он остановился посреди комнаты и скрестил руки. Ощущение присутствия Клары было в нем сильнее, чем когда-либо.

И вот он заговорил не громким голосом, но с торжественной медленностью, как произносятся заклинания.

— Клара,— так начал он,— если ты точно здесь, если ты меня видишь, если ты меня слышишь — явись!.. Если эта власть, которую я чувствую над собой, точно *твоя* власть — явись! Если ты понимаешь, как горько я раскаиваюсь в том, что не понял, что оттолкнул тебя,— явись! Если то, что я слышал,— точно твой голос; если чувство, которое овладело мною,— любовь; если ты теперь уверена, что я люблю тебя, я, который до сих пор и не любил и не знал ни одной женщины; если ты знаешь, что я после твоей смерти полюбил тебя страстно, неотразимо,

если ты не хочешь, чтобы я сошел с ума,— явись, Клара!

Аратов еще не успел произнести это последнее слово, как вдруг почувствовал, что кто-то быстро подошел к нему сзади — как тогда, на бульваре — и положил ему руку на плечо. Он обернулся — и никого не увидел. Но то ощущение *ее* присутствия стало таким явственным, таким несомненным, что он опять торопливо оглянулся...

Что это?! На его кресле, в двух шагах от него, сидит женщина, вся в черном. Голова отклонена в сторону, как в стереоскопе... Это она! Это Клара! Но какое строгое, какое унылое лицо!

Аратов тихо опустился на колени. Да; он был прав тогда: ни испуга, ни радости не было в нем — ни даже удивления... Даже сердце его стало тише биться. Одно в нем было сознание, одно чувство: «А! наконец! наконец!»

— Клара,— заговорил он слабым, но ровным голосом,— отчего ты не смотришь на меня? Я знаю, что это ты... но ведь я могу подумать, что мое вооображение создало образ, подобный *тому*... (Он указал рукою в направлении стереоскопа.) Докажи мне, что это ты... обернись ко мне, посмотри на меня, Клара!

Рука Клары медленно приподнялась... и упала снова.

— Клара, Клара! обернись ко мне!

И голова Клары тихо повернулась, опущенные веки раскрылись, и темные зрачки ее глаз вперились в Аратова.

Он подался немного назад — и произнес одно протяжное, трепетное:

— А!

Клара пристально смотрела на него... но ее глаза, ее черты сохраняли прежнее задумчиво-строгое, почти недовольное выражение. С этим именно выражением на лице явилась она на эстраду в день литературного утра — прежде чем увидела Аратова. И так же, как в тот раз, она вдруг покраснела, лицо оживилось, вспыхнул взор — и радостная, торжествующая улыбка раскрыла ее губы...

— Я прощен! — воскликнул Аратов.— Ты победила... Возьми же меня! Ведь я твой — и ты моя!

Он ринулся к ней, он хотел поцеловать эти улыбающиеся, эти торжествующие губы — и он поцеловал их,

он почувствовал их горячее прикосновение, он почувствовал даже влажный холодок ее зубов — и восторженный крик огласил полутемную комнату.

Вбежавшая Платонида Ивановна нашла его в обмороке. Он стоял на коленях; голова его лежала на кресле; протянутые вперед руки бессильно свисли; бледное лицо дышало упоением безмерного счастия.

Платонида Ивановна так и упала возле него, обняла его стан, залепетала:

— Яша! Яшенька! Яшенёночек!! — попыталась приподнять его своими костлявыми руками... он не шевелился. Тогда Платонида Ивановна принялась кричать не своим голосом. Вбежала служанка. Вдвоем они кое-как его подняли, усадили, начали прыскать в него водою — да еще с образа...

Он пришел в себя. Но на расспросы тетки он только улыбался — да с таким блаженным видом, что она еще пуще перетревожилась — и то его крестила, то себя... Аратов, наконец, отвел ее руку и всё с тем же блаженным выраженьем на лице промолвил:

— Да, Платоша, что с вами?

— С тобой-то что, Яшенька?

— Со мной? Я счастлив... счастлив, Платоша... вот что со мной. А теперь я желаю лечь да спать.— Он хотел было приподняться — но такую почувствовал в ногах, да и во всем теле, слабость, что без помощи тетки да служанки не был бы в состоянии раздеться и лечь в постель. Зато он заснул очень скоро, сохраняя на лице всё то же блаженно-восторженное выражение. Только лицо его было очень бледно.

XVIII

Когда на следующее утро Платонида Ивановна вошла к нему — он находился всё в том же положении... но слабость не прошла, и он даже предпочел остаться в постели. Бледность его лица особенно не понравилась Платониде Ивановне. «Что это, господи! — думалось ей,— кровинки в лице нет, от бульона отказывается, лежит да посмеивается — и всё уверяет, что здоровехонек!» Он отказался и от завтрака. «Что же это ты, Яша? — спрашивала она его,— так весь день и намерен пролежать?» — «А хоть бы и так?» — ответил ласково Аратов. Самая эта ласковость опять-таки не понравилась Платониде Ивановне. Аратов

имел вид человека, который узнал великую, для него очень приятную тайну — и ревниво держит и хранит ее про себя. Он дожидался ночи — не то что с нетерпеньем, а с любопытством. «Что же далее? — спрашивал он себя,— что будет?» Изумляться, недоумевать он перестал; он не сомневался в том, что вступил в сообщение с Кларой; что они любят друг друга... И в этом он не сомневался. Только... что же может выйти из такой любви? Вспоминал он тот поцелуй... и чудный холод быстро и сладко пробегал по всем его членам.

«Таким поцелуем,— думалось ему,— и Ромео и Джульетта не менялись! Но в другой раз я лучше выдержу... Я буду обладать ею... Она придет в венке из маленьких роз на черных кудрях...

Но как же дальше? Ведь вместе жить нам нельзя же? Стало быть, мне придется умереть, чтобы быть вместе с нею? Не за этим ли она приходила — и не *так* ли она хочет меня взять?

Ну так что же? Умереть — так умереть. Смерть теперь не страшит меня нисколько. Уничтожить она меня ведь не может? Напротив, только *так* и *там* я буду счастлив... как не был счастлив в жизни, как и она не была... Ведь мы оба — нетронутые! О, этот поцелуй!»

Платонида Ивановна то и дело заходила к Аратову в комнату; не беспокоила его вопросами, только взглядывала на него, шептала, вздыхала — и уходила опять. Но вот он отказался и от обеда... Это было уже из рук вон плохо. Старушка отправилась за своим знакомым участковым лекарем, в которого она верила только потому, что человек он был непьющий и женился на немке. Аратов удивился, когда она привела его к нему; но Платонида Ивановна так настойчиво стала просить своего Яшеньку позволить Парамону Парамонычу (так звали лекаря) осмотреть его — ну хоть для нее! — что Аратов согласился. Парамон Парамоныч пощупал у него пульс, посмотрел на язык — кое-что порасспросил — и объявил наконец, что необходимо нужно его «поавскультировать». Аратов был в таком повадливом настроении духа, что и на это согласился. Лекарь деликатно обнажил его грудь, деликатно постучал, послушал, похмыкал — прописал капли да микстуру, а главное: посоветовал быть спокойным

и воздерживаться от сильных впечатлений. «Вот как! — подумал Аратов...— Ну, брат, поздно хватился!»

— Что такое с Яшей? — спросила Платонида Ивановна, вручая Парамону Парамонычу на пороге двери трехрублевую ассигнацию. Участковый лекарь, который, как все современные медики — особенно те из них, что мундир носят,— любил пощеголять учеными терминами, объявил ей, что у ее племянника все «диоптрические симптомы нервозной кардиалгии — да и фебрис есть». «Ты, однако, батюшка, говори попроще,— отрезала Платонида Ивановна,— латынью-то не пугай; ты не в аптеке!» — «Сердце не в порядке, — объяснил лекарь, — ну и лихорадочка...» — и повторил свой совет насчет спокойствия и воздержания. «Да ведь опасности нет?» — с строгостью спросила Платонида Ивановна (смотри, мол, опять в латынь не заезжай!).— «Пока не предвидится!»

Лекарь ушел — а Платонида Ивановна пригорюнилась... однако послала в аптеку за лекарством, которое Аратов не принял, несмотря на ее просьбы. Он отказался также и от грудного чаю. «И чего вы так беспокоитесь, голубушка?— говорил он ей,— уверяю вас, я теперь самый здоровый и счастливый человек в целом свете!» Платонида Ивановна только головой качала. К вечеру с ним сделался небольшой жар; и все-таки он настоял на том, чтобы она не оставалась в его комнате и ушла спать к себе. Платонида Ивановна повиновалась, но не разделась и не легла; села в кресло — и всё прислушивалась да шептала свою молитву.

Она начала было дремать, как вдруг страшный, пронзительный крик разбудил ее. Она вскочила, бросилась в кабинет к Аратову — и по-вчерашнему нашла его лежавшим на полу.

Но он не пришел в себя по-вчерашнему, как ни бились над ним. С ним в ту же ночь сделалась горячка, усложненная воспалением сердца.

Через несколько дней он скончался.

Странное обстоятельство сопровождало его второй обморок. Когда его подняли и уложили, в его стиснутой правой руке оказалась небольшая прядь черных женских волос. Откуда взялись эти волосы? У Анны Семеновны была такая прядь, оставшаяся от Клары; но с какой стати было ей отдать Аратову такую для нее дорогую вещь? Разве как-нибудь в дневник она ее заложила — и не заметила, как отдала?

В предсмертном бреду Аратов называл себя Ромео... после отравы; говорил о заключенном, о совершенном браке; о том, что он знает теперь, что такое наслаждение. Особенно ужасна была для Платоши минута, когда Аратов, несколько придя в себя и увидав ее возле своей постели, сказал ей:

— Тетя, что ты плачешь? тому, что я умереть должен? Да разве ты не знаешь, что любовь сильнее смерти?.. Смерть! Смерть, где жало твое? Не плакать, а радоваться должно — так же, как и я радуюсь...

И опять на лице умирающего засияла та блаженная улыбка, от которой так жутко становилось бедной старухе.

ПЕРЕПЕЛКА

Мне было лет десять, когда со мной случилось то, что я вам сейчас расскажу.

Дело было летом. Я жил тогда с отцом на хуторе, в южной России. Кругом хутора на несколько верст тянулись степные места. Ни лесу, ни реки близко не было; неглубокие овраги, заросшие кустарником, точно длинные зеленые змеи, прорезали там и сям ровную степь. Ручейки сочились по дну этих оврагов; кой-где, под самой кручью, виднелись роднички с чистой, как слеза, водою; к ним вели протоптанные тропинки — и возле воды, на сырой грязце, перекрещивались следы птиц и мелких зверков. Им хорошая вода так же нужна, как и людям.

Отец мой был страстным охотником; и как только не был занят по хозяйству — и погода стояла хорошая,— он брал ружье, надевал ягдташ, звал своего старого Трезора и отправлялся стрелять куропаток и перепелов. Зайцами он пренебрегал, предоставляя их псовым охотникам, которых величал борзятниками. Другой дичи у нас не водилось, разве вот осенью налетали вальдшнепы. Но перепелов и куропаток было много, особенно куропаток. По опушкам оврагов то и дело попадались разрытые кружки сухой пыли, местечки, где они копались. Старый Трезор тотчас делал стойку, причем его хвост дрожал и кожа на лбу сдвигалась складками; а у отца лицо бледнело — и он осторожно взводил курки. Он часто брал меня с собою... большое это было для меня удовольствие! Я засовывал штаны в голенища, надевал через плечо фляжку — и сам воображал себя охотником! Пот лил с меня градом, мелкие камешки забивались мне в сапоги; но я не чувствовал усталости и не отставал от отца. Когда же раздавался выстрел и птица падала, я всякий раз подпрыгивал на месте и даже кричал — так мне было весело! Раненая птица билась и хлопала крыльями то на траве, то в зубах Трезора — с нее текла кровь, а мне все-таки было весело, и никакой жалости я не ощущал. Чего бы я не дал, чтобы

самому стрелять из ружья и убивать куропаток и перепелов! Но отец объявил мне, что раньше двенадцати лет у меня ружья не будет; и ружье он мне даст одноствольное и стрелять позволит только жаворонков. Этих жаворонков в наших местах водилось множество; бывало, в хороший солнечный день целые десятки их вились на ясном небе, поднимаясь всё выше и выше и звеня, как колокольчики. Я глядел на них как на свою будущую добычу и прицеливался в них палочкой, которую носил на плече заместо ружья. Попасть в них очень легко, когда они в двух, трех аршинах от земли останавливаются в воздухе и трепещутся, прежде чем вдруг плюхнуть в траву. Иногда далеко в поле, на жнивье или на зеленях, торчали драхвы; вот, думалось мне, такую большую штуку убить — да после этого и жить не надо! Я указывал на них отцу; но он всякий раз говорил мне, что драхва — птица осторожная и человека близко не подпускает. Однако раз он попытался подкрасться к одинокой драхве, полагая, что она подстреленная и отстала от своего стада. Велел Трезору идти за ним следом — а мне так и вовсе остаться на месте; зарядил ружье картечью, еще раз обернулся к Трезору, даже пригрозился ему, шёпотом скомандовал: «Аррьер! аррьер!», скорчился в три погибели и пошел — не прямо к драхве, а стороною. Трезор хоть и не скорчился, но выступал тоже очень удивительно: раскорякой — и хвост поджал и одну губу закусил. Я не вытерпел и чуть не ползком отправился за отцом и за Трезором. Однако драхва и на триста шагов нас не подпустила; сперва побежала, потом замахала крыльями и полетела. Отец выстрелил и только вслед ей посмотрел... Трезор выскочил вперед и тоже посмотрел. Посмотрел и я... и так мне обидно стало! Что бы, кажется, ей еще немного подождать! Картечь непременно бы ее достала!

Вот однажды мы с отцом отправились на охоту — под самый Петров день. В то время молодые куропатки еще малы бывают, отец не хотел их стрелять и пошел в мелкие дубовые кустики, возле ржаного поля, где всегда попадались перепела. Косить там было неудобно — и трава долго стояла нетронутой. Цветов росло там много: журавлиного горошку, кашки, колокольчиков, незабудок, полевых гвоздик. Когда я ходил туда с сестрой или с горничной, то всегда набирал их целую охапку; но когда я ходил с отцом, то цветов не рвал: я находил это занятие недостойным охотника.

Вдруг Трезор сделал стойку; отец мой закричал: «Пиль!» — и из-под самого носа Трезора вскочила перепелка — и полетела. Только полетела она очень странно: кувыркалась, вертелась, падала на землю — точно она была раненая или крыло у ней надломилось. Трезор со всех ног бросился за нею... он этого не делал, когда птица летела как следует. Отец даже выстрелить не мог, он боялся, что зацепит дробью собаку. И вдруг смотрю: Трезор наддал — и цап! Схватил перепелку, принес и подал ее отцу. Отец взял ее и положил себе на ладонь, брюшком кверху. Я подскочил. «Что это, говорю, она раненая была?» — «Нет, — ответил мне отец,— она не была раненая; а у ней, должно быть, здесь близко гнездо с маленькими, и она нарочно притворилась раненой, чтобы собака могла подумать, что ее легко поймать». — «Для чего же она это делает?» — спросил я. «А для того, чтобы отвести собаку от своих маленьких. Потом бы она хорошо полетела. Только на этот раз она не разочла; уж слишком притворилась — и Трезор ее поймал».— «Так она не раненая?» — спросил я опять. «Нет... но живой ей не быть... Трезор ее, должно быть, дованул зубом». Я пододвинулся ближе к перепелке. Она неподвижно лежала на ладони отца, свесив головку,— и глядела на меня сбоку своим карим глазком. И мне вдруг так жаль ее стало! Мне показалось, она глядит на меня и думает: «За что же я умирать должна? За что? Ведь я свой долг исполняла; маленьких своих старалась спасти, отвести собаку подальше — и вот попалась ! Бедняжка я! бедняжка! Несправедливо это! Несправедливо!»

«Папаша! — сказал я,— да, может быть, она не умрет...» — и хотел погладить перепелочку по головке. Но отец сказал мне: «Нет! Вот посмотри; у ней сейчас лапки вытянутся, она вся затрепещется, и закроются ее глаза». Так оно точно и случилось. Как только у ней закрылись глаза — я заплакал. «Чему ты?» — спросил отец и засмеялся. «Жаль мне ее,— сказал я. — Она долг свой исполняла — а ее убили! Это несправедливо!» — «Она схитрить хотела,— ответил мне отец.— Только Трезор ее перехитрил». «Злой Трезор! — подумал я... да и сам отец показался мне на этот раз недобрым.— Какая же тут хитрость? Тут любовь к детенышам, а не хитрость! Если ей приказано притворяться, чтобы детей своих спасать,— так не следовало Трезору ее поймать!» Отец хотел было сунуть перепелку в ягдташ, но я ее у него выпро-

сил, положил ее бережно в обе ладони, подышал на нее... не очнется ли она? Однако она не шевелилась. «Напрасно, брат,— сказал отец,— ее не воскресишь. Вишь, головка у ней болтается». Я тихонько приподнял ее за носик; но только я отнял руку — головка опять упала. «Тебе всё ее жаль?» — спросил меня отец. «А кто же маленьких кормить будет?» — спросил я в свою очередь. Отец пристально посмотрел на меня. «Не беспокойся, говорит, самец-перепел, отец, их выкормит. Да вот постой,— прибавил он,— никак Трезор опять стойку делает... уж это не гнездо ли? Гнездо и есть».

И точно... в траве, в двух шагах от Трезоровой морды, тесно, рядышком лежали четыре птенчика; прижались друг к дружке, вытянули шейки — и все так скоро, в один раз дышат... точно дрожат! А уж оперились; пуху на них нет — только хвостики еще очень короткие. «Папа! папа! — закричал я благим матом...— отзови Трезора! а то он их тоже убьет!»

Отец крикнул на Трезора и, отойдя немного в сторону, присел под кустик, чтобы позавтракать. А я остался возле гнезда, не захотел завтракать. Вынул чистый платок, положил на него перепелку... «Смотрите, мол, сиротки, вот ваша мать! Она собой для вас пожертвовала!» Птенчики по-прежнему дышали скоро, всем телом. Потом я подошел к отцу. «Можешь ты мне подарить эту перепелочку?» — спросил я его. «Изволь. Но что ты хочешь с ней сделать?» — «Я хочу ее похоронить!» — «Похоронить?!» — «Да; возле ее гнездышка. Дай мне твой нож; я ей могилочку вырою». Отец удивился. «Чтоб детки к ней на могилу ходили?» — спросил он. «Нет,— отвечал я,— а так... мне хочется. Ей будет тут хорошо лежать, возле своего гнезда!» Отец ни слова не промолвил; достал и подал мне нож. Я тотчас же вырыл ямочку; поцеловал перепелочку в грудку, положил ее в ямочку — и засыпал землею. Потом я тем же ножом срезал две ветки, очистил их от коры, сложил их крестом, перевязал былинкой и воткнул в могилку. Скоро мы с отцом пошли дальше; но я все оглядывался... Крест был беленький — и далеко виднелся.

А ночью мне приснился сон: будто я на небе; и что же? На небольшом облачке сидит моя перепелочка, только тоже вся беленькая, как тот крестик! И на голове у ней маленький золотой венчик; и будто это ей в награду за то, что она за своих детей пострадала!

Дней через пять мы с отцом пришли опять на то же место. Я и могилку нашел по кресту, который хоть и пожелтел, но не свалился. Однако гнездышко было пусто, птенчиков ни следа. Мой отец меня уверил, что старик их увел, их отец; и когда, в нескольких шагах оттуда, вылетел из-под куста старый перепел, он его стрелять не стал... И я подумал: «Нет! Папа добрый!»

Но вот что удивительно: с того дня пропала моя страсть к охоте и я уже не думал о том времени, когда отец подарит мне ружье! Однако, когда я вырос, я тоже начал стрелять; но настоящим охотником никогда не сделался. Вот еще что меня отучило.

Раз мы вдвоем с товарищем охотились на тетеревов. Нашли выводок. Матка вскочила, мы выстрелили и попали в нее; но она не упала, а полетела дальше, вместе с молодыми тетеревятами. Я было хотел пойти за ними; но товарищ сказал мне: «Лучше здесь присесть и подманить их... все сейчас здесь будут». Товарищ отлично умел свистать, как свищут тетеревята. Мы присели; он стал свистать. И точно: сперва один молодой откликнулся, потом другой, и вот слышим мы: сама матка квохчет да нежно так — и близко. Я приподнял голову — и вижу: сквозь спутанные травяные былинки идет она к нам, спешит, спешит, а у самой вся грудь в крови! Знать, не вытерпело материнское сердце! И тут я самому себе показался таким злодеем!.. Встал и захлопал в ладоши. Тетерка тотчас же улетела — и молодые затихли. Товарищ рассердился; он за сумасшедшего меня счел... «Ты, мол, испортил всю охоту!»

Но мне с того дня всё тяжелей и тяжелей стало убивать и проливать кровь.

SENILIA
СТИХОТВОРЕНИЯ В ПРОЗЕ
1878—1882

К ЧИТАТЕЛЮ

Добрый мой читатель, не пробегай этих стихотворений сподряд: тебе, вероятно, скучно станет — и книга вывалится у тебя из рук. Но читай их враздробь: сегодня одно, завтра другое,— и которое-нибудь из них, может быть, заронит тебе что-нибудь в душу.

‹I›

ДЕРЕВНЯ

Последний день июня месяца; на тысячу верст кругом Россия — родной край.

Ровной синевой залито всё небо; одно лишь облачко на нем — не то плывет, не то тает. Безветрие, теплынь... воздух — молоко парное!

Жаворонки звенят; воркуют зобастые голуби; молча реют ласточки; лошади фыркают и жуют; собаки не лают и стоят, смирно повиливая хвостами.

И дымком-то пахнет, и травой — и дегтем маленько — и маленько кожей. Конопляники уже вошли в силу и пускают свой тяжелый, но приятный дух.

Глубокий, но пологий овраг. По бокам в несколько рядов головастые, книзу исщепленные ракиты. По оврагу бежит ручей; на дне его мелкие камешки словно дрожат сквозь светлую рябь. Вдали, на конце-крае земли и неба — синеватая черта большой реки.

Вдоль оврага — по одной стороне опрятные амбарчики, клетушки с плотно закрытыми дверями; по другой стороне пять-шесть сосновых изб с тесовыми крышами. Над каждой крышей высокий шест скворечницы; над каждым крылечком вырезной железный крутогривый конек. Неровные стекла окон отливают цветами радуги. Кувшины с букетами намалеваны на ставнях. Перед каждой избой чинно стоит исправная лавочка; на завалинках кошки свернулись клубочком, насторожив прозрачные ушки; за высокими порогами прохладно темнеют сени.

Я лежу у самого края оврага на разостланной попоне; кругом целые вороха только что скошенного, до истомы душистого сена. Догадливые хозяева разбросали сено перед избами: пусть еще немного посохнет на припеке, а там и в сарай! То-то будет спать на нем славно!

Курчавые детские головки торчат из каждого вороха; хохлатые курицы ищут в сене мошек да букашек; белогубый щенок барахтается в спутанных былинках.

Русокудрые парни, в чистых низко подпоясанных рубахах, в тяжелых сапогах с оторочкой, перекидываются бойкими словами, опершись грудью на отпряженную телегу,— зубоскалят.

Из окна выглядывает круглолицая молодка; смеется не то их словам, не то возне ребят в наваленном сене.

Другая молодка сильными руками тащит большое мокрое ведро из колодца... Ведро дрожит и качается на веревке, роняя длинные огнистые капли.

Передо мной стоит старуха-хозяйка в новой клетчатой паневе, в новых котах.

Крупные дутые бусы в три ряда обвились вокруг смуглой худой шеи; седая голова повязана желтым платком с красными крапинками; низко навис он над потускневшими глазами.

Но приветливо улыбаются старческие глаза; улыбается всё морщинистое лицо. Чай, седьмой десяток доживает старушка... а и теперь еще видать: красавица была в свое время!

Растопырив загорелые пальцы правой руки, держит она горшок с холодным неснятым молоком, прямо из погреба; стенки горшка покрыты росинками, точно бисером. На ладони левой руки старушка подносит мне большой ломоть еще теплого хлеба. «Кушай, мол, на здоровье, заезжий гость!»

Петух вдруг закричал и хлопотливо захлопал крыльями; ему в ответ, не спеша, промычал запертой теленок.

— Ай да овес! — слышится голос моего кучера.

О, довольство, покой, избыток русской вольной деревни! О, тишь и благодать!

И думается мне: к чему нам тут и крест на куполе Святой Софии в Царь-Граде и всё, чего так добиваемся мы, городские люди?

Февраль, 1878

РАЗГОВОР

> Ни на Юнгфрау, ни на Финстерааргорне еще не бывало человеческой ноги.

Вершины Альп... Целая цепь крутых уступов... Самая сердцевина гор.

Над горами бледно-зеленое, светлое, немое небо. Сильный, жесткий мороз; твердый, искристый снег; из-под снегу торчат суровые глыбы обледенелых, обветренных скал.

Две громады, два великана вздымаются по обеим сторонам небосклона: Юнгфрау и Финстерааргорн.

И говорит Юнгфрау соседу:

— Что скажешь нового? Тебе видней. Что там внизу?

Проходят несколько тысяч лет — одна минута. И грохочет в ответ Финстерааргорн:

— Сплошные облака застилают землю... Погоди!

Проходят еще тысячелетия — одна минута.

— Ну, а теперь? — спрашивает Юнгфрау.

— Теперь вижу; там внизу всё то же: пестро, мелко. Воды синеют; чернеют леса; сереют груды скученных камней. Около них всё еще копошатся козявки, знаешь, те двуножки, что еще ни разу не могли осквернить ни тебя, ни меня.

— Люди?

— Да; люди.

Проходят тысячи лет — одна минута.

— Ну, а теперь? — спрашивает Юнгфрау.

— Как будто меньше видать козявок,— гремит Финстерааргорн.— Яснее стало внизу; сузились воды; поредели леса.

Прошли еще тысячи лет — одна минута.

— Что ты видишь? — говорит Юнгфрау.

— Около нас, вблизи, словно прочистилось,— отвечает Финстерааргорн,— ну, а там, вдали, по долинам есть еще пятна и шевелится что-то.

— А теперь? — спрашивает Юнгфрау, спустя другие тысячи лет — одну минуту.

— Теперь хорошо,— отвечает Финстерааргорн,— опрятно стало везде, бело совсем, куда ни глянь... Везде наш снег, ровный снег и лед. Застыло всё. Хорошо теперь, спокойно.

— Хорошо,— промолвила Юнгфрау.— Однако довольно мы с тобой поболтали, старик. Пора вздремнуть.

— Пора.

Спят громадные горы; спит зеленое светлое небо над навсегда замолкшей землей.

Февраль, 1878

СТАРУХА

Я шел по широкому полю, один.

И вдруг мне почудились легкие, осторожные шаги за моей спиною... Кто-то шел по моему следу.

Я оглянулся — и увидал маленькую, сгорбленную старушку, всю закутанную в серые лохмотья. Лицо старушки одно виднелось из-под них: желтое, морщинистое, востроносое, беззубое лицо.

Я подошел к ней... Она остановилась.

— Кто ты? Чего тебе нужно? Ты нищая? Ждешь милостыни?

Старушка не отвечала. Я наклонился к ней и заметил, что оба глаза у ней были застланы полупрозрачной, беловатой перепонкой, или плевой, какая бывает у иных птиц: они защищают ею свои глаза от слишком яркого света.

Но у старушки та плева не двигалась и не открывала зениц... из чего я заключил, что она слепая.

— Хочешь милостыни? — повторил я свой вопрос.— Зачем ты идешь за мною? — Но старушка по-прежнему не отвечала, а только съежилась чуть-чуть.

Я отвернулся от нее и пошел своей дорогой.

И вот опять слышу я за собою те же легкие, мерные, словно крадущиеся шаги.

«Опять эта женщина! — подумалось мне.— Что она ко мне пристала? — Но я тут же мысленно прибавил: — Вероятно, она сослепу сбилась с дороги, идет теперь по слуху за моими шагами, чтобы вместе со мною выйти в жилое место. Да, да; это так».

Но странное беспокойство понемногу овладело моими мыслями: мне начало казаться, что старушка не идет только за мною, но что она направляет меня, что она меня толкает то направо, то налево, и что я невольно повинуюсь ей.

Однако я продолжаю идти... Но вот впереди на самой моей дороге что-то чернеет и ширится... какая-то яма... «Могила! — сверкнуло у меня в голове.— Вот куда она толкает меня!»

Я круто поворачиваю назад... Старуха опять передо мною... но она видит! Она смотрит на меня большими, злыми, зловещими глазами... глазами хищной птицы... Я надвигаюсь к ее лицу, к ее глазам... Опять та же тусклая плева, тот же слепой и тупой облик...

«Ах! — думаю я...— эта старуха — моя судьба. Та судьба, от которой не уйти человеку!»

«Не уйти! не уйти! Что за сумасшествие?.. Надо попытаться». И я бросаюсь в сторону, по другому направлению.

Я иду проворно... Но легкие шаги по-прежнему шелестят за мною, близко, близко... И впереди опять темнеет яма.

Я опять поворачиваю в другую сторону... И опять тот же шелест сзади и то же грозное пятно впереди.

И куда я ни мечусь, как заяц на угонках... всё то же, то же!

«Стой! — думаю я.— Обману ж я ее! Не пойду я никуда!» — и я мгновенно сажусь на землю.

Старуха стоит позади, в двух шагах от меня. Я ее не слышу, но я чувствую, что она тут.

И вдруг я вижу: то пятно, что чернело вдали, плывет, ползет само ко мне!

Боже! Я оглядываюсь назад... Старуха смотрит прямо на меня — и беззубый рот скривлен усмешкой...

— Не уйдешь!

Февраль, 1878

СОБАКА

Нас двое в комнате: собака моя и я. На дворе воет страшная, неистовая буря.

Собака сидит передо мною — и смотрит мне прямо в глаза.

И я тоже гляжу ей в глаза.

Она словно хочет сказать мне что-то. Она немая, она без слов, она сама себя не понимает — но я ее понимаю.

Я понимаю, что в это мгновенье и в ней и во мне живет одно и то же чувство, что между нами нет никакой разницы. Мы тожественны; в каждом из нас горит и светится тот же трепетный огонек.

Смерть налетит, махнет на него своим холодным широким крылом...

И конец!

Кто потом разберет, какой именно в каждом из нас горел огонек?

Нет! это не животное и не человек меняются взглядами...

Это две пары одинаковых глаз устремлены друг на друга.

И в каждой из этих пар, в животном и в человеке — одна и та же жизнь жмется пугливо к другой.

Февраль, 1878

СОПЕРНИК

У меня был товарищ—соперник; не по занятиям, не по службе или любви; но наши воззрения ни в чем не сходились, и всякий раз, когда мы встречались, между нами возникали нескончаемые споры.

Мы спорили обо всем: об искусстве, о религии, о науке, о земной и загробной — особенно о загробной жизни.

Он был человек верующий и восторженный. Однажды он сказал мне:

— Ты надо всем смеешься; но если я умру прежде тебя, то я явлюсь к тебе с того света... Увидим, засмеешься ли ты тогда?

И он, точно, умер прежде меня, в молодых летах еще будучи; но прошли года — и я позабыл об его обещании, об его угрозе.

Раз, ночью, я лежал в постели — и не мог, да и не хотел заснуть.

В комнате было ни темно, ни светло; я принялся глядеть в седой полумрак.

И вдруг мне почудилось, что между двух окон стоит мой соперник — и тихо и печально качает сверху вниз головою.

Я не испугался — даже не удивился... но, приподнявшись слегка и опершись на локоть, стал еще пристальнее глядеть на неожиданно появившуюся фигуру.

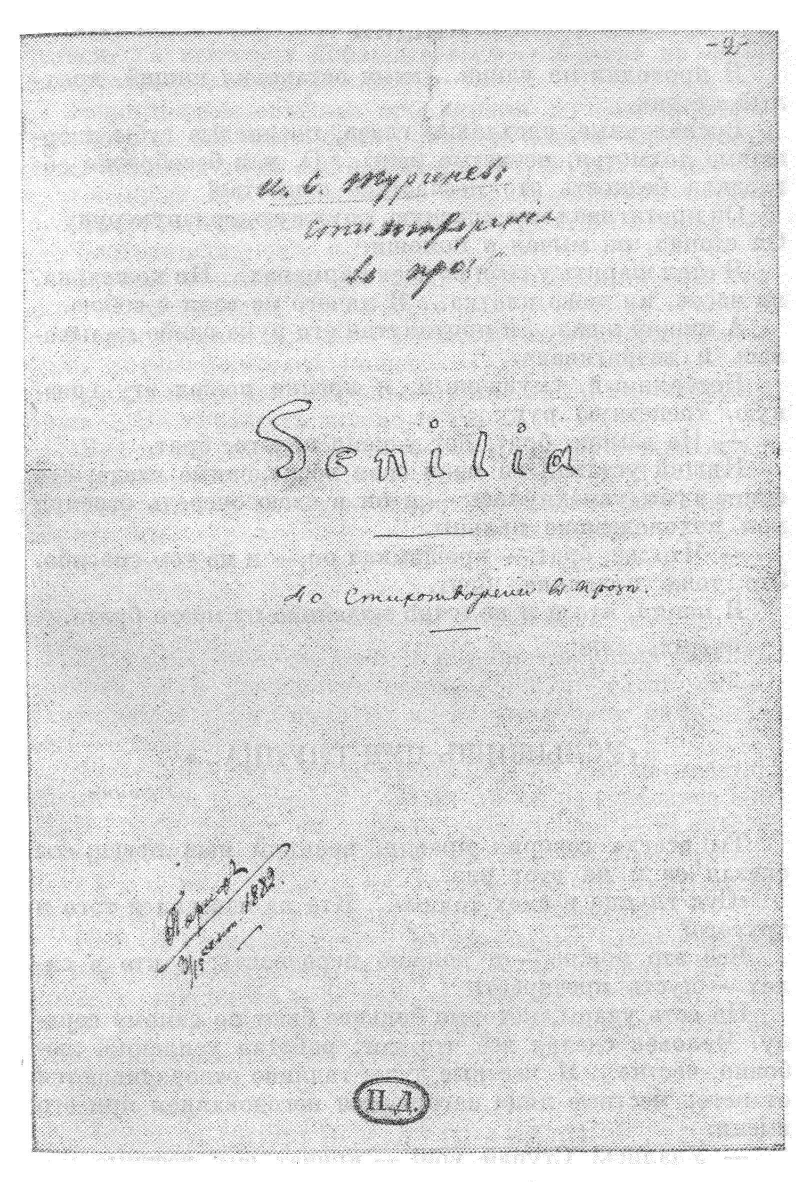
Тот продолжал качать головою.

— Что? — промолвил я наконец.— Ты торжествуешь? или жалеешь? Что это: предостережение или упрек?.. Или ты мне хочешь дать понять, что ты был неправ? что мы оба неправы? Что ты испытываешь? Муки ли ада? Блаженство ли рая? Промолви хоть слово!

Но мой соперник не издал ни единого звука — и только по-прежнему печально и покорно качал головою — сверху вниз.

Я засмеялся... он исчез.

Февраль, 1878



«СТИХОТВОРЕНИЯ В ПРОЗЕ».
ПЕРВАЯ СТРАНИЦА НАБОРНОЙ РУКОПИСИ.
Институт русской литературы (Пушкинской Дом) АН СССР,
Ленинград.

НИЩИЙ

Я проходил по улице... меня остановил нищий, дряхлый старик.

Воспаленные, слезливые глаза, посинелые губы, шершавые лохмотья, нечистые раны... О, как безобразно обглодала бедность это несчастное существо!

Он протягивал мне красную, опухшую, грязную руку... Он стонал, он мычал о помощи.

Я стал шарить у себя во всех карманах... Ни кошелька, ни часов, ни даже платка... Я ничего не взял с собою.

А нищий ждал... и протянутая его рука слабо колыхалась и вздрагивала.

Потерянный, смущенный, я крепко пожал эту грязную, трепетную руку...

— Не взыщи, брат; нет у меня ничего, брат.

Нищий уставил на меня свои воспаленные глаза; его синие губы усмехнулись — и он в свою очередь стиснул мои похолодевшие пальцы.

— Что же, брат,— прошамкал он,— и на том спасибо. Это тоже подаяние, брат.

Я понял, что и я получил подаяние от моего брата.

Февраль, 1878

«УСЛЫШИШЬ СУД ГЛУПЦА...»

Пушкин

Ты всегда говорил правду, великий наш певец; ты сказал ее и на этот раз.

«Суд глупца и смех толпы»... Кто не изведал и того и другого?

Всё это можно — и должно переносить; а кто в силах — пусть презирает!

Но есть удары, которые больнее бьют по самому сердцу. Человек сделал всё что мог; работал усиленно, любовно, честно... И честные души гадливо отворачиваются от него; честные лица загораются негодованием при его имени.

— Удались! Ступай вон! — кричат ему честные молодые голоса.— Ни ты нам не нужен, ни твой труд; ты оскверняешь наше жилище — ты нас не знаешь и не понимаешь... Ты наш враг!

Что тогда делать этому человеку? Продолжать трудиться, не пытаться оправдываться — и даже не ждать более справедливой оценки.

Некогда землепашцы проклинали путешественника, принесшего им картофель, замену хлеба, ежедневную пищу бедняка. Они выбивали из протянутых к ним рук драгоценный дар, бросали его в грязь, топтали ногами.

Теперь они питаются им — и даже не ведают имени своего благодетеля.

Пускай! На что им его имя? Он, и безымянный, спасает их от голода.

Будем стараться только о том, чтобы приносимое нами было точно полезною пищей.

Горька неправая укоризна в устах людей, которых любишь... Но перенести можно и это...

«Бей меня! но выслушай!» — говорил афинский вождь спартанскому.

«Бей меня — но будь здоров и сыт!» — должны говорить мы.

Февраль, 1878

ДОВОЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК

По улице столицы мчится вприпрыжку молодой еще человек. Его движенья веселы, бойки; глаза сияют, ухмыляются губы, приятно алеет умиленное лицо... Он весь — довольство и радость.

Что с ним случилось? Досталось ли ему наследство? Повысили ли его чином? Спешит ли он на любовное свиданье? Или просто он хорошо позавтракал — и чувство здоровья, чувство сытой силы взыграло во всех его членах? Уж не возложили ли на его шею твой красивый осьмиугольный крест, о польский король Станислав!

Нет. Он сочинил клевету на знакомого, распространил ее тщательно, услышал ее, эту самую клевету, из уст другого знакомого — и *сам ей поверил*.

О, как доволен, как даже добр в эту минуту этот милый, многообещающий молодой человек!

Февраль, 1878

ЖИТЕЙСКОЕ ПРАВИЛО

— Если вы желаете хорошенько насолить и даже повредить противнику,— говорил мне один старый пройдоха,— то упрекайте его в том самом недостатке или поро-

ке, который вы за собою чувствуете. Негодуйте... и упрекайте!

Во-первых — это заставит других думать, что у вас этого порока нет.

Во-вторых — негодование ваше может быть даже искренним... Вы можете воспользоваться укорами собственной совести.

Если вы, например, ренегат,— упрекайте противника в том, что у него нет убеждений!

Если вы сами лакей в душе,— говорите ему с укоризной, что он лакей... лакей цивилизации, Европы, социализма!

— Можно даже сказать: лакей безлакейства! — заметил я.

— И это можно,— подхватил пройдоха.

Февраль, 1878

КОНЕЦ СВЕТА

СОН

Чудилось мне, что я нахожусь где-то в России, в глуши, в простом деревенском доме.

Комната большая, низкая, в три окна; стены вымазаны белой краской; мебели нет. Перед домом голая равнина; постепенно понижаясь, уходит она вдаль; серое, одноцветное небо висит над нею как полог.

Я не один; человек десять со мною в комнате. Люди всё простые, просто одетые; они ходят вдоль и поперек, молча, словно крадучись. Они избегают друг друга — и, однако, беспрестанно меняются тревожными взорами.

Ни один не знает: зачем он попал в этот дом и что за люди с ним? На всех лицах беспокойство и унылость... все поочередно подходят к окнам и внимательно оглядываются, как бы ожидая чего-то извне.

Потом опять принимаются бродить вдоль и поперек. Между нами вертится небольшого росту мальчик; от времени до времени он пищит тонким, однозвучным голоском: «Тятенька, боюсь!» — Мне тошно на́ сердце от этого писку — и я тоже начинаю бояться... чего? не знаю сам. Только я чувствую: идет и близится большая, большая беда.

А мальчик нет, нет — да запищит. Ах, как бы уйти отсюда! Как душно! Как томно! Как тяжело!.. Но уйти невозможно.

Это небо — точно саван. И ветра нет... Умер воздух, что ли?

Вдруг мальчик подскочил к окну и закричал тем же жалобным голосом:

— Гляньте! гляньте! земля провалилась!

— Как? провалилась?!

Точно: прежде перед домом была равнина, а теперь он стоит на вершине страшной горы! Небосклон упал, ушел вниз, а от самого дома спускается почти отвесная, точно разрытая, черная круча.

Мы все столпились у окон... Ужас леденит наши сердца.

— Вот оно... вот оно! — шепчет мой сосед.

И вот вдоль всей далекой земной грани зашевелилось что-то, стали подниматься и падать какие-то небольшие кругловатые бугорки.

«Это — море! — подумалось всем нам в одно и то же мгновение.— Оно сейчас нас всех затопит... Только как же оно может расти и подниматься вверх? На эту кручу?»

И, однако, оно растет, растет громадно... Это уже не отдельные бугорки мечутся вдали... Одна сплошная чудовищная волна обхватывает весь круг небосклона.

Она летит, летит на нас! Морозным вихрем несется она, крутится тьмой кромешной. Всё задрожало вокруг — а там, в этой налетающей громаде, и треск, и гром, и тысячегортанный, железный лай...

Га! Какой рев и вой! Это земля завыла от страха...

Конец ей! Конец всему!

Мальчик пискнул еще раз... Я хотел было ухватиться за товарищей, но мы уже все раздавлены, погребены, потоплены, унесены той, как чернила черной, льдистой, грохочущей волной!

Темнота... темнота вечная!

Едва переводя дыхание, я проснулся.

Март, 1878

МАША

Проживая — много лет тому назад — в Петербурге, я, всякий раз как мне случалось нанимать извозчика, вступал с ним в беседу.

Особенно любил я беседовать с ночными извозчиками, бедными подгородными крестьянами, прибывавшими в столицу с окрашенными вохрой санишками и плохой

клячонкой — в надежде и самим прокормиться и собрать на оброк господам.

Вот однажды нанял я такого извозчика... Парень лет двадцати, рослый, статный, молодец молодцом; глаза голубые, щеки румяные; русые волосы вьются колечками из-под надвинутой на самые брови заплатанной шапоньки. И как только налез этот рваный армячишко на эти богатырские плеча!

Однако красивое безбородое лицо извозчика казалось печальным и хмурым.

Разговорился я с ним. И в голосе его слышалась печаль.

— Что, брат? — спросил я его. — Отчего ты не весел? Али горе есть какое?

Парень не тотчас отвечал мне.

— Есть, барин, есть,— промолвил он наконец.— Да и такое, что лучше быть не надо. Жена у меня померла.

— Ты ее любил... жену-то свою?

Парень не обернулся ко мне; только голову наклонил немного.

— Любил, барин. Восьмой месяц пошел... а не могу забыть. Гложет мне сердце... да и ну! И с чего ей было помирать-то? Молодая! здоровая!.. В един день холера порешила.

— И добрая она была у тебя?

— Ах, барин! — тяжело вздохнул бедняк.— И как же дружно мы жили с ней! Без меня скончалась. Я как узнал здесь, что ее, значит, уже похоронили,— сейчас в деревню поспешил, домой. Приехал — а уж зá полночь стало. Вошел я к себе в избу, остановился посередке и говорю так-то тихохонько: «Маша! а Маша!» Только сверчок трещит. Заплакал я тутотка, сел на избяной пол — да ладонью по земле как хлопну! «Ненасытная, говорю, утроба!.. Сожрала ты ее... сожри ж и меня! Ах, Маша!»

— Маша! — прибавил он внезапно упавшим голосом. И, не выпуская из рук веревочных вожжей, он выдавил рукавицей из глаз слезу, стряхнул ее, сбросил в сторону, повел плечами — и уж больше не произнес ни слова.

Слезая с саней, я дал ему лишний пятиалтынный. Он поклонился мне низехонько, взявшись обеими руками за шапку,— и поплелся шажком по снежной скатерти пустынной улицы, залитой седым туманом январского мороза.

Апрель, 1878

ДУРАК

Жил-был на свете дурак.

Долгое время он жил припеваючи; но понемногу стали доходить до него слухи, что он всюду слывет за безмозглого пошлеца.

Смутился дурак и начал печалиться о том, как бы прекратить те неприятные слухи?

Внезапная мысль озарила наконец его темный умишко... И он, нимало не медля, привел ее в исполнение.

Встретился ему на улице знакомый — и принялся хвалить известного живописца...

— Помилуйте! — воскликнул дурак.— Живописец этот давно сдан в архив... Вы этого не знаете? Я от вас этого не ожидал... Вы — отсталый человек.

Знакомый испугался — и тотчас согласился с дураком.

— Какую прекрасную книгу я прочел сегодня! — говорил ему другой знакомый.

— Помилуйте! — воскликнул дурак.— Как вам не стыдно? Никуда эта книга не годится; все на нее давно махнули рукою. Вы этого не знаете? Вы — отсталый человек.

И этот знакомый испугался — и согласился с дураком.

— Что за чудесный человек мой друг N. N.! — говорил дураку третий знакомый.— Вот истинно благородное существо!

— Помилуйте! — воскликнул дурак.— N. N.— заведомый подлец! Родню всю ограбил. Кто ж этого не знает? Вы — отсталый человек!

Третий знакомый тоже испугался — и согласился с дураком, отступился от друга.

И кого бы, что бы ни хвалили при дураке — у него на всё была одна отповедь.

Разве иногда прибавит с укоризной:

— А вы всё еще верите в авторитеты?

— Злюка! Желчевик! — начинали толковать о дураке его знакомые.— Но какая голова!

— И какой язык! — прибавляли другие.— О, да он талант!

Кончилось тем, что издатель одной газеты предложил дураку заведовать у него критическим отделом.

И дурак стал критиковать всё и всех, нисколько не меняя ни манеры своей, ни своих восклицаний.

Теперь он, кричавший некогда против авторитетов,— сам авторитет — и юноши перед ним благоговеют и боятся его.

Да и как им быть, бедным юношам? Хоть и не следует, вообще говоря, благоговеть... но тут, поди, не возблагоговей — в отсталые люди попадаешь!

Житье дуракам между трусами.

Апрель, 1878

ВОСТОЧНАЯ ЛЕГЕНДА

Кто в Багдаде не знает великого Джиаффара, солнца вселенной?

Однажды, много лет тому назад,— он был еще юношей,— прогуливался Джиаффар в окрестностях Багдада.

Вдруг до слуха его долетел хриплый крик: кто-то отчаянно взывал о помощи.

Джиаффар отличался между своими сверстниками благоразумием и обдуманностью; но сердце у него было жалостливое — и он надеялся на свою силу.

Он побежал на крик и увидел дряхлого старика, притиснутого к городской стене двумя разбойниками, которые его грабили.

Джиаффар выхватил свою саблю и напал на злодеев: одного убил, другого прогнал.

Освобожденный старец пал к ногам своего избавителя и, облобызав край его одежды, воскликнул:

— Храбрый юноша, твое великодушие не останется без награды. На вид я — убогий нищий; но только на вид. Я человек не простой. Приходи завтра ранним утром на главный базар; я буду ждать тебя у фонтана — и ты убедишься в справедливости моих слов.

Джиаффар подумал: «На вид человек этот нищий, точно; однако — всяко бывает. Отчего не попытаться?» — и отвечал:

— Хорошо, отец мой; приду.

Старик взглянул ему в глаза — и удалился.

На другое утро, чуть забрезжил свет, Джиаффар отправился на базар. Старик уже ожидал его, облокотясь на мраморную чашу фонтана.

Молча взял он Джиаффара за руку и привел его в небольшой сад, со всех сторон окруженный высокими стенами.

По самой середине этого сада, на зеленой лужайке, росло дерево необычайного вида.

Оно походило на кипарис; только листва на нем была лазоревого цвета.

Три плода — три яблока — висело на тонких, кверху загнутых ветках; одно средней величины, продолговатое, молочно-белое; другое большое, круглое, ярко-красное; третье маленькое, сморщенное, желтоватое.

Всё дерево слабо шумело, хоть и не было ветра. Оно звенело тонко и жалобно, словно стеклянное; казалось, оно чувствовало приближение Джиаффара.

— Юноша! — промолвил старец.— Сорви любой из этих плодов и знай: сорвешь и съешь белый — будешь умнее всех людей; сорвешь и съешь красный — будешь богат, как еврей Ротшильд; сорвешь и съешь желтый — будешь нравиться старым женщинам. Решайся!.. и не мешкай. Через час и плоды завянут, и само дерево уйдет в немую глубь земли!

Джиаффар понурил голову — и задумался.

— Как тут поступить? — произнес он вполголоса, как бы рассуждая сам с собою.— Сделаешься слишком умным — пожалуй, жить не захочется; сделаешься богаче всех людей — будут все тебе завидовать; лучше же я сорву и съем третье, сморщенное яблоко!

Он так и поступил; а старец засмеялся беззубым смехом и промолвил:

— О мудрейший юноша! Ты избрал благую часть! На что тебе белое яблоко? Ты и так умнее Соломона. Красное яблоко также тебе не нужно... И без него ты будешь богат. Только богатству твоему никто завидовать не станет.

— Поведай мне, старец,— промолвил, встрепенувшись, Джиаффар,— где живет почтенная мать нашего богоспасаемого халифа?

Старик поклонился до земли— и указал юноше дорогу.

Кто в Багдаде не знает солнца вселенной, великого, знаменитого Джиаффара?

Апрель, 1878

ДВА ЧЕТВЕРОСТИШИЯ

Существовал некогда город, жители которого до того страстно любили поэзию, что если проходило несколько недель и не появлялось новых прекрасных стихов,— они

считали такой поэтический неурожай общественным бедствием.

Они надевали тогда свои худшие одежды, посыпа́ли пеплом головы — и, собираясь толпами на площадях, проливали слезы, горько роптали на музу, покинувшую их.

В один подобный злополучный день молодой поэт Юний появился на площади, переполненной скорбевшим народом.

Проворными шагами взобрался он на особенно устроенный амвон — и подал знак, что желает произнести стихотворение.

Ликторы тотчас замахали жезлами.

— Молчание! внимание! — зычно возопили они — и толпа затихла, выжидая.

— Друзья! Товарищи! — начал Юний громким, но не совсем твердым голосом:

Друзья! Товарищи! Любители стихов!
Поклонники всего, что стройно и красиво!
Да не смущает вас мгновенье грусти темной!
Придет желанный миг... и свет рассеет тьму!

Юний умолк... а в ответ ему, со всех концов площади, поднялся гам, свист, хохот.

Все обращенные к нему лица пылали негодованием, все глаза сверкали злобой, все руки поднимались, угрожали, сжимались в кулаки!

— Чем вздумал удивить! — ревели сердитые голоса.— Долой с амвона бездарного рифмоплета! Вон дурака! Гнилыми яблоками, тухлыми яйцами шута горохового! Подайте камней! Камней сюда!

Кубарем скатился с амвона Юний... но он еще не успел прибежать к себе домой, как до слуха его долетели раскаты восторженных рукоплесканий, хвалебных возгласов и кликов.

Исполненный недоуменья, стараясь, однако, не быть замеченным (ибо опасно раздражать залютевшего зверя), возвратился Юний на площадь.

И что же он увидел?

Высоко над толпою, над ее плечами, на золотом плоском щите, облеченный пурпурной хламидой, с лавровым венком на взвившихся кудрях, стоял его соперник, молодой поэт Юлий... А народ вопил кругом:

— Слава! Слава! Слава бсссмертному Юлию! Он утешил нас в нашей печали, в нашем горе великом! Он подарил нас стихами слаще меду, звучнее кимвала, душистее розы, чище небесной лазури! Несите его с торжеством, обдавайте его вдохновенную голову мягкой волной фимиама, прохлаждайте его чело мерным колебанием пальмовых ветвей, расточайте у ног его все благовония аравийских мирр! Слава!

Юний приблизился к одному из славословящих.

— Поведай мне, о мой согражданин! какими стихами осчастливил вас Юлий? Увы! меня не было на площади, когда он произнес их! Повтори их, если ты их запомнил, сделай милость!

— Такие стихи — да не запомнить? — ретиво ответствовал вопрошенный.— За кого ж ты меня принимаешь? Слушай — и ликуй, ликуй вместе с нами!

«Любители стихов!» — так начал божественный Юлий...

> Любители стихов! Товарищи! Друзья!
> Поклонники всего, что стройно, звучно, нежно!
> Да не смущает вас мгновенье скорби тяжкой!
> Желанный миг придет — и день прогонит ночь!

— Каково?

— Помилуй! — возопил Юний,— да это мои стихи! Юлий, должно быть, находился в толпе, когда я произнес их,— он услышал и повторил их, едва изменив,— и уж, конечно, не к лучшему,— несколько выражений!

— Ага! Теперь я узнаю тебя... Ты Юний,— возразил, насупив брови, остановленный им гражданин.— Завистник или глупец!.. Сообрази только одно, несчастный! У Юлия как возвышенно сказано: «И день прогонит ночь!..» А у тебя — чепуха какая-то: «И свет рассеет тьму»?! Какой свет?! Какую тьму?!

— Да разве это не всё едино...— начал было Юний...

— Прибавь еще слово,— перебил его гражданин,— я крикну народу... и он тебя растерзает!

Юний благоразумно умолк, а слышавший его разговор с гражданином седовласый старец подошел к бедному поэту и, положив ему руку на плечо, промолвил:

— Юний! Ты сказал свое — да не вовремя; а тот не свое сказал — да вовремя. Следовательно, он прав — а тебе остаются утешения собственной твоей совести.

Но пока совесть — как могла и как умела... довольно плохо, правду сказать — утешала прижавшегося к сто-

ронке Юния,— вдали, среди грома и плеска ликований, в золотой пыли всепобедного солнца, блистая пурпуром, темнея лавром сквозь волнистые струи обильного фимиама, с величественной медленностью, подобно царю, шествующему на царство, плавно двигалась гордо выпрямленная фигура Юлия... и длинные ветви пальм поочередно склонялись перед ним, как бы выражая своим тихим вздыманьем, своим покорным наклоном — то непрестанно возобновлявшееся обожание, которое переполняло сердца очарованных им сограждан!

Апрель, 1878

ВОРОБЕЙ

Я возвращался с охоты и шел по аллее сада. Собака бежала впереди меня.

Вдруг она уменьшила свои шаги и начала красться, как бы зачуяв перед собою дичь.

Я глянул вдоль аллеи и увидел молодого воробья с желтизной около клюва и пухом на голове. Он упал из гнезда (ветер сильно качал березы аллеи) и сидел неподвижно, беспомощно растопырив едва прораставшие крылышки.

Моя собака медленно приближалась к нему, как вдруг, сорвавшись с близкого дерева, старый черногрудый воробей камнем упал перед самой ее мордой — и весь взъерошенный, искаженный, с отчаянным и жалким писком прыгнул раза два в направлении зубастой раскрытой пасти.

Он ринулся спасать, он заслонил собою свое детище... но всё его маленькое тело трепетало от ужаса, голосок одичал и охрип, он замирал, он жертвовал собою!

Каким громадным чудовищем должна была ему казаться собака! И все-таки он не мог усидеть на своей высокой, безопасной ветке... Сила, сильнее его воли, сбросила его оттуда.

Мой Трезор остановился, попятился... Видно, и он признал эту силу.

Я поспешил отозвать смущенного пса — и удалился, благоговея.

Да; не смейтесь. Я благоговел перед той маленькой героической птицей, перед любовным ее порывом.

Любовь, думал я, сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и движется жизнь.

Апрель, 1878

ЧЕРЕПА

Роскошная, пышно освещенная зала; множество кавалеров и дам.

Все лица оживлены, речи бойки... Идет трескучий разговор об одной известной певице. Ее величают божественной, бессмертной... О, как хорошо пустила она вчера свою последнюю трель!

И вдруг — словно по манию волшебного жезла — со всех голов и со всех лиц слетела тонкая шелуха кожи и мгновенно выступила наружу мертвенная белизна черепов, зарябили синеватым оловом обнаженные десны и скулы.

С ужасом глядел я, как двигались и шевелились эти десны и скулы, как поворачивались, лоснясь при свете ламп и свечей, эти шишковатые, костяные шары и как вертелись в них другие, меньшие шары — шары обессмысленных глаз.

Я не смел прикоснуться к собственному лицу, не смел взглянуть на себя в зеркало.

А черепа поворачивались по-прежнему... И с прежним треском, мелькая красными лоскуточками из-за оскаленных зубов, проворные языки лепетали о том, как удивительно, как неподражаемо бессмертная... да, бессмертная певица пустила свою последнюю трель!

Апрель, 1878

ЧЕРНОРАБОЧИЙ И БЕЛОРУЧКА

РАЗГОВОР

Чернорабочий

Что ты к нам лезешь? Чего тебе надо? Ты не наш... Ступай прочь!

Белоручка

Я ваш, братцы!

Чернорабочий

Как бы не так! Наш! Что выдумал! Посмотри хоть на мои руки. Видишь, какие они грязные? И навозом от них несет и дегтем — а твои вон руки белые. И чем от них пахнет?

Белоручка (подавая свои руки)

Понюхай.

Чернорабочий (понюхав руки)

Что за притча? Словно железом от них отдает.

Белоручка

Железом и есть. Целых шесть лет я на них носил кандалы.

Чернорабочий

А за что же это?

Белоручка

А за то, что я о вашем же добре заботился, хотел освободить вас, серых, темных людей, восставал против притеснителей ваших, бунтовал... Ну, меня и засадили.

Чернорабочий

Засадили? Вольно ж тебе было бунтовать!

Два года спустя

Тот же чернорабочий (другому)

Слышь, Петра́!.. Помнишь, позапрошлым летом один такой белоручка с тобой беседовал?

Другой чернорабочий

Помню... а что?

Первый чернорабочий

Его сегодня, слышь, повесят; такой приказ вышел.

Второй чернорабочий

Всё бунтовал?

Первый чернорабочий

Всё бунтовал.

Второй чернорабочий

Да... Ну, вот что, брат Митряй; нельзя ли нам той самой веревочки раздобыть, на которой его вешать будут; говорят, ба-альшое счастье от этого в дому бывает!

Первый чернорабочий

Это ты справедливо. Надо попытаться, брат Петра́.

Апрель, 1878

РОЗА

Последние дни августа... Осень уже наступала.

Солнце садилось. Внезапный порывистый ливень, без грому и без молний, только что промчался над нашей широкой равниной.

Сад перед домом горел и дымился, весь залитый пожаром зари и потопом дождя.

Она сидела за столом в гостиной и с упорной задумчивостью глядела в сад сквозь полураскрытую дверь.

Я знал, что́ свершалось тогда в ее душе; я знал, что после недолгой, хоть и мучительной, борьбы она в этот самый миг отдавалась чувству, с которым уже не могла более сладить.

Вдруг она поднялась, проворно вышла в сад и скрылась.

Пробил час... пробил другой; она не возвращалась.

Тогда я встал и, выйдя из дому, отправился по аллее, по которой — я в том не сомневался — пошла и она.

Всё потемнело вокруг; ночь уже надвинулась. Но на сыром песку дорожки, ярко алея даже сквозь разлитую мглу, виднелся кругловатый предмет.

Я наклонился... То была молодая, чуть распустившаяся роза. Два часа тому назад я видел эту самую розу на ее груди.

Я бережно поднял упавший в грязь цветок и, вернувшись в гостиную, положил его на стол, перед ее креслом.

Вот и она вернулась наконец — и, легкими шагами пройдя всю комнату, села за стол.

Ее лицо и побледнело и ожило; быстро, с веселым смущеньем бегали по сторонам опущенные, как бы уменьшенные глаза.

Она увидала розу, схватила ее, взглянула на ее измятые, запачканные лепестки, взглянула на меня — и глаза ее, внезапно остановившись, засияли слезами.

— О чем вы плачете? — спросил я.

— Да вот об этой розе. Посмотрите, что с ней сталось.

Тут я вздумал выказать глубокомыслие.

— Ваши слезы смоют эту грязь,— промолвил я с значительным выраженьем.

— Слезы не моют, слезы жгут,— отвечала она и, обернувшись к камину, бросила цветок в умиравшее пламя.

— Огонь сожжет еще лучше слез,— воскликнула она не без удали,— и прекрасные глаза, еще блестевшие от слез, засмеялись дерзостно и счастливо.

Я понял, что и она была сожжена.

Апрель, 1878

ПАМЯТИ Ю. П. ВРЕВСКОЙ

На грязи, на вонючей сырой соломе, под навесом ветхого сарая, на скорую руку превращенного в походный военный гошпиталь, в разоренной болгарской деревушке — с лишком две недели умирала она от тифа.

Она была в беспамятстве — и ни один врач даже не взглянул на нее; больные солдаты, за которыми она ухаживала, пока еще могла держаться на ногах, поочередно поднимались с своих зараженных логовищ, чтобы поднести к ее запекшимся губам несколько капель воды в черепке разбитого горшка.

Она была молода, красива; высший свет ее знал; об ней осведомлялись даже сановники. Дамы ей завидовали, мужчины за ней волочились... два-три человека тайно и глубоко любили ее. Жизнь ей улыбалась; но бывают улыбки хуже слез.

Нежное кроткое сердце... и такая сила, такая жажда жертвы! Помогать нуждающимся в помощи... она не ведала другого счастия... не ведала — и не изведала. Всякое другое счастье прошло мимо. Но она с этим давно помирилась — и вся, пылая огнем неугасимой веры, отдалась на служение ближним.

Какие заветные клады схоронила она там, в глубине души, в самом ее тайнике, никто не знал никогда — а теперь, конечно, не узнает.

Да и к чему? Жертва принесена... дело сделано.

Но горестно думать, что никто не сказал спасибо даже ее трупу — хоть она сама и стыдилась и чуждалась всякого спасибо.

Пусть же не оскорбится ее милая тень этим поздним цветком, который я осмеливаюсь возложить на ее могилу!

Сентябрь, 1878

ПОСЛЕДНЕЕ СВИДАНИЕ

Мы были когда-то короткими, близкими друзьями... Но настал недобрый миг — и мы расстались, как враги.

Прошло много лет... И вот, заехав в город, где он жил, я узнал, что он безнадежно болен — и желает видеться со мною.

Я отправился к нему, вошел в его комнату... Взоры наши встретились.

Я едва узнал его. Боже! что с ним сделал недуг!

Желтый, высохший, с лысиной во всю голову, с узкой седой бородой, он сидел в одной, нарочно изрезанной рубахе... Он не мог сносить давление самого легкого платья. Порывисто протянул он мне страшно худую, словно обглоданную руку, усиленно прошептал несколько невнятных слов — привет ли то был, упрек ли, кто знает? Изможденная грудь заколыхалась — и на съёженные зрачки загоревшихся глаз скатились две скупые, страдальческие слезинки.

Сердце во мне упало... Я сел на стул возле него — и, опустив невольно взоры перед тем ужасом и безобразием, также протянул руку.

Но мне почудилось, что не его рука взялась за мою.

Мне почудилось, что между нами сидит высокая, тихая, белая женщина. Длинный покров облекает ее с ног до головы. Никуда не смотрят ее глубокие бледные глаза; ничего не говорят ее бледные строгие губы...

Эта женщина соединила наши руки... Она навсегда примирила нас.

Да... Смерть нас примирила.

Апрель, 1878

ПОРОГ

Я вижу громадное здание.

В передней стене узкая дверь раскрыта настежь; за дверью — угрюмая мгла. Перед высоким порогом стоит девушка... Русская девушка.

Морозом дышит та непроглядная мгла; и вместе с леденящей струей выносится из глубины здания медлительный, глухой голос.

— О ты, что желаешь переступить этот порог,— знаешь ли ты, что тебя ожидает?

— Знаю,— отвечает девушка.

— Холод, голод, ненависть, насмешка, презрение, обида, тюрьма, болезнь и самая смерть?

— Знаю.

— Отчуждение полное, одиночество?

— Знаю. Я готова. Я перенесу все страдания, все удары.

— Не только от врагов — но и от родных, от друзей?

— Да... и от них.

— Хорошо. Ты готова на жертву?

— Да.

— На безымянную жертву? Ты погибнешь — и никто... никто не будет даже знать, чью память почтить!

— Мне не нужно ни благодарности, ни сожаления. Мне не нужно имени.

— Готова ли ты на преступление?

Девушка потупила голову...

— И на преступление готова.

Голос не тотчас возобновил свои вопросы.

— Знаешь ли ты,— заговорил он наконец,— что ты можешь разувериться в том, чему веришь теперь, можешь понять, что обманулась и даром погубила свою молодую жизнь?

— Знаю и это. И все-таки я хочу войти.

— Войди!

Девушка перешагнула порог — и тяжелая завеса упала за нею.

— Дура! — проскрежетал кто-то сзади.

— Святая! — принеслось откуда-то в ответ.

Май, 1878

ПОСЕЩЕНИЕ

Я сидел у раскрытого окна... утром, ранним утром первого мая.

Заря еще не занималась; но уже бледнела, уже холодела темная теплая ночь.

Туман не вставал, не бродил ветерок, всё было одноцветно и безмолвно... но чуялась близость пробуждения — и в поредевшем воздухе пахло жесткой сыростью росы.

Вдруг в мою комнату, сквозь раскрытое окно, легко позванивая и шурша, влетела большая птица.

Я вздрогнул, вгляделся... То была не птица, то была крылатая маленькая женщина, одетая в тесное, длинное, книзу волнистое платье.

Вся она была серая, перламутрового цвета; одна лишь внутренняя сторона ее крылышек алела нежной алостью распускающейся розы; венок из ландышей охватывал разбросанные кудри круглой головки — и, подобные усикам бабочки, два павлиньих пера забавно колебались над красивым, выпуклым лобиком.

Она пронеслась раза два под потолком; ее крошечное лицо смеялось; смеялись также огромные, черные, светлые глаза.

Веселая резвость прихотливого полета дробила их алмазные лучи.

Она держала в руке длинный стебель степного цветка: «царским жезлом» зовут его русские люди,— он и то похож на скипетр.

Стремительно пролетая надо мною, коснулась она моей головы тем цветком.

Я рванулся к ней... Но она уже выпорхнула из окна — и умчалась.

В саду, в глуши сиреневых кустов, горлинка встретила ее первым воркованьем — а там, где она скрылась, молочно-белое небо тихонько закраснелось.

Я узнал тебя, богиня фантазии! Ты посетила меня случайно — ты полетела к молодым поэтам.

О поэзия! Молодость! Женская, девственная красота! Вы только на миг можете блеснуть передо мною — ранним утром ранней весны!

Май, 1878

NECESSITAS, VIS, LIBERTAS[1]

БАРЕЛЬЕФ

Высокая костлявая старуха с железным лицом и неподвижно-тупым взором идет большими шагами и сухою, как палка, рукою толкает перед собой другую женщину.

Женщина эта огромного росту, могучая, дебелая, с мышцами, как у Геркулеса, с крохотной головкой на бычачьей шее — и слепая — в свою очередь толкает небольшую, худенькую девочку.

У одной этой девочки зрячие глаза; она упирается, оборачивается назад, поднимает тонкие, красивые руки; ее оживленное лицо выражает нетерпенье и отвагу... Она не хочет слушаться, она не хочет идти, куда ее толкают... и все-таки должна повиноваться и идти.

Necessitas, Vis, Libertas.

Кому угодно — пусть переводит.

Май, 1878

МИЛОСТЫНЯ

Вблизи большого города, по широкой проезжей дороге шел старый, больной человек.

Он шатался на ходу; его исхудалые ноги, путаясь, волочась и спотыкаясь, ступали тяжко и слабо, словно

---

[1] Необходимость, Сила, Свобода *(лат.)*.

чужие; одежда на нем висела лохмотьями; непокрытая голова падала на грудь... Он изнемогал.

Он присел на придорожный камень, наклонился вперед, облокотился, закрыл лицо обеими руками — и сквозь искривленные пальцы закапали слезы на сухую, седую пыль.

Он вспоминал...

Вспоминал он, как и он был некогда здоров и богат — и как он здоровье истратил, а богатство роздал другим, друзьям и недругам... И вот теперь у него нет куска хлеба — и все его покинули, друзья еще раньше врагов... Неужели ж ему унизиться до того, чтобы просить милостыню? И горько ему было на сердце и стыдно.

А слезы всё капали да капали, пестря седую пыль.

Вдруг он услышал, что кто-то зовет его по имени; он поднял усталую голову — и увидал перед собою незнакомца.

Лицо спокойное и важное, но не строгое; глаза не лучистые, а светлые; взор пронзительный, но не злой.

— Ты всё свое богатство роздал,— послышался ровный голос...— Но ведь ты не жалеешь о том, что добро делал?

— Не жалею,— ответил со вздохом старик,— только вот умираю я теперь.

— И не было бы на свете нищих, которые к тебе протягивали руку,— продолжал незнакомец,— не над кем было бы тебе показать свою добродетель, не мог бы ты упражняться в ней?

Старик ничего не ответил — и задумался.

— Так и ты теперь не гордись, бедняк,— заговорил опять незнакомец,— ступай, протягивай руку, доставь и ты другим добрым людям возможность показать на деле, что они добры.

Старик встрепенулся, вскинул глазами... но незнакомец уже исчез; а вдали на дороге показался прохожий.

Старик подошел к нему — и протянул руку. Этот прохожий отвернулся с суровым видом и не дал ничего.

Но за ним шел другой — и тот подал старику малую милостыню.

И старик купил себе на данные гроши хлеба — и сладок показался ему выпрошенный кусок — и не было стыда у него на сердце, а напротив: его осенила тихая радость.

Май, 1878

НАСЕКОМОЕ

Снилось мне, что сидит нас человек двадцать в большой комнате с раскрытыми окнами.

Между нами женщины, дети, старики... Все мы говорим о каком-то очень известном предмете — говорим шумно и невнятно.

Вдруг в комнату с сухим треском влетело большое насекомое, вершка в два длиною... влетело, покружилось и село на стену.

Оно походило на муху или на осу. Туловище грязно-бурого цвету; такого же цвету и плоские жесткие крылья; растопыренные мохнатые лапки да голова угловатая и крупная, как у коромыслов; и голова эта и лапки — ярко-красные, точно кровавые.

Странное это насекомое беспрестанно поворачивало голову вниз, вверх, вправо, влево, передвигало лапки... потом вдруг срывалось со стены, с треском летало по комнате — и опять садилось, опять жутко и противно шевелилось, не трогаясь с места.

Во всех нас оно возбуждало отвращение, страх, даже ужас... Никто из нас не видал ничего подобного, все кричали: «Гоните вон это чудовище!», все махали платками издали... ибо никто не решался подойти... и когда насекомое взлетало — все невольно сторонились.

Лишь один из наших собеседников, молодой еще, бледнолицый человек, оглядывал нас всех с недоумением. Он пожимал плечами, он улыбался, он решительно не мог понять, что с нами сталось и с чего мы так волнуемся? Сам он не видел никакого насекомого — не слышал зловещего треска его крыл.

Вдруг насекомое словно уставилось на него, взвилось и, приникнув к его голове, ужалило его в лоб повыше глаз... Молодой человек слабо ахнул — и упал мертвым.

Страшная муха тотчас улетела... Мы только тогда догадались, чтó это была за гостья.

Май, 1878

ЩИ

У бабы-вдовы умер ее единственный двадцатилетний сын, первый на селе работник.

Барыня, помещица того самого села, узнав о горе бабы, пошла навестить ее в самый день похорон.

Она застала ее дома.

Стоя посреди избы, перед столом, она, не спеша, ровным движеньем правой руки (левая висела плетью) черпала пустые щи со дна закоптелого горшка и глотала ложку за ложкой.

Лицо бабы осунулось и потемнело; глаза покраснели и опухли... но она держалась истово и прямо, как в церкви.

«Господи! — подумала барыня.— Она может есть в такую минуту... Какие, однако, у них у всех грубые чувства!»

И вспомнила тут барыня, как, потеряв несколько лет тому назад девятимесячную дочь, она с горя отказалась нанять прекрасную дачу под Петербургом и прожила целое лето в городе!

А баба продолжала хлебать щи.

Барыня не вытерпела наконец.

— Татьяна! — промолвила она.— Помилуй! Я удивляюсь! Неужели ты своего сына не любила? Как у тебя не пропал аппетит? Как можешь ты есть эти щи!

— Вася мой помер,— тихо проговорила баба, и наболевшие слезы снова побежали по ее впалым щекам.— Значит, и мой пришел конец: с живой с меня сняли голову. А щам не пропадать же: ведь они посолённые.

Барыня только плечами пожала — и пошла вон. Ей-то соль доставалась дешево.

Май, 1878

ЛАЗУРНОЕ ЦАРСТВО

О лазурное царство! О царство лазури, света, молодости и счастья! Я видел тебя... во сне.

Нас было несколько человек на красивой, разубранной лодке. Лебединой грудью вздымался белый парус под резвыми вымпелами.

Я не знал, кто были мои товарищи; но я всем своим существом чувствовал, что они были так же молоды, веселы и счастливы, как и я!

Да я и не замечал их. Я видел кругом одно безбрежное лазурное море, всё покрытое мелкой рябью золотых чешуек, а над головою такое же безбрежное, такое же лазурное небо — и по нем, торжествуя и словно смеясь, катилось ласковое солнце.

И между нами по временам поднимался смех звонкий и радостный, как смех богов!

А не то вдруг с чьих-нибудь уст слетали слова, стихи, исполненные дивной красоты и вдохновенной силы... Казалось, самое небо звучало им в ответ — и кругом море сочувственно трепетало... А там опять наступала блаженная тишина.

Слегка ныряя по мягким волнам, плыла наша быстрая лодка. Не ветром двигалась она; ею правили наши собственные играющие сердца. Куда мы хотели, туда она и неслась, послушно, как живая.

Нам попадались острова, волшебные, полупрозрачные острова с отливами драгоценных камней, яхонтов и изумрудов. Упоительные благовония неслись с округлых берегов; одни из этих островов осыпáли нас дождем белых роз и ландышей; с других внезапно поднимались радужные длиннокрылые птицы.

Птицы кружились над нами, ландыши и розы таяли в жемчужной пене, скользившей вдоль гладких боков нашей лодки.

Вместе с цветами, с птицами прилетали сладкие, сладкие звуки... Женские голоса чудились в них... И всё вокруг: небо, море, колыхание паруса в вышине, журчание струи за кормою — всё говорило о любви, о блаженной любви!

И та, которую каждый из нас любил,— она была тут... невидимо и близко. Еще мгновение — и вот засияют ее глаза, расцветет ее улыбка... Ее рука возьмет твою руку — и увлечет тебя за собою в неувядаемый рай!

О лазурное царство! я видел тебя... во сне.

Июнь, 1878

ДВА БОГАЧА

Когда при мне превозносят богача Ротшильда, который из громадных своих доходов уделяет целые тысячи на воспитание детей, на лечение больных, на призрение старых — я хвалю и умиляюсь.

Но, и хваля и умиляясь, не могу я не вспомнить об одном убогом крестьянском семействе, принявшем сироту-племянницу в свой разоренный домишко.

— Возьмем мы Катьку,— говорила баба,— последние наши гроши на нее пойдут,— не на что будет соли добыть, похлебку посолить...

— А мы ее... и не соленую,— ответил мужик, ее муж.

Далеко Ротшильду до этого мужика!

Июль, 1878

СТАРИК

Настали темные, тяжелые дни...

Свои болезни, недуги людей милых, холод и мрак старости... Всё, что ты любил, чему отдавался безвозвратно,— никнет и разрушается. Под гору пошла дорога.

Что же делать? Скорбеть? Горевать? Ни себе, ни другим ты этим не поможешь.

На засыхающем, покоробленном дереве лист мельче и реже — но зелень его та же.

Сожмись и ты, уйди в себя, в свои воспоминанья,— и там, глубоко-глубоко, на самом дне сосредоточенной души, твоя прежняя, тебе одному доступная жизнь блеснет перед тобою своей пахучей, всё еще свежей зеленью и лаской и силой весны!

Но будь осторожен... не гляди вперед, бедный старик!

Июль, 1878

КОРРЕСПОНДЕНТ

Двое друзей сидят за столом и пьют чай.

Внезапный шум поднялся на улице. Слышны жалобные стоны, ярые ругательства, взрывы злорадного смеха.

— Кого-то бьют,— заметил один из друзей, выглянув из окна.

— Преступника? Убийцу? — спросил другой.— Слушай, кто бы он ни был, нельзя допустить бессудную расправу. Пойдем заступимся за него.

— Да это бьют не убийцу.

— Не убийцу? Так вора? Всё равно, пойдем отнимем его у толпы.

— И не вора.

— Не вора? Так кассира, железнодорожника, военного поставщика, российского мецената, адвоката, благонамеренного редактора, общественного жертвователя?.. Все-таки пойдем поможем ему!

— Нет... это бьют корреспондента.

— Корреспондента? Ну, знаешь что: допьем сперва стакан чаю.

Июль, 1878

ДВА БРАТА

То было видение...

Передо мною появилось два ангела... два гения.

Я говорю: ангелы... гении — потому что у обоих на обнаженных телах не было никакой одежды и за плечами у каждого вздымались сильные длинные крылья.

Оба — юноши. Один — несколько полный, гладкокожий, чернокудрый. Глаза карие, с поволокой, с густыми ресницами; взгляд вкрадчивый, веселый и жадный. Лицо прелестное, пленительное, чуть-чуть дерзкое, чуть-чуть злое. Алые пухлявые губы слегка вздрагивают. Юноша улыбается, как власть имеющий — самоуверенно и лениво; пышный цветочный венок слегка покоится на блестящих волосах, почти касаясь бархатных бровей. Пестрая шкурка леопарда, перехваченная золотой стрелою, легко повисла с округлого плеча на выгнутое бедро. Перья крыльев отливают розовым цветом; концы их ярко-красны, точно омочены багряной, свежей кровью. От времени до времени они трепещут быстро, с приятным серебристым шумом, шумом весеннего дождя.

Другой был худ и желтоват телом. Ребра слабо виднелись при каждом вдыхании. Волосы белокурые, жидкие, прямые; огромные, круглые, бледно-серые глаза... взгляд беспокойный и странно-светлый. Все черты лица заостренные; маленький полураскрытый рот с рыбьими зубами; сжатый, орлиный нос, выдающийся подбородок, покрытый беловатым пухом. Эти сухие губы ни разу, никогда не улыбнулись.

То было правильное, страшное, безжалостное лицо! (Впрочем, и у первого, у красавца,— лицо, хоть и милое и сладкое, жалости не выражало тоже.) Вокруг головы второго зацепилось несколько пустых поломанных колосьев, перевитых поблеклой былинкой. Грубая серая ткань обвивала чресла; крылья за спиною, темно-синие, матового цвета, двигались тихо и грозно.

Оба юноши казались неразлучными товарищами.

Каждый из них опирался на плечо другого. Мягкая ручка первого лежала, как виноградный грозд, на сухой ключице второго; узкая кисть второго с длинными тонкими пальцами протянулась, как змея, по женоподобной груди первого.

И послышался мне голос... Вот что произнес он: «Перед тобой Любовь и Голод — два родных брата, две коренных основы всего живущего.

Всё, что живет — движется, чтобы питаться; и питается, чтобы воспроизводить.

Любовь и Голод — цель их одна: нужно, чтобы жизнь не прекращалась, собственная и чужая — всё та же, всеобщая жизнь».

Август, 1878

ЭГОИСТ

В нем было всё нужное для того, чтобы сделаться бичом своей семьи.

Он родился здоровым; родился богатым — и в теченье всей своей долгой жизни, оставаясь богатым и здоровым, не совершил ни одного проступка, не впал ни в одну ошибку, не обмолвился и не промахнулся ни разу.

Он был безукоризненно честен!.. И, гордый сознаньем своей честности, давил ею всех: родных, друзей, знакомых.

Честность была его капиталом... и он брал с него ростовщичьи проценты.

Честность давала ему право быть безжалостным и не делать неуказного добра; и он был безжалостным — и не делал добра... потому что добро по указу — не добро.

Он никогда не заботился ни о ком, кроме собственной — столь примерной! — особы, и искренно возмущался, если и другие так же старательно не заботились о ней!

И в то же время он не считал себя эгоистом — и пуще всего порицал и преследовал эгоистов и эгоизм! Еще бы! Чужой эгоизм мешал его собственному.

Не ведая за собой ни малейшей слабости, он не понимал, не допускал ничьей слабости. Он вообще никого и ничего не понимал, ибо был весь, со всех сторон, снизу и сверху, сзади и спереди, окружен самим собою.

Он даже не понимал: что значит прощать? Самому себе прощать ему не приходилось... С какой стати стал бы он прощать другим?

Перед судом собственной совести, перед лицом собственного бога — он, это чудо, этот изверг добродетели, возводил очи горé и твердым и ясным голосом произносил: «Да, я достойный, я нравственный человек!»

Он повторит эти слова на смертном ложе — и ничего не дрогнет даже и тогда в его каменном сердце, в этом сердце без пятнышка и без трещины.

О безобразие самодовольной, непреклонной, дешево доставшейся добродетели, ты едва ли не противней откровенного безобразия порока!

Декабрь, 1878

ПИР У ВЕРХОВНОГО СУЩЕСТВА

Однажды Верховное Существо вздумало задать великий пир в своих лазоревых чертогах.

Все добродетели были им позваны в гости. Одни добродетели... мужчин он не приглашал... одних только дам.

Собралось их очень много — великих и малых. Малые добродетели были приятнее и любезнее великих; но все казались довольными и вежливо разговаривали между собою, как приличествует близким родственникам и знакомым.

Но вот Верховное Существо заметило двух прекрасных дам, которые, казалось, вовсе не были знакомы друг с дружкой.

Хозяин взял за руку одну из этих дам и подвел ее к другой.

«Благодетельность!» — сказал он, указав на первую.

«Благодарность!» — прибавил он, указав на вторую.

Обе добродетели несказанно удивились: с тех пор как свет стоял — а стоял он давно,— они встречались в первый раз!

Декабрь, 1878

СФИНКС

Изжелта-серый, сверху рыхлый, испóднизу твердый, скрыпучий песок... песок без конца, куда ни взглянешь!

И над этой песчаной пустыней, над этим морем мертвого праха высится громадная голова египетского сфинкса.

Что хотят сказать эти крупные, выпяченные губы, эти неподвижно-расширенные, вздернутые ноздри — и эти глаза, эти длинные, полусонные, полувнимательные глаза под двойной дугой высоких бровей?

А что-то хотят сказать они! Они даже говорят — но один лишь Эдип умеет разрешить загадку и понять их безмолвную речь.

Ба! Да я узнаю эти черты... в них уже нет ничего египетского. Белый низкий лоб, выдающиеся скулы, нос короткий и прямой, красивый белозубый рот, мягкий ус и бородка курчавая — и эти широко расставленные неболь-

шие глаза... а на голове шапка волос, рассеченная пробором... Да это ты, Карп, Сидор, Семен, ярославский, рязанский мужичок, соотчич мой, русская косточка! Давно ли попал ты в сфинксы?

Или и ты тоже что-то хочешь сказать? Да, и ты тоже — сфинкс.

И глаза твои — эти бесцветные, но глубокие глаза говорят тоже... И так же безмолвны и загадочны их речи.

Только где твой Эдип?

Увы! не довольно надеть мурмолку, чтобы сделаться твоим Эдипом, о всероссийский сфинкс!

Декабрь, 1878

НИМФЫ

Я стоял перед цепью красивых гор, раскинутых полукругом; молодой зеленый лес покрывал их сверху донизу.

Прозрачно синело над ними южное небо; солнце с вышины играло лучами; внизу, полузакрытые травою, болтали проворные ручьи.

И вспомнилось мне старинное сказание о том, как, в первый век по рождестве Христове, один греческий корабль плыл по Эгейскому морю.

Час был полуденный... Стояла тихая погода. И вдруг, в высоте, над головою кормчего, кто-то явственно произнес:

— Когда ты будешь плыть мимо острова, воззови громким голосом: «Умер Великий Пан!»

Кормчий удивился... испугался. Но когда корабль побежал мимо острова, он послушался, он воззвал:

— Умер Великий Пан!

И тотчас же, в ответ на его клик, по всему протяжению берега (а остров был необитаем) раздались громкие рыданья, стоны, протяжные, жалостные возгласы:

— Умер! Умер Великий Пан!

Мне вспомнилось это сказание... и странная мысль посетила меня. «Что, если и я кликну клич?»

Но в виду окружавшего меня ликования я не мог подумать о смерти — и что было во мне силы закричал:

— Воскрес! Воскрес Великий Пан!

И тотчас же — о чудо! — в ответ на мое восклицание по всему широкому полукружию зеленых гор прокатился дружный хохот, поднялся радостный говор и плеск.

«СТИХОТВОРЕНИЯ В ПРОЗЕ».
ПЕРЕЧЕНЬ НАЗВАНИЙ.
Национальная библиотека, Париж.

«Он воскрес! Пан воскрес!» — шумели молодые голоса. Всё там впереди внезапно засмеялось, ярче солнца в вышине, игривее ручьев, болтавших под травою. Послышался торопливый топот легких шагов, сквозь зеленую чащу замелькала мраморная белизна волнистых туник, живая алость обнаженных тел... То нимфы, нимфы, дриады, вакханки бежали с высот в равнину...

Они разом показались по всем опушкам. Локоны вьются по божественным головам, стройные руки поднимают венки и тимпаны — и смех, сверкающий, олимпийский смех бежит и катится вместе с ними...

Впереди несется богиня. Она выше и прекраснее всех,— колчан за плечами, в руках лук, на поднятых кудрях серебристый серп луны...

Диана, это — ты?

Но вдруг богиня остановилась... и тотчас, вслед за нею, остановились все нимфы. Звонкий смех замер. Я видел, как лицо внезапно онемевшей богини покрылось смертельной бледностью; я видел, как опустились и повисли ее руки, как окаменели ноги, как невыразимый ужас разверз ее уста, расширил глаза, устремленные вдаль... Что она увидала? Куда глядела она?

Я обернулся в ту сторону, куда она глядела...

На самом краю неба, за низкой чертою полей, горел огненной точкой золотой крест на белой колокольне христианской церкви... Этот крест увидала богиня.

Я услышал за собою неровный, длинный вздох, подобный трепетанию лопнувшей струны,— и когда я обернулся снова, уже от нимф не осталось следа... Широкий лес зеленел по-прежнему,— и только местами сквозь частую сеть ветвей виднелись, таяли клочки чего-то белого. Были ли то туники нимф, поднимался ли пар со дна долин — не знаю.

Но как мне было жаль исчезнувших богинь!

Декабрь, 1878

ВРАГ И ДРУГ

Осужденный на вечное заточенье узник вырвался из тюрьмы и стремглав пустился бежать... За ним по пятам мчалась погоня.

Он бежал изо всех сил... Преследователи начинали отставать.

Но вот перед ним река с крутыми берегами, узкая — но глубокая река... А он не умеет плавать!

С одного берега на другой перекинута тонкая гнилая доска. Беглец уже занес на нее ногу... Но случилось так, что тут же возле реки стояли: лучший его друг и самый жестокий его враг.

Враг ничего не сказал и только скрестил руки; зато друг закричал во всё горло:

— Помилуй! Что ты делаешь? Опомнись, безумец! Разве ты не видишь, что доска совсем сгнила? Она сломится под твоею тяжестью — и ты неизбежно погибнешь!

— Но ведь другой переправы нет... а погоню слышишь?— отчаянно простонал несчастный и ступил на доску.

— Не допущу!.. Нет, не допущу, чтобы ты погибнул!— возопил ревностный друг и выхватил из-под ног беглеца доску. Тот мгновенно бухнул в бурные волны — и утонул.

Враг засмеялся самодовольно — и пошел прочь; а друг присел на бережку — и начал горько плакать о своем бедном... бедном друге!

Обвинять самого себя в его гибели он, однако, не подумал... ни на миг.

— Не послушался меня! Не послушался! — шептал он уныло.

— А впрочем! — промолвил он наконец.— Ведь он всю жизнь свою должен был томиться в ужасной тюрьме! По крайней мере он теперь не страдает! Теперь ему легче! Знать, уж такая ему выпала доля!

— А все-таки жалко, по человечеству!

И добрая душа продолжала неутешно рыдать о своем злополучном друге.

Декабрь, 1878

ХРИСТОС

Я видел себя юношей, почти мальчиком в низкой деревенской церкви. Красными пятнышками теплились перед старинными образами восковые тонкие свечи.

Радужный венчик окружал каждое маленькое пламя. Темно и тускло было в церкви... Но народу стояло передо мною много.

Всё русые, крестьянские головы. От времени до времени они начинали колыхаться, падать, подниматься снова, словно зрелые колосья, когда по ним медленной волной пробегает летний ветер.

Вдруг какой-то человек подошел сзади и стал со мною рядом.

Я не обернулся к нему — но тотчас почувствовал, что этот человек — Христос.

Умиление, любопытство, страх разом овладели мною. Я сделал над собою усилие... и посмотрел на своего соседа.

Лицо, как у всех,— лицо, похожее на все человеческие лица. Глаза глядят немного ввысь, внимательно и тихо. Губы закрыты, но не сжаты: верхняя губа как бы покоится на нижней. Небольшая борода раздвоена. Руки сложены и не шевелятся. И одежда на нем как на всех.

«Какой же это Христос! — подумалось мне.— Такой простой, простой человек! Быть не может!»

Я отвернулся прочь. Но не успел я отвести взор от того простого человека, как мне опять почудилось, что это именно Христóс стоит со мной рядом.

Я опять сделал над собою усилие... И опять увидел то же лицо, похожее на все человеческие лица, те же обычные, хоть и незнакомые черты.

И мне вдруг стало жутко — и я пришел в себя. Только тогда я понял, что именно такое лицо — лицо, похожее на все человеческие лица,— оно и есть лицо Христа.

Декабрь, 1878

КАМЕНЬ

Видали ли вы старый серый камень на морском прибрежье, когда в него, в час прилива, в солнечный веселый день, со всех сторон бьют живые волны — бьют и играют и ластятся к нему — и обливают его мшистую голову рассыпчатым жемчугом блестящей пены?

Камень остается тем же камнем — но по хмурой его поверхности выступают яркие цвета.

Они свидетельствуют о том далеком времени, когда только что начинал твердеть расплавленный гранит и весь горел огнистыми цветами.

Так и на мое старое сердце недавно со всех сторон нахлынули молодые женские души — и под их ласкающим

прикосновением зарделось оно уже давно поблекшими красками, следами бывалого огня!

Волны отхлынули... но краски еще не потускнели — хоть и сушит их резкий ветер.

Май, 1879

ГОЛУБИ

Я стоял на вершине пологого холма; передо мною — то золотым, то посеребренным морем — раскинулась и пестрела спелая рожь.

Но не бегало зыби по этому морю; не струился душный воздух: назревала гроза великая.

Около меня солнце еще светило — горячо и тускло; но там, за рожью, не слишком далеко, темно-синяя туча лежала грузной громадой на целой половине небосклона.

Всё притаилось... всё изнывало под зловещим блеском последних солнечных лучей. Не слыхать, не видать ни одной птицы; попрятались даже воробьи. Только где-то вблизи упорно шептал и хлопал одинокий крупный лист лопуха.

Как сильно пахнет полынь на межах! Я глядел на синюю громаду... и смутно было на душе. Ну скорей же, скорей! — думалось мне,— сверкни, золотая змейка, дрогни, гром! двинься, покатись, пролейся, злая туча, прекрати тоскливое томленье!

Но туча не двигалась. Она по-прежнему давила безмолвную землю... и только словно пухла да темнела.

И вот по одноцветной ее синеве замелькало что-то ровно и плавно; ни дать ни взять белый платочек или снежный комок. То летел со стороны деревни белый голубь.

Летел, летел — всё прямо, прямо... и потонул за лесом.

Прошло несколько мгновений — та же стояла жестокая тишь... Но глядь! Уже *два* платка мелькают, *два* комочка несутся назад: то летят домой ровным полетом *два* белых голубя.

И вот, наконец, сорвалась буря — и пошла потеха!

Я едва домой добежал. Визжит ветер, мечется как бешеный, мчатся рыжие, низкие, словно в клочья разорванные облака, всё закрутилось, смешалось, захлестал, закачался отвесными столбами рьяный ливень, молнии слепят огнистой зеленью, стреляет как из пушки отрывистый гром, запахло серой...

Но под навесом крыши, на самом кра́юшке слухового окна, рядышком сидят два белых голубя — и тот, кто слетал за товарищем, и тот, кого он привел и, может быть, спас.

Нахохлились оба — и чувствует каждый своим крылом крыло соседа...

Хорошо им! И мне хорошо, глядя на них... Хоть я и один... один, как всегда.

Май, 1879

ЗАВТРА! ЗАВТРА!

Как пуст, и вял, и ничтожен почти всякий прожитой день! Как мало следов оставляет он за собою! Как бессмысленно глупо пробежали эти часы за часами!

И между тем человеку хочется существовать; он дорожит жизнью, он надеется на нее, на себя, на будущее... О, каких благ он ждет от будущего!

Но почему же он воображает, что другие, грядущие дни не будут похожи на этот только что прожитой день?

Да он этого и не воображает. Он вообще не любит размышлять — и хорошо делает.

«Вот завтра, завтра!» — утешает он себя, пока это «завтра» не свалит его в могилу.

Ну, а раз в могиле — поневоле размышлять перестанешь.

Май, 1879

ПРИРОДА

Мне снилось, что я вошел в огромную подземную храмину с высокими сводами. Ее всю наполнял какой-то тоже подземный, ровный свет.

По самой середине храмины сидела величавая женщина в волнистой одежде зеленого цвета. Склонив голову на руку, она казалась погруженной в глубокую думу.

Я тотчас понял, что эта женщина — сама Природа,— и мгновенным холодом внедрился в мою душу благоговейный страх.

Я приблизился к сидящей женщине — и, отдав почтительный поклон:

— О наша общая мать! — воскликнул я.— О чем твоя дума? Не о будущих ли судьбах человечества размыш-

ляешь ты? Не о том ли, как ему дойти до возможного совершенства и счастья?

Женщина медленно обратила на меня свои темные, грозные глаза. Губы ее шевельнулись — и раздался зычный голос, подобный лязгу железа.

— Я думаю о том, как бы придать бóльшую силу мышцам ног блохи, чтобы ей удобнее было спасаться от врагов своих. Равновесие нападения и отпора нарушено... Надо его восстановить.

— Как? — пролепетал я в ответ.— Ты вот о чем думаешь? Но разве мы, люди, не любимые твои дети?

Женщина чуть-чуть наморщила брови:

— Все твари мои дети,— промолвила она,— и я одинаково о них забочусь — и одинаково их истребляю.

— Но добро... разум... справедливость...— пролепетал я снова.

— Это человеческие слова,— раздался железный голос.— Я не ведаю ни добра, ни зла... Разум мне не закон — и что такое справедливость? Я тебе дала жизнь — я ее отниму и дам другим, червям или людям... мне всё равно... А ты пока защищайся — и не мешай мне!

Я хотел было возражать... но земля кругом глухо застонала и дрогнула — и я проснулся.

Август, 1879

«ПОВЕСИТЬ ЕГО!»

— Это случилось в 1805 году,— начал мой старый знакомый,— незадолго до Аустерлица. Полк, в котором я служил офицером, стоял на квартирах в Моравии.

Нам было строго запрещено беспокоить и притеснять жителей; они и так смотрели на нас косо, хоть мы и считались союзниками.

У меня был денщик, бывший крепостной моей матери, Егор по имени. Человек он был честный и смирный; я знал его с детства и обращался с ним как с другом.

Вот однажды в доме, где я жил, поднялись бранчивые крики, вопли: у хозяйки украли двух кур, и она в этой краже обвиняла моего денщика. Он оправдывался, призывал меня в свидетели... «Станет он красть, он, Егор Автамонов!» Я уверял хозяйку в честности Егора, но она ничего слушать не хотела.

Вдруг вдоль улицы раздался дружный конский топот: то сам главнокомандующий проезжал со своим штабом.

Он ехал шагом, толстый, обрюзглый, с понурой головой и свислыми на грудь эполетами.

Хозяйка увидала его — и, бросившись наперерез его лошади, пала на колени — и вся растерзанная, простоволосая, начала громко жаловаться на моего денщика, указывала на него рукою.

— Господин генерал! — кричала она,— ваше сиятельство! Рассудите! Помогите! Спасите! Этот солдат меня ограбил!

Егор стоял на пороге дома, вытянувшись в струнку, с шапкой в руке, даже грудь выставил и ноги сдвинул, как часовой,— и хоть бы слово! Смутил ли его весь этот остановившийся посреди улицы генералитет, окаменел ли он перед налетающей бедою — только стоит мой Егор да мигает глазами — а сам бел, как глина!

Главнокомандующий бросил на него рассеянный и угрюмый взгляд, промычал сердито:

— Ну?..

Стоит Егор как истукан и зубы оскалил! Со стороны посмотреть: словно смеется человек.

Тогда главнокомандующий промолвил отрывисто:

— Повесить его! — толкнул лошадь под бока и двинулся дальше — сперва опять-таки шагом, а потом шибкой рысью. Весь штаб помчался вслед за ним; один только адъютант, повернувшись на седле, взглянул мельком на Егора.

Ослушаться было невозможно... Егора тотчас схватили и повели на казнь.

Тут он совсем помертвел — и только раза два с трудом воскликнул:

— Батюшки! батюшки! — а потом вполголоса: — Видит бог — не я!

Горько, горько заплакал он, прощаясь со мною. Я был в отчаянии.

— Егор! Егор! — кричал я,— как же ты это ничего не сказал генералу!

— Видит бог, не я,— повторял, всхлипывая, бедняк.

Сама хозяйка ужаснулась. Она никак не ожидала такого страшного решения и в свою очередь разревелась! Начала умолять всех и каждого о пощаде, уверяла, что куры ее отыскались, что она сама готова всё объяснить...

Разумеется, всё это ни к чему не послужило. Военные, сударь, порядки! Дисциплина! Хозяйка рыдала всё громче и громче.

Егор, которого священник уже исповедал и причастил, обратился ко мне:

— Скажите ей, ваше благородие, чтоб она не убивалась... Ведь я ей простил.

Мой знакомый повторил эти последние слова своего слуги, прошептал: «Егорушка, голубчик, праведник!» — и слезы закапали по его старым щекам.

Август, 1879

ЧТО Я БУДУ ДУМАТЬ?..

Что я буду думать тогда, когда мне придется умирать,— если я только буду в состоянии тогда думать?

Буду ли я думать о том, что плохо воспользовался жизнью, проспал ее, продремал, не сумел вкусить от ее даров?

«Как? это уже смерть? Так скоро? Невозможно! Ведь я еще ничего не успел сделать... Я только собирался делать!»

Буду ли я вспоминать о прошедшем, останавливаться мыслию на немногих светлых, прожитых мною мгновениях, на дорогих образах и лицах?

Предстанут ли моей памяти мои дурные дела — и найдет на мою душу жгучая тоска позднего раскаяния?

Буду ли я думать о том, что меня ожидает за гробом... да и ожидает ли меня там что-нибудь?

Нет... мне кажется, я буду стараться не думать — и насильно займусь каким-нибудь вздором, чтобы только отвлечь собственное мое внимание от грозного мрака, чернеющего впереди.

При мне один умирающий всё жаловался на то, что не хотят дать ему погрызть каленых орешков... и только там, в глубине его потускневших глаз, билось и трепетало что-то, как перешибленное крыло насмерть раненной птицы.

Август, 1879

«КАК ХОРОШИ, КАК СВЕЖИ БЫЛИ РОЗЫ...»

Где-то, когда-то, давно-давно тому назад, я прочел одно стихотворение. Оно скоро позабылось мною... но первый стих остался у меня в памяти:

Как хороши, как свежи были розы...

Теперь зима; мороз запушил стекла окон; в темной комнате горит одна свеча. Я сижу, забившись в угол; а в голове всё звенит да звенит:

Как хороши, как свежи были розы...

И вижу я себя перед низким окном загородного русского дома. Летний вечер тихо тает и переходит в ночь, в теплом воздухе пахнет резедой и липой; а на окне, опершись на выпрямленную руку и склонив голову к плечу, сидит девушка — и безмолвно и пристально смотрит на небо, как бы выжидая появления первых звезд. Как простодушно-вдохновенны задумчивые глаза, как трогательно-невинны раскрытые, вопрошающие губы, как ровно дышит еще не вполне расцветшая, еще ничем не взволнованная грудь, как чист и нежен облик юного лица! Я не дерзаю заговорить с нею — но как она мне дорога, как бьется мое сердце!

Как хороши, как свежи были розы...

А в комнате всё темней да темней... Нагоревшая свеча трещит, беглые тени колеблются на низком потолке, мороз скрыпит и злится за стеною — и чудится скучный, старческий шёпот...

Как хороши, как свежи были розы...

Встают передо мною другие образы... Слышится веселый шум семейной деревенской жизни. Две русые головки, прислонясь друг к дружке, бойко смотрят на меня своими светлыми глазками, алые щеки трепещут сдержанным смехом, руки ласково сплелись, вперебивку звучат молодые, добрые голоса; а немного подальше, в глубине уютной комнаты, другие, тоже молодые руки бегают, путаясь пальцами, по клавишам старенького пианино — и ланнеровский вальс не может заглушить воркотню патриархального самовара...

Как хороши, как свежи были розы...

Свеча меркнет и гаснет... Кто это кашляет там так хрипло и глухо? Свернувшись в калачик, жмется и вздрагивает у ног моих старый пес, мой единственный товарищ... Мне холодно... Я зябну... И все они умерли... умерли...

Как хороши, как свежи были розы...

Сентябрь, 1879

МОРСКОЕ ПЛАВАНИЕ

Я плыл из Гамбурга в Лондон на небольшом пароходе. Нас было двое пассажиров: я да маленькая обезьяна, самка из породы уистити, которую один гамбургский купец отправлял в подарок своему английскому компаньону.

Она была привязана тонкой цепочкой к одной из скамеек на палубе и металась и пищала жалобно, по-птичьи.

Всякий раз, когда я проходил мимо, она протягивала мне свою черную холодную ручку — и взглядывала на меня своими грустными, почти человеческими глазенками. Я брал ее руку — и она переставала пищать и метаться.

Стоял полный штиль. Море растянулось кругом неподвижной скатертью свинцового цвета. Оно казалось невеликим; густой туман лежал на нем, заволакивая самые концы мачт, и слепил и утомлял взор своей мягкой мглою. Солнце висело тускло-красным пятном в этой мгле; а перед вечером она вся загоралась и алела таинственно и странно.

Длинные прямые складки, подобные складкам тяжелых шелковых тканей, бежали одна за другой от носа парохода и, всё ширясь, морщась да ширясь, сглаживались наконец, колыхались, исчезали. Взбитая пена клубилась под однообразно топотавшими колесами; молочно белея и слабо шипя, разбивалась она на змеевидные струи — а там сливалась, исчезала тоже, поглощенная мглою.

Непрестанно и жалобно, не хуже писка обезьяны, звякал небольшой колокол у кормы.

Изредка всплывал тюлень — и, круто кувыркнувшись, уходил под едва возмущенную гладь.

А капитан, молчаливый человек с загорелым сумрачным лицом, курил короткую трубку и сердито плевал в застывшее море.

На все мои вопросы он отвечал отрывистым ворчанием; поневоле приходилось обращаться к моему единственному спутнику — обезьяне.

Я садился возле нее; она переставала пищать — и опять протягивала мне руку.

Снотворной сыростью обдавал нас обоих неподвижный туман; и погруженные в одинаковую, бессознательную думу, мы пребывали друг возле друга, словно родные.

Я улыбаюсь теперь... но тогда во мне было другое чувство.

Все мы дети одной матери — и мне было приятно, что бедный зверок так доверчиво утихал и прислонялся ко мне, словно к родному.

Ноябрь, 1879

Н. Н.

Стройно и тихо проходишь ты по жизненному пути, без слез и без улыбки, едва оживленная равнодушным вниманием.

Ты добра и умна... и всё тебе чуждо — и никто тебе не нужен.

Ты прекрасна — и никто не скажет: дорожишь ли ты своей красотою или нет? Ты безучастна сама — и не требуешь участия.

Твой взор глубок — и не задумчив; пусто в этой светлой глубине.

Так, в Елисейских полях — под важные звуки глюковских мелодий — беспечально и безрадостно проходят стройные тени.

Ноябрь, 1879

СТОЙ!

Стой! Какою я теперь тебя вижу — останься навсегда такою в моей памяти!

С губ сорвался последний вдохновенный звук — глаза не блестят и не сверкают — они меркнут, отягощенные счастьем, блаженным сознанием той красоты, которую удалось тебе выразить, той красоты, во след которой ты словно простираешь твои торжествующие, твои изнеможенные руки!

Какой свет, тоньше и чище солнечного света, разлился по всем твоим членам, по малейшим складкам твоей одежды?

Какой бог своим ласковым дуновеньем откинул назад твои рассыпанные кудри?

Его лобзание горит на твоем, как мрамор, побледневшем челе!

Вот она — открытая тайна, тайна поэзии, жизни, любви! Вот оно, вот оно, бессмертие! Другого бессмертия нет — и не надо. В это мгновение ты бессмертна.

Оно пройдет — и ты снова щепотка пепла, женщина, дитя... Но что тебе за дело! В это мгновенье — ты стала выше, ты стала вне всего преходящего, временного. Это *твое* мгновение не кончится никогда.

Стой! И дай мне быть участником твоего бессмертия, урони в душу мою отблеск твоей вечности!

Ноябрь, 1879

МОНАХ

Я знавал одного монаха, отшельника, святого. Он жил одною сладостью молитвы — и, упиваясь ею, так долго простаивал на холодном полу церкви, что ноги его, ниже колен, отекли и уподобились столбам. Он их не чувствовал, стоял — и молился.

Я его понимал — я, быть может, завидовал ему,— но пускай же и он поймет меня и не осуждает меня — меня, которому недоступны его радости.

Он добился того, что уничтожил себя, свое ненавистное *я*; но ведь и я — не молюсь не из самолюбия.

Мое *я* мне, может быть, еще тягостнее и противнее, чем его — ему.

Он нашел, в чем забыть себя... да ведь и я нахожу, хоть и не так постоянно.

Он не лжет... да ведь и я не лгу.

Ноябрь, 1879

МЫ ЕЩЕ ПОВОЮЕМ!

Какая ничтожная малость может иногда перестроить всего человека!

Полный раздумья, шел я однажды по большой дороге.

Тяжкие предчувствия стесняли мою грудь; унылость овладевала мною.

Я поднял голову... Передо мною, между двух рядов высоких тополей, стрелою уходила вдаль дорога.

И через нее, через эту самую дорогу, в десяти шагах от меня, вся раззолоченная ярким летним солнцем, прыгала гуськом целая семейка воробьев, прыгала бойко, забавно, самонадеянно!

Особенно один из них так и надсаживал бочком, бочком, выпуча зоб и дерзко чирикая, словно и чёрт ему не брат! Завоеватель — и полно!

А между тем высоко на небе кружил ястреб, которому, быть может, суждено сожрать именно этого самого завоевателя.

Я поглядел, рассмеялся, встряхнулся — и грустные думы тотчас отлетели прочь: отвагу, удаль, охоту к жизни почувствовал я.

И пускай надо мной кружит *мой* ястреб...

— Мы еще повоюем, чёрт возьми!

Ноябрь, 1879

МОЛИТВА

О чем бы ни молился человек — он молится о чуде. Всякая молитва сводится на следующую: «Великий боже, сделай, чтобы дважды два — не было четыре!»

Только такая молитва и есть настоящая молитва — от лица к лицу. Молиться всемирному духу, высшему существу, кантовскому, гегелевскому, очищенному, безóбразному богу — невозможно и немыслимо.

Но может ли даже личный, живой, óбразный бог сделать, чтобы дважды два — не было четыре?

Всякий верующий обязан ответить: *может* — и обязан убедить самого себя в этом.

Но если разум его восстанет против такой бессмыслицы?

Тут Шекспир придет ему на помощь: «Есть многое на свете, друг Горацио...» и т. д.

А если ему станут возражать во имя истины,— ему стоит повторить знаменитый вопрос: «Что есть истина?»

И потому: станем пить и веселиться — и молиться.

Июнь, 1881

РУССКИЙ ЯЗЫК

Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины,— ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя — как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!

Июнь, 1882

<II>

ВСТРЕЧА

СОН

Мне снилось: я шел по широкой голой степи, усеянной крупными угловатыми камнями, под черным, низким небом.

Между камнями вилась тропинка... Я шел по ней, не зная сам куда и зачем...

Вдруг передо мною на узкой черте тропинки появилось нечто вроде тонкого облачка... Я начал вглядываться: облачко стало женщиной, стройной и высокой, в белом платье, с узким светлым поясом вокруг стана. Она спешила прочь от меня проворными шагами.

Я не видел ее лица, не видел даже ее волос: их закрывала волнистая ткань; но всё сердце мое устремилось вслед за нею. Она казалась мне прекрасной, дорогой и милой... Я непременно хотел догнать ее, хотел заглянуть в ее лицо... в ее глаза... О да! Я хотел увидеть, я должен был увидеть эти глаза.

Однако как я ни спешил, она двигалась еще проворнее меня — и я не мог ее настигнуть.

Но вот поперек тропинки показался плоский, широкий камень... Он преградил ей дорогу.

Женщина остановилась перед ним... и я подбежал, дрожа от радости и ожидания, не без страха.

Я ничего не промолвил... Но она тихо обернулась ко мне...

И я все-таки не увидал ее глаз. Они были закрыты.

Лицо ее было белое... белое, как ее одежда; обнаженные руки висели недвижно. Она вся словно окаменела; всем телом своим, каждой чертою лица своего эта женщина походила на мраморную статую.

Медленно, не сгибаясь ни одним членом, отклонилась она назад и опустилась на ту плоскую плиту.

И вот уже я лежу с ней рядом, лежу на спине, вытянутый весь, как надгробное изваяние, руки мои сложены молитвенно на груди, и чувствую я, что окаменел я тоже.

Прошло несколько мгновений... Женщина вдруг приподнялась и пошла прочь.

Я хотел броситься за нею, но я не мог пошевельнуться, не мог разжать сложенных рук — и только глядел ей вслед, с тоской несказанной.

Тогда она внезапно обернулась — и я увидел светлые, лучистые глаза на живом подвижном лице. Она устремила их на меня и засмеялась одними устами... без звука. Встань, мол, и приди ко мне!

Но я всё не мог пошевельнуться.

Тогда она засмеялась еще раз и быстро удалилась, весело покачивая головою, на которой вдруг ярко заалел венок из маленьких роз.

А я остался неподвижен и нем на могильной моей плите.

Февраль, 1878

МНЕ ЖАЛЬ...

Мне жаль самого себя, других, всех людей, зверей, птиц... всего живущего.

Мне жаль детей и стариков, несчастных и счастливых... счастливых более, чем несчастных.

Мне жаль победоносных, торжествующих вождей, великих художников, мыслителей, поэтов...

Мне жаль убийцы и его жертвы, безобразия и красоты, притесненных и притеснителей.

Как мне освободиться от этой жалости? Она мне жить не дает... Она — да вот еще скука.

О скука, скука, вся растворенная жалостью! Ниже спуститься человеку нельзя.

Уж лучше бы я завидовал... право!

Да я и завидую — камням.

Февраль, 1878

ПРОКЛЯТИЕ

Я читал байроновского «Манфреда»...

Когда я дошел до того места, где дух женщины, погубленной Манфредом, произносит над ним свое таинственное заклинание,— я ощутил некоторый трепет.

Помните: «Да будут без сна твои ночи, да вечно ощущает твоя злая душа мое незримое неотвязное присутствие, да станет она своим собственным адом»...

Но тут мне вспомнилось иное... Однажды, в России, я был свидетелем ожесточенной распри между двумя крестьянами, отцом и сыном.

Сын кончил тем, что нанес отцу нестерпимое оскорбление.

— Прокляни его, Васильич, прокляни окаянного! — закричала жена старика.

— Изволь, Петровна,— отвечал старик глухим голосом и широко перекрестился: — Пускай же и он дождется сына, который на глазах своей матери плюнет отцу в его седую бороду!

Сын раскрыл было рот, да пошатнулся на ногах, позеленел в лице — и вышел вон.

Это проклятие показалось мне ужаснее манфредовского.

Февраль, 1878

БЛИЗНЕЦЫ

Я видел спор двух близнецов. Как две капли воды походили они друг на друга всем: чертами лица, их выражением, цветом волос, ростом, складом тела — и ненавидели друг друга непримиримо.

Они одинаково корчились от ярости. Одинаково пылали близко друг на дружку надвинутые, до странности схожие лица; одинаково сверкали и грозились схожие глаза; те же самые бранные слова, произнесенные одинаковым голосом, вырывались из одинаково искривленных губ.

Я не выдержал, взял одного за руку, подвел его к зеркалу и сказал ему:

— Бранись уж лучше тут, перед этим зеркалом... Для тебя не будет никакой разницы... но мне-то не так будет жутко.

Февраль, 1878

ДРОЗД

I

Я лежал на постели — но мне не спалось. Забота грызла меня; тяжелые, утомительно однообразные думы медленно проходили в уме моем, подобно сплошной цепи туманных облаков, безостановочно ползущих в ненастный день по вершинам сырых холмов.

Ах! я любил тогда безнадежной, горестной любовью, какою можно любить лишь под снегом и холодом годов, когда сердце, не затронутое жизнию, осталось... не молодым! нет... но ненужно и напрасно моложавым.

Белесоватым пятном стоял передо мною призрак окна; все предметы в комнате смутно виднелись: они казались еще неподвижнее и тише в дымчатом полусвете раннего летнего утра. Я посмотрел на часы: было без четверти три часа. И за стенами дома чувствовалась та же неподвижность... И роса, целое море росы!

А в этой росе, в саду, под самым моим окном уже пел, свистал, тюрюлюкал — немолчно, громко, самоуверенно — черный дрозд. Переливчатые звуки проникали в мою затихшую комнату, наполняли ее всю, наполняли мой слух, мою голову, отягченную сухостью бессонницы, горечью болезненных дум.

Они дышали вечностью, эти звуки — всею свежестью, всем равнодушием, всею силою вечности. Голос самой природы слышался мне в них, тот красивый, бессознательный голос, который никогда не начинался — и не кончится никогда.

Он пел, он распевал самоуверенно, этот черный дрозд; он знал, что скоро, обычной чередою, блеснет неизменное солнце; в его песни не было ничего *своего*, личного; он был тот же самый черный дрозд, который тысячу лет тому назад приветствовал то же самое солнце и будет его приветствовать через другие тысячи лет, когда то, что останется от меня, быть может, будет вертеться незримыми пылинками вокруг его живого звонкого тела, в воздушной струе, потрясенной его пением.

И я, бедный, смешной, влюбленный, личный человек, говорю тебе: спасибо, маленькая птица, спасибо твоей сильной и вольной песенке, так неожиданно зазвеневшей под моим окном в тот невеселый час.

Она не утешила меня — да я и не искал утешения... Но глаза мои омочились слезами, и шевельнулось в груди, приподнялось на миг недвижное, мертвое бремя. Ах! и то существо — не так же ли оно молодо и свеже, как твои ликующие звуки, передрассветный певец!

Да и стоит ли горевать, и томиться, и думать о самом себе, когда уже кругом, со всех сторон разлиты те холодные волны, которые не сегодня — завтра увлекут меня в безбрежный океан?

Слезы лились... а мой милый черный дрозд продолжал, как ни в чем не бывало, свою безучастную, свою счастливую, свою вечную песнь!

О, какие слезы на разгоревшихся щеках моих осветило взошедшее наконец солнце!

Но днем я улыбался по-прежнему.

8 июля 1877

ДРОЗД

II

Опять я лежу в постели... опять мне не спится. То же летнее раннее утро охватывает меня со всех сторон; и опять под окном моим поет черный дрозд — и в сердце горит та же рана.

Но не приносит мне облегчения песенка птицы — и не думаю я о моей ране. Меня терзают другие, бесчисленные, зияющие раны; из них багровыми потоками льется родная, дорогая кровь, льется бесполезно, бессмысленно, как дождевые воды с высоких крыш на грязь и мерзость улицы.

Тысячи моих братий, собратий гибнут теперь там, вдали, под неприступными стенами крепостей; тысячи братий, брошенных в разверстую пасть смерти неумелыми вождями.

Они гибнут без ропота; их губят без раскаяния; они о себе не жалеют; не жалеют о них и те неумелые вожди.

Ни правых тут нет, ни виноватых: то молотилка треплет снопы колосьев, пустых ли, с зерном ли — покажет время.

Что же значат *мои* раны? Что значат *мои* страданья? Я не смею даже плакать. Но голова горит и душа замирает — и я, как преступник, прячу голову в постылые подушки.

Горячие, тяжелые капли пробираются, скользят по моим щекам... скользят мне на губы... Что это? Слезы... или кровь?

Август, 1877

БЕЗ ГНЕЗДА

Куда мне деться? Что предпринять? Я как одинокая птица без гнезда... Нахохлившись, сидит она на голой, сухой ветке. Оставаться тошно... а куда полететь?

И вот она расправляет свои крылья — и бросается вдаль стремительно и прямо, как голубь, вспугнутый ястребом. Не откроется ли где зеленый, приютный уголок, нельзя ли будет свить где-нибудь хоть временное гнездышко?

Птица летит, летит и внимательно глядит вниз.

Под нею желтая пустыня, безмолвная, недвижная, мертвая.

Птица спешит, перелетает пустыню — и всё глядит вниз, внимательно и тоскливо.

Под нею море, желтое, мертвое, как пустыня. Правда, оно шумит и движется — но в нескончаемом грохоте, в однообразном колебании его валов тоже нет жизни и тоже негде приютиться.

Устала бедная птица... Слабеет взмах ее крыл; ныряет ее полет. Взвилась бы она к небу... но не свить же гнезда в той бездонной пустоте!..

Она сложила наконец крылья... и с протяжным стоном пала в море.

Волна ее поглотила... и покатилась вперед, по-прежнему бессмысленно шумя.

Куда же деться мне? И не пора ли и мне — упасть в море?

Январь, 1878

КУБОК

Мне смешно... и я дивлюсь на самого себя.

Непритворна моя грусть, мне действительно тяжело жить, горестны и безотрадны мои чувства. И между тем я стараюсь придать им блеск и красивость, я ищу образов и сравнений; я округляю мою речь, тешусь звоном и созвучием слов.

Я, как ваятель, как золотых дел мастер, старательно леплю и вырезываю и всячески украшаю тот кубок, в котором я сам же подношу себе отраву.

Январь, 1878

ЧЬЯ ВИНА?

Она протянула мне свою нежную, бледную руку... а я с суровой грубостью оттолкнул ее.

Недоумение выразилось на молодом, милом лице; молодые добрые глаза глядят на меня с укором; не понимает меня молодая, чистая душа.

— Какая моя вина? — шепчут ее губы.

— Твоя вина? Самый светлый ангел в самой лучезарной глубине небес скорее может провиниться, нежели ты.

И все-таки велика твоя вина передо мною.

Хочешь ты ее узнать, эту тяжкую вину, которую ты не можешь понять, которую я растолковать тебе не в силах?

Вот она: ты — молодость; я — старость.

Январь, 1878

ЖИТЕЙСКОЕ ПРАВИЛО

Хочешь быть спокойным? Знайся с людьми, но живи один, не предпринимай ничего и не жалей ни о чем.

Хочешь быть счастливым? Выучись сперва страдать.

Апрель, 1878

ГАД

Я видел перерубленного гада.

Облитый сукровицей и слизью собственных извержений, он еще корчился и, судорожно поднимая голову, выставлял жало... он грозил еще... грозил бессильно.

Я прочел фельетон опозоренного писаки.

Захлебываясь собственной слюной, вываленный в гное собственных мерзостей, он тоже корчился и кривлялся... Он упоминал о «барьере»,— он предлагал поединком омыть свою честь... свою честь!!!

Я вспомнил о том перерубленном гаде с его бессильным жалом.

Май, 1878

ПИСАТЕЛЬ И КРИТИК

Писатель сидел у себя в комнате за рабочим столом. Вдруг входит к нему критик.

— Как! — воскликнул он,— вы всё еще продолжаете строчить, сочинять, после всего, что я написал против вас? после всех тех больших статей, фельетонов, заметок, корреспонденций, в которых я доказал как дважды два четыре, что у вас нет — да и не было никогда — никакого таланта, что вы позабыли даже родной язык, что вы всегда отличались невежеством, а теперь совсем выдохлись, устарели, превратились в тряпку?

Сочинитель спокойно обратился к критику.

— Вы написали против меня множество статей и фельетонов,— отвечал он,— это несомненно; но известна ли вам басня о лисе и кошке? У лисы много было хитростей — а она все-таки попалась; у кошки была только одна: взлезть на дерево... и собаки ее не достали. Так и я: в ответ на все ваши статьи — я вывел вас целиком в одной только книге; надел на вашу разумную голову шутовской колпак — и будете вы в нем щеголять перед потомством.

— Перед потомством! — расхохотался критик,— как будто ваши книги дойдут до потомства?! Лет через сорок, много пятьдесят их никто и читать не будет.

— Я с вами согласен,— отвечал писатель,— но с меня и этого довольно. Гомер пустил на вечные времена своего Ферсита; а для вашего брата и полвека за глаза. Вы не заслуживаете даже шутовского бессмертия. Прощайте, господин... Прикажете назвать вас по имени? Едва ли это нужно... все произнесут его и без меня.

Июнь, 1878

С КЕМ СПОРИТЬ...

Спорь с человеком умнее тебя: он тебя победит... но из самого твоего поражения ты можешь извлечь пользу для себя.

Спорь с человеком ума равного: за кем бы ни осталась победа — ты по крайней мере испытаешь удовольствие борьбы.

Спорь с человеком ума слабейшего... спорь не из желания победы; но ты можешь быть ему полезным.

Спорь даже с глупцом; ни славы, ни выгоды ты не добудешь; но отчего иногда и не позабавиться?

Не спорь только с Владимиром Стасовым!

Июнь, 1878

«О МОЯ МОЛОДОСТЬ! О МОЯ СВЕЖЕСТЬ!»

Гоголь

«О моя молодость! о моя свежесть!» — восклицал и я когда-то.

Но когда я произносил это восклицание — я сам еще был молод и свеж.

Мне просто хотелось тогда побаловать самого себя грустным чувством — пожалеть о себе въявь, порадоваться втайне.

Теперь я молчу и не сокрушаюсь вслух о тех утратах... Они и так грызут меня постоянно, глухою грызью.

«Эх! лучше не думать!» — уверяют мужики.

Июнь, 1878

К***

То не ласточка щебетунья, не резвая касаточка тонким крепким клювом себе в твердой скале гнездышко выдолбила...

То с чужой жестокой семьей ты понемногу сжилась да освоилась, моя терпеливая умница!

Июль, 1878

Я ШЕЛ СРЕДИ ВЫСОКИХ ГОР...

Я шел среди высоких гор,
Вдоль светлых рек и по долинам...
И всё, что ни встречал мой взор,
Мне говорило об едином:
Я был любим! любим я был!
Я всё другое позабыл!

Сияло небо надо мной,
Шумели листья, птицы пели...
И тучки резвой чередой
Куда-то весело летели...
Дышало счастьем всё кругом,
Но сердце не нуждалось в нем.

Меня несла, несла волна,
Широкая, как волны моря!
В душе стояла тишина
Превыше радости и горя...
Едва себя я сознавал:
Мне целый мир принадлежал!

Зачем не умер я тогда?
Зачем потом мы оба жили?
Пришли года... прошли года —
И ничего не подарили,
Что б было слаще и ясней
Тех глупых и блаженных дней.

Ноябрь, 1878

КОГДА МЕНЯ НЕ БУДЕТ...

Когда меня не будет, когда всё, что было мною, рассыплется прахом,— о ты, мой единственный друг, о ты, которую я любил так глубоко и так нежно, ты, которая наверно переживешь меня,— не ходи на мою могилу... Тебе там делать нечего.

Не забывай меня... но и не вспоминай обо мне среди ежедневных забот, удовольствий и нужд... Я не хочу мешать твоей жизни, не хочу затруднять ее спокойное течение.

Но в часы уединения, когда найдет на тебя та застенчивая и беспричинная грусть, столь знакомая добрым сердцам, возьми одну из наших любимых книг и отыщи в ней те страницы, те строки, те слова, от которых, бывало,— помнишь? — у нас обоих разом выступали сладкие и безмолвные слезы.

Прочти, закрой глаза и протяни мне руку... Отсутствующему другу протяни руку твою.

Я не буду в состоянии пожать ее моей рукой — она будет лежать неподвижно под землею... но мне *теперь* отрадно думать, что, быть может, ты на *твоей* руке почувствуешь легкое прикосновение.

И образ мой предстанет тебе — и из-под закрытых век твоих глаз польются слезы, подобные тем слезам, которые мы, умиленные Красотою, проливали некогда с тобою вдвоем, о ты, мой единственный друг, о ты, которую я любил так глубоко и так нежно!

Декабрь, 1878

ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ

День за днем уходит без следа, однообразно и быстро.

Страшно скоро помчалась жизнь,— скоро и без шума, как речное стремя перед водопадом.

Сыплется она ровно и гладко, как песок в тех часах, которые держит в костлявой руке фигура Смерти.

Когда я лежу в постели и мрак облегает меня со всех сторон — мне постоянно чудится этот слабый и непрерывный шелест утекающей жизни.

Мне не жаль ее, не жаль того, что я мог бы еще сделать... Мне жутко.

Мне сдается: стоит возле моей кровати та неподвижная фигура... В одной руке песочные часы, другую она занесла над моим сердцем...

И вздрагивает и толкается в грудь мое сердце, как бы спеша достучать свои последние удары.

Декабрь, 1878

Я ВСТАЛ НОЧЬЮ...

Я встал ночью с постели... Мне показалось, что кто-то позвал меня по имени... там, за темным окном.

Я прижался лицом к стеклу, приник ухом, вперил взоры — и начал ждать.

Но там, за окном, только деревья шумели — однообразно и смутно,— и сплошные, дымчатые тучи, хоть и двигались и менялись беспрестанно, оставались всё те же да те же...

Ни звезды на небе, ни огонька на земле.

Скучно и томно там... как и здесь, в моем сердце.

Но вдруг где-то вдали возник жалобный звук и, постепенно усиливаясь и приближаясь, зазвенел человеческим голосом — и, понижаясь и замирая, промчался мимо.

«Прощай! прощай! прощай!»— чудилось мне в его замираниях.

Ах! Это всё мое прошедшее, всё мое счастье, всё, всё, что я лелеял и любил,— навсегда и безвозвратно прощалось со мною!

Я поклонился моей улетевшей жизни — и лег в постель, как в могилу.

Ах, кабы в могилу!

Июнь, 1879

КОГДА Я ОДИН...

ДВОЙНИК

Когда я один, совсем и долго один — мне вдруг начинает чудиться, что кто-то другой находится в той же комнате, сидит со мною рядом или стоит за моей спиною.

Когда я оборачиваюсь или внезапно устремляю глаза туда, где мне чудится тот человек, я, разумеется, никого не вижу. Самое ощущение его близости исчезает... но через несколько мгновений оно возвращается снова.

Иногда я возьму голову в обе рукп — и начинаю думать о нем.

Кто он? Что он? Он мне не чужой... он меня знает,— и я знаю его... Он мне как будто сродни... и между нами бездна.

Ни звука, ни слова я от него не жду... Он так же нем, как и недвижен... И, однако, он говорит мне... говорит что-то неясное, непонятное — и знакомое. Он знает все мои тайны.

Я его не боюсь... но мне неловко с ним и не хотелось бы иметь такого свидетеля моей внутренней жизни... И со всем тем отдельного, чужого существования я в нем не ощущаю.

Уж не мой ли ты двойник? Не мое ли прошедшее *я*? Да и точно: разве между тем человеком, каким я себя помню, и теперешним мною — не целая бездна?

Но он приходит не по моему веленью — словно у него своя воля.

Невесело, брат, ни тебе, ни мне — в постылой тишине одиночества!

А вот погоди... Когда я умру, мы сольемся с тобою — мое прежнее, мое теперешнее *я* — и умчимся навек в область невозвратных теней.

Ноябрь, 1879

ПУТЬ К ЛЮБВИ

Все чувства могут привести к любви, к страсти, все: ненависть, сожаление, равнодушие, благоговение, дружба, страх,— даже презрение.

Да, все чувства... исключая одного: благодарности.

Благодарность — долг; всякий честный человек плотит свои долги... но любовь — не деньги.

Июнь, 1881

ФРАЗА

Я боюсь, я избегаю фразы; но страх фразы — тоже претензия.

Так, между этими двумя иностранными словами, между претензией и фразой, так и катится и колеблется наша сложная жизнь.

Июнь, 1881

ПРОСТОТА

Простота! простота! Тебя зовут святою... Но святость — не человеческое дело.

Смирение — вот это так. Оно попирает, оно побеждает гордыню. Но не забывай: в самом чувстве победы есть уже своя гордыня.

Июнь, 1881

БРАМИН

Брамин твердит слово «Ом!», глядя на свой пупок,— и тем самым близится к божеству. Но есть ли во всем человеческом теле что-либо менее божественное, что-либо более напоминающее связь с человеческой бренностью, чем именно этот пупок?

Июнь, 1881

ТЫ ЗАПЛАКАЛ...

Ты заплакал о моем горе; и я заплакал из сочувствия к твоей жалости обо мне.

Но ведь и ты заплакал о своем горе; только ты увидал его — во мне.

Июнь, 1881

ЛЮБОВЬ

Все говорят: любовь — самое высокое, самое неземное чувство. Чужое *я* внедрилось в твое: ты расширен — и ты нарушен; ты только теперь зажил<?> и твое *я* умерщвлено. Но человека с плотью и кровью возмущает даже такая смерть... Воскресают одни бессмертные боги...

Июнь, 1881

ИСТИНА И ПРАВДА

— Почему вы так дорожите бессмертием души? — спросил я.

— Почему? Потому что я буду тогда обладать Истиной вечной, несомненной... А в этом, по моему понятию, и состоит высочайшее блаженство!

— В обладании Истиной?

— Конечно.

— Позвольте; в состоянье ли вы представить себе следующую сцену? Собралось несколько молодых людей, толкуют между собою... И вдруг вбегает один их товарищ: глаза его блестят необычайным блеском, он задыхается от восторга, едва может говорить. «Что такое? Что такое?» — «Друзья мои, послушайте, что я узнал, какую истину! Угол падения равен углу отражения! Или вот еще: между двумя точками самый краткий путь — прямая линия!» — «Неужели! о, какое блаженство!» — кричат все молодые люди, с умилением бросаются друг другу в объятия! Вы не в состоянии себе представить подобную сцену? Вы смеетесь... В том-то и дело: Истина не может доставить блаженства... Вот Правда может. Это человеческое, наше земное дело... Правда и Справедливость! За Правду и умереть согласен. На знании Истины вся жизнь построена; но как это «обладать ею»? Да еще находить в этом блаженство?

Июнь, 1882

КУРОПАТКИ

Лежа в постели, томимый продолжительным и безысходным недугом, я подумал: чем я это заслужил? за что наказан я? я, именно я? Это несправедливо, несправедливо!

И пришло мне в голову следующее...

Целая семейка молодых куропаток — штук двадцать — столпилась в густом жнивье. Они жмутся друг к дружке, роются в рыхлой земле, счастливы. Вдруг их вспугивает собака — они дружно, разом взлетают; раздается выстрел — и одна из куропаток, с подбитым крылом, вся израненная, падает — и, с трудом волоча лапки, забивается в куст полыни.

Пока собака ее ищет, несчастная куропатка, может быть, тоже думает: «Нас было двадцать таких же, <как> я... Почему же именно я, я попалась под выстрел и должна умереть? Почему? Чем я это заслужила перед остальными моими сестрами? Это несправедливо!»

Лежи, больное существо, пока смерть тебя сыщет.

Июнь, 1882

NESSUN MAGGIOR DOLORE[1]

Голубое небо, как пух легкие облака, запах цветов, сладкие звуки молодого голоса, лучезарная красота великих творений искусства, улыбка счастья на прелестном женском лице и эти волшебные глаза... к чему, к чему всё это?

Ложка скверного, бесполезного лекарства через каждые два часа — вот, вот что нужно.

Июнь, 1882

ПОПАЛСЯ ПОД КОЛЕСО

— Что значат эти стоны?

— Я страдаю, страдаю сильно.

— Слыхал ли ты плеск ручья, когда он толкается о каменья?

— Слыхал... но к чему этот вопрос?

— А к тому, что этот плеск и стоны твои — те же звуки, и больше ничего. Только разве вот что: плеск

---

[1] Нет большей скорби *(итал.)*.

ручья может порадовать иной слух, а стоны твои никого не разжалобят. Ты не удерживай их, но помни: это всё звуки, звуки, как скрып надломленного дерева... звуки — и больше ничего.

Июнь, 1882

У-А... У-А!

Я проживал тогда в Швейцарии... Я был очень молод, очень самолюбив — и очень одинок. Мне жилось тяжело — и невесело. Еще ничего не изведав, я уже скучал, унывал и злился. Всё на земле мне казалось ничтожным и пошлым,— и, как это часто случается с очень молодыми людьми, я с тайным злорадством лелеял мысль... о самоубийстве. «Докажу... отомщу...» — думалось мне... Но что доказать? За что мстить? Этого я сам не знал. Во мне просто кровь бродила, как вино в закупоренном сосуде... а мне казалось, что надо дать этому вину вылиться наружу и что пора разбить стесняющий сосуд... Байрон был моим идолом, Манфред моим героем.

Однажды вечером я, как Манфред, решился отправиться туда, на темя гор, превыше ледников, далеко от людей,— туда, где нет даже растительной жизни, где громоздятся одни мертвые скалы, где застывает всякий звук, где не слышен даже рев водопадов!

Что я намерен был там делать... я не знал... Быть может, покончить с собою?!

Я отправился...

Шел я долго, сперва по дороге, потом по тропинке, всё выше поднимался... всё выше. Я уже давно миновал последние домики, последние деревья... Камни — одни камни кругом,— резким холодом дышит на меня близкий, но уже невидимый снег,— со всех сторон черными клубами надвигаются ночные тени.

Я остановился наконец.

Какая страшная тишина!

Это царство Смерти.

И я здесь один, один живой человек, со всем своим надменным горем, и отчаяньем, и презреньем... Живой, сознательный человек, ушедший от жизни и не желающий жить. Тайный ужас леденил меня — но я воображал себя великим!..

Манфред — да и полно!

— Один! Я один! — повторял я,— один лицом к лицу

со смертью! Уж не пора ли? Да... пора. Прощай, ничтожный мир! Я отталкиваю тебя ногою!

И вдруг в этот самый миг долетел до меня странный, не сразу мною понятый, но живой... человеческий звук... Я вздрогнул, прислушался... звук повторился... Да это... это крик младенца, грудного ребенка!.. В этой пустынной, дикой выси, где всякая жизнь, казалось, давно и навсегда замерла,— крик младенца?!!

Изумление мое внезапно сменилось другим чувством, чувством задыхающейся радости... И я побежал стремглав, не разбирая дороги, прямо на этот крик, на этот слабый, жалкий — и спасительный крик!

Вскоре мелькнул предо мною трепетный огонек. Я побежал еще скорее — и через несколько мгновений увидел низкую хижинку. Сложенные из камней, с придавленными плоскими крышами, такие хижины служат по целым неделям убежищем для альпийских пастухов.

Я толкнул полураскрытую дверь — и так и ворвался в хижину, словно смерть по пятам гналась за мною...

Прикорнув на скамейке, молодая женщина кормила грудью ребенка... пастух, вероятно ее муж, сидел с нею рядом.

Они оба уставились на меня... но я ничего не мог промолвить... я только улыбался и кивал головою...

Байрон, Манфред, мечты о самоубийстве, моя гордость и мое величье, куда вы все делись?..

Младенец продолжал кричать — и я благословлял и его, и мать его, и ее мужа...

О горячий крик человеческой, только что народившейся жизни, ты меня спас, ты меня вылечил!

Ноябрь, 1882

МОИ ДЕРЕВЬЯ

Я получил письмо от бывшего университетского товарища, богатого помещика, аристократа. Он звал меня к себе в имение.

Я знал, что он давно болен, ослеп, разбит параличом, едва ходит... Я поехал к нему.

Я застал его в одной из аллей его обширного парка. Закутанный в шубе — а дело было летом,—чахлый, скрюченный, с зелеными зонтами над глазами, он сидел в небольшой колясочке, которую сзади толкали два лакея в богатых ливреях...

— Приветствую вас,— промолвил он могильным голосом,— на *моей* наследственной земле, под сенью *моих* вековых деревьев!

Над его головою шатром раскинулся могучий тысячелетний дуб.

И я подумал: «О тысячелетний исполин, слышишь? Полумертвый червяк, ползающий у корней твоих, называет тебя *своим* деревом!»

Но вот ветерок набежал волною и промчался легким шорохом по сплошной листве исполина... И мне показалось, что старый дуб отвечал добродушным и тихим смехом и на мою думу — и на похвальбу больного.

Ноябрь, 1882

ПЕРЕВОДЫ
ИЗ Г. ФЛОБЕРА

1877

⟨ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРЕВОДАМ ПОВЕСТЕЙ Г. ФЛОБЕРА «ЛЕГЕНДА О СВ. ЮЛИАНЕ МИЛОСТИВОМ» И «ИРОДИАДА»⟩

⟨Письмо к редактору «Вестника Европы»⟩

Любезнейший М⟨ихаил⟩ М⟨атвеевич⟩!

Гюстав Флобер, известный автор «Мадам Бовари», «Саламбо» и «Сантиментального воспитания» — один из самых замечательных представителей современной французской литературы,— сообщил мне написанные им три рассказа или «легенды» («Святой Юлиан», «Простое сердце» и «Иродиада»), долженствующие появиться в Париже в начале мая. Пораженный их разнообразными красотами, я перевел две из них — «Юлиана» и «Иродиаду» — с рукописи и предлагаю Вам поместить их в «Вестнике Европы». Легенды эти, быть может, возбудят некоторое изумление в русских читателях, которые не того ожидают от человека, провозглашенного главою французских реалистов и наследником Бальзака. Но я полагаю, что яркая и в то же время гармонически стройная поэзия этих легенд возьмет свое и победит предубеждение читателей. Пусть они взглянут на каждую из них, как на переданную прозой поэму, что она и есть.

Со своей стороны я приложил к этому труду всё возможное старание и умение. Это был именно «love's labour» — труд любви; пусть же он не будет потерянным трудом — «love's labour lost».

Иван Тургенев

Париж, февраль 1877

ЛЕГЕНДА
О СВ. ЮЛИАНЕ МИЛОСТИВОМ

(Гюстава Флобера)

I

Отец и мать Юлиана обитали в замке, построенном посреди лесов. на склоне холма.

Четыре угловые башни заканчивались остроконечными крышами, покрытыми чешуей из свинцовых блях; а стены упирались в темя скал, круто спускавшихся до самого дна глубоких расселин.

Камни, которыми вымощен был обширный двор, были так же гладки и чисты, как церковные плиты. Длинные жёлобы, изображавшие драконов с опущенной вниз пастью, извергали дождевую воду; она стекала ручьями в цистерну; а на подоконниках во всех этажах красовались базилики или гелиотропы в расписанных глиняных горшках.

Вторая каменная ограда заключала в себе сперва фруктовый сад; потом палисадник, в котором искусные сочетания цветов изображали вензеля; затем шпалеры виноградных лоз с беседками для отдыха и прохлаждения; наконец, особо отведенное место. где пажи забавлялись игрою в мяч. С другой стороны находились псарни, конюшни, пекарня. давильня для винограда и амбары. Зеленое пастбище расстилалось вокруг. огороженное в свою очередь крепким терновым тыном.

Мир так давно не нарушался в том замке, что опускная решетка ворот оставалась постоянно поднятою; рвы заросли травой. ласточки вили гнезда в трещинах бойниц — и часовой. весь день прогуливавшийся по валу, уходил в сторожку. лишь только солнце начинало слишком печь. и засыпал в ней сном праведника.

Внутри замка повсюду блестели железные оковки; шитые обои оберегали комнаты от холода; шкафы были битком набиты бельем, в погребах громоздились бочки с ценными винами, а дубовые сундуки ломились под тяжестью мешков с серебром.

В оружейной зале между знаменами и выделанными мордами хищных зверей висели оружия всех времен и на-

родов, начиная с праща амалекитян и дротика гарамантийцев и кончая короткой, широкой шпагой сарацин и кольчугою норманнов. На главном вертеле в очаге кухни мог удобно жариться целый бык — а капелла пышностью не уступала королевской молельне. В одном углу двора, в стороне, находилась даже римская баня; но добрый господин не пользовался ею, не желая придерживаться языческих обычаев.

Постоянно закутанный в лисью шубу, он прогуливался по замку, творил суд и расправу над своими вассалами, решал споры соседей. Зимою он засматривался на хлопья падавшего снега или заставлял читать себе сказки. Как только наступали первые ясные дни, он отправлялся на своем лошаке по узким тропинкам вдоль зеленевших нив, разговаривал с крестьянами, давал им наставления и советы. После многих приключений он взял себе в супруги девицу из высокого рода.

Она была очень бела телом, немного горда и не смешлива. Верх ее высокого головного убора касался притолки, когда она проходила через дверь, шлейф ее суконного платья влачился на три шага позади ее. В ее домашнем быту соблюдался строгий, монастырский порядок. Каждое утро она распределяла работы между своими служанками, присматривала за вареньями и благовонными мазями, пряла пряжу или вышивала напрестольные пелены.

Она так усердно молилась богу, что он внял наконец ее мольбам и даровал ей сына.

На той великой радости добрый господин задал пир, который длился четыре дня и три ночи при свете факелов, при звуках арф. Все полы были усыпаны зелеными листьями. Самые дорогие пряности, куры величиною с барана подавались гостям. Ради забавы из большого пирога выскочил карлик. Ковшей наконец не хватило — так что пришлось пить из турьих рогов и шлемов.

Родильница не присутствовала при этих празднествах. Она лежала в постели — спокойно и мирно. Однажды она проснулась и увидела в лунном луче, падавшем из окна, как бы движущуюся тень. То был старец в грубой волосяной рясе, с четками на чреслах, с котомкой за плечами — в полном одеянии отшельника. Он подошел к ее постели — и сказал, не разжимая губ:

— Радуйся, о мать! Твой сын будет святой!

Она хотела вскрикнуть — но, скользнув по верхней черте лунного луча, старец тихо поднялся на воздух и

исчез. Застольные песни раздавались громче прежнего. Она услыхала голоса ангелов — и голова ее упала на подушку, над которой, на задней стене кровати, виднелась кость святого мученика в богатой оправе из карбункулов.

На другой день все спрошенные слуги объявили, что не видали никакого отшельника.

Наяву ли то случилось или во сне — но то было, конечно, откровение свыше. Она никому не сказала об этом, боясь, как бы ее не упрекнули в гордости.

К утру гости разошлись — и отец Юлиана, проводив последнего из них, стоял у башенных ворот, как вдруг пред ним предстал в тумане нищий. То был цыган с заплетенной бородой, с серебряными запястьями на обеих руках; его зрачки сверкали. С вдохновенным видом произнес он несвязные слова:

— А! А! Твой сын! Много крови, много славы, постоянно счастлив, родня императору!

И, нагнувшись, чтобы поднять подаяние, он исчез в траве, сгинул!

Добрый господин посмотрел направо, налево, позвал людей громким голосом... Никого! Ветер свистал; утренний туман рассеивался.

Он приписал это видение слабости головы своей, утомленной недостатком сна. «Если я расскажу об этом,— думал он,— надо мной будут смеяться». Однако величие и блеск судеб, ожидающих его сына, ослепляли его, хотя обещание и не было вполне ясно — и он даже сомневался, точно ли он всё это слышал?

Супруги скрывали друг от друга свою тайну; но оба они любили дитя одинаковой любовью — и, считая его отмеченным самим богом, всячески радели и заботились о нем.

Постелька его была набита самым тонким пухом; над ней постоянно горела лампада в виде голубя; три мамки укачивали его — и, крепко запелёнанный, розовенький, голубоглазый, в парчовой мантии и чепчике, разубранном жемчужинами, он походил на младенца Иисуса.

Зубы прорезались у него так легко, что он ни разу от них не плакал.

Когда ему исполнилось семь лет, мать научила его петь — а отец, дабы внушить ему мужество, посадил его на широкобедренного коня. Дитя улыбалось от радости

и скоро научилось всему, чтó принадлежит ратной верховой езде.

Старый, очень ученый монах, нарочно выписанный из Калабрии, обучил его священному писанию, арабской цифири, латинским буквам и рисованию миниатюр на пергаменте. Они занимались вдвоем, на самом верху башни, вдалеке от суеты и шума. После обеда они сходили в сад — и, степенно гуляя, изучали цветы.

Иногда в глубине долины появлялась вереница вьючных животных, погоняемых пешеходом в восточной одежде. Господин, распознав в нем купца, посылал за ним слугу. Чужестранец доверчиво сворачивал с пути и, введенный в приемную, выкладывал из своих сундуков бархаты и шелкá, серебряные и золотые вещи, благовония, диковинные предметы неизвестного употребления,— и уходил под конец с полным карманом, не потерпев насилия.

В другое время толпа богомольцев-паломников просила пристанища. Их мокрые одежды дымились у очага; а насытившись, они рассказывали о своих путешествиях, о блуждании кораблей по бурным морям, о долгих странствиях пешком по раскаленным пескам пустыни, о свирепости язычников, о сирийских пещерах, о священных яслях и гробнице Христовой. Потом они дарили раковины с своих плащей молодому наследнику — и удалялись с миром.

Часто также господин угощал своих старых боевых товарищей. За чарой вина они вспоминали о войнах, в которых они участвовали, об осадах крепостей, о тяжких ударах военных машин и таранов, о необычайных, громадных ранах. Юлиан вскрикивал, слушая их рассказы. Тогда отец его не сомневался в том, что впоследствии он будет завоевателем. Но перед скончаньем дня, выходя от вечерни, шаг за шагом мимо преклоненных нищих, Юлиан с таким скромным, благородным видом подавал милостыню из своего кошеля, что мать его, с своей стороны, также не сомневалась в том, что увидит его со временем архиепископом.

В капелле он всегда помещался подле родителей — и как бы ни была длинна служба, он всё время стоял на коленях у аналоя, без шапки, со сложенными на молитву руками.

Однажды, подняв во время обедни голову, он заметил маленькую белую мышь, вышедшую из скважины стены. Она побегала немножко по первой ступени алтаря,— и,

протрусив раза два, три — направо, налево, снова скрылась в скважине.

В следующее воскресенье мысль, что он опять ее увидит,— смущала его. Она, однако, вернулась... и каждое воскресенье он ждал ее; она его раздражала, он начал ее ненавидеть — и решился, наконец, избавиться от нее.

Заперев двери и накрошив на ступенях алтаря объедки хлеба, он стал около скважины с тросточкой в руке. Спустя долгое время показалась, наконец, мордочка, а затем и вся мышка. Он легонько ударил ее тросточкой — и оцепенел от изумления при виде маленького, недвижного тельца. Капля крови запятнала плиту. Он поспешно вытер ее рукавом, выбросил мышь — и никому не сказал об этом ни слова.

Разнородные пичужки клевали зерна в саду. Юлиану пришло в голову наполнить горохом пустой ствол тростника — и, заслышав щебетание на дереве, он тихонько подкрадывался, направлял свою трубку — надувал щеки... и пичужки сыпались ему на плечи в таком изобилии, что он невольно смеялся, довольный своей выдумкой.

Однажды утром, возвращаясь с валу, он увидел на гребне стены голубя, толстого красноногого голубя; он красовался и двигал зобом на солнце. Юлиан остановился, чтобы посмотреть на него,— и так как стена в этом месте несколько обрушилась и расселась, то ему случайно попал под руку осколок камня. Он поднял руку — и камень полетел прямо в птицу, которая так и покатилась в ров, как чурбанчик.

Проворнее молодого пса кинулся он за нею, царапаясь о терновник,— и начал всюду шарить.

Голубь с перешибленными крыльями трепетал еще, повиснув на ветвях ясеня.

Упорство жизни раздражило дитя. Он принялся душить голубя — и судороги издыхавшей птицы заставляли прыгать его сердце. Он испытывал дикое, мятежное наслаждение. При последнем содрогании голубя он вдруг почувствовал, что силы его покидают... Он едва не упал в обморок.

Вечером за ужином отец объявил ему, что в его годы следует учиться звериной ловле,— и принес старую, кругом исписанную тетрадь, заключавшую в вопросах и ответах перечень всех охотничьих забав.

Составитель этой тетради обучал в ней ученика искусству натаскивать собак и вынашивать ястребов, показывал, как следует ставить западни, как узнавать оленя по его помету, лисицу и волка — по их следам; какой лучший способ распознавать тропы зверей, как их выгонять из лесу, где находятся их пристанища; какие бывают благоприятные ветры и погоды: а затем следовало исчисление всех охотничьих криков и поговорок, холканий и порсканий.

Когда Юлиан выучил всё это наизусть, тогда отец отобрал для него знатную стаю собак.

В эту стаю поступило, во-первых: двадцать пять варварийских борзых кобелей; они были резвее серн, но по горячности своей иногда неудержимы; затем семнадцать пар бретонских красно-пегих гончих, чутких, добычливых, горластых, с стальною грудью; потом — сорок брусбартов, мохнатых, не хуже медведей; их спускали на кабанов, когда те внезапно садились на зад и грозили клыками. Татарские псы, величиной почти с осла, огненного цвета, широкие, жилистые, с прямыми, как стрелы, ногами,— предназначались для охоты за зубрами. Черная шерсть испанок лоснилась, как атлас; заливчатое тявкание «тальботов» не уступало серебристому лаю английских «биглей». На отдельном дворе рычали, потрясая цепями и ворочая кровавыми зрачками, восемь аланских догов; то были страшные животные, которые впивались в брюхо всадникам и не боялись самого льва.

Всех этих псов кормили пшеничным хлебом; лакали они из каменных корыт — и клички у них были звонкие.

Но соколиный двор, пожалуй, превосходил еще псарню. Добрый господин за дорогую цену добыл себе кавказских беркутов, вавилонских сероголовых подорликов, немецких ястребов и дербников да белых кречетов, пойманных на утесах, по берегам холодных морей, в странах отдаленных.

Все эти ловчие птицы жили под навесом, крытом соломою,— а под насестью, к которой они были привязаны по ранжиру роста, перед каждой из них находился клочок дерна. От времени до времени, чтобы дать птицам размяться и встряхнуться, их спускали на этот дерн.

Всевозможные западни были заготовлены в изобилии: и тенета, и крюки, и железные ловушки, и подвижные зеркальца для ловли жаворонков.

Легавых собак часто водили в поле — и они тотчас же находили дичь и делали стойку. Тогда охотники осторожно приближались к ним, растягивали над их неподвижными телами огромную сеть — и условленным знаком приказывали им лаять. Перепелы вылетали из травы — и приглашенные, вместе с мужьями, соседние дамы, дети, служанки, все бросались на птиц, запутанных в петлях сети, и без труда овладевали ими.

В другой раз били в барабан, чтобы выгнать из острова зайцев; лисицы падали в ямы — или внезапно соскочившая пружина западни хватала волка за ногу.

Но Юлиан пренебрегал этими безопасными хитростями. Он любил охотиться вдали от всех, один на своем коне и с любимой своей птицей. Обыкновенно то был скифский кречет, белый как снег. На его кожаном клобучке развевался султанчик; золотые бубенчики бряцали на его синеватых лапах. Конь скакал; луга расстилались и проносились мимо — а кречет крепко держался на руке своего господина. Юлиан, развязав путы, вдруг спускал его. Прямо, как стрела, взвивалась вверх смелая птица... Только две неровные точки виднелись в вышине... Они двигались, соединялись, затем исчезали в лазури. Кречет скоро спускался, разрывая добычу,— и, трепеща крыльями, садился снова на рукавицу к хозяину.

Юлиан ловил таким образом цаплей, луней, галок и коршунов.

Он любил трубить в охотничий рог, идя следом за своими псами, которые мчались по скатам холмов, перепрыгивали ручьи, вбегали в лес; и когда олень начинал стонать, терзаемый их зубами, он живо сваливал его одним быстрым ударом — и любовался яростью псов, пожиравших рассеченные куски его туши на дымившейся шкуре.

В туманные дни он забирался в болото — и подстерегал диких гусей, уток или выдру.

С самой зари три конюха дожидались его у крыльца; а старый монах, высунувшись из слухового окна, напрасно делал ему знаки и звал его к себе. Юлиан не оборачивался. Он уходил и в жар, и в дождь, и в бурю; пил пригоршней ключевую воду, ел на ходу дикие яблоки и ягоды, отдыхал под дубом, если уставал; и возвращался уже ночью, поздно, весь в грязи и в крови, с колючками в волосах, весь пропитанный запахом дичи. Когда мать целовала его, он холодно принимал ее ласки — и, казалось, размышлял о чем-то важном и далеком.

Он убивал медведей ножом, быков топором, кабанов рогатиной — и однажды, имея при себе одну только палку, долго отборонялся от стаи волков, глодавших трупы под виселицей.

В одно зимнее утро, еще до восхода солнца, выехал он в полном вооружении, с самострелом на плече и с пуком стрел в колчане, приделанном к седельной луке.

Земля гудела под ровной поступью его датского жеребца; за хвостом коня бежали две лохматые собаки. Ветер дул неистово; плащ Юлиана покрылся зернами инея. Небосклон стал проясняться с одной стороны — и сквозь беловатые утренние сумерки он увидел кроликов, прыгавших у своих норок. Обе собаки тотчас кинулись на кроликов и, быстро их хватая, ломали пополам их спинные хребты.

Скоро затем въехал он в лес. На конце одинокой ветки, весь окоченелый от холода, спал глухарь-тетерев, подвернув голову под крыло. Юлиан отсек ему мечом наотмашь обе лапы — и, не подобрав его, продолжал свой путь.

Три часа спустя очутился он на вершине горы столь высокой, что небо над нею казалось почти черным. Перед ним, подобный длинной стене, свешивался утес над бездной; на крайнем его конце два диких козла смотрели вниз, понурив головы. Не имея стрел, ибо конь его остался позади, он вздумал спуститься к ним. Задерживая дыхание, чуть не ползком, босой, он подкрался сзади к первому козлу — и вонзил ему кинжал между ребрами. Второй, обезумев от ужаса, прыгнул в бездну. Юлиан кинулся было, чтобы ударить и его, но, поскользнувшись, упал на труп первого с распростертыми руками и перевесившимся через край бездны лицом.

Возвратившись в поле, он пошел вдоль ив, разросшихся по берегу большой реки. Низко летевшие журавли проносились от времени до времени над его головою — и он убивал их бичом, ни разу не давая промаха.

Между тем в воздухе потеплело, иней растаял, пары заколыхались широкими пеленами — и показалось солнце. Под его лучами засверкала вдали свинцовая гладь как бы застывшего озера. По самой середине этого озера виднелось незнакомое Юлиану животное — черномордый бобр. Несмотря на расстояние, стрела Юлиана вонзилась в него — и он досадовал, что не мог унести с собою шкуру убитого зверя.

Затем он вошел в аллею высоких деревьев, образовавших верхушками своими как бы подобие триумфальной арки. Она вела в большой лес. Из чащи выскочила дикая коза, на перекрестке показалась лань, из норы вышел барсук, павлин распустил свой хвост на зеленой мураве — и когда он их всех умертвил, появились другие дикие козы, другие лани, другие барсуки, другие павлины; а там дрозды, сойки, хорьки, лисицы, ежи, рыси — бесчисленное множество животных, всё больше, больше с каждым шагом. Они кружились около него, трепеща всем телом,— и взоры их, на него устремленные, были кротки и полны смиренной мольбы. Но Юлиан не уставал убивать. Он то натягивал самострел, то обнажал меч, то колол ножом, ни о чем не думая, ничего не помня и не понимая... Он охотился в какой-то неведомой стране, неизвестно с каких пор — бессознательно, почти бесчувственно. Всё совершалось с тою легкостью, какую испытываешь во сне.

Необычайное зрелище остановило его. Стадо оленей наполняло долину, имевшую вид цирка; тесно скученные, один возле другого, они отогревались дыханием своим, которое дымилось в тумане.

Надежда на истребление — громадное, небывалое — до того обрадовала Юлиана, что на несколько мгновений у него дыхание сперлось. Он слез с коня, засучил рукава и принялся стрелять.

При свисте первой стрелы все олени разом повернули головы, в их сплошной массе образовались как бы впадины; раздались жалобные голоса — и всё стадо заколыхалось.

Края цирка были слишком высоки и круты; олени не могли их перескочить: они метались по дну долины, ища спасения. Юлиан целился, стрелял, целился снова... стрелы сыпались, как дождь. Олени, обезумев, дрались, лягались, карабкались друг на друга — и тела их со спутанными рогами воздвигались широким холмом, который то и дело обрушивался, передвигался. Наконец, сваленные на песок, с пеной у ноздрей, с вылезшими кишками, они испустили дыхание — и волнообразное колыхание их боков и черёв, постепенно ослабевая, затихло. Затем всё стало неподвижно.

Наступала ночь — и за лесом, сквозь разрезы ветвей, виднелось небо, красное, как кровавая пелена.

Юлиан прислонился к дереву. Выпуча глаза, смотрел он на необъятную бойню, не постигая, как он это мог один совершить.

Но вдруг на другой стороне долины показались олень, лань и с ними их детеныш — теленок.

Олень был весь черный, огромного росту, с шестнадцатью отростками на рогах и белой бородою; лань, бледно-желтая, цвету осеннего листа, щипала траву, а пятнистый детеныш, не останавливая ее, на ходу сосал ее вымя.

Снова натянулась и завыла тетива самострела... Теленок тотчас был убит. Тогда мать, подняв глаза к небу, затосковала громким, раздирающим, человеческим голосом. Юлиан, в бешенстве, выстрелом прямо в грудь повалил ее на землю.

Старый олень всё это видел и прыгнул к нему навстречу. Юлиан пустил в него свою последнюю стрелу. Она вонзилась ему в лоб и осталась на месте. Старый олень словно не почувствовал ее; перешагнув через трупы, он всё приближался и, казалось, готовился ринуться на Юлиана и вскинуть его на рога. Юлиан в невыразимом страхе попятился назад. Но дивное животное остановилось — и, сверкая глазами, торжественно, как патриарх, как судия, между тем как вдали звякал колокол,— трижды провозгласило:

— Проклят! проклят! проклят! Придет день — и ты, свирепый человек, умертвишь отца и мать!

Олень опустился на колени, закрыл тихо вежды — и испустил дух.

Юлиан остолбенел. Он почувствовал внезапную крайнюю усталость; необычайная печаль, отвращение, тоска овладели им. Закрыв лицо руками, он долго плакал.

Коня он потерял, собаки покинули его, пустыня, окружавшая его, казалось, угрожала ему несказанными бедами.

Объятый страхом, он побежал через поле по первой попавшейся ему тропинке — и почти немедленно очутился у ворот своего замка.

Всю ночь он не спал. При колеблющемся мерцании висячей лампады он постоянно видел старого черного оленя. Предвещание умиравшего зверя преследовало Юлиана; он всячески пытался отогнать эту мысль: «Нет! нет! нет! Я не могу их убить!» А потом он думал: «Если бы я захотел, однако!» И он боялся, что дьявол введет его в искушение и внушит ему нечестивое желанье.

Целых три месяца мать его в глубокой скорби молилась у изголовья его постели, а отец беспрерывно бродил

по коридорам. Он призвал самых знаменитых лекарей; те прописали Юлиану множество различных снадобий. Недуг Юлиана, говорили они, причинился ему либо от зловредного ветра, либо от любовного желания. Но молодой человек на все вопросы отрицательно качал головою.

Силы понемногу вернулись к нему — и старый монах и добрый господин стали водить его для прогулки по двору, поддерживая его под руки.

Оправившись совершенно, он продолжал упорно отказываться от охоты.

Отец, желая развлечь его, подарил ему большую сарацинскую шпагу. Она висела наверху столба среди других доспехов — и, чтобы достать ее, понадобилась лестница.

Юлиан взлез на нее, но тяжелая шпага выскользнула у него из пальцев — и, падая, так близко коснулась доброго господина, что разрезала его епанчу. Юлиан вообразил, что убил отца,— и лишился чувств.

С тех пор он боялся оружия. Один вид железа заставлял его бледнеть. Подобная слабость приводила в отчаяние его семью.

Наконец старый монах именем бога, чести и предков приказал ему возвратиться к своим дворянским обязанностям.

Конюхи его отца ежедневно забавляли его метанием дротиков. Юлиан скоро достиг совершенства в этом искусстве. Он улучал дротиком в горлышко бутылок, отбивал зубцы флюгеров, а на сто шагов попадал в гвоздья дверей.

Однажды, летним вечером, в самый час сумерек, когда все предметы становятся неясными, Юлиан стоял под виноградной лозой в саду и увидал далеко-далеко два белых крыла, которые вздымались и порхали над шпалерником. Он не сомневался в том, что это были крылья аиста,— и метнул свой дротик.

Раздался пронзительный крик. То была его мать. Длинные концы ее шлыка были пригвождены к стене.

Юлиан убежал из замка — и более уже не возвращался.

II

Юлиан нанялся в проходившую шайку искателей приключений, с тем условием, чтобы они увели его далеко — и чтобы жизнь его подвергалась опасностям.

Он узнал и голод, и жажду, и недуг горячки, и все безобразия нечистоты; он приучился к грохоту битв, к

виду умиравших людей. Кожа его заскорузла от ветра, члены отвердели от соприкосновения ратных доспехов, он весь закалился; а так как он отличался храбростью, силой, воздержаньем, смышленостью, то ему нетрудно было достигнуть начальства над отдельным отрядом.

Вступая в битву, он широким взмахом меча увлекал за собою солдат своих. Ночью взбирался он по узловатой веревке на стены крепостей; вихорь раскачивал его, висящего на воздухе; искры греческого огня сыпались ему на латы, между тем как из бойниц струились ручьи горячей смолы и расплавленного олова. Нередко брошенный камень раздроблял его щит; мосты, обремененные людьми, проваливались под ним. Однажды, действуя своей тяжелой палицей, разделался он с дюжиной всадников. На поединках побеждал он всех своих противников; много раз считали его мертвым.

Но божья милость всегда сохраняла его целым и невредимым, ибо он оказывал покровительство духовным особам, сиротам, вдовам, а особенно старикам. Когда ему случалось видеть впереди себя старика, он всякий раз окликал его, желая взглянуть ему в лицо — и как бы опасаясь убить его по ошибке.

Беглые рабы, взбунтовавшиеся крестьяне, неимущие, незаконнорожденные, всякого рода смельчаки и голыши стекались под его знамена — и он составил себе значительное войско. Оно росло, он стал известен; все владетели старались вступить с ним в союз.

Он служил поочередно у английского короля, у французского дофина, у иерусалимских меченосцев, у парфянского «Сурéны-царя», у абиссинского «нэгуса», у калькуттского императора. Он воевал с скандинавами, покрытыми рыбьей чешуей, с неграми, вооруженными круглыми щитами из бегемотовой кожи и ехавшими верхом на красных ослах; с златокожими индусами, размахивавшими над своими венцеобразными тиарами — длинными, как зеркала сверкавшими, саблями. Он побеждал троглодитов и людоедов. Он прошел войною столь знойные края, что от действия солнечного жара волосы людей сами собою вспыхивали, как факелы,— а другие края столь холодные, что руки отделялись от плеч и падали на землю; он прошел еще страну, где царили такие туманы, что воины подвигались вперед, окруженные со всех сторон призраками.

Республики в затруднительных случаях обращались к нему за советом. При переговорах с послами он добивался неожиданно выгодных условий. Если какой-либо монарх вел себя слишком дурно, он внезапно являлся к нему и увещевал его. Он освобождал народы и избавлял королев, заключенных в башни. Не кто другой — а именно Юлиан убил медиоланскую змею-каракатицу и обербирбахского дракона.

Аквитанский император, восторжествовав над испанскими мусульманами, взял себе в наложницы сестру кордуанского халифа и прижил с нею дочь, которую он воспитал в христианском законе; но халиф, показывая вид, что желает обратиться в истинную веру, явился к нему якобы в гости в сопровождении многочисленной свиты; умертвил весь его гарнизон, а его самого посадил в подземную тюрьму и вообще обращался с ним весьма жестоко, дабы вынудить у него признание, где он скрыл свои сокровища.

Юлиан поспешил на помощь к императору, уничтожил войско неверных, убил халифа, отрубил ему голову и перекинул ее, как мяч, за крепостной вал. Затем он вывел из тюрьмы императора — и посадил его на престол в присутствии всего двора.

Император, в награду за такую услугу, поднес ему в корзине много денег: Юлиан не захотел взять их. Тогда, полагая, что он хочет больше, император предложил ему три четверти всех своих богатств — и снова получил отказ. Тогда он попросил разделить с ним царство: Юлиан поблагодарил — и не согласился. Император даже заплакал с досады, не зная, каким образом доказать ему благодарность; но вдруг он ударил себя пó лбу и шепнул словечко на ухо одному придворному.

Полы занавеса на дверях раздвинулись — и появилась молодая девица.

Ее большие черные очи светились тихим и мягким, лампадным светом; прелестная улыбка слегка раскрывала ее уста. Ее длинные волосы цеплялись за алмазы, украшавшие ее полураскрытое платье, а под прозрачной туникой понятным, но тайным намеком сказывалась сладостная юность ее девического тела. Вся она была неженькая, пухленькая, тоненькая.

Ослепленный ее появленьем, Юлиан почувствовал очарование любви; оно было тем сильнее, что доселе он вел жизнь весьма целомудренную.

Он женился на дочери императора — и взял за нею замок, доставшийся ей от матери. По окончании свадебного пира новобрачные распростились с императором, обменявшись с ним нескончаемыми заявлениями доброжелательства и дружбы.

Беломраморный дворец, в котором Юлиан поселился с своей супругой, построенный на мавританский лад возвышался на мысу вблизи морского залива, среди апельсинной рощи. Террасы, усаженные цветами, спускались до самого прибрежья, где розовые раковины хрустели под ногами прохожих. Позади замка расстилался веером лес, небо над ним было постоянно лазурного цвета; деревья поочередно склонялись то под наплывом ветра, бежавшего с гор, окаймлявших небосклон, то под веяньем свежего морского дыханья. Полутемные комнаты дворца освещались вделанными в стены украшениями из золота и драгоценных камней. Высокие колонки, тонкие, как тростник, подпирали своды куполов, разубранных выпуклой резьбой, представлявшей подобие пещерных сталактитов; фонтаны били в залах, мозаика выстилала дворы; всюду виднелись прорезные перегородки, тысячи других архитектурных изощрений и затей — и всюду царствовала такая тишина, что слышался шелест женской перевязи или дальний отзвук вздоха.

Юлиан более не воевал. Он отдыхал, окруженный мирным народом,— и каждый вечер проходила мимо него толпа, преклоняя колено и лобызая его руку, по восточному обычаю.

Одетый в пурпур, сидел он, облокотившись, у окна — и вспоминал свои прежние охоты. Ему хотелось бы преследовать по пустыням серн и страусов, караулить леопарда, скрываясь в бамбуковой чаще, посещать леса, наполненные носорогами, взбираться на вершину недоступнейших гор, чтобы оттуда вернее метить в пролетавших орлов, и на льдинах холодных морей бороться с белыми медведями.

Иногда во сне видел он себя праотцем Адамом — среди зверей,— и, простерши руку, он их всех умерщвлял; или же они проходили мимо, один за другими, попарно, по росту, начиная со слонов и львов и кончая горностаями и утками,— как в тот день, когда их принял Ноев ковчег. Окутанный мраком глубокой пещеры, Юлиан бросал в них свои неизменные копья; но тогда

являлись другие звери — и так без конца... И он просыпался, свирепо вращая глазами.

Союзные с ним принцы приглашали его на охоту, но он всегда отказывался, в той надежде, что подобной эпитимией он отвратит от себя несчастье свое; ему казалось, что от умерщвления животных зависела судьба его родителей. Он скорбел, что не мог увидаться с ними,— а та, другая его присуха — его охотничья страсть — становилась нестерпимой.

Жена, чтобы развлечь его, призывала фигляров и танцовщиц. В открытых носилках прогуливалась она с ним по полям — или, лежа в челне и прислонясь к его краю, они смотрели вдвоем на рыб, игравших в светлой, как небо, воде. Иногда бросала она ему цветы в лицо — а не то, прикорнув к его ногам, наигрывала песни на трехструнной лютне; затем, положив скрещенные руки ему на плечо, говорила робким голосом: «Что с вами, мой дорогой господин?»

Он не отвечал или разражался рыданьями; наконец, однажды он признался в ужасной мысли, которая его преследовала.

Она стала оспаривать его — и ее доводы были рассудительны и толковы. Его отец и мать, вероятно, умерли. Если он когда-нибудь их увидит — то какими судьбами, с какой стати совершит он такой гнусный поступок? Стало быть, его страх не имел основания — и он должен снова начать охотиться.

Юлиан с улыбкой слушал ее — и все-таки не решался удовлетворить свою страсть.

В один августовский вечер они оба находились в спальне. Она только что легла, а он стал было на колени, чтобы молиться,— как вдруг услышал вдали тявкание лисицы, затем легкие шаги под окном — и ему померещились в тени как бы очертания зверей. Соблазн был слишком велик. Он отцепил колчан со стены. Она изумилась.

— Я повинуюсь твоим советам,— сказал он.— К восходу солнца я буду дома.

Однако она страшилась какого-нибудь пагубного приключения. Он успокоил ее — и ушел, дивясь переменчивости ее настроения.

Скоро после того вошел в спальню паж и доложил, что двое неизвестных, за отсутствием господина, желают тотчас же видеть госпожу.

И затем в комнату вошли старик и старуха, сгорбленные, запыленные, в холщовой одежде. Каждый из них опирался о палку.

Приободрившись, они объявили, что принесли Юлиану вести об его родителях.

Госпожа выпрямилась на постели, готовясь их выслушать.

Но, обменявшись взглядами между собою, они спросили, помнит ли он родителей и говорит ли о них иногда.

— О да! — сказала она.

— Ну так ведь это мы! — И они оба сели, так как они запыхались и изнемогали от усталости.

Ничто не доказывало молодой женщине, что супруг ее был точно их сын. Тогда, чтобы убедить ее, они описали особые знаки, которые он имел на теле.

Она соскочила с постели, позвала пажа — и им подали кушать. Хотя они очень были голодны, однако почти ничего не могли есть, а она, стоя в стороне, замечала, как дрожали их костлявые руки, когда они брались за кубки.

Они закидали ее тысячами вопросов об Юлиане; она на всё отвечала, но скрыла, однако, ту зловещую мысль Юлиана, которая их касалась.

Они стали рассказывать, как, видя, что сын их не возвращается, они покинули свой замок и пустились в путь-дорогу, чтобы отыскать его; как бродили вот уже несколько лет, руководствуясь неясными указаниями, не теряя надежды. Им столько пришлось выплатить денег за переправы через реки, да в гостиницах, да на королевские пошлины, а также па удовлетворение воров и грабителей, что кошелек их опустел и теперь они принуждены просить милостыню. Но они уверяли, что это не беда, так как ведь они теперь скоро обнимут сына. Они радовались его счастью, что вот, дескать, какую он добыл себе миленькую жену; не могли на нее довольно налюбоваться — и всё ее целовали.

Пышность покоя очень их изумляла, и старик, осмотрев стены, спросил: отчего тут находится герб аквитанского императора?

Она отвечала:

— Это отец мой.

Тогда он вздрогнул, вспомнив предсказание цыгана, а старухе пришло на ум то, что сказал ей отшельник. «Конечно,— думала она,— слава сына ее только заря — предвестница небесной лучезарной славы»,— и оба они

пребывали в каком-то блаженном оцепенении, под лучами канделябра, освещавшего стол.

Они, должно быть, очень были красивы собою в молодости. Мать сохранила еще все свои волосы; их тонкие пряди, подобные снегу, спускались вдоль ее щек; а отец по высокому росту и длинной бороде походил на церковную статую.

Жена Юлиана убедила их не дожидаться его. Она сама уложила их в свою постель, закрыла окно — и они заснули. День уже наступал; за оконной решеткой начинали щебетать ранние птички.

А Юлиан, минуя парк, шагал сильной поступью по лесу, наслаждаясь мягкостью травы и благорастворением воздуха.

Длинные тени деревьев тянулись по моховым кочкам. Лунный свет пестрил лесные поляны белыми пятнами. Юлиан нерешительно подвигался вперед. То ему чудился отблеск стоячей воды; то он не знал: что́ это перед ним, трава или поверхность неподвижного болота? Всюду царила глубокая тишина — и не видел он ни одного из зверей, недавно бродивших вокруг его замка.

Лес стал гуще; темнота усилилась. Теплый порывистый ветер приносил с собою запах, от которого кружится и слабеет голова. Ноги Юлиана погружались в груды сухих листьев. Он прислонился к дубу, чтобы перевести дух.

Вдруг из-за спины его выскочила темная масса... то был кабан. Юлиан не успел схватить свой лук — и это огорчило его, точно несчастье с ним случилось.

Затем, выйдя из леса, заметил он волка, пробиравшегося вдоль плетня. Он пустил в него стрелу. Волк остановился, повернул голову, глянул на него — и продолжал свой путь. Он трусил рысцой всё в одном и том же расстоянии от Юлиана. По временам он останавливался, но, лишь только Юлиан в него прицеливался, он снова пускался наутек. Юлиан прошел таким образом длинную-длинную равнину, затем песчаные холмы и очутился на плоскогории; оно господствовало над значительным пространством окрестного края. Могильные плиты были рассеяны там между разрушенными склепами,— он спотыкался о мертвые кости; кое-где жалобно торчали покосившиеся, источенные червями деревянные кресты.

Но вот какие-то образы зашевелились в неверной тени могил — и из нее вышли гиены, взъерошенные, испуган-

ные. Стуча когтями по плитам, подошли они к Юлиану, протяжно зевая и обнажая свои десны.

Он выхватил меч. Все они разом бросились прочь от него по всем направлениям — и, продолжая скакать своим торопливым и хромым галопом, исчезли вдали в клубах пыли.

Час спустя встретил он в овраге бешеного быка; он склонил рога и скреб ногою землю; Юлиан направил свое копье ему в подгрудок: оно разлетелось вдребезги — точно это животное было из меди. Он закрыл глаза, ожидая смерти... Когда он их открыл — бык уже исчез.

Тогда он упал духом: он ощутил унижение стыда. Высшая власть разрушала его силу. Он снова вошел в лес, чтобы только поскорей вернуться домой.

Заглохлый лес весь зарос лианами. Он начал было рубить их мечом, но вдруг между ног его скользнула куница, барс перепрыгнул ему через плечо, и змея спиралью поползла вверх по стволу ясеня. В ветвях его сидела чудовищная ворона и смотрела на Юлиана; а там и тут на деревьях появилось множество широких лучистых искр, точно свод небесный высыпал на лес все свои звезды. То были зеницы зверей, диких кошек, белок, филинов, попугаев, обезьян.

Юлиан пустил в них свои стрелы. Оперенные стрелы садились на листья, словно белые бабочки. Он начал швырять в них камнями. Камни, никого не задевая, падали обратно на землю. Тогда он разразился проклятиями, готов был самого себя изувечить, задыхался от бешенства, произносил неистовые слова!

И все животные, за которыми он некогда охотился, появились теперь и образовали вокруг него тесный круг. Одни сидели на задних лапах, другие вздымались во весь рост. Он стоял среди их, помертвев от ужаса; он не в силах был пошевельнуться. Напрягши наконец последнюю волю свою, он ступил шаг вперед. Сидевшие на деревьях животные разверзли крылья, находившиеся на земле расправили свои члены — и все последовали за ним.

Гиены выступали впереди его, волк и кабан позади; справа, помatывая огромной головою, шел бык, а слева змея волнообразно ползла по траве — между тем как барс, выгибая спину, подвигался вперед огромными мягкими, неслышными шагами. Юлиан шел так тихо, как только возможно, чтобы не раздражить зверей,— и видел,

как из чащи появлялись дикобразы, ехидны, чекалки, медведи.

Юлиан побежал — и они побежали.

Змея шипела, вонючие звери испускали слюну, кабан тер ему пятки своими клыками, волк ерзал по его ладони мохнатой мордой; обезьяны, кривляясь, щипали его; куница свертывалась в клубок у его ног; медведь наотмашь сбил ему лапой шляпу с головы; а барс презрительно уронил стрелу, которую держал в пасти. Чувствовалась злая насмешка в ухватках зверей — и, искоса поглядывая на него своими прищуренными зрачками, они, казалось, обдумывали план мести. Оглушенный жужжанием насекомых, ошеломленный ударами птичьих хвостов, задыхаясь ото всех этих испарений и дыханий, Юлиан шел с закрытыми глазами, простирая руки вперед, как слепой, не имея даже силы молить о пощаде. Вдруг крик петуха пронесся в воздухе; другие петухи откликнулись. Наступало утро — и он узнал над верхушками апельсинных деревьев конек кровли на своем дворце.

Затем на окраине поля увидел он в трех шагах от себя красных куропаток, перепархивавших по жнивью. Он расстегнул застежку воротника — и бросил на них свой плащ. Когда он его приподнял, то увидел только одну куропатку, давно уже издохшую, сгнившую.

Этот обман раздражил его более, чем все остальные. Жажда бойни, резни снова овладела им — и за неимением зверей он готов был убивать людей. Он быстро пробежал все три террасы своего дворца, кулаком вышиб дверь — но на лестнице воспоминание о милой жене смягчило его сердце. Она, вероятно, спит; он обрадует ее своим появлением.

Сбросив сандалии, тихо повернул он ручку замка и вошел в спальню. Расписные стекла в свинцовой оправе затемняли бледноватый цвет зари. Юлиан запутался в платье, лежавшем на полу; немного далее он натолкнулся на стол, уставленный посудою. «Знать, она ужинала»,— подумал он, подвигаясь к кровати, скрытой в самой темной глубине комнаты. Остановившись у края кровати, он, чтобы поцеловать жену, нагнулся к подушке, на которой рядышком покоились две головы. Он почувствовал на губах своих прикосновение бороды.

Он отскочил, полагая, что сходит с ума. Однако он снова вернулся к кровати — и пальцы его ощупью коснулись длинных волос. А! это жена! Чтобы удостоверить-

ся в своей прежней ошибке, он медленно провел рукою по подушке... Что это? Борода! Борода мужчины! Мужчина лежал возле его жены!

В исступленном, безграничном гневе он накинулся с кинжалом на эту чету... С пеной во рту, топая ногами, рыча, как дикий зверь, он наносил удары... потом затих. Оба спавших, тотчас же пораженные в самое сердце, и не шелохнулись. Он внимательно прислушивался к их почти одинаковому хрипенью — и по мере того, как оно ослабевало, другой голос вдали как бы продолжал этот страшный звук. Сначала едва внятный, голос этот, жалобный, завывающий, приблизился, вздулся, залился каким-то жестоким, беспощадным стенанием — и Юлиан, окаменев от ужаса, узнал в нем предсмертный рык старого черного оленя!

Он повернулся наконец — и ему представился в дверях призрак его жены со свечой в руке.

Шум совершаемого убийства привлек ее. Одним взглядом поняла она всё — и в перепуге страха бросилась бежать, уронив на пол свечу.

Он поднял эту свечу. Отец и мать его лежали перед ним на спине с прободенной грудью — и их величественно-кроткие лица, казалось, хранили вечную тайну. Кровавые брызги, кровавые лужи виднелись по их белым телам, по простыне, одеялу, по полу — даже вдоль висевшего в алькове Христа из слоновой кости краснела кровь. Алый отблеск оконного стекла, в которое в это мгновенье ударило солнце, освещал эти красные пятна и разбрасывал еще много других по всей комнате. Юлиан подошел к обоим мертвецам, убеждая себя, силясь верить, что это невозможно, что он ошибся, что бывают же такие удивительные сходства! Он слегка наклонился, чтобы как можно ближе рассмотреть старика,— и увидел под не вполне закрытою векою потухший зрачок, прожегший его как бы огнем. Затем он обошел постель и приблизился к стороне, где лежал другой труп... Белые волосы прикрывали часть лица. Юлиан отстранил их пальцами, поднял голову матери — и долго смотрел на нее, поддерживая эту голову самым концом окоченевшей руки,— в другой он держал свечу и светил себе ею. Кровь сочилась с тюфяка и капля за каплей с слабым стуком падала на пол.

Под вечер он явился к жене — и каким-то чужим, не своим голосом велел ей, во-первых, не отвечать ему, не подходить к нему, даже не глядеть на него, а во-вторых,

под страхом проклятья, исполнить все его приказания, которые должны быть ненарушимы.

Похороны следовало устроить согласно письменному предписанию, оставленному им на аналое в комнате покойников. Юлиан завещал жене свой замок, своих вассалов, всё имущество свое — не удержав за собою даже той одежды, которая была на нем, ни даже сандалий, которые жена должна была найти наверху лестницы. Ставши невольной причиной его преступления, она исполнила божью волю — и должна молиться за упокой его души, так как с этого дня он уже больше не существует.

Покойников с пышностью похоронили в монастырской церкви, отстоявшей на три перехода от замка. Монах, со спущенным на лицо капюшоном, следовал издали за похоронной процессией; никто не дерзал заговорить с ним.

В продолжение всей обедни лежал он ничком у главного входа, с распростертыми крестообразно руками, не поднимая головы из праха.

После погребения он отправился по дороге, ведшей в горы. Он несколько раз оборачивался и наконец исчез.

III

Юлиан странствовал по миру, питаясь подаянием. На проезжих дорогах протягивал он руку всадникам, с коленопреклонением подходил к жнецам — или же неподвижно стоял у решеток дворов,— и лицо его было так печально, что никто не отказывал ему в милостыне.

Побуждаемый самоуничижением, рассказывал он свою страшную повесть. Тогда все осеняли себя крестом и отдалялись от него. Когда же он возвращался в деревню, в которой ему уже раз пришлось побывать, его встречали угрозами, запирали перед ним двери, швыряли в него каменьями. Самые милосердые ставили ковш воды на край окна — и закрывали ставни, чтобы его не видеть.

Отринутый всеми, он стал избегать людей и питался кореньями, падалицей и ракушками, которые собирал на плоских песчаных берегах.

Иногда с высоты косогора он внезапно видел перед собою массу скученных крыш города, каменные колокольни, мосты, башни, скрещенные темные улицы, откуда доносился до него непрерывный гам. Потребность принять участие в жизни других людей побуждала его спуститься в город. Но грубое выражение лиц, шум станков, безучаст-

ность речей леденили его сердце. В праздничные дни, когда колокольный благовест соборов с самой зари радостно настраивал народ, он смотрел на жителей, выходивших из своих домов, на хоровые пляски посреди площадей, на фонтаны браги, струившиеся по перекресткам, на дворцы принцев, украшенные обоями и коврами; а когда наступал вечер, заглядывал украдкой в окна нижних этажей: там, за длинными семейными столами, сидели деды, держа маленьких внуков на коленях. Рыданья душили его — и он снова уходил в поле.

С невольным порывом любовных чувств следил он взором за пасшимися по лугам жеребятами, за пташками, сидевшими в своих гнездах, за златокрылыми насекомыми, отдыхавшими на цветах. Но все животные при его приближении либо убегали прочь, либо пугливо прятались, либо торопливо улетали.

Он снова стал искать уединенных мест; но ветер приносил его слуху как бы предсмертный хрип; роса, падая на землю, напоминала ему другие, более тяжелые капли; солнце каждый вечер окрашивало кровью облака — и каждую ночь, во сне, повторялось ужасное отцеубийство.

Он сшил себе власяницу, усеянную железными остриями; на коленях всползал до часовен, стоявших на вершинах холмов; но безжалостное воспоминание омрачало пышность священных храмов, терзало его даже посреди суровых истязаний и добровольных мук покаяния.

Он не роптал на бога за то, что он присудил ему совершить тот поступок — и, однако, приходил в отчаяние при мысли, что он мог его совершить.

Его собственная особа внушала ему такое отвращение, что в надежде избавиться от нее он подвергал себя опасностям. Он спасал разбитых параличом из пламени пожаров, путников со дна глубоких пропастей. Пропасть извергала его обратно, пламя щадило его.

Время не утишило его страданий; они сделались невыносимыми: он решился умереть.

Однажды, стоя на краю колодца, он нагнулся, чтобы глазом измерить глубину воды,— и увидел перед собою исхудалого старика с белой бородою — старика такого жалкого и горького, что он не мог удержаться от слез. Тот тоже заплакал. Не узнавая себя, Юлиан смутно припоминал лицо, похожее на это. Вдруг он вскрикнул: «Да ведь это отец!» После того он уже более не помышлял о самоубийстве.

Влача за собою тяжелое бремя своего воспоминания, он прошел много стран — и добрел наконец до одной реки, переправа через которую считалась опасной вследствие быстроты течения и вязкой тины, покрывавшей оба берега на значительное расстояние. Давно уже никто не отваживался переезжать эту реку.

Старая лодка с загрязшей кормой выдвигала нос свой из камышей. Юлиан, осмотрев ее, нашел пару весел — и ему пришла в голову мысль посвятить жизнь свою на служение другим.

Он начал с того, что устроил на одном берегу нечто вроде насыпи, по которой можно было спускаться до самого фарватера. Он обломал себе ногти, выворачивая огромные камни; он перетаскивал их, опирая их о свой живот. Ноги его скользили по тине, вязли в ней — и несколько раз он был близок к погибели.

Затем он исправил лодку, пользуясь корабельными обломками, и соорудил себе шалаш из глины и древесных стволов. Лишь только узнали о возобновлении переправы, появились и путники. Они призывали Юлиана с другого берега, махая значками. Он тотчас, живо вскакивал в лодку. Очень она была грузна — а ее еще переполняли всякой поклажей и тяжестями, не считая вьючных животных, которые брыкались от страха и тем еще более ее загромождали. Юлиан ничего не просил за свой труд; некоторые давали ему остатки припасов, которые вынимали из котомок своих, или же изношенную, ненужную более одежду. Люди грубые бранились и богохульствовали; Юлиан с кротостью выговаривал им. Они отвечали ему ругательством; он довольствовался тем, что благословлял их.

Маленький столик, скамья, ворох сухих листьев вместо ложа, несколько глиняных чашек — вот в чем состояла вся его утварь. Два отверстия в стене служили заместо окон. С одной стороны тянулись бесплодные равнины, усеянные мелкими лужами белесоватого цвета; с другой — большая река катила свои мутно-зеленые волны; весной сырая земля издавала запах гнили; летом беспокойный ветер поднимал вихри пыли. Всюду проникала эта пыль, грязнила воду, скрыпела под зубами. Немного позже появились целые тучи комаров — и жужжание и жаление не прекращались ни днем, ни ночью; а там наступали жестокие морозы, придававшие мертвенную жесткость камня всем предметам и возбуждавшие в людях неистовую потребность есть мясо.

По целым месяцам Юлиан никого не видел. Часто он закрывал глаза, стараясь перенестись памятью в свою молодость. Двор большого замка возникал перед ним, с борзыми собаками на крыльце, со множеством слуг в оружейном зале, а в виноградной беседке появлялся белокурый отрок рядом с стариком, покрытым меховой одеждой, и с дамой в высоком шлыке. Но вдруг всё исчезало, и Юлиан видел только те два трупа. Тогда он бросался ничком на свое ложе, повторял, рыдая: «Ах, бедный отец! бедная мать! бедная мать!» — и засыпал, преследуемый и во сне этими могильными виденьями.

Однажды ночью он спал... И вдруг ему почудилось, что кто-то звал его. Он приник ухом... но один лишь рев сердитых волн наполнял его слух.

Однако тот же голос повторил: «Юлиан!» Он доносился с того берега, что́, по ширине реки, показалось Юлиану удивительным.

В третий раз кто-то кликнул: «Юлиан!» Громкий голос звенел, словно колокол церковный.

Засветив фонарь, Юлиан вышел из шалаша. Бешеная буря потрясала ночной воздух. Мгла была глубокая; местами белизна скакавших волн разрывала черный занавес этой мглы.

После минутного колебания Юлиан отвязал канат. Река тотчас же стихла; лодка быстро скользнула по ней и причалила к тому берегу, где стоял человек, ожидая.

Он был закутан в рваную холстину, лицо походило на гипсовую маску, а глаза горели ярче угольев. Приблизив в нему свой фонарь, Юлиан увидел, что отвратительная проказа покрывала всё его тело; однако во всей его осанке сказывалось как бы царственное величие. Лишь только этот человек вошел в лодку, она необычайно погрузилась в воду, подавленная его тяжестью; но сильный толчок снова привел ее в равновесие — и Юлиан принялся грести.

С каждым взмахом весел прибой волн поднимал нос лодки. Вода, чернее чернил, бешено мчалась вдоль обоих бортов, она расступалась пропастью, вздымалась горами — и лодка то прыгала по ним, то спускалась в самую глубь водных расселин, где кружилась, как щепка под ударами вихря.

Юлиан наклонялся вперед, выдвигал упруго руки — и, крепко упираясь в дно ногами, откидывался назад, перегибая и перекашивая стан, чтобы придать себе боль-

ше силы. Град хлестал по его пальцам; дождь заливался ему за спину; яростный ветер душил его, захватывая его дыхание. Он опустил руки в изнеможении. Тогда лодку понесло по течению. Но, понимая, что здесь дело шло о чем-то очень важном, о приказании, которого нельзя было ослушаться, он снова взялся за весла, и щелкание уключин снова послышалось сквозь рев бури.

Его фонарик светил перед ним на носу лодки. Птицы, кружась и налетая, то и дело скрывали от него этот слабый свет. Но Юлиан постоянно видел зрачки прокаженного, который стоял на корме неподвижно, как столб... И это продолжалось так... много, много времени.

Когда они вошли в шалаш, Юлиан запер дверь — и вдруг увидел своего спутника, уже сидевшего на скамье. Подобие савана, прикрывавшее его, спустилось до лядвей; худые плечи, грудь и руки исчезали под чешуйками гноевых прыщей. Огромные морщины бороздили его лоб. Вместо носа у него, как у скелета, была дыра, а из синеватых губ отделялось зловонное, как туман густое, дыхание.

— Я голоден,— сказал он.

Юлиан подал ему, что́ имел — кусок старого сала и корку черного хлеба.

Когда тот всё это сожрал,— на столе, на ковше, на ручке ножа показались те же пятна, которыми его тело было покрыто.

Затем он сказал:

— Я жажду!

Юлиан достал свою кружку, и когда он ее взял в руки — из нее распространился вдруг такой запах, что душа его разверзлась, ноздри расширились! То было вино... Какая находка! Но прокаженный простер руку — и залпом выпил всю кружку.

Тогда он сказал:

— Мне холодно!

Юлиан зажег свечой кучу хвороста среди шалаша. Прокаженный стал греться. Но, сидя на корточках, он дрожал всем телом, он, видимо, ослабевал; глаза его перестали блестеть, сукровица потекла из ран — и почти угасшим голосом он прошептал:

— На твою постель!

Юлиан осторожно помог ему добраться до нее — и даже накрыл его парусом своей лодки.

Прокаженный стонал. Приподнятые губы выказывали ряд темных зубов; учащенный хрип потрясал его грудь — и при каждом вдыхании живот его подводило до спинных позвонков.

Затем он закрыл веки.

— Точно лед в моих костях! Ложись возле меня!

И Юлиан, отвернув парус, лег на сухие листья, рядом с ним, бок о бок.

Но прокаженный повернул голову.

— Разденься, дабы я почувствовал теплоту твоего тела!

Юлиан снял свою одежду; затем — нагой, как в день своего рождения, снова лег он на постель — и почувствовал прикосновение кожи прокаженного к бедру своему; она была холодней змеиной кожи и шероховата, как пила.

Юлиан пытался ободрить его, но тот отвечал задыхаясь:

— Ах, я умираю! Приблизься! Отогрей меня, не руками, а всем существом твоим!

Юлиан совсем лег на него — ртом ко́ рту, грудью к груди.

Тогда прокаженный сжал Юлиана в своих объятьях, и глаза его вдруг засветились ярким светом звезды, волосы растянулись, как солнечные лучи, дыхание его ноздрей стало свежей и сладостней благовония розы; из очага поднялось облачко ладана, и волны реки запели дивную песнь. Восторг неизъяснимый, нечеловеческая радость, как бы спустившись с небесной вышины, затопили душу обомлевшего от блаженства Юлиана, а тот, кто всё еще держал его в объятиях, вырастал, вырастал, касаясь руками и ногами обеих стен шалаша. Крыша взвилась, звездный свод раскинулся кругом, и Юлиан поднялся в лазурь, лицом к лицу с нашим господом Иисусом Христом, уносившим его в небо.

Такова легенда о св. Юлиане Милостивом; так по крайней мере она изображена на старинном расписном окне в одной из церквей моей родины.

ИРОДИАДА

(Гюстава Флобера)

I

Махэрусская цитадель возвышалась — на восток от Мертвого моря — на базальтовой скале, имевшей вид конуса. Четыре глубоких долины ее окружали: две с боков, одна впереди, четвертая сзади. Куча домов теснилась у ее подошвы, охваченная круглым каменным валом, который то вздымался, то ниспадал, следуя неровностям почвы; извилистая дорога, высеченная в скале, соединяла город с крепостью. Стены той крепости, вышиною в сто двадцать локтей, изобиловали уступами, углами, бойницами; башни высились там и сям, составляя как бы звенья каменного венца, воздвигнутого над бездной.

Внутри цитадели находился дворец, украшенный портиками, с плоской крышей в виде террасы. Перила из смоковичного дерева замыкали ее со всех сторон; длинные мачты, на которые натягивался велариум, стояли вокруг, над перилами.

Однажды, до восхода солнца, тетрарх Ирод Антипа появился на вершине дворца — и, облокотясь о перила, принялся глядеть.

Прямо перед ним лежавшие горы начинали показывать свои гребни, между тем как вся их масса, до самого дна ущелий, пребывала еще в тени. Туманы бродили... Они вдруг разорвались — и ясно выступили очертания Мертвого моря. Заря уже зажигалась позади Махэру́са; уже начинали разливаться ее красноватые отражения. Понемногу осветила она прибрежные пески, холмы, пустыню; а там, дальше к небосклону, зарумянились и Иудейские горы с своими серыми, шероховатыми покатостями. Посередине — Энгадди протянулось черною чертою; Эброн в углублении закруглился куполом, Эсколь показал свои гранатовые рощи, Сорэк — свои виноградники, Газер — поля, усеянные кунгутом; кубышкообразная громадная Антониева башня тяжело повисла над Иерусалимом. Тетрарх отвел от нее свои взоры и стал созерцать иерихонские пальмы; вспомнил он тут остальные города своей Галилеи:

Капернаум, Аэндор, Назарет — и Тивериаду, куда он, может быть, никогда не возвратится. Иордан струился перед ним по безжизненной пустыне. Внезапно вся побелевшая, она слепила глаза, подобно снеговой скатерти. Мертвое море становилось похожим на большой лазоревый камень — и на северной его оконечности, со стороны Иемена, Антипа открыл именно то, что он боялся найти: разбросанные палатки темно-бурого цвета виднелись там; люди, с копьями в руках, двигались промеж лошадей, а потухавшие огоньки блистали искрами, низко — на самом уровне земли.

То было войско аравийского царя, с дочерью которого Антипа развелся для того, чтобы взять за себя Иродиаду, жену одного из своих братьев. Брат этот жил в Италии, без всякого притязания на власть.

Антипа ожидал помощи от римлян; и так как Вителлий, сирийский правитель, медлил прибытием, беспокойство терзало тетрарха. «Агриппа,— думал он,— наверное, повредил мне у императора». Филипп, третий его брат, владелец Ватанеи, тайно вооружился. Иудеев возмущали идолопоклоннические обычаи тетрарха; других его подданных тяготило его правление. Вот он и колебался между двумя решениями: либо смягчить аравитян, либо заключить союз с парфянами; и, под предлогом именинного празднества, он в тот самый день пригласил на великий пир главных начальников своих войск, приставов по имениям и важнейших лиц Галилеи.

Остро напряженным взором пробежал он все дороги. Они были пусты. Орлы летали над его головою. Вдоль крепостного вала солдаты спали, прислонившись к стене. Во дворце ничего не шевелилось.

Внезапно отдаленный голос, как бы выходивший из недр земли, заставил побледнеть тетрарха. Он нагнулся, чтобы вернее прислушаться. Но голос умолк. Потом он опять раздался... и, хлопнув несколько раз в ладоши, Ирод закричал: «Маннáи! Маннаи!»

Появился человек, обнаженный до пояса, подобно банщику. Он был очень высокого роста, стар, страшно худ; на ляжке у него висел большой нож в бронзовых ножнах — и так как его волосы, захваченные гребнем, были все вздеты кверху, то лоб его казался длины необычайной. Странная сонливость заволакивала его бесцветные глаза. Но зубы его блестели — и ноги легко и твердо ступали по плитам. Гибкость обезьяны сказы-

валась во всем его теле,— бесстрастная неподвижность мумии — на лице.

— Где он? — спросил тетрарх.

— Всё там же! — отвечал Маннаи, указывая позади себя большим пальцем правой руки.

— Мне почудился его голос! — И Антипа, вздохнув глубоко до дна груди, осведомился об Иоаканаме — о том человеке, которого латиняне называют святым Иоанном Крестителем.

— Приходили ли вновь те два человека, которые месяц тому назад были, по снисхождению, допущены в его тюрьму,— и стала ли известна причина их посещения?

Маннаи отвечал:

— Они обменялись с ним таинственными словами, ни дать, ни взять ночные воры на перекрестках дорог. Потом они отправились в верхнюю Галилею, объявив, что скоро вернутся с великою вестью.

Антипа наклонил голову; потом, с выражением ужаса на лице:

— Береги его! береги! — воскликнул он,— и никого не допускай до него! Запри крепко дверь! Прикрой яму! Никто не должен даже подозревать, что он еще жив!

Еще не получив этих приказаний, Маннаи уже исполнял их, ибо Иоаканам был иудей, и Маннаи, как все самаритяне, ненавидел иудеев.

Гаризинский их храм, храм самаритян, предназначенный Моисеем быть средоточием Израиля, не существовал со времен короля Гиркана; а потому иерусалимский храм наполнял душу Маннаи тою яростью оскорбления, которую возбуждает торжествующая несправедливость. Маннаи однажды тайно взобрался в иерусалимский храм с другими товарищами для того, чтобы осквернить алтарь возложением на священное место мертвых костей. Его спасло проворство ног; сообщникам его отрубили головы.

И вот он увидел ненавистный храм вдали, в разрезе двух холмов. Поднявшееся солнце ярко освещало беломраморные стены и золотые плиты крыши. Храм являлся лучезарной горой, чем-то сверхъестественным; всё кругом было подавлено его великолепием, его гордыней.

Маннаи протянул руку в направлении Сиона — и, выпрямив стан, сжав кулаки, закинув лицо, произнес анафему. Он был уверен, что клятвенные слова имеют действительную силу!

Антипа равнодушно выслушал его возглас. Самаритянин продолжал:

— От времени до времени он волнуется, он хочет бежать; он надеется на освобождение. Иногда у него вид спокойный, как у больного зверя; а не то он вдруг начнет ходить взад и вперед впотьмах, беспрестанно повторяя: «Что нужды! Дабы он возвеличился, нужно мне умалиться!»

Антипа и Маннаи обменялись взорами. Но долгие размышления уже утомили тетрарха.

Все эти горы вокруг него, подобные уступам больших окаменелых волн, черные расселины на склоне крутых скатов, громадность синего неба, сильный дневной свет, глубина пропастей — всё его смущало; и безнадежное уныние овладевало им при зрелище пустыни, почва которой, искаженная допотопными переворотами, являла вид обрушенных цирков и дворцов. Горячий ветер приносил вместе с запахом серы как бы испарения богом проклятых городов, зарытых глубоко, ниже берегов Мертвого моря, под тяжелыми его водами. Эти следы бессмертного гнева пугали ум тетрарха; и он пребывал недвижим, опершись обоими локтями на перила и сжимая виски руками. Кто-то слегка тронул его. Он обернулся: перед ним стояла Иродиада.

Легкий пурпурный хитон облекал ее всю до самых сандалий. Торопливо покинув свои покои, она не успела надеть ни ожерелья, ни серег; густая косьма черных волос падала ей на плечо, прильнув концом к груди, в промежутке сосцов. Вздернутые ноздри трепетали; радость торжества озаряла лицо. Громким голосом взывая к тетрарху:

— Цезарь нас любит! — промолвила она.— Агриппа посажен в тюрьму.

— Кто тебе сказал?

— Уж я знаю! Он в тюрьме,— продолжала она,— за то, что пожелал Каию * быть императором.

Этот Агриппа, живя их подаянием, стремился добыть себе царский титул, которого и они домогались. Но теперь его уже нечего страшиться! Тюрьмы Тиверия отпираются не легко, и самая жизнь в них не всегда надежна!

Антипа понял ее, и хотя она была сестра этого самого Агриппы, жестокий смысл ее последних слов не возмутил

---

* Кай Калигула, наследник Тиверия.

его; напротив, он ее оправдывал. К тому же все эти убийства проистекали из самой силы вещей; они были как бы необходимостью в тогдашних царских домах. В доме Ирода их уже не считали... так их было много.

Затем она рассказала тетрарху все свои старания; упомянула о подкупе клиентов, о вскрытых письмах, о лазутчиках, приставленных ко всем дверям; рассказала, как ей удалось переманить главного доносчика Эвтихия — всё, всё сообщила она. «Я ничего не жалела! Для тебя чего я не сделала? Не отреклась ли я от собственного сына?»

После развода она оставила этого ребенка в Риме, надеясь иметь других детей от тетрарха. До того дня она никогда не упоминала об этом. И он спрашивал себя: откуда в ней этот внезапный прилив нежности — и что он значит?

Между тем прислужники натянули велариум, принесли и положили на пол широкие подушки. Иродиада опустилась на одну из них и заплакала, обернувшись спиною к мужу. Но вот она провела ладонью по векам... Она решила, что не будет думать о прошлом, что она теперь счастлива! И она принялась напоминать тетрарху долгие их беседы там, в далеком Риме, в атриуме дворца; встречи их под портиками бань, прогулки по «Священной улице» * и вечера, проведенные в просторных виллах, при рокоте водометов, под цветочными арками, в виду римской Кампаньи. Она взглядывала на него, как в былые дни, и с кошачьими движениями всего тела ластилась к его груди. Он оттолкнул ее.

Та любовь, которую она старалась оживить, была теперь так от него далеко! Причиной всех его бедствий была эта любовь. По ее милости война продолжалась вот уже скоро девять лет; по ее милости тетрарх состарелся. Облеченная в темную тогу с лиловой каймой, его спина горбилась; седина мелькала в бороде, и лучи солнца, проникавшие сквозь ткань натянутого покрова, озаряли живым светом его угрюмый, сморщенный лоб. На лбу Иродиады тоже виднелись складки, и, сидя друг против друга, они менялись враждебными, суровыми взглядами.

Меж тем горные дороги оживлялись. Пастухи погоняли быков острием дротиков, дети тащили за собой ослов, конюхи вели вьючных лошадей. Те, которые спускались

* «Via Sacra» — главная улица древнего Рима.

с высот, лежащих за Махэрусом, исчезали постепенно за стенами замка; другие поднимались вдоль ущелий, ведших к Махэрусу,— и, войдя в город, складывали свою ношу по дворам домов. То были поставщики тетрарха и слуги гостей, высланные вперед своими господами. Но вот налево, на самом конце террасы, появился ессей, босой, в белой одежде, с видом стоика. Маннаи тотчас бросился к нему навстречу, обнажив и высоко подняв свой нож.

— Убей его! — кричала Иродиада.

— Стой! — промолвил тетрарх.

Маннаи остановился; тот тоже.

Потом оба отступили, пятясь друг от друга и не покидая друг друга взглядом; и оба исчезли — каждый по другой лестнице.

— Я знаю его! — сказала Иродиада,— его имя Фануил; он старался свидеться с Иоаканамом, так как ты настолько слаб, что сохраняешь его в живых.

Антипа возразил, что из Иоаканама можно было извлечь пользу. Его постоянные нападки на Иерусалим привлекали к ним обоим остальных евреев.

— Нет! — воскликнула она.— Евреи покоряются всем своим властителям. Они не в состоянии создать себе родину. А того, кто тревожит народ, возбуждая в нем надежды, сохранившиеся со времен Гегемиаса,— того должно уничтожить. Вот самая верная политика.

— Нам не к спеху! — уверял тетрарх.— Иоаканам — опасен! Вот выдумала!!

И он смеялся притворно.

— Молчи,— крикнула она.

И она снова рассказала то унижение, которому подверглась она в день своей поездки в Галаад для сбора бальзама. На берегу реки какие-то нагие люди надевали свои одежды. Тут же, на вершине холма, стоял человек и говорил. Он был препоясан по чреслам верблюжьей кожей — и его голова походила на голову льва.— Как только он увидел меня,— продолжала Иродиада,— он изрыгнул на меня все проклятия пророков. Его зеницы пылали, голос завывал; он поднимал руки к небу, как бы желая достать оттуда громовые стрелы. Бежать было невозможно; колесница моя до самых ступиц завязла в песке... И я поневоле медленно удалялась, закрываясь мантией,— и вся кровь моя стыла от оскорблений, которые сыпались на меня, как дождевой ливень!

Иоаканам не давал жить Продиаде! Когда его схватили и связали веревками — солдатам дан был приказ зарезать его, если б он вздумал сопротивляться. Но тут он, как нарочно, явился смиренником. В его тюрьму напустили змей,— змеи околели.

Неудача ее козней выводила из себя Продиаду. Зачем он нападал на нее? Что его побуждало? Его речи, обращенные к толпе, распространялись повсюду, их повторяли,— она слышала их везде,— они наполняли воздух. Она не была лишена мужества — но эта сила, более язвительная, чем лезвие мечей, сила, которую невозможно было схватить, наводила на нее нечто вроде оцепенения. Продиада расхаживала взад и вперед по террасе, вся помертвелая от гнева, не находя слов, чтобы выразить всё, что душило ее.

Она думала также о том, что тетрарх, уступая общему мнению, мог, пожалуй, развестись с нею. Тогда всё погибло! С самых младых ногтей она питала мечту о великом царстве. Только для того, чтобы осуществить эту мечту, решилась она оставить своего первого мужа и соединиться с ним, с этим человеком, который ее обманывает.

— Хорошую я нашла подпору, нечего сказать, войдя в твою семью!

— Моя семья не хуже твоей,— спокойно отвечал тетрарх.

В жилах Продиады внезапно закипела кровь ее прадедов, первосвященников и царей!

— Твой дед подметал храм в Аскалоне! Другие твои родичи были пастухами, разбойниками, поводырями караванов! Сволочь, платившая дань Иуде со времен царя Давида! Все мои предки били твоих предков! Первые из Маккавеев выгнали вас из Геброна; Гиркан принудил вас обрезаться!

И, дав волю чувству презрения, презрения патрицианки к плебею, рода Якова к роду Эдома, Продиада начала осыпать Антипу упреками за его равнодушие к оскорблениям, за его уступчивость перед предателями, фарисеями, за его трусость перед народом, который его ненавидел.

— Ты такой же, как они,— признайся! И ты сожалеешь о том, что оставил аравийскую девку, ту, что пляшет вокруг камней! Возьми же ее опять! Ступай и живи в ее холщовой палатке! Пожирай ее хлеб, испеченный под золою! Глотай кислое молоко ее овец! Лобызай ее синие щеки — и оставь меня!

Но тетрарх уже не слушал ее. Он устремил глаза на плоскую крышу соседнего дома, где внезапно увидел молодую девушку; рядом с нею старуха держала зонтик с тростниковой ручкой, длинный, как рыбачье удилище. Посредине ковра стоял раскрытый дорожный короб; пояса, спутанные ткани. разноцветные покровы, золотые подвески в беспорядке свешивались через его края. От времени до времени молодая девушка наклонялась к этим предметам, встряхивала их на воздухе. Она была одета римлянкой — в тонкую тунику и в пеплум с застежками из изумруда; синие перевязки удерживали ее косу, вероятно, очень тяжелую: девушка изредка трогала ее сзади рукою. Тень от зонтика колебалась над нею, скрывая ее до половины. Раза два удалось Антипе заметить ее гибкую шею, угол глаза, часть небольшого рта. Но он мог видеть весь ее стан от бедр до затылка. Он видел, как он склонялся и выпрямлялся — легко и упруго. Он караулил возврат этого стройного движения — и дыхание его становилось усиленным, огоньки зажигались в глазах. Иродиада наблюдала за ним.

— Кто это? — спросил он наконец.

Она отвечала, что не знает... и, внезапно утихнув, удалилась.

Тетрарха ожидали под портиком галилеяне: заведовавший письменной частью, главный пристав над пастбищами, управляющий соляными копями и еврей из Иерусалима, начальник его конницы. Все приветствовали его дружным восклицанием... Но он обратился к внутренним покоям.

Фануил возник перед ним на повороте коридора.

— Опять ты !Ты, конечно, пришел сюда ради Иоаканама?

— И ради тебя! Мне нужно сообщить тебе важное известие...

И, не покидая более Антипу, он проник вслед за ним в темную храмину.

Свет падал в нее сквозь решетчатое отверстие, расстилаясь во всю длину карниза. Стены были выкрашены красно-лиловой, почти черной краской. У задней стены возвышалось ложе из черного дерева с тесьмами из бычачьей кожи. Золотой щит блистал, как солнце, над изголовьем.

Антипа перешел всю храмину и бросился на ложе. Фануил, стоя, поднял руку с внушительным и вдохновенным видом.

— Всевышний посылает иногда одного из чад своих... Иоаканам — такое его чадо. Если ты будешь притеснять его,— тебя постигнет кара.

— *Он* преследует меня,— воскликнул тетрарх.— Он потребовал от меня невозможного! С тех пор он всячески меня поносит. Сначала я кротко с ним обращался... Но он послал из Махэруса людей, которые возмущают моих подданных. Он нападает на меня... Я защищаюсь.

— Иоаканам слишком ретив в гневе, точно,— возразил Фануил.— Но как бы то ни было, его надо освободить!

— Диких зверей не выпускают на волю,— сказал тетрарх.

— Не тревожься более! — отвечал Фануил.— Он пойдет к аравитянам, к галлам, к скифам. Делу, к которому он призван, суждено достигнуть пределов земли.

Антипа казался погруженным в некое видение.

— Его власть велика! Я, против собственной воли, люблю его.

— Так освободи его!

Тетрарх покачал головою. Он боялся Иродиады, Маннаи... он страшился неизвестного будущего!

Фануил попытался убедить его. Залогом правдивости слов своих он представлял постоянную покорность ессеев царям. Эти люди, бедные, недоступные страху пытки и казней, покрытые льняной одеждой, умевшие читать в книге звездного неба, внушали невольное уважение. Антипа вспомнил слово, сказанное Фануилом в начале разговора.

— Какое важное известие хотел ты сообщить мне?

Но вдруг появился негр. Всё его тело побелело от пыли. Он хрипел от усталости и мог только произнести:

— Вителлий!

— Как? Он сюда идет?

— Я видел его... Через три часа он здесь!

Занавесы коридоров заколыхались, как бы вздутые ветром; шум наполнил весь замок, топот и грохот бежавших людей, перетаскиваемых мёбелей, лязг и звон серебряных сосудов... а с вышины башен зычно гремели трубы, призывавшие разбредшихся рабов.

II

Толпы народа покрывали крепостные валы, когда Вителлий вошел во двор замка. Он опирался об руку своего толмача; следом за ним подвигались большие но-

силки, обитые красной тканью, украшенные зеркалами и помпонами. Вителлий был одет в тогу с широкою пурпуровою каймою, в консульские полусапожки; ликторы окружали его особу.

Они вонзили в землю перед дверью двенадцать пуков прутьев, перевитых ремнем, с топором посередине... и все зрители тайно вострепетали перед величием римского народа.

Носилки, которыми орудовали восемь человек, остановились... Юноша, с толстым животом, с лицом угреватым, с жемчужными кольцами на пальцах, вышел оттуда. Ему тотчас предложили кубок с вином и душистыми пряностями. Он выпил и потребовал еще. Между тем тетрарх упал на колени перед проконсулом, сокрушаясь о том, что не был раньше уведомлен о великой милости его прибытия. А то бы он, тетрарх, отдал приказ, чтобы по всем дорогам было припасено то, что подобает Вителлиям. Они происходили от богини Вителлии; дорога, ведшая от Яникула к морю, носила их имя; квестурам, консульствам не было счету в их роде! Что же до самого Люция, ставшего теперь гостем тетрарха, то все ему были обязаны благодарностью, как победителю строптивых клитов и отцу того юного Авла, который, прибыв сюда, казалось, возвращается в свое владение — так как Восток всегда считался родиной богов! — Все эти гиперболы были высказаны тетрархом по-латыни — Вителлий принимал их холодно и спокойно.

Он отвечал наконец, что одного Великого Ирода достаточно для славы целого народа. Афиняне почтили его заведованием олимпийских игр. Он построил храмы в честь Августа и отличался всегда терпением, смышленостью, воинской доблестью и постоянной верностью цезарям. Между колоннами с бронзовыми капителями появилась Иродиада. Она шествовала с видом императрицы, окруженная женщинами и евнухами; они несли золотые подносы, на которых курились благовония.

Проконсул шагнул три раза ей навстречу. Приветствовав его легким наклонением головы:

— Какое счастье! — воскликнула она,— что Агриппа, враг Тиверия, вперед не может вредить более!

Вителлий ничего не знал об этом событии. Иродиада показалась ему опасной... и так как Антипа начал клясться богами, что сделает всё для императора:

— Да,— прибавил проконсул,— даже во вред другим.

(Вителлию некогда удалось добыть заложников от парфянского царя; но император не обратил внимания на эту заслугу — ибо Антипа, присутствовавший при совещании, немедленно, чтобы выставить себя, первый послал об этом весть. Этот поступок тетрарха породил глубокую ненависть в Вителлии; оттого он и мешкал привести обещанную помощь.)

Тетрарх смутился и не знал, что сказать; но Авл промолвил со смехом:

— Не бойся! *Я* твой покровитель!

Проконсул притворился, что не слышал слов, сказанных его сыном. Счастье отца зависело от осквернения сына; и этот Авл, этот цветок, возросший на грязи Капреи, доставлял ему такие значительные выгоды, что он окружал его самыми предупредительными заботами, хоть и не доверял ему: цветок этот был ядовит.

Под воротами поднялся громкий шум. Появился целый ряд белых мулов, на которых восседали люди в священнической одежде. То были саддукеи и фарисеи, которых одна и та же честолюбивая мысль приводила в Махэрус. Саддукеи желали получить право жертвоприношения, а фарисеи — удержать это право за собою. Лица этих людей были мрачны, особенно лица фарисеев, прирожденных врагов тетрарха и Рима. Они путались в полах своих хламид среди теснившейся толпы — и тиары их колебались на их головах, подвязанные узкими лентами, на которых были начертаны письменные знаки.

Почти в то же время прибыли солдаты римского авангарда. Они вложили щиты свои в мешки, чтобы сохранить их от пыли,— а за ними шел Маркелл, наместник проконсула, вместе с мытарями, державшими под мышками деревянные таблицы.

Антипа представил проконсулу главных своих приближенных: Толмая, Карфера, Сехона, Аммониаса из Александрии, который закупал для него асфальт, Наамана, начальника его легкой пехоты, вавилонца Ясима.

Вителлий уже прежде заметил Маннаи.

— А этот кто?

Тетрарх объяснил ему знаком, что это был палач. Потом он представил Вителлию саддукеев.

Ионафан, человек малого роста, весьма развязный в своих движениях и говоривший по-эллински, начал умолять проконсула посетить его в Иерусалиме. Тот отвечал, что, вероятно, туда прибудет.

Элеазар, человек с крючковатым носом и длинной бородою, стал требовать от имени фарисеев плащ первосвященника, задержанный в Антониевой башне гражданской властью.

Затем галилеяне подали донос на Понтия Пилата. Пользуясь тем предлогом, что некий безумец отыскивал золотые сосуды Давида в пещере близ Самарии, он повелел убить нескольких жителей. Все они говорили в одно и то же время — Маннаи громче и настойчивее других. Вителлий уверял их, что виновные будут наказаны.

Внезапно бранные слова и крики раздались перед одним из портиков, где солдаты повесили свои щиты. Они сняли с них чехлы — и фигура цезаря, изображенная на пупе каждого щита, возбудила негодование иудеев, считавших это идолопоклонством. Антипа начал их усовещивать речью — а Вителлий, сидевший под колоннадой на высоком кресле, дивился их неразумной ярости. «Да,— думал он,— Тиверий был прав, что сослал четыре сотни таких иудеев в Сардинию. Но здесь они были у себя дома — они были сильны»... Вителлий приказал унести щиты.

Но тут они все окружили проконсула, испрашивая — кто отмены какой-либо несправедливости, кто — особых привилегий, кто — просто милостыни. Они рвали свои одежды, продирались вперед; чтобы удержать их, рабы били их палками — направо, налево. Ближайшие к дверям стали спускаться по дороге — но другие поднимались по ней и снова надвигали их на проконсула. Два течения образовалось в этой массе людей, которая грузно колебалась, стесненная оградою стен.

Вителлий спросил, какая была причина такого многочисленного собрания? Антипа ответил, что все эти люди пришли на праздник его именин,— и указал на некоторых слуг своих. Свесившись с бойниц, втаскивали они на веревках огромные корзины, полные мясами, плодами, овощами. Он указал еще на антилоп, аистов, широких рыб лазоревого цвета, на виноградные гроздья, дыни, тыквы, гранаты, нагроможденные в виде пирамид. Авл не выдержал. Он устремился в кухню, увлеченный тем обжорством, которому, много лет спустя, было суждено удивить целый мир *.

Проходя мимо погреба, он увидал кастрюли, подобные двойным латам. Вителлий также подошел посмотреть

* Этот Авл Вителлий был, как известно, императором после Отона, в 69 году по Р. Х.

на них — и потребовал, чтобы ему отперли подземные комнаты замка.

Они были высечены в скале — в виде высоких подвалов со сводами, которые подпирались столбами. В первой комнате находился склад старого, уже негодного оружия. Но вторая была битком набита пиками; тесно и дружно торчали их острия, охваченные пучками перьев. Стены третьей комнаты казались обтянутыми множеством циновок: до того густо были насажены кругом тонкие стрелы, стоймя, друг возле дружки. Лезвия мечей покрывали стены четвертой комнаты. Посреди пятой — длинные линии шлемов с их гребнями уподоблялись легиону красных змей. В шестой комнате находились одни колчаны, в седьмой — одни ножные латы (кнэмиды), в восьмой — налокотники, в остальных — вилы, крюки, лестницы, канаты; тут были даже шесты для катапультов, даже бубенчики для верблюжьих нагрудников... И так как гора шла, расширяясь книзу, вся пробуравленная изнутри, как пчелиный улей, то под одним рядом комнат расстилался другой, а еще глубже — третий.

Вителлий, Финеас, его толмач, и Сизе́нна, начальник мытарей, проходили все эти комнаты при свете факелов, несомых тремя евнухами. Смутно виднелись в тени безобразные предметы, изобретенные варварами: палицы, усеянные гвоздями, отравленные дротики, клещи, подобные челюстям крокодилов... Тетрарх обладал в Махэрусе военными снарядами, достаточными для вооружения сорока тысяч солдат. Он собрал все эти снаряды в предвидении опасного союза противников; но проконсул мог подумать или даже сказать, что это всё было наготовлено с целью воевать против римлян; и тетрарх старался представить оправдания, извинения.

Не все оружия ему принадлежали. Многие служили защитой от разбойников. Кроме того, нужно было сражаться с аравитянами. Иное досталось ему от отца. И вместо того, чтобы идти позади проконсула, тетрарх бежал вперед уторопленными шагами. Он вдруг прислонился к стене, растягивая тогу растопыренными локтями. Но верхняя часть двери виднелась над его головою. Вителлий заметил эту дверь — и захотел узнать, что скрывается за нею?

Вавилонец мог один отворить ее.

— Позвать вавилонца!

Его подождали.

Отец этого вавилонца прибыл с берегов Эвфрата с пятьюстами всадников. Он предложил Великому Ироду свои услуги для защиты восточных окраин. После разделения царства Ясим остался жить у Филиппа,— а теперь служит Антипе.

Он явился наконец, с луком на плече, с бичом в руке. Разноцветные бечевки тесно стягивали его кривые ноги. Туника в виде поддевки не покрывала его обнаженных толстых рук; меховая шапка бросала черную тень на хмурое лицо и на бороду, завитую в колечки.

Сначала он притворился, что не понимает толмача. Но Вителлий глянул на Антипу... и тот немедленно повторил его повеление. Тогда Ясим приложился обеими руками к двери: скользнув, она вошла в стену.

Струею теплого воздуха пахнуло из мрака. Широкий коридор, спускаясь винтообразно, вел вглубь. Все отправились по этому коридору и достигли порога пещеры, более просторной, чем все другие подземелья.

На противоположном конце этой пещеры зияло отверстие арки, выходившей на самую кручь бездны, которая с той стороны защищала крепость. Дикая жимолость, цепляясь за свод арки, колебала на прозрачном воздухе свои цветочные гроздья, озаренные живым светом дня; по дну пещеры журчала узкая струйка ключевой воды.

Около сотни белых лошадей находилось там; они ели ячмень, насыпанный на доску, поднятую в уровень с их мордами. Гривы их были окрашены в синюю краску; копыта — обернуты в плетеные мягкие мешочки; челки между ушами вздымались хохолком в виде париков. Своими длинными хвостами они тихонько похлопывали себя по берцам. Проконсул онемел от удивления.

То были дивные животные, гибкие как змеи, легкие как птицы. Они мчались, не отставая от стрелы, пущенной всадником, сбивали с ног людей, грызли их зубом, мигом высвобождались из нагроможденных камней и скал, прыгали через пропасти, а среди ровного поля неслись как бешеные, без устали, от зари до зари. Стоило сказать одно слово — и они тотчас останавливались как вкопанные. Как только Ясим вошел в пещеру, они все побежали к нему, как овцы к пастуху,— и, вытягивая тонкие шеи, тревожно глядели на него своими детскими глазами. По привычке он крикнул на них диким, гортанным криком; этот звук их развеселил — и они стали вздыматься на

дыбы, прыгать... Жажда простора, жажда скачки в них загорелась.

Антипа, боясь, как бы проконсул не взял их себе, запер их в этом месте, особо предназначенном для животных в случае осады.

— Нехорошая конюшня,— сказал проконсул.— Ты рискуешь потерять их. Запиши их в инвентарь, Сизенна.

Мытарь достал дощечку из-за пояса, перечел лошадей и записал их. Агенты фискальных обществ подкупали правителей, чтобы удобнее грабить провинции. И этот Сизенна, с своей лисьей мордочкой и вечно мигавшими глазками, разнюхивал всё и всюду.

Наконец все возвратились на двор замка. Бронзовые круглые доски, затычки вроде плоских вьюшек прикрывали разбросанные там и сям цистерны. Проконсул заметил одну из этих досок, которая была шире других и глуше звенела под каблуком. Он поочередно постукал по всем — и вдруг затопал ногами, заревел неистово:

— Нашел! нашел! Вот они, Иродовы сокровища!

Отыскать эти сокровища — эта мысль как гвоздь засела в голову каждого римлянина.

Тетрарх поклялся, что никаких сокровищ тут не было.

— Так что же тут такое?

— Ничего... человек один... узник.

— Покажи его! — сказал Вителлий.

Тетрарх не повиновался. Иудеи узнали бы его тайну. Его явное нежелание открыть эту доску раздражило Вителлия.

— Выбить ее! — закричал он ликторам.

Маннаи догадался, в чем было дело. Увидав принесенный топор, он подумал, что хотят обезглавить Иоаканама; и при первом ударе лезвия о бронзовую плиту — он всунул между ею и каменьями мостовой длинный крюк; затем, вытянув и напрягши свои худые, жилистые руки, осторожно приподнял плиту... Она отвалилась. Все изумились силе старика. Под этой бронзовой крышкой, подбитой деревом, показался трап. Маннаи ударил по нем кулаком — и он распался на две створчатые половинки. Открылась яма, черная, глубокая дыра, в которую вонзалась узкая круглая лестница без перил; и те, которые нагнулись над отверстием, увидали там, глубоко на дне, что-то смутное и ужасное.

Человек лежал там на земле. Его длинные волосы перепутались с шерстью звериной шкуры, облекавшей

его члены. Он поднялся. Его лоб коснулся поперечной железной решётки, крепко вделанной в стены ямы... От времени до времени он отходил прочь и исчезал во тьме подземелья.

Острые верхушки тиар, рукоятки мечей сверкали на солнце; тяжелый зной раскалил плиты мостовой — и голуби, слетая с карнизов, кружили над двором. То был обычный час, когда Маннаи кормил их зерном. Он присел на корточки перед тетрархом, который стоял недвижно возле Вителлия. Галилеяне, священники, солдаты составляли сзади широкий круг — все молчали в немотствующем ожидании.

Сперва послышался глубокий вздох, похожий на хриплое, протяжное рычание.

Иродиада услышала этот вздох на другом конце дворца. Охваченная неотразимым влечением, она прошла сквозь всю толпу, и, положив руку на плечо Маннаи, наклонив вперед всё тело, она принялась слушать.

Голос заговорил:

«Горе вам, фарисеи и саддукеи, исчадье змей, меха надутые, кимвалы звенящие!»

Все узнали Иоаканама... все повторяли его имя.

Много еще подбежало народу.

«Горе тебе, народ, горе вам, иудейские изменники, пьяницы эфраимские, горе вам, живущим в тучных долинах, вам, чьи путаются ноги, отягченные винищем!..»

«Да расточатся они, как вода иссякающая, как истлевающий червь, как недоносок женщины, которому не суждено увидеть солнца!..»

«О Моав, тебе придется скрываться в ветвях кипариса, подобно воробью, в тьме пещер, подобно тушканчику! Как ореховая шелуха, раздробятся ворота крепостей, и рухнут стены, и воспылают города! Бич всевышнего разить не перестанет! В твоей же крови вываляет он твои члены, словно шерсть в чану красильщика! Он истолчет тебя, как зерно в ступе; как новая борона терзает грудь земли — так он тебя истерзает; по горам и долам разбросает он клочья твоего мяса!..»

— О каком завоевателе говорит он? — спрашивали себя слушатели.— Не о Вителлии ли? Одни римляне могли совершить такие истребления!

И жалобы возникали кругом, раздавались стенания.

— Довольно! довольно! вели ему замолчать!

Но Иоаканам продолжал еще громче:

«Хватаясь за трупы своих матерей, малые дети будут ползти по горячему пеплу! Ночью, под страхом и на авось меча, люди пойдут искать посреди развалин огрызки хлеба! На площадях городских, там, где некогда беседовали старцы, чекалки станут оспаривать друг у друга мертвые кости! Глотая слезы, юные девы будут играть на лютнях перед пирующими иноземцами, и самые храбрые сыны твои, о Моав! — преклонят хребты под непосильными ношами!»

Столпившийся народ безмолвно слушал эти заклинания — и перед его духовными очами возникали дни изгнания, бедствия и напасти прошедших времен. Точно такие речи гремели в устах древних пророков. Иоаканам посылал свои возгласы один за другим, с расстановкой — словно наносил удары.

И вдруг его голос стал тихим, сладкозвучным, певучим. Он предвещал скорое освобождение, царство справедливости, милости, благополучия. Небеса засияют непреходным сиянием, в пещере дракона родится младенец, золото заступит место глины, пустыня расцветет пышнее розы! То, что теперь сто́ит шестьдесят гиккасов, не будет стоить больше обола. Молочные источники заструятся из недра скал — все люди, довольные, пресыщенные, будут опочивать в тени виноградных лоз!..

«Когда же придешь ты, кого я ожидаю! Уже теперь все народы преклоняют колени — и царствию твоему не будет конца, о сын Давида!»

Тетрарх откинулся назад. Существование Давидова сына оскорбляло его как угроза.

Иоаканам начал поносить его за его владычество (нет другого владыки, кроме предвечного!) — за его сады, его статуи, его театры, за его утварь из слоновой кости... Он поносил его как безбожного Ахава!

Антипа схватился за грудь и, перервав шнурок, на котором висела его печать, швырнул ее в яму — и приказал ему молчать.

Но голос отвечал:

«Я буду кричать, как рычит медведь, как онагр кричит, как женщина в муках родов! За кровосмешение твое тебя уже постигло наказание! Бог покарал тебя бесплодием мула!»

Быстрый смех промчался в толпе, подобный плесканию волн.

Вителлий упорствовал, не хотел уйти. Толмач, с бесстрастным видом, передавал на языке римлян все оскорбления, которые Иоаканам изрекал на своем языке,— и таким образом тетрарх и Иродиада принуждены были выслушивать их два раза сряду.

Тетрарх задыхался от бешенства; она глядела на дно ямы, вся помертвелая, с раскрытыми губами.

Ужасный человек закинул назад голову — и, ухватившись за железные прутья решетки, прижал к ней свое волосатое лицо, походившее с виду на спутанный куст, в котором сверкали два угля.

«А, это ты, Иезавель! Скрып твоих сандалий завладел его сердцем! Ты ржала от похоти, как кобылица! Ты поставила ложе свое на вершине горы и там совершала свои жертвы!.. Но господь сорвет с тебя твои серьги, твои пурпуровые одежды, твои льняные покровы! Он сорвет запястья с рук твоих и кольца с ног твоих, и те подвески, те золотые серпы, которые дрожат и блещут на челе твоем, и серебряные твои зеркала и вееры из страусовых перьев, и те перламутровые высокие подошвы, на которые ты ставишь свои ноги, и краску ногтей твоих, и все ухищрения неги твоей! Всё он отнимет насильно, жестоко — и не хватит каменьев, чтобы побить тебя всю, кровосмесительница!»

Иродиада оглянулась кругом, как бы ища защиты. Фарисеи с притворным сожалением опускали взоры, саддукеи отворачивали головы, боясь оскорбить проконсула. Антипа казался мертвым человеком.

А голос всё рос, всё возвышался. Он перекатывался отрывисто, как внезапно разразившийся гром,— и эхо гор повторяло молниеносные звуки, которыми он так и поражал Махэрус!

«Пресмыкайся в пыли, дщерь Вавилона! Мели муку! Сбрось твой пояс, сними твою обувь, засучи край твоей одежды, перейди через реки... Ничто не спасет тебя! Стыд твой будет открыт, позор твой увидят все люди! Твои же рыдания сокрушат твои зубы! Всевышнему мерзит вонь твоих преступлений! Проклятая! Проклятая! Околевай, как псица!»

Но тут трап закрылся, крышка захлопнулась... Маннаи готов был задушить Иоаканама.

Иродиада исчезла; фарисеи были возмущены. Стоя посреди их, Антипа старался оправдаться.

— Конечно,— заметил Элеазар,— следует заключать брак с овдовевшей женой своего брата; но Иродиада не была вдовою — и, сверх того, у ней жив ребенок; а в этом-то и состоит вся мерзость греха.

— Неправда! Заблуждение! — возражал саддукей Ионафан.— Закон осуждает подобные браки. но не отвергает их вовсе.

— Как вы ни толкуйте, вы все несправедливы ко мне,— твердил Антипа.— Разве Авессалом не сочетался с женами своего отца, Иуда со своей невесткой, Аммон с своей сестрою, Лот с дочерьми своими?

В это мгновение появился Авл, который уже успел выспаться. Узнав, о чем шла речь, он одобрил тетрарха. «Стоило стесняться из-за подобных пустяков!» И он много смеялся — и укоризнам священников и ярости Иоаканама.

Иродиада, с высоты крыльца, обратилась к нему:

— Ты напрасно так говоришь, о господин! Он приказывает народу не платить даней.

— Правда это? — тотчас спросил мытарь. Все отвечали утвердительно. Тетрарх с своей стороны подкреплял их слова доказательствами.

Вителлию пришло в голову, что узник мог убежать, и так как поведение Антипы ему казалось сомнительным, то он повелел поставить стражу у всех дверей, вдоль стен, на дворе.

Затем — он отправился в свои покои. Выборные от священников пошли за ним. Не касаясь вопроса о жертвоприношении, они излагали свои жалобы. Они наскучили ему... он велел им удалиться.

Уходя от проконсула, Ионафан увидел возле одной из бойниц Антипу. Он разговаривал с человеком длинноволосым, одетым в белый хитон, с ессеем... Ионафан в душе пожалел о том, что поддержал тетрарха.

Одна мысль утешала Антипу.— Иоаканам уже не зависел от него более: римляне взялись его караулить... Какое облегчение! Фануил расхаживал в это время по брустверу. Он позвал его — и, указав на солдат:

— Они сильнее меня,— сказал тетрарх.— Я не могу теперь его освободить... Это не моя вина!

Меж тем двор опустел. Рабы отдыхали. На красном поле неба, зажженного вечерней зарей, малейшие отвесные предметы выделялись черными чертами. Антипа мог различить соляные копи по ту сторону Мертвого моря; аравийских палаток не было видно более. «Вероятно, они

откочевали?» Луна всплывала — и в сердце его спустилось успокоение.

Фануил, как человек, подавленный горем, пребывал недвижим, уронив на грудь подбородок. Он высказал наконец то, что хранил на душе.

С самого начала месяца он наблюдал и изучал небо. Созвездие Персея находилось в зените, Агала́ едва показывался, Альголь блестел слабым блеском, Мира-Коэти совсем исчез; и Фануил заключал из всего этого, что нынешней же ночью, в Махэрусе, должен покончить жизнь важный человек.

Но кто? Вителлия окружала его стража; Иоаканам не будет казнен...

«Уж не *я* ли тот человек? — думалось тетрарху.— Быть может, аравитяне возвратятся? А не то — проконсул откроет мои сношения с парфянами? Иерусалимские клевреты сопровождали священников — под одеждами они скрывали кинжалы...» Тетрарх не сомневался в мудрости и познаниях Фануила.

Не прибегнуть ли к Иродиаде? Спору нет — он ее ненавидит... но она придаст ему мужества. К тому же не были еще порваны все нити чар, которыми она некогда его опутала.

Когда он вошел в ее комнату, в порфировой вазе курился киннамон; и всюду были разбросаны стклянки с духами, благовонные порошки, ткани, подобные облакам, вышитые кисеи легче перьев.

Тетрарх слова не проронил — ни о предсказании Фануила, ни о страхе, который внушали ему аравитяне и евреи. Он упомянул только о римлянах. Вителлий не сообщил ему ни одного из своих военных планов. Он подозревал, что Вителлий друг Кая, которого посещает Агриппа. Он боялся, что его, тетрарха, сошлют в ссылку — а может быть, и зарежут.

Иродиада, с презрительною снисходительностью, старалась его успокоить. Видя, что слова ее мало действуют, она вынула из небольшого ящичка медаль странной формы, украшенную головою Тиверия в профиль. Ликторы должны были побледнеть при виде этой медали; все обличители — умолкнуть.

Благодарный, растроганный Антипа спросил, каким образом она достала эту медаль?

— Мне ее дали,— отвечала она.

Вдруг из-под занавеса двери выдвинулась обнаженная до плеча рука, рука молодая, прекрасная, словно выточенная Поликлетом из слоновой кости. Несколько неловко, но красиво, двигалась эта рука по воздуху, вправо и влево, ища, стараясь захватить тунику, оставленную на небольшой скамье, возле стены.

Старуха прислужница тихонько подала эту тунику за дверь, приподняв занавес.

Тетрарху что-то внезапно вспомнилось... но что именно — он не мог сказать.

— Эта рабыня тебе принадлежит? — спросил он наконец.

— Какое тебе дело! — отвечала Иродиада.

III

Гости наполняли залу, где совершалось пиршество. Она распадалась на три придела, подобно базилике; их разделяли колонны из алгуминного дерева с бронзовыми капителями, с изваянными украшениями. Две галереи с прорезным полом опирались на эти колонны — а третья, вся из золотой филиграни, округлялась на конце залы, прямо напротив громадной арки входа.

Пылавшие канделябры на столах, поставленных во всю длину залы, возвышались огненными кустами между чашами из крашеной глины, медными блюдами, тиснеными грудами снега, кучами винограда. Эти красные пятна света постепенно сливались в отдалении, подавленные вышиною потолка; лучистые точки сверкали в трибунах, между древесными ветвями, подобно ночным звездочкам.

Сквозь отверстие входа виднелись факелы, зажженные на террасах домов. Антипа задавал пир друзьям своим, народу, всякому, кто желал быть гостем.

Рабы, обутые в войлочные сандалии, кружили быстрее псов, с подносами на руках. На золотой трибуне третьей галереи на особо устроенном помосте из жимолостных досок стоял проконсульский стол. Вавилонские ковры, подвешенные к потолку, образовали кругом нечто вроде павильона.

Три ложа из слоновой кости, одно на почетном месте, два по бокам, окружали стол. На них возлежали: проконсул налево, возле двери, Авл направо, тетрарх посередине.

На нем был тяжелый черный плащ, весь расшитый разноцветными накладками; румяна покрывали его щеки,

борода раскинулась веером, венец из драгоценных камней сжимал волосы, посыпанные пудрой лазоревого цвета. Вителлий сохранил свою пурпуровую перевязь; косвенно пересекала она его льняную тогу. Авл велел повязать себе за спину рукава своей лиловой шелковой ризы, исполосованной серебряными галунами; в три ряда поднимались его завитые кудри — и сапфирное ожерелье блистало на его груди, белой и тучной, как грудь женщины. Подле него, на циновке, скрестив ноги, сидел чрезвычайно красивый ребенок, который постоянно улыбался. Авл увидел его в кухне — и не мог уже с ним расстаться. Не будучи в состоянии запомнить его халдейское имя, он назвал его просто Азиатом (Asiaticus). От времени до времени Авл опускался навзничь на свое ложе — и тогда его голые ноги, высоко поднятые, царили надо всем собранием.

С той же стороны находились священники и офицеры Антипы, иерусалимские жители, главные лица греческих городов; а со стороны проконсула и пониже его — Маркелл с мытарями, собирателями податей, друзья тетрарха, важные особы из Каны, Птолемаиды, Иерихона; дальше сидели, уже без чинов, горцы с Ливанона, старые воины Ирода Великого, двенадцать фракийцев, идумейские пастухи, султан Пальмиры, эзиугаверские моряки. Перед каждым гостем лежала лепешка из мягкого теста, о которую он утирал пальцы,— и жадные руки беспрестанно протягивались, как пигарговы шеи, за оливками, фисташками, миндалинами. Все лица, увенчанные цветами, сияли весельем.

Фарисеи отказались от этих венков, как от римского нечестья. Они содрогнулись, когда их окропили смесью галбана и ладана; жидкость эта употреблялась только для священных обрядов храма.

Авл натер ею свои мышки — и Антипа обещал прислать ему целый корабль, нагруженный этим составом, вместе с тремя корзинами той настоящей мастики, которая возбуждала в Клеопатре желание присвоить себе Палестину.

Один из начальников тивериадского гарнизона, только что прибывший в Махэрус, поместился позади тетрарха и, казалось, сообщал ему вести о событиях необыкновенных. Но всё его внимание было поглощено проконсулом, а также и тем, что́ говорилось на соседних столах. Там толковали об Иоаканаме и о подобных ему людях. Приводились разные факты:

— Симеон из Гиттóя, например, омывал грехи огнем. Некий Иисус...

— Этот хуже всех,— заметил Элеазар.— Презренный обманщик!

Позади тетрарха вдруг поднялся человек, бледный, белый,как кайма его собственной хламиды. Он сошел с помоста — и, обратившись к фарисеям:

— Вы лжете! — воскликнул он.— Иисус творит чудеса!

Антипа пожелал увидеть этого Иисуса.

— Зачем ты не привел его? Сообщи о нем, что знаешь.

Тогда тот рассказал, как он, Яков, имея дочь больную, отправился в Капернаум для того, чтобы умолить учителя излечить ее. И учитель отвечал ему: «Ступай домой; твоя дочь здорова». И он, Яков, возвратясь, нашел дочь свою на пороге дома... Она покинула свое ложе, когда «гномон» дворца показывал третий час, самый тот час, когда он приступил к Иисусу.

Но фарисеи представили возражения.

— Конечно,— говорили они.— существуют известные действия, травы, одаренные чародейною силою. В самом Махэрусе иногда можно было найти траву «Баарас», которая делает человека неуязвимым. Но вылечить больного, не видев и не коснувшись его... какая нелепость! Одно разве: Иисус призывает в помощь демонов?

И друзья Антипы, начальствующие люди между галилеянами, повторяли, качая головами:

— Да, демонов... это несомненно!

Яков, стоя между их столом и столом священников, сохранял тот же вид, надменный — и кроткий.

— Говори же, говори! — приставали они к нему,— доказывай его могущество!

Он нагнулся, приподнял плечи — и чуть слышным голосом, медленно, как испуганный человек:

— Вы разве не знаете, что он мессия? — сказал он.

Все священники переглянулись, а Вителлий потребовал объяснения этого слова. Толмач, прежде чем ответить, помолчал с минуту.

— Евреи называют этим именем,— объяснил он наконец,— освободителя, который наградит их обладанием всех благ земных и владычеством над остальными народами. Иные утверждают даже, что следует ожидать двух мессий. Один будет побежден Гогом и Магогом, северными

демонами; но другой истребит князя зла: и вот уже несколько столетий, как они ежечасно его ожидают.

Между тем священники поговорили между собою — и Элеазар попросил слова.

— Во-первых,— так начал он,— мессия будет сын Давида, а не плотника. Во-вторых: он утвердит закон, а этот назареянин его разрушает.— Главное же возражение Элеазара состояло в том, что мессии должен предшествовать Илия пророк.

— Но он уже пришел, Илия! — вскричал Яков.

— Илия! Илия! — повторила толпа до самого конца залы.

И воображению всех немедленно представилась целая картина: старец под тучею вранов, небесный огнь, падающий на алтарь, идолопоклоннические жрецы, низвергнутые в бурный поток... Женщины в трибунах вспоминали о сарептской вдовице.

Но Яков продолжал настойчиво утверждать, что он его видел! Он его видел! И весь народ его видел!

— Его имя! имя!

Тогда он закричал изо всех сил:

— Иоаканам!

Антипа опрокинулся назад, словно что ударило его прямо в грудь. Саддукеи ринулись на Якова. Среди шума и гама Элеазар разглагольствовал, возвышая голос, силясь привлечь к себе внимание.

Когда, наконец, тишина восстановилась, он закутался в свой плащ и, как судья, стал ставить вопросы:

— Ведь пророк Илия умер?

Смятенный ропот перервал его. Многие были убеждены, что Илия только исчез, а не умер. Элеазар вспылил... однако продолжал свой допрос:

— Ты полагаешь, что он воскрес?

— А почему же нет? — отвечал Яков.

Саддукеи пожимали плечами, а Ионафан, вытаращa глаза, усиленно старался смеяться, словно шут какой. Что могло, дескать, быть глупее притязания бренного тела на вечную жизнь? И он продекламировал, ради проконсула, стих современного поэта:

Nec crescit, nec post mortem durare videtur.*

---

* Ни расти, ни существовать после смерти не может.

Но в эту минуту увидали Авла, склонившегося на край триклиниума: с испариной на лбу, с лицом позеленевшим, он прижимал оба кулака к желудку.

Саддукеи притворились перепуганными. (На другой же день право жертвоприношения было им даровано.) Антипа являл все признаки отчаяния; один Вителлий пребывал безучастным, хоть он и ощущал в душе жестокую тревогу: вместе с сыном он терял всю свою карьеру.

Авла стошнило... Но как только его рвота кончилась, он опять захотел есть.

— Подайте мне скобленого мрамора, наксосского сланцу, морской воды, чего-нибудь, скорей! Или вот что: не взять ли мне ванну?

Он принялся грызть снежные комья. Затем, после недолгого колебанья — за что ему приняться: за коммагенский ли паштет, за розовых ли дроздов, он решился взять тыквы на меду. «Азиат» с благоговением созерцал Авла: этот дар неустанного пожирания изобличал, по его понятию, существо необычайное, принадлежащее высшей породе!

Авлу подали бычачьих почек, жареную белку, соловьев, рубленого мяса, завернутого в виноградные листья. А между тем священники продолжали спорить о воскресении мертвых. Аммониас, ученик платоника Филона, находил подобные толки нелепыми и высказывал свое мнение тут же сидевшим грекам, которые смеялись над оракулами. Маркелл и Яков подошли друг к другу. Маркелл рассказывал о блаженстве, которое он испытал, приняв веру персидского бога Митры, а Яков убеждал его последовать Христу. Пальмовые и тамарисовые, сафетские и библосские вина текли ручьями из амфор в кувшины, из кувшинов в чаши, из чаш в гортани. Поднялся говор болтовни, начались сердечные излияния. Ясим, хоть и еврей, не скрывал более своего обожания планет; купец из Афаки изумлял кочевников подробным описанием чудес гиерополисского храма — и те спрашивали у него, что́ стоило путешествие туда? Зато другие крепко держались за свои прирожденные поверья. Полуслепой германец пел гимн во славу того скандинавского мыса, где боги являют в лучах свои лики; а люди из Сихема отказывались от жареных голубей — из уважения к священной горлице Азима.

Многие беседовали, стоя посреди залы, и от пара дыханья и дыма светильников в воздухе образовалось нечто вроде тумана. Фануил проскользнул вдоль стены. Он

только что снова произвел наблюдения над небесными созвездиями; но не подвигался в направлении тетрарха, страшась выпачкаться в масло, что для ессеев было великим осквернением.

Вдруг послышались удары в ворота замка. Народ узнал о заключении Иоаканама. Люди с факелами в руках карабкались вдоль тропинок; темные массы кишели в оврагах — и от времени до времени поднимались протяжные вопли:

— Иоаканам! Иоаканам!

— Он всему помехой,— сказал Ионафан.

— Не будет доходов, деньги переведутся, если ему позволят продолжать,— толковали фарисеи.

И отовсюду неслись упреки, жалобы.

— Защити нас, тетрарх! Пора покончить с этим человеком! Ты отступаешься от веры! Ты безбожник, как все Иродово племя!

— Меньше, чем вы! — возразил тетрарх...— Мой отец соорудил ваш храм.

Тогда фарисеи, сыновья изгнанников, сторонники Маттафии, начали упрекать тетрарха в преступлениях его семейства.

У иных из этих людей черепа были заостренные, взъерошенные бороды, слабые и как бы злые руки; у других — курносые рожи, круглые, выпученные глаза: они смотрели бульдогами. Человек двенадцать писцов и иерейских слуг, кормившихся остатками жертвоприношений, подбежало к самому помосту, обнажив ножи,— они грозили Антипе, который продолжал держать им речь, между тем как саддукеи неохотно и слабо заступались за него. Он увидел Маннаи и знаком повелел ему удалиться; Вителлий являл вид равнодушный, как бы давая знать, что всё это до него не касается.

Оставшиеся на триклиниуме фарисеи пришли вдруг в неистовую ярость: они разбили вдребезги стоявшие перед ними блюда. Им подали любимое кушанье Мецената — жареного дикого осла под соусом, а они гнушались этим мясом, как нечистым.

Авл глумился над ними, напоминая им ту ослиную голову, которую, по слухам, они считали святыней. Много других обидных слов высказал он по поводу их отвращения к свинине. Вероятно, они потому так ненавидели это животное, что оно убило их Вакха; и они, всеконечно,

были пьяницы, так как в их храме была найдена виноградная лоза, вычеканенная из золота.

Священники не понимали его слов. Финеас, родом галилеянин, отказался перевести их. Тогда Авл разгневался безмерно, тем более что «Азиат», перепугавшись, исчез. Обед не нравился Авлу: кушанья были грубые, недостаточно приправленные. Он, однако, успокоился при виде блюда из хвостов сирийских баранов, настоящих комков жирного сала.

Все эти иудеи, их поступки и нравы казались Вителлию гнусными. Их бог уж не тот ли Молох, думалось ему, алтари которого ему попадались по дорогам? Принесенные в жертву малые дети пришли ему на память, вместе с тем сказанием о неведомом некоем человеке, которого будто бы тайно откармливали эти иудеи. Его латинское сердце с негодованием отвращалось от их нетерпимости, от их иконоборной ярости, от их звериного упорства. Проконсул собирался уже удалиться... Но Авл не хотел встать с места.

Спустив свою хламиду до самых бедр, он лежал, распростертый перед целой грудой мяс и яств. Он до того был пресыщен, что уже ничего есть не мог,— но не в силах был оторваться от всей этой благодати.

Возбуждение толпы всё росло. Возникали мечты о независимости, вспоминалась древняя слава Израиля! Не подверглись ли все завоеватели небесной каре? Антигон, Красс, Вар...

— Негодяи! — воскликнул вдруг проконсул.

Он понимал по-сирийски — и держал при себе толмача только для того, чтобы дать себе время приготовить ответы.

Антипа поспешно достал медаль императора — и сам, с трепетом на нее взирая, показывал ее толпе со стороны лицевого изображения.

Но тут внезапно раскрылись створчатые двери золотой трибуны — и при ярком блеске свечей, окруженная рабами, гирляндами из анемон, появилась Иродиада. Ассирийская митра, прикрепленная подбородником, спускалась ей на лоб. Перекрученные кудри рассыпались вдоль пурпурного пеплума, прорезанного во всю длину рукавов. Каменные чудовища, подобные тем, что находились в Аргосе, над сокровищницей Атридов, вздымались по обеим сторонам дверей, и, стоя между ними,— она уподоблялась Цибеле, сопровождаемой ее двумя львами. С вы-

шины балюстрады, которая царила над тем местом, где находился Антипа, она, держа в руке плоский кубок, громко закричала:

— Да здравствует цезарь!

Вителлий, Антипа и священники тотчас подхватили этот крик. Но в это мгновение с конца залы пробежал гулкий говор изумления, удивления... Молодая девушка вошла в залу.

Под голубоватым вуалем, который закрывал ей голову и грудь, можно было различить полукруглые линии ее бровей, ее халкедоновые серьги, белизну ее кожи. Схваченный на талье золотым поясом, четырехугольный кусок шелковой ткани переливчатого цвета лежал на ее плечах; черные шальвары были усеяны изображениями мандрагор, и, небрежно и лениво постукивая своими маленькими туфлями из пуха райской птицы, она тихо подвигалась вперед.

На самом верху помоста она сняла свой вуаль. Она походила на Иродиаду в молодости. Потом она стала танцевать.

Она переставляла ноги одну перед другою, под лад флейты и пары кротал. Ее округленные руки призывали кого-то, который всё убегал от нее. Легче бабочки преследовала она его, словно Психея, в которой зажглось любопытство, словно тень души, осужденной скитаться... и, казалось, то и дело готовилась улететь.

Похоронные звуки «гингры» заменили кроталы. Безнадежное уныние заступило место резвой надежды. Каждое движение девушки выражало тоску — и вся она замирала в таком томлении, что невозможно было сказать, плачет ли она о покинувшем ее боге, или изнывает под его лаской. Полузакрыв ресницы, она крутила свой стан, волнообразно колыхала свои бедра, вздрагивала грудями — а лицо оставалось неподвижным. Зато ноги не останавливались.

Вителлий сравнивал ее с пантомимом Мнестером. Авла рвало по-прежнему. Тетрарх — словно во сне — терялся в мечтаниях. Он уже не думал об Иродиаде. Ему показалось, что она подошла к саддукеям. Но то видение удалилось.

Это не было видение. Иродиада — вдали от Махэруса — отдала в науку Саломею, свою дочь, в той надежде, что она понравится тетрарху. Ее расчет оказывался верным. Теперь она уже не сомневалась в этом.

Но вот пляска снова изменилась. То был неистовый порыв любви, жаждущей удовлетворения. Саломея плясала, как пляшут индийские жрицы, как нубиянки, живущие близ катаракт Нила, как лидийские вакханки. Она круто склонялась во все стороны, подобно цветку, поражаемому ударами сильного ветра. Блестящие подвески прыгали в ее ушах, ткань на ее плечах играла переливами; от ее рук, ног, от ее одежд отделялись невидимые искры, которые зажигали сердца людей. Арфа запела где-то — и толпа отозвалась рукоплесканиями на ее томительные звуки. Не сгибая колен и раздвигая ноги, Саломея нагнулась так низко, что подбородок ее касался пола,— и кочевники, привыкшие к воздержанию, римские воины, искушенные в забавах разврата, скупые мытари, старые, зачерствелые в диспутах жрецы — все, расширив ноздри, трепетали под наитием неги.

Затем она принялась кружить около стола Антипы с бешеной быстротою... и он, голосом, прерывавшимся от сладострастных рыданий, говорил ей: «Ко мне! Приди!..» Но она всё кружилась, тимпаны звенели буйно, с дребезгом — так и казалось, что вот-вот разлетятся они. Народ ревел — а тетрарх кричал всё громче и громче: «Ко мне! Приди ко мне! Я дам тебе Капернаум, долину Тивериады, все мои крепости, половину моего царства!»

Она вдруг упала на обе руки, пятками кверху, прошлась таким образом вдоль помоста, подобно большому жуку,— и внезапно остановилась.

Ее затылок и хребет составляли прямой угол. Темные шальвары, покрывавшие ее ноги, спустились через ее плеча — и окружили дугообразно ее лицо, на локоть о́т полу. Губы у ней были крашеные, брови чернее чернил, глаза грозные, страшные... Крохотные капельки на ее лбу казались матовым испарением на белом мраморе.

Она ничего не говорила. Она глядела на тетрарха — и он глядел на нее.

Кто-то щелкнул пальцами на трибуне. Саломея быстро взбежала туда, появилась снова — и, немного картавя, детским голоском произнесла:

— Я хочу, чтобы ты дал мне на блюде голову... голову...— Она позабыла имя — но тотчас же прибавила с улыбкой: — голову Иоаканама.

Тетрарх, словно раздавленный, опустился на ложе. Данное слово связывало его... Народ ждал...

«Но, быть может,— подумал Антипа,— это и есть та

предсказанная смерть... и она, обрушившись на другого, пощадит меня! Если Иоаканам точно Илия — он сумеет ее избегнуть; если же нет — убийство не представляет важности».

Маннаи стоял возле него... и понял его мысль. Он уже удалялся; но Вителлий позвал его обратно и сообщил ему пароль. Римские солдаты стерегли ту яму.

Всем точно полегчило. Через минуту всё будет кончено. Но Маннаи, верно, замешкался...

Он возвратился... На нем лица не было. Сорок лет он исполнял должность палача. Он утопил Аристовула, задушил Александра, заживо сжег Маттафию, обезглавил Зосиму, Паппаса, Иосифа и Антипатера... И он не дерзал убить Иоаканама! Зубы его стучали... всё тело тряслось.

Он увидел перед самой ямой — великого ангела самаритян; покрытый по всему телу глазами, ангел потрясал огромным мечом, красным и зубчатым, как пламя молнии. Маннаи привел с собою двух солдат, свидетелей чуда.

Но солдаты объявили, что не видели ничего, кроме еврейского воина, который бросился было на них — и которого они тут же уничтожили.

Обуянная несказанным гневом, Иродиада изрыгнула целый поток площадной, кровожадной брани. Она переломала себе ногти о решётку трибуны — и два изваянных льва, казалось, кусали ее плечи и рычали так же, как она. Антипа закричал не хуже ее. Священники, солдаты, фарисеи — все требовали отмщения; а прочие негодовали на замедление, причиненное их удовольствию.

Маннаи вышел, закрыв лицо руками.

Гостям время показалось еще продолжительнее... Становилось скучно.

Вдруг шум шагов раздался по переходам... Тоска ожидания стала невыносимой.

И вот — вошла голова. Маннаи держал ее за волосы напряженной рукой, гордясь рукоплесканиями толпы.

Он положил ее на блюдо — и подал Саломее. Она проворно взобралась на трибуну — и, несколько мгновений спустя, голова была снова принесена той самой старухой, которую тетрарх заметил сперва на платформе одного дома, а потом в комнате Иродиады.

Он отклонился в сторону, чтобы не видеть этой головы. Вителлий бросил на нее равнодушный взгляд.

Маннаи спустился с помоста — показал ее римским начальникам, а затем всем гостям, сидевшим с той стороны.

Они рассматривали ее внимательно.

Острое лезвие меча, скользнув сверху вниз, захватило часть челюсти. Судорога стянула углы рта, уже запекшаяся кровь пестрила бороду. Закрытые веки были бледно-прозрачны, как раковины, а кругом светочи проливали свой лучистый свет.

Голова достигла стола священников. Один фарисей с любопытством перевернул ее; но Маннаи, поставив ее снова стоймя, поднес ее Авлу, которого это разбудило.

Сквозь узкое отверстие ресниц мертвые зеницы Иоаканама и потухшие зеницы Авла, казалось, что-то сказали друг другу. Потом Маннаи представил голову Антипе; и слезы потекли по щекам тетрарха.

Факелы погасли. Гости удалились — и в зале остались только Антипа и Фануил. Стиснув виски руками, тетрарх всё смотрел на отрубленную голову; а Фануил, стоя неподвижно посреди пустой залы и протянув руки, шептал молитвы.

В самое мгновение солнечного восхода два человека, некогда отправленных Иоаканамом, появились с столь давно ожидаемым ответом.

Они сообщили этот ответ Фануилу, который тотчас восторженно умилился духом.

Он им показал ужасный предмет на блюде, между остатками пира.

Один из двух людей сказал ему:

— Утешься! Он сошел к мертвым, чтобы известить их о пришествии Христа.

Ессей теперь только понял те слова Иоаканама: «Дабы он возвеличился, нужно мне умалиться!»

И все трое, взявши голову Иоаканама, направились в сторону Галилеи.

Так как она была очень тяжела — они несли ее поочередно.

СТАТЬИ И РЕЦЕНЗИИ
1858—1881

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
1857—1880

ПРЕДИСЛОВИЯ
1856—1882

СТАТЬИ И РЕЦЕНЗИИ

ОБЕД В ОБЩЕСТВЕ АНГЛИЙСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ФОНДА

Письмо к автору статьи «О литературном фонде». «Библиотека для чтения», 1858

Я только на днях прочел вашу статью «О литературном фонде», любезнейший А⟨лександр⟩ В⟨асильевич⟩ (за границей я не видал «Библиотеки для чтения»). Нечего говорить вам, с каким сочувствием приветствовал я вашу мысль. В ожидании ее осуществления мне приходит в голову рассказать вам обед, данный Обществом лондонского литературного фонда и на котором я присутствовал в нынешнем году.

Лондонский литературный фонд обязан своим существованием, как бóльшая часть общественных учреждений в Англии, частному лицу. В конце прошлого столетия какой-то джентльмен, имя которого я, к сожалению, позабыл, пожертвовал дом и довольно значительную сумму денег на основание «фонда». Англичане не только умеют пускать в ход дельные мысли — они мастера осуществлять их, а главное: они мастера поддерживать раз начатое дело; они не скучливы, упрямы, одарены способностью «выдержки» и стыдятся *махнуть рукою*, как мы, грешные; фонд пошел в гору и процветает доныне. Много он принес пользы, много облегчил горя. Поддерживается он процентами с своего капитала и добровольными приношениями и пожертвованиями любителей литературы, во главе которых стоит королева. Многие из этих пожертвований взносятся ежегодно в виде постоянной ренты.

Раз в год (обыкновенно весной) «фонд» дает большой обед под председательством какой-нибудь знаменитости. В нынешнем году он состоялся под председательством лорда Пальмерстона. Я получил приглашение на этот обед чрез посредство г-на Монктона Мильнса, члена парламента, хорошего литератора и самого любезного и

обязательного человека в мире. В большой публичной зале (Martin's Hall) был накрыт стол человек на триста с лишком. Гости съехались к шести часам. Тут были артисты, литераторы, политические люди, ученые, простые джентльмены — все во фраках и белых галстухах. Я нашел свой билетик на приборе не в дальнем расстоянии от председателя, между местами г-на Ривса, одного из главных критиков «Эдинбургского обозрения», и Теккерея, который, однако, по нездоровью не приехал. Диккенса тоже не было; он долгое время был одним из ревностнейших участников «фонда», даже играл (он отличный комик) на публичных театральных представлениях в пользу «фонда». Но в прошлом году рассорился с комитетом (члены-участники «фонда» избирают ежегодно возобновляющийся комитет из нескольких лиц, которым поручается раздача пособий и т. д.). По его понятиям, комитет слишком много тратит денег на содержание секретаря, администрацию и т. п. Комитет возразил ему брошюрой (по-английски памфлетом), в которой он старался опровергнуть доводы знаменитого романиста; экземпляры этого памфлета раздавались по окончании обеда желающим; свой экземпляр я, к сожалению, оставил за границей. В нем, сверх возражений Диккенсу, находился краткий очерк истории «фонда» с его основания и отчет за прошлый (1857) год. Если не ошибаюсь, сумма розданных пособий значительно превышала тысячу фунтов стерлингов.

Лорд Пальмерстон не заставил долго ждать себя. Его встретили очень радушно и почтительно. Я с особенным любопытством смотрел на этого человека, имя которого стало до того известным в России по милости последней войны, что, помнится, однажды, в самой глуши Полесья, мужик спросил меня: «Жив ли Палмистрон?» Фигура у него аристократически изящная, манеры человека, привыкшего властвовать и породистого,— чего нет, например, у Дизраели, который смотрит фатом и артистом. Пальмерстон происходит, как известно, от старинной фамилии Темплов. Он держится прямо, ходит легко, лицо имеет белое и не очень измятое, с тонкими чертами,— только в глазах заметна, при хитрости, какая-то старческая неподвижность; много равнодушной надменности и упрямства выражают его сжатые губы и опустившиеся щеки; почти голый череп не велик и совершенно лишен органа идеальности, то есть, говоря не френологически, лоб очень покат; уши велики. Когда он смеется, всё лицо его ожив-

ляется и принимает веселое выражение, что редко у англичан; по словам людей, коротко его знающих, он очень любезный собеседник. Не без некоторой торжественности опустился он на председательское кресло; по левую его руку поместился г-н фан де Вейер, бельгийский посланник, маленький человечек с умными глазками и острым носом, постоянный вкладчик в литературный фонд, лицо очень популярное в литературном английском мире; а по правую руку Пальмерстона, на самом, следовательно, почетном месте, сел какой-то маркиз с идиотическим выражением лица, наследник громадного именья герцогов Бриджватерских; другого права на почет он не имел никакого, но и этого права слишком достаточно в свободной, но уважающей всякую силу, а стало быть и силу денег — Англии. Начался обед довольно плохой, как все вообще публичные обеды. Вместе с жарким появилось шампанское, и стоявший за креслом Пальмерстона «тостмастер» провозгласил здоровье королевы. Все поднялись, и раздалось девять оглушительных «ура» — three times three — три раза по три. Тостмастер кричал первый и подавал знак свитком, вроде жезла, который держал в руке. Не всякий может быть тостмастером; для этого нужно иметь представительную наружность и сильный голос. Хорошему тостмастеру платят довольно дорого. Здоровье королевы пили с большим одушевлением; она чрезвычайно любима своими подданными; да и притом, как заметил мне один мой английский приятель, каждый англичанин, который пьет за здоровье королевы, тем самым и в то же время пьет за собственное здоровье,— как тут не воодушевиться? Клики, сопровождаемые стукотней ножами по столу, утихли и тотчас возобновились. Пальмерстон поднялся и начал свой «спич». Вы знаете, что он незадолго пред тем принужден был за излишнюю угодливость соседнему правительству подать в отставку; популярность его сильно пострадала, но всё же не остыли «следы старинного пламени» — veteris vestigia flammae. Речь его не принадлежала к числу блестящих: он говорил о значении литературы, сравнивал судьбу писателя с судьбой художника, живописца, ваятеля; сказал несколько слов о расположении королевы Виктории к литературе,— раздались одобрительные восклицания — «cheers», с похвалами отозвался о принце Альберте, «с которым, по его словам, нельзя поговорить, не обогатившись новой идеей»,— все промолчали; известно, что супруг королевы

не пользуется особенной любовью англичан. Меня более всего занимала дикция Пальмерстона. Он говорил довольно медленно, как будто запинаясь, искал слов, в промежутках их произносил и растягивал букву *а*... *а*... помогал себе движениями правой руки и всегда находил красивое и точное окончание фразы. Он, видимо, импровизировал свою речь. Эта неловкость, эта постоянно возвращающаяся буква *а*, эти запинки составляют отличительную черту английской речи; люди, подобные Пальмерстону, тысячу раз говорившие публично, на митингах, в палате, на обедах, до конца дней своих не освобождаются от нее; мне сказывали англичане, что Фокс, Питт и Шеридан так говорили, даже блестящий Дизраели говорит так; и, странное дело! — эта черта становится понятна, почти приятна вам, как только вы свыкнетесь с англичанами, с их характером; она придает их речи какую-то естественность, что-то добродушное и неподготовленное, лишает ее всякого оттенка фразы. Голос Пальмерстона немного глух, как у старика, но всё еще силен и внятен. (Замечу кстати, что этот семидесятипятилетний старик ел за четверых и в нынешнем же году верхом съездил на Дерби — знаменитое место скачки, отстоящее верст тридцать пять от Лондона.) Пальмерстон сел на свое место посреди грома рукоплесканий. Известный геолог Мурчисон, высокий и плотный господин с внушительной наружностью, предложил тост в честь Пальмерстона и произнес речь, в которой изобразил его заслуги самыми яркими красками и кончил тем, что назвал его образцом истинного британца. Пальмерстон поблагодарил его и заметил, что Мурчисону, как геологу, занимающемуся возвышениями и упадками земной поверхности, очень легко делать оценку политических людей, в судьбе которых тоже есть возвышения и упадки... Все засмеялись этой добродушной иронии отставного министра над самим собою, и Пальмерстон сам больше всех рассмеялся. Потом господин фан де Вейер произнес отличным английским языком небольшую речь и кончил провозглашением тоста в честь английской литературы — и доктора Кризи. Кто этот доктор Кризи? — спросите вы. Дело в том, что предполагалось пить за здоровье Теккерея, и Теккерей, как я узнал после, приготовил было речь, которую он, с свойственным ему тщеславием (автор «Ярмарки тщеславия» — увы! — сам весь заражен осмеянным им пороком), называл превосходной, — но Теккерей заболел перед самым обедом; впопыхах не нашли никого другого, как именно

этого доктора Кризи, который только тем и прославился, что написал небольшую книжку о самых замечательных сражениях, начиная с Марафона. Забавно было видеть маленького фан де Вейера, с помощью лорнета отыскивавшего у себя на бумажке имя того ученого мужа, которого заслуги он только что расхвалил с жаром, но имя которого разобрал с трудом. Доктор Кризи отбарабанил свой спич без запинки, без буквы *а*, не хуже любого француза, напыщенно, цветисто и велеречиво. Я должен признаться, что мне решительно не понравилась эта манера, да и прочие слушатели остались холодны. Потом добрейший Монктон Мильнс провозгласил тост в честь литературы других наций и г-на Мериме, известного французского писателя, который тоже находился в числе приглашенных на обед. У Мериме чрезвычайно тонкое и умное, постоянно неизменное лицо; он слывет за эпикурейца и скептика, которого решительно ничто взволновать не может, который ни во что не верит и с вежливой, чуть-чуть презрительной недоверчивостью взирает на всякое изъявление энтузиазма. Он сенатор и пользуется расположением французского двора. Однако этот скептик побледнел, когда пришлось ему отвечать небольшим заученным спичем на любезные слова Мильнса (Мериме плохо знает по-английски), и голос его дрожал и прервался раза два; видно, самолюбие и в нем волноваться может, и даже сенатору не хочется осрамиться перед многочисленным собранием независимых людей. Потом секретарь «фонда» прочел отчет действий комитета за прошлый год и провозгласил поступившие пожертвования; список их был очень длинен; имена некоторых жертвователей, по значительности вкладов или потому, что принадлежали популярным лицам, встречались громкими рукоплесканиями. Я заметил, что идиотический маркиз, потомок герцогов Бриджватерских, пожертвовал всего пять фунтов стерл., стало быть, и тут он оказался плох: даже щедростью не походил он на Мецената,— а сидел на первом месте, подле Пальмерстона! Впрочем, справедливость требует сказать, что английские меценаты не таковы; у нас на Руси скорее можно найти личности, представляющие забавное, неправдоподобное и тем не менее действительно существующее слияние Мецената, Чичикова и Гарпагона.

Так кончился этот обед; и я ушел оттуда с тем чувством, которое не покидало меня в Англии всякий раз, как мне случалось встретиться лицом к лицу с каким-

нибудь выражением ее общественной жизни. Да,— говорил я самому себе,— и тут, как и везде, где проложил этот, исполненный недостатков, но великий народ след своего львиного когтя,— и тут сила, прочность, дельность! Чувство, что хорошее, полезное дело, совершающееся перед нашими глазами, в то же время обеспечено, что ему не позволят разрушиться, иссякнуть, что его поддержат, что ему дадут разрастись и принести все свои плоды,— отрадное чувство. Дай бог, чтобы и у нас затеянное вами предприятие так же принялось, так же преуспевало, как лондонский литературный фонд! Пусть литераторы, журналисты, все люди, которым дорога русская словесность, русская образованность, которые чувствуют ее пользу и важность, соединятся для доброго дела, и оно пойдет на лад — с Меценатами и без Меценатов!

Ив. Тургенев

С. Спасское.
30 октября 1858.

ЗАМЕТКА <О СТАТУЕ ИВАНА ГРОЗНОГО М. АНТОКОЛЬСКОГО>

Не могу не поделиться с читателями «СПб. ведомостей» тем отрадным впечатлением, которое произвело на меня новое проявление русского искусства. Я говорю о статуе г. Антокольского, представляющей Ивана Грозного. Мне довелось увидеть ее почти в самый день моего возвращения в Россию. Слухи о ней начали ходить в публике с конца прошлого года, но только весьма недавно небольшая мастерская молодого ваятеля в Академии художеств стала наполняться посетителями, желающими полюбоваться «новинкой». И сто́ит ею любоваться, сто́ит радоваться ей. По силе замысла, по мастерству и красоте исполнения, по глубокому проникновению в историческое значение и самую душу лица, избранного художником,— статуя эта решительно превосходит всё, что являлось у нас до сих пор в этом роде. Царь Иван представлен сидящим на богатом старинном кресле; на голове его скуфья; расстегнутый у ворота халат, в виде подрясника, охвачен простым поясом; тяжелая шуба в широких складках падает кругом; на коленях у него лежит, как бы скользя с них, раскрытое Евангелие; известный остроконечный посох воткнут в землю возле него. Тяжкое раздумье овладело им; он, видимо — один, положим, где-нибудь в отдаленном покое дворца в Александровской слободе. Он понурил голову, сдвинул брови, сжал губы — вниз и вбок устремил глаза... Одной рукой он оперся о ручку кресла, как бы собираясь встать; другая лежит бессильно, обвитая чётками, с подвернутыми пальцами. В наклоненном положении стана, в неровном рисунке плечей. в каждой черте типически верного, изможденного и все-таки величавого лица, в каждой подробности всей фигуры — так, кажется, и читаешь все ощущения, все чувства, мысли, которые смутно, и сильно, и горестно задвигались в этой усталой душе. Тут и страх смерти, и раздражение больного человека, избалованного беззаветной властью, и раскаяние, и сознание

греха, и застарелая злоба, и желчь, и подозрительность, и жестокость, и вечное искание измены... Он собирается встать, этот старый, злой, больной человек, который в одно и то же время и русский и царь, царь с ног до головы — не хуже короля Лира. И что он станет делать, как встанет? Пытать? молиться? или пытать и молиться? Не нужно быть особенно чутким человеком, чтоб понять, что хотел сказать художник. То, что он задумал изобразить,— дело сложное, как вообще всё человечески живое; но выполнил он свою задачу с такой очевидной ясностью, с такой уверенностью мастера, что не вызывает в зрителе ни малейшего колебания; а впечатление так глубоко, что отделаться от него невозможно; невозможно представить себе Грозного иначе, чем каким его подстерегла творческая фантазия г. Антокольского. По искренней правде, гармонии и несомненности впечатления его произведение напоминает древних, хотя, с другой стороны, оно всей сущностью своей принадлежит к новейшей, характерно-психологической, живописно-исторической школе ваяния. Особенно поразительно в этой статуе счастливое сочетание домашнего, вседневного и трагического, значительного... И с каким верным тактом всё это проведено! Укажу хоть на скуфью, которую, говорят, многие критики из традиционных классиков желали бы видеть устраненной и которую неподдающееся чутье художника, к счастью, удержало. Каким образом возвысился он до такого ясного понимания своей задачи — я, судя по прошедшему, не могу себе дать хорошенько отчета; но факт перед глазами, и поневоле приходится воскликнуть: «Spiritus flat ubi vult» [1].

Я в состоянии сообщить несколько достоверных сведений о художнике, так блистательно начавшем свою карьеру. Марк Матвеевич Антокольский родился в 1842 году в городе Вильно. Родители его содержали трактир, и до тринадцатилетнего возраста маленький Марк им помогал по хозяйству. Но страсть к рисованию в нем уже тогда развилась до того, что посетители трактира начали обращать внимание родителей на их сына. Они отдали мальчика в учение к позументщику; Марку это занятие не пришлось по вкусу—и родители решились сделать его резчиком. У нового хозяина Марк, заваленный дневной работой, по ночам должен был прятаться на чердаке, чтоб

[1] «Дух веет, где хочет» *(лат.)*.

предаваться там на свободе своему любимому занятию — рисованию. Натерпевшись горя до семнадцати лет, он не выдержал более этой жизни — и убежал от хозяина. Резчицкой работой он добывал себе средства к пропитанию. На двадцать втором году от роду он сделал «Головы Христа и божьей матери» из дерева; профессор Пименов заметил это произведение, и Антокольский решился поступить в Академию вольнослушающим. В 1864 году он сделал «Еврея-портного» из дерева, за что получил серебряную медаль. В 1865 году сделал «Скупого» из кости, за что снова получил медаль и стипендию от государя-императора. Газеты начали хорошо отзываться о нем. Первым вполне серьезным произведением г. Антокольского была группа: «Христос и Иуда»; потом в 1868 году он изобразил «Нападение инквизиторов на евреев». Это произведение, в котором г. Антокольский попытался представить не одни фигуры, но и обстановку их, возбудило протест со стороны художников и любителей, которые находили, что в нем он переступил границы ваяния. Продолжать работать после 1868 года в Академии стало ему невозможным, так как классные занятия он кончил, а конкурировать вольнослушающим не дозволяется. Г-н Антокольский поехал в Берлин, но скоро оттуда возвратился и в 1870 году принялся за Ивана Грозного.

Несколько дней тому назад совет Академии произвел его в академики — и, как слышно, он получил заказ на исполнение своей статуи из бронзы. Смею думать, что было бы желательнее видеть ее исполненной из мрамора, так как мрамор гораздо способнее передать всю тонкость психологических черт и деталей, которыми изобилует произведение г. Антокольского. Замечу кстати, что подходящая к тому же роду скульптуры, известная, тоже сидящая, фигура Вольтера в Париже, работы знаменитого Гудона (Houdon) — тоже из мрамора.

К сожалению, здоровье г. Антокольского далеко не удовлетворительно; врачи посылают его в Италию, и должно желать, чтоб как можно скорее попали ему в руки те средства, которых у него нет и без которых поездка в чужие края немыслима. Было бы грустно думать, что скорое осуществление подобного желания может встретить какие-либо препятствия.

С.-Петербург,
18 февраля 1871 г.

HISTORY OF A TOWN. Edited by M. E. Saltykoff. (Istoriya odnogo goroda.) St.-Petersburg, 1870.

This is a book which in spite of its eccentricity, an eccentricity even running somewhat into caricature, will not only be read with pleasure by lovers of humour and of satirical *verve*, but will doubtless be taken into consideration by the future historian of the changes through which the face of Russian society has passed during the last hundred years. Its author, who usually writes under the name of Stchedrine, but whose real name is Saltykoff (a descendant, by the way, of the ancient family of Moscow Boyars of that name), after having, like many other writers suspected of propagating liberal opinions, undergone his time of persecution and of exile under the Emperor Nicholas, acquired a great deal of popularity by the publication, some fifteen years ago, of a series of sketches called *Scenes of Provincial Life (Gubernskie Ocherki)*, in which he lashed with indomitable vigour the numerous abuses then current under the name of Government and Justice.

Saltykoff's manner as a satirist somewhat resembles that of Juvenal. His laughter is bitter and strident, his raillery not unfrequently insulting. But, as we have already said, his violence often assumes the form of caricature. Now there are two kinds of caricature: that which exaggerates the truth, as with a magnifying glass, but which never entirely alters its nature, and that which more or less consciously deviates from the natural truth and proportion of fact. Saltykoff indulges in the first kind only, the only admissible one. It is the natural consequence of his character: kind and sensitive at bottom, but superficially rude. At the same time he is very delicate in his perceptions, which have something of instinct and divination about them. He has read much, and above all he has seen much. In fact he knows his own country better than any man living. The *History of a Town* — which is in reality a sort of satirical history of Russian society during the second half of the past and the beginning of the present century, under the form of

a burlesque description of the town of Glupoff, and of the governors who successively ruled over it from 1762 to 1826 — could not well be translated in its entirety, nor do I think that it could be understood or appreciated by a Western public. The «taste of the soil» is too perceptible, and the language too often runs into slang. Frequently too the author allows his fancy to run away with him in a manner quite preposterous. In the series of typical Governors of Glupoff (Dullborough), for instance, there is one who has for his head a *pâté de foie gras*, which is eventually devoured by the «Marshal of the Nobility», a great *gourmand* and lover of truffles. Such absurdities as these, very possibly, have been introduced on purpose, in order to discomfit the overattentive or official reader.

There is something of Swift in Saltykoff; that serious and grim comedy, that realism — prosaic in its lucidity amidst the wildest play of fancy — and, above all, that constant good sense—I may even say that moderation—kept up in spite of so much violence and exaggeration of form. I have seen audiences thrown into convulsions of laughter by the recital of some of Saltykoff's sketches. There was something almost terrible in that laughter, the public, even while laughing, feeling itself under the lash. I repeat that the *History of a Town* could not be translated as it stands, but I think that a selection might be made out of the different forms of its Governors which pass before the reader's eyes, sufficient of give an idea to foreigners of the interest excited in Russia by a strange and striking book— one which, under a form necessarily allegorical, offers a picture of Russian history which is, alas! too true. More particularly I would call attention to the sketch of the Governor Ugrium-Burcheeff, in whose face every one has recognised the sinister and repulsive features of Arakcheeff, the all-powerful favourite of Alexander I during the last years of his reign.

Ivan Tourguéneff

Перевод

ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОРОДА. Издал М. Е. Салтыков. С.-Петербург, 1870

Вот книга, которую, несмотря на ее эксцентричность, переходящую местами даже в карикатурность, не только будут с удовольствием читать любители юмора и сатирической verve [1], но несомненно примет во внимание и будущий историк перемен, преобразивших за последние сто лет физиономию российского общества. Автор ее, пишущий обыкновенно под именем Щедрина, но в действительности носящий имя Салтыкова (к слову сказать, потомок древнего рода московских бояр), был подобно многим другим писателям заподозрен в распространении либеральных идей и испытал свою долю преследований и ссылки при императоре Николае. Позднее он приобрел широкую известность, опубликовав лет пятнадцать назад серию рассказов под названием «Губернские очерки», в которых с неукротимой силой бичевал многочисленные злоупотребления, царившие тогда под именем Власти и Правосудия.

Своей сатирической манерой Салтыков несколько напоминает Ювенала. Его смех горек и резок, его насмешка нередко оскорбляет. Но, как мы уже сказали, его негодование часто принимает форму карикатуры. Существует два рода карикатуры: одна преувеличивает истину, как бы посредством увеличительного стекла, но никогда не извращает полностью ее сущность, другая же более или менее сознательно отклоняется от естественной правды и реальных соотношений. Салтыков прибегает только к первому роду, который один только и допустим. Это — естественное проявление его характера, в котором внутренняя доброта и чувствительность скрыты под внешней суровостью. В то же время он обладает настолько тонкой восприимчивостью, что даже способен к интуитивному прозрению. Он много читал, а главное, много видел. Действительно, он знает свою страну лучше, чем кто бы то ни было. «История одного города» — это в сущности сатирическая история русского общества во второй половине прошлого и в начале нынешнего столетия, изложенная в форме комического описания города Глупова и начальников, последовательно правивших им с 1762 по 1826 г.

---

[1] страстности *(франц.)*.

Целиком перевести ее невозможно, и западная публика, я думаю, не поняла бы и не оценила бы ее. Местный колорит здесь слишком силен, а язык слишком часто сбивается на жаргон. Часто также автор дает полную волю своему воображению и доходит до совершенных нелепостей. Так, например, в ряду типичных градоначальников Глупова есть один, у которого вместо головы — pâté de foie gras [1]; в конце концов ее пожирает предводитель дворянства, большой gourmand [2] и любитель трюфелей. Весьма возможно, что подобные нелепицы введены с умыслом, чтобы сбить с толку слишком бдительного или чиновного читателя.

В Салтыкове есть нечто свифтовское: этот серьезный и злобный юмор, этот реализм, трезвый и ясный среди самой необузданной игры воображения, и особенно этот неколебимый здравый смысл (я бы даже сказал — сдержанность), сохраняемый несмотря на неистовства и преувеличения формы. Я видел, как слушатели корчились от смеха при чтении некоторых очерков Салтыкова. Было что-то почти страшное в этом смехе, потому что публика, смеясь, в то же время чувствовала, как бич хлещет ее самое. Повторяю, «Историю одного города» нельзя перевести полностью, но я думаю, что из вереницы городничих, проходящих перед глазами читателя, достаточно было бы отобрать несколько типов, чтобы дать иностранцам представление о том интересе, который возбудила в России эта странная и поразительная книга, представляющая в аллегорической по необходимости форме слишком верную, увы! картину русской истории. В особенности я хотел бы обратить внимание на очерк о городничем Угрюм-Бурчееве, в лице которого все узнали зловещий и отталкивающий облик Аракчеева, всесильного любимца Александра I в последние годы его царствования.

Иван Тургенев

---

[1] паштет из гусиной печенки *(франц.)*.
[2] гурман *(франц.)*.

KRILOF AND HIS FABLES. By W. R. S. Ralston. Third edition, greatly enlarged.

The words «third edition» are particularly agreeable to the ears of a Russian, in connection with this issue of Mr. Ralston's excellent translation of Krilof's fables, as they prove that English readers are beginning to feel an interest in the literature of his country, and in the national life and character which they have hitherto only contemplated from a political point o view. And Krilof certainly deserves all the attention thus bestowed upon him. He is the only original fabulist who has appeared since La Fontaine; and though he does not, perhaps, equal the exquisite grace of the inimitable Frenchman, though he has fewer sly strokes of wit, less cunning simplicity in telling a story, he has, on the other hand, more originality of invention. His observant good sense penetrates to the roots of things, and he possesses a genuine kind of phlegmatic humour which betrays the Oriental element in Slavonic nature. In his birth and all the circumstances of his life Krilof was as Russian as possible: he was essentially national in his ways of thinking, feeling, and writing; and it may be maintained without exaggeration that a foreigner who has carefully studied Krilof's fables will have a better idea of the Russian national character than if he had read through all the travels and essays that attempt to describe it. Russian children learn Krilof by heart as French ones do La Fontaine, without entering into all the wisdom of his teaching, but in later life they return to him with double profit. Like La Fontaine, but to a still greater degree, Krilof has supplied the public conscience with a number of precepts and adages and sayings which have become proverbial even in the mouth of unlettered peasants; no one is oftener quoted than he, and, like the Bible and Shakespeare in England, those who quote him have often no idea of their obligation—proof positive that his work has been completely absorbed into the national popular life from which it sprung. The present day offers no higher reward to literary ambition than this faint reflec-

tion of the past grandeur of epic poetry, which is only great because it is impersonal.

Mr. Ralston's translation leaves nothing to desire in the matter of accuracy or colouring, and the fables which he has added are not amongst the least welcome. The short preface and memoir prefixed to the volume, and the historical and literary notes on some of the fables, have been done conscientiously and *con amore*. It will not be his fault if Krilof does not prove to be thoroughly «naturalised» in England.

Personally, the present writer remembers to have seen Krilof once a short time before his death. He had a majestic head rather massive and heavy, fine white hair, pendent cheeks, the mouth large but well formed and earnest, the eye fixed and eyelid drooping, an expression of indolence and almost of apathy on the whole face, but with intelligence and humour, as it were, showing through. He scarcely ever spoke, but listened—brilliantly, if I may say so, since his silence was accompanied by an internal sort of smile, as if he were imparting to himself a number of lively observations never destined to be given to the world.

One anecdote of Krilof has been communicated to us by the person who witnessed the incident, which throws additional light on his indolent and original character. A large and heavy picture, which hung just above the place where Krilof generally sat, had slipped from one of the nails which supported it and threatened to fall on the head of the thoughtless fabulist. His attention was called to the danger, and he replied quietly: «Oh! I have studied the situation, and I calculate that if the picture falls, it will take a diagonal line, just clear of my head». And so, for a long time, the picture continued to hang askew and Krilof to sit under it.

I. Tourguéneff

Перевод

КРЫЛОВ И ЕГО БАСНИ. Пер. В. Р. Рольстона. 3-е издание, значительно расширенное.

Слова «третье издание», относящиеся к выходу басен Крылова в прекрасном переводе г. Рольстона, звучат особенно приятно для уха каждого русского, так как они показывают, что английский читатель начинает интере-

соваться его родной литературой, жизнью и характером его народа, которые до сих пор рассматривал лишь с политической точки зрения. Что касается самого Крылова, то он, без сомнения, вполне заслужил всё то внимание, которое ему оказывают. Это единственный оригинальный баснописец, появившийся со времени Лафонтена. И если он не достиг неподражаемой грации своего французского предшественника, его удивительного, лукавого простодушия, то зато у него больше оригинальной выдумки, чем у Лафонтена. Его наблюдательность и здравый смысл позволяют ему проникать в самый корень вещей, и он обладает неподдельным, несколько флегматичным юмором, который указывает на восточный элемент, присущий славянской натуре. С самого детства Крылов всю свою жизнь был типичнейшим русским человеком: его образ мышления, взгляды, чувства и все его писания были истинно русскими, и можно сказать без всякого преувеличения, что иностранец, основательно изучивший басни Крылова, будет иметь более ясное представление о русском национальном характере, чем если прочитает множество сочинений, трактующих об этом предмете. Русские дети заучивают наизусть басни Крылова, как французские — басни Лафонтена, но они не в состоянии понять заключенного в них глубокого смысла. Лишь вернувшись к ним позднее, они постигают их мудрость, и это приносит им двойную пользу. Подобно Лафонтену, но в значительно большей степени, Крылов обогатил общественное сознание множеством наставлений, пословиц, изречений, ставших поговорками и вошедших в язык даже неграмотного крестьянина. Никого не цитируют так часто, как Крылова, и, подобно тому, как это случилось с библией и Шекспиром в Англии, те, кто цитирует его, часто даже не подозревают, кому они обязаны тем или иным выражением. Нужно ли лучшее доказательство того, что произведения Крылова всецело вошли в народную жизнь, то есть возвратились к своему первоисточнику. В наши дни литературное честолюбие не может желать более высокой награды, хотя это лишь слабое отражение прошлого величия эпической поэзии — великой именно потому, что она безлична (impersonal).

Перевод г. Рольстона не оставляет желать ничего лучшего в смысле точности и колоритности, а добавленные им в этот сборник басни лишь послужили его украшением. Коротенькое предисловие и биографичес-

кий очерк Крылова, которыми Рольстон снабдил свою книжку, а также исторические и литературные замечания к некоторым басням сделаны добросовестно и даже с любовью. И не его вина, если Крылов пока еще не «натурализовался» в Англии.

Пишущий эти строки припоминает, что видел Крылова незадолго до его смерти. У него была величественная голова, несколько массивная и тяжелая, прекрасные седые волосы, немного отвислые щеки, большой, но правильный и серьезный рот, неподвижные глаза с полуопущенными веками, ленивое, почти апатичное выражение лица, сквозь которое просвечивал живой ум и юмор. Он почти не говорил, но слушал — блестяще, если можно так выразиться, ибо его молчание сопровождалось чем-то вроде внутренней улыбки, как будто, наблюдая, он делал про себя много замечаний, которые, однако, никогда не собирался поведать миру.

Мы слышали от очевидца анекдот из жизни Крылова — этот анекдот хорошо передает его ленивый и оригинальный характер. Большая тяжелая картина, висевшая как раз над тем местом, где обыкновенно сиживал Крылов, соскочила с одного из державших ее гвоздей и грозила упасть прямо на голову беспечного баснописца. Когда Крылову указали на эту опасность, он спокойно ответил: «О! я изучил положение картины и рассчитываю, что если она сорвется, то пролетит по диагонали, как раз мимо моей головы». Таким образом, картина долгое время висела криво, а Крылов продолжал спокойно сидеть под ней.

И. Тургенев

О КНИГЕ А. БОЛЬЦА

Г-н А. Больц — один из немногих немцев, основательно и научно знающих русский язык, и его учебник, составленный по методе Робертсона и выходящий ныне «четвертым» изданием, — без всякого сравнения лучшая книга, напечатанная по этой части за границей. Как специалист-филолог, он воспользовался трудами наших ученых и, между прочим, с особенным старанием изучил сочинения г. Буслаева. Он также известен как хороший переводчик с русского.

Положенный им в основание своего труда рассказ (из повестей Белкина) разобран с умением и тактом и уроки распределены с замечательной последовательностью.

Мы смело рекомендуем сочинение г. Больца всем желающим приобрести в скором времени положительные познания в русском языке.

⟨ПЕРЕВОД «ДЕМОНА» НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК⟩

Со времени великих наполеоновских войн начала нынешнего столетия Россия, ее политика, ее будущность, ее историческая роль стали, как известно, возбуждать особенное внимание европейцев; но только в последнее время внимание это обратилось на русскую литературу и начали появляться переводы всех более замечательных русских произведений на так называемые «культурные» языки. Англичане, вообще не слишком податливые на подобное присвоение чуждых элементов, не остались, однако, позади: стоит упомянуть добросовестные труды почтенного В. Рольстона. Позволяем себе довести до сведения отечественных читателей о появлении нового труда в том же направлении. Молодой английский литератор А. Стифен, изучивши русский язык — он для этой цели посетил наше отечество — и пленившись красотами лермонтовской музы, перевел «Демона» стихами, что составляет подвиг немалый, особенно если принять в соображение красивую сжатость и энергию лермонтовского стиха, правда, не достигшего еще в «Демоне» своей окончательной формы. Г-н Стифен не скрывал от самого себя трудностей своего предприятия: перевод в прозе имел бы на своей стороне важное преимущество большей точности и верности — но поэтическая физиономия утратила бы свои права. Должно сознаться, что г. Стифен — в целом — удачно разрешил свою задачу, хотя он и был вынужден в иных местах своего переложения несколько расплыться в ширину и прибегать к реторической фразеологии, освещенной байроновской традицией. Как бы то ни было, нам кажется, что он имеет право на русское спасибо, тем более что, по слухам, «Демон» встретил очень лестный прием со стороны английской публики.

ПЯТЬДЕСЯТ НЕДОСТАТКОВ РУЖЕЙНОГО ОХОТНИКА И ПЯТЬДЕСЯТ НЕДОСТАТКОВ ЛЕГАВОЙ СОБАКИ

Сообщая прилагаемые заметки о недостатках ружейного охотника и легавой собаки, заметки, внушенные мне многолетним опытом,— я далек от мысли, что «исчерпал», как говорится, «свою задачу», и хотел только указать на главнейшие из этих недостатков. Если же кому придет в голову спросить меня, зачем я не перечислил *достоинств* охотника и собаки, то я отвечу, что на эти достоинства указывают самые недостатки: стоит только взять их противоположную сторону.

НЕДОСТАТКИ ОХОТНИКА

1. Не любит вставать рано.

2. Скоро устает на охоте.

3. Нетерпелив, легко раздражается, досадует на себя, теряет хладнокровие и неизбежно начинает дурно стрелять.

4. Дурно ходит, не кружит, нестарательно отыскивает дичь, не довольно упорствует в однажды принятом направлении.

5. Слишком долго топчется на одном месте.

6. Не умеет одеваться сообразно временам года.

7. Не принимает надлежащих мер предосторожности против дождя, ветра и пр.

8. Скучает и впадает в уныние, когда мало дичи.

9. Не приметлив, не обращает внимания на привычки дичи, на условия местности и времени — или хочет всё переупрямить: и дичь, и собаку, и погоду, и самую природу.

10. Не следит *постоянно* глазами за собакой.

11. Слишком ее муштрует, не доверяет ей, заставляет ее искать так, как ему кажется лучшим, сбивает ее с толку.

12. Торопится, лепечет: «Аппорт! шерш!», когда хочет, чтоб собака отыскала поскорее убитую или подстре-

ленную дичь, а не наводит собаку на замеченное место *молча*.

13. Орет на собаку, свистит, вопит, когда она. напр⟨имер⟩, погналась за зайцем и уже ничего не слышит да и слышать не может.

14. Без толку наказывает собаку или вовсе не наказывает ее; непоследователен и нелогичен в своем поведении с нею.

15. Стреляет собаке в зад, когда она гоняет,— варварство непростительное!

16. Не наблюдает сам за едой собачьей, отчего большей частью собаки скверно кормлены. Овсянка — отличное кушанье, но только под условием, чтоб она была хорошо заварена.

17. Нерешителен; легко конфузится. Когда дичь появляется внезапно — нужно стрелять... а он только ахает.

18. Жалеет патроны: скуп. Это уже самое последнее дело.

19. Стреляет слишком скоро из обоих стволов и не целясь; так что если попадет в дичь, то превращает ее в тряпку.

20. Слишком долго целится — отпускает дичь слишком далеко; старается «навести» ружье, чтó никуда не годится.

21. Не имеет «прикладу», то есть не умеет быстро и ловко выкинуть ружье или дурно вскидывает: упирается в плечо одним концом приклада.

22. Не умеет стрелять, не видя дичи (напр⟨имер⟩, в чаще),— по соображению.

23. Не довольно быстр при стрелянии, что особенно важно, когда находишься на узенькой дорожке в лесу.

24. Не умеет (на облаве) зорко и отчетливо оглядываться по обеим сторонам.

25. Когда, выстрелив, заряжает ружье, не держит при себе собаки, отпускает ее; тетерева и куропатки из выводка поднимаются, вспугнутые собакой, а охотнику остается только скрежетать зубами.

26. Хуже стреляет по дичи бегущей или летящей слева направо, чем справа налево.

27. Не умеет брать вперед дичи на дальнем расстоянии; не умеет повышать ружье, целясь в птицу, прямо на него летящую, или понижать цель, когда стреляет в перелетевшую через голову и удаляющуюся дичь.

28. Стреляет за 100, за 200 шагов. Есть такие, которые валяют и на 300, даже на 400 шагов, да еще мелкой дробью.

29. На облаве неосторожно стреляет то в направлении загонщиков, то в направлении товарищей.

30. Не стыдится стрелять в лежачего зайца или сидячую птицу.

31. Неосторожно носит ружье со взведенными курками, с дулом, направленным против товарищей, между тем как следует всегда помнить мудрое изречение одного французского спортсмена: «Бывали примеры, что простые зонтики внезапно выстреливали».

32. Падая с ружьем, не осматривает немедленно — не забилась ли земля в дуло, отчего может произойти разрыв ствола.

33. Не в состоянии воздержаться от выстрела по дичи, когда по каким-нибудь причинам стрелять по ней нельзя; или стреляет по дичи, которая направляется на товарища.

34. Стреляет без позволения из-под чужой собаки.

35. Ложится под куст и, как только товарищ что-нибудь найдет, является немедленно, бежит на выстрел.

36. Когда долго ничего не попадается, стреляет по галкам, по маленьким птичкам, по ласточкам — бесполезная жестокость!

37. Не умеет примечать, куда падает подстреленная дичь.

38. Жалуется на свое несчастье товарищам, которым до этого дела нет.

39. Шумит и разговаривает там, где нужно безмолвствовать.

40. Суеверен: придает значение приметам, толкует о «удаче» и «неудаче» и т. п.

41. При «неудаче» принимает убитый или обиженный вид, что тоже неприятно товарищам, а в случае «удачи» трунит и рисуется.

42. Завистлив, не переносит удачи товарища, старается отбивать у него лучшие места.

43. Держит свои снаряды в беспорядке и в нечистоте.

44. Не наблюдает за смазкой и исправностью своей обуви, отчего часто натирает ноги.

45. Слишком много ест и пьет на охоте.

46. Спит на охоте. Этакому стрелку гораздо приличнее сидеть дома.

47. Боится сырости, ветра или жары.

48. Во время жары беспрестанно пьет воду, что, во-

первых, вредно, а во-вторых, нисколько не утоляет жажды.

49. Неправдив в своих охотничьих рассказах — общеизвестный, весьма распространенный, впрочем безвредный, иногда даже забавный недостаток.

50. Не дает товарищам хвастаться или даже прилыгать в своем присутствии... негуманная черта!

НЕДОСТАТКИ ЛЕГАВОЙ СОБАКИ

1. Чутье имеет неверное или плохое.

2. Ищет медленно или всё по прямой линии, или топчется на месте, не «кружит», не «метет» направо и налево.

3. Ищет слишком быстро, во все лопатки, как это часто делают сеттера; оно красиво, но иногда безопасно для дичи, которая остается в стороне.

4. Отдаляет в иску, то есть постепенно удаляется от охотника.

5. В лесу не ищет близко.

6. Идет по следу слишком медленным авансом, что особенно невыгодно при охоте за куропатками; известно, что эта птица шибко бежит.

7. Бросается со стойки и хватает дичь, что особенно часто случается с молодыми тетеревами и зайцами, или ловит дичь на взлете.

8. Врет, то есть делает фальшивые стойки.

9. Стойку имеет беспокойную, подвигается помаленьку вперед, шевелится, особенно при приближении охотника.

10. Вовсе не имеет стойки или имеет стойку очень короткую — не выдерживает.

11. Стойку имеет слишком мертвую и не вспугивает дичи, когда ей командуют «Пиль!» — что иногда необходимо; напр⟨имер⟩, при охоте на вальдшнепов в чаще.

12. Не отходит от стойки, когда ее хозяин зовет, что особенно бывает неприятно в сплошных и густых кустарниках; случается, что охотник целый час принужден отыскивать свою собаку.

13. Не умеет находить подстреленную или убитую дичь. Это бывает сплошь да рядом с собаками, одаренными отличным чутьем. Правда, охотники большей частью сами виноваты, заторапливают ее и т. д. (см. № 12 недостатков охотника).

14. Гоняет за птицей или за зайцем с лаем или молча, вспугнет птицу и опять погонит.

15. Увидев, где птица опустилась, бросается туда и вспугивает ее.

16. Не «аппелиста», не возвращается на свист.

17. Услышав выстрел, хотя бы в отдалении, бежит туда.

18. После выстрела не ждет, чтобы ей приказали поднять дичь, и бросается сама поднимать ее.

19. В предвидении наказания не дается в руки охотнику, не подходит к нему, кружит около.

20. Кусается, когда ее наказывают.

21. Завистлива, ищет дурно и вообще ведет себя неприлично, когда в поле находится другая собака.

22. Мешает своим товаркам.

23. Когда другая собака ищет, беспрестанно останавливается и смотрит на нее: не нашла ли та чего-нибудь?

24. Даже когда нет другой собаки, то и дело останавливается, вертит хвостом и оглядывается: нет ли чего?

25. Не тотчас подает хозяину дичь.

26. «Муслит» дичь, то есть забирает ее во весь рот и как бы жует ее.

27. Давит дичь — кишки вон!

28. Ест дичь (большей частью с голоду).

29. Скоро устает и начинает, как говорится, «чистить шпоры», то есть идет следом за охотником. Собаки, у которых жирные лапы, устают скорее других.

30. Боится жары, сильного ветра.

31. Боится холода: дрожит, жмется и переминается. Боится сырости болотной и ранней изморози.

32. Не идет в воду за убитой дичью.

33. Если дичь упала на противуположном берегу речки, переплывает ее, достает дичь, а обратно через речку не приносит.

34. Не доносит до хозяина убитую дичь или поноску и роняет ее в нескольких шагах от него.

35. Боится выстрела, и либо отбегает в сторону, либо крадется вслед за охотником шагах от него в пятидесяти.

36. Убегает с поля домой.

37. Дерется с другими собаками, отбивает у них дичь.

38. Имеет отвращение к известного рода дичи (большей частью болотной) и не подает ее.

39. Слишком нежна на рану, не переносит укола лапы или ушиба

40. Не остается позади, когда ей скомандовали: «Назад!»

41. Когда на сворке, вместо того чтобы идти по пятам охотника, лезет вперед, вытягивает сворку и тащит охотника за собою.

42. Перегрызает веревку, когда привязана.

43. Не остается на месте, когда охотник скомандовал ей: «Куш!» — удаляется от него (например, для того, чтобы подкрасться под уток).

44. Капризничает и не верит охотнику, когда тот, например, заставляет ее искать переместившуюся птицу.

45. Капризничает в еде и тем лишает себя сил на охоту.

46. В телеге или в экипаже не лежит смирно во время езды, а всё лезет вверх.

47. Когда радуется, прыгает на охотника и раздирает ему платье когтями.

48. Страстно любит отыскивать ежей и лает на них.

49. Делает изумительно твердые и красивые стойки над жаворонками.

50. Не понимает, что во время облавы должно держаться смирно и не шуметь: чешется, хлопает ушами или вдруг примется чихать, как бешеная.

ALEXANDRE III

Non seulement en Russie, mais dans l'Europe entière on attend anxieusement les premiers actes du nouveau souverain, pour tâcher de préjuger quelles seront par la suite son attitude, ses tendances, toute sa manière de gouverner.

On espère beaucoup. On craint beaucoup. On commente tout ce qu'on sait de sa vie et on en tire des conclusions; puis on se dit: «L'horrible mort de son père ne changera-t-elle pas absolument ses opinions acquises et connues dès maintenant?»

Nous allons essayer de tracer aussi judicieusement que possible le caractère vrai de ce prince, de pénétrer en lui, de voir son cœur, qui n'est point double ou rusé; et, de cette connaissance de l'homme, nous tâcherons de déduire la conduite qu'il tiendra sur le trône, à moins que des événements imprévus ne le forcent à suivre une route contraire à sa nature.

I

Alexandre III possède plusieurs de ces qualités puissantes qui font, sinon les grands, du moins les bons et les vrais souverains. Chaque homme naît avec des aptitudes particulières pour une profession quelconque; ce prince semble né avec des aptitudes réelles pour le pouvoir.

Il est dans la force de l'âge, sain de corps et d'esprit, de grande allure, d'aspect royal. Son caractère est calme, réfléchi, énérgique, équilibré. La note dominante en lui, la qualité qui enveloppe pour ainsi dire toutes les autres est l'honnêteté, une honnêteté scrupuleuse, absolue, sans pactisations et sans mélange. Rien qu'à le voir, on le sent loyal des pieds à la tête, sans plis dans la pensée, d'une sincérité rigide; mais cette excessive droiture ne va pas sans une nuance d'entêtement qui en est comme la conséquence.

On connaît son passé.

Appelé à la succession de l'empire par la mort de son frère, n'ayant reçu jusqu-là qu'une éducation purement militaire, il s'est mis au travail avec une volonté et une persévérance remarquables, s'efforçant de devenir digne du grand trône où il devait monter; il est à constater, d'ailleurs, que le nouveau tzar a plutôt une tendance à douter de lui, de son savoir et de son esprit, une sorte de modestie réelle en face de la situation souveraine où le place la destinée — modestie qui n'exclut pourtant ni l'esprit de suite ni l'énergie dans la volonté.

Seul de sa race, peut-être, il est chaste, et il l'a toujours été. Il a souvent manifesté dans sa propre famille sa profonde répugnance pour l'inconduite.

Des gens élévés avec lui affirment que, même enfant, il n'a jamais menti. Et il pousse si loin ses scrupules de franchise qu'au moment d'épouser, pour des raisons politiques, la fiancée de son frère mort, il ne lui a point caché qu'il aimait une autre femme, la princesse M..., qui devint plus tard l'épouse du très riche et très célèbre M.D... Sa confidence, du reste, eut un écho, car sa fiancée ne lui dissimula point qu'elle avait aimé passionnément son frère. Et cependant ils ont formé un ménage modèle, un ménage surprenant de concorde et d'affection persévérante.

On a beaucoup parlé de la sympathie qu'il semblait éprouver pour tel peuple et de l'antipathie qu'on lui prêtait contre tel autre. On a aussi fait circuler des légendes, des histoires de verre brisé, etc., qui sont de pure invention. Tout ce qu'on peut dire de lui, c'est qu'il est Russe, et rien que Russe. Il présente même un singulier exemple de l'influence du milieu, selon la théorie de Darwin: c'est à peine si dans ses veines coulent quelques gouttes de sang russe, et cependant il s'est identifié avec ce peuple au point que tout en lui, le langage, les habitudes, l'allure, la physionomie même sont marqués des signes distinctifs de la race. Partout, en le voyant, on nommerait sa patrie.

On a prétendu qu'il détestait les Allemands. Mais on a confondu les Allemands d'Allemagne avec les Allemands de Russie: ce sont ces derniers qu'il n'aime point.

On a affirmé qu'il chérissait la France avant toutes les nations. Le chauvinisme français a peut-être exagéré. Voici la vérité sur cette sympathie qu'on lui prête depuis longtemps:

Avant 1870, il avait montré des sentiments très libéraux; il paraissait l'allié de cœur des républicains fran-

çais. Là-dedans entrait surtout une répulsion manifeste pour l'empereur Napoléon, dont la duplicité, les habitudes de ruse et d'intrigue blessaient tous ses instincts loyaux. Mais quand la Commune est arrivée, une colère indignée lui vint contre tous les faiseurs de révolutions sanguinaires; et il répéta à plusieurs reprises, avec une sorte de regret sur ses convictions évanouies: «Voilà donc à quoi ces choses aboutissent!»

C'est seulement depuis que la république commence à devenir raisonnable qu'une nouvelle réaction en faveur de la France semble s'être faite en lui.

En somme, la France et l'Allemagne tiennent peu de place dans son amour. Il n'est que Russe. Il n'aime et ne protège que l'art russe, la musique russe, la littérature russe, l'archéologie russe. Il a fondé à Moscou un grand musée national. Pour les mêmes raisons, il est fervent orthodoxe: sa piété est réele et sincère.

En son pays, la plus grande part de son affection est pour le paysan; c'est sur le paysan que tomberont ses plus larges faveurs; c'est au paysan qu'il a pensé, au moment de rendre son premier ukase, le jour même de la mort de son père, en rappelant que pour la première fois les hommes de la campagne, devenus libres, étaient appelés à prêter serment.

Mais si ses bienfaits doivent aller aux paysans, ses rigueurs infailliblement atteindront, du haut en bas de l'échelle, toute la bureaucratie russe, dont il n'ignore pas la pourriture et les déprédations. Pendant le commandement qu'il exerça, son honnêteté, révoltée, n'a pas pu se contenir devant les exactions dont il fut témoin, même dans sa propre famille. Il semble bien résolu à y mettre fin; ce nettoyage de fonctionnaires véreux est même déjà commencé.

II

On se demande avec une juste inquiétude quelle sera son attitude au dedans comme au dehors.

Pour l'intérieur, on a déjà parlé d'une constitution; des espoirs grandissent, se bercent; on affirme qu'il s'est, de tout temps, assigné, réservé ce rôle de devenir souverain selon les idées européennes. Pour l'extérieur, on suppose qu'il s'éloignera de plus en plus de l'Allemagne et qu'il reprendra la politique du panslavisme.

Ceux qui attendent du nouveau tzar une constitution parlementaire perdront vite leurs illusions, nous en sommes du moins persuadés. Ses rapports presque intimes avec le parti ultranational semblent indiquer, au contraire, une certaine défiance à l'égard des constitutionnels. Les idées acceptées en Europe sur les limites d'autorité assignées aux rois sont et resteront longtemps encore étrangères à la Russie. Le pouvoir impérial préférera procéder par grandes réformes octroyées par ukase pour arriver peu à peu à améliorer d'une façon sensible le sort de ses sujets, surtout celui des paysans.

Ces réformes, d'ailleurs, sont toutes prêtes, tout indiquées, et depuis longtemps déjà on les avait mises à l'étude. Alexandre II même avait été sur le point de les appliquer, quand le mouvement nihiliste, s'accentuant, avait arrêté ses projets et ajourné indéfiniment ses intentions libérales.

Voici quelles seraient ces mesures;

1° Diminution considérable dans le payement du rachat des terres par les paysans.

On sait que ce rachat, dans les conditions où il s'opère, est pour les campagnes une ruine inévitable.

2° Changement radical du système d'impôts;

3° Abolition de la capitation;

4° Facilité d'émigration d'une province dans une autre.

Cette mesure peut donner à l'agriculture en Russie un essor considérable. Certaines provinces, en effet, où les habitants sont nombreux, demeurent improductives à cause de la stérilité du sol. En d'autres contrées, au contraire, la terre est fertile, mais les travailleurs manquent, et les excessives difficultés qui entourent l'émigration menaçaient de faire s'éterniser cet état de choses.

5° Grandes facilités pour les passeports.

Cette mesure rentre dans le même ordre de réformes que la précédente, un paysan ne pouvant se déplacer, aller travailler dans une région voisine sans être astreint à des formalités de passeport compliquées et coûteuses.

6° Fondation de banques rurales.

Cette dernière création est destinée à débarasser le pays d'un fléau rongeur, les petits usuriers, qui mangent le paysan et dévastent les campagnes comme une armée de sauterelles.

L'ensemble de ces réformes amènera infailliblement un soulagement considérable pour le travailleur rural. Elles

sont urgentes, absolument urgentes, et il est probable qu'elles s'exécuteront avant la fin de l'année.

Il est probable également que la scrupuleuse probité du nouvel empereur le décidera presque immédiatement à faire aussi dans les finances des réformes considérables. Elles s'étendront même, sans doute, au budget de l'armée; et elles arrêteront les distributions scandaleuses des terres de la Couronne qui avaient lieu au moyen de ventes fictives et de mille autres procédés frauduleux.

Alexandre III s'efforcera, en outre, assurément, de relever la situation du clergé, tout en donnant une plus grande liberté aux vieux croyants, qui sont, on le sait, très nombreux.

Quant à une constitution proprement dite, il serait assez surprenant qu'il l'accordât. Toutes ses concessions à ce point de vue se borneront sans doute à laisser une plus grande latitude à l'administration provinciale; il consentira nommément à faire participer le pays, les zemstvos, dans une certaine mesure, assez restreinte, à l'administration des affaires.

Dans tous les cas, on ne peut pas prévoir qu'il accorde plus qu'une simple convocation de députés ayant seulement voix consultative sur un sujet déterminé, objet unique de la réunion. Ainsi une assemblée de cette nature a été appelée à donner son avis sur la question d'émancipation des serfs. Il en sera peut-être de même pour la répartition nouvelle de l'impôt et toutes les questions de finances qui s'y rattachent. Mais le tzar, maître absolu, ne se trouve engagé en rien par les conseils de ces délégués du pays, et il garde dans son intégrité toute sa liberté d'action.

Quant à toutes ces autres questions: liberté de la presse — accomplissement de la réforme judiciaire — instruction populaire — suppression de l'exil administratif, de l'institution si décriée des gendarmes ruraux, etc., il est difficile de présumer qu'il s'écarte du système d'ordonnances libérales descendant du trône. Il pourra accorder de larges faveurs, sans avoir jamais l'air de reconnaître un droit. On ne peut même pas supposer que des assemblées puissent être appelées à délibérer et à donner leur avis sur ces sujets.

On s'occupe beaucoup des mesures préventives qu'il pourra prendre contre les nihilistes et de la sévérité qu'il montrera à leur égard. Il est présumable que les circonstances seules détermineront sa conduite. Il ne voudra pas se venger, mais il saura prévenir et punir.

III

A l'extérieur, on peut affirmer que le tzar gardera une politique tout à fait pacifique, presque recueillie, une allure de réserve extrême.

Il s'efforcera de conserver ses bonnes relations avec l'Allemagne, pour laquelle son attitude sera sensiblement la même que celle de son père. La France bénéficiera sans doute d'une nuance de sympathie plus marquée, tandis que, dans ses rapports avec l'Autriche, apparaîtra vraisemblablement une apparence de défiance. Dans tous les cas c'en est fini, bien fini, de ce qu'on appelait la triple alliance. On ne la verra plus renaître. Les relations nouvelles de la Russie avec l'Angleterre prendront presque certainement un caractère de cordialité plus grande qui se manifestera surtout par la cessation des tentatives, de la marche en avant de la Russie vers l'Asie. Une considération (toujours prépondérante) qui nous fait prédire cette gracieuseté d'Alexandre III pour l'Angleterre, c'est l'amitié très vive, qui l'unit au prince de Galles.

On s'ingénie dès aujourd'hui à prévoir quelles influences pourront agir sur l'esprit du jeune souverain. Toutes les suppositions sont vaines. Son humeur indépendante lui fera secouer toute pression, de quelque part qu'elle vienne. Il n'est qu'une personne peut-être dont les conseils seront toujours écoutés, sinon suivis: c'est M. Pobédonostsef, fils d'un professeur d'université à Moscou, homme fort instruit, ancien précepteur du tzarewitch et actuellement procureur général au Saint-Synode. Son caractère est élévé, son érudition très large, mais sa piété exagérée en fait un orthodoxe presque fanatique.

Pendant la dernière année du règne d'Alexandre II le nouvel empereur s'est beaucoup rapproché du comte Loris-Melikoff et du comte Miliutine, dont il a apprécié les hautes qualités. Il est à présumer que ces deux personnages conserveront leur poste. Tous les fonctionnaires appartenant au parti allemand seront presque certainement frappés, et les grands-ducs, oncles du tzar, pour qui il ne cache guère son peu de respect et d'affection, tomberont en disgrâce et n'auront, de toute façon, aucune influence d'aucune sorte.

Le grand-duc Wladimir, frère d'Alexandre III, qui vient d'être nommé chef de toute la garde et commandant

des forces militaires de Saint-Pétersbourg, exercera dans le règne qui commence une autorité puissante dont est garante la grande amitié de son frère.

IV

Pour résumer en quelques mots la situation, nous verrons probablement un règne où sera justifié jusqu'à un certain point le titre «d'empereur des paysans» qu'on donne dès à présent au tzar. Nous assisterons à de grandes améliorations dans l'état actuel, améliorations qui viseront particulièrement les classes rurales, mais qui s'étendront aussi aux autres classes. Ces dernières réformes porteront surtout sur la direction des finances, l'instruction publique et l'administration, dont la décentralisation est plus que probable.

Mais toutes ces mesures, nous le répétons, viendront d'en haut, comme un effet du bon plaisir, de la libéralité du souverain, qui pourra consentir, comme maximum de concession, à prendre conseil d'une assemblée élue, mais tout en gardant son droit intact de décider en dernier ressort.

A l'extérieur, politique pacifique, politique de douceur, cessation des tentatives vers l'Asie, relations plus ou moins sympathiques, mais froides en général avec le reste de l'Europe, il est probable également que le tzar résistera à la politique radicalement panslaviste à laquelle tâchera de le pousser le parti national slavophile, auquel il est intimement uni.

Quant aux nihilistes qui supposent que l'empereur pourra être amené par la peur à accorder des concessions plus grandes, à donner même une constitution, ils se trompent grossièrement, ignorant tout à fait son caractère et son énergie. Leurs tentatives d'intimidation ne feront que l'arrêter dans la voie libérale où le conduit sa nature; s'il y fait quelques pas, ce ne sera point parce qu'ils l'auront intimidé, mais quoiqu'ils l'aient menacé.

Placés entre le parti ultra-national et la faction nihiliste, les libéraux constitutionnels tâcheront et réussiront peut-être à prouver à l'empereur que les réformes libérales, loin d'ébranler son trône, ne feraient que l'affermir. Puissent-ils le convaincre (car son esprit est large et éclairé) qu'ils ne sont pas poussés par un simple désir d'imiter l'Europe, mais que des modifications profondes dans l'organisation politique du gouvernement sont devenues nécessaires! Les Russes sont de la même race que les autres peuples

européens, leur instruction et leur civilisation sont analogues, leurs besoins sont identiques, leur langue obéit à la même grammaire: aussi pourquoi la vie politique du peuple russe ne reposerait-elle pas sur les mêmes assises constitutionelles que celles des nations ses voisines?

La situation sociale, politique et financière de la Russie est certainement grave; et ce n'est pas en vain que, dans son manifeste d'avènement, Alexandre III parle de la lourde tâche qui lui incombe. Un autocrate de génie pourrait y échouer; un souverain honnête homme, s'appuyant sur les forces vives de la nation et les appelant à son aide, a des chances de réussir.

Перевод

АЛЕКСАНДР III

Не только в России, но и во всей Европе с беспокойством ожидают первых шагов нового государя, чтобы постараться предугадать, какую он займет позицию, каковы будут в дальнейшем его намерения и весь образ его правления.

На многое надеются. Многого и опасаются. Перебирают всё, что знают о его жизни, и отсюда выводят свои заключения, наконец спрашивают себя: «Не изменит ли в корне ужасная смерть его отца уже сложившиеся у него и известные нам взгляды?»

Мы попытаемся обрисовать, сколько возможно вдумчивее, истинный характер этого государя, проникнуть в него, раскрыть его сердце, вовсе не двойственное и не коварное; и узнав его, как человека, мы постараемся определить и поведение, которого он будет держаться на престоле, если только непредвиденные события не заставят его вступить на дорогу, противную его природе.

I

Александр III обладает многими из тех существенных качеств, которые создают если не великих, то, по крайней мере, хороших и настоящих государей. Всякий человек родится с особыми способностями к той или другой профессии; этот государь кажется рожденным с несомненными способностями к власти.

Он в расцвете сил, здоров телом и духом, у него величественные манеры, царственный вид. Характер у него спокойный, рассудительный, энергичный и уравновешенный. Отличительная черта его, качество, так сказать, об-

волакивающее собою все другие, это честность, честность щепетильная, абсолютная, без компромиссов и без примесей. Достаточно его увидеть, чтобы почувствовать, что он порядочен с ног до головы, без скрытых мыслей, полный суровой откровенности; но эта чрезвычайная прямота не лишена оттенка упрямства, которое является как бы ее следствием.

Прошлое его известно.

Став наследником престола после смерти своего брата и получив до тех пор только чисто военное образование, он принялся за работу с замечательным упорством и силой воли, стараясь сделаться достойным великого трона, на который ему предстояло взойти; надо сказать, впрочем, что новый царь скорее склонен сомневаться в себе, в своих знаниях и уме,— это истинная скромность перед лицом того высокого положения, куда возводит его судьба,— скромность, не исключающая, однако, ни последовательности, ни энергии в проявлении воли.

Единственный, пожалуй, из всего своего рода, он целомудрен и всегда был таким. В собственной семье он часто выказывал свое глубокое отвращение к распущенности.

Люди, которые воспитывались вместе с ним, уверяют, что даже ребенком он никогда не лгал. И в правилах своей искренности он заходит так далеко, что даже в тот момент, когда ему пришлось, по политическим соображениям, взять в жены невесту своего покойного брата, он не скрыл от нее, что любит другую женщину, княжну М..., которая впоследствии стала женой знаменитого богача г. Д... Это признание, кстати, встретило отклик, ибо его невеста не скрыла от него своей страстной любви к его брату. И, несмотря на это, они образовали супружество примерное и удивительное по согласию и постоянству привязанности.

Много говорили о симпатии, которую он, по-видимому, испытывает к одним нациям, и антипатии, которую ему приписывали в отношении других. Распространялись также разные легенды, например, история о разбитом стакане и т. п., которые представляют чистейшую выдумку. Всё, что о нем можно сказать, это то, что он русский и только русский. Он представляет даже замечательный пример влияния среды согласно теории Дарвина: в его жилах течет едва несколько капель русской крови и, однако, он до того слился с этим народом, что всё в нем — язык, привычки, манеры, даже самая физиономия отме-

чены отличительными чертами расы. Где бы его ни увидели, везде назвали бы его родину.

Утверждают, что он ненавидит немцев. Но при этом смешивают немцев из Германии с русскими немцами: этих последних он действительно совсем не любит.

Уверяют, что Францию он любит больше всех других наций. В этом французский шовинизм, быть может, преувеличивает. Правда об этой симпатии, которую ему давно приписывают, такова:

До 1870 г. он выказывал весьма либеральные чувства; он, казалось, был связан сердечными узами с французскими республиканцами. Сюда входило, главным образом, нескрываемое отвращение к императору Наполеону, двойственность которого, привычка к хитростям и интригам оскорбляли все его честные инстинкты. Но когда наступила Коммуна, на него нашел яростный гнев против всех делателей кровавых революций; и он не раз повторял с некоторой досадой по поводу своих минувших убеждений: «Так вот до чего все это доводит!».

И только с тех пор, как республика начала проявлять благоразумие, в нем произошел, как кажется, новый возврат симпатии к Франции.

В общем же и Франция и Германия занимают мало места в его сердце. Он только русский. Он любит и покровительствует только русскому искусству, русской музыке, русской литературе, русской археологии. Он основал в Москве большой национальный музей. По той же причине он и ревностный православный; его благочестие искренне и непритворно.

В своей стране большую часть своей любви он отдает крестьянам; и на долю крестьян выпадут его самые щедрые милости; о крестьянах думал он даже в день смерти своего отца, в момент издания своего первого указа, напоминая о том, что впервые поселяне, ставшие свободными, призваны принести присягу.

Но если его благодеяния должны коснуться крестьян, то его строгость неизбежно настигнет всю, сверху донизу, русскую бюрократию, о хищениях и гнилости которой ему всё известно. Когда ему пришлось командовать войсками, он не мог сдержать своего честного возмущения хищениями, свидетелем которых он был даже в своей собственной семье. По-видимому, он твердо решил положить этому конец; и чистка продажных чиновников даже уже началась.

II

Спрашивают с понятным беспокойством, каково будет его направление, внутреннее и внешнее.

Что касается внутренней политики, то уже поговаривали о конституции; льстят себя надеждами, надежды эти растут; уверяют, что он всегда носил в себе призвание стать монархом в соответствии с европейскими идеями. Что касается внешней политики, предполагают, что он всё более будет удаляться от Германии и вернется к политике панславизма.

Те, кто ожидают от нового царя парламентской конституции, скоро утратят свои иллюзии,— мы, по крайней мере, убеждены в этом. Его весьма близкие отношения с ультра-национальной партией, напротив, указывают как будто на известное недоверие по отношению к конституционалистам. Общепринятые в Европе идеи об ограничении власти, предоставляемой монархам, были и останутся еще долго чуждыми России. Императорская власть предпочтет проводить важные реформы, жалуя их сверху путем указов, чтобы мало-помалу добиться заметного улучшения участи своих подданных, в особенности крестьян.

Эти реформы, впрочем, необходимы, давно разрабатывались и вполне подготовлены. Александр II был уже готов сам провести их, когда революционное движение, обострившись, остановило его проекты и отсрочило на неопределенное время его либеральные намерения.

Вот каковы могут быть эти меры:

1) Значительное уменьшение крестьянских выкупных платежей за землю.

Известно, что этот выкуп в тех условиях, в каких он производится, ведет крестьянство к неизбежному разорению.

2) Коренное изменение системы налогов.

3) Отмена подушной подати.

4) Облегчение переселений из одной губернии в другую.

Эта мера может дать земледелию в России значительный подъем. Действительно, некоторые губернии, где население густо, остаются непроизводительными по причине бесплодности почвы. В других же местах, наоборот, земля плодородна, но недостает рабочих, и чрезвычайные

трудности, с которыми сопряжено переселение, угрожают навсегда сохранить такой порядок вещей.

5) Большие облегчения в отношении паспортов.

Эта мера относится к тому же роду реформ, что и предыдущая, ибо крестьянин не может переселиться, пойти работать в соседнюю губернию без того, чтобы не подвергнуться сложным и дорого стоящим формальностям паспортной системы.

6) Учреждение земельных банков.

Это последнее мероприятие предназначено к тому, чтобы освободить страну от подрывающего ее бича — от мелких ростовщиков, которые попирают крестьянина и опустошают деревни подобно стаям саранчи.

Совокупность этих реформ принесет, несомненно, значительное облегчение земледельцу. Они неотложны, совершенно неотложны, и возможно, что будут приведены в исполнение ранее конца этого года.

Возможно также, что щепетильная честность нового императора побудит его вслед за тем произвести и значительные финансовые реформы. Они, несомненно, распространятся даже на военный бюджет; они же остановят скандальное расхищение удельных земель, которое производилось посредством фиктивных продаж и тысячью других мошеннических приемов.

Сверх того, Александр III примет, конечно, меры к улучшению положения духовенства, дав в то же время бóльшую свободу старообрядцам, которые, как известно, очень многочисленны.

Что же касается конституции в собственном смысле, было бы весьма удивительно, если бы он учредил ее. Все его уступки в этом направлении ограничатся, несомненно, предоставлением большей свободы местному самоуправлению; а именно он согласится с тем, чтобы страна, то есть земства в известной, весьма ограниченной, степени участвовали в управлении делами.

Во всяком случае нельзя предполагать, чтобы он пошел на большее, чем простой созыв представителей с совещательным голосом по какому-либо одному определенному вопросу, единственному предмету их обсуждения. Собранию такого рода было, например, предложено высказать свое мнение об освобождении крепостных крестьян. Нечто подобное может быть созвано и по поводу нового распределения налогов и по другим финансовым вопросам, от него зависящим. Но царь-самодержец отнюдь

не сочтет себя в чем-либо связанным советами представителей страны, он сохранит за собой во всей неприкосновенности свободу действий.

Что же касается разных других вопросов, а именно: свободы печати, завершения судебной реформы, народного образования, упразднения административной ссылки, уничтожения столь осуждаемого института сельской полиции и т. д., то трудно предположить, чтобы он отклонился от системы либеральных повелений, нисходящих с высоты трона. Он может даровать широкие милости, но никогда не признает никаких прав. Нельзя даже предположить, чтобы могли быть созваны какие-либо собрания для обсуждения этих вопросов и выражения тех или иных мнений по ним.

Много говорят о предупредительных мерах, которые он может принять против нигилистов, и о репрессиях, которым он их подвергнет. Надо думать, что только сами обстоятельства определят его поведение. Он не захочет мстить, он сумеет предупредить и наказать.

III

Что касается внешних отношений, то можно утверждать, что царь будет придерживаться политики совершенно мирной, почти замкнутой, крайне осторожной.

Он постарается сохранить добрые связи с Германией, по отношению к которой его политика будет по существу той же, что и политика его отца. Франция может рассчитывать, несомненно, на более ярко выраженную симпатию, между тем как в отношениях с Австрией появится, вероятно, налет недоверия. Во всяком случае с так называемым тройственным союзом покончено, совсем покончено. Ему не суждено более возродиться. Новые отношения России с Англией примут, почти наверное, характер большей сердечности, что выразится, главным образом, в прекращении попыток наступательного движения России в глубь Азии. Соображение (и весьма веское), которое дает нам возможность предсказать это расположение Александра III к Англии, основывается на той горячей дружбе, которая соединяет его с принцем Уэльским.

Делаются всяческие попытки уже теперь предугадать, какие влияния будут воздействовать на ум молодого государя. Все эти предположения ни на чем не основаны. Его независимый нрав поможет сбросить с себя всякий

нажим, откуда бы он ни исходил. Есть, быть может. только одно лицо, советы которого всегда будут выслушаны, если и не выполнены: это господин Победоносцев, сын профессора Московского университета, человек весьма образованный, бывший наставник цесаревича, в настоящее время обер-прокурор святейшего синода. Он обладает возвышенным характером, его эрудиция очень обширна, но преувеличенная набожность делает его почти фанатиком православия.

В последний год царствования Александра II новый император очень сблизился с графом Лорис-Меликовым и графом Милютиным, высокие достоинства которых он оценил. Можно думать, что эти два лица сохранят свои посты. Все чиновники, принадлежащие к немецкой партии, будут устранены почти наверное, а великие князья, дяди царя, по отношению к которым он не скрывает своей нелюбви и неуважения, впадут в немилость и во всяком случае не будут иметь никакого влияния в каких бы то ни было делах.

Великий князь Владимир, брат Александра III, который только что назначен главнокомандующим войсками гвардии и Петербургского военного округа, займет в начинающемся царствовании могущественное положение, залогом чего является большая дружба к нему его брата.

IV

Резюмируя в нескольких словах положение вещей, можно сказать, что мы, вероятно, увидим такое царствование, которое в известном смысле оправдает прозвище «крестьянского императора», уже ныне данное царю. Мы будем присутствовать при значительных улучшениях современного строя — улучшениях, направленных, главным образом, в пользу земледельческого населения, но распространяющихся и на другие классы. Эти последние реформы коснутся в особенности области финансов, народного образования и управления, децентрализация которого весьма вероятна.

Но, повторяем, все эти меры придут сверху, как проявление доброй воли, как дары государя, который в лучшем случае может согласиться принять совет от собрания выборных, но сохранит за собой в полной неприкосновенности свое право окончательного решения.

Во внешней политике — миролюбие, уступчивость, прекращение покушений на Азию, более или менее благожелательные, но в общем холодные отношения со всей остальной Европой. Столь же вероятно, что царь не согласится следовать той радикально-панславистской политике, к которой попытается его склонить тесно с ним связанная национально-славянофильская партия.

Что касается нигилистов, которые предполагают, что император из страха может пойти на весьма большие уступки, даже на конституцию, то они жестоко ошибаются, совершенно не учитывая его характер и энергию. Их попытки запугать могут только остановить его на том пути к либерализму, куда ведет его природная склонность; если он сделает несколько шагов в этом направлении, это будет вовсе не потому, что они его запугивают, а несмотря на то, что они угрожают ему.

Находясь между ультра-националистической партией и нигилистической группировкой, либералы-конституционалисты постараются и, может быть, сумеют доказать императору, что либеральные реформы отнюдь не повели бы к потрясению трона, а только укрепили бы его. Смогут ли они убедить его (ибо ум его широк и просвещен), что ими руководит не простое желание подражать Европе, а назревшая необходимость глубоких изменений в политической организации управления? Русские — той же расы, что и все остальные европейские народы, их образование и цивилизация аналогичны, их нужды тождественны, их язык подчинен правилам той же грамматики,— так почему бы политической жизни русского народа не укрепиться на тех же конституционных основах, как и у ее соседей?

Социально-политическое и финансовое положение России в самом деле серьезно, и недаром в первом своем манифесте Александр III говорит о тяжелой задаче, выпавшей ему на долю. Самодержца, даже гениального, могла бы здесь постигнуть неудача, но, опираясь на живые силы нации и призвав их себе на помощь, всякий честный правитель может рассчитывать на успех.

ПЕРВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОПЕРЫ Г-ЖИ ВИАРДО В ВЕЙМАРЕ

Я обещал рассказать вам мою поездку в Веймар — и вот, вернувшись оттуда в мое баденское гнездышко, берусь за перо. Вы знаете, что к этой поездке меня побудило исполнение на веймарском театре (8-го апреля, в день рождения великой герцогини) оперетки: «Последний колдун», музыка которой принадлежит г-же Полине Виардо, а текст — мне. «Последний колдун» — вторая из трех оперетток, уже написанных ею. Первым поводом к их сочинению было желание украсить семейный праздник исполнением музыкально-драматических сцен, в котором бы приняли участие дети и ученицы г-жи Виардо. Попытка удалась; шутка, как говорится, пошла в дело; в зале моего дома устроилось подобие театра — и с тех пор уже довольно многочисленная публика, в рядах которой находились первоклассные музыкальные авторитеты, могла оценить замечательный композиторский талант г-жи Виардо. Слух о наших представлениях дошел до великого герцога Веймарского (сестра его, прусская королева, была одною из самых постоянных наших посетительниц). Он пожелал поставить одну из оперетток — именно «Последнего колдуна» на сцене своей столицы. Особенно горячо принялся за это дело находившийся тогда в Веймаре Лист; ознакомившись с партитурой г-жи Виардо, он стал настоятельно требовать ее безотлагательного исполнения; благодаря его хлопотам и неутомимой деятельности капельмейстера Лассена (этот отличный музыкант превосходно инструментировал «Последнего колдуна», согласно с указаниями г-жи Виардо), всё поспело вовремя, несмотря на кратковременный срок. Музыкальный критик и литератор Рихард Поль перевел весьма удовлетворительно французский оригинал на немецкий язык.

Сюжет оперетки очень не сложен. Где-то далеко, за тридевятью землями, живет в большом лесу колдун, по прозванию Кракамиш. Он был некогда очень могуч и грозен; но волшебство его выдохлось, сила ослабела, и

теперь он едва перебивается, в поте лица добывая своим волшебным жезлом лишь насущное пропитание. Великолепные палаты, им воздвигнутые, понемногу съежились в желтую хижину; слуга его, великан и силач, способный ворочать горами, как сахарными головами, превратился в тщедушного и тупоумного карлика. Кракамишу этот упадок собственного значения еще потому особенно чувствителен, что у него дочь, по имени Стелла, которой он готовил блестящую будущность... В том же лесу обитают духи женского пола — эльфы; ими предводительствует царица. Эти эльфы—заклятые враги Кракамиша; им очень было не по нутру, что он вздумал поселиться в их родном лесу; но тогда они не могли этому воспротивиться; теперь же они всячески досаждают старику, бесят его, выводят его из терпения. В соседстве леса живет один царь; у него сын, принц Лелио, который часто ходит охотиться в этот самый лес. Царица эльфов взяла его под свое покровительство и хочет женить на Стелле, которую она полюбила, несмотря на то, что она дочь Кракамиша,— и, конечно, достигает своей цели. На это, как видите, незатейливое либретто г-жа Виардо написала поистине прелестную и вполне своеобразную музыку. Сначала идет интродукция вроде небольшой увертюры; две, три главные фразы оперетки красиво переплетаются в этой интродукции и разрешаются торжественным fortissimo[1]. Поднимается занавес, и начинается грациозный хор эльфов, дразнящих Кракамиша; он возится перед очагом в своей хижине, а они через трубу заливают ему огонь и смеются над его бессильным гневом. Царица является; одна из эльфов докладывает, что ей удалось обмануть Кракамиша и уверить его, что к нему в тот день должно явиться посольство от подвластных ему кохинхинских духов с обычной, но уже давно ими не выплачиваемой данью, а именно с веткой травы Молѝ, уже известной грекам и упомянутой в Одиссее; эта чудесная трава способна возвратить человеку молодость, красоту и силу. Эльфы сами перерядятся в кохинхинцев и, забравшись таким образом в жилище врага (без хитрости им это сделать невозможно — настолько могущества еще осталось у Кракамиша), вдоволь над ним потешатся. Царица одобряет этот план... но вот раздается звук рога: принц Лелио приближается — эльфы исчезают. Входит принц и поет романс в двух куплетах; он «ра-

[1] очень громко *(итал.)*.

нил оленя стрелою, но сам ранен в сердце». Он уже видел Стеллу, но не знает, кто она. В это мгновение является царица. (Все ее речи — мелодрама, то есть сопровождаются музыкой.) Она бросает принцу заколдованную розу; роза эта должна сделать его невидимкой для всех, исключая самой Стеллы, но колдовство действует только по захождении солнца. Потом она берет с него клятву в слепом повиновении и указывает на Стеллу, которая появляется у окна своего дома. Лелио хочет броситься к ней, но царица повелевает ему удалиться: он повинуется. Входит Кракамиш; в длинной, чрезвычайно характеристической арии он рассказывает свое горе... Однако известие о посольстве кохинхинцев, которому он поверил, возбуждает в нем надежду и бодрость. Две, три капли дождя падают ему на лицо... «Как! — восклицает он,— волшебная сеть, которою я окружил мое жилище, также утратила свою силу и пропускает воду, ни дать ни взять старый макинтош?» Он зовет своего идиота-слугу Перлимпинпина, посылает его за зонтиком. Происходит комическая сцена, кончающаяся тем, что Кракамиш, взбешенный, прогоняет в толчки Перлимпинпина и уходит сам за ним. Из дому выступает Стелла... Она сожалеет об отце, упоминает о своей таинственной покровительнице, царице эльфов, о прекрасном незнакомце, с которым она ее свела, и, заметив падающие капли дождя, в небольшой, но прелестной арии, одном из лучших нумеров всей оперетки, обращается к ним, просит их полить ее цветы. Царица является снова (появление ее происходит всегда на заднем плане, так что лица, с которыми она говорит, ее не видят) и предуведомляет ее о скором свидании с Лелио. Обрадованная Стелла удаляется, а на место ее входит Перлимпинпин. Он поет арию, комизм которой заключается в том, что он, вследствие своего умственного ослабления, никак не может окончить собственную мысль. Музыка как нельзя лучше соответствует словам. Роль эта была написана для одиннадцатилетнего сына г-жи Виардо — и он исполнял ее в совершенстве. Вдруг слышится за сценой фантастический марш: то приближается кохинхинское посольство. Перлимпинпин бежит предуведомить своего господина — оба в страшном волнении, чуть с ног друг друга не сшибают... Кракамиш намерен встретить своих бывших подданных во всем величии власти, требует кресла в виде трона, торжественного колпака... Перлимпинпин суетится. Кое-как всё улаживается, и при входе посольства Кракамиш уже вос-

седает на кресле и с важностью кивает головою в ответ на поклоны переряженных эльфов. Последние звуки марша замирают... Кракамиш произносит нечто вроде тронной речи (прусский король, видевший два раза нашу оперетку, особенно забавлялся этим пассажем), упоминает о «престиже» своего имени, о своей династии, о своем желании сохранить мир и т. д. Наконец требует траву *Моли*, заключенную в драгоценной шкатулке. Но тут обнаруживается предательский ков: эльфы сбрасывают свои костюмы, царица является на их зов, сбитый ею колпак летит с головы Кракамиша... Подхваченный своими безжалостными врагами, он долго вертится в бешеном вальсе... Измученный, полуживой, он спасается наконец в свое жилище. Эльфы празднуют пляской свою победу, пока царица не отдает им приказа — удалиться на покой до следующей ночи. Большой, весьма развитый и чрезвычайно мелодический хор (Лист особенно им любовался) оканчивает первый акт.

Во втором акте декорация не меняется. Он начинается небольшим романсом Лелио, который ждет не дождется наступления ночи, чтоб с помощью волшебного цветка проникнуть до любимой им девушки... Он слышит шум в доме и удаляется. Входят Кракамиш и Стелла. Старику душно в тесных комнатах: свежий воздух ему нужен. Он приносит с собой огромный фолиант, последнее творение знаменитого мага «Мерлина»; в этом фолианте находится кабалистическая формула, которой ничто противиться не может. Но как найти эту формулу? Кракамиш садится, принимается ее отыскивать. Дочь его помещается возле него с своей прялкой... Происходит разговор между ними. Она просит его отдохнуть, позабыть нанесенное оскорбление, но он сгорает жаждой мести. Она принимается уверять его, что вовсе не нуждается в богатстве, что ей нужна «простая хижина и любящее сердце». Старик вспыхивает. Следует дуэт, в котором он излагает ей все выгоды богатства; а она настаивает на своем. Видя, что он убедить ее не может, он велит ей не мешать ему в его изысканиях и взяться за свою прялку, а сам вновь погружается в книгу. Она повинуется и поет песенку в двух куплетах, мелодия которой так и ложится в память... Лелио за сценой поет третий куплет и, мгновенье спустя, входит с волшебною розой в руке. Следующий на этом месте любовный дуэт между им и Стеллой, по своей стыдливой и в то же время стремительной страстности, едва ли не лучший

перл «Последнего колдуна». Кракамиш вглядывается с изумлением, но, по милости цветка, не видит никого; притом же он воображает, что нашел формулу... Зато, когда, по окончании дуэта, Лелио падает на колени перед Стеллой и роняет розу, волшебство исчезает и старику всё открывается. Он приходит в негодование, в ярость. Он убежден, что его прежнее могущество к нему воротилось, что он может теперь разразить в прах дерзкого пришельца; он не слушает просьб Лелио, его заявления о царском своем происхождении, и когда тот не хочет удалиться, вооружается фолиантом и произносит заклинание, которым вызывает ужаснейшее чудовище, долженствующее растерзать противника... Раздается удар там-тама — и на место чудовища из-под земли является баран! (Замечу кстати, что баран этот так добросовестно исполнял свою роль, что блеял всякий раз). «Не та формула!» — восклицает с отчаянием Кракамиш и падает в изнеможении... Лелио и Стелла оба бросаются к нему, стараются его утешить... Им на помощь является царица эльфов. Кракамиш сдается наконец, соглашается на брак дочери, обещается покинуть лес, жить у зятя и после квартета без аккомпанемента (в нем участвует также Перлимпинпин) удаляется под звуки марша, которым знаменуется вступление на сцену эльфов. Царица проводит своим жезлом по воздуху... Дом последнего колдуна проваливается — раздается окончательный хор эльфов, торжествующих свою победу и приветствующих свой заветный лес, отныне навсегда и безраздельно им принадлежащий, и занавес падает.

Вы понимаете, что не мне судить о достоинствах моего либретто; но нет никакого сомнения в том, что достоинства музыки г-жи Виардо во сто раз их превосходят и заслуживали бы лучшего текста. Одно мое мнение, конечно, не много значит; но, повторяю, оно совпадает с мнением множества музыкальных авторитетов, во главе которых стоит Лист (а что с его стороны это не было простым комплиментом, обращенным к даме,— доказательством тому служат письма, которые он писал к своим знакомым). Все эти авторитеты признали музыку г-жи Виардо поэтической, оригинальной, изящной, и советовали ей не останавливаться и продолжать...

Я приехал в Веймар за два дня до первого представления и воспользовался предстоявшим мне досугом, чтобы ознакомиться с «Германскими Афинами», в которых до

тех пор еще не бывал, в чем мне, как заклятому гётеанцу, даже несколько стыдно признаться. Мне очень понравился этот небольшой городок, весьма бедный удобствами и вообще красотами — за исключением действительно миловидной местности,— но богатый неизгладимыми воспоминаниями. Они живут в нем до сих пор — эти воспоминания; они не утратили своего обаяния; всякий приезжий ощущает их несомненное веяние — и современная жизнь Веймара доселе как бы носит отпечаток тех великих личностей, которыми освящено всё ее прошедшее. Особенное чувство овладевает вами, когда вы ходите по тем классическим местам. Напускное, невольное ли то чувство — я не берусь решить, но только оно существует и отрицать его нельзя. Я, конечно, сходил поклониться дому Шиллера, его бедной комнатке, кровати, на которой он умер и от которой с презрением отказался бы теперь всякий несколько зажиточный ремесленник... К сожалению, дом Гёте, не приобретенный казною, подобно Шиллеровскому дому, заперт по воле его внуков, и не отпирается ни для кого. Я мог проникнуть только до широкой и пологой лестницы, по которой Гёте столько раз ходил, и, признаюсь, не без тайного смущения глядел на безобразно-вычурную женскую фигуру, намалеванную на потолке сеней, по распоряжению самого великого старца. Невозможно понять, что она представляет: вероятно, поэзию; округлая складка покрова над ее головою подобна шляпке гриба. Я уже прежде подозревал, но в Веймаре наглядно мог убедиться, что Гёте обладал самым дурным вкусом в деле ваяния, живописи, архитектуры; творец «Фауста», «Германа и Доротеи» и стольких неподражаемых поэтических произведений являлся каким-то бездарным и тяжелым школяром, как только вопрос касался художества... Утешение для посредственности!

Но идти замедленными шагами по дорожке прекрасного, им насажденного парка, вдоль Ильмы — речки, на которой лежит Веймар; идти и, не спуская глаз с крохотного загородного дома, в котором проводил лето величайший поэт новейшего времени после Шекспира, мысленно повторять некоторые из бессмертных слов, завещанных им потомству,— это доставляет особенное, мною еще не испытанное наслаждение — и я предавался ему по часам...

Да, приятно ездить по Веймару. На каждом шагу возникают воспоминания. Вот сумрачный на вид дом,

где жила г-жа Штейн; вот обитая древесною корой хижинка, куда скрывался друг поэта, великий герцог Карл Август; вот площадь, где они оба, в избытке самоуверенных сил и молодой дерзости, однажды целое утро хлопали длинными бичами, к ужасу почтенных филистеров. А вот и двойная статуя, воздвигнутая Ритчелем «dem Dichter paar»— поэтической чете,— статуя, по которой ваятели могут учиться, как *надо* делать... а вот и статуя бедного Виланда, по которой можно судить, как *не надо* делать... Творец «Оберона» представлен с головою в виде арбуза, с головою гидроцефала...

Я воспользовался также моим пребыванием в Веймаре, чтоб посетить собрание оригинальных рисунков Рафаэля, Рубенса, Л. да Винчи и др., находящееся в великогерцогском дворце. В числе этих рисунков особенно замечательны *собственноручные* эскизы голов апостолов в знаменитой «Тайной вечери» Леонардо да Винчи. При почти совершенном истреблении фрески великого итальянского мастера в Милане — эти эскизы представляют сокровище неоцененное. Вечера я проводил в театре и был приятно изумлен естественною и живою игрой труппы. Талантов, из ряда выходящих, нет; исполнение ролей — чисто натуралистическое; но всё бойко, горячо, молодо, и нет следа той вялой искусственности, той старческой посредственности, к которым мы так пригляделись в Карлсруэ. Три главные актрисы — красавицы, каждая в своем роде, и это нисколько не портит дела — напротив; и музыканты в оркестре почти всё молодые люди.

Первое представление нашей оперетки происходило, как я уже сказывал вам, в день рождения великой герцогини. В подобные дни этикетом возбраняется всякое изъявление восторга или даже одобрения, не обращенное к самой виновнице торжества. Мы знали это; мы знали, что публика в тот вечер не будет в состоянии высказать свое настоящее мнение, а потому смотрели на это первое представление как на парад, а уже на второе — как на настоящее сражение. Признаюсь, я находился в довольно сильном волнении. Либретто, написанное для салона и пригодное для него, могло показаться слишком наивным, почти детским, недостаточно развитым; перемена рамы, в которую вставляется картина, часто меняет ее самое. Что касается исполнения, то беспокойство было бы неуместным: оркестр был отличный, капельмейстер знал свое дело до тонкости; баритон, игравший роль Кракамиша,

едва ли не лучший певец в Германии; остальные роли также были хорошо замещены (Стеллу играла г-жа Рейсс, Лелио — г-жа Барнэй, Перлимпинпина — г. Кнопп, царицу эльфов — г-жа Подольская); один хор мог бы быть полнее и с более свежими и верными голосами. Декорации, костюмы — всё было очень удовлетворительно. Театр в Веймаре являет весьма мизерный вид с наружной стороны; но самая зала очень мила и изящна: ее недавно отделали заново. Во главе дирекции стоит г. фон Лоен, джентльмен в лучшем смысле слова.

Первое представление сошло весьма благополучно. Хотя публика всё время безмолвствовала и, проникнувшись торжественностью «минуты», даже смеялась умеренно, но нельзя было не чувствовать, что «Последний колдун» нравился; не происходило того едва заметного, но томительно постоянного шелеста, того своеобразного шороха, который непременно возникает в большом собрании людей, когда они скучают, и который — что греха таить! — я слыхивал не раз при исполнении мною некогда сочиняемых комедий. Опасения мои насчет того, не покажется ли либретто слишком наивным, не оправдались; а поэзия и грация, присущие музыке г-жи Виардо, брали свое, несомненно сказывались, разливались тихой, но сильной волной. В антракте явились в нашу ложу два официальных лица, посланных от великой герцогини и от прусской королевы (она также была в театре), и поздравили от их имени г-жу Виардо с успехом ее оперетки. То же повторилось и по окончании второго акта. Многие музыканты оркестра (в числе их находится и сын Серве, виолончелист, восемнадцатилетний юноша, обещающий идти по стопам отца) также выразили свое искреннее удовольствие. К сожалению, тот, чье поздравление имело бы больший вес, тот, кто первый всё привел в движение, Франц Лист был в отсутствии; он находился в Вене, куда его отозвало исполнение его оратории «Святая Елизавета». Через три дня «Последний колдун» был дан во второй раз, и с положительным успехом. Веймарская публика, которая, как слышно, отличается особенной сдержанностью, аплодировала почти каждому нумеру, а по окончании шумно вызвала г-жу Виардо. Мильде и девица Рейсс были особенно хороши. Прекрасен был также в этот раз Кнопп, исполнявший роль Перлимпинпина. Я видел этого даровитого актера перед тем в двух пиесах и удивлялся разнообразию его таланта. В первое представле-

ние он ошибся; желая удержать в зрителях воспоминание о том, что Перлимпинпин из великана превратился в карлика, он устроил себе огромную голову, широкое туловище и ходил скорчивши ноги. Впечатление выходило тяжелое и неприятное. Он тотчас это понял и во второй раз совершенно переменил и гримировку и манеру: сделал из себя настоящего дурачка и каждым словом смешил публику... Замечательный tour de force [1], свидетельствующий о гибкости дарования и уме этого актера! На следующий день великий герцог, при свидании с г-жою Виардо, заказал ей для будущего сезона настоящую трехактную оперу, прибавив, что радуется тому, что в Веймаре суждено было совершиться началу ее *второй* карьеры, которую он надеется увидеть столь же блестящею, какова была первая.

В этом именно для всех нас, друзей г-жи Виардо, и заключался вопрос. Мы все знали, что она должна была, сверх других затруднений, еще бороться с предрассудком, не допускающим, чтоб одна и та же личность могла последовательно достигнуть замечательных результатов в двух различных родах. Несчастные попытки известного певца Дюпре и других исполнителей на поприще композиции могли явиться подпорой и подтверждением этого предрассудка. Не он ли, между прочим, мешает у нас полному распространению и успеху русских романсов, написанных г-жою Виардо? Многие из них прелестны и, во всяком случае, стоят неизмеримо выше обыкновенных произведений этого рода; но — подите вы! — «как может иностранка, испанка, да еще певица — писать русские романсы!» Как будто музыка не есть всеобщий язык *, и как будто те плохие штаб-ротмистры в отставке и полинялые светские дамы, которыми снабжается наш музыкальный рынок и которые набирают свои романсики по слуху, тыкая одним пальцем по фортепианам,— как будто они способнее найти настоящее, музыкальное выражение поэтической мысли, чем гениальная дочь Гарсии, про которую и Мейербер, и Обер, и Россини, и Ваг-

[1] *Здесь* — трюк *(франц.)*.

* Позволяю себе обратить ваше внимание на последние пять романсов г-жи Виардо, появившихся недавно у г. Иогансена в С.-Петербурге. С прежними двадцатью двумя, выпущенными в свет тем же просвещенным и деятельным издателем, они составляют прекрасную коллекцию, которой следует находиться в руках каждого любителя пения.

пер — в одно слово объявили, что она сама музыка, la musique même! Но такова сила предрассудка: ее можно победить только настойчивым шествием вперед, и потому-то я, зная сочувствие, которое вы питаете к г-же Виардо и ее произведениям, вменил себе в приятный долг сообщить вам сведение о первом и успешном шаге, сделанном ею на новом поприще...

Я забыл вам сказать, что вместе с «Последним колдуном» шла очень милая одноактная опера самого капельмейстера Лассена, сюжет которой заимствован из Дон-Кихота.

Ив. Тургенев

Баден-Баден, 11/23 апреля.

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ

Письмо первое

Писать в наше время письма из-за границы — я говорю о письмах, назначаемых для печати,— и легко и трудно. Легко, если хочешь ограничиться сообщением ежедневных и случайных впечатлений в надежде занять читателя новостью или необычностью описываемых предметов; трудно, если желаешь передать — не говорю уже общий смысл, но даже некоторые общие черты жизни, нам чужой и не легко дающейся чужому. При всем старании не впадать в мелочь и не судить по мелочам, при самой добросовестной решимости избегать опрометчивых отвлеченностей и не повторять перед лицом действительных явлений уже наперед составленные об них мнения,— каждому путешественнику грозит опасность пойти по стопам известного англичанина, который, увидев в одном городе рыжую женщину, записал в своей памятной книжке, что всё женское народонаселение того города — рыжее. А потому, не желая впасть в подобную ошибку, я прошу позволения у вас, любезный Е⟨вгений⟩ Ф⟨едорович⟩, в письмах моих к вам обращать внимание не столько на страну, о которой будет идти речь, сколько на отношение к ней и к ее жизни самих путешествующих русских. И тут легко ошибиться — от этой беды вполне уберечься невозможно,— все-таки это дело более подручное и близкое. Спешу прибавить, что я не намерен отказываться от передачи и оценки того, что я видел или слышал,— но мне будет легче и вольнее писать после моей вступительной оговорки. В исполнение моего намерения хочу в нынешнем письме побеседовать с вами об одном, уже прежде мною подмеченном, но в последнее время поразившем меня явлении, а а именно о той горькой, едкой, впрочем тщательно скрываемой, скуке, которой подвергается бо́льшая часть рус-

ских путешественников и которой я предлагаю придать, как придают особое название новооткрытой болезни, название заграничной скуки русских.

«Как? — скажут мне,— русские скучают за границей, те самые русские, которые с такою радостью покидают свои родные гнезда и с таким восторгом толкуют о Европе по возвращении домой,— они скучают? Это невозможно, это парадокс!» И со всем тем — сказанное мною справедливо; ссылаюсь на тайный голос самих гг. путешественников (громко они, вероятно, не захотят в том сознаться). Стоит только хорошенько вглядеться в лица девяти русских из десяти, встречаемых за границей, чтобы согласиться со мною. Какая тоска в них сказывается, какая усталость, какое недоуменье! Всё, кажется, так и вопиет в них: «Скучно нам! нам скучно!» (Есть, правда, одно место на свете, где русские не скучают: Париж. О нем речь будет впереди, во втором моем письме.) Но отчего же так скучно русским?

На то есть несколько причин. Попытаюсь их перечислить. Прежде всего следует заметить, что русские, путешествующие по чужим краям (я, разумеется, говорю не обо всех русских), в сущности мало знакомятся с чужими краями; то есть они видят города, здания, лица, одежды людей, горы, поля, реки; но в действительное, живое соприкосновение с народом, среди которого странствуют, они не вступают. Они переезжают с места на место, окруженные всё тою же сферою, или, как говорится ныне, «средою» гостиниц, кельнеров, длинных счетов, звонков, общих обедов, наемных слуг, наемных карет, наемных ослов и провожатых; из этой «среды» путешественники наши, от врожденной ли робости, от гордости ли, от неуменья ли сближаться с людьми, или от лени, почти никогда не выходят; что же касается до удовольствия, проистекающего из пребывания в стране, прошедшее которой вам хорошо знакомо, из личной поверки исторических воспоминаний и данных, из того особенного чувства, которое овладевает человеком в виду следов или памятников великой народной жизни, то должно сознаться, что для многих из наших туристов все эти ощущения не существуют; они слишком мало подготовлены по этой части; для них имена городов, исторических лиц и событий остаются одними именами, и как арестант в «Мертвых душах» удовольствовался замечаньем, что в Весьёгонске тюрьма почище будет, а в Царевококшайске еще почище, так и туристы наши только и

могут сказать, что Франкфурт город побольше будет Нюренберга, а Берлин еще побольше.

Остается природа и искусство.

Природа всегда сильно действует на русскую душу, и мне случалось видеть даже генералов, военных и штатских, пришедших в истинный восторг от какого-нибудь прекрасного пейзажа, водопада или горы; но одна природа удовлетворить вполне человека не может. Идиллия — идиллией, а генерал остается генералом. Искусство... но и тут едва ли не придется повторить то, что сейчас было сказано; и тут, и на этом поприще, туристы наши так же слабо подготовлены. Напрасно думают иные, что для того чтобы наслаждаться искусством, достаточно одного врожденного чувства красоты; без уразумения нет и полного наслажденья; и самое чувство красоты также способно постепенно уясняться и созревать под влиянием предварительных трудов, размышления и изучения великих образцов, как и всё человеческое. Без тонко развитого вкуса нет полных художественных радостей; а никто еще не родился с тонким вкусом, и те любители прекрасного, которые с такой запальчивостью кричат: «Нам не учености нужно, не глубины, а подавайте нам, что бы нас трогало, что бы заживо нас задевало», большей частью трогаются и задеваются полькой, французской гравюрой или просто пятью онёрами в козырной масти. Увы! приходится сознаться, что наши художественные радости слишком часто ограничиваются мучительным дежурством перед «любопытными предметами» и «знаменитыми произведениями». В этом отношении особенно поучительное зрелище представляет небольшая комнатка в Дрезденской галерее, где находится Мадонна св. Сикста: стоящий перед нею диван, на который в теченье стольких лет садились и доныне садятся поколения за поколениями русских путешественников, не однажды мне казался местом или орудием духовной пытки, не уступающим в своем роде тем остаткам средневековой мглы, орудиям пытки телесной, которые показываются любопытным проезжим в старинных оружейных палатах.

Да, бо́льшая часть наших туристов скучает за границей. С некоторой точки зрения можно сказать, что это им даже честь приносит: это показывает, что они не удовлетворяются одними удобствами заграничной цивилизации, что у них есть другие, высшие требования, что им, живым людям, тяжело жить какою-то мертвенной, при

всей суетне, при всем кажущемся разнообразии, глубоко мертвенной жизнью. Скуке этой следует, между прочим, приписать и жадную их готовность сблизиться с каждым встречным соотечественником; с ним можно по крайней мере Русь помянуть... а не то и в картишки перекинуть.

Да, всё это правда, но я бы тотчас отказался от слов моих, если б кто-нибудь вздумал вывести из них такое заключение: «Путешествовать скучно — стало быть, лучше сидеть дома». Не говоря уже о пользе заграничной поездки для наших молодых ученых, художников, вообще для всех желающих изучить наглядно, на месте (а всякое другое изучение недостаточно) науку, жизнь, просвещение Европы, не говоря также и о том, что многие из нас умеют путешествовать с пользой и толком, мы все очень хорошо знаем, что полезное часто бывает скучным, а знакомство, даже поверхностное знакомство с Европой каждому из нас полезно. Пусть наши туристы скучают — и все-таки ездят за границу; никто из нас не может сказать, каким образом и под каким видом западают в него и когда созревают в нем семена правды, добра, образованности. «Для этого нет необходимости покидать свою родину»,— возразят мне. Согласен: семена эти носятся в каждом воздухе; но путешествие в чужой стране то же, что знакомство с чужим языком; это — обогащение внутреннего человека, а нашему брату не для чего прикидываться, что ему своего за глаза довольно. Надобно только уметь пользоваться чужим богатством. «Чужое богатство впрок нейдет»,— пожалуй, скажут мне другие и, сказавши это, подумают, что они выразили патриотическое чувство; с этими господами я спорить не стану; скажу одно: из посильных моих наблюдений я убедился в том, что, вопреки общепринятому мнению, самобытность русского человека и в хорошем и в дурном по меньшей мере равна его восприимчивости,— а потому я плохо верю в так называемый вред путешествий, о котором так охотно распространяются иные, впрочем почтенные люди. Чужеземное влияние сбивает только того с дороги, кто и без того никуда не шел.

«Was ist der langen Rede kurzer Sinn? К чему ведете вы вашу речь?» — спросите вы меня. А вот к чему: кто скучает за границей, сам виноват; нельзя в наше время путешествовать без надлежащего приготовления; пора простого «глазенья», приличного детям, миновала, и верное разочарованье готовит себе тот, кто воображает, что быть на Рейне или где-нибудь под утесом в Швейцарии уже

значит — наслаждаться. И за границей жареные куропатки не летают по воздуху, а на деревьях растут листья обыкновенные, не золотые. Путешествовать (я не говорю о тех, которые ездят за границу для поправления своего здоровья или для одного рассеяния), путешествовать, не сближаясь с иностранцами, не узнавая их быта, право, не стоит; в самом деле, не для того же мы покидаем всё нам дорогое, привычное, чтобы дышать пошлым воздухом пошлых комнат разных Hôtel Vittoria, des Princes, Stadt Berlin и т. п., а сближаться с иностранцами можно только на почве общих интересов, сочувствий, общего знанья. Конечно, это нелегко; иностранцы (на этот счет нечего себя обманывать) смотрят на нас с тайной недоверчивостью, почти с недоброжелательством, а мы, как Пушкин сказал, «ленивы и нелюбопытны»; но ведь и путешествие, если кто хочет извлечь из него пользу, точно такой же труд, как и всё в жизни.

Мне остается сказать, почему в Париже не скучают русские и какое собственно значение этого города для наших туристов; но об этом я потолкую с вами в следующем письме.

И. Тургенев

Рим, 19/31 декабря 1857.

<О КОМПОЗИТОРЕ В. Н. КАШПЕРОВЕ>

Г-н Кашперов написал оперу «Мария Тюдор», данную в Милане, на театре Каркано. Успех был — если судить по единодушным отзывам итальянских журналов — чрезвычайный: молодого маэстро сравнивают с величайшими светилами музыкального искусства. «Г-н Кашперов,— говорит один из первых итальянских журналов,— может по справедливости гордиться перед своими соотечественниками тем, что он первый сорвал заслуженный лавр на итальянской земле, этой родине всего прекрасного». Г-н Кашперов находится теперь в Ницце, где он ставит свою оперу. Он уже получил либретто другой оперы — под заглавием «Риэнзи». Г-н Кашперов ученик знаменитого Глинки, который и умер на его руках в Берлине. До сих пор г. Кашперов был известен в музыкальном мире своими мелодическими романсами; приветствуем его при вступлении на более обширное поприще — и желаем ему всевозможных успехов. Не услышим ли мы его оперу здесь, в Петербурге?

‹ПИСЬМА О ФРАНКО-ПРУССКОЙ ВОЙНЕ›

Баден-Баден, 27-го июля (8-го августа).

В прошлый четверг я писал вам под отдаленный гул канонады, на другой день, в пятницу, телеграмма известила нас, что это немцы брали штурмом Виссамбур — и началось исполнение плана Мольтке, который (в то время, как император французов показывал своему сыну, между завтраком и обедом, как действуют митральезы, и с чрезвычайным эффектом брал город Саарбрюкен, защищаемый одним батальоном) ринул всю громадную армию кронпринца прусского в Эльзас и разрубил французскую армию надвое. В субботу, то есть третьего дня, мой садовник пришел сказать мне, что с утра слышится чрезвычайно сильная пальба; я вышел на крыльцо, и действительно: глухие удары, раскаты, сотрясения доносились явственно; но раздавались они уже несколько более к югу, чем в четверг; я насчитывал их от тридцати до сорока в минуту. Я взял карету и поехал в Ибург — замок, находящийся на одной из самых крайних к Рейну вершин Шварцвальда: оттуда видна вся долина Эльзаса до Страсбурга. Погода была ясная, и отчетливо рисовалась линия Вогезских гор на небосклоне. Канонада прекратилась за несколько минут до моего прибытия в Ибург; но прямо против горы, по ту сторону Рейна, из-за длинного сплошного леса поднимались громадные клубы черного, белого, сизого, красного дыма: то горел целый город. Дальше, к Вогезам, слышались еще пушечные выстрелы, но всё слабее... Явно было, что французы разбиты и отступают. Страшно и горестно было видеть в этой тихой прекрасной равнине, под кротким сиянием полузакрытого солнца, этот безобразный след войны, и нельзя было не проклясть ее и безумно-преступных ее виновников. Я возвратился в Баден, и на другой день, то есть вчера, рано поутру, уже всюду в городе появилась телеграмма, возвещавшая о новой решительной победе кронпринца над Мак-Магоном, а к вечеру мы узнали, что французы потеряли 4000 пленных, 30 пушек, 6 митральез, 2 знамени и что Мак-Магон ранен! Изумлению са-

мих немцев нет границ: все роли изменены. *Они* нападают, *они* бьют французов на собственной их земле,— бьют их не хуже австрийцев! План Мольтке развивается с поражающею быстротой и блеском: правое крыло французской армии уничтожено, она находится между двух огней, и — как при Кенигсгреце — быть может, уже сегодня король прусский и кронпринц сойдутся на поле битвы, решившей участь войны! Немцы до того изумлены, что даже патриотическая их радость как будто смущена. *Этого* никто не ожидал! Я с самого начала, вы знаете, был за них всей душою, ибо в одном бесповоротном падении наполеоновской системы вижу спасение цивилизации, возможность свободного развития свободных учреждений в Европе: оно было немыслимо, пока *это* безобразие не получило достойной кары. Но я предвидел долгую, упорную борьбу — и вдруг! Все мысли теперь направлены к Парижу: что он скажет? *Разбиты* — Бонапарт n'a plus raison d'être [1]; но в теперешнее время можно ожидать даже такое невероятное событие, как спокойствие Парижа при известии о поражениях французской армии. Я всё это время, как вы легко можете себе представить, весьма прилежно читал и французские и немецкие газеты — и, положа руку на сердце, должен сказать, что между ними нет никакого сравнения. Такого фанфаронства, таких клевет, такого крайнего незнания противника, такого невежества, наконец, как во французских газетах, я и вообразить себе не мог. Не говоря уже о журналах вроде «Фигаро» или презреннейшей «Liberté», вполне достойной своего основателя, Э. де Жирардена, но даже в таких дельных газетах, как, например, «Temps», попадаются известия вроде того, что прусские унтер-офицеры идут за шеренгами солдат с железными прутьями в руках, чтобы подгонять их в бой, и т. п. Невежество доходит до того, что «Journal officiel», орган правительства (!), пресерьезно рассказывает, что между Францией и Пфальцем (Palatinat) *протекает Рейн*, и одним лишь совершенным незнанием противника можно объяснить уверенность французов, что Южная Германия останется нейтральной, несмотря на явно высказанное желание присвоить Рейнскую провинцию с историческими городами Кёльном, Аахеном, Триром, то есть едва ли не самый дорогой для немецкого сердца край немецкой земли! Тот же «Journal officiel» уверял на

---

[1] больше не нужен *(франц.)*.

днях, что цель войны со стороны Франции — возвращение немцам их свободы!! И это говорится в то время, когда вся Германия из конца в конец поднялась на исконного врага! Об уверенности в несомненности победы, в превосходстве митральез, шасспо́ и толковать нечего; все французские журналы убеждены, что стоит только французам сойтись с пруссаками — и «rrrran!» всё будет покончено мигом. Но не могу удержаться, чтоб не цитировать вам одну из прелестнейших фанфаронад: в одном журнале (чуть ли не в «Soir») один корреспондент, описывая настроение французских солдат, восклицает: «Ils sont si assurés de vaincre, qu'ils ont comme une peur modeste de leur triomphe inévitable!» (то есть они так уверены в победе, что ими овладевает как бы некий скромный страх перед собственным неизбежным триумфом!). Фраза эта, хотя не может сравниться с классической шекспировской фразой принца Петра Бонапарта насчет парижан, сопутствовавших гроб *убитого* им Нуара: «C'est une curiosité malsaine, que je blâme» (это — болезненное, неуместное любопытство, которое я осуждаю), однако, имеет свое достоинство. И какие изречения, какие «mots» приводят эти журналы, приписывая их разным высокопоставленным лицам — императору Наполеону, между прочим! «Gaulois», например, сообщает, что когда беззащитный Саарбрюкен был зажжен со всех четырех концов, император обратился к своему сыну с вопросом: «Es-tu fatigué, mon enfant?» [1] Ведь это значит, наконец, потерять даже чувство стыдливости!

Хорош тоже анекдот о дипломатическом attaché, который, в присутствии императрицы Евгении, объявил, что не желает победы над Пруссией. Как так?—Да так же; представьте, как будет неприятно жить на бульваре Унтер-Мунтер-Биршукрут или велеть кучеру ехать в улицу Нихкапут-клопс-мопсфурт! А ведь это будет неизбежно, так как мы даем нашим улицам названия наших побед! На основании донесений, быть может, этого самого attaché, Франция рассчитывала на нейтралитет Южной Германии.

Говоря без шуток: я искренно люблю и уважаю французский народ, признаю его великую и славную роль в прошедшем, не сомневаюсь в его будущем значении; многие из моих лучших друзей, самые мне близкие люди — французы; и потому подозревать меня в преднамеренной и несправедливой враждебности к их родине вы, конечно,

---

[1] «Ты не устал, мой мальчик?» *(франц.)*

не станете. Но едва ли не настал и их черед получить такой же урок, какой получили пруссаки под Иеной, австрийцы под Садовой и — зачем таить правду — и мы под Севастополем. Дай-то бог, чтоб они так же умели воспользоваться им, извлечь сладкий плод из горького корня! Пора, давно пора им оглянуться на самих себя, внутрь страны, увидеть свои язвы и стараться уврачевать их; пора положить конец той безнравственной системе, которая царит у них вот уже скоро двадцать лет! Без сильного внешнего потрясения такие «оглядки» невозможны; без глубокой скорби и боли они не бывают. Но настоящий патриотизм не имеет ничего общего с заносчивой, чванливой гордыней, которая ведет только к самообольщению, к невежеству, к ошибкам непоправимым. Французам нужен урок... потому что они еще многому должны научиться. Русские солдаты, умиравшие тысячами в развалинах Севастополя, не погибли даром; пускай же не погибнут даром и те бесчисленные жертвы, которых потребует настоящая война: иначе она была бы точно бессмысленна и безобразна.

Что касается собственно до нашего положения в Бадене, то опасность неприятельского вторжения теперь устранена; жизненные припасы даже подешевели против прежнего, несмотря на уверения французских газет, что мы здесь умираем с голоду.

9 августа.

Удар за ударом. Вчера только я вам писал о победе кронпринца над Мак-Магоном, а сегодня пришло известие, что и центр главной французской армии разбит, что она отступает к Мецу, Париж объявлен в осадном положении, Палата созвана к 11-му числу — и французы всюду бегут, бросают оружие! Неужели *их* Иена точно наступила? Не во гнев будь сказано графу Л. Н. Толстому, который уверяет, что во время войны адъютант что-то лепечет генералу, генерал что-то мямлит солдатам — и сражение как-то и где-то проигрывается или выигрывается,— а план генерала Мольтке приводится в исполнение с истинно математической точностью, как план какого-нибудь отличного шахматного игрока, например, Андерсена (тоже пруссака), который, замечу кстати, выиграл здесь матч против самых сильных шахматных игроков в самый день первой прусской борьбы под Виссамбуром. А в это время император Наполеон тешил, à la Louis

Quatorze»[1], и себя и сынка своего — представлением военного зрелища. Но Наполеон — не Людовик XIV: тот в течение многих лет сносил неудачи, и преданность к нему его подданных не поколебалась; Наполеон не переживет двух недель решительного поражения. Отсутствие талантов со стороны французских генералов выказывается всё более и более; и кто такие эти Лебеф, Фроссар, Базен, Фальи, окружающие императора французов? Придворные генералы — des généraux de cour — тоже à la Louis Quatorze. Единственный дельный между ними, Мак-Магон, словно был пожертвован. Я очень рад, что во время проезда моего через Берлин, в самый день объявления Францией войны (15 июля) я имел случай обедать за table d'hôte'ом прямо напротив генерала Мольтке. Лицо его врезалось в память. Он сидел молча и не спеша поглядывал кругом. С своим белокурым париком, с гладко выбритой бородой (он усов не носит) он казался профессором; но что за спокойствие, и сила, и ум в каждой черте, какой проницательный взгляд голубых и светлых глаз! Да, ум и знание, с присоединением твердой воли — цари на сей земле! «Звезда» Наполеона ему изменяет: против него не бездарный идиот, Гиулай, как в Италии в 1859 году.

Что происходит в Париже? Журналы вам уже, вероятно, сообщили сведения о начавшихся там волнениях... Но что будет дальше, когда истина всё более и более будет разоблачаться перед глазами французов? Безнравственное правительство кончило тем, что привело чужестранцев в пределы родины; разоривши страну, разорило армию и, нанесши глубокие раны благосостоянию, свободе, достоинству Франции, наносит теперь чуть не смертельный удар ее самолюбию! Неужели это правительство может еще уцелеть? Неужели оно не будет сметено бурей?

А все эти низкие люди — эти Оливье, «au cœur léger»[2], эти Жирардены, Кассаньяки, эти сенаторы — в какой прах будут они обращены? Но стоит ли на них останавливаться!

Немцы не бахвалы и не фанфароны, но и у них голова пошла кругом от всей этой небывальщины. Здесь сегодня распространился слух, что — Страсбург сдался!! Разумеется, это вздор; но ведь время чудес настало, и почему же и этому не поверить? Взял же третьего дня вечером баденс-

---

[1] «подобно Людовику XIV» *(франц.)*.
[2] «бездушные» *(франц.)*.

кий отряд целых тысячу французов в плен — без выстрела. Деморализация началась между ними, а ведь это та же холера.

И. Т.

Баден-Баден, 14-го августа.

В конце прошлой недели, ночью, без особенно сильного ветра, повалился самый старый, самый громадный дуб известной Лихтенталевской аллеи. Оказалось, что вся сердцевина его сгнила, и он держался только корою. Когда я поутру пошел смотреть его, перед ним стояло двое немецких работников. Вот, сказал один из них, смеясь, другому,— вот оно, французское государство: «Da ist es, das Französische Reich!» И действительно, судя по тому, что доходит до нас из Парижа и из Франции, можно подумать, что колосс этот держался одной наружностью и готов завалиться. Плоды двадцатилетнего царствования оказались наконец. Вам известно, что в мгновенье, когда я пишу, наступило нечто вроде роздыха, то есть не происходит сражения, зато немецкая армия быстро двигается вперед (по последним сведениям, она заняла Нанси), а французская столь же быстро отступает. Но сражение страшное, решительное сражение неизбежно; обе стороны одинаково его желают, жаждут, и, быть может, уже завтра выпадет роковой жребий. Особенно Франция, взбешенная, возмущенная, оскорбленная до последних нервов своего народного самолюбия, настоятельно требует схватки с пруссаками — требует «une revanche», и едва ли не этому яростному желанию «отыграться» следует приписать тот факт, что правительство еще держится и что ожиданная многими революция не вспыхнула в Париже. «Некогда заниматься политикой — нужно спасать отечество» — вот общая всем мысль. Но что французы опьянели жаждой мести, крови, что каждый из них словно голову потерял,— это несомненно. Не говорю уже о сценах в Палате депутатов, на парижских улицах; но сегодня пришла весть, что *все* немцы изгоняются (за исключением, конечно, австрийцев) из пределов Франции! Подобного варварского нарушения международного права Европа не видала со времени первого Наполеона, велевшего арестовать всех англичан, находившихся на материке. Но та мера коснулась в сущности только нескольких отдельных личностей; на этот раз разорение грозит тысячам трудолюбивых и честных семейств, поселившихся во Франции в убеждении, что их приняло

в свои недра государство цивилизованное. Что, если Германии вздумается отплатить тем же: французов, поселившихся в Германии, не меньше, чем немцев, живущих во Франции, и обладают они чуть ли не более значительными капиталами. Куда это нас поведет наконец? Уж и без того справедливое негодование немцев возбуждается призывом звероподобных *тюркосов* на европейскую войну, их жестоким обращением с пленными, ранеными, с врачами, наконец, с сестрами милосердия; а тут еще г-н Поль де Кассаньяк. достойное исчадье своего отца, объявляет, что не хочет давать денег женевскому международному комитету, потому-де что он будет также заботиться о прусских раненых и что это «карикатурное сентиментальничание» — «une sentimentalité grotesque»; хорошо еще, что немцы, имеющие теперь на руках несколько тысяч французских раненых, не придерживаются принципов этого любимца тюильрийского двора, личного друга императора Наполеона, который называет его своим сыном и говорит ему «ты». До чего дошла прыть французов, вы можете судить по следующему. Вчера «Liberté» приводила с похвалою статью некоторого Марка Фурнье в «Paris-Journal». Он требует истребления всех пруссаков и восклицает: «Nous allons donc connaître enfin les voluptés du massacre! Que le sang des Prussiens coule en torrents, en cataractes, avec la divine furie du déluge! Que l'infâme qui ose seulement prononcer le mot de paix, soit aussitôt fusillé comme un chien et jeté à l'égout!» [1] И рядом с этими неслыханными безобразиями и неистовствами — полнейшая неурядица, растерянность, отсутствие всякого *административного* таланта, не говоря уже о других! Военный министр (маршал Лебеф), уверявший, что всё *готово*, дававший в том свое честное слово, оказался просто младенцем. Эмиль Оливье исчез, выметенный вон, как негодный сор, вместе с своим министерством, той самой Палатой, которая ползала перед ним; и кем же он заменен? Графом Паликао, человеком до того запятнанной репутации, что другая Палата, еще более преданная правительству, чем нынешняя, отказала ему в дотации, находя, что он уже и так достаточно нагрел

[1] «Наконец-то познаем мы сладострастье избиения. Пусть кровь пруссаков льется потоками, водопадами, с божественной яростью потопа! Пусть подлец, который только посмеет произнести слово „мир", будет тотчас же расстрелян как собака и брошен в сточную канаву!» *(франц.)*.

руки в Китае! (Он, как известно, командовал французской экспедицией 1860 года). Нельзя сомневаться в том, что при громадных средствах французского народа, при патриотическом энтузиазме, им овладевшем, при мужестве французской армии, конец борьбы еще не близок — да и предсказать с совершенной достоверностью нельзя, каков будет исход этого колоссального столкновения двух рас; но шансы пока на стороне немцев. Они выказали такое обилие разнородных талантов, такую строгую правильность и ясность замысла, такую силу и точность исполнения; численное превосходство их так велико, превосходство материальных средств так очевидно, что вопрос кажется решенным заранее. Но «le dieu de batailles» [1], как выражаются французы, изменчив, и недаром же они сыны и внуки победителей при Иене, Аустерлице, Ваграме! Поживем — увидим. Но уже теперь нельзя не сознаться, что, например, прокламация короля Вильгельма при вступлении во Францию резко отличается благородной гуманностью, простотой и достоинством тона от всех документов, достигающих до нас из противного лагеря; то же можно сказать о прусских бюллетенях, о сообщениях немецких корреспондентов: здесь — трезвая и честная правда; там — какая-то то яростная, то плаксивая фальшь. Этого во всяком случае история не забудет.

Однако довольно. Как только что произойдет замечательное — напишу вам. Здесь всё тихо: первые раненые и больные появились сегодня в нашем госпитале.

И. Т.

Баден-Баден, 28-го августа.

Не буду вам говорить на сей раз о сражениях под Мецом, о движении кронпринца на Париж и т. д. Газеты вам и без меня натолковали об этом довольно... Я намерен обратить ваше внимание на психологический факт, который, на моей по крайней мере памяти, в таких размерах еще не представлялся, а именно о жажде самообольщения, о каком-то опьянении сознательной лжи, о решительном нежелании правды, которые овладели Парижем и Францией в последнее время. Одним раздражением глубоко уязвленного самолюбия объяснить этого нельзя: подобная «трусость» — другого слова нет — трусость взглянуть, как говорится, чёрту в глаза,— указывает в одно и то же

[1] «бог сражений» *(франц.)*.

время и на Ахиллесову пятку в самом характере народа и служит одним из многочисленных симптомов того нравственного уровня, до которого унизило Францию двадцатилетнее правление второй империи.

«Вот уже две недели, как вы лжете и обманываете народ!» — воскликнул с трибуны честный Гамбетта, и голос его тотчас был заглушен воплями большинства, и Гранье де Кассаньяк заставил малодушного президента прекратить заседание. Французы *не хотят* знать правду: кстати ж, им под руку подвернулся человек (граф Паликао), который в деле лганья, спокойного, немногословного и невозмутимого, заткнул за пояс всех Мюнхгаузенов и Хлестаковых. Шекспир заставляет принца Генриха сказать Фальстафу, что ничего не может быть противнее старца-шута; но старец-лгун едва ли еще не хуже; а этот старец — Паликао — не может рта разинуть без того, чтоб не солгать. Базэн с главной французской армией заперт в Меце; ему грозят голод, плен, чума...— «Помилуйте, наша армия в превосходнейшем положении, и Баэзн вот-вот соединится с Мак-Магоном».— «Но у вас известий от него нет?» — «Тсс! молчите! нам нужно совершенное безмолвие, чтоб исполнить удивительнейший военный план, и если б я сказал, чтó я знаю, Париж бы тотчас сделал иллюминацию!»— «Да скажите, чтó вы знаете!» — «Ничего я не скажу, а весь кирасирский *корпус* Бисмарка истреблен!» — «Но бисмаркских кирасиров нет вовсе, и кирасиров вообще не было в сражении!» — «О! я вижу, вы дурной патриот», и т. д. и т. д. И французское общество притворяется, что верит всем этим сказкам. Неужели так должен поступать великий народ, так встречать удары рока? Без самохвальства мы можем сказать: во время Крымской кампании русское общество поступало иначе. Энтузиазм, готовность всем жертвовать — конечно, прекрасные качества; но уменье спокойно сознать беду и сознаться в ней — качество едва ли не высшее. В нем большее ручательство успеха. Неужели достойны «великого народа» — de la grande nation — эти безобразные преследования отдельных, ничем неповинных, но заподозренных личностей? В одном департаменте дошли до того, что убили француза и сожгли его труп потому только, что толпе показалось, что он заступается за Пруссию. «А! мы не можем сладить с немецкими солдатами, так давай бить немецких портных, кучеров, рабочих! Давай клеветать, лгать, что попало, как попало, лишь бы горячо выходило!» Но вот уж поневоле приходится спросить вмес-

те с Фигаро: «Qui trompe-t-on ici?»[1] Сама себя раба бьет, коли нечисто жнет. Французы закрывают глаза, зажимают уши, кричат как дети, а пруссаки уже в Эпернэ, и генерал-губернатор Трошю, единственный дельный, честный и трезвый человек во всей администрации, готовит Париж к выдержанию осады, которая не нынче — завтра начнется...

Я и прежде замечал, что французы менее всего интересуются истиной — c'est le cadet de leurs soucis[2]. В литературе, например, в художестве они очень ценят остроумие, воображение, вкус, изобретательность — особенно остроумие. Но есть ли во всем этом правда? Ба! было бы занятно. Ни один из их писателей не решился сказать им в лицо полной, беззаветной правды, как, например, у нас Гоголь, у англичан Теккерей; именно им как французам, а не как людям вообще. Те редкие сочинения, в которых авторы пытались указать своим согражданам на их коренные недостатки, игнорируются публикой, как, например, «Революция» Э. Кине, и в более скромной сфере — последний роман Флобера. С этим нежеланием знать правду у себя дома соединяется еще большее нежелание, лень узнать, что происходит у других, у соседей. Это неинтересно для француза, да и что может быть интересного у чужих? И притом кому же неизвестно, что французы — «самый ученый, самый передовой народ в свете, представитель цивилизации и сражается за идеи»? В обыкновенное мирное время всё это сходило с рук; но при теперешних грозных обстоятельствах это самомнение, это незнание, этот страх перед истиной, это отвращение к ней — страшными ударами обрушились на самих французов... Но что они еще не отрезвились — доказывают все выше приведенные мною факты. Не отделались они от лжи, и хотя уже не поют Марсельезы (!) под знаменами императора Наполеона (можно ли вообразить большее кощунство), но до выздоровления им далеко... Они еще только начинают сознавать свою болезнь — и через какие еще опыты, тяжелые и горькие, должны они будут пройти!

Кстати: «СПб. ведомости» (в 214-м №) приводят письмо корреспондента «Биржевых ведомостей», в котором рассказывается о том, будто в Бадене кричат: смерть французам — и что вследствие этого наши барыни заговорили по-русски. Г-н корреспондент достоин быть французским

[1] «Кого здесь обманывают?» *(франц.)*.
[2] это меньшая из их забот *(франц.)*.

хроникером: в его заявлении нет ни слова правды. Здесь живущие французские семейства пользуются совершенным уважением со стороны властей и народонаселения: их свобода ничем не стеснена; и в большой общей зале, где сходятся все здешние дамы для заготовления всевозможных бандажей, бинтов, фуфаек и т. д., назначаемых раненым и больным, гораздо больше в ходу французский язык, чем немецкий. Быть может, г. корреспондент имел в виду сделать искусный намек здесь живущим русским дамам; но, увы! могу его заверить, что они продолжают пренебрегать русским языком — и патриотический его порыв остался втуне.

На днях я ездил в Раштатт с целью посетить тамошних французских раненых и пленных. Уход за ними очень хорош — и все они жалуются на своих генералов. Между ними был старый араб (тюркос), настоящий горилла; сморщенный, черный, худой, он сидел на своей постели и поглядывал кругом тупо и дико, как зверь; по словам его товарищей, он и по-французски не понимает. Нужно было очень «стране, идущей во главе прогресса», притащить в Раштатт этого сына африканских степей!

Бомбардирование Страсбурга всё продолжается; даже при закрытых окнах проникают до меня мерные глухие сотрясения... Ежечасно ожидается здесь известие о битве между кронпринцем и Мак-Магоном. Если французы и ее проиграют, то диктатура Трошю почти неизбежна. Повторяю опять: поживем — увидим!

И. Т.

Баден-Баден, 18-го (6-го) сентября.

Вы желаете, чтоб я сообщил вам впечатления, произведенные на немецкое общество громадными событиями, совершившимися в начале этого памятного месяца,— насколько эти впечатления подпали моему наблюдению. Не стану говорить о взрывах национальной гордости, патриотической радости, празднествах и т. п. Вы уже знаете это всё из газет. Постараюсь вкратце и с должным беспристрастием изложить вам воззрения немцев — во-первых, на перемену правительства во Франции. а во-вторых, на вопрос о «войне и мире».

Начну с того, что возобновление республики во Франции, появление этой, для многих еще столь обаятельной, правительственной формы не возбудило в Германии и тени того сочувствия, которым некогда была встречена респуб-

лика 1848 года. Немцы весьма скоро поняли, что после седанской катастрофы империя стала, на первых порах, невозможна, и что, кроме республики, ее пока нечем было заменить. Они не верят (может быть, они ошибаются), чтобы республика имела глубокие корни во французском народонаселении, и не рассчитывают на долгое ее существование; вообще они вовсе не рассматривают ее безотносительно — an und für sich,— а только с точки зрения ее влияния на заключение мира, мира выгодного и продолжительного — «dauerhaft, nicht faul», который составляет теперь их idée fixe. Именно с этой точки зрения появление республики их даже смутило: она заменила определенную правительственную единицу, с которой можно было вести переговоры, чем-то безличным и шатким, не могущим представить надлежащих гарантий. Это самое и заставляет их желать энергического продолжения войны и скорейшего взятия Парижа, с падением которого, по их понятию, немедленно и положительно окажется, чего именно нужно Франции. При замечательном, можно сказать небывалом, единодушии, которое овладело всеми ими,— надеяться остановить эти растущие, набегающие волны, ожидать, что победитель остановится или даже вернется назад,— есть, говоря без обиняков, ребячество; один Виктор Гюго мог возыметь эту мысль — да и то, я полагаю, он только ухватился за предлог произвести обычное словоизвержение. Сам король Вильгельм не властен иначе повернуть это дело: те волны несут и его. Но, решившись довести расчет с Францией (Abrechnung mit Frankreich) до конца, немцы готовы объяснить вам причины, почему они должны это сделать.

Всему на свете есть двоякие причины, явные и тайные, справедливые и несправедливые (явные большей частью несправедливы), и двоякие оправдания: добросовестные и недобросовестные. Я слишком давно живу с немцами и слишком с ними сблизился, чтоб они, в беседах со мною, прибегали к оправданиям недобросовестным — по крайней мере они не настаивают на них. Требуя от Франции Эльзас и немецкую Лотарингию (Эльзас во всяком случае), они скоро покидают аргумент расы, происхождения этих провинций, так как этот аргумент побивается другим, сильнейшим, а именно — явным и несомненным нежеланием этих самых провинций присоединиться к прежней родине. Но они утверждают, что им нужно непременно и навсегда обеспечить себя от возможности напа-

дений и вторжений со стороны Франции и что другого обеспечения они не видят, как только присоединение левого берега Рейна до Вогезских гор. Предложение разрушить все крепости, находящиеся в Эльзасе и Лотарингии, обезоружение Франции, низведенной на двухсоттысячную армию, им кажется недостаточным; угроза вечной вражды, вечной жажды мести, которую они возбудят в сердцах своих соседей, на них не действует. «Всё равно,— говорят они,— французы и так никогда не простят нам своих поражений; лучше же мы предупредим их и, как это представил рисунок „Кладдерадатча“, обрежем когти врагу, которого все-таки примирить с собой не можем». Действительно, бесправное, дерзко-легкомысленное объявление войны Францией в июле месяце как бы служит подтверждением доводов, приводимых немцами. Впрочем, они не скрывают от самих себя великих затруднений, сопряженных с *аннектированием* двух враждебных провинций, но надеются, что время, терпение и умение помогут им и тут, как помогли в Великом герцогстве Познанском, в прирейнских и саксонских областях, в самом Ганновере и даже во Франкфурте.

У нас принято с пеной у рта кричать против этого немецкого захвата; но, как справедливо замечает газета «Таймс», неужели можно одну секунду сомневаться в том, что какой-либо народ на месте немцев, в теперешнем их положении, поступил бы иначе? Притом не надо воображать, что мысль вернуть Эльзас явилась у них только вследствие их изумительно неожиданных побед; эта мысль засела в голову каждого немца немедленно по объявлении войны: они возымели ее даже тогда, когда ожидали долгой, упорной защитительной борьбы в собственных границах. 15-го июля, в Берлине, я своими ушами слышал их говорящих в этом смысле. «Мы ничего не пожалеем,— объявляли они,— отдадим всю свою кровь, всё свое золото, но Эльзас будет наш».— «А если вас разобьют?» — спросил я. «Если нас *убьют* французы,— отвечали мне,— пусть они с нашего трупа возьмут рейнские провинции». Игра завязалась отчаянная; ставка была несомненно определена с каждой стороны: вспомните объявление Жирардена, которому рукоплескала вся Франция, что нужно прикладами отбросить немцев за Рейн... Игра проиграна одним игроком; что удивительного, что другой игрок берет его ставку?

Так, скажете вы, это логика; но где справедливость?

Я полагаю, что немцы поступают необдуманно и что расчет их неверен. Во всяком случае, они уже сделали большую ошибку тем, что наполовину разрушили Страсбург и тем окончательно восстановили против себя всё народонаселение Эльзаса. Я полагаю, что можно найти такую форму мира, которая, надолго обеспечив спокойствие Германии, не поведет к унижению Франции и не будет заключать в себе зародыша новых, еще более ужасных войн. И можно ли предполагать, что после страшного опыта, которому она подверглась, Франция снова захочет испытать свои силы? Кто из французов, в глубине души своей, не отказался теперь навек от Бельгии, от рейнских провинций? Было бы достойно немцев — немцев-победителей — также отказаться от Лотарингии и Эльзаса. Кроме вещественных гарантий, на которые они имеют полное право, они могли бы удовлетвориться гордым сознанием, что, по выражению Гарибальди, их рукою было низвергнуто в прах безнравственное безобразие бонапартизма.

Но отказывается в эту минуту в Германии от Эльзаса и Лотарингии только крайняя демократическая партия; прочтите речь, произнесенную ее главным представителем, И. Якоби, из Кенигсберга, этим непоколебимым, грандиозным доктринером, которого не напрасно сравнивают с Катоном Утическим. Партия эта числительно слаба — и едва начинает распространяться между работниками, без которых никакая демократия немыслима. Притом не туда направлены теперь все стремления Германии: объединение немецкой расы и упрочение этого объединения — вот ее лозунг. Она исполняет теперь сознательно то, что у других народов совершилось гораздо ранее и почти бессознательно; кто может ее обвинять в этом? И не лучше ли принять и внести в наличную книгу истории этот факт — столь же непреложный и неотвратимый, как всякое физиологическое, геологическое явление?

А бедная, растерзанная, растерянная Франция, что с нею будет? Ни одна страна не находилась в более отчаянном положении. Нет никакого сомнения, что она напрягает все силы свои для смертельной борьбы, и письма, полученные мною из Парижа, свидетельствуют о непреклонной решимости защищаться до конца, как Страсбург. Будущее Франции зависит теперь от парижан. «Нам надо будет перевоспитать себя,— пишет нам один из них,— мы заражены империей до мозга костей; мы отстали, мы упали, мы погрязли в невежестве и самомнении... но это

перевоспитание впереди: теперь мы должны спасти себя, мы должны действительно окреститься в той кровавой купели, о которой только болтал Наполеон; и мы это сделаем». Скажу не обинуясь, что мои симпатии к немцам не мешают мне желать их неудачи под Парижем; и это желание не есть измена тем симпатиям: для них же самих лучше, если они Парижа не возьмут. Не взяв Парижа, они не подвергнутся соблазну сделать ту попытку реставрации императорского режима, о которой уже толкуют некоторые ультраусердные и патриотические газеты; они не испортят лучшего дела своих рук, они не нанесут Франции самой кровавой обиды, которую когда-либо претерпевал побежденный народ... Это будет еще хуже отнятия провинций! «Ватерлоо можно еще простить,— справедливо заметил кто-то,— но Седан никогда!» *Проклятый* — le maudit — в устах французского солдата нет другого имени Наполеону; и могло ли оно быть иначе? Не говорю уже о том, что народу, так глубоко, так безжалостно пораженному, необходимо, по законам психологии, выбрать «козлище очищения»; а что на этот раз «козлище» не невинное существо, в том, я полагаю, не сомневаются даже «Московские ведомости».

Но, повторяю, роль меча еще не кончена... он один разрубит гордиев узел.

А я все-таки скажу: хоть и нельзя желать полной победы немцев, но самая эта победа нам должна служить уроком; она является торжеством большего знания, большего искусства, сильнейшей цивилизации: наглядно, с несомненной, поразительной ясностью показано нам, чтó доставляет победу.

И. Т.

Баден-Баден, 18-го (30-го) сентября.

Сегодня мне невольно приходили в голову начальные стихи гётевской поэмы «Герман и Доротея». Так же, как и в том городе, народонаселение Бадена отправилось на большую дорогу смотреть «печальное шествие злополучных, из родины изгнанных людей» — то есть семнадцатитысячного страсбургского гарнизона, которому пока назначено местопребывание в Раштатте. (Замечу кстати, что «героическая» защита Страсбурга далеко не оправдала эпитета, заранее данного ей французами; не говоря уже о Севастополе, она не может идти в сравнение даже с защитою Антверпена в 1832 году, которая продолжалась

тоже около месяца, но где генерал Шассе сдался только после взятия штурмом форта св. Лаврентия, командовавшего всем городом; впрочем, ни один друг человечества не будет жалеть о том, что генерал Урих избег ненужного кровопролития, не дождавшись штурма. Говорят, у него не было больше пороха.) Длинная колонна пленных, которых пешком привели из Страсбурга, сегодня только в пять часов приблизилась к Раштатту, хотя ожидали ее к двенадцати часам; она являла самую разнообразную и живописную смесь мундиров: тут были и пехотинцы двадцати различных полков, и кирасиры, и артиллеристы, и жандармы, и зуавы, и тюркосы — остатки мак-магоновской армии. Солдаты шли бодро и даже весело — и не казались изнуренными, хотя многие были босы; почти каждый из них держал в руке шомпол или палку с нанизанными овощами и плодами, картофелем, яблоками, морковью, кочанами капусты, тюркосы скалили зубы и озирались, как дети; офицеры шли молча, отдельными кучками, с опущенными глазами, со скрещенными на груди руками: они одни, казалось, чувствовали всю горечь своего положения. Комендант Раштатта выехал со всеми своими адъютантами на встречу пленных и шел впереди колонны; несколько французских штаб-офицеров также ехало верхом — все сохранили свои шпаги. Десятитысячная публика, стоявшая по обеим сторонам дороги, вела себя очень прилично — с полным уважением к несчастию побежденных; не было слышно ни одного клика, ни одного слова, оскорбительного для их самолюбия. Одна старая крестьянка засмеялась было при виде одного действительно карикатурного тюркоса; но ее тотчас осадил работник в блузе, промолвив: «Alles zu seiner Zeit; heute lacht man nicht». (Всё в свое время; сегодня не смеются.) Это не мешает всем немцам чувствовать великую радость при мысли о бесповоротном (как они полагают) возвращении древнегерманского города в лоно объединенной родины; притом они хорошо знают, что падение Страсбурга ускорит падение Парижа, давая им возможность отправить всю осадную артиллерию по железной дороге, ставшей совершенно свободною после сдачи Туля.

Удары не перестают падать, один за одним, на несчастную Францию. Я на днях имел продолжительные разговоры с одним французом, только что возвратившимся из Дижона, куда он ездил с целью попытаться попасть в будущее Учредительное собрание. Выборы в это собра-

ние были отсрочены, как известно, на неопределенное время, под влиянием телеграммы Фавра, отправленной после его разговора с Бисмарком, и последовавшей затем прокламации Кремьё. Вот что говорил мне француз, вернувшийся из Дижона: «У нас теперь нет собрания, нет правительства, нет армии — а есть только ярость и решимость отчаянно драться до конца. Умеренные люди молчат — и должны молчать; действовать могут только одни крайние, беззаветные, безумно-страстные; и, прибавил он, ce sont peut-être les plus fous qui sont maintenant les plus sages: ils nous sauveront peut-être (самые безумные — быть может, самые рассудительные: они спасут нас). Если Париж в состоянии продержаться три, четыре месяца; если французы выкажут только часть того несокрушимого темперамента, который в конце концов доставил испанцам победу над Наполеоном; если во всех департаментах учредятся гверильясы, если самое падение Парижа нас не смутит — дело может быть еще выиграно. Надо заставить пруссаков бороться с призраком, с пустотою, с совершенным отсутствием всякого правительства — il faut faire le vide devant eux... [1] С кем они заключат мир, когда уже теперь они не видят перед собою ни одного ответственного, гарантированного лица? Не за Наполеона же взяться в самом деле? А между тем их громадная армия будет таять, как воск; да они же не могут оставаться так долго вне Германии, вдали от своих жилищ, семейств... Вооруженная нация способна только на короткие походы, а наши средства неистощимы».

Вот какими речами старался мой знакомый хотя несколько заглушить свою патриотическую скорбь... Нельзя не согласиться, что в них есть значительная доля истины. А между тем тот же самый француз нисколько не скрывал от себя всех темных сторон того самого положения, которое возбуждало его надежды; особенно сокрушало его совершенное исчезновение дисциплины во французской армии, на которое намекал уже Трошю в известной своей брошюре... Империя превратила солдат в преторианцев, а преторианская дисциплина нам известна из истории.

Всё зависит, без сомнения, от того, как поведет себя Париж; лучше Страсбурга, должно надеяться.

И. Т.

---

[1] Надо создать перед ними пустоту *(франц.)*.

ПЕРГАМСКИЕ РАСКОПКИ

Письмо в редакцию

...Отведите мне две-три странички вашего журнала для того, чтоб я мог поделиться с его читателями тем глубоким впечатлением, которое произвели на меня, во время моего недавнего проезда через Берлин, приобретенные прусским правительством мраморные горельефы лучшей эпохи аттического ваяния (III-го столетия до Р. Х.), открытые в Пергаме (не в древней Трое) — в столице небольшого малоазийского царства, сперва покоренного, как и весь греческий мир, Римом, а потом разоренного наплывом варваров. Существование этих горельефов, воздвигнутых кем-то из царствовавшей династии Атталов и считавшихся у древних одним из чудес вселенной, было, конечно, не безызвестно ученым — германским ученым в особенности; о них говорится в сохранившемся сочинении одного довольно, впрочем, темного писателя II-го столетия; но честь открытия этих великолепных останков принадлежит германскому консулу в Смирне Гуманну, а заслуга — скорее счастие приобретения их выпала на долю прусского правительства, при энергическом содействии кронпринца. Всё дело было ведено очень ловко и тайно; вовремя были высланы инженеры и ученые профессора, вовремя куплен участок земли, близ деревушки Бергама, под которой скрывались все эти сокровища; самый фирман султана на владение открытыми мраморами, а не одними снимками с них (как то́ сделало греческое правительство), был очень удачно и тоже вовремя получен, и в конце концов Пруссия — за какие-нибудь ничтожнейшие 130 000 марок — закрепила за собою такое завоевание, которое, конечно, принесет ей больше славы, чем завоевание Эльзаса и Лотарингии, и, пожалуй, окажется прочнее.

Эти горельефы составляли собственно фронтон или фриз громадного алтаря, посвященного Зевесу и Палладе (фигуры в полтора раза превосходят человеческий рост)— стоявшего перед дворцом или храмом Аттала. Они найде-

ны на довольно незначительной глубине и хотя разбиты на части (всех отдельных кусков собрано более 9000 — правда, иные куски аршина полтора в квадрате и более), но главные фигуры и даже группы сохранены, и мрамор не подвергся тем разрушительным влияниям открытого воздуха и прочим насилиям, от которого так пострадали останки Парфенона. Все эти обломки были тщательно перенумерованы, уложены на двух кораблях и привезены из Малой Азии в Триест (два других корабля еще в дороге с остатками четырех колоссальных статуй и архитектурных частей) — потом отправлены по железной дороге в Берлин. Теперь они занимают несколько зал в Музеуме, на полу которых они разложены, и понемногу складываются в прежнем своем порядке, под наблюдением комиссии профессоров и с помощью целой артели искусных итальянских формовщиков. К счастью, главные группы сравнительно меньше пострадали — и публика, которой позволяется раз в неделю осматривать их с высоты небольших подмостков, окружающих лежащие мраморы, может уже теперь составить себе понятие о том, какое поразительное зрелище представят эти горельефы, когда, сплоченные и воздвигнутые вертикально в особенно для них устроенном здании, они предстанут перед удивленными взорами нынешних поколений во всей своей двухтысячелетней, скажем более — в своей бессмертной красоте.

Эти горельефы (многие из тел так выпуклы, что совсем выделяются из задней стены, которая едва с одной стороны прикасается их членов) — эти горельефы изображают битву богов с титанами или гигантами, сыновьями Гэи (Земли). Не можем здесь же, кстати, не заметить, что какое счастье для народа обладать такими поэтическими, исполненными глубокого смысла религиозными легендами, какими обладали греки, эти аристократы человеческой породы. Победа несомненная, окончательная — на стороне богов, на стороне света, красоты и разума; но темные, дикие земные силы еще сопротивляются — и бой не кончен. Посередине всего фронтона Зевс (Юпитер) поражает громоносным оружием, в виде опрокинутого скиптра, гиганта, который падает стремглав, спиною к зрителю, в бездну; с другой стороны — вздымается еще гигант, с яростью на лице — очевидно, главный борец,— и, напрягая свои последние силы, являет такие контуры мускулов и торса, от которых Микель-Анджело пришел

бы в восторг. Над Зевсом богиня Победы парит, расширяя свои орлиные крылья, и высоко вздымает пальму триумфа; бог солнца, Аполлон, в длинном легком хитоне, сквозь который ясно выступают его божественные юношеские члены, мчится на своей колеснице, везомый двумя конями, такими же бессмертными, как он сам; Эос (Аврора) предшествует ему, сидя боком на другом коне, в перехваченной на груди струистой одежде, и, обернувшись к своему богу, зовет его вперед взмахом обнаженной руки; конь под ней так же — и как бы сознательно — оборачивает назад голову; под колесами Аполлона умирает раздавленный гигант — и словами нельзя передать того трогательного и умиленного выражения, которым набегающая смерть просветляет его тяжелые черты; уже одна его свешенная, ослабевшая, тоже умирающая рука есть чудо искусства, любоваться которым стоило бы того, чтобы нарочно съездить в Берлин. Далее, Паллада (Минерва), одной рукой схватив крылатого гиганта за волосы и волоча его по земле, бросает длинное копье другою, круто поднятой и закинутой назад рукою, между тем как ее змея, змея Паллады, обвившись вокруг побежденного гиганта, впивается в него зубами. Кстати заметить, что почти у всех гигантов ноги заканчиваются змеиными телами,— не хвостами, а телами, головы которых также принимают участие в битве; Зевсовы орлы их терзают — уцелела одна змеиная широкая, раскрытая пасть, захваченная орлиной лапой. Там Цибелла (Деметер), мать богов, мчится на льве, передняя часть которого, к сожалению, пропала (много обломков мрамора было сожжено варварами на известь); человеческая нога судорожно упирается в брюхо льву — и своей поразительной реальной правдой служит противоположностью другой, идеально прекрасной ноге, несомненно принадлежавшей богу, победоносно наступившему на мертвого гиганта. Вакх-Дионизос, Диана-Артемида, Гефест-Вулкан — также в числе бойцов-победителей; есть другие еще, пока безымянные боги, нимфы, сатиры,— всех фигур около сорока и все свыше человеческого роста! Поразительна фигура Гэи (Земли), матери гигантов; вызванная гибелью своих сынов, она до половины корпуса, до пояса, поднимается из почвы... Нижняя часть ее лица отбита (головы Зевса и Паллады — увы! — также исчезли), но какой величавой и бесконечной скорбью веет от ее чела, глаз, бровей, ото всей ее колоссальной головы — это надо видеть... на это даже

намекнуть нельзя. Все эти — то лучезарные, то грозные, живые, мертвые, торжествующие, гибнущие фигуры, эти извивы чешуйчатых змеиных колец, эти распростертые крылья, эти орлы, эти кони, оружия, щиты, эти летучие одежды, эти пальмы и эти тела, красивейшие человеческие тела во всех положениях, смелых до невероятности, стройных до музыки,— все эти разнообразнейшие выражения лиц, беззаветные движения членов, это торжество злобы, и отчаяние, и веселость божественная, и божественная жестокость — всё это небо и вся эта земля — да это мир, целый мир, перед откровением которого невольный холод восторга и страстного благоговения пробегает по всем жилам. И вот еще что: при виде всех этих неудержимо свободных чудес куда деваются все принятые нами понятия о греческой скульптуре, об ее строгости, невозмутимости, об ее сдержанности в границах своего специального искусства, словом, об ее классицизме,— все эти понятия, которые, как несомненная истина, были передаваемы нам нашими наставниками, теоретиками, эстетиками, всей нашей школой и наукой? Правда, нам по поводу, например, Лаокоона или умирающего Гладиатора, наконец фарнезского Быка говорили о том, что и в древнем искусстве проявлялось нечто напоминающее то, что гораздо позже называлось романтизмом и реализмом; упоминали о родосской школе ваяния, даже о пергамской школе; но тут же замечали, что все эти произведения уже носят некоторый оттенок упадка, доходящего, например, в фарнезском Быке до рококо; толковали о границах живописи и ваяния и о нарушении этих границ; но какая же может быть речь об упадке перед лицом этой «Битвы богов с гигантами», которая и по времени своего происхождения относится к лучшей эпохе греческой скульптуры — к первому столетию после Фидиаса? Да и как подвести эту «Битву» под какую-либо рубрику? Конечно, «реализм» — уж если взять это слово — реализм некоторых подробностей изумителен, там попадаются обуви, складки тканей, переливы кудрей, даже вихры шерсти над копытами коней, оттенка которых не перещеголяют самые новейшие итальянские скульпторы, а уж на что они теперь в этих делах мастера! Конечно, «романтизм», в смысле свободы — телодвижения, поз, самого сюжета, в устах иного французского педанта получил бы название всклокоченного — «échevelé»; но все эти реальные детали до того исчезают в общем целостном впечатлении,— вся эта бурная свобо-

да романтизма до того проникнута высшим порядком и ясным строем высокохудожественной, идеальной мысли, что нашему брату-эпигону только остается преклонить голову и учиться — учиться снова, перестроив всё, что он до сих пор считал основной истиной своих соображений и выводов. Повторяю, эта «Битва богов», действительно, откровение, и когда — не раньше, однако, года или двух — воздвигнется наконец перед нами этот «алтарь», все художники, все истинные любители красоты должны будут ходить к нему на поклонение.

Я только вскользь упомянул о тех тысячах небольших обломков, которые тут же лежали на полу зал и которые постепенно поступают, по мере возможности, на свои места. Ходя вокруг них, беспрестанно поражаешься то каким-нибудь прелестным плечом, то частью рукп или ноги, то клочком волнистой туники, то просто архитектурным украшением... Между прочим, там есть небольшая, вполне сохранившаяся женская голова из желтоватого мрамора, которая и по размерам не подходит ни одной богине... Я забыл сказать, что по бокам этого огромного алтаря существовали барельефы, меньшей величины и более плоские... Эта прелестная голова до того кажется, по выражению, нам современною, что, право, невольно думаешь, что она и Гейне читала и знает Шумана...

Однако довольно. Позволю себе прибавить одно слово: выходя из Музеума, я подумал: «Как я счастлив, что я не умер, не дожив до последних впечатлений, что я видел всё это!» Смею полагать, что и другие подумают то же самое, проведя час-другой в созерцании пергамских мраморов «Битвы богов с гигантами».

Ив. Тургенев

С.-Петербург,
18 марта 1880 г.

ПРЕДИСЛОВИЯ

⟨ПРЕДИСЛОВИЕ К «СТИХОТВОРЕНИЯМ А. А. ФЕТА. 1856 г.»⟩

Собрание стихотворений, предлагаемое читателю, составилось вследствие строгого выбора между произведениями, уже изданными автором. Многие из них подверглись поправкам и сокращениям; некоторые, новые, прибавлены. Автор надеется, что в теперешнем своем виде они более прежнего достойны благосклонного внимания публики и беспристрастной критической оценки.

С.-Петербург.
Февраль 1856.

‹ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРЕВОДУ «УКРАИНСКИХ НАРОДНЫХ РАССКАЗОВ» МАРКА ВОВЧКА›

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Малороссийская читающая публика давно уже познакомилась с «Народными рассказами» Марка Вовчка́, и имя его стало дорогим, домашним для всех его соотечественников. Чувствовалась потребность сделать его таким же и для великорусской публики, которая не могла быть вполне довольна появившимися переводами, носившими слишком ясный отпечаток малороссийской речи. Взявшись удовлетворить этой потребности, пишущий эти строки поставил себе задачей — соблюсти в своем переводе чистоту и правильность родного языка и в то же время сохранить по возможности ту особую, наивную прелесть и поэтическую грацию, которою исполнены «Народные рассказы». Насколько удалась ему его задача — в особенности ее вторая, труднейшая часть,— остается судить благосклонному читателю.

И. Т.

Март, 1859.

<ПРЕДИСЛОВИЕ К ФРАНЦУЗСКОМУ ПЕРЕВОДУ «ДРАМАТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА»>

POÈMES DRAMATIQUES D'ALEXANDRE POUCHKINE

Lorsqu'au mois de janvier 1837, Alexandre Pouchkine périt dans un duel fatal, n'ayant pas encore trente-sept ans, il venait d'écrire à un ami: «Maintenant je sens que mon âme s'est agrandie, et que je puis enfin créer». Ces mots doivent cruellement augmenter les regrets qu'a laissés sa fin précoce et déplorable. Mais lorsqu'il les écrivait, et s'ouvrait ainsi l'espoir, hélas! aussitôt déçu, d'un bel et grand avenir, Pouchkine ne rendait pas justice à son passé. Déjà il était un grand poète; déjà il avait, sinon créé, au moins révélé aux Russes leur langue poétique. Sans doute, avec les années d'une longue vie que lui promettait sa robuste santé, avec sa merveilleuse facilité d'inventer et d'écrire, il pouvait, à lui seul, doter la Russie de toute une littérature poétique. Mais, bien qu'il fût tombé presque au seuil de sa carrière, à l'âge où tombèrent Raphaël et Mozart, cependant ses œuvres de tout genre, pieusement recueillies après sa mort, sont suffisantes, non-seulement pour lui donner le premier rang parmi les écrivains de son pays, mais aussi pour donner un rang distingué à la littérature russe parmi toutes les littératures de l'Europe.

Déjà quelques fragments des poésies lyriques de Pouchkine ont été traduits en diverses langues, et nous-mêmes avons essayé de faire passer dans la langue française un de ses meilleurs récits en prose, l'intéressante nouvelle historique qui a pour titre «la Fille du capitaine». Nous essayons aujourd'hui un travail plus important et plus difficile, celui de traduire les œuvres dramatiques de Pouchkine.

Que ce mot, toutefois, ne cause pas d'illusion. Pouchkine n'a jamais rien écrit pour la scène, pour la représentation théâtrale: il a seulement donné à quelques sujets la forme dialoguée, la forme dramatique. Tel est, en première ligne, «Boris Godounoff». C'est un drame historique évidemment. Et pourtant il ne porte pas ce titre; il n'est pas divisé en actes, pas même en scènes. Les fragments qui le composent, dans l'ordre des dates et des événements, forment

comme les chapitres d'une chronique en dialogue. Ces chapitres sont généralement écrits en vers, en vers blancs non rimés, tels qu'on les trouve dans le grec ou le latin, ainsi que dans les idiomes modernes qui ont les accents poétiques, l'allemand ou l'anglais. Cependant plusieurs de ces chapitres sont écrits en prose, lorsque cette forme convient mieux au dialogue devenu familier et trivial. L'un d'eux, par exception, est écrit en petits vers rimés, pour donner à une causerie de femmes plus de grâce et de coquetterie. Nous aurons soin d'indiquer ces changements de forme en tête de chaque scène. Le drame de «Boris Godounoff» fut composé en 1825, et publié peu de temps après. Quel étonnement ce dut être parmi tous les Russes lettrés, de voir un jeune homme de vingt-cinq ans s'élever tout à coup à la forme de Shakespeare dans ses drames chroniques, lorsqu'à peine commençait de poindre en Europe ce qu'on a nommé la *fièvre shakespearienne*, c'est-à-dire la connaissance et l'imitation du grand dramaturge anglais! Mais la surprise, il faut l'avouer, fut d'abord plus grande que l'admiration; «Boris Godounoff» n'eut pas un succès d'éclat, et les compatriotes de Pouchkine ne lui rendirent pleine justice qu'après que l'Europe entière eut, un peu plus tard, connu et adopté cette forme de poésie, mi-partie d'histoire et de drame.

Les petites pièces qui ont pour titre «Mozart et Saliéri» et «la Roussâlka» furent également publiées du vivant de Pouchkine. La première est, comme on le verra, une espèce d'étude psychologique qui repose sur un bruit d'empoisonnement, assez répandu à la mort presque subite de Mozart, sans autre fondement toutefois que la jalousie connue de Saliéri à l'égard d'un rival qui l'éclipsait. La seconde a pour sujet une légende populaire.

Mais l'autre petite pièce intitulée «le Baron avare» fut trouvée dans les papiers de Pouchkine après sa mort, et publiée seulement parmi ses œuvres posthumes. Quelques-uns supposent qu'il entrait dans la pensée de l'auteur de continuer ce sujet, et d'en faire un drame entier avec le personnage d'Albert. Cependant il nous semble que l'on peut fort bien trouver dans ces trois scènes une œuvre complète, une autre étude psychologique, où l'avarice, sans être moins haïssable, se montre sous une forme énergique, grandiose, poétique même, que jamais elle n'avait revêtue.

Quant au drame de «l'Invité de pierre», — qui est un nouveau «Don Juan», après ceux de Tirso de Molina, de

Molière, de Mozart, de Byron,— bien qu'écrit en 1830, non-seulement Pouchkine ne l'avait pas publié à sa mort, sept ans après, mais il n'avait même jamais révélé à ses amis ni l'œuvre faite, ni le projet de la faire. Il semble ne l'avoir écrite que pour lui-même. Peut-être que, dans sa modestie sincère et non affectée, il avait eu quelque scrupule. quelque honte, de reprendre ce sujet après tant d'illustres devanciers, et d'y faire fléchir le caractère du héros, qui paraît se prendre dans ses propres filets, et mourir autrement qu'il n'avait vécu, amoureux tout de bon. Nous croyons qu'on nous saura gré de tirer aussi de ses œuvres posthumes ce puissant drame en quelques scènes, qui suppose la connaissance des drames antérieurs sur le même sujet. Ce sera permettre une intéressante comparaison, que Pouchkine, il nous semble, n'a point à redouter.

Ce n'est point à des traducteurs qu'il convient de vanter par avance les mérites de l'original. Nous ne voulons pas même faire remarquer comment Pouchkine ose, en toute circonstance, aller droit au fait, sans biais ni détours, et, suivant l'expression espagnole, comment il attaque bravement le taureau par les cornes. Nous voulons seulement rappeler combien la prose, même la prose française, et peut-être elle surtout, est impuissante à rendre avec un peu plus que l'exactitude du sens toutes les beautés d'une poésie de laquelle les Russes disent unanimement qu'elle réunit la force et l'ampleur de Corneille aux grâces et aux délicatesses de Racine. Comme aucun de nos lecteurs ne peut manquer d'avoir comparé des poésies, soit antiques soit modernes, avec la prose qui essaye de les faire passer dans notre langue, et d'avoir reconnu l'insuffisance de ces traductions, il faut, pour l'honneur de Pouchkine, que leur imagination nous vienne en aide, et s'efforce d'ajouter à notre simple canevas la broderie poétique dont nous avons forcément dépouillé ses œuvres.

Перевод

ДРАМАТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА

В январе 1837 г. Александр Пушкин, еще не достигнув тридцати семи лет, погиб на роковом поединке, а незадолго до того он написал одному другу: «Теперь я чувствую, что моя душа выросла и что, наконец, я могу творить».

Эти слова должны жестоко умножить скорбь, порожденную его печальной и преждевременной кончиной. Но когда Пушкин их писал и, таким образом, открывал перед собой надежду — увы, так скоро обманувшую — на прекрасное и великое будущее, он не воздавал справедливости своему прошлому. Он уже был великим поэтом; он уже если не создал, то, по крайней мере, открыл русским их поэтический язык. Несомненно, с течением лет, долготу которых ему сулило его могучее здоровье, при той удивительной легкости, с какой он замышлял и писал, он мог один одарить Россию целой поэтической литературой. Но хотя он пал почти у начала своего пути, в одном возрасте с Рафаэлем и Моцартом, однако его произведений во всевозможных родах, благоговейно собранных после его смерти, достаточно, чтобы не только дать ему первое место среди писателей его страны, но также дать выдающееся место русской литературе среди всех европейских литератур.

Несколько отрывков из лирических произведений Пушкина уже были переведены на разные языки, и мы сами попытались перевести на французский язык один из лучших его прозаических рассказов, интересную историческую повесть, которая называется «Капитанская дочка». Ныне мы беремся за работу более важную и более трудную, за перевод драматических творений Пушкина.

Пусть это слово во всяком случае не будет причиной заблуждения. Пушкин никогда ничего не писал для сцены, для театрального представления; он лишь дал некоторым сюжетам форму диалогическую, форму драматическую. Таков, прежде всего, «Борис Годунов». Это, очевидно, историческая драма. И, однако, она не носит такого заголовка. Она не разделена на действия, ни даже на сцены. Составляющие ее отрывки, расположенные в порядке дат и происшествий, образуют как бы главы хроники в диалогах. Эти главы написаны преимущественно стихами, белыми нерифмованными стихами, как в греческом или латинском языке, так же, как и в новых языках, имеющих стихотворные ударения, в немецком или английском. Но некоторые из этих глав написаны прозой, когда эта форма лучше соответствует диалогу, принявшему фамильярный и простонародный характер. Одна из них, как исключение, написана рифмованными вольными стихами, чтобы придать женскому разговору больше грации и кокетства. Мы тщательно указываем эти

изменения формы в начале каждой сцены. Драма «Борис Годунов» была написана в 1825 г. и, немного спустя, издана. Как должны были поразиться все образованные русские люди, увидев, что молодой человек двадцати пяти лет вдруг возвышается до формы Шекспира в его драматических хрониках, когда в Европе едва начиналась так называемая «шекспировская горячка», т. е. изучение великого английского драматурга и подражание ему. Но удивление, надо признать, было на первых порах сильнее восторга; «Борис Годунов» не имел блистательного успеха, и соплеменники Пушкина воздали ему полную справедливость лишь после того, как вся Европа, несколько позднее, признала и приняла эту поэтическую форму, принадлежащую наполовину истории, наполовину драме.

Маленькие пьесы, называющиеся «Моцарт и Сальери» и «Русалка», также были опубликованы при жизни Пушкина. Первая, как увидит читатель, есть род психологического этюда, основанного на довольно распространенных слухах об отравлении Моцарта после почти скоропостижной его смерти, несмотря на отсутствие иного к тому основания, кроме известной зависти Сальери к затмевавшему его сопернику. Вторая имеет предметом народное предание.

Но другая маленькая пьеса, озаглавленная «Скупой рыцарь», была найдена в бумагах Пушкина после его смерти и обнародована лишь в его посмертных сочинениях. Некоторые предполагают, что автор имел намерение продолжать этот сюжет и сделать из него целую драму, с героем Альбертом. Однако нам кажется, что в этих трех сценах легко найти законченное произведение, особый психологический этюд, где скупость, будучи не менее отвратительна, показана в энергической, грандиозной, даже поэтической форме, в которую она еще никогда не облекалась.

Что касается до драмы «Каменный гость» (это новый «Дон-Жуан», после «Дон-Жуанов» Тирсо де Молина, Мольера, Моцарта, Байрона), то, хотя она была написана в 1830 г., Пушкин не только не опубликовал ее вплоть до смерти, последовавшей семь лет спустя, но никогда даже не познакомил своих друзей ни с законченным произведением, ни с своим замыслом. Кажется, что он написал его только для себя. Может быть, он в своей искренней и непритворной скромности немного совестился, немного стеснялся, принимаясь за этот сюжет после столь знаменитых

предшественников и смягчая характер героя, который словно попадается в собственные сети и умирает иначе, чем жил, не на шутку влюбленный. Мы уверены, что читатели будут нам признательны за то, что мы извлекли из его посмертных сочинений и эту могучую драму в нескольких сценах, предполагающую знакомство с предшествующими драмами на тот же сюжет. Это даст повод к интересному сравнению, которого Пушкину, нам кажется, нечего бояться.

Отнюдь не переводчикам подобает хвалить заранее достоинства оригинала. Мы даже не хотим подчеркивать, как смело Пушкин во всяких обстоятельствах идет прямо к делу без уверток и околичностей, как он, по испанскому выражению, смело хватает быка за рога. Мы только хотим напомнить, что проза, даже французская проза, и она-то, может быть, в особенности, бессильна передать с чем-то несколько бóльшим, чем точность смысла, все красоты поэзии, о которой русские единодушно говорят, что она соединяет силу и величие Корнеля с изяществом и тонкостью Расина. Так как каждому из наших читателей не могло не случаться сравнивать поэзию, древнюю ли, новую ли, с прозой, пытающейся передать ее на нашем языке, и признать недостаточность этих переводов, то пусть в честь Пушкина их воображение придет нам на помощь и постарается прибавить к нашей простой канве поэтический узор, который мы поневоле сняли с его творений.

⟨ПРЕДИСЛОВИЕ К «ДНЕВНИКУ ДЕВОЧКИ» С. БУТКЕВИЧ⟩

Недостаток у нас хороших книг для детей чувствуется давно и, так сказать, вошел в пословицу. Еще покойный Белинский глубоко скорбел об этом недостатке и не раз высказывал свою скорбь. Со времени его кончины прошло двенадцать лет с лишком — и, несмотря на множество статей, появившихся по вопросу воспитания, несмотря на возникшие новые учреждения, предприятия, специальные издания, наша детская литература едва ли стала богаче. Всякий родитель по-прежнему находится в большом затруднении, когда ему вздумается приобрести умно составленную и полезную книгу для своих детей.

Дело в том, что хорошо писать для детей — очень трудно. Тут требуется не одно добросовестное изучение предмета, не одно терпение, на которое мы, впрочем, тоже не большие мастера, не одно знание человеческого сердца вообще и детского в особенности, не одно уменье, наконец, рассказывать просто и ясно, без приторности и пошлости,— тут, сверх всего этого, требуется высокая степень нравственного и общественного развития, до которой мы едва ли доросли. Пользоваться одними сокровищами иностранных литератур, пробавляться одними переводными книгами — тоже невозможно. Русским детям нужны русские книги. А потому нельзя не приветствовать и не поощрять всякую новую и дельную попытку пробить наконец эту неподвижную стену, проторить дорожку в этой заглохшей пустыне.

Нам кажется, что книжка г-жи Буткевич может быть причислена к разряду подобных попыток и соединяет в себе значительную часть достоинств, которые мы вправе требовать от сочинения, назначенного для детей. Мы позволяем себе рекомендовать «Дневник девочки» родителям и наставникам. Мысль, которая положена в основании книги г-жи Буткевич и которая состоит в том, чтобы, направляя внимание детей на окружающие их знакомые предметы, посредством изучения этих самых предметов

открывать им постепенно весь тот мир, в котором они живут,— эта мысль верна и правдива и едва ли не в первый раз — с такой полнотой и отчетливостью — применяется у нас. Проведенная в целом ряду живых образов — систематически, но без педантизма,— она может дать обильные плоды. Тут есть и занимательность, и почти неистощимое богатство фактов, и здравый ненатянутый реализм, и в то же время есть новость, необходимая для юного, впечатлительного воображения, есть даже таинственность, тем более заманчивая, что она является неожиданно, по поводу вещей, по-видимому, самых обыденных. Всё, что мы мало знаем, облечено тайной, и ничего мы не знаем так мало, как именно то, что у нас беспрестанно перед глазами. Какие любопытные открытия можно делать вместе с ребенком на каждом шагу и как бы следя за ним! Точка отправления находится везде, а круг изыскания расширяется в бесконечность. Размышление возбуждается к деятельности, жажда новых ощущений удовлетворяется самым законным образом, без фантастичности, часто болезненной; великое значение науки незаметно и свободно признается молодыми умами. Они действительно *научаются*.

Мы считаем излишним распространяться о прочих качествах труда г-жи Буткевич. Читатели оценят их без нашего указания, так же как они оценят и прекрасный язык, которым пишет сочинительница.

Мы считали бы себя счастливыми, если бы немногие слова, которыми мы сопровождаем появление «Дневника девочки», обратили внимание публики на это полезное и у нас еще новое предприятие.

Ив. Тургенев

‹ПРЕДИСЛОВИЕ К ФРАНЦУЗСКОМУ ПЕРЕВОДУ ПОЭМЫ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА «МЦЫРИ»›

«LE NOVICE»

Avant-propos

Michel Lermontoff, né en 1814, orphelin, élevé par sa grand-mère, puis étudiant à l'université de Moscou, fut admis, à vingt-deux ans, dans les hussards de la garde impériale. C'était à l'époque où Pouchkine venait de succomber dans un duel. Lermontoff déplora sa mort prématurée dans une élégie que la Russie entière admira, mais dont quelques vers exprimant je ne sais quelle soif de liberté déplurent en haut lieu. On l'envoya au Caucase. A son retour, au bout de trois ans, il publia un petit recueil de poésies, où se trouvait la pièce que nous offrons à nos lecteurs. Tout le monde lettré s'unit pour saluer en lui le successeur du poète qu'il avait célébré. Mais bientôt à l'occasion d'une dispute avec le fils d'un ambassadeur, on lui donna de nouveau l'ordre de retourner au Caucase. C'est là, qu'à la suite d'une querelle futile, il fut provoqué par un de ses camarades de régiment, et périt comme Pouchkine. C'était en 1841; Lermontoff avait vingt-sept ans.

Le petit poème du «Novice» («Mtsyri») est écrit, en vers de huit syllabes, à rimes uniquement masculines, mais alternantes. Cette forme ajoute à la poésie, par sa monotonie même, une énergie singulière. On l'a comparée au travail incessant d'un prisonnier frappant à coups redoublés sur les murs de son cachot.

M. Mérimée a bien voulu se charger de la révision de notre traduction: un pareil nom dispense de tout éloge et nous n'avons que des remercîments à lui adresser.

Перевод

«ПОСЛУШНИК»

Предисловие

Михаил Лермонтов родился в 1814 году и, оставшись сиротою, был воспитан своей бабушкой; он стал студентом Московского университета, а 22 лет вступил в гусар-

ский полк императорской гвардии. В дни, когда Пушкин погиб на дуэли. Лермонтов оплакал его безвременную смерть в элегии. которой восхищалась вся Россия; но некоторые ее строки. проникнутые неопределенной жаждой свободы, возбудили недовольство при дворе. Его отправили на Кавказ. Вернувшись через три года, он издал небольшой сборник стихотворений, куда вошла и поэма, предлагаемая здесь читателям. Всё образованное общество единодушно признало его достойным преемником воспетого им поэта. Но вскоре, вследствие спора с сыном одного посланника, он снова получил приказ отправиться на Кавказ. Здесь из-за пустой ссоры он был вызван на дуэль одним из своих однополчан и погиб, как Пушкин. Это произошло в 1841 году; Лермонтову было 27 лет.

Небольшая поэма «Послушник» («Мцыри») написана восьмисложным стихом, с одними только мужскими, но парными рифмами. Эта форма, самым своим однообразием, придает поэме необыкновенную силу. Ее ритм сравнивали с трудом заключенного, который неустанно стучит усиленным стуком в стену своей темницы.

Г-н Мериме любезно взял на себя труд пересмотреть наш перевод; это имя не нуждается ни в каких похвалах, и нам остается только выразить ему нашу благодарность.

⟨ПРЕДИСЛОВИЕ К ИЗДАНИЮ СОЧИНЕНИЙ 1865 г.⟩

В настоящее издание вошли, сверх статей, помещенных в прежнем, 1860 года — «Отцы и дети», «Призраки», нигде не напечатанный отрывок «Довольно» и «Завтрак у предводителя» — сцены, не имеющие значения драматического.

Все старания были приложены, чтобы сделать это новое издание более достойным читающей публики: особенное внимание было обращено на устранение опечаток, сделаны небольшие изменения и поправки в слоге и восстановлен хронологический порядок самих статей.

ПРЕДИСЛОВИЕ ⟨К ПЕРЕВОДУ «ВОЛШЕБНЫХ СКАЗОК» ШАРЛЯ ПЕРРО⟩

Сказки Перро пользуются в целой Европе особенной популярностью; русским детям они сравнительно меньше известны, что происходит, вероятно, от недостатка хороших переводов и изданий. Действительно, несмотря на свою несколько щепетильную, старофранцузскую грацию, сказки Перро заслуживают почетное место в детской литературе. Они веселы, занимательны, непринужденны, не обременены ни излишней моралью, ни авторской претензиею; в них еще чувствуется веяние народной поэзии, их некогда создавшей; в них есть именно та смесь непонятно-чудесного и обыденно-простого, возвышенного и забавного, которая составляет отличительный признак настоящего сказочного вымысла. Наше положительное и просвещенное время начинает изобиловать положительными и просвещенными людьми, которым не нравится именно эта примесь чудесного: воспитание ребенка, по их понятиям, должно быть делом не только важным, но и серьезным — и вместо сказок ему следует вручать маленькие геологические и физиологические трактаты. Случалось же нам столкнуться с одной воспитательницей (правда, она была старая девица из остзейских немок и писала статьи в журналах с направленіем, но без подписчиков), которая тщательно устраняла девочку, порученную ее надзору, ото всякого соприкосновения с другими детьми — для того чтобы, как выражалась почтенная наставница, ни один ложный факт не водворился в юной голове. Девочка выросла и превратилась в отъявленную кокетку,— но уже это, как известно, не вина теории, остающейся непогрешительной по-прежнему. Как бы то ни было, нам кажется весьма трудным и едва ли полезным до поры до времени изгонять всё волшебное и чудесное, оставлять молодое воображение без пищи, заменить сказку рассказом. Учитель, бесспорно, нужен ребенку, да и нянька ему нужна.

Остроумный издатель сказок Перро, Ж. Гетцель, известный в литературе под псевдонимом П. Сталя, в предисловии своем замечает очень справедливо, что не следует опасаться чудесного для детей. Не говоря уже о том, что многие из них не дают себя в обман вполне и, забавляясь красотой и миловидностью своей игрушки, в сущности очень твердо знают, что этого никогда не случалось (вспомните, господа, как вы езжали верхом на палочках; ведь вы знали, что это под вами не лошади,— а дело все-таки выходило совершенно правдоподобно, и удовольствие получалось отличное); но даже те дети (и это большей частью самые даровитые и умные головки), которые безусловно верят всем чудесам сказки, очень хорошо умеют тотчас отрешиться от этой веры, как только час тому настанет. «Дети, как взрослые, берут в книжках только то, что им нужно и пока оно им нужно». Гетцель прав: не в этом направлении лежат опасности и трудности детского воспитания.

Мы сейчас сказали, что одной из причин относительной неизвестности у нас сказок Перро мы полагаем недостаток хороших переводов и изданий. Публике предоставляется судить, насколько наш перевод удовлетворителен; что же касается до настоящего издания — то подобного ему не было еще не только у нас в России, но и за границей; а имя гениального рисовальщика Густава Дорэ стало слишком громким и не нуждается ни в каких похвалах.

Карл Перро родился в Париже в 1628 году и умер там же в 1697. В 1693 году, будучи шестидесяти пяти лет от роду, он напечатал первое издание своих сказок — «Contes de ma mère l'Oie» [1] — под именем своего одиннадцатилетнего сына и написанных для него. Карла Перро не должно смешивать с его братом, Клавдием, медиком и архитектором, автором Луврской колоннады.

Иван Тургенев

[1] «Сказки моей матушки Гусыни» *(франц.)*.

ПРЕДИСЛОВИЕ <К ПЕРЕВОДУ РОМАНА МАКСИМА ДЮКАНА «УТРАЧЕННЫЕ СИЛЫ»>

В истории духовного развития почти всех европейских народов повторяется факт довольно знаменательный, а именно — преобладание французского влияния в первую пору умственного движения в обществе и быстрое падение этого влияния, как только в обществе начинает пробуждаться самостоятельность. Факт этот особенно ясно обозначается в истории литературы; всем хорошо известно, что он повторился и у нас в России. Нетрудно, кажется, приискать причины подобного явления. Французская литература, будучи по преимуществу искусственной и подражательной, тем самым удобнее возбуждает и облегчает подражательность в других; притом Франция, как и все народы романской расы, раньше германских племен восприняла в себе и развила семена древней культуры и, получив благодаря своему скорому объединению и другим счастливым обстоятельствам рановременный политический вес и историческое значение, распространила свое влияние на всю остальную Европу. Нужно также принять в соображение общепонятность и общедоступность речи, ясность мысли, доходящую, правда, иногда до бесцветности, практический склад ума и дерзость почина, отсутствие резкого национального колорита, подвижность и сообщительность сангвинического темперамента, не без деспотических наклонностей, умеряемых, однако, чувством равновесия,— словом, все качества, составляющие отличительные свойства французского духа. Качества эти важны и драгоценны — и мы нисколько не намерены посягать на их достоинство. Они объясняют ту педагогическую, воспитательную роль, которую так часто играла Франция в отношении других народов. Но воспитание продолжается не вечно — и наступает время, когда народы и отдельные люди выходят из-под опеки. Реакция против наставников становится неизбежной и заходит иногда слишком далеко — особенно когда наставники сами сла-

беют и никнут, как это мы видим в современной нам наполеоновской Франции.

Подобная реакция преимущественно высказывается в сфере искусства, поэзии. Наука не нуждается в особенной физиономии, в живых определенных красках; форма становится в ней вопросом второстепенным, и творческие способности, всегда и везде необходимые, принимают здесь иное направление и иной смысл. Наука, по самому существу своему, космополитична — и в мире ее, особенно в некоторых ее отраслях, французы всегда будут занимать одно из почетнейших мест. Но, подобно римлянам, которых они считают своими предшественниками и предками и к которым стоят действительно ближе, чем остальные европейцы, французы слабо одарены поэтическими способностями. Ум француза остер и быстр, а воображение тупо и низменно — зато сообразительность, в смысле сопоставления противоречий, весьма развита; вкус француза тонок и верен особенно в отрицании — но жизненную правду и простоту он ощущает как-то вскользь и неясно, в красоте он прежде всего ищет красивости, и, при всей своей физической и моральной отваге, он робок и нерешителен в деле поэтического создания... или уже, как В. Гюго в последних его произведениях, сознательно и упорно становится головою вниз... Уж кутить, так кутить! «Шакеспеар», мол, так поступает. Словом, французы так же легко обходятся без правды в искусстве, как без свободы в общественной жизни. Как? — скажут мне,— французы, изобретшие принципы 1789 года? Французы, гордящиеся талантами Гюго, Ж. Санда, Дюмасов отца и сына и даже Абу и Фейдо и милейшего из милейших Октава Фелье? Да,— ответим мы,— именно те самые французы. Принципы 1789 года, как вообще всё политическое, мы оставим в стороне; а что великий талант может существовать рядом с непониманием художественной правды в одном и том же человеке — этому поразительный пример Бальзак. Все его лица колют глаза своей типичностью, выработаны и отделаны изысканно, до мельчайших подробностей — и ни одно из них никогда не жило и жить не могло; ни в одном из них нет и тени той правды, которой, например, так и пышут лица в «Казаках» нашего Л. Н. Толстого.

Как бы то ни было, но несомненно то, что, несмотря на истинно изумительное обилие продуктов французской беллетристики, спрос на эти продукты у нас в Рос-

сии упал заметно. И не потому только, что вообще охота к беллетристике у нас охладела: английские романы пользуются еще почетом и находят читателей. Не говоря уже о той давно минувшей эпохе, когда не только Буало и Вольтер, но даже Дюсис и Делилль считались у нас законодателями Парнаса; но куда девалось то время, когда Дюма-отец мог с свойственным ему наивным самообожанием воскликнуть: «Les Russes ne lisent que moi! Cela fait honneur à leur goût: ils me jugent maintenant comme la postérité me jugera, dans cinq ou six cents ans!»? * Теперь у нас хоть и продолжают читать Дюма, но только в высшем обществе и, разумеется, в оригинале — а на русский язык его более не переводят; да не только Дюма — Поль де Кока не переводят; «Фанни»... сама пресловутая «Фанни» не нашла порядочного издателя. Не переводят также все эти «Griffes roses», «La mort de l'amour», «L'amour du diable», «Le fils du diable», «Le fils de Tantale», «Le tueur de mouches», «Le tueur de tigres», «Le tueur de brigands», «Palsambleu!», «Ce que vierge ne peut lire», «Entre chien et loup», «La poudre et la neige», «Le nez d'un notaire» [1] — словом, всё, что так жадно пожирается парижанами. (Не можем не привести здесь изречения, произнесенного в нашем присутствии одним юным французским литератором: «Il s'agit seulement de trouver un titre,— уверял он,— le titre est tout; le reste — peu de chose — *et ne demande qu'un peu de discernement*. C'est le titre seul qui fait acheter le livre!» [2].) Мы уже не упоминаем о книжицах вроде мемуаров Терезы, Могадоры, Коры, Леотара, хотя эти самые книжицы и расходятся десятками изданий в столице «Фигаро». Самые даже плоды французской драматической литературы, этой до сих пор всесветной поставщицы водевилей, комедий и драм, что-то плохо прививаются к нашей сцене... Оффенбах, правда, торжествует вполне и беспрекословно. Но пока рейнские провинции не присоединены к Великой

---

* Подлинные слова г-на А. Дюма. ⟨Русские читают только меня! Это делает честь их вкусу: они судят обо мне так, как лет через пятьсот-шестьсот будут судить потомки! *(франц.)*⟩

[1] «Розовые когти», «Смерть любви», «Любовь дьявола», «Сын дьявола», «Сын Тантала», «Истребитель мух», «Истребитель тигров», «Истребитель разбойников», «Чёрт возьми!», «Что не должна читать девственница», «В сумерки», «Пыль и снег», «Нос нотариуса» *(франц.)*.

[2] «Нужно только найти заглавие... заглавие — это всё; остальное — пустяки *и требует лишь некоторой сообразительности*. Только заглавие заставляет покупать книгу!» *(франц.)*.

империи, его нельзя считать французом, так как он родился и воспитывался в Кёльне.

И со всем тем мы пишем настоящее предисловие к переводу французского романа и берем на себя смелость зарекомендовать его перед отечественной публикой. Дело в том, что в этом романе чувствуется присутствие именно той жизненной правды, которую мы, к сожалению, так редко находим в других современных французских сочинителях. В этом отношении роман г-на М. Дюкана, особенно в первых главах, напоминает — конечно, в более скромных размерах — «Госпожу Бовари» Флобера, бесспорно, самое замечательное произведение новейшей французской школы. История, которую рассказывает нам автор «Утраченных сил», точно прожита, не выдумана. Это исповедь—своя ли, чужая ли, нам в это незачем входить,— и как во всякой исповеди, даже в самой невеселой и горькой, в ней есть своего рода тишина, та драгоценная тишина естественности и искренности, которою природа так сильно действует на нас. Событие, выведенное автором, не ново; всё это было уже сказано и рассказано — мы всё это знаем, кто по собственному опыту, кто по слуху; но есть два-три вопроса человеческой жизни, которые никогда не будут исчерпаны; к ним принадлежит и тот вечный вопрос любви и страсти, взаимных отношений между мужчиной и женщиной, за который в свою очередь принялся автор «Утраченных сил». Не решение этих вопросов вообще, не достижение положительных результатов для нас важно, а нам хочется знать, как они разрешались в данном случае и что сталось именно с этим сердцем в эту эпоху. Пишущий эти строки полагает, что читатели сочувственно отзовутся на ту правду, на ту верность психического анализа, который раскроется перед ними на немногих страницах книги, предложенной их вниманию, и что они также оценят искусство, с которым воспроизведены краски, свойственные времени и месту действия.

Автор «Утраченных сил», г-н Максим Дюкан (Ducamp), уже довольно давно известен французской публике. Он начал свое литературное поприще стихотворениями, в которых — в противность многим романтическим и другим поэтам — прославлял так называемую «прозу» века, успехи цивилизации, науки, даже индустрии; издал несколько занимательных описаний стран, им посещенных (он долго был на Востоке); рассказал экспедицию Гарибальди в Сицилию — ту знаменитую экспедицию

«тысячи» (I mille) (он сам принимал в ней деятельное участие); напечатал несколько романов — а в последнее время посвятил свою деятельность эстетической критике, и, как тонкий знаток и нелицемерный судья произведений живописи и ваяния, составил себе почетное имя своими ежегодными отчетами (salons) о выставках в «Revue des Deux Mondes», «Journal des Débats». Сверх того, он в течение семи лет находился во главе возобновленной им «Revue de Paris», которую императорский декрет насильственно прекратил в январе месяце 1858 года. М. Дюкан не верит в прочность наполеоновской династии и принадлежит к либеральной оппозиции. Его труды по части статистики также не лишены достоинств и отличаются изяществом изложения.

И. Тургенев

Баден-Баден.

⟨ПРЕДИСЛОВИЕ К НЕМЕЦКОМУ ПЕРЕВОДУ «ОТЦОВ И ДЕТЕЙ»⟩

Statt jeder Vorrede erlaube ich mir dem geneigten Leser zur Kenntniss zu bringen, dass ich die vollkommene Treue vorliegender Uebersetzung auf's Nachdrücklichste garantire.— Das ist eine Genugthuung, die mir noch selten. oder auch wohl gar nicht zu Theil geworden ist.— So wird man wenigstens nach dem gerichtet, gelobt oder verdammt, was man eben getan hat, nach seinen eigenen, nicht nach fremden Worten.

Dass mir ein solches Verhältniss gerade dem deutschen Publikum gegenüber doppelt erwünscht ist, brauche ich nicht zu sagen. Ich verdanke zu viel Deutschland, um es nichts als mein zweites Vaterland zu lieben und zu verehren.— Vor dem aber, was man liebt und verehrt, ist der Wunsch: in seiner eigenen Gestalt auftreten zu dürfen, wohl natürlich.

I. Turgenjew.

Carlsruhe, 1869.

Перевод

Вместо всякого предисловия я позволю себе довести до сведения благосклонного читателя, что я ручаюсь за точность предлагаемого перевода. До сих пор такое удовлетворение редко или даже вовсе не выпадало мне на долю. Тут, по крайней мере, человека судят, хвалят и осуждают за то, что он действительно сделал на основании его же собственных, а не чужих слов.

Мне нет надобности объяснять, что когда дело касается немецкой публики, такое положение мне вдвойне приятно. Я слишком многим обязан Германии, чтобы не любить и не иметь ее как мое второе отечество. А желание предстать в своем собственном облике перед тем, кого любишь и чтишь, я полагаю, естественно.

И. Тургенев

Карлсруэ, 1869.

ОБРАЗЧИК СТАРИННОГО КРЮЧКОТВОРСТВА

Из письма к издателю ⟨«Русского архива»⟩

В числе бумаг, оставшихся после пожара нашего деревенского дома (в 1840 году), нашел я тетрадку, страниц в семьдесят, в которую прадед мой вносил всё, что ему казалось любопытным, полезным или поучительным, как-то: рецепты от разных болезней, способы приготовлять кушанья и настойки, образчики поздравительных писем, купчих и условий, отрывки из газет и пр., политические известия, анекдоты, реляции, а также копии разных стихотворений, торжественных и сатирических, известных прошений (как-то Искры, Румянцова) на высочайшее имя, рескриптов и т. п. Между прочим прадед мой вписал в свою тетрадку три просьбы некоего секунд-майора Аленина. Они, вероятно, поразили его мастерством изложения, знанием законов, смелостью обличительных нападок. Просьбы эти, которые сам секунд-майор называет незастенчивыми, действительно любопытны как знамение того времени, как образчик чистейшего ябеднического слога, возвышающегося иногда до красноречия и не лишенного своеобразной юмористической окраски. Особенно замечательна вторая нижеприводимая просьба, в которой проводится сравнение между тамбовским наместником и «нашим общим праотцем Адамом». Что Аленин был крючкотвор первого сорта — это не подлежит сомнению; но накипевшее в нем негодование также несомненно и неподдельно.

Полагаю, что читатели «Русского архива» не посетуют на Вас за помещение этих документов стародавнего времени на страницах Вашего любопытного сборника.

Иван Тургенев

Баден-Баден, 18/30 ноября 1869.

⟨ПРЕДИСЛОВИЕ К ИЗДАНИЮ СОЧИНЕНИЙ 1874 г.⟩

Считаю не лишним сказать два слова по поводу предстоящего издания. В него вошли — сверх статей, помещенных в последнем издании (1869 года),— «Вешние воды», «Пунин и Бабурин» в несколько дополненном виде, три новых отрывка из «Записок охотника», а именно: «Конец Чертопханова», «Живые мощи» и «Стучит!» (этот последний отрывок не был нигде напечатан и является в первый раз) — и два отрывка из «Литературных и житейских воспоминаний»: «Поездка в Альбано и Фраскати» и «Наши послали!» *Обещанная статья: «Семейство Аксаковых и славянофилы», по некоторым соображениям*, в изъяснение которых входить теперь не у места, *заменяется неизданным отрывком из «Записок охотника»*. Позволяю себе надеяться, что читатели извинят мне это изменение.

И. Т.

Москва.
Май 1874 года.

〈ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРЕВОДУ КНИГИ Г. ГЕЙНЕ «ГЕРМАНИЯ. ЗИМНЯЯ СКАЗКА»〉

Позволяем себе рекомендовать русским читателям предлежащий перевод «Путешествия в Германию» — одного из самых замечательных произведений гениального Генриха Гейне.

Распространяться о достоинствах этой поэмы нечего: кому же она неизвестна и кто не знает, что именно теперь Гейне едва ли не самый популярный чужеземный поэт у нас в России? Пересадить этот яркий, душистый, иногда слишком душистый, цветок на родимую почву было задачей не легкой; но, насколько мы можем судить, переводчик исполнил ее и добросовестно и счастливо, что не всегда совпадает, заметим кстати.

Мы не сомневаемся, что труд нашего соотечественника будет встречен единодушным одобрением всех любителей истинной поэзии, юмора и ума.

Иван Тургенев

Париж.
Декабрь 1874.

‹ПРЕДИСЛОВИЕ К ФРАНЦУЗСКОМУ ПЕРЕВОДУ ПОВЕСТИ Л. Н. ТОЛСТОГО «ДВА ГУСАРА»›

«DEUX HUSSARDS»

L'auteur de la nouvelle offerte aujourd'hui aux lecteurs du «Temps», le comte Léon Tolstoï, est un des plus remarquables écrivains de la nouvelle école littéraire russe, de cette école qui procède de Pouchkine et de Gogol, et bien plus de notre grand humoriste que de notre grand poète. On peut même dire qu'après la publication (en 1870) du dernier ouvrage du comte Tolstoï, «La guerre et la paix», composition originale et vaste, qui tient à la fois de l'épopée, du roman historique et de l'étude de mœurs, c'est lui qui tient décidément le premier rang dans la faveur du public. Né en 1828, il est dans toute la force de l'âge, et promet de fournir une longue et brillante carrière.

Le comte Léon Tolstoï, a débuté en 1852 par un récit intitulé «L'enfance», qui attira aussitôt sur lui l'attention des connaisseurs et de la critique. C'était une étude des premières années de la vie humaine, dans le genre de ce que Charles Dickens a tenté de faire dans son charmant roman de «Dombey et fils»; une grande finesse d'observation psychologique s'y allie à la plus touchante poésie. Plus tard vinrent des récits militaires d'une couleur admirable, sobre et puissante. (L'auteur était officier d'artillerie; il avait servi au Caucase et pendant le siège de Sebastopol.) A ces récits succédèrent des nouvelles aussi remarquables par le fond que par la forme; l'une d'elles, assez improprement intitulée «Les cosaques», offre la peinture la plus vive et la plus vraie du Caucase et de ses habitants. «La guerre et la paix», dont j'ai parlé plus haut, vint clore la liste des œuvres du comte Tolstoï dans le passé; un nouveau grand roman dû à sa plume se publie actuellement à Moscou.

Je ne crois pas devoir m'étendre sur les mérites particuliers «Des deux hussards»; le lecteur les sentira sans que j'aie besoin de l'en avertir. Il suffit de dire que cette nouvelle donne une idée assez exacte de la manière du comte Léon Tolstoï. Lui aussi, il est dans ce grand courant réaliste qui, à l'heure actuelle, domine partout dans la littérature et dans les arts; mais il a une couleur et une note qui lui sont propres.

Ivan Tourguéneff

Перевод

«ДВА ГУСАРА»

Автор рассказа, предлагаемого ныне читателям «Temps», граф Лев Толстой — один из самых замечательных писателей новой русской литературной школы, той школы, которая исходит от Пушкина и Гоголя и гораздо более от нашего великого юмориста, чем от нашего великого поэта. Можно даже сказать, что по напечатании (в 1870 году) последнего сочинения графа Толстого «Война и мир», произведения оригинального и обширного, соединяющего в себе эпопею, исторический роман и очерк нравов, он решительно занимает первое место в расположении публики. Родившись в 1828 году, он находится в полном расцвете сил, и ему предстоит продолжительное и блестящее поприще.

Граф Лев Толстой выступил впервые в 1852 году с повестью под названием «Детство», которая сразу обратила на себя внимание знатоков и критики. Это очерк первых лет человеческой жизни вроде того, что пытался представить Чарльз Диккенс в своем прелестном романе «Домби и сын»; тонкость психологического наблюдения соединяется в нем с самою трогательною поэзией. Позднее появились военные рассказы характера превосходного, трезвого и мощного (автор был артиллерийским офицером; он служил на Кавказе и во время осады Севастополя). За этими рассказами следовали повести столь же замечательные по форме, как и по содержанию; одна из них, не совсем точно названная «Казаки», представляет самую живую и самую верную картину Кавказа и его жителей. «Война и мир», о которой я упомянул выше, заключает этот список прошлых произведений графа Толстого; новый большой роман, принадлежащий его перу, начат теперь печатанием в Москве.

Я не имею в виду распространяться об особенных достоинствах «Двух гусар»; читатель сам почувствует их без моего предуведомления. Достаточно сказать, что этот рассказ дает довольно точное понятие о манере графа Льва Толстого. Он также принадлежит к великому реалистическому потоку, который в настоящее время господствует повсюду в литературе и искусствах, но у него есть оттенок и тон, собственно ему принадлежащие.

Ив. Тургенев

‹ПРЕДИСЛОВИЕ К ФРАНЦУЗСКОМУ ПЕРЕВОДУ СТИХОТВОРЕНИЙ ПУШКИНА›

POÉSIES D'ALEXANDRE POUCHKINE TRADUITES POUR LA PREMIÈRE FOIS

Le nom de Pouchkine est assez connu en France pour épargner au lecteur les détails d'une notice; il suffit de rappeler que, né en 1799 et tué en duel en 1837, Pouchkine peut être considéré comme le représentant le plus haut du génie poétique de la Russie et que, si la mort ne l'avait frappé au moment où, comme il le dit dans une de ses lettres, il sentait «son âme s'agrandir et prête à créer», nous aurions de lui des œuvres qui le mettraient au rang des plus grands lyriques de ce siècle.

I. T.

Перевод

СТИХОТВОРЕНИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА, ПЕРЕВЕДЕННЫЕ ВПЕРВЫЕ

Имя Пушкина настолько известно во Франции, что нет необходимости давать читателям подробную справку; достаточно напомнить, что Пушкин, родившийся в 1799 году и убитый на дуэли в 1837, может считаться высшим проявлением русского поэтического гения,— и если бы смерть не настигла его в ту минуту, когда он, по его собственным словам в одном из писем, почувствовал «свою душу выросшей и готовой к творчеству», он дал бы нам произведения, которые поставили бы его наравне с величайшими лириками нашего времени.

И. Т.

ПРЕДИСЛОВИЕ ⟨К ПЕРЕВОДУ «ОЧЕРКОВ И РАССКАЗОВ» ЛЕОНА КЛАДЕЛЯ⟩

Леон Кладель, рассказы которого предлагаются русской публике в переводе г-жи Успенской, принадлежит к новой школе французских романистов, которые поставили себе целью изучение и воспроизведение общественной жизни в ее типических проявлениях. Школа эта, получившая во Франции не совершенно точное название *реалистической*, ведет свое начало от Бальзака и в настоящее время считает своими главными представителями: Флобера, Золя, Гонкура и др. В ней выразилось то особенное направление человеческой мысли, которое, заменив романтизм тридцатых годов и с каждым годом всё более и более распространяясь в европейской литературе, проникло также в искусство, в живопись, в музыку. Тщательное и добросовестное воспроизведение народного быта составляет одну из главнейших задач новой школы, одну важную часть ее программы; и Л. Кладель, происхождением и убеждениями своими близко стоящий к народу, обратил на исполнение этой задачи все силы своего таланта. Писатели этой школы, как известно, пользуются в России едва ли не большей симпатией, чем в собственном отечестве; этот, на первый взгляд, поразительный факт легко объясняется многими историческими и социологическими данными, в разбирательство которых входить было бы теперь, впрочем, неуместно. Достаточно сказать, что эти писатели находят у нас удобную и уже разработанную почву. А потому мы не сомневаемся, что произведения Л. Кладеля, в переводе г-жи Успенской, найдут у нас сочувственный прием,— и мы ограничимся только тем, что позволим себе обратить на эти замечательные рассказы внимание тех из русских читателей, в глазах которых наша рекомендация имеет еще некоторое значение. Прибавим кстати, что переводить Кладеля — дело трудное: он, как все писатели его школы, стилист, поклонник изящной формы, виртуоз, доходящий иногда до изысканности; но г-жа Успенская с честью вышла из предпринятой ею борьбы.

Ив. Тургенев

Париж, 1876.

⟨ПРЕДИСЛОВИЕ К ОЧЕРКУ Н. В. ГАСПАРИНИ «ФИОРИО»⟩

Г-НУ РЕДАКТОРУ «СЕВЕРНОГО ВЕСТНИКА»

М. г.

Препровождая при сем небольшой очерк из северо-итальянской жизни, для напечатания в Вашей газете, считаю нужным заметить, что он принадлежит перу одной нашей соотечественницы, много лет тому назад поселившейся в окрестностях Турина и близко знакомой с бытом той страны. Если, как я смею надеяться, читателям «Северного Вестника» придутся по вкусу правдивость и грация изображений г-жи Н. Га — рини, то я представлю Вам и другие ее очерки.

Примите и пр. *Ив. Тургенев*

С.-Петербург.
3/15 июня 1877 г.

НОВЫЕ ПИСЬМА А. С. ПУШКИНА.
ИЮЛЬ 1830—МАЙ 1836 г.

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Едва ли кто-нибудь может сомневаться в чрезвычайном интересе этих новых писем Пушкина. Не говоря уже о том, что каждая строка величайшего русского поэта должна быть дорога всем его соотечественникам; не говоря и о том, что в этих письмах, как и в прежде появившихся, так и бьет струею светлый и мужественный ум Пушкина, поражает прямизна и верность его взглядов, меткость и как бы невольная красивость выражения; но вследствие исключительных условий, под влиянием которых эти письма были начертаны, они бросают яркий свет на самый характер Пушкина и дают ключ ко многим последовавшим событиям его жизни, даже и к тому, печальному и горестному, которым, как известно, она закончилась.

Писанные со всею откровенностью семейных отношений, без поправок, оговорок и утаек, они тем яснее передают нам нравственный облик поэта.

Несмотря на свое французское воспитание, Пушкин был не только самым талантливым, но и самым русским человеком своего времени; и уже с одной этой точки зрения ето письма достойны внимания каждого образованного русского человека; для историка литературы они — сущий клад: нравы, самый быт известной эпохи отразились в них хотя быстрыми, но яркими чертами.

Позволю себе прибавить от своего имени, что я считаю избрание меня дочерью Пушкина в издатели этих писем одним из почетнейших фактов моей литературной карьеры; я не могу довольно высоко оценить доверие, которое она оказала мне, возложив на меня ответственность за необходимые сокращения и исключения.

Быть может, я до некоторой степени заслужил это доверие моим глубоким благоговением перед памятью ее родителя, учеником которого я считал себя с «младых ногтей» и считаю до сих пор... «Vestigia semper adora» [1].

---

[1] Всегда благоговей перед следами прошлого *(лат.)*.

Впрочем, тщательный пересмотр писем привел меня к убеждению, что можно было ограничиться только самыми необходимыми и немногочисленными исключениями; в большинстве случаев исключения эти обусловливаются излишней «энергией» фразы: Пушкин, как истый русский человек, да и к тому же в письмах, носивших строго частный характер, не любил стесняться.

Не должно также забывать, что со времени начертания этих писем прошло почти полвека — и что, следовательно, когда дело идет о выяснении такой личности, каковою был Пушкин, история вступает в свои права,— и давность облекает своим почтенным покровом то, что могло бы прежде показаться слишком интимным, слишком близко касающимся отдельных частных лиц.

Сама дочь поэта, решившись поделиться с отечественной публикою корреспонденцией своего родителя, адресованной к его жене — ее матери, освятила, так сказать, наше право перенести весь вопрос в более возвышенную и безучастную — как бы документальную сферу.

Нам остается искренне поблагодарить графиню Н. А. Меренберг за этот поступок, на который она, конечно, решилась не без некоторого колебания,— и выразить надежду, что ту же благодарность почувствует и докажет ей общественное мнение.

Иван Тургенев

Париж.
Ноябрь 1877.

⟨ПРЕДИСЛОВИЕ И ПОСЛЕСЛОВИЕ К ОЧЕРКУ И. Я. ПАВЛОВСКОГО «EN CELLULE. IMPRESSIONS D'UN NIHILISTE» («В ОДИНОЧНОМ ЗАКЛЮЧЕНИИ. ВПЕЧАТЛЕНИЯ НИГИЛИСТА»)⟩

Vendredi, 17 octobre.

Mon cher monsieur Hébrard,

Voici un fragment de mémoires autobiographiques qui m'a paru digne d'être communiqué aux lecteurs de votre journal. L'auteur est un de ces jeunes Russes trop nombreux par le temps qui court, dont les opinions ont été jugées dangereuses et punissables par le gouvernement de mon pays. Sans approuver nullement ses opinions, j'ai cru que le récit naïf et sincère de ce qu'il a eu à souffrir pourrait, tout en excitant de l'intérêt pour sa personne, servir à prouver combien la prison cellulaire préventive est peu justifiable aux yeux d'une saine législation. J'espère que vous serez frappé comme moi par l'accent de vérité qui règne dans ces pages, ainsi que par l'absence de récriminations et de reproches inutiles, sinon déplacés. Vous verrez que ces nihilistes dont il est question depuis quelques temps, ne sont ni si noirs, ni si endurcis qu'on veut bien les représenter.

Recevez, mon cher monsieur Hébrard, l'assurance de mes meilleurs sentiments,

Ivan Tourguéneff

Nous n'avons qu'un mot à ajouter au récit qu'on vient de lire. L'auteur après être resté *quatre années* en prison, fût jugé et condamné à 6 mois de détention. On lui en fit grâce en considération des quatre années de prison qu'il avait déjà subies, et il fut mis en liberté. Mais fort peu de temps après il fut arrété de nouveau, et, comme beaucoup d'autres jeunes gens, envoyé en exil dans une petite ville du nord de la Russie. S'y trouvant sans moyen d'existence et ne prévoyant aucune amélioration de son sort, il prit le parti de s'enfuir et le mit à éxécution.

Перевод

Пятница, 17 октября.

Любезный господин Эбрар,

Вот отрывок из автобиографических записок, достойный, как мне кажется, быть сообщенным читателям Вашей газеты. Автор — один из тех молодых русских, слишком многочисленных в настоящее время, чьи убеждения правительство моей страны признало опасными и заслуживающими наказания. Нисколько не одобряя этих убеждений, я полагаю, что простодушный и искренний рассказ о том, чтб он перенес, мог бы не только возбудить интерес к его личности, но и служить доказательством того, насколько не может быть оправдано предварительное одиночное заключение в глазах разумного законодательства. Надеюсь, что Вы так же, как и я, будете поражены правдивостью этих страниц и вместе с тем отсутствием бесполезных, если не неуместных, жалоб и упреков. Вы увидите, что эти нигилисты, о которых говорят последнее время, не так черны и не так ожесточены, как их хотят представить.

Примите, любезный господин Эбрар, уверение в моих лучших чувствах.

Иван Тургенев

Нам остается прибавить к прочитанному только одно. Автор, просидев в тюрьме *четыре года*, был судим и приговорен к шести месяцам заключения. Его освободили от наказания, учитывая те четыре года, которые он уже пробыл в тюрьме, и отпустили на свободу. Но спустя немного времени он снова был арестован и, как многие другие молодые люди, сослан в маленький городок на севере России. Оказавшись там без средств к существованию и не предвидя никакого улучшения своей участи, он решился бежать и исполнил это.

ПРЕДИСЛОВИЕ
‹К ИЗДАНИЮ СОЧИНЕНИЙ 1880 г.›

Считаю нужным сообщить читателям в немногих словах план предстоящего издания.

1-й том состоит в следующем:

а) **Литературные и житейские воспоминания,** а именно: Вступление; Вечер у Плетнева; о Белинском; о Гоголе; Поездка в Альбано (А. Иванов); по поводу «Отцов и Детей»; Человек в серых очках (этот отрывок нигде еще не был напечатан); Наши послали; Казнь Тропманна; Пэгаз.

б) **Критические статьи:** О «Фаусте» в переводе Вронченко; о «Смерти Ляпунова» С. Гедеонова; о «Паткуле» Кукольника; о «Бедной Невесте» Островского; о «Племяннице» г-жи Тур; о «Записках Охотника» С. Аксакова; о «Стихотворениях» Ф. Тютчева; «Гамлет и Дон Кихот».— Из написанных мною в первое время моей литературной деятельности критических статей я выбрал те, о которых я предполагал, что они могут еще и теперь до некоторой степени интересовать читателей.

в) **Некрологи:** Т. Н. Грановского, Н. И. Тургенева, гр. А. К. Толстого, С. К. Брюлловой.

г) **Переводы** двух легенд Г. Флобера.

2-й том содержит **«Записки Охотника»** *в полном составе.*

В 3-м, 4-м и 5-м помещены сподряд все шесть написанных мною романов, с особым к ним предисловием.

6-й, 7-й, 8-й и 9-й томы содержат **Повести и Рассказы,** расположенные в хронологическом порядке.

В 10-м помещены драматические произведения, **Комедии и Сцены.**

Приложенный к изданию фотографический портрет не гравирован на стали, как то сказано на заглавном листе, а воспроизведен новоизобретенным ф о т о г л и п т и ч е с к и м способом.— Способ этот представляет ту выгоду, что малейшие черты оригинала сохраняются с со-

вершенной точностью; сверх того, полученное изображение никогда не изглаживается и не стирается.

Текст предстоящего издания тщательно выправлен; издатели сделали с своей стороны всё возможное. Автору остается поручить себя столь часто испытанной им благосклонности читателей.

Париж
Сентябрь, 1879 г.

P. S. Автор покорно просит читателей выправить до чтения обозначенные важнейшие опечатки, так как некоторые из них искажают самый смысл речи.

<ПРЕДИСЛОВИЕ К ПУБЛИКАЦИИ «ИЗ ПУШКИНСКОЙ ПЕРЕПИСКИ. ТРИ ПИСЬМА»>

Эти документы находились в архиве покойного Николая Ивановича Тургенева и с обязательной готовностью сообщены мне его семейством. Считаю излишним распространяться об их важности, особенно в нынешнее время, когда общественное внимание с новой силой обращено на всё касающееся до Пушкина. Письмо Сергея Львовича (отца Александра Сергеевича) знаменательно тем, что свидетельствует о деятельном участии Александра Ивановича Тургенева в судьбах нашего великого поэта, о том участии, которым по праву гордится всё семейство Тургеневых. Одно из писем поэта, написанное в Кишиневе, вскоре после его ссылки, адресовано Александру Ивановичу; другое, из Одессы — младшему из братьев Тургеневых, Сергею Ивановичу, только что возвратившемуся из Константинополя, где он состоял секретарем при посольстве; оба письма бросают яркий свет и на тогдашнее положение поэта и на строй его мыслей и убеждений.

Ив. Тургенев

Париж, 28 окт./9 ноября 1880 г.

‹ПРЕДИСЛОВИЕ К ОЧЕРКУ А. БАДЕНА «UN ROMAN DU COMTE TOLSTOÏ» («РОМАН ГРАФА ТОЛСТОГО»)›

On me demande quelques détails biographiques sur le comte Léon Tolstoï, le grand écrivain russe, l'auteur de «La guerre et la paix», ce roman national et épique, dont «La Nouvelle Revue» donne une analyse aussi ingénieuse que fidèle. On me demande en même temps une appréciation critique de ce talent si puissant et si original. Tout en me réservant de l'offrir un jour aux lecteurs de «La Nouvelle Revue», je me bornerai pour cette fois-ci à esquisser à grands traits la vie du comte Léon.

Descendu en droite ligne du comte Pierre Tolstoï, un des serviteurs les plus zélés et les plus intelligents de Pierre le Grand, il est né le 28 août 1828 au village de Iassnaia Poliana aux environs de Toula, de parents riches et considérés, qu'il eut le malheur de perdre étant encore en bas âge. Il suivit sa famille à Kazan, où son frère aîné, Nicolas, était étudiant à l'Université; le comte Léon y entra également, se mit à l'étude des langues orientales, qu'il abandonna pour celle du droit, et sortit enfin de l'Université sans avoir achevé les quatre années réglementaires. Il cherchait encore sa voie. De Kazan il revint à Iassnaia Poliana, qu'il ne quitta que pour prendre du service militaire au Caucase dans le régiment, où son frère Nicolas, mort depuis, avait le rang de Capitaine.

L'amitié la plus vive unissait les deux frères. Devenu officier, le comte Léon prit part aux expéditions militaires qui se faisaient annuellement contre les Circassiens, expéditions qu'il a admirablement décrites plus tard et dans l'une desquelles il manqua périr. Lors de la guerre de Crimée, il passa à l'armée commandée par le prince Gortschakoff et resta tout le temps du siège à Sébastopol, où il se distingua par une bravoure aussi froide que résolue.

Les premiers essais littéraires datent de son départ au Caucase ; mais ce ne fut qu'en 1852 que parut à Saint-Pétersbourg, dans la revue «Le Contemporain», son premier roman intitulé «Enfance et adolescence», qui le plaça d'emblée au

premier rang parmi les écrivains de cette époque. Ce roman fut suivi par des récits de la vie militaire («Sébastopol en décembre», «Sébastopol en mai», «La coupe de bois», «L'incursion»), par d'autres romans et des nouvelles, parmi lesquelles il faut citer un vrai chef-d'œuvre improprement nommé «Les cosaques» (c'est une peinture incomparable des hommes et des choses au Caucase); puis enfin par ses deux œuvres les plus considérables: «La guerre et la paix» et «Anna Karenina». A l'heure qu'il est, le comte Tolstoï est certainement le romancier le plus populaire de la Russie.

Depuis l'année 1861 le comte Tolstoï habite constamment la campagne; il s'est marié et est père d'une nombreuse famille. Il s'est aussi beaucoup occupé de questions d'éducation et d'école.

C'est un homme de haute stature, à l'aspect robuste et rustique. Les traits peu réguliers de son visage dénotent une intelligence hors ligne ; son regard est singulièrement expressif et pénétrant. Fort tenace dans ses convictions, il a la parole franche et quelquefois tranchante; la politique du jour l'intéresse peu; en revanche, l'élément religieux dans la société est l'objet de ses constantes méditations, et personne mieux que lui ne connaît le peuple russe.

Une poésie haute et simple, un grand amour de la vérité, joint à la plus intime perception de tout ce qui est mensonge ou phrase, une remarquable puissance d'analyse psychologique, ainsi qu'un sentiment exquis de la nature, la faculté maîtresse de créer des types, quelque chose de vivant à la fois et d'élevé caractérisent ce beau talent qui, tout en restant russe par excellence, a déjà trouvé en Europe des admirateurs, dont le nombre ne fera que s'accroître.

Ivan Tourguéneff

Spasskoïe (Russie, province d'Orel),
ce 10 juillet 1881.

Перевод

Меня просили дать несколько биографических сведений о графе Льве Толстом — великом русском писателе, авторе «Войны и мира», этого национального эпического романа, разбор которого, столь же искусный, как и точный, дает « La Nouvelle Revue ». Одновременно просили дать и критическую оценку этого могучего и самобытного таланта. Не отказываясь со временем предложить ее чи-

тателям «La Nouvelle Revue», я на сей раз ограничусь тем, что расскажу в общих чертах о жизни графа Льва Толстого.

Он происходит по прямой линии от графа Петра Толстого, одного из усерднейших и умнейших сподвижников Петра Великого, и родился 28 августа 1828 г. в имении Ясная Поляна, под Тулой, от богатых и почтенных родителей, которых он, к несчастью, лишился еще в раннем детстве. Родственники увезли его в Казань, где его старший брат Николай учился в университете; граф Лев тоже поступил в университет, стал изучать восточные языки, затем перешел на юридический факультет и, наконец, покинул университет, не пройдя всех четырех положенных курсов. Он еще не нашел своего жизненного пути. Из Казани он вернулся в Ясную Поляну и покинул ее только затем, чтобы поступить на военную службу в тот полк на Кавказе, где его брат Николай, вскоре затем умерший, служил в чине капитана.

Братьев соединяли узы самой горячей дружбы. Став офицером, граф Лев принял участие в военных экспедициях, которые ежегодно предпринимались против черкесов,— экспедициях, так чудесно описанных им позднее; в одной из них он чуть не погиб. Когда началась Крымская война, он перешел в армию, находившуюся под командованием князя Горчакова, и пробыл в Севастополе в течение всего времени его осады, отличаясь при этом решимостью, хладнокровием и отвагой.

Первые его литературные опыты относятся ко времени отъезда на Кавказ; однако первая его повесть, под заглавием «Детство и отрочество», сразу же поставившая его в первый ряд писателей того времени, появилась в петербургском журнале «Современник» лишь в 1852 году. За этой повестью последовали рассказы из военной жизни («Севастополь в декабре», «Севастополь в мае», «Рубка леса», «Набег») и еще другие повести и рассказы, среди которых надлежит отметить подлинный шедевр — повесть, не точно названную «Казаки» (это бесподобное изображение кавказцев и кавказского быта); наконец, появились два наиболее значительных его произведения — «Война и мир» и «Анна Каренина». В настоящее время граф Толстой, несомненно, самый популярный в России писатель.

С 1861 года граф Толстой постоянно живет в деревне; он женат и является отцом многочисленного семейства.

Он много внимания уделяет также вопросам воспитания и школы.

Это человек высокого роста, мощного и простонародного сложения. Черты лица его, не вполне правильные, говорят о недюжинном уме; взгляд у него необыкновенно выразительный и проницательный. Весьма упорный в своих убеждениях, он высказывается откровенно и подчас резко; текущая политика интересует его мало, зато религиозное начало в обществе является предметом его постоянных раздумий, и никто лучше его не знает русский народ.

Вдохновенная и простая поэзия, великая любовь к правде, сочетающаяся с тончайшей чуткостью ко всякой лжи или пустословию, поразительная сила психологического анализа, а также тонкое чувство природы, непревзойденный дар создавать типы, нечто очень живое и в то же время возвышенное — вот чем определяется этот прекрасный талант, который, оставаясь сугубо русским, уже обрел в Европе поклонников, число которых будет неизменно возрастать.

Иван Тургенев

Спасское (Россия, Орловская губерния).
10 июля 1881 г.

⟨ПРЕДИСЛОВИЕ К ФРАНЦУЗСКОМУ ПЕРЕВОДУ НЕИЗДАННОЙ ГЛАВЫ ИЗ «КАПИТАНСКОЙ ДОЧКИ»⟩

UN ÉPISODE DE GUERRE CIVILE EN RUSSIE

CHAPITRE INÉDIT DE «LA FILLE DU CAPITAINE»

Ce chapitre, supprimé par la censure impériale, a été retrouvé récemment dans les papiers de l'auteur. La célèbre nouvelle historique de Pouchkine dont il fait partie est publiée en français depuis quelques années. Pour ceux qui ne l'ont pas lue dans l'original ou la traduction, il suffit de rappeler que cette nouvelle a pour sujet principal la révolte du Cosaque Pougatchef sous la grande Catherine, et que c'est parmi les incidents de cette sanglante aventure, ramenée aujourd'hui par le nihilisme à l'attention publique, que se déroule le récit du personnage inventé par Pouchkine.

Перевод

ЭПИЗОД ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В РОССИИ

НЕИЗДАННАЯ ГЛАВА ИЗ «КАПИТАНСКОЙ ДОЧКИ»

Эта глава, запрещенная царской цензурой, недавно обнаружена в бумагах автора. Знаменитая историческая повесть Пушкина, частью которой является эта глава, была напечатана по-французски несколько лет назад. Тем, кто не читал ее в подлиннике или в переводе, достаточно указать, что главный ее предмет — бунт казака Пугачева при великой Екатерине, и что рассказ вымышленного Пушкиным персонажа развертывается среди событий этого кровавого происшествия, заново привлекшего теперь, благодаря нигилизму, общественное внимание.

<ПРЕДИСЛОВИЕ К «РУССКИМ НАРОДНЫМ СКАЗКАМ В СТИХАХ» А. БРЯНЧАНИНОВА>

Достоинство русских народных сказок оценено и признано не только нашей публикой, но и вообще всем образованным и ученым миром. Мысль г. Брянчанинова переложить некоторые из них на стихи мы считаем счастливой, тем более, что он исполнил свою задачу с замечательным искусством и тактом, всюду сохраняя тон и колорит оригинала и разнообразием размера придавая ему более жизни и движения. Стихотворная форма имеет то преимущество, что она — если можно так выразиться — ближе придвигает содержание сказок к памяти и восприимчивости читателей, особенно молодых. Подобную же пользу приносят иллюстрации, исполненные в народном и сказочном духе. Они говорят зрению, как стихи — слуху, и одинаково возбуждают эстетическое чувство. А потому мы позволяем себе обратить внимание нашей публики на это издание и желаем ему прочного и полного успеха.

Иван Тургенев

Буживаль, июнь 1882 г.



ПРИЛОЖЕНИЯ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

СТАРЫЕ ПОРТРЕТЫ

(с. 7)

Конспект

Алексей Сергеич Лачинов — Алексис род. в 1760 г., ум. 1848. Начал его знать в 1833 году, ему было 73 г.[1]
Маланья Павловна Лачинова — Mélanie, Маланьюшка, Маланья урожд. Евстигнеева, род. в 1770, ум. 1848, вышла замуж в 1788 [2].

Одежда [3]:

его

реденгот, полосатый жилет, белый галстух, маншетки, брыле. двое часов с ключами, сафьяновые темно-красные сапоги с кисточками без каблуков, волосы редкие, назад зачесанные— [он] в 1812 г. пудрился. Табакерка со шпанским табаком. Выс⟨окая⟩ трость (словно поповская с эмалевым синим набалд⟨ашником⟩ и вензелем).

Про жену: ох, язычок, язычок! (притворяется, что [считает] боится ее ума, а знает, что она дура).

ее

белый капот коротк⟨ий⟩, накинутая на одну руку голубая шелковая кофта, башм⟨аки⟩ на красных каблуках, высокий чепец с гол⟨убыми⟩ лентами и рюшем, на лбу множес⟨тво⟩ серо-белокурых волосиков, завитых кольцами. Сияние. Вокруг шеи воротник; тоже нюхает табак, только французский, из крошечной зол⟨отой⟩ табак⟨ерки⟩, откуда достает табаку ложечкой; пухлые ручки (Орл⟨ов⟩ замеч ⟨ал⟩, что колец не следует носить таким ручкам).
Пахнет от нее бергам⟨отом⟩ à la Maréchal, допотопным — в продаже уже нет (Eau de la Reine de Hongrie!) Очень глупа. La Vénus de Moscou ⟨Московская Венера⟩. Медаль на плече с портретом А. Г. Орлова.

---

[1] Начал ∽73 г. *вписано выше первой строки текста.*

[2] *Дальнейший текст автографа расположен в три столбца. Первый (левый) столбец см. далее, от слов:* Были две дочери *и т. д.*

[3] *Выше заголовка:* Одежда — *вписаны заметки:* NB — обратить внимание на костюм. Было время — суета суетствий. Не любит рассказывать о старине — только мог шутить,— что вот, мол, был тогда молодцом, а теперь гриб грибом.

Были две дочери, обе замужем — отделены — и хотя наезжают к [именинам], но чуть ли не в ссоре с родителями.

Сумасш⟨едший⟩ кн⟨язь⟩ Львов, который у них живет. Пропасть слуг, всё старых, очень волосатых, истовых, слегка пахучих; все в реденготах, только нанковых, и в мягких сапогах. [Карлики за столом дерутся и стучат лбами]. Л⟨ачинов⟩ терпеть не может табаку, собак, военных людей: «наденут на себя какие-то султаны из петушьего хвоста и сами петухами стали; шею затянули туго-натуго — хрипят, да и как не хрипеть? глаза таращат». Обожание Екатерины, анекдоты о ней; не ходит, а бегает маленькими шажками от стула до стула. Голосок крикливый, в нос. Очень радушен, но с соседями знается мало. Они зовут его пересмешником! Находит, что после 12-го года удивительная пошла грубость. Приживальщики: Никан⟨ор⟩ Никанорыч, Савастей Савастеич, Анна Ефимовна, Пелагея Савель⟨евна⟩ и карло Янус, немецкого происхождения и вовсе не шут [4] — напротив, престрогий и преумный и называется также философом. Множество скверных картин. Читает старинные русские книги — надевает тогда круглые очки и пьет при этом [оранжад], особый какой-то терпянистый ⟨?⟩ мятн⟨ый⟩ квас, от которого запах, впрочем, прохла⟨дный⟩ идет по дому. Но больше смотрит через очки, нежели читает. Набожен, но попов не принимает — очень от них дух силен,— волосы [эта⟨кие?⟩] такие большие, расчешут их во все стороны — думают, что тем мне уважение делают,— и громко так крякают между разговором — от робости что ли — да и смертный час напоминают. Сам очень изнежен и вежлив — и всё улыбается.— Камердинер: Иринарх, которого зовет протяжным криком — И-арх! а тот всегда, всегда является, как бы барин ни звал.— Остальных зовет: малец! — Прежде выезжал на хозяйство в широких беговых дрожках на старом коне Драбанте [5], но теперь уже всё сидит дома, хозяйством не занимается — и поручил всё бурмистру Антипу, которого боится и которого зовет Микромэгас [6] (вольтеровские воспоминания). Собирает часто баб и девок, заставляет петь и плясать [7], причем отличался кучер Иван [Сухоруцкий] Сухих — его история. (Забавник; «рыбка»; потом убийство барина — он был выменен на другого слугу и т. д.). Как кн⟨язь⟩ Львов, поет рус-

---

[4] *К этим словам приписано:* Светик? а ты бы, сударик, спросил Януса! А Янус только хмурится.

[5] *На полях приписано:* бурый ⟨?⟩ из когда-то бывшего отличного завода.

[6] *На полях приписано:* а иногда: грабитель — ему в лицо, с улыбкой — и Ант⟨ип⟩ тоже улыбается.

[7] *На полях приписано:* и в ладошки прихлопывает

ские песни ист⟨ово⟩, становясь в углу, хохочет, краснеет и приговаривает: бей их, злодеев, бей в мою голову! А⟨лексей⟩ С⟨ергеич⟩ гордился своим родом — родословное древо в каб⟨инете⟩ — но мытарство⟨вать⟩ не ходили, к Москве не тянули, в Питере не служили — сиднем сидели на своей земле,— гнездари, сударь, дворяне! — Часто употребляет слова: сударь, сударик, по чести, как-никак — употреблял, вероятно, им самим сочиненную поговорку: выше неба не взлетишь! шалишь! — Очень был щедр — еще поговорка: нищему подай раз, подай два, подай три; а в 4-й скажи: ты бы, братец, чем бы другим поработал, не всё ртом.— К слугам и вообще к подчиненным был очень снисходителен — потому говорил: своего ничего нету [к] чужому служи — разве крест на шее свой, да и тот медный,— где тут быть, сударик, разуму?

№3. Приехал ко мне надысь (тоже любимое слово) полицейский капрал [8] — как, что-с, мол, до вас дело имею; а я ему: сударь почтенный, ты сперва крючки на воротнике-то расстегни, а то [долго ли до апоплексии?] чихнешь, помилуй бог! [Сейчас апоплексию получишь] ах, что с тобой будет? А я отв⟨ечай⟩.

Докторов не любила покойница-матушка, ото всех болезней маслом прованским с солью лечила и прекрасно всё проходило — не веришь? спроси ее ⟨?⟩. А мать А⟨лексея⟩ С⟨ергеича⟩ чуть не за 50 лет до прибытия лица ⟨?⟩ скончалась.

Что касается до М⟨аланьи⟩ П⟨авловны⟩, то она только всё становилась в позу (вероятно, понравившуюся Орлову) с каким-то лихим вывертом правой ноги, говорила много ⟨?⟩, всё больше об Орлове и тогдашней блестящей жизни, жаловалась на девушек, которых постоянно шпыняла — хотя и не мучила; беспрерывно кушала варенье, которое на китайских блюдечках подносила старушка, которая только и занималась вареньем («варенуха»),— и подносила двойной лорнет в виде рогульки не к глазам, а к носу.— Картами в доме не занимались — и собачонок не было. Удовольствие доставляли ей соседки, сплетницы и рассказчицы сказок (ты мне новых-то не рассказывай! [9]) Очень глупа была М⟨аланья⟩ П⟨авловна⟩, но сердце имела чувствительное и любила ⟨?⟩ подавать подачками.— (Арфа с оборванными струнами, которую она просто щипала).— Очень она была тоже набожна, но [по ее словам] не умела молиться и заставляла старуху-сплетницу за себя молиться и при этом умилялась и плакала.— У ней был когда-то предмет, племянник гусар, вспоминая о котором она обыкновенно конфузилась и краснела.

---

[8] *На полях приписано:* Шешковский

[9] *На полях приписано:* новые те все повыдуманы, старых мне

NB. Плачущим я видел А⟨лексея⟩ С⟨ергеича⟩ только раз — от стихов [10]. Стихи эти были сочинены неким Гормицким, которого за его стихотвор⟨ческий⟩ дар А⟨лексей⟩ С⟨ергеич⟩ некогда [при] устроил у себя [11], но который однажды пьяный поколотил всех людей ⟨?⟩ в доме — а засим исчез.

NB Ридикюль — тоже голубой на руке у М⟨аланьи⟩ П⟨авловны⟩. М⟨аланья⟩ П⟨авловна⟩ не любила Януса и всё уверяла, что он вдруг сорвется да подожжет дом [12].— Очень она была пуглива и легкомысленна! К кн⟨язю⟩ Львову, напр⟨отив⟩, благоволила благоскл⟨онно?⟩

Умер А⟨лексей⟩ С⟨ергеич⟩ странно. Накануне он вдруг сказал своей жене: «Маланьюшка, помирать пора!» — Алексис, бог с *вами*! Отчего так [13]? — «А вот смотрю я сегодня на свои ноги. Чужие ноги! — На руки... Чужие руки!.. И на брюхо посмотрел — чужое и брюхо! Значит чужой век заедаю... Пошли-ка за попом, отцом Дмитрием».— В тот же день А⟨лексей⟩ С⟨ергеич⟩ слег и на след⟨ующий⟩ день скончался. М⟨аланья⟩ П⟨авловна⟩ похоронила его, слегла и скоро сама скончалась — и похоронили ее в голубом капоте.

В последний мой приезд случился со мной анекдот с Иваном Сухих. Как он пришел ко мне в комнату, стал на колени и так далее.—

Дочери не успели приехать.

М⟨аланья⟩ П⟨авловна⟩ описывала свой наряд, и как А⟨лексей⟩ С⟨ергеич⟩ был хорош собой, и какой на нем был кафтан, и А⟨лексей⟩ Г⟨ригорьевич⟩ был посаженым отцом, и пуговицы на нем были бриллиантовые, и она [сказала] похвалила их — и он сказал: у вас в глазах лучше бриллианты — и взял нож, отрезал одну пуговицу и дал ей, сказав: сравните сами — и вот тот самый брил⟨лиант⟩ теперь вокруг ее медальона.

Когда она намекала на «предмет» — А⟨лексей⟩ С⟨ергеич⟩ хмурился и говорил: «Не верь коню в поле, а жене в доме...» Тогда М⟨аланья⟩ П⟨авловна⟩ волновалась пуще и восклицала: Алексис!

---

[10] *На полях приписано:*

О всебедный род людск⟨ой⟩,
Незнаком тебе покой!
Ты лишь оный обретаешь,
Пыль могильну коль глотаешь.
Горек, горек сей покой!
Спи, мертвец, но плачь живой!

[11] *На полях приписано:* изысканно ⟨*1 нрзб*⟩ старичок, но ⟨?⟩

[12] *На полях приписано:* Хороша старина — ну и бог с ней!

[13] *На полях приписано:* Надо и честь знать

грешно вам, Алексис! Но он тотчас смеялся и говорил: «Ох, язычок, язычок! Бело твое платье — а душа еще белей!» — Белей, Алексис, белей!..— «Ох, язычок, по чести язычок»,— повт⟨орял⟩ А⟨лексей⟩ С⟨ергеич⟩. [А ты, сударик, обратясь ко мне, замечай сам да на ус мотай].

Отдельные замечания на полях

Мож⟨ет⟩ б⟨ыть⟩, ⟨*2 нрзб.*⟩ покривиться ⟨?⟩ (икать)
Да она же не философ?
так хорошо молчит
№3. Портрет предмета
(Его убили на дуэли)
«Маланьюшка, встретимся мы на том свете».
— Я буду о том бога молить, Алексис.
«Ну, дай поцелую ручку».
— А я твою.
И оба старика поцеловали друг у друга руку.
«А помнишь, как мы венчались, какова была парочка!»
— Была, красавчик ты мой, Алексис ненаглядный!
Старуха залилась слезами.
«Ну, не плачь — авось нас господь бог там помолодит».

— Помолодит, Алексис.— «Ну перекрести меня... и я тебя перекрещу...» Но уже руки старика ему не повиновались...

«Там... всё это поправится [и ты поумнеешь], опять ⟨?⟩ парочка будет...» Это были его посл⟨едние⟩ слова.

О военных: — Эти слав⟨ные⟩ ⟨?⟩ [воен⟨ные⟩] петухи... И пьют же они, [боже мой,] помилуй бог, а не пьянеют; я им цимлянское [судь⟨ям⟩] велю подавать,— вино, сударь мой — препакостное, но дуют [же] они его, помилуй бог!!

ОТЧАЯННЫЙ

(с. 26)

Конспект

ОТЧАЯННЫЙ

(Втор⟨ой⟩ очерк)

Михаил Алек⟨сеевич⟩ Т⟨ургенев⟩ — родился в 1828 г., ум⟨ер⟩ в 1863.— Отец его — образчик старого степного дворянина: богобоязненный, истовый, обрядный и в падучей болезни. Таков должен был быть царь Мих⟨аил⟩ Фед⟨орович⟩. Патриархально семейственный. Воспитан [Мих⟨аил⟩] Миша с другим, старшим братом и

сестрой — в деревен⟨ской⟩, почти церковной атмосф⟨ере⟩. Мать — нервическое существо, не любившая мужа и страшно скучавшая. Развитая и образованная; обучила детей по-французски и фортепиано [1]. Умерла рано. Когда отец умер, Мише было ровно 21 год; нигде не служил, [числился] записан был в канцелярии как⟨ой⟩-то (определить, какой?). Жил красной девушкой. Как только умер отец... дым тотчас пошел коромыслом. Вместе с братом за бесценок продали родовое имение, получили по 30 000. Миша бросился в Москву — немедленно бешено кутить; цыганки, карты, трактир, билиард, пьянство, риск (собственный шатер цыган в Сокольниках с надписью: Т⟨ургеневски⟩е цыгане). Наружность: красив чрезвычайно — моложавое, краснощекое, почти безбородое лицо, [ла⟨сковые⟩] карие глаза с поволок⟨ою⟩ и пухлые губы; смех ужасный, звериный и зубы какие-то тоже звериные. Разом всё ухнул с какой-то яростной быстротой! Вдруг явился послушником в черной рясе — в Троицкий монастырь — в том же доме, куда прилетал на серых рысаках с бобровой опушкой во всю шинель; потом исчезновение — начинает делать нырки (письма [просительные] к знакомым и родным). Хлоп! отъявился юнкером на Кавказе. Храбростью не отличался в сражениях — и даже в уныние впадал; но дерзость и удаль безумная; ездил к черкесам, где чуть не погиб; как ужасно — раз нашли его полузамерзшим в реке; [пил и] влюблялся — и в него влюблялись; но он сейчас выкинет какую-нибудь отчаянность, иногда мерзость; пел романсы с гитарой, но скоро потерял голос и только плясал; [плутовал] занимал где и как только мог; не платил карточные долги — но шулером не был, а был по-своему очень религиозен — любил не то чтобы помогать бедным, а жить и быть с ними; «с одними нищими весело пить».— Не отступал ни от какого пари и т. д. Не мог, как говорится, «прийти в себя»: тогда надо размышлять, [быть] возиться с самим собою, а этого он вынести не мог — лучше лбом о стену! С Кавказа вдруг явился в Москву — ходил в черкесском костюме — и чёрт знает, куда провалился; стал по улицам милостыню просить.— История с щелчками по носу, вызывает на дуэль того, кто его щелкнул два раза; история с 7-ю ⟨семинар⟩-истами ⟨?⟩ [2] и как его привезли домой в виде Гектора, привязанным ногами к саням; — история прыжка ночью в темный овраг — и всё из-за вздора. Встреча на дороге — история с нищими и калеками: начики-чикалды, чух! чух! чух! и т. д. Приглашение в дом — первые дни опрятной жизни, даже в восторге; а там угроза сжечь дом; 25 руб.; кабак и т. д. Посещение родительского

[1] Развитая и образованная ∽ фортепиано. *вписано.*
[2] *В автографе* — с 7-ю исками

дома, сцена с кулаком, скачка на бешеной лошади. «Дай рубль!» Воз⟨ч⟩икам столько дают. Отказ — слезы... пошел на могилу отца. Хочет вырыть яму и лечь с ним рядом — потом напивается мертвецки (не тут ли поставить: начики-чикалды). Еще нырок — последний. Окончательная сцена с его женой, дочерью дьячка; как он умер.

Нежность его к дамам; знает наизусть несколько нежных и возвышенных стихов,— для женщин также готов на всякие отчаянности (сохранил моложавый и субтильный вид до конца). Сила несомненная, при всей дряннейшей слабости,— не то что самопожертвование — самоистребление, но без содержания и идеала; а был бы идеал — герой и мученик.

Отдельные заметки

На л. 1:

ручки мягенькие, небольшие; чрезвычайно правильный и четкий почерк с кудреватой подписью.

На л. 2, против слов: был по-своему очень религиозен: бог добрый — простит!

На л. 2: «Михайло Алекс⟨еевич⟩! Я перед вами виноват — не удостоите ли со мной выкушать?»

На л. 3: В отношении к дамам? Очень любезен — но без темперамента. Дерзок, но не храбр. Всякая дисциплина невозможна. От никакого пари не отказывается — прыгает в овраг ночью (боже! боже!); поездка к черкесам (замерз в ручье), пролежал зимой на снегу и всё здоров! Играет — деньги не платит, но не шулер.— *Чашечка*.

Тоска бедности, несправедливость, Россия... Что тебе за дело до России? А без *этого* нельзя.

Ходил в черкеске-папахе и с кинжалом.

у женщ⟨ин⟩

1) [Сценка с щелчк⟨ами⟩] Сцена дома
2) Сцена с нищими
3) Приглашение домой
4) Посещение его вдовы

ПЕСНЬ ТОРЖЕСТВУЮЩЕЙ ЛЮБВИ

(с. 47)

Конспект первой редакции

КОНСПЕКТ

В Ферраре в XVI-м стол⟨етии⟩ живут два друга — юноши, Альберто и Муцио. Там же живет девица Валерия вместе с матерью. А⟨льберто⟩ и М⟨уцио⟩ оба влюблены в нее, становятся вхожи в дом. В⟨алерия⟩ [1] не влюбляется ни в того, ни в другого, но с Альберто она спокойнее и дружелюбнее; Муцио ее слегка стесняет, хотя, будучи музыкальным (Альберто рисует), он [2] отвечает скорее ее внутреннему чувству. Выбор ее зависит от матери, которая решает дело в пользу Альберто, к которому она чувствует гораздо больше доверия и симпатии. Альберто женится на Валерии. Муцио уезжает надолго на Восток, сказавши Альберто (для которого его чувство не было тайной), что он вернется только тогда, когда почувствует себя вполне излеченным. Альберто и Валерия живут несколько лет очень хорошо — то в самой Ферраре, то в прекрасной соседней вилле. Альберто пишет картину, где изсбражена его жена в виде святой [3]. Горестно только то, что у них детей нету. Другое горе: мать Валерии умирает. По прошествии 5 лет [4] — летом, когда Альберто и Валерия живут на вилле, внезапно возвращается Муцио. Он переменился, сделался смуглым, получил странный восточный оттенок. Он ездил далеко, проникал в Индию. С ним большой багаж, драгоценные ткани, драгоценности, вина — и немой слуга малаец [5]. Альберто его встречает очень дружески, предлагает ему жить у него в саду, в павильоне. Муцио соглашается и поселяется там. В первый же день он удивляет Альберто и Валерию своими рассказами, странными, непонятными *фокусами* (висение на воздухе и т. д.), в которых помогает ему слуга. Муцио выучился на Востоке магии. Он играет на виоле разные странные мелодии и кончает одною, удивительно страстной и торжествующей, которая очень волнует Валерию (она по-прежнему, больше прежнего его боится),— эта мелодия, по словам Муцио, песнь удовлетворенной любви. Они ужинают поздно — и Муцио потчует их своими винами из особенных кубков и заставляет Валерию пить из одного из этих кубков. На ночь они расходятся — и вдруг во сне Валерия видит, что

---

[1] *В дальнейших текстах сокращения имен:* Альберто, Муцио, Валерия *раскрываются без редакторских скобок.*

[2] она

[3] Альберто ∽ святой. *вписано.*

[4] 4 лет

[5] негр

входит в особого вида [6] комнату, встречает там Муцио и отдается ему. Просыпаясь с ужасом, она будит мужа, и оба слышат ту страстную мелодию удовлетв⟨оренной⟩ любви, которую Муцио играл в своем павильоне. На другой день они снова сходятся — замешательство Валерии и особенная улыбка, с которою Муцио глядит на Валерию. Сперва он снова рассказывает — но когда Альберто за ужином его спрашивает об его ночной игре, Муцио рассказывает, что он видел сон (совершенно тождественный со сном Валерии) и что, проснувшись, не мог удержаться, чтобы не сыграть своей победной песни,— при этом он присочиняет рассказ о какой-то красавице, в которую он якобы был влюблен в Индии, которая не хотела сделаться его женою и умерла. Валерия в смущении встает и под предлогом нездоровья уходит... Альберто и Муцио остаются одни — немой малаец им прислуживает — и вдруг Альберто замечает, что он злорадно [7] смеется, глядя на него. Ему тоже становится неловко... и они расходятся [8].

Муцио отлучается в Феррару, но к вечеру возвращается. Альберто весь день находится в смутном состоянии духа. Он начал портрет своей жены в образе с⟨вято⟩й Цецилии, но не может продолжать,— у ней уже нет того чистого выражения, которое его пленяло прежде. Смутное чувство ревности закрадывается в его душу... Он ее обиняками расспрашивает — ее не совсем ясные ответы. Возвращение к вечеру; он очень весел и много рассказывает. Валерия [9] остается дольше, чем накануне, хотя и замечает, что Альберто finge [10]. Ужин... (пить ли вино?).— Ночью Альберто долго не может заснуть, наконец засыпает. Проснувшись, он видит, что постель жены пуста,— и в ту же минуту она возвращается, в ночном белье (луна светит),— не теперь, но за минуту шел лег⟨кий⟩ дождик [11],— и ни слова не говоря, с каким-то ужасом на лице (глаза закрыты), ложится в постель. Альберто ее спрашивает — она молчит. Он чувствует следы дожд⟨евых⟩ капель на ее волосах, на рубашке; на голых ногах следы песку... Она была в саду.— Он вскакивает — бежит в сад (дверь раскрыта)...[12] Луна ярко светит... на песку дорожки следы двух пар ног (одна пара голая) ведут к беседке жасминной. И в это мгновенье опять раздается

---

[6] в особую

[7] злобно

[8] *Далее зачеркнуто:* То же самое повторяется и в эту ночь, и снова раздается в павильоне торжествующая песнь. Валерия на следующее утро не выходит — она нездорова.

[9] *Далее начато:* рано

[10] делает вид, притворяется *(итал.) Далее зачеркнуто:* Ночью

[11] не теперь ∽ дождик *вписано.*

[12] *Далее начато:* В это

песнь в павильоне. Альберто вбегает туда... Муцио играет. Он бросается к нему — на его одежде следы дождя. «Ты выходил в сад...» — «[Да, я там] Не знаю... нет, кажется, я не был там».— «Твой плащ мокр... И почему ты играешь это? разве опять видел сон?» Муцио не отвечает — и Альберто уходит... Дома его жена тяжело спит... Он ее будит... Она, увидав его, бросается к нему на шею... «Что с тобой?..» — «Ах, какие сны я вижу...» — и снова содрогается. Он успокаивает ее... На другой день с утра Муцио исчезает... Альберто не может ничего добиться от малайца.— Тяжелый день... Валерия не решается ничего ему сказать, но идет в церковь и исповедуется духовнику... Тот тоже ее успокаивает, а сам думает: колдовство — и посещает Альберто [13]. Не выдавая тайны исповеди, он предваряет Альберто против Муцио — советует ему отказать от дому... Разг⟨овор⟩ Альберто с женою.

Муцио не возвращается к вечеру, он приезжает лишь ночью.

Альберто и Валерия ложатся спать; но Альберто не спит и караулит жену. Вдруг он видит, что она начинает шевелиться. Он притворяется спящим...[14] Она медленно встает и, как сомнамб⟨ула⟩, направляется к двери. Альберто бежит в другую дверь и, обегая дом, запирает дверь в сад... Через несколько мгновений он чувствует, что кто-то силится отворить ее изнутри. Слышит легкие стоны.— Но ведь Муцио нету дома! Он бежит к павильону — и встречает Муцио, который идет тоже, как сомнамбула. Альберто прибли⟨жается⟩ [15] к нему [16] — тот словно его не замечает и идет вперед с протянутыми руками... Альберто идет за ним... Вдруг он видит: в доме раскрывается окно, низкое от земли, и появляется Валерия. Альберто бросается к Муцио, схватывает его за руку, потрясает его, кричит... Муцио приходит в себя — но словно помешанный. Альберто ударяет его кинжалом, он кричит и, захватив рану, спотыкаясь, бежит назад в павильон... Но в мгновение его ранения Валерия также испускает страшный крик и падает... Альберто бежит к ней — поднимает ее...[17] несет на кровать. Входит служанка, кот⟨орая⟩ бежит за доктором. Появление малайца — он точно безумный. Делает знак — его господин умер. Альберто стремится в павильон — Муцио лежит мертвый с странной улыбкой на устах. Альберто выходит оттуда как шальной. Прибегают люди и говорят, что и Валерия умерла. Альберто садится на землю в изнеможении — и, о чудо! он слышит опять эту мелодию... Что же? разве [и] теперь они соединены?

---

[13] и обещается на другой день посетить Альберто
[14] *Здесь к тексту — помета на полях:* NB Магнетизерство!
[15] Он подходит
[16] *Далее зачеркнуто:* и глядит ему в лицо
[17] *Далее зачеркнуто:* она мертвая

Конец ⟨повести⟩

Она приходит в себя.— Радость... Он уехал? Да... да... Слезы — она тихо засыпает (светлые слезы на щеках, улыбка — он сидит возле...) Но что стало с Муцио?.. Он наконец встает и идет в павильон. Застает сцену.— Малаец уложил его на ковре, покрыл хламидой и сам надел какой-то плащ. Муцио лежит как мертвый... Фабио спрашивает: «E morto?» [1] — Мал⟨аец⟩ кивает головою — и заставляет выйти... Разм⟨ышления⟩ Фабио [2] — что же ему остается делать? Обо всем дать знать в городе... ведь это убийство!..— Утр⟨ом⟩ Валерия встает — приходят люди сказать, что Муцио болен, но уезжает. Малаец укладывает вещи. Муцио уезжает. Изумл⟨ение⟩ Фабио — он идет в павильон... Там в комнате м⟨алаец⟩ заперся с Муцио. Фабио смотрит в скважину замка — удив⟨ительная⟩ сцена. Колдовство малайца — зажженные чашки с благов⟨ониями⟩, его поклоны и телодвижения. Повелительный жест малайца. Муцио припод⟨нимается⟩ и падает назад на подушки.— К вечеру всё готово. Лошади навьючены. Лошадь с особым седлом для Муцио. Момент отъезда. Муцио выходит, поддерж⟨иваемый⟩ малайцем,— двигающийся труп. Валерия см⟨отрит⟩ из окна.— Они садятся и уезжают шагом.

Возвращение святости св⟨ятой⟩ Цецилии.— Играет на органе.— Вдруг у ней под пальцами запела та же мелодия — ребенок шевельнулся под сердцем. Чей он?

Кольцо — подарок Муцио Фабио
Он снимает его и бросает в топ⟨ящуюся⟩ печь.
Ожерелье Валерии?

ОБРАЗЧИК СТАРИННОГО КРЮЧКОТВОРСТВА

(с. 352)

Первоначальная редакция
(черновой автограф)

Письмо к издателю сборника

М. г.!

Перебирая в прошлом лете старые семейные бумаги, оставшиеся в моем деревенском архиве, нашел и небольшую памятную книжку, в которую дед мой записывал все важнейшие происшествия своей жизни, все известия и слухи, доходившие до его захолустья,— словом всё, что ему казалось занимательным или полезным, начиная с рецептов для грудного декокта до стихов Державина, отрывков из реляций и замечательных просьб. В числе их между прочим находятся просьбы некоего господина Оленина, копию с которых при сем прилагаю. Мне они показались любопытны как памятник языка и нравов прошлого столетия. Особенного внимания, по-моему, заслуживает язык, которым он писан. При всей своей подьяческой запутанности и хитросплетенности (г-н О⟨ленин⟩ был, по всей вероятности, сам великий делец), он часто поражает смелостью и живостью оборотов и каким-то неподдельным и горячим красноречием.

Если Вы разделите мое мнение насчет этих просьб — то напечатайте их в Вашем сборнике.

Впрочем, с истинным уважением пребываю и т. д.

Иван Тургенев



ПРИМЕЧАНИЯ

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Алексеев — Алексеев М. П. И. С. Тургенев — пропагандист русской литературы на Западе.— В кн.: Труды Отдела новой русской литературы Института русской литературы (Пушкинский Дом). М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948. Вып. 1, с. 37—80.

Антокольский — Марк Матвеевич Антокольский. Его жизнь, творения, письма и статьи / Под ред. В. В. Стасова. СПб.; М.: изд. т-ва М. О. Вольф, 1905.

Грузинский — Грузинский А. Е. И. С. Тургенев. Личность и творчество. М., 1918.

Клеман — Клеман М. К. И. С. Тургенев — переводчик Флобера.— В кн.: Флобер Г. Собр. соч.: В 10 т. М.; Л., 1934. Т. 5.

Куприевич — Куприевич А. А. «Стихотворения в прозе» Тургенева и «Диалоги» Леопарди.— В кн.: Minerva. Сборник, изданный при историко-филологической семинарии Высших женских курсов в Киеве. Киев, 1913. Вып. 1.

Поляк — Поляк Л. М. История повести Тургенева «Клара Милич». — В кн.: Творческая история. Исследования по русской литературе / Под ред. Н. К. Пиксанова. «Никитинские субботники». М., 1927.

Сакулин — Сакулин П. Н. На грани двух культур. И. С. Тургенев. М., 1918.

Успенский — Успенский Г. И. Полн. собр соч. М.: Изд. АН СССР, 1940—1954. Т. 1—14.

Шаталов — Шаталов С. Е. «Стихотворения в прозе» И. С. Тургенева. Арзамас, 1961.

Flaubert, *Correspondance* — Flaubert G. Œuvres complètes. Correspondance. Nouvelle édition augmentée. Paris: L. Conard, 1926—1930, séries I—IX.

Flaubert, *Correspondance. Suppl.*— Flaubert G. Œuvres complètes. Correspondance. Supplément (1830—1880). Paris, 1954. T. 1—4.

Десятый том Полного собрания сочинений и писем И. С. Тургенева включает художественные произведения, созданные писателем в последние годы его жизни, а также переводы из Г. Флобера, критику и публицистику конца 1850-х—1880-х годов.

В первый раздел тома вошли «Отрывки из воспоминаний — своих и чужих» («Старые портреты», «Отчаянный»), «Песнь торжествующей любви», «Клара Милич», «Перепелка» и «Стихотворения в прозе». В это время Тургенев, будучи уже зрелым и законченным мастером, искал новых и новых художественных путей, еще небывалых в его творчестве, новых методов проникновения в глубину психики человека, в неизведанный мир его чувств и переживаний. Выражением этих исканий явились и «Песнь торжествующей любви» — совершенно своеобразное, в новом для писателя стиле произведение, плохо понятое современниками,— и «Клара Милич» — психологический этюд, как бы завершающий собою линию так называемых таинственных повестей 1870-х годов. Этюды совершенно иного стиля и плана из области социальной психологии далекого и недавнего прошлого, где продуманность и отточенность каждой детали достигает высшего совершенства, мы видим в «Отрывках из воспоминаний — своих и чужих». Здесь в первом отрывке — «Старые портреты» — выразился в последний раз глубокий интерес Тургенева к социально-психологическим явлениям XVIII века, ощущаемый уже в «Записках охотника», а во втором отрывке — «Отчаянный» — нашел свое завершение тип «дворянского отщепенца», давший когда-то Петра Петровича Каратаева, Чертопханова, Веретьева, но в лице Миши Полтева духовно измельчавший и разложившийся. Всё это свидетельствует о том, что творческие силы писателя ко времени его болезни и смерти не только не были исчерпаны, не шли на убыль, но были оборваны на пороге новых достижений.

Вместе с тем Тургенев ясно чувствовал и понимал, что его жизненные, физические силы клонятся к концу. Ожидание приближающейся смерти, о которой он так много думал с молодых лет, влекло его к размышлениям о смысле жизни и смерти, о проявлениях личной и общественной психологии, о прошлом и настоящем человечес-

кого общества, к размышлениям на темы искусства и морали, к попыткам прозрения в будущее и т. д. Эти размышления, подводившие итог всему жизненному опыту, всему философскому, нравственному, общественному развитию писателя, нашли выражение в совершенно своеобразном, единственном в своем роде в русской литературе, цикле «Стихотворений в прозе», или, как называл их сам автор, «Senilia» — старческие раздумья. Эти маленькие, глубоко личные и одновременно обобщенно философские, полные художественной прелести, лирические произведения, из которых около двух пятых (32 из 83) остались неизданными при жизни Тургенева и увидели свет лишь почти через полстолетия после его смерти, в настоящем издании подвергнуты всестороннему исследованию в текстологическом, жанровом, стилистическом и историко-литературном отношениях.

Второй раздел включает переводы «Легенды о св. Юлиане Милостивом» и «Иродиады» Г. Флобера, а также незавершенное предисловие к этим переводам. Интерес Тургенева к своеобразным тематическим и стилистическим опытам его друга Г. Флобера, а также и его желание испытать свои силы в труднейшем художественном задании передачи их на русский язык выразились в этих переводах, имевших в глазах русского писателя важное самостоятельное творческое значение.

Третий раздел составляют статьи и рецензии 1859—1881 гг. (см. о них во вступительной статье к этому разделу).

В четвертом разделе («Корреспонденции») содержится, в частности, газетное сообщение об оперном творчестве композитора В. Н. Кашперова и о постановке его оперы «Мария Тюдор» в Милане (1860); атрибуция этой заметки, как несомненно написанной Тургеневым, вместе с тем решает и вопрос о статье «Сочинения Д. В. Давыдова» («Отечественные записки», 1860), ошибочно приписанной Тургеневу М. О. Гершензоном (см. об этом: *Т*, *Сочинения*, т. 12, с. 524—525).

Пятый раздел составляют предисловия, особый вид литературно-критических выступлений Тургенева. Они написаны преимущественно к переводам на иностранные языки наиболее значительных произведений русских писателей (предисловия к французским переводам «Мцыри» Лермонтова, «Двух гусаров» Л. Н. Толстого, к английскому переводу «Истории одного города» Салтыкова-Щедрина) или, наоборот, к переводам на русский язык произведений зарубежных писателей (предисловия к роману М. Дюкана «Утраченные силы», к «Германии» Г. Гейне и др.).

В шестой раздел — Приложения — входят конспекты «Старых портретов», «Отчаянного», «Песни торжествующей любви» и первоначальная редакция «Образчика старинного крючкотворства».

Из произведений настоящего тома в издание 1880 года (т. 1) — последнее, подготовленное к печати целиком самим Тургеневым,— вошли лишь переводы двух легенд из Флобера. Другие произведения — «Отрывки из воспоминаний — своих и чужих», «Песнь торжествующей любви», «Клара Милич», «Стихотворения в прозе» (первый раздел) — были включены в т. 9 «посмертного» издания сочинений Тургенева (Глазунова, 1883). Однако эта публикация не может служить основой для текста настоящего тома, так как не все произведения были пересмотрены самим автором. Те из них, которые он сам успел подготовить, напечатаны по этому источнику в предшествующих томах настоящего издания. Остальные же (перечисленные выше) предназначались Тургеневым для следующего, десятого тома нового издания (см. письмо его к А. В. Топорову от 9 (21) января 1883 г.) или для девятого — по усмотрению издателя («...или, может быть, Глазунов пожелает присоединить всё это к 9-му тому, который довольно тонок? Это от него зависит?» — писал Тургенев в том же письме). Глазунов так и поступил, но нет никаких данных, которые указывали бы на участие Тургенева в подготовке этих вещей к печати (см.: Клеман М. К. Рудин. К истории создания.— В кн.: И. С. Тургенев. Рудин. Дворянское гнездо. Academia, М.; Л., 1933, с. 459—464; *Т, СС*, т. 8, с. 555—556; наст. изд., т. 5, с. 384). Поэтому перечисленные выше произведения печатаются по первым публикациям.

Что же касается статей и рецензий, корреспонденций и предисловий, то Тургенев почти никогда не включал их в издания своих сочинений (не считая предисловий к изданиям 1865, 1874 и 1880 годов, имевших временное значение и не повторявшихся). Исключение составляют те из них, которые вошли в том 1 издания И. И. Глазунова (1883 г.), появившийся после смерти Тургенева, но были отобраны, очевидно, им самим. А именно: «Пергамские раскопки» и ⟨Предисловие к публикации «Из пушкинской переписки. Три письма»⟩. В связи с этим статьи и рецензии, корреспонденции и предисловия печатаются также по первым публикациям.

Тексты произведений, входящих в настоящий том, подготовили и комментарии к ним составили: *М. П. Алексеев* («О книге А. Больца»); *М. П. Алексеев, Н. В. Алексеева* («Стихотворения в прозе»); *А. И. Батюто* (⟨Предисловие к «Стихотворениям А. А. Фета, 1856 г.»⟩); *И. А. Битюгова* («Перепелка», «Образчик старинного крючкотворства. Письмо к издателю ⟨„Русского архива“⟩», ⟨Предисловие к «Дневнику девочки» С. Буткевич⟩); *Г. Я. Галаган* («Krilof and his Fables. By W. R. S. Ralston»); *Г. Я. Галаган, Н. С. Никитина* (⟨Предисловие к французскому переводу повести Л. Н. Толстого «Два гусара»⟩, ⟨Предисловие к очерку А. Бадена «Un roman du comte Tolstoï» («Роман графа Толстого»)⟩); *М. И. Гил-*

лельсон (⟨Перевод «Демона» на английский язык⟩); *Т. Н. Голованова* (От переводчика. ⟨Предисловие к переводу «Украинских народных рассказов» Марко Вовчка⟩, ⟨О композиторе В. Н. Кашперове⟩); *Р. М. Горохова*, *Г. Ф. Перминов* («Первое представление оперы г-жи Виардо в Веймаре»); *П. Р. Заборов* («Легенда о св. Юлиане Милостивом», «Иродиада», «Предисловие ⟨к переводу романа Максима Дюкана „Утраченные силы"⟩»); *Н. В. Измайлов* (⟨Предисловие к французскому переводу стихотворений Пушкина⟩, ⟨Новые письма А. С. Пушкина. От издателя⟩, ⟨Предисловие к публикации: «Из пушкинской переписки. Три письма»⟩, ⟨Предисловие к французскому переводу неизданной главы из «Капитанской дочки»⟩); *Е. И. Кийко* («Обед в Обществе английского Литературного фонда. (Письмо к автору статьи „О Литературном фонде")», ⟨Предисловие к изданию сочинений 1865 г.⟩, «Предисловие ⟨к переводу „Волшебных сказок" Шарля Перро⟩», ⟨Предисловие к изданию сочинений 1874 г.⟩); *Д. М. Климова*, *Т. А. Лапицкая* (⟨Предисловие и послесловие к очерку И. Я. Павловского «En cellule. Impressions d'un nihiliste» («В одиночном заключении. Впечатления нигилиста»)⟩); *Л. И. Кузьмина* (Заметка ⟨о статуе Ивана Грозного М. Антокольского⟩); *Ю. Д. Левин* («History of a Town. Edited by M. E. Saltykoff»); *Н. Н. Мостовская* (⟨Предисловие к переводам повестей Г. Флобера «Легенда о св. Юлиане Милостивом» и «Иродиада»⟩); *Н. Н. Мостовская*, *Г. Ф. Перминов* («Пятьдесят недостатков ружейного охотника и пятьдесят недостатков легавой собаки», «Пергамские раскопки»); *А. Б. Муратов* («Песнь торжествующей любви», примечания); *Л. Н. Назарова* («Старые портреты», «Отчаянный»,«Клара Милич», ⟨Предисловие к французскому переводу «Драматических произведений Александра Пушкина»⟩, «Предисловие ⟨к изданию Сочинений 1880 г.⟩»); *Л. Н. Назарова*, *Г. Ф. Перминов* («Из-за границы. Письмо первое»); *Н. С. Никитина* (⟨Предисловие к французскому переводу поэмы М. Ю. Лермонтова «Мцыри»⟩); *Т. И. Орнатская* (⟨Предисловие к «Русским народным сказкам в стихах» А. Брянчанинова⟩); *М. Б. Рабинович* («Alexandre III», ⟨Письма о франко-прусской войне⟩); *Л. И. Ровнякова* (⟨Предисловие к немецкому переводу «Отцов и детей»⟩, ⟨Предисловие к переводу книги Г. Гейне «Германия. Зимняя сказка»⟩); *Г. В. Степанова* (Предисловие ⟨к переводу «Очерков и рассказов» Леона Кладеля⟩); *Е. М. Хмелевская* (⟨Предисловие к очерку Н. В. Гаспарини «Фиорио»⟩, «Песнь торжествующей любви» — текст и конспекты).

Редакторы тома *Н. В. Измайлов*, *Л. Н. Назарова*.

Вводная статья к примечаниям написана *Н. В. Измайловым* при участии *Л. Н. Назаровой*. Вступительная заметка к «Статьям и рецензиям» — *Л. Н. Назаровой*.

В подготовке тома к печати принимали участие *Е. М. Лобковская* и *Т. Б. Трофимова*.

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

ОТРЫВКИ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ — СВОИХ И ЧУЖИХ

СТАРЫЕ ПОРТРЕТЫ

(с. 7)

ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА

Конспект рассказа. Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 77; описание см.: *Mazon*, p. 92; фотокопия: *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 230.

Черновой автограф предисловия к рассказу в форме письма к М. М. Стасюлевичу — приложение к письму, адресованному П. В. Анненкову, от 19 ноября (1 декабря) 1880 г. Хранится в *ЦГАЛИ*, ф. 7, оп. 1, № 29, л. 70.

Наборная рукопись (беловой автограф). 26 страниц авторской пагинации. К стр. 1 подклеен листок бумаги, представляющий собой беловой автограф предисловия к рассказу с подписью «И. Т.» Хранится в частном собрании в Москве. После текста подпись: Ив. Тургенев — и помета: Буживаль (близ Парижа). Ноябрь 1880.

Авторизованная копия. Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 77; описание см.: *Mazon*, p. 92; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 230. После текста подпись: Ив. Тургенев — и помета: Буживаль (близ Парижа). Ноябрь 1880.

Порядок, 1881, 1(13) января, № 1, и 5(17) января, №4. Заглавие: «Старые портреты. (Отрывки из воспоминаний — своих и чужих)». Перепечатано отдельным изданием: Отрывки из воспоминаний — своих и чужих. Ив. Тургенева. СПб., 1881. Вып. 1. 31 с.

Впервые опубликовано в газете «Порядок», 1881, № 1 и 4, с подписью и датой: Ив. Тургенев. 30 октября 1880.

Печатается по тексту первой публикации с устранением явных опечаток, не замеченных Тургеневым, а также со следующими исправлениями по наборной рукописи и авторизованной копии:

Стр. 10, строка 40: «навыкат» вместо «навыкате»

Стр. 17, строка 32: «Тоболеев» вместо «Толобеев»

Одно из самых ранних упоминаний о рассказе содержится в письме М. М. Стасюлевича к А. Н. Пыпину от 7(19) сентября 1880 г. из Парижа. Стасюлевич писал: «Вчера был у меня Тургенев и сообщил, что к 1 октября он закончит свои Воспоминания, за которые теперь засел; это очень любопытно. Эти воспоминания, конечно, он отдает мне, но не „Вестнику Европы". Этою шарадою кончаю...» (*ГПБ*, ф. 621, архив А. Н. Пыпина, ед. хр. 831, л. 58—59).

Однако несмотря на категоричность утверждений Тургенева, приводимых Стасюлевичем в данном письме, следует полагать, что

к началу сентября 1880 г. относится лишь замысел рассказа. Работа же над конспектом и текстом протекала в основном, как видно из дальнейших писем Тургенева, в конце октября — начале ноября 1880 г.

С самого начала рассказ предназначался для первого номера новой газеты «Порядок», основанной Стасюлевичем. Это подтверждается и письмом Тургенева к нему от 1(13) октября 1880 г., в котором писатель сообщал: «Отрывок из „Воспоминаний (свое и чужое)“ Вы непременно получите к 1-му № „Порядка“; я уже первых две странички набросал». О том, что он работает над «Старыми портретами», Тургенев писал также П. В. Анненкову, но уже значительно позднее, 29 октября (10 ноября) 1880 г., из Буживаля: «...я остаюсь здесь еще неделю, быть может, больше; хочу попытаться — не поможет ли мне одиночество,— буду ли я в состоянии работать,— я обещал Стасюлевичу крошечную статейку ⟨. . .⟩ да не знаю, справлюсь ли я даже с этой крошкой» (там же). Об окончании работы над рассказом, который написан был им «с великим трудом», Тургенев писал И. И. Маслову 11(23) ноября 1880 г., подчеркивая, что для этого он «две недели просидел в деревне совершенно один».

Ко времени окончания работы над рассказом относится и запись А. Н. Луканиной в ее воспоминаниях о Тургеневе, написанных в форме дневника, от 30 ноября н. ст. 1880 г. Мемуаристка передает рассказ Тургенева о прототипах Алексея Сергеича и Маланьи Павловны Телегиных: «Был у меня старик дядя; родился он при Елизавете, а сам был человек екатерининских времен [1] ⟨. . .⟩ Жена его родилась тоже чуть не при Елизавете. Этот мой дядя был человек ⟨. . .⟩ очень своеобразный, вот почему мне и вздумалось описать эту чету» [2] (Луканина А. Н. Мое знакомство с И. С. Тургеневым.— *Сев Вестн*, 1887, № 3, с. 72. Ср.: Гутьяр Н. Предки И. С. Тургенева. — *Рус Ст*, 1907, № 12, с. 657). С. И. Лаврентьевой Тургенев рассказывал о «Старых портретах»: «...у меня давно были небольшие наброски, которые я теперь только обработал» (Лаврентьева С. И. Пережитое. (Из воспоминаний). СПб., 1914, с. 140—141).

Первоначально Тургенев составил конспект. В нем он кратко изложил содержание будущего рассказа и, кроме того, сообщил основные биографические сведения о чете Телегиных (первоначально им дана была фамилия Лачиновы) [3]. Точно указаны в конспекте даты рождения и смерти старичков. Фамилия сумасшедшего князя Л. в конспекте раскрыта полностью: «Сумасш⟨едший⟩ кн⟨язь⟩ Львов, который у них живет». Характеризуя Алексея Сергеича, Тургенев кратко отметил в конспекте, что у него — «обожание

---

[1] Ср. с программами «Записок охотника» I, III, V и VI (1847), где значится в качестве самостоятельного замысла «Человек екатерининского времени» (наст. изд., т. 3, с. 374, 376, 378, 379).

[2] Н. М. Чернов в статье «Лутовиновская старина» высказывает предположение, что прообразом Алексея Сергеевича Телегина был Алексей Тимофеевич Сергеев, племянник И. И. Лутовинова, т. е. двоюродный дядя Тургенева. Сергеев жил в шестидесяти верстах от Спасского, в Новосильском уезде. Две его дочери рано вышли замуж, и старики родители жили вдвоем (Литературная газета, 1968, № 36, 4 сентября).

[3] Лачиновы — известная в Орловской и Воронежской губерниях дворянская фамилия.

Екатерины, анекдоты о ней». В окончательном тексте рассказа эта фраза была развернута в эпизод перед портретом императрицы работы Лампи («Полубог был, не человек!» и т. д.), в воспоминания о личной встрече Телегина с Екатериной II, а также в рассказанный им анекдот (об электрических искрах, которые сыпались с волос императрицы при их расчесывании).

Если в жизни Алексея Сергеича главный интерес был сосредоточен на Екатерине II, бесконечных разговорах и воспоминаниях о ней, то такую же роль для Маланьи Павловны играл граф А. Г. Орлов-Чесменский. В окончательном тексте рассказа она вспоминает о трех своих встречах с Орловым: во время одного из устроенных им кулачных боев на Ходынском поле, когда она была еще девушкой, затем в день ее свадьбы и, наконец, на балу у Орлова, куда она приехала вместе с мужем. В конспекте совсем нет первого из этих эпизодов, а два других соединены в один, содержащий указание на то, что Орлов был посаженым отцом Маланьи Павловны на ее свадьбе с Алексеем Сергеичем — деталь, которая не вошла в текст рассказа. Значительное место уделено в конспекте описанию одежды старичков Телегиных, причем изображение костюма Алексея Сергеича почти не содержит отличий от текста рассказа. В описании же наряда Маланьи Павловны имеются черты, которые в текст рассказа Тургенев включил в несколько видоизмененной форме. Совсем не вошли в текст «Старых портретов» следующие детали из конспекта, связанные с обликом Маланьи Павловны: («Орл⟨ов⟩ замеч⟨ает⟩, что колец ∽ la Reine de Hongrie!») (см. с. 373).

Полностью черновой автограф рассказа неизвестен. Сохранился лишь черновик предисловия к нему (см. выше, с. 393). В черновике вместо слов: «На это намекает ∽ и — *чужих*» — содержится следующий текст: «Продолжение этих отрывков будет зависеть от приема, который окажет „Старым портретам“ публика. Памятуя известный пример архиепископа Гранадского в „Жиль Блазе“ — я буду рад ее одобрению, но сумею также принять к сведению ее критику» (письмо к М. М. Стасюлевичу — приложение к письму, адресованному П. В. Анненкову, от 19 ноября (1 декабря) 1880 г.). О наборной рукописи Тургенев писал Анненкову 14(26) ноября 1880 г. из Парижа: «...я наконец переехал сюда, рассказец свой кончил, больше половины уже переписал ⟨. . .⟩ Вы в будущий вторник или в середу получите рекомендованное письмо с оным рассказцем, который Вы извольте прочесть и возвратить, сообщив свое мнение вообще — и отдельные замечания в особенности. Всё это, разумеется, будет принято к сведению».

Авторская правка в наборной рукописи, в общем незначительная, вносит уточнения или дополнения в текст.

Авторизованная копия была изготовлена, вероятно, «в предвидении возможного перевода на французский язык» (см. письмо Тургенева к Стасюлевичу от 25 ноября (7 декабря) 1880 г.). На первом листе ее, несколько выше заглавия «Старые портреты», написано по-французски: «Vieux portraits». Она имеет отличия от наборной рукописи и, по-видимому, переписывалась с чернового автографа.

Наборная рукопись «Старых портретов» была отправлена Анненкову, жившему в это время в Баден-Бадене, вместе с письмом от 19 ноября (1 декабря) 1880 г. Ответ Анненкова неизвестен. О впечатлении, которое произвели на него «Старые портреты», можно судить на основании письма к Стасюлевичу от 21 ноября

(3 декабря) 1880 г., написанного сразу же после прочтения рассказа. «Поздравляю Вас с подарком, крупным бриллиантом изумительной отделки, ⟨. . .⟩ назначенным Вам из кабинета И. С. Тургенева. Я сейчас отсылаю ему обратно в Париж рассказ его „Старые портреты“, подтверждающий название, данное его автору Юлианом Шмидтом — „Король новеллы“. Не хочет стареть Тургенев, и новый его рассказ так же свеж и прелестен, как будто писан до подагры и до возведения в сан Оксфордского доктора. Увидите сами» (*Стасюлевич*, т. 3, с. 393). 22 ноября (4 декабря) 1880 г. Тургенев, получив от Анненкова не дошедший до нас отзыв (в целом весьма положительный), обстоятельно отвечал своему критику по поводу одного его замечания: «Теперь насчет кучерка. В действительности эта история именно так совершилась и закончилась (я даже имени (Ивана) не переменил). Это еще, однако, не доказательство: действительность кишит случайностями, которые искусство должно исключать; но мне на ум приходит тот факт, что *почти никогда русский* убийца сам с собою не кончает — особенно в крестьянском сословье, в Европе же сплошь да рядом. Боюсь, как бы не дать самоубийце Ивану европейский колорит. Но так как я Вашему критическому чувству почти слепо верю — то я намерен, прежде чем отослать свою штуку Стасюлевичу, дать себе дня два, три на размышление — а там и решусь — так или иначе».

На основании этого письма Тургенева можно предположить, что Анненков советовал писателю сделать Ивана Сухих не только убийцей своего барина, но и самоубийцей. По-видимому, не совсем точно поняв мысль Тургенева и полагая, что речь идет вообще о самоубийствах среди крестьян, Анненков в письме от 5(17) декабря 1880 г. указывал писателю на то, что «при крепостном праве топились не только мужчины, но женщины и дети — поминутно». Не настаивая, однако, на изменении концовки «Старых портретов», он кончал письмо заключением: «Впрочем, что бы Вы ни сделали с Иваном или ничего бы не сделали с ним — рассказу Вашему до этого дела нет: он всё останется превосходным, как был» (см. в сб.: Роль и значение литературы XVIII века в истории русской культуры. М.; Л., 1966, с. 378).

Совет Анненкова сделать Ивана Сухих не только убийцей, но и самоубийцей, остался нереализованным, и Тургенев отправил «Старые портреты» Стасюлевичу, по-видимому, 28 ноября (10 декабря) 1881 г. (см. письмо Тургенева к Стасюлевичу от 25 ноября (7 декабря) 1881 г.) без каких бы то ни было существенных изменений.

Начало рассказа появилось в № 1 новой газеты Стасюлевича «Порядок» от 1 января 1881 г.[1], после чего наступил перерыв в печатании, обеспокоивший автора. В связи с этим Тургенев 8(20) января 1881 г. писал Стасюлевичу: «...я получил 2-й и 3-й N-а „Порядка“ — и несколько был удивлен тем, что ни в том, ни в другом не нашел второй половины „Старых портретов“. Рассеченный таким образом, этот маленький очерк должен в глазах читателя потерять и то неважное значенье, которое мог бы еще иметь. Вероятно, у Вас были на это свои соображенья — но я надеюсь, что ко времени прибытия настоящего письма Маланья Павловна уже успела сделать свой книксен читателю».

[1] Рецензия на него сразу же была напечатана в газете «Суфлер» (1881, № 2, 4(16) января).

4(16) января 1881 г. Анненков, прочитав в «Порядке» начало «Старых портретов», писал Тургеневу: «Ваша вещь напечатана, кажется, без ошибок. Я еще раз перечел ее и нахожу. что в печати она еще как будто эффектнее» (*ИРЛИ*, ф. 7. № 13, л. 21—21 об.).

Тургенева весьма интересовали отклики друзей, а также печатные отзывы о его рассказе. С. Ромм в своих мемуарах рассказывает: «4 февраля ⟨н. ст. 1881 г.⟩ состоялся концерт ⟨. . .⟩ в русском художественном клубе ⟨в Париже⟩. Тургенев прочел „Два старые портрета“ — глубоко прочувствованно. Когда он кончил, никто не аплодировал в продолжение нескольких секунд, затем раздались единодушные рукоплескания, долго не смолкавшие» (Из далекого прошлого. Воспоминания об И. С. Тургеневе.— *ВЕ*. 1916, № 12, с. 117). Таково было мнение русских, находившихся в это время в Париже и присутствовавших на концерте. Но еще до этого Тургенев, желая узнать, что скажет о «Старых портретах» П. Л. Лавров, послал ему 26 января (7 февраля) 1881 г. свою «статейку в 2-х фельетонах». А Я. П. Полонскому он писал в тот же день: «...радуюсь, что мои „Старички“ тебе понравились».

Еще 2(14) января 1881 г. писатель просил А. В. Топорова выслать ему в Париж «те N-а „Нового времени“, „Голоса“ и „Молвы“, в которых будет что-нибудь сказано о ⟨. . .⟩ „Старых портретах“». В ответ на это Топоров отправил Тургеневу номер «Голоса», в котором был помещен положительный отзыв о «Старых портретах». «Отзыв „Голоса“ мне приятен,— писал Тургенев Топорову 13(25) января 1881 г.,— так как я имел причины предполагать, что мои „старички“ потерпели фиаско». Рецензент «Голоса», в частности, писал о героях рассказа (Алексее Сергеиче и Маланье Павловне Телегиных): «Они стоят пред нами живые в этих медальонах, начертанных романистом. Эти два типа далекой уж старины не прибавят „нового слова“ к речи, с которою обращался г. Тургенев к русскому обществу, но они, без сомнения, увеличат число „тургеневских“ типов. Невозможно в рассказе более простом, по-видимому, сосредоточить более мастерства отделки, не говоря о наблюдательности, без которой в произведении не было бы жизни и свежести ⟨. . .⟩ старички вышли очень характерны». В заключение критик «Голоса» писал: «Как на особо поразительные места, укажем на воспоминания Алексея Сергеича о дворе Екатерины II и Маланьи Павловны о ее встречах с Алексеем Орловым, о ее венчании» (Голос, 1881, № 8, 8(20) января).

Топоров же прислал Тургеневу и другой печатный отклик, рецензию В. Ч. ⟨В. В. Чуйко⟩, опубликованную в «Новостях и Биржевой газете». В своем роде это «настоящая жемчужина,— писал Чуйко,— в которой множество сокровищ самой тонкой наблюдательности великого художника, хотя в ней нет никаких претензий на разрешение каких бы то ни было „задач“. Это действительно не более как отрывки, клочки воспоминаний давно прошедшего, воспоминаний лиц, виденных авт⟨ором⟩ когда-то и оставшихся в его памяти». По мнению критика, старички Телегины по мере чтения «так живо рисуются в уме читателя, все мельчайшие подробности так характерно определяют их, что перед вами точно восстает давно прошедшая жизнь с такою роскошью красок, с таким обилием форм, с такою полнотою, что ⟨. . .⟩ вы невольно удивляетесь таланту, который так всецело умеет воскрешать прошлое» (Новости и Биржевая газета, 1881, № 14, 16 января).

Тургенева не мог не обрадовать этот отзыв В. В. Чуйко; но в то

же время писатель обратил внимание и на начало его рецензии, где холодный (по мнению рецензента) прием критикой «Старых портретов» ставился в прямую зависимость от неблагоприятного впечатления, которое создалось «в печати и отчасти в обществе известным письмом И. С. Тургенева к г. Боборыкину по поводу подписки на памятник Флоберу». Об этом Тургенев с горечью сообщал Анненкову; последний же, возвращая выписку из «Новостей» и стремясь успокоить Тургенева, писал ему о той части публики, у которой «Старые портреты» имеют «положительный и большой успех». По его мнению, «голоса из нее ⟨публики⟩ то там, то сям прорываются, как, например, в этом отрывке из „Новостей“» (5 февраля н. ст. 1881 г.— *ИРЛИ*, ф. 7, № 13, л. 27 об.).

Сочувственно писала о «Старых портретах» и газета «Орловский вестник», выразив надежду «подробно познакомить читателей» «с содержанием этого нового увлекательного произведения нашего знаменитого поэта» (Орловский вестник, 1881, № 3, 6(18) января).

Сдержанно отозвался о рассказе анонимный рецензент «Нового времени», который в разделе статьи, посвященном «Порядку», охарактеризовал «Старые портреты» как «нечто анекдотическое, но по обыкновению хорошо написанное» (Новое время, 1881, издание второе, № 1741, 2(14) января).

Из журналов откликнулась на рассказ «Русская мысль». Тургенева мог вполне удовлетворить отзыв С. А. Венгерова, который в обзоре «Русская литература в 1881 году», упомянув о «Старых портретах» и «Песни торжествующей любви», отмечал, что оба эти произведения «написаны превосходно». По мнению Венгерова, в «Старых портретах» нарисована «необыкновенно яркая жанровая картинка из времен крепостного права, когда даже в самом „милом“ и „добром“ барине сидела такая огромная доза азиатского самодурства ⟨. . .⟩ Написан рассказ необыкновенно колоритно и „сочно“, как говорят художественные критики, детали отделаны замечательно тщательно». Венгеров указывал и на то, что «Старые портреты» могут быть названы «новою главою „Записок охотника“, и притом одною из лучших» (*Рус Мысль*, 1882, № 3, с. 59—60).

Но сам Тургенев замыслил нечто иное; он предполагал, что в случае успеха, большого, настоящего успеха «Старых портретов» у публики и в печати, он сможет создать и опубликовать новый цикл рассказов. Это явствует из письма его к Анненкову от 22 ноября (4 декабря) 1880 г., в котором писатель сообщал: «У меня в голове готовых еще несколько подобных студий: пожалуй, теперь они и увидят свет. В начале моей карьеры успех „Хоря и Калиныча“ породил „Записки охотника“; было бы чудно́, если бы „Старые портреты“ оказались тоже плодовитыми — под конец этой самой карьеры».

Анненков, стремясь поддержать идею Тургенева, подчеркивал в письме к нему 15(27) января 1881 г., что успех «обнаружится» вполне «только с продолжением этих очерков», что «надо продолжать писать очерки» (*ИРЛИ*, ф. 7, № 13, л. 23—23 об.). Самый подзаголовок к «Старым портретам» в первопечатном тексте («Отрывки из воспоминаний — своих и чужих») давал основание рассматривать рассказ (или очерк) как начало нового цикла, задуманного Тургеневым. Это было замечено и другими критиками. Так, В. В. Чуйко прямо писал в своей рецензии: «Пока мы имеем только первый отрывок под заглавием „Старые портреты“; это дает нам право надеяться, что после этого первого отрывка последуют другие и за старым

портретом мы увидим новые» (Новости и Биржевая газета. 1881, № 14, 16 января).

Задуманный Тургеневым цикл включил рассказ «Отчаянный». Сохранился также перечень действующих лиц третьего рассказа — «Учителя и гувернеры» (см. наст. изд., т. 11). Но продолжить и завершить начатое помешала Тургеневу тяжелая болезнь, приведшая его к смерти.

Писателю хотелось, чтобы его рассказ поскорее появился и во французском переводе (см. письмо к Стасюлевичу от 25 ноября (7 декабря) 1880 г.) Однако французский перевод «Старых портретов», выполненный Э. Дюран-Гревилем, был напечатан в еженедельном журнале «La Revue politique et littéraire» лишь 14 и 28 мая 1881 г. (№ 20 и № 22; сообщил Ж.-В. Арменжон). В № 20 заглавие «Vieux portraits» сопровождено двумя подзаголовками: «Souvenirs d'enfance» («Воспоминания детства») и «I. Téléguine et Pavlovna» (« I. Телегин и Павловна»). Вторая часть рассказа напечатана в № 22 журнала под названием «II. Ivan Soukhikh» («II. Иван Сухих»). Э. Дюран-Гревиль, переводя «Старые портреты», выпустил эпизод, касающийся «убеждений» Маланьи Павловны и, в связи с этим, ее реакции на упоминание о Шешковском (см. примеч. к с. 21). Переводчик снабдил французский текст «Старых портретов» значительным количеством подстрочных примечаний, составленных им с помощью Тургенева.

При жизни писателя был опубликован также чешский перевод рассказа, осуществленный И. Пенижеком. Под названием «Staré podobizny» он появился в десятом номере журнала «Limit» за 1882 год (см.: Гонзик Иржи. О ранних переводах И. С. Тургенева на чешский язык.— *Т сб*, вып. 3, с. 209).

В сознании последующих поколений «Старые портреты» были заслонены другими, более значительными произведениями Тургенева, и о них обычно упоминалось лишь в общих работах, посвященных творчеству Тургенева в целом. Сохранился поздний отзыв Л. Н. Толстого об этом рассказе в записи А. Б. Гольденвейзера от 29 апреля 1900 г.: «А. М. Сухотин ⟨. . .⟩ прекрасно прочитал „Старые портреты“ Тургенева. Лев Николаевич не помнил этой вещи и очень ею восхищался. Он сказал: — Только после всех этих новых, которых читаешь, действительно ценишь Тургенева» (Гольденвейзер А. Б. Вблизи Толстого. М., 1959, с. 62).

Из советских исследователей значительное внимание уделил «Старым портретам» Л. П. Гроссман в статье «Портрет Манон Леско». Он указал на связь главы XIX «Нови» (о Фомушке и Фимушке) со «Старыми портретами», где изображена такая же «старенькая чета». Подчеркнув, что «Старые портреты» в целом — «шедевр», Л. П. Гроссман писал, что здесь «непревзойденный изобразитель смерти Тургенев дает, быть может, свою лучшую в этом роде страницу, описывая кончину старенького Телегина ⟨. . .⟩ Даже в щемящей сцене умирания ⟨. . .⟩ продолжает переливаться всеми лучами и красками праздничный мир наивных старомодных любезников. Словно сама пляска смерти, приближаясь к ним, покорно приняла легкий ритм менуэта» (Гроссман Л. Собр. соч. в 5-ти т. М., 1928. Т. 3. Тургенев, с. 32—33). Интересные наблюдения содержатся и в статье В. М. Головко «Тема „частного“ человека в позднем творчестве И. С. Тургенева», где герои «Старых портретов» рас-

сматриваются в сопоставлении не только с Фомушкой и Фимушкой из «Нови», но и с героями незавершенного произведения «Старые голубки» (см.: Шестой межвузовский тургеневский сборник. Курск, 1976, с. 139—153 [Научные труды Курского гос. пед. ин-та, т. 59 (152)]).

Стр. 8. ...*портрет императрицы Екатерины II ∽ портрета Лампи...* — Лампи (Lampi) Иоганн Баптист (1751—1830) — австрийский художник-портретист. Жил и работал в России в 1792—1798 гг.; один из наиболее известных его портретов — Екатерины II — хранится в Эрмитаже.

...*он только с 1812 года перестал пудриться.* — Обычай для дворян носить пудреный парик или пудрить волосы, заплетенные в косичку, модный при Екатерине II и строго обязательный при Павле I, был оставлен с воцарением Александра I в 1801 г.

...*в сером «реденготе»...* — Редингот (от франц. redingote, англ. riding coat — сюртук для верховой езды) — длинный сюртук особого покроя.

Стр. 9. ...*со «шпанским» табаком...* — Дорогой испанский табак (из испанской Вест-Индии).

...*карлик, по прозвищу Янус, или Двулицый...* — В древнеримской мифологии Янус — божество времени, которое изображалось с двумя лицами, обращенными в противоположные стороны (одно — в прошлое, другое — в будущее).

Стр. 10. ...*на первом же куртаге...* — Куртаг — приемный день во дворце.

...*«Посмотри, Адам Васильевич...»* — Адам Васильевич — Олсуфьев (1721—1784), сенатор, член коллегии иностранных дел, статс-секретарь Екатерины II.

...*словно он и точно в случай попал.* — То есть стал любимцем, фаворитом Екатерины II.

Стр. 11. *А теперь возвратимся к прежнему.* — Перефразировка выражения, употребляемого в «Житии протопопа Аввакума» (1620? — 1682). Более точно это выражение приведено в главе V романа «Дым» (см. наст. изд., т. 7, с. 272 и 552).

...*не признающим властей мартинистом...* — Мартинисты — одна из ветвей масонства; религиозно-философское учение, названное по имени португальского мистика Мартинеца де Пасквали (Martinez de Pasqualis, ум. в 1779 г.). Многие ошибочно связывали учение это с именем французского теософа Сен-Мартена (1743—1803). Получило большое распространение в конце XVIII века в России. Противники масонов видели в мартинистах вольнодумцев, безбожников и врагов существующего строя, что в действительности не соответствовало их учению.

Стр. 12. ...*по рундучкам ног не отстаивали...* — Рундук — крыльцо, мощеное возвышение (см.: Преображенский А.Г. Этимологический словарь русского языка). Здесь это слово употреблено, однако, в значении прихожих, передних.

...*сиднями сидели, каждый на своей чети...* — Четь — старинная мера земли, 40×30 саженей.

...*им что цимлянское, что понтак — всё едино...* — Цимлянское — шипучее вино, которое производится на берегах нижнего Дона (в станице Цимлянской). Понтак — вероятно, красное французское вино — Понтэ-Канэ.

Стр. 13. ...*в пудраманте сидя...* — Пудромантель (пудра-

мант) — род накидки, полотняного плаща, который надевали, когда причесывались и пудрились.

Камерфрау проводит гребнем... — Камерфрау (от немецкого Kammerfrau) — камеристка (служанка), состоящая при комнатах императрицы.

...лейб-медика Роджерсона... — Роджерсон (Rogerson) Иван Самойлович (Иоганн Джон Самуил) (1741—1823) — лейб-медик Екатерины II, шотландец по происхождению, живший в России в 1765—1816 годы и лечивший весь придворный и чиновный Петербург.

...ведь ты ⁓ о случайных людях речь заводишь? — См. примечание к с. 10.

Стр. 15. *...получил воспитание в иезуитском коллегиуме...* — Иезуитские коллегии («коллегиумы») — средние учебные заведения, усиленно насаждавшиеся католической церковью в России (преимущественно в южных и западных областях) в XVIII — начале XIX в.

И шли те кони ⁓ знаменитейших заводов царя Ивана Алексеича... — Иван V Алексеевич (1666—1696) — сын царя Алексея Михайловича от первой жены (Милославской). Вступил на престол совместно с братом Петром I в 1682 г. В начале их царствования коннозаводство и особенно коневодство были «на значительной степени развития», — пишет И. Мердер в «Историческом очерке русского коневодства и коннозаводства» (СПб., 1868, с. 36), — упоминая, в частности, об «обширных государственных или, вернее, придворных конских заводах».

Стр. 16. *...звал Микромэгасом (волтеровские воспоминания!)...* — Микромегас — герой одноименной повести Вольтера, входящей в цикл его «философских повестей». Имя этого героя образовано из двух греческих слов: микрос — малый и мегас — великий. Алексей Сергеич Телегин читал произведения Вольтера в русских переводах, о которых см.: Языков Д. Д. Вольтер в русской литературе.— Древняя и новая Россия, 1878, № 9, с. 70—79. Провинциальных русских вольтерьянцев Тургенев изобразил также в рассказе «Мой сосед Радилов», в повестях «Три портрета», «Часы» и в романе «Дворянское гнездо» (см. наст. изд., т. 3, с. 56; т. 4, с. 86; т. 9, с. 99—100 и т. 6, с. 30, 419).

Стр. 17. *...Иринарх Тоболеев...* — Тоболеевы — фамилия крепостных В. П. Тургеневой; в частности, камердинером писателя в течение многих лет был Дмитрий Кириллович Тоболеев (см.: *Т, ПСС и П, Письма*, т. V, с. 311, 640, 745). Та же фамилия упоминается в рассказе «Бурмистр» из «Записок охотника» (наст. изд., т. 3, с. 134).

Стр. 18. *...высоком крагене вокруг шеи...* — Краген — воротник на застежках (от голл. kraag).

...прюнелевых башмаках на красных каблучках... — «В течение всего XVIII века ⟨. . .⟩ дамы ходили в туфлях на более или менее высоких каблуках ⟨. . .⟩ Знатные дамы носили в парадных случаях ⟨. . .⟩ туфли на красных каблуках» (см.: Русский костюм. 1750—1830. Вып. 1. /Под ред. В. Рындина. М.: ВТО, 1960, с. 16).

Петров день 1789 года! ⁓ кулачный бой, устроенный Орловым. — Кулачные бои, происходившие в присутствии страстного охотника до них графа А. Г. Орлова (1737—1808), пользовались особенной известностью. «Перед боем привозили целыми возами кожаные рукавицы; сбирались партиями фабричные с разных фабрик, цело-

вальники и мясники. Случались и из купцов, в лисьих шубах, и даже из господ» (Русские народные картинки. Собрал и описал Д. Ровинский. СПб., 1881. Кн. V, с. 221). О кулачном бое между крепостными А. Г. Орлова см.: *Рус Ст*, 1877, № 2, с. 319—320. Описание забав А. Г. Орлова дано также в рассказе «Однодворец Овсяников» (наст. изд., т. 3, с. 63).

...шляпа а-ля бержер де Трианон... — Как у трианонской пастушки (Трианон — увеселительный павильон французских королей в Версальском парке).

С т р. 19. *Экипажи цугом...* — Цуг (от немец. Zug) — запряжка лошадей гуськом, в две или три пары, присвоенная только дворянам; чем выше они были рангом, тем большее количество пар лошадей (две или три) могли запрягать цугом.

...скороход графа Завадовского... — Скороход — слуга, сопровождавший пешком экипаж своего господина.— Граф Завадовский — Петр Васильевич (1738—1812), фаворит Екатерины II; при Александре I — министр народного просвещения.

...и предику какую сказал! — Предика (от франц. prédication) — проповедь.

...георгиевский кавалер: турку сжег! — Речь идет о морском сражении в 1770 г. при Чесме (в Эгейском море), где турецкий флот был уничтожен русской эскадрой под водительством графа А. Г. Орлова, названного за это Чесменским.

С т р. 21. *...упомянул об известном Шешковском...* — Шешковский Степан Иванович (1720—1794) — начальник Тайной канцелярии при Екатерине II. П. А. Радищев писал, что Шешковский «исполнял свою должность с ужасною аккуратностью и суровостью. Он действовал с отвратительным самовластием 〈. . .〉 без малейшего снисхождения и сострадания 〈 ...〉 Наказание знатных особ он исполнял своеручно 〈. . .〉 В С.-Петербурге у него было много дела всякий день, однако же он был посылаем и в другие города». П. А. Радищев упоминает далее, что в 1790-х годах Шешковский был послан Екатериной II в Москву. «Вся Москва вострепетала»,— добавляет он (*Рус Ст*, 1870, № 12, с. 637—638; см. также: *Рус Ст*, 1874, № 8, с. 781—784). Пушкин иронически называл Шешковского «домашним палачом кроткой Екатерины» и записал рассказ о том, как Потемкин, «встречаясь с Шешковским, обыкновенно говаривал ему: „Что, Степан Иванович, каково кнутобойничаешь?“ На что Шешковский отвечал всегда с низким поклоном: „Помаленьку, ваша светлость!“» (*Пушкин*, т. 11, с. 16, т. 12, с. 173).

...в самый 1848 год, который, видно, смутил даже его. — События, связанные с революционным движением 1848 года во Франции, Тургенев описал в очерках «Наши послали!» (1874) и «Человек в серых очках» (1879) («Литературные и житейские воспоминания» — наст. изд., т. 11). См. также письмо к П. Виардо, написанное из Парижа около (после) 3(15) мая 1848 г.

С т р. 24. *...завязавши оселом шею...* — Осел — накидная петля из веревки, аркан (от осилить, совладать, поймать).

С т р. 26. *...в ковровых пошевнях.* — Пошевни — широкие сани, розвальни, покрытые ковром.

...раскроил ему голову одним ударом. — Ср. с рассказом «Про холопа примерного, Якова верного» из главы «Пир на весь мир» поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» (см.: Н а з а р о в а Л. Н. И. С. Тургенев в работе над «Старыми портретами»...— В сб.: Роль и значение литературы XVIII века в истории русской

культуры. Л., 1966, с. 377). Ср. также с описанием смерти Талагаева в последнем рассказе Тургенева «Une fin» («Конец») — наст. изд., т. 11.

ОТЧАЯННЫЙ

(с. 26)

ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА

«Отчаянный (втор⟨ой⟩ очерк)» — первоначальный конспект рассказа. 3 с. Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 77; описание см.: *Mazon*, p. 92—93; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 342.

«Отчаянный. Из воспоминаний — своих и чужих». Наборная рукопись (автограф). 39 с. Хранится в рукописном отделе *ИРЛИ*, ф. 293, архив М. М. Стасюлевича, оп. 3, № 134; описание см.: *ПД*, *Описание*, с. 17, № 45. Подпись: Ив. Тургенев. Буживаль, ноябрь, 1881.

«Отчаянный. Из воспоминаний — своих и чужих». Корректурные гранки *ВЕ* с правкой Тургенева. 10 полос. Хранятся в рукописном отделе *ИРЛИ*, ф. 293, архив М. М. Стасюлевича, оп. 3, № 134; описание см.: *ПД*, *Описание*, с. 17, № 46. Подпись: Ив. Тургенев. Буживаль, ноябрь 1881.

ВЕ — 1882, № 1, с. 37—56.

Впервые опубликовано: *ВЕ*, 1882, № 1, с подписью и пометой: Ив. Тургенев. Буживаль, ноябрь 1881.

Печатается по тексту *ВЕ*, с устранением явных опечаток, не замеченных Тургеневым, а также со следующими исправлениями по другим источникам:

Стр. 30, строки 40—41: «невозможно знать» вместо «невозможно узнать» (по наборной рукописи).

Стр. 31, строка 37: «то и решился я» вместо «то я решился» (по наборной рукописи).

Стр. 32, строка 19: «скоро опять» вместо «скоро» (по наборной рукописи).

Стр. 32, строки 33—34: «Он отправлялся на Кавказ» вместо «Он отправился на Кавказ» (по наборной рукописи).

Стр. 35, строка 16: «саженей десять глубины» вместо «сажень десять глубины» (по наборной рукописи).

Стр. 35, строки 41—42: «довольно неправдоподобна» вместо «неправдоподобна» (по корректуре *ВЕ*).

Стр. 35, строка 44: «и руки» вместо «и рука» (по наборной рукописи).

Стр. 36, строка 25: «отъявился» вместо «явился» (по наборной рукописи).

Стр. 38, строка 8: «смотрел» вместо «посмотрел» (по наборной рукописи и корректуре *ВЕ*).

Стр. 40, строки 13—14: «...чух-чух-чух! На́чики-чикалды, чух-чух-чух!» вместо «...чук-чук-чук! На́чики-чикалды, чук-чук-чук!» (по наборной рукописи и корректуре *ВЕ*).

Стр. 41, строка 12: «не горе, не судьба жестокая» вместо «не горе, судьба жестокая» (по наборной рукописи).

По-видимому, первое упоминание о работе над рассказом содержится в письме Тургенева к М. М. Стасюлевичу от 14(26) октября 1881 г., где сообщалось: «Тружусь над „Отчаянным“ — и надеюсь выслать его через неделю для помещения в „Порядке“». Об окончании рассказа Тургенев писал Я. П. Полонскому 8(20) ноября 1881 г., указывая, что это «этюдец вроде „Старых портретов“». В обоих письмах речь идет о черновом автографе, нам не известном. Но еще до начала работы над ним Тургенев составил конспект рассказа. Этот конспект с отдельными набросками к нему содержит сравнительно небольшое количество зачеркнутых слов и вообще авторской правки. Некоторые фразы и отдельные слова написаны на полях. В конце л. 2 нарисован мужской профиль (по-видимому, автопортрет) и несколько раз воспроизведена подпись писателя (в том числе однажды по-немецки). Конспект не датирован Тургеневым, но из письма к Стасюлевичу от 14(26) октября известно, что в это время Тургенев уже писал свой рассказ (черновой автограф). А работа над конспектом и отдельными набросками к нему должна была предшествовать написанию рассказа. Это подтверждается, в частности, и тем, что некоторые детали и эпизоды. намеченные в конспекте, не вошли в окончательный текст рассказа. Так, например, в конспекте упоминалось о том, что у Миши Полтева были старший брат и сестра, о которых ничего не говорится в рассказе. Нет в рассказе и намеченного в конспекте эпизода со скачкой Миши на бешеной лошади и др. Учитывая все это, можно предположить, что конспект составлялся в первой половине октября ст. ст. 1881 г.

В отличие от окончательного текста рассказа в конспекте герой назван «Михаил Алек. Т.», что легко расшифровывается как «Михаил Алек⟨сеевич⟩ Т⟨ургенев⟩», поскольку писатель не скрывал, что прототипом Миши Полтева был этот его двоюродный брат (об этом подробнее см. ниже, с. 406). В конспекте сказано также о том, что Миша Полтев «влюблялся и в него влюблялись», что он для женщин «готов на всякие отчаянности». В противоположность этому в тексте рассказа подчеркнуто, что хотя Миша «умел возбуждать» в женщинах «сожаление», он не был «Ловласом» и унаследовал от своих родителей «холодную кровь». Наиболее существенным отклонением окончательного текста рассказа от его конспекта является следующее. В рассказе содержатся некоторые намеки на интерес Миши к социальным проблемам,— см., например, его реплики в адрес афериста (гл. V) или размышления «о бедности, о несправедливости, о России» (гл. IV); последним в конспекте соответствуют слова: «Тоска бедности, несправедливость, Россия... Что тебе за дело до России? — А без *этого* нельзя». Но конспект в другом месте характеризует того же Мишу Полтева многозначительными словами: «...самоистребление, но без содержания и идеала, а был бы идеал — герой и мученик». Таким образом, в конспекте более определенно было подчеркнуто, что «отчаянные» типа и времени Миши Полтева действительно «не походили» на «нынешних отчаянных». т. е. представителей народовольческой молодежи, как это и утверждал в самом начале главы 1 рассказчик — старик П. В целом же сопоставление конспекта с окончательным текстом рассказа позволяет сделать вывод, что уже в конспекте в основном были намечены и сюжет рассказа. и характер главного героя.

В письме к Стасюлевичу от 23 ноября (5 декабря) 1881 г. Тургенев сообщал, что он заканчивает переписку «Отчаянного» и к

1(13) декабря 1881 г. рассказ «прибудет» в Петербург. «Поместить его, конечно, лучше в „Вестнике Европы“,— писал Тургенев далее — и просил: ⟨. . .⟩ к заглавию все-таки следует прибавить: „Из воспоминаний своих и чужих“». Переписывая рукопись для набора, Тургенев в то же время и правил ее, то вписывая над строками отдельные слова и фразы, то зачеркивая их, иногда вставляя вместо них другие. Реже он вписывал на полях наборной рукописи отдельные слова и фразы, вносящие в текст какие-то разъяснения или дополнения. Так, против текста: «А затем ∽ не желаю» (с. 38) Тургенев вписал: «Аферист даже [руки] руками развел» (этим подчеркнуто его удивление словами Миши Полтева, который, копая на кладбище ямку, объявил «аферисту», что не желает больше жить). Ниже вписана еще одна фраза, мысленно обращенная героем в адрес «афериста»: «На, мол, тебе, землеед!» Этот человек, ограбивший не только Мишу Полтева, но и своих крестьян, очевидно, чем-то напомнил Тургеневу помещика из его же собственного незавершенного рассказа «Землеед», с которым расправились крепостные, «заставив его скушать фунтов 8 отличнейшего чернозема» (см. наст. изд., т. 3, с. 389).

Предварительно, как это бывало всегда, Тургенев 28 ноября (10 декабря) 1881 г. отправил рукопись на отзыв Анненкову. А в письме к Стасюлевичу от 2(14) декабря 1881 г. он уже сообщал: «Анненков остался очень доволен „Отчаянным“». Действительно, 30 ноября (12 декабря) 1881 г. Анненков писал Тургеневу, что тот создал «прелестнейшую вещицу», в которой «ни одного знака препинания переставить нельзя — так целостно она сколочена...», и предсказывал рассказу «мгновенный и колоссальный успех» (*ИРЛИ*, ф. 7, № 13, л. 53). Он сделал лишь одно замечание — о неправдоподобности эпизода с пребыванием пьяного М. Полтева в ручье, замерзшем за ночь. В наборную рукопись Тургенев, однако, не успел внести исправление по этому замечанию Анненкова, так как спешил отправить ее Стасюлевичу (см. ниже).

8(20) декабря 1881 г. Тургенев уже получил гранки набора рассказа для «Вестника Европы» (см. его письмо к Стасюлевичу от 9(21) декабря 1881 г.). На первой полосе гранок отмечено: «Корректура автора». Авторская правка в основном выразилась здесь в исправлении опечаток. Но кое-где писатель внес дополнения и поправки, разъясняющие или уточняющие смысл. На десятой полосе о вдове Миши Полтева сказано, что она была «в одежде дворовой женщины». Между тем далее оказывалось, что она дочь дьячка и, следовательно, не могла быть так одета. Тургенев произвел в этой фразе необходимое исправление: заменил слова «дворовой женщины» словом «мещанки» (см. с. 44), т. е. городской женщины. На поле пятой полосы был вписан новый текст, а именно: «(правда, *эта* легенда довольно неправдоподобна, но по ней можно судить, на что считали Мишу способным)... Итак: раз на Кавказе» (с. 35). Тургенев сделал это в ответ на замечание Анненкова в его письме от 30 ноября (12 декабря) 1881 г. Критику показался невероятным эпизод в главе IV, где говорится, что вокруг пьяного Миши Полтева, свалившегося в ручей «нижнею частью туловища», в течение ночи (дело происходило зимой) намерзла ледяная кора. По поводу этого места рассказа Анненков писал: «...пребывание его ⟨Миши⟩ в реке со льдом, который за ночь образовался вокруг его ног и туловища, показалось мне несколько *деланным* и *изобретенным*» (*ИРЛИ*, ф. 7, № 13, л. 53 об.). В ответ Тургенев писал Анненкову 1 (13) декабря

1881 г.: «Легенда о намерзшем льде не мною выдумана; но Вы правы — надо либо ее выключить, либо оговориться об ее неправдоподобии». И действительно, 9(21) декабря 1881 г. Тургенев писал Стасюлевичу: «Вчера вечером прибыли корректурные листы — а сегодня утром отправляются к Вам, *тщательно исправленные* — и с маленькой необходимой прибавкой на втором листе. Поручаю Вашему благосклонному вниманию такие опечатки, как, напр⟨имер⟩: *дурного* предмета — вместо: другого, *полтавские* цыгане — вместо: полтевские и т. д.» Говоря здесь о «необходимой» прибавке к тексту рассказа, Тургенев, несомненно, имел в виду добавление, сделанное им после замечания Анненкова, что подтверждается и более ранним письмом его к Стасюлевичу (от 2(14) декабря 1881 г.). В нем писатель прямо указывал, что в «Отчаянном» «есть один параграф, который следует, по замечанию Анненкова, либо оговорить, либо исключить вовсе». В публикации *ВЕ* это было учтено — в текст рассказа вставлена фраза, написанная Тургеневым в корректурных гранках *ВЕ*.

В письме к Тургеневу от 30 ноября (12 декабря) 1881 г. Анненков, между прочим, указывал: «Я почти догадываюсь об оригинале, с которого Вы списали этот тип», и далее подчеркивал типичность героя рассказа в следующих словах: «Я его видел, да думаю, что у нас на всем пространстве империи каждый его видел — на свой век в том или другом образе. Он всеобщий племянник — от этого, думаю, он и будет принят у нас с восторгом всеми нашими дядями. Любопытно мне особенно, как-то отнесутся за границей к нему — поймут ли там этот изумительно русский тип и какое выведут из него заключение?» (*ИРЛИ*, ф. 7, № 13, лл. 53—54). «Вы угадали,— отвечал Тургенев Анненкову 1(13) декабря 1881 г.,— оригинал, с которого я списал его, был мой племянник Миша Тургенев. Я и имя Миши ему оставил». Писатель выражал надежду, что тип героя, который оказался «ясным» для Анненкова, будет понят в России. Что же касается других стран, то Тургенев опасался, что там «увидят в нем одно безобразие и варварство». Прототипом Миши Полтева был двоюродный брат И. С. Тургенева — Михаил Алексеевич Тургенев [1], сын Алексея Николаевича Тургенева, родного брата отца писателя (см.: *Боткин и Т*, с. 288, 343). С. Г⟨уревич⟩ в «Воспоминаниях о И. С. Тургеневе» также приводит его слова о том, что «тип „Отчаянного" взят почти целиком с натуры»; «„это мой племянник, и он в своей жизни проделал почти всё, что я описал",— говорил Тургенев. По его мнению, этот тип „человека дворянской среды, внутренно неудовлетворенного..." — и есть начало всех дальнейших наших бед...» (Заря, 1883, № 207, 25 сентября).

Упоминания о М. А. Тургеневе, которому писатель постоянно принужден был помогать материально, встречаются в ряде писем Тургенева, относящихся к 1869 г. (см.: *Т, ПСС* и *П, Письма*, т. VII, с. 264—265, и т. VIII, с. 70, 95, 140). Но еще 30 сентября (12 октября) 1860 г. Тургенев благодарил Анненкова за помощь тому же «беспутному двоюродному братцу» и добавлял такую его

---

[1] В воспоминаниях современников и в переписке Тургенева (см. выше) он всюду ошибочно называется племянником писателя. Об М. А. Тургеневе см.: Алексина Р. М. Тургеневские материалы из архива Тульской области.— Русская литература, 1972, № 3, с. 99—100.

характеристику: «Этот сумасшедший брандахлыст, прозванный у нас в губернии Шамилем, прожил в одно мгновение очень порядочное имение, был монахом, цыганом, армейским офицером.— а теперь, кажется, посвятил себя ремеслу пьяницы и попрошайки. Я написал дяде, чтобы он призрел этого беспутного шута в Спасском». Так за 20 лет до создания рассказа «Отчаянный» Тургенев как бы наметил план этого произведения и дал очерк прототипа его героя [2].

Писатель с нетерпением ждал отзывов об «Отчаянном» со стороны друзей и знакомых. Так, Ж. А. Полонской он писал 20 декабря 1881 г. (1 января 1882 г.): «Анненков остался им ⟨рассказом⟩ очень доволен — по слухам тоже Кавелин ... Не знаю, что скажут прочие...» По-видимому, какое-то замечание о рассказе было сделано Я. П. Полонским; отвечая ему, Тургенев писал 28 января (9 февраля) 1882 г.: «Насчет эпитета „зверский", который поразил тебя в „Отчаянном", скажу, что тут нет противоречия (впрочем, на деле было так). Он ⟨Миша Тургенев⟩ был добряк — а в крови его было нечто дикое и животное, скорей *звериное*, чем зверское. Логика противоречий!» Речь идет здесь о главе II рассказа, где дано описание внешности героя.

Придавая особое значение типу Миши Полтева, Тургенев объяснял Ж. А. Полонской в письме к ней от 4(16) января 1882 г.: «Я постарался вывести ⟨. . .⟩ тип, который нахожу знаменательным в соотношении с некоторыми современными явлениями». То же самое писал Тургенев и Полонскому 8(20) января 1882 г. О том, какое именно соотношение героя «Отчаянного» с «современными явлениями» усматривал в своем рассказе автор, говорится в воспоминаниях Н. М. «Черты из парижской жизни И. С. Тургенева», где приведены слова писателя: «Мне приписывают враждебное намерение унизить современную протестующую молодежь, связав ее генетически с моим „Отчаянным",— говорил однажды Иван Сергеевич ⟨. . .⟩ — Я просто нарисовал припомнившийся мне из прошлого тип. Чем же я виноват, что генетическая связь сама собой бросается в глаза, что мой „Отчаянный" и нынешние — два родственные типа, только при различных общественных условиях: та же бесшабашность, та же непоседливость и бесхарактерность и неопределенность желаний...» Н. М. рассказывает далее, что присутствующие оспаривали мнение Тургенева, считая, что герой «Отчаянного» «просто недоросль из дворян времен крепостного права — не более» (*Рус Мысль*. 1883, № 11, с. 319). О таком же споре с писателем по поводу героя «Отчаянного» рассказывает и И. П⟨авловский⟩ в «Воспоминании об

---

[2] Художник В. В. Верещагин в своих воспоминаниях рассказывает, что в младшем классе Морского корпуса вместе с ним учился племянник Тургенева, «с первых же дней прозванный отчаянный; он скоро убежал из корпуса, и Иван Сергеевич снова привез его, уже связанного». Вспоминая об этом, Верещагин высказывает предположение, не был ли это «тот самый Мишка, о котором Тургенев впоследствии писал и рассказывал» (Верещагин В. В. Очерки, наброски, воспоминания. СПб., 1883, с. 127). Такое предположение, однако, ошибочно, так как М. А. Тургенев, родившийся в 1829 (а по словам Тургенева в рассказе — в 1828) году, был на 13—14 лет старше В. В. Верещагина (род. в 1842 г.) и не мог одновременно с ним учиться в Морском корпусе.

И. С. Тургеневе» (Русский курьер, 1884, № 199, 21 июля). М. О. Ашкинази в статье «Тургенев и террористы» передает содержание разговора о своем романе с Тургеневым: «Вот вы выдумали эту сцену,— сказал мне Иван Сергеевич,— а ведь это факт, реальный факт... В начале шестидесятых годов Серно-Соловьевич подал, как герой вашего романа, Александру II записку о бедственном положении крестьян, и в ту же ночь Третье отделение засадило его в крепость... Как же после этого молодежи не прийти в отчаяние!..» По утверждению Ашкинази, Тургенев «особенно настаивал на *отчаянии* нигилистов. Может быть, он в это время уже задумывал свой рассказ „Отчаянный"?» (*Революционеры-семидесятники*, с. 196—197). См. также: Лавров П. Л. И. С. Тургенев и русское общество (там же, с. 68—69).

Тургенев неоднократно выступал в Париже с чтением «Отчаянного». Вспоминая об одном таком чтении, происходившем на квартире у писателя, В. В. Верещагин пишет: «Этот же самый рассказ я слышал из уст И. С., и он произвел на меня несравненно большее впечатление, чем в чтении. Я знал, что Тургенев хорошо рассказывает, но в последнее время он был всегда утомлен и начинал говорить как-то вяло, неохотно, только понемногу входя в роль, оживляясь. В данном случае, когда он дошел до того момента, где Мишка ведет плясовую целой компании нищих, И. С. встал с кресла, развел руками и начал выплясывать трепака, да ведь как выплясывать! ⟨. . .⟩ Я просто любовался им и не утерпел, захлопал в ладоши, закричал: „Браво браво, браво!» И он, по-видимому, не утомился после этого, по крайней мере, пока я сидел у него, продолжал оживленно разговаривать...» (Верещагин В. В. Очерки, наброски, воспоминания, с. 132).

О другом чтении «Отчаянного» А. П. Боголюбов 2(14) января 1882 г. сообщал А. Н. Пыпину: «...вчера был дан музыкально-литературный вечер в О-ве русских художников, Rue Tilsit, 18, в доме б⟨арона⟩ Г. О. Гинцбурга, с участием m-me Viardot ⟨. . .⟩ А Иван Сергеевич Тургенев прочел два стихотворения — „Пророков" Лермонтова и Пушкина — и свой только что ныне появляющийся рассказ ⟨. . .⟩ „Отчаянный". Конечно, как m-me Viardot, так и Ив⟨ан⟩ Серг⟨еевич⟩ вызвали долгий и восторженный взрыв рукоплесканий. Вечер удался вполне» [3]. Именно по поводу этого вечера запрашивал Тургенева Анненков в письме от 12(24) января 1882 г.: «Вы, слышно, читали в парижском художническом клубе „Бешеного". Ну, как понравился? ⟨. . .⟩ Напишите» (*ИРЛИ*, ф. 7, № 13, л. 55 об.— 56). Отвечая Анненкову лишь через месяц, 13(25) февраля 1882 г., Тургенев писал: «Читал я своего „Отчаянного" (не „Бешеного") в нашем кружке с успехом ⟨. . .⟩ В России критика отнеслась к „Отчаянному" неблагосклонно; а здешние „иллегальные" обиделись. Повторилась в малом виде история Базарова».

Тургенев был не совсем точен, говоря о неблагосклонном отношении к «Отчаянному» русской критики. В действительности

---

[3] *ГПБ*, ф. 621, архив А. Н. Пыпина, ед. хр. 89, л. 1 об.— 2; см. также: Василенко М. Воспоминания о Тургеневе одной из учениц м-м Виардо.— Киевлянин, 1883, № 198, 14 сентября; Ромм С. Из далекого прошлого. Воспоминания об И. С. Тургеневе.— *ВЕ*, 1916, № 12, с. 113.

дело обстояло несколько иначе. С художественной стороны рассказ в большинстве отзывов был оценен положительно. Так, например, Арс. И. Введенский писал, что «Отчаянный» «производит впечатление в высшей степени целостное и живое» (Порядок, 1882, № 1, 1(13) января). Анонимный рецензент «Голоса» в «Литературной летописи» отмечал, что «портрет» Миши Полтева «принадлежит к числу наиболее удачных из тех, какие выходили из-под пера Тургенева. Он совсем живой; забыть его, раз на него взглянув, невозможно. Вообще вся серия рассказов, названная автором „Из воспоминаний своих и чужих“, из которой в прошлом году появился уже рассказ „Старички“ [4], обещает быть собранием законченных очерков» (Голос, 1882, № 2, 7(19) января). «Мастерство художника, превосходный язык, рельефность рисовки выразились и тут так же ярко, как в произведениях лучшей поры художественной деятельности г. Тургенева»,— писал об «Отчаянном» и В-в в «Критических очерках» (Неделя, 1882, № 3, 17 января). Как «крупное литературное явление» аттестовал произведение Тургенева рецензент «Одесского листка» (1882, № 4, 6(18) января). И даже В. П. Буренин указывал, что «Отчаянный» «написан с тем образцовым изяществом и тою выразительною простотою, какие читатели привыкли находить у автора „Отцов и детей“» (Новое время, 1882, № 2106, 8(20) января).

Однако многие из критиков выступили против сближения героя с современной молодежью, которое они усмотрели в рассказе Тургенева. «„Отчаянность“ Миши Полтева — явление темперамента, а явление позднейшего „отчаяния“ никак нельзя объяснять полтевскою „жаждою самоистребления“»,— писал, например, рецензент «Голоса»; по его мнению, «слова о России вложены в уста Полтеву совершенно искусственно, едва ли не для придания рассказу большего интереса...» (Голос, 1882, № 2, 7(19) января).

Против стремления Тургенева «объяснить некоторые явления нашей жизни отчаянностью» выступил и Д. Н. Мамин-Сибиряк в неопубликованной статье «Последний рассказ И. С. Тургенева». «Мы, просматривая 〈. . .〉 длинный ряд вышибленных из обыкновенной колеи людей, ничего не видим в них отчаянного, а, наоборот, это люди, как все люди, с той разницей, что это необыкновенно честные натуры, любящие, нежные. Во все времена таких людей легионы, и они проходят совершенно незамеченными, если их не выдвинут на сцену какие-нибудь исключительные обстоятельства. Вот как для романиста, так равно для психолога, социолога и всякого простого смертного и важно выяснить именно этот решающий момент, когда такие люди говорят „не могу“ и превращаются в отчаянных. Для различных натур, темпераментов, условий воспитания, общественного положения этот момент наступает в разное время 〈. . .〉 Но, во всяком случае, самой интересной в этом отношении является такая постановка вопроса, когда в отчаянного человека превращается не какой-нибудь оглашенный или пропойца, а самый заурядный смертный»,— писал Мамин-Сибиряк. По его мнению, «вот именно этого-то вопроса и не решено, и новое произведение Тургенева является только неудачной попыткой в этом направлении» (Гос. архив Свердловской области, ф. 136, оп. 1, № 8; см. также: Назарова Л. Н. Тургенев и Д. Н. Мамин-Сибиряк.— *Т сб*, вып. 4, с. 221).

---

[4] То есть «Старые портреты».

Таким образом, некоторые из современников Тургенева обратили внимание главным образом на то, о чем писатель упомянул лишь вскользь, указывая на некоторое психологическое сходство между неясной тоской и дикими порывами Миши Полтева и настроениями народовольческой молодежи, находившейся в начале 1880-х годов в состоянии тяжелого кризиса.

Критики, подчеркивавшие в «Отчаянном» и ставившие в упрек Тургеневу это мнимое сопоставление, не заметили того, что составляло основной пафос рассказа — глубоко отрицательного отношения писателя к пережиткам крепостнического барства, выродившегося и разложившегося в таких своих представителях, как Миша Полтев.

При жизни Тургенева рассказ был переведен на многие западноевропейские языки, причем французский и немецкий переводы появились почти одновременно с оригиналом. Еще 28 ноября (10 декабря) 1881 г. Тургенев просил Стасюлевича прислать ему «*две* корректуры» из «Вестника Европы» «для переводческих целей». Об этом писатель снова напоминал ему же в письмах от 2(14) и 9(21) декабря, а 10(22) и 16(28) декабря 1881 г. сообщал, что французский перевод «Отчаянного» появится в «Revue politique et littéraire» и немецкий — в «Deutsche Rundschau» после выхода в свет первой книжки «Вестника Европы». Французским переводчиком рассказа был Э. Дюран-Гревиль, которого об этом просил сам Тургенев 16(28) декабря 1881 г.: «Вот маленький этюд, который служит продолжением „Старых портретов“ 〈. . .〉 Не возьмете ли Вы на себя труд перевести его, как и предыдущий? Там есть несколько трудных мест, но я всегда в вашем распоряжении». Перевод «Отчаянного» появился во втором номере «Revue politique et littéraire» (1882, 14 января).

Во Франции «Отчаянный» имел успех; это известно, в частности, из письма Тургенева к Анненкову от 13(25) февраля 1882 г., в котором писатель сообщал: «Французским lettrés эта вещь понравилась; Тэн меня даже сконфузил своими комплиментами». О том, что «Отчаянный» «произвел эффект» в Париже и что в нем «видят нечто вроде исторического документа», Тургенев писал также Полонскому 28 января (9 февраля) 1882 г.

Немецкий перевод, напечатанный в «Deutsche Rundschau» (1882, Bd. 30, Februar, S. 289—305), был выполнен известным переводчиком произведений Тургенева Л. Кайслером. В 1883 г. в Митаве вышел авторизованный немецкий перевод «Отчаянного» под названием «Poltjew» («Der Verzweifelte») вместе с переводами «Песни торжествующей любви», «Клары Милич» и «Стихотворений в прозе» («Четыре последних произведения», переводчик Э. Юргенс). См. об этом: D o r n a c h e r K. Bibliographie der deutschsprachigen Buchausgaben der Werke J. S. Turgenevs 1854—1900.— Pädagogische Hochschule «Karl Liebknecht». Potsdam Wissenschaftliche Zeitschrift. Jg. 19/1975. H. 2, S. 288.

Английский перевод «Отчаянного» под заглавием «Desperate» был напечатан в «Cosmopolitan», 1888, V, № 4, p. 335—344 (см.: Y a c h n i n R., S t a m David H. Turgenev in English. A Checklist of Works by and about him. New York, 1962, p. 26).

Польский перевод под названием «Ze swoich i cudzych wspomień» 〈«Из своих и чужих воспоминаний»〉, без заглавия «Отчаянный», был напечатан в газете «Nowiny» (1882, № 27, 30—32, 34, 37—39,

41—42), выходившей в Варшаве (см.: Л у г а к о в с к и й В. А. Русские писатели в польской литературе. Вып. 3. Тургенев. СПб., 1913, с. 20).

Чешскому переводчику И. Пенижеку, в ответ на его запрос, Тургенев 9 февраля н. ст. 1882 г. сообщил о своем согласии на перевод «Отчаянного». Однако перевод, сделанный И. Пенижеком, в печати не появился (см.: Г о н з и к Иржи. О ранних переводах И. С. Тургенева на чешский язык.— *Т сб*, вып. 3, с. 210). Но в том же 1882 г. был опубликован перевод (под заглавием «Zoufalec»), осуществленный П. Дурдиком, известным чешским переводчиком произведений русских писателей. Он был напечатан в № 16 журнала «Světozor» (см.: П и з л Ф. Список чешских переводов сочинений И. С. Тургенева и статей о нем, изданных на чешском языке.— Каталог выставки в память И. С. Тургенева в императорской Академии наук. СПб., 1909, с. 308).

С т р. 27. *Про поэта Языкова кто-то сказал ∽ беспредметный восторг...*— Возможно, Тургенев вспоминает суровую оценку поэзии Н. М. Языкова, которая встречается у Белинского, в частности в его статье «Русская литература в 1844 году» (*Белинский*, т. 8, с. 451—461).

С т р. 30. *...спустил их вчера в банчишко.*— Банк, или штосс,— вид азартной карточной игры, в которой одно лицо (банкомет) ставит определенную сумму денег против всех остальных игроков (понтёров).

...вечерком в Сокольники ∽ Цыгане поют...— Знаменитый московский хор цыган Ильи Соколова (современника Пушкина) исполнял преимущественно старые русские песни. После смерти его руководителя, в 1848 г., хор перешел к И. В. Васильеву. Его слушателями бывали А. Н. Островский, А. А. Фет, А. А. Григорьев, Л. Н. Толстой, И. С. Тургенев (см.: Г л у м о в А. Н. Музыка в русском драматическом театре. М., 1955, с. 248; Ш т е й н - п р е с с Б. К истории «цыганского пения» в России. М., 1934, с. 12).

С т р. 31. *...Поль де Кок!* — Кок Поль де (Paul de Kock Charles, 1794—1871) — французский писатель, очень популярный в России в 1830—1840-х годах среди невзыскательных, малокультурных читателей.

... в Троицкую Сергиеву лавру...— Троице-Сергиева лавра находилась в Сергиевом Посаде (ныне г. Загорск Московской области).

С т р. 32. *...из тех писем, которыми он впоследствии наделял меня.*— П. В. Анненков сообщал писателю 5(17) сентября 1860 г. из Петербурга о его двоюродном брате М. А. Тургеневе: «...явился ко мне какой-то плачущий и голодный (по его уверению) Тургенев с Кавказа. Он Вашим именем просил денег, а для такого имени отказа не имею. Хорошо ли я сделал, дав ему 40 р.— не знаю...» К своему письму Анненков приложил следующую записку: «Добрейший и многоуважаемый Иван Сергеевич, попал в Петербург не вовремя, не застал Вас; не без добрых людей, m-r Анненкову угодно было выручить меня, одолжив мне 40 р. сер. Не забудьте душевно Вам преданного, а мне позвольте добраться до Спасского. Ваш М. Тургенев» (*Труды ГБЛ*, вып. 3, с. 99).

С т р. 33. *...на карту поставить — пароли пэ...*— Пароли пе (франц. paroli) — учетверенная ставка в азартной карточной игре.

С т р. 36. ...*Мишу за ноги к задку саней, как Гектора к колеснице Ахиллеса!* — В книге XXII «Илиады» Гомера речь идет об единоборстве Гектора с Ахиллесом. После победы Ахиллес трижды объезжает вокруг стен Трои, волоча тело убитого Гектора, привязанное за ноги к колеснице.

...*хождение* ∽ *по семи Семионам*...— Вероятно, это выражение М. Полтева восходит к народной русской сказке «Семь Семионов» (см. варианты ее в издании: Народные русские сказки А. Н. Афанасьева /Под ред. М. К. Азадовского, Н. П. Андреева, Ю. М. Соколова. М., 1936. Т. 1, № 145—147).

...*и кончая берейторами*...— Берейтор (от немецкого bereiten— объезжать лошадь) — служитель, обучающий верховой езде и выезжающий верховых лошадей.

С т р. 37. *И не думайте, чтобы он был или воображал себя Ловласом*...— Ловлас (Ловелас) — герой романа С. Ричардсона (1689—1761) «Кларисса Гарлоу» (1747—1748), имевшего огромный успех. В романе изображена трагическая судьба девушки, соблазненной аристократом Ловласом, повесой и бретером, имя которого как соблазнителя стало нарицательным.

С т р. 39. ...*плясали галопад*...— Галопад (от франц. galop, galopad) — быстрый танец в 2/4; впервые появился в 1825 г.

С т р. 42. ...*он играл в пикет*...— Пикет (франц. piquet) — старинная коммерческая (неазартная) карточная игра.

С т р. 45. ...*по письменной части* ∽ *он знал прекрасно*...— О прототипе Миши Полтева, М. А. Тургенева, писатель 24 декабря 1868 г. (5 января 1869 г.) сообщал П. В. Анненкову, что тот «до сих пор 〈. . .〉 был писцом в каком-то сельском обществе».

ПЕСНЬ ТОРЖЕСТВУЮЩЕЙ ЛЮБВИ

(с. 47)

ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА

Конспект первой редакции. 4 с. почтовой бумаги. Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 77; описание см.: *Mazon*, p. 93; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 343. Впервые опубликовано: *Mazon*, p. 150—153.

Конспект второй редакции конца повести, под заголовком: «Конец». 1 с. почтовой бумаги. Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 77; описание см.: *Mazon*, p. 93; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 343. Впервые опубликовано: *Mazon*, p. 153—154.

Черновой автограф первой редакции, от начала повести до конца первой главы. 2 с.; датировано 21 октября (2 ноября) 1879 г. Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 77; описание см.: *Mazon*, p. 93; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 343.

Беловой автограф первой редакции. Полный текст. 24 с.; после текста подпись и помета: Ив. Тургенев. Париж. Апрель 1881. Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 77; неполное описание см.: *Mazon*, p. 93; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 343. Отдельные варианты опубликованы: *Mazon*, p. 155.

Беловой автограф второй редакции конца повести, от слов: «Действительно: окно спальни...» (с. 61) — до конца. 10 с.; после текста подпись и помета: Ив. Тургенев. С. Спасское-Лутовино-

во. Июнь. 1881. Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*. Slave 77; описание см.: *Mazon*, p. 93; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 343.

Наборная рукопись. Полный текст. 39 с.; после текста подпись и помета: Ив. Тургенев. С. Спасское-Лутовиново — Июнь, 1881. Хранится в *ИРЛИ*. ф. 293, оп. 3, № 135; описание см.: *ПД*, *Описание*, с. 17, № 44.

Страница из наборной рукописи (23), первоначальная редакция от слов: «...платье мокро от дождя» до «Фабий хотел было...» (с. 58—59). Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 77; описание см.: *Mazon*, p. 93; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 343.

ВЕ — 1881, № 11, с. 5—24.

Впервые опубликовано: *ВЕ*, 1881, № 11, с подписью и пометой: Ив. Тургенев. С. Спасское-Лутовиново, июнь 1881.

Печатается по тексту *ВЕ*.

Работа над «Песнью торжествующей любви» была начата Тургеневым в 1879 г. Замысел повести отражен в конспекте первой редакции, написанном почти без помарок и совпадающем в основных чертах с сюжетом будущего произведения; не совпадают имена героев (Фабий назван Альберто) и конец. В конспекте повесть завершалась смертью Валерии и Муция.

Приступая к реализации своего замысла, Тургенев написал на черновом автографе: «Начато в Буживале в воскресенье 2 ноябр./21 окт. 1879 г. Кончено —». Работа в то время осталась незавершенной.

Черновой автограф содержит значительное число поправок и вставок в основном стилистического характера. Необычный для Тургенева жанр требовал особого повествовательного ритма и простоты, которая должна была создать иллюзию объективного и подлинного рассказа и погрузить читателя в мир «старинной итальянской рукописи». Его поправки — не только поиски точного и нужного слова, но и перестановки слов, различные варианты синтаксической структуры фразы. И хотя начало повести уже в 1879 г. приобрело близкий к окончательному тексту стилистический вид (беловой автограф первой редакции и наборная рукопись в основном совпадают с верхним слоем чернового автографа), Тургенев оставил работу, едва набросав две страницы. Ему в то время, вероятно, еще не совсем было ясно, в какую конкретную форму воплотится замысел в целом.

Писатель вновь вернулся к повести лишь через полтора года. 1(13) марта 1881 г. он писал М. М. Стасюлевичу: «Неожиданное известие! Оставьте в апрельском №-е „Вестника Европы“ 20 страничек для некоторого *фантастического* рассказа Вашего покорного слуги, который (рассказ) Вы получите от сегодняшнего числа через 15 дней».

Текст белового автографа, состоящий из семи глав, довольно точно развил конспект 1879 г., лишь Альберто получил имя Фабио. Однако вскоре автор перечеркнул написанный финал повести, набросал конспект другого окончания второй редакции конца, а затем заново написал еще четыре главы белового автографа второй редакции, внеся при этом некоторые уточнения и изменения в предшествующий текст. Повесть в новой редакции, вновь подписан-

ной и датированной июнем 1881 г., после чтения друзьям[1], в сентябре была отправлена Стасюлевичу и напечатана в ноябрьском номере «Вестника Европы» за 1881 г.

Беловой автограф проясняет характер художественных исканий Тургенева. В письме к Стасюлевичу от 11(23) сентября 1881 г. Тургенев называет свое произведение «итальянским пастиччио» и сообщает о стремлении к тому, чтобы «тон был выдержан до малейших подробностей». В черновом автографе уже были начаты поиски соответствующего тона стилизации; теперь они продолжаются. Появление вводной фразы о «великолепных» феррарских герцогах, «покровителях искусств и поэзии» (в главе I), призвано было воссоздать колорит итальянской жизни XVI века. Подобные, очень обобщенные, исторические сведения содержатся и в других главах «Песни».

В ряде случаев намеченная в конспекте фабула повести не совпадает с реализованным в 1881 г. сюжетом. Таков, например, эпизод, следующий вслед за описанием первой тревожной ночи. В конспекте — Муций, встретившись утром с Валерией и Альберто, снова рассказывает о своих приключениях, и Альберто лишь за ужином спрашивает друга о его ночной игре; следует рассказ о красавице, в которую Муций «якобы был влюблен в Индии» и которая «не хотела сделаться его женою и умерла». Валерия, а затем Альберто уходят, а ночью «то же самое повторяется» (эту фразу Тургенев в конспекте вычеркнул). На следующий день, после возвращения Муция из Феррары (Альберто «весь день находится в смутном состоянии духа»), Муций снова рассказывает свои истории. Валерия «остается дольше, чем накануне, хотя и замечает, что А⟨льберто⟩ finge». Такое построение сюжета, предполагавшее более медленное развитие действия и большее привнесение в повесть восточного колорита, влекло за собой и несколько иную психологическую мотивировку поведения героев. Валерия — может быть, невольно, но явно — отвечала на чувство Муция, Альберто ревновал и т. д. В 1881 г. Тургенев иначе осуществил этот эпизод: Муций не повторяет своих рассказов, Фабий отбрасывает всякую возможность ревнивых подозрений, а Валерия со страхом ждет исхода начавшихся таинственных событий. Таким образом, хотя фабула «Песни торжествующей любви» в основном определилась в 1879 г., конкретное содержание произведения еще только вырисовывалось перед Тургеневым. Потребовалось около двух лет поисков и раздумий, прежде чем повесть приобрела окончательный вид.

Наиболее сильному изменению подвергся конец повести. Новый финал изменял акценты произведения. Первоначальный вариант его не отменялся, а входил в повесть как возможный исход событий (см. главу IX окончательной редакции). Здесь сохранены слова: «Пронзительно закричал ∽ упала на землю» (с. 61). Но если в первом варианте белового автографа они означали смерть Муция и Валерии, то теперь эти слова говорят лишь о вероятности такого финала. На Фабия Валерия произвела впечатление человека, только что спасенного от неминучей смерти. И сама героиня воспринимает исход, как избавление. «Слава богу, всё кончено... Но как я устала!» — говорит она «с блаженной улыбкой» (с. 62).

Новый конец повлек за собой и новую правку текста, законченную в июне 1881 г. Правка эта не большая, но весьма существен-

---

[1] См.: *Т и Савина*, с. 79.

ная. Вставки на полях и зачеркивания носят двоякий характер. С одной стороны, Тургенев продолжает работу над стилем повести и насыщает ее новыми поэтико-историческими подробностями, с другой — вносит в описание важные частности, создавая новую редакцию отдельных сцен.

Он вычеркивает, например, такие стилистически инородные для повести обороты, как «должно заметить, что», заменяет или переставляет слова. Насколько были важны для Тургенева эти изменения, свидетельствует его внимательное отношение к замечаниям Стасюлевича. «Как я уже Вам писал,— насчет неологизмов, если таковые встретятся,— Вы имеете carte blanche»,— напоминал он своему редактору в письме от 24 сентября (6 октября) 1881 г. Показательны с точки зрения работы над стилем повести добавления однотипных придаточных предложений в том месте, где писатель повествует о чудесах Востока. Сухой пересказ названий стран, которые посетил герой, заменяется благодаря этому наивно-поэтическим рассказом о виденном. Повторяемость однообразных предложений, уточняющих скупые наименования стран, придает рассказам Муция поэтически точный и экзотический колорит, который мог вполне соответствовать представлениям человека давних времен о далеких и странных землях. Тем естественнее становились последующие слова писателя о впечатлении, которое произвели сами рассказы на Валерию и Фабия. Аналогично по своему смыслу и другое добавление: «ночью в лесах ∽ жертв».

Восточный колорит вносил в «Песнь» новые психологические мотивировки, объясняющие смутное состояние героев, и, придавая повести выдержанность тона, делал ее вместе с тем таинственной, странной. Той же цели служили и другие позднейшие вставки в текст. Так, на поля белового автографа первой редакции Тургенев внес пространную и очень важную фразу об ожерелье, «полученном Муцием от персидского шаха за некоторую великую и тайную услугу» (ср. приписку об ожерелье в конце конспекта второй редакции). Когда Муций «возложил» это ожерелье на шею Валерии, «оно показалось ей тяжелым и одаренным какой-то странной теплотой». Вводя в текст эту фразу и говоря затем о желании Валерии бросить ожерелье «в самый наш глубокий колодезь» (с. 64), Тургенев еще раз указал на возможность объяснить состояние героини игрой воображения, возбужденного необычностью всего, о чем говорит Муций, и в частности — странной историей ожерелья. «Что Валерия велит бросить ожерелье в „самый наш глубокий колодезь“ — вовсе не опечатка — а женская черта,— писал Тургенев А. В. Топорову 22 ноября (4 декабря) 1881 г.,— она бы хотела бросить эту вещь на дно моря — а если возможно, еще глубже». Вместе с тем Тургенев не подвергает сомнению правдоподобность рассказа Муция, и поэтому само ожерелье приобретает непонятный магический смысл.

Меняется в новой редакции и описание первого сна Валерии. В нем исчезают прежде подчеркнутые грубость и самодовольство Муция, призванные иллюстрировать идею насильственного подчинения воли. Всю сцену сна, очень важную в композиции «Песни», но в первой редакции белового автографа слишком прямолинейную, Тургенев сильно сокращает, вычеркивая всё, что ранее придавало ей конкретность. Безысходность подчинения воли отходила на задний план, уступая место неопределенной таинственности происходящего.

Эту же таинственность призван усилить введенный при пере-

делке белового автографа текст («Отвечай же! ∽ в спальню» — с. 59). По свидетельству Я. П. Полонского, вставка долго не удавалась Тургеневу. Он хотел написать стихи, которые были бы «бессмысленны и в то же время загадочны» [2]. Слова Полонского подтверждаются рукописными материалами (ср. беловой автограф первой редакции, наборную рукопись и страницу из наборной рукописи (23); последний автограф представляет собою промежуточную между беловым автографом и наборной рукописью редакцию этой страницы текста. Тургенев дважды переписал в наборной рукописи 23-ю с., прежде чем ему удалось найти удовлетворявшее его четверостишие).

Новый финал повести видоизменил также функцию слуги Муция. По первоначальному замыслу «Песни» немой слуга-малаец оказывался воплощением злой, но малодейственной силы. Он «злобно» взирает на происходящее, но совершенно беспомощен, когда Фабий убил Муция. В окончательном тексте повести Тургенев подробно описывает процесс оживления Муция: малаец становится лицом чудодейственным. При этом самая возможность оживить Муция оказывается подготовленной: писатель вводит в главу VI весьма важную фразу, указывающую на «великую [странную] силу» малайца.

Все эти изменения свидетельствуют о том, что Тургенев сознательно устранял в «Песни торжествующей любви» возможность какого-либо ответа или определенного суждения о происходящем. Писатель оставляет загадку, стремится сохранить и даже подчеркнуть неясность.

Тургенев мало рассчитывал на сколько-нибудь положительную оценку своей новой повести. Еще 1(13) марта 1881 г., сообщая Стасюлевичу о скором окончании своего «*фантастического* рассказа», он вскользь добавил: «Наперед Вам говорю, что ругать его будут лихо... Но ведь мы с Вами — обстрелянные птицы». В письмах к друзьям писатель называет свою повесть «легонькой чепухой», «вещью незначительной».

Оценки Полонского и Анненкова (оба познакомились с «Песнью» до ее появления в печати), хотя и были весьма высокими, всё же не поколебали предположения Тургенева, что легенда разделит участь других его фантастических произведений. Анненков писал Стасюлевичу 3 октября 1881 г.: «Должен Вам сказать, что по форме, т. е. по рассказу, это маленький шеф дёвр. Такого мастерства в изложении не много и у него самого. Ну, а по гипнотическому своему содержанию он должен сделаться предметом великих насмешек всего нашего зверинца, да, судя по эпиграфу, автор ничего другого не ожидает ⟨...⟩ [3] Полагаю, не очень много будет у рассказа читателей, похожих на меня» (*Стасюлевич*, т. 3, с. 396). Опасения Полонского совпадали с суждениями Анненкова. Полонский не советовал «печатать „Песнь“, не сопровождая ее другим очерком в прежнем роде». Он боялся, что публика окажется совершенно рав-

---

[2] Полонский Я. П. Повести и рассказы. (Прибавление к полному собранию сочинений). СПб., 1895. Ч. 2, с. 506—507.

[3] Такие «насмешки» действительно были (см., например, воспоминания Н. С. Русанова.— *Революционеры-семидесятники*, с. 284—285, а также «Осколки», 1881, № 50).

нодушной к «Песни» (письмо Тургенева к Ж. А. Полонской от 4(16) января 1882 г.). Прислушавшись к совету Полонского, Тургенев в письме к Стасюлевичу от 24 сентября (6 октября) 1881 г. просил его опубликовать в газете «Порядок» другой рассказ — «Отчаянный». «Мне кажется,— писал Тургенев,— что читатели, увидев нечто в прежней моей манере, меньше подвергнутся искушению признать во мне сбрендившего человека».

Но опасения Тургенева и его ближайших литературных советников не оправдались: «Песнь торжествующей любви» была довольно благосклонно встречена критикой. После появления первых откликов в печати писатель с приятным удивлением констатирует: «Сколько мне известно, мою италиянскую легенду бранят меньше, чем я мог ожидать» (письмо к Я. П. Полонскому от 8(20) ноября 1881 г.). А в конце месяца, 24 ноября (6 декабря), убедившись, что первые положительные отзывы не единичны, пишет Ж. А. Полонской: «Неожиданная судьба моей италиянской новеллы! В России ее не только не ругают, но даже хвалят...»

Вокруг «Песни» разгорелась полемика. Многих удивляла необычность сюжета, никак не связанного с злободневными вопросами (особенно в виду событий 1 марта 1881 г.); отмечалось также, что новая повесть совершенно не похожа на всё ранее написанное писателем. «...очень милая сказка Тургенева,— писал, например, М. М. Антокольский,— жаль только, что это подражание есть шаг назад ⟨. . .⟩ А все-таки большое спасибо Тургеневу: он первый показал, что нам теперь лучше всего забыться, спать, бредить в фантастическом сне» [4].

Одним из первых на новое произведение Тургенева откликнулся В. П. Буренин. Для него поэтичность «Песни», необыкновенно удачное слияние в ней «самого глубокого реализма с самым странным фантастическим содержанием» послужили поводом к провозглашению идеи «чистого искусства». Восхищаясь тонкостью обработки далекого от современности сюжета «с мистической подкладкой», критик восхвалял автора за то, что тот, «отложив в сторону современную действительность, с ее тупыми и шарлатанскими злобами дня, дал читателям изящную поэму, не имеющую никакого отношения к героям и деяниям нашего времени» (Новое время, 1881, № 2045, 6(18) ноября).

Буренину ответила киевская «Заря». В «Литературной заметке» М. Сунина (М. И. Кулишера) говорилось, что «новелла Тургенева — вещь очень скучная и пустая, хотя и отделана мастерски» (Заря, Киев, № 251, 14(26) ноября). По мнению критика, легенда не имеет абсолютно никакого смысла, а есть не более чем порождение праздной фантазии художника [5]. На статью в «Заре» тотчас откликнулись «Новости». В общем обзоре текущей литературы (1881, № 306, 18(30) ноября) рецензент говорил о своем полном несогласии с мнением Кулишера, а через два дня газета публикует подробную статью В. В. Чуйко. Но Чуйко, как и Буренин, по существу ограничил свой разбор указанием на «необыкновенные красоты» этого «загадочного» и необычного для Тургенева произведения. Объявляя, что задача повести «воскресить дух и жизнь прошлого», и срав-

[4] *Антокольский*, с. 444.

[5] Подобная оценка содержалась и в газете «Одесский листок», 1881, № 192, 14(26) ноября.

нивая «Песнь» с итальянскими хрониками Стендаля и легендами Флобера, рецензент «Новостей» недоумевал, почему писатель «на фоне итальянского Возрождения рисует нам картину странного мистицизма, напоминающую некоторые „aberration“ ⟨заблуждения⟩ современных нам спиритов и любителей таинственного» (Новости, 1881, № 308, 20 ноября (2 декабря)).

Отклики на «Песнь» были довольно разноречивыми. Одни обращали внимание на то, что Тургенев остается прежде всего «певцом любви», и говорили о «соприкосновении» поэзии повести с философией любви Шопенгауэра (Неделя, 1881, № 46, с. 1533—1536); другие видели в ней «легкий эскиз, набросанный в свободное время, при другой, более капитальной работе», и утверждали, что «нет надобности придавать ему какое-нибудь серьезное значение и делать из него выводы об упадке или неупадке таланта нашего романиста» (*СПб Вед*, 1881, № 316, 17(29) декабря); третьи считали, что легенда представляет собою не более чем чисто литературную попытку «оживления» старых литературных форм (новелла эпохи Возрождения) и старого содержания (романтизм с его фантастикой), и при этом делали вывод о «космополитичности» повести (Мир, Харьков, 1881, № 11, с. 148—150).

Критика рассуждала о «превосходном образном языке», «музыке речи», «безукоризненно отделанной мозаичной работе» и сочувственно писала об авторе, «который в дни торжествующей злобы и ненависти, в дни, полные тревог и печали, нашел в своей лире звуки для песни торжествующей любви» (Дело, 1882, № 1, с. 98); говорила о непонятности идеи произведения и сетовала на отсутствие в нем проблем, «точно будто действительность не представляет достаточно задач серьезных, увлекающих, стоящих разбора», «точно будто нет в живом мире образов достаточно поразительных, чтобы не было необходимости усиливать их чем-то недосказанным, туманным, бесформенным» (*Рус Вед*, 1884, № 258). Порою суждения о «Песни» принимали анекдотическую форму. «Кстати, представьте: одна русская дама пресерьезно уверяла меня, что в России разгадали настоящее значение „Песни торж⟨ествующей⟩ любви“,— писал Тургенев П. В. Анненкову 24 декабря 1881 г. (5 января 1882 г.).— Валерия — это Россия; Фабий — правительство; Муций, который хотя и погибает, но всё же оплодотворяет Россию,— нигилизм; а немой малаец — русский мужик (тоже немой), который воскрешает нигилизм к жизни! Какова неожиданная аллегория!?»

Эти разноречивые мнения вызвали статью Арс. И. Введенского, в которой была сделана попытка ответить оппонентам Тургенева и определить значение его произведения для современности. Излагая мнение критики о новой тургеневской повести, Введенский говорил, что «Песнь» «не имеет, по-видимому, решительно никакого отношения к нашему тревожному времени», да и невозможно требовать от писателя удовлетворения чьих-либо желаний видеть повесть той или иной. Он напоминал, что Тургенева много бранили и тогда, когда он писал о современных героях, и писал с сочувствием. Исходя из этого, критик защищал право писателя на изображение фантастического, особенно если оно «так идет той эпохе», и рассматривал повесть как произведение «в флоберовском роде». Если же, по словам Введенского, убрать фантастический элемент, то обнаружится главное достоинство произведения: оно — в тонком психологическом анализе и превосходных частностях; фантастика лишь углубляет этот психологизм. Это делает тургеневскую «сказку»

современной, но не в злободневном, а в общечеловеческом смысле. Оценив «Песнь торжествующей любви» как психологическое, а не социальное или политическое произведение, Введенский точнее других критиков объяснил замысел Тургенева: недаром статья вышла из круга «Вестника Европы» (см.: Порядок, 1881, № 313, 13(25) ноября).

С резкой критикой «Песни» выступил в «Отечественных записках» Н. К. Михайловский. Отвечая тем, кто увидел в этом произведении лишь «чистую поэзию», он заявлял, что если даже художник «захочет отдаться исключительно на волю своего влечения к прекрасному, то нравственный элемент все-таки бессознательно войдет в его работу, но войдет в том грубом, сыром виде, в каком он носится в окружающей художника среде». Не соглашаясь с критиками «Нового времени» и «Новостей», доказывая, что писатель, если он служит только чистой красоте, форме, неизбежно заключает в эту форму «очень низменное содержание», Михайловский задался целью раскрыть этот тезис на примере «Песни торжествующей любви». В полемическом задоре он свел свои рассуждения к тому, что это произведение — «очень скудная история из области низменных инстинктов, поль-де-коковский анекдот, который решительно не стоило вставлять в такую блистающую роскошью фантазии рамку» (*Отеч Зап*, 1881, № 12, с. 199—198).

Любопытным отзвуком критических суждений о «Песни» является начатый под непосредственным их впечатлением рассказ Н. С. Лескова «Богинька Рунькэ». Это — попытка оправдать фантастику легенды, указав на жизненность изображаемого. Лесков написал лишь вступление, в котором речь шла о споре вокруг новой тургеневской повести. Большинство участников спора, сравнивая ее «с подобными же по жанру произведениями» Флобера, находили, что это чисто поэтическое произведение, в котором Тургенев «превзошел» французского писателя. Но «один из желчных людей» (возможно, Лесков имеет в виду Михайловского) назвал повесть «торжеством [прелюбодеяния] разврата». Лишь кто-то из присутствовавших, «хранивший до сих пор молчание», в доказательство реальности тургеневского сюжета рассказал «ужасный случай в подобном роде», представляющий собой «мордовское предание». Этот-то случай и должен был составить содержание «Богиньки Рунькэ» [6].

Несколько особо стоит отзыв газеты «Страна» (Лукьянов Л. ⟨Л. А. Полонский⟩. «Торжествующая любовь». Посвящается Тургеневу). По форме он представляет собою интимную переписку девушки и юноши и содержит тщательный разбор психологического состояния Валерии. Тургенева живо заинтересовала и эта переписка, и содержащийся в ней разбор повести. Он писал Л. Полонскому 29 декабря 1881 г. (10 января 1882 г.): «Сейчас прочел в № 152 „Страны“ Вашу переписку по поводу моей „Песни торжествующей любви“. Нечего и говорить, что из всех критиков, разбиравших эту небольшую вещь, Вы один „попали в точку“ — и сказали настоящее слово. Но скажите, Ваша корреспондентка — настоящее или вымышленное лицо? Если вымышленное, поздравляю Вас с таким вымыслом; если настоящее — поздравляю Вас с такой корреспон-

[6] Об этом см.: Афонин Л. Н. «Песнь торжествующей любви» в творчестве Н. С. Лескова.— *Т сб*, вып. 2, с. 209—216.

денткой». «Корреспондентка» Л. Полонского могла привлечь внимание писателя потому, что она испытывает тот же, что и героиня «Песни», невольный страх перед неведомым, не желая даже верить в возможность реального истолкования таинственных событий, и просит своего друга разрешить волнующий ее психологический вопрос: «как должно понимать то, что *на самом деле* произошло с Валериею». В ответе на это недоумение заключен смысл рассуждений и объяснений Л. Полонского, которые сводятся к следующему. Фантастика «Песни» не является простым украшением стиля; в ней нашла свое выражение «общечеловеческая мысль», что естественность безотчетного проявления чувства есть одна из самых несомненных закономерностей жизни. Человек всегда испытывает «возможность иного, вовсе не безмятежного, не „клятвенного", но неотразимого, иногда преступного, ломающего жизнь счастья». Стремление (хотя и слепое) к такому счастью и изображается в лице Валерии, в которой проснулась «неудовлетворенная потребность ее души» — любить не по привычке, а по велению чувства. С этим же связано противопоставление Муция и Фабио (Страна, 1881, № 152, 24 декабря, с. 5—7).

Несмотря на разноречие в оценках, большинство критиков признало поэтичность повести. Это и позволило Тургеневу сказать, что его новое произведение имело «неожиданный, чуть не огромный успех...» (письмо к Ж. А. Полонской от 4(16) января 1882 г.). Еще большим, чем в России, оказался успех «Песни» за границей. В ноябре 1881 г. ее перевод появился сразу в двух немецких изданиях [7], а также — во французском [8]. Французский перевод «Песни» был сделан Тургеневым и П. Виардо (см.: Чайковский П. И. Переписка с Н. Ф. фон Мекк. М.; Л., 1963. Ч. 3, с. 425—426; Подъем, 1965, № 1, с. 145).

В 1882 г. повесть была издана (и затем неоднократно переиздавалась) в Америке [9], а в 1884 г.— в Дании [10]. В письмах к друзьям писатель часто говорил о популярности своей «Песни». «...в России ее не ругали — а здесь в Париже даже находят, что я ничего лучшего не написал! Вот уж точно — „не знаешь, где найдешь, где потеряешь"», — пишет он Стасюлевичу 23 ноября (5 декабря) 1881 г., а на следующий день Ж. А. Полонской: «...во Франции меня пресерьезно уверяют, что я ничего лучшего не написал...». 9(21) декабря 1881 г. Тургенев сообщает Стасюлевичу о предложениях европейских издательств: «Вследствие моей „Песни" меня à la lettre бомбардируют запросами отовсюду».— а 28 января (9 февраля) 1882 г. уведомляет Я. П. Полонского: «*Тэну* обе мои вещи ⟨„Песнь" и „Отчаянный"⟩ очень понравились».

В конце XIX века были созданы либретто и написана музыка двух опер на основе тургеневского сюжета. Опера В. Н. Гартевельда, впервые поставленная в 1895 г. в Харькове, неоднократно затем (до 1909 г.) ставилась в Москве и во многих провинциальных

---

[7] St. Petersburger Zeitung. 1881, № 309—316, 5—12 November; National-Zeitung. 1881. November.

[8] La Nouvelle Revue. 1881, novembre, v. 13, p. 417—441.

[9] Tourgenew J. The Song of Triumphant Love. Adapted by M. Ford. New York. 1882.

[10] Den sejrrige Kjaerligheds Sang. Paa Dansk red V. Møller.— В кн.: Turgenjew J. Sidste digtninge. Kjøbenhavn, 1884.

театрах [11]. Опера А. Ю. Симона (либретто Н. Н. Вильде) шла в 1897 г. в Большом театре; партию Фабио пел Л. В. Собинов [12].

В советском литературоведении «Песнь торжествующей любви» обычно рассматривается в общем ряду так называемых «таинственных повестей» Тургенева («Сон», «Клара Милич» и др.) [13]. Ряд специальных работ посвящен сопоставлению «итальянской хроники» с многочисленными произведениями западноевропейской и русской литературы (новеллы эпохи Возрождения, Стендаль, Мериме, Флобер, Гофман и др.) [14].

Стр. 47. *(MDXLII)*.— Эта цифра указывает, что действие легенды происходит в 1542 году. Ряд исторических имен и указаний на события, появляющийся затем на страницах «Песни торжествующей любви», призван подкрепить достоверность сообщаемого. Однако некоторые из этих имен и событий не вполне согласуются с указанной датой (см. ниже: «архитектор Палладио», *«новый* папа» и т. п.).

«Wage Du zu irren und zu träumen!» — Эпиграф взят из стихотворения Шиллера «Текла».

Около половины XVI-го столетия...— Первоначально «Песнь торжествующей любви» начиналась иначе. «В середине сороковых годов...» Тургенев исправил эти слова по совету Стасюлевича, но ввел дату в подзаголовок — MDXLII. Согласившись, что точное указание времени действия противоречит тону «старинной итальянской рукописи», он писал своему редактору 11(23) сентября 1881 г.: «„Сороковые“ годы можно заменить: около „половины“ или „середины“ — (памятуя дантовское in *mezzo* del camin и т. д.)...» Тургенев имеет в виду первый стих «Божественной комедии» Данте: «Nel mezzo del cammin di nostra vita» («В середине нашего жизненного пути»).

...в Ферраре (она процветала ∽ *искусств и поэзии)*...— Расположенный близ устья реки По, на торговом пути из Болоньи в Венецию, город Феррара в XV—XVI веках становится одним из крупнейших центров поздней ренессансной культуры. При дворе герцогов д'Эсте находились выдающиеся писатели (Маттео Боярдо, Людовико Ариосто), художники, архитекторы и скульпторы (Ти-

---

[11] Песнь торжествующей любви (Сон). Либретто Л. Г. Монда ⟨Л. Г. Мундштейна⟩. М., 1894.

[12] Об обеих операх см.: Бернандт Г. Словарь опер, впервые поставленных или изданных в дореволюционной России и в СССР (1736—1959). М., 1862. с. 224—225.

[13] Петровский М. А. Таинственное у Тургенева.— В кн.: Творчество Тургенева Под ред. И. Н. Розанова и Ю. М. Соколова. М., 1920, с. 70—89; Бялый Г. Тургенев и русский реализм. М.; Л., 1962, с. 207—221.

[14] См.: Габель М. О. «Песнь торжествующей любви» Тургенева (Опыт анализа).— *Творч путь Т*, с. 202—225; Зельдхейи-Деак Жужанна. «Таинственные повести» Тургенева и русская литература XIX века.— Studia Slavica, Budapest, 1973, t. 19, fasc. 1—3, p. 347—364; Муратов А. Б. Повесть И. С. Тургенева «Песнь торжествующей любви».— Studia Slavica, Budapest, 1975, t. 21, fasc. 1—4, p. 123—137.

циан, Джулио Романо, Джакопо Сансовино, Франческо дель Косса, Козимо Тура, Эрколе да Феррара, Леон Баттиста Альберти). В начале XVI века в Ферраре появился один из первых в Европе светских театров.

Стр. 48. *...герцога Феррарского, Эркола ∽ Лукреции Борджиа...* — Феррарский герцог Эрколе II (1505—1559) вступил в правление в 1535 г. Он был сыном Лукреции Борджиа (1480—1519), дочери папы Александра VI и сестры известного тирана Цезаря Борджиа. Бесхарактерная и слабовольная, Лукреция стала игрушкой жестокой и коварной политики своего брата, пытавшегося создать в Италии сильное, объединенное единой монархической властью государство. С этой целью он дважды выдавал Лукрецию замуж; Альфонсо I д'Эсте, отец Эрколе II, был ее третьим мужем. В Ферраре Лукреция окружила себя поэтами, художниками; Ариосто посвятил ей одну из октав своего «Неистового Роланда».

...дочери французского короля Людовика XII. — Речь идет о Ренате Французской (Renée de France, 1510—1575), выданной в 1528 г. замуж за будущего Феррарского герцога Эрколе II. В результате этого династического брака Феррара заручалась поддержкой Франции: не прекращавшиеся более полувека войны за Италию между Испанией, Францией и Священной Римской империей («итальянские войны», 1494—1559) грозили маленькому феррарскому герцогству потерей самостоятельности. В Ферраре Рената Французская объединила вокруг себя не только известных ученых и артистов. Ее двор долгое время служил убежищем протестантам, среди которых был Кальвин.

...по рисунку Палладия... — Андреа Палладио (1508—1580) — крупнейший архитектор и теоретик архитектуры позднего Возрождения, создавший знаменитые и классические в своем роде здания в Виченце и Венеции. Популярность Палладио началась со времени постройки Базилики в Виченце (начала строиться в 1549 г.).

Стр. 52. *...живой бог, по имени Далай-Лама ∽ глазами.* — Далай-лама — верховное духовное лицо, воплощающее одно из наиболее почитаемых божеств — Авалош-Китешвары. Считается неумирающим, так как после смерти душа его, по представлениям буддистов, переселяется в одного из мальчиков, родившихся в момент его смерти, которого и избирают новым Далай-ламой.

...индийские брамины... — жрецы, составляющие высшую касту в Индии. Ср. стихотворение в прозе «Брамин» (с. 185). Своими сведениями об Индии Тургенев во многом был обязан Джеймсу Лонгу (см.: Алексеев М. П. Тургенев и Джеймс Лонг. — *Т сб*, вып. 1, с. 312—315).

...ширазским вином... — Шираз — город на юге Персии, известный своими широкими торговыми связями.

Стр. 56. *...изобразив ее с атрибутами святой Цецилии.* — Цецилия — католическая святая, давшая обет девственности, покровительница музыки и музыкантов. Большей частью изображалась сидящею у органа, в белом платье, золотом венце и с лилией в руке. Образ этот не случаен в «Песни». Валерия, напоминавшая Фабию святую Цецилию, до встречи с Муцием олицетворяла собою душевную гармонию. Эта-то душевная гармония, «равновесие сил», как любил говорить Тургенев, нарушается внезапно проснувшимся чувством.

...знаменитый Луини ∽ в Феррару... — Бернардино Луини (ок. 1480—1532) — художник — один из наиболее даровитых последо-

вателей Леонардо да Винчи. Известен преимущественно как автор фресок.

Стр. 58. *...читать Ариоста ∽ по Италии...* — Людовико Ариосто (1474—1533) провел жизнь при дворе феррарского герцога Альфонсо I д'Эсте. Созданная им в 1505—1532 гг. поэма «Неистовый Роланд» поставила его в ряд крупнейших поэтов позднего Возрождения. Кроме «Неистового Роланда» Ариосто создал для театра герцога несколько комедий.

...о немецком походе, об императоре Карле... — Тургенев имеет в виду один из эпизодов «итальянских войн» (см. выше). Феррарское герцогство было теснейшим образом связано с политикой пап и неизбежно оказывалось в самой гуще политических превратностей этой многолетней, почти непрекращавшейся войны. Однако о каком именно «немецком походе» говорит Муций, не совсем ясно. Возможно, речь идет о франко-имперской войне (1536—1538 или 1542—1544 гг.), события которой развертывались, главным образом, на территории Франции. Но не исключено, что Тургенев имеет в виду и так называемую Шмалькальденскую войну (1546—1548) или поход императора Священной Римской империи Карла V против союза немецких протестантских князей (Шмалькальденского союза), возникшего с целью оградить свою политическую и религиозную независимость от абсолютистских притязаний Карла.

...съездить в Рим, посмотреть на нового папу. — Не ясно, какого «нового» папу имел в виду Тургенев. Правивший в 1542 г., когда происходит действие повести, папа Павел III Фарнезе (1534—1549) вступил на папский престол задолго до отъезда Муция из Феррары. С именем Павла III связана попытка упрочить положение католической церкви, авторитет которой сильно пошатнулся в Италии после понтификата Льва X Медичи (1513—1521) и его сына Клемента VIII (1523—1534). Павел III начал борьбу с гуманизмом не только в самой Италии, но и за ее пределами, положив начало тому этапу в истории Западной Европы, который получил название контрреформации. В 1540 г. он официально учредил орден иезуитов, а в 1542 г. (в этот год происходит действие «Песни») — центральный инквизиционный трибунал в Риме, по образцу испанского.

Стр. 64. *...в виде рогатой тиары...* — Тиара — древний головной убор египетских фараонов и других восточных царей; эпитет «рогатый» указывает на могущество и власть, которую имеет лицо, носящее тиару.

КЛАРА МИЛИЧ

(ПОСЛЕ СМЕРТИ)

(с. 67)

ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА

«После смерти». Наборная рукопись, 74 с.; после текста подпись и помета: Ив. Тургенев. Буживаль. Август. 1882. Хранится в *ИРЛИ*, ф. 293, оп. 3, № 136; описание см.: *ПД*, *Описание*, с. 17, № 47.

«После смерти». Корректурные гранки *ВЕ*. Полный текст первой корректуры с правкой Тургенева. 25 полос; после текста подпись:

Ив. Тургенев. Хранится в *ИРЛИ*, ф. 293, оп. 3, № 136; описание см.: *ЛД. Описание*, с. 17, № 48.

Корректурные гранки *ВЕ*. Часть текста второй корректуры с пометами М. М. Стасюлевича и правкой Тургенева. Хранится в *ИРЛИ*, ф. 293, оп. 3. № 136; описание см.: *ЛД, Описание*, с. 17, № 48.

ВЕ, 1883, № 1, с. 13—62.

Впервые опубликовано: *ВЕ*. 1883. № 1, с подписью и пометой: Ив. Тургенев. Буживаль. Октябрь. 1882.

Печатается по тексту *ВЕ* с устранением явных опечаток, не замеченных Тургеневым, а также со следующими исправлениями по другим источникам:

Стр. 103, строка 16: «похужел и в личике осунулся» вместо «похудел и в личике осунулся» (по наборной рукописи).

Стр. 110, строка 35: «*стыдно*» вместо «стыдно» (по наборной рукописи).

Стр. 111, строки 28—29: «у вас чудесные яблоки!» вместо «у вас чудные яблоки» (по наборной рукописи).

Замысел повести относится к началу декабря 1881 г. Об этом свидетельствуют следующие строки письма Тургенева к Ж. А. Полонской от 20 декабря 1881 г. (1 января 1882 г.): «Презамечательный психологический факт — сообщенная Вами посмертная влюбленность Аленицына! Из этого можно бы сделать полуфантастический рассказ вроде Эдгара По». Однако к созданию произведения (не рассказа, а повести) Тургенев приступил значительно позднее, о чем известно из его письма к М. М. Стасюлевичу от 14(26) августа 1882 г. Писатель сообщал: «...несколько дней тому назад я принялся за повесть 〈. . .〉, да с тех пор так ретиво пишу, что настрочил уже половину (а во всей повести будет листа три печатных) и если так продолжится, то к Вашему приезду сюда (в конце будущей недели?) вся штука будет готова — и, если окажется годной, можно будет пустить ее в январской книжке». Вскоре работа над черновым автографом повести была закончена: 23 августа (4 сентября) 1882 г. Тургенев уже писал М. Е. Салтыкову, что «со скуки намарал какую-то небольшую вещицу», которая будет напечатана в «Вестнике Европы».

О том, что «вчера» (т. е. 3(15) сентября) он «окончил» переписывание повести «После смерти», которая «на днях отправится 〈. . .〉 на суд и рассмотрение» П. В. Анненкова, Тургенев писал последнему 4(16) сентября 1882 г. (ср. с письмом к Ж. А. Полонской от 11(23) сентября 1882 г., в котором он также сообщал, что «переписал» повесть и на днях пошлет ее Анненкову «на суд и просмотр»). Анненков не замедлил прочитать наборную рукопись и 19 сентября (1 октября) 1882 г. послал Тургеневу свой отзыв, в начале которого с восхищением восклицал: «Мастер чудный! Пишу Вам под впечатлением только что прочитанной превосходной Вашей повести». Критик советовал Тургеневу «смело» посылать это произведение в печать «без всяких поправок, ибо тут нет ни одной фальшивой черты, никакого пробела и никакого преувеличения или чересчур сильного размаха фантазии». В заключение Анненков проницательно отмечал, что «самая искренняя вера в реальность галлюцинаций Аратова не покидает читателей, между тем как под ними он чувствует всё

время невидимую струю натурального объяснения дела. Это и составляет премудрость художника» (*Лит Насл.* т. 73, кн. 1, с. 421).

Наборная рукопись состоит из 74 листов, которые пронумерованы до цифры 73 (цифра 16 — ошибочно на двух листах). Как это часто бывало у Тургенева, он и в этом случае, переписывая рукопись набело, вносил в нее довольно многочисленные исправления. Авторская правка сводилась к тому, что писатель зачеркивал отдельные слова и вписывал сверху другие, просто вычеркивал слова и даже фразы, наконец, вписывал поверх строк или на полях слова и фразы, добиваясь уточнения или большей выразительности.

Так, после слов: «погруженный в книги» (с. 68), Тургенев на полях вписал текст: «Он чуждался женщин ∽ сдерживала прирожденная стыдливость», который как бы подготовлял читателя к тому, что уединенная жизнь Аратова будет прервана, что ему суждено испытать чувство любви. На л. 16 bis писатель заменил нейтральное слово «Так», зачеркнув его, фразой «С таким же увлеченьем» (с. 77). В другом месте — там, где рассказывается, как Аратов прочитал известие о смерти Клары («И вот однажды, пробегая „Московские ведомости“»), Тургенев после слова «пробегая» вставил над строкой: «уже не совсем свежие» (с. 86), чтобы подчеркнуть, что герой с некоторым опозданием узнал о данном событии. Это нужно было для всего дальнейшего хода повествования о разговоре Аратова с Купфером, от которого он слышит подробности смерти Клары, о поездке героя в Казань для свидания с матерью и сестрой Клары и пр. Еще ниже, где речь идет о том, как Аратов, уже охваченный чувством «посмертной влюбленности», внимал рассказу Купфера о Кларе и «требовал всё больших да больших подробностей», Тургенев перед приведенными словами вставил слова, усиливающие их смысл, а именно: «слушавший его с пожирающим вниманием» (с. 89). В рассказ о свидании Аратова с сестрой Клары в Казани, во фразу «горькое горе сказывалось в этой улыбке» Тургенев после слова «горькое» вставил слова «не переболевшее», усиливающие изображение скорби Анны, утратившей горячо любимую сестру (см. с. 97). Перед текстом «Голос перервался у Анны ∽ в эту клевету» (с. 100) вписано несколько фраз, принадлежащих Анне, в которых подчеркивались положительные черты Клары («И кого бы она здесь полюбила ∽ Ее отвергнуть... ее...»), в особенности ее чистота. Это было нужно особо отметить ввиду того, что и у Аратова одним из характерных качеств была именно его чистота.

29 сентября (11 октября) 1882 г. писатель сообщал Стасюлевичу: «На днях пошлю я Вам ⟨. . .⟩ рукопись моей повести „После смерти“». А 7(19) октября Тургенев писал ему же, что наборная рукопись была вручена в Петербурге лично жене Стасюлевича, о чем известил писателя возвратившийся в Париж его посланный. Редактор «Вестника Европы» на л. 1 наборной рукописи зачеркнул заглавие «После смерти» и сверху синим карандашом написал: «Клара Милич», пометив тут же: «Заглавие изменено автором во время печатан⟨ия⟩». 4(16) ноября 1882 г. Стасюлевич послал Тургеневу корректурные гранки «Вестника Европы», полный текст.

9(21) ноября 1882 г. писатель сообщал Стасюлевичу, что посылает ему обратно «тщательно выправленную корректуру повести», что «опечаток оказалось очень мало...» Сохранились 25 гранок этой первой корректуры (весь набранный текст), которые Стасюлевич послал Тургеневу. В левом углу 1-й гранки рукою автора напи-

сано: «Исправив опечатки, печатать.— Ив. Тургенев». Ниже он же обозначил: «1883 г.»

Посылая Тургеневу корректуру (полосы 9 и 12), Стасюлевич сделал два замечания. Он отчеркнул на полях полосы 9 слова Клары, обращенные к Аратову при их свидании (см. с. 83 и с. 84), и написал: «Вот подлинные слова Клары!!» Против слов Аратова: «*догадался* — как вы выразились...» (с. 83) — Стасюлевич написал: «NB. Этого слова *догадался* она не выражала; всё сказанное ею подчеркнуто вы⟨ше⟩» [1]. Тургенев согласился с редактором и сделал вставку: «в вашем письме» (с. 83).

На полосе 12, в абзаце «Нет, не с актером, а с актрисой<...> Москвы никогда не покинет!» (с. 88—89), Стасюлевич подчеркнул в трех местах слово «что» и на полях написал: «NB. *Что* ничем не управляется; тут пропущена фраза вроде следующей: „Далее Купфер сообщил Аратову, *что* и т. д.“». Тургенев принял предложение Стасюлевича и буквально повторил его фразу, т. е. написал на полях: «Далее Купфер сообщил Аратову» (с. 89) (см. также письмо Тургенева к Стасюлевичу от 11(23) ноября 1882 г., которое начинается словами: «...возвращаю Вам ⟨. . .⟩ присланные отрывки корректур»).

31 декабря 1882 г. (12 января 1883 г.) Тургенев записал в своем дневнике: «Повесть моя должна завтра появиться в „Ве⟨стнике⟩ Е⟨вропы⟩“ — а 15-го в „Nouvelle Revue“ под заглавием: „Après la mort“...» (*Лит Насл*, т. 73, кн. 1, с. 394). Действительно, во французском переводе повесть была напечатана под заглавием «После смерти», которое писатель дал ей первоначально в русском оригинале. О том, что заглавие «Клара Милич» было предложено Стасюлевичем, свидетельствуют как письма самого Тургенева, так и его современников. В частности, Анненков с возмущением писал Тургеневу 7(19) декабря 1882 г., узнав, очевидно, из его же письма, неизвестного, о намерениях редактора «Вестника Европы»: «Негодую на Стасюлевича за перемену заглавия Вашей повести. Глупее этого ничего сделать нельзя. Не подумал, осел, что *именные* заглавия выражают намерение автора представить тот или другой *тип*, а тут не в типе дело, а в редком и замечательном психическом явлении» (*ИРЛИ*, ф. 7, № 13, л. 89 об.).

О том же вспоминает в своих мемуарах, написанных в форме дневника, А. Н. Луканина. В записи от 23 декабря 1882 г. она приводит слова Тургенева о том, что М. М. Стасюлевич «нашел это заглавие ⟨„После смерти“⟩ слишком „lugubre“ ⟨„мрачным“⟩ и изменил — назвал рассказ именем этой женщины (Клара Милич)» (*Сев Вестн*, 1887, № 3, с. 80).

Однако из более ранних писем Тургенева к М. М. Стасюлевичу (от 11(23), 12(24) и 14(26) ноября 1882 г.) явствует, что он сам дал согласие на изменение заглавия, т. е. пошел навстречу предложению редактора «Вестника Европы», хотя первоначальное заглавие («После смерти») более соответствовало основному замыслу писателя — показать «посмертную влюбленность».

В основе повести Тургенева лежит жизненная история. Это обстоятельство неоднократно подчеркивалось в его письмах. Так, например, Ж. А. Полонской он сообщал 17(29) октября 1882 г.: «Мысль этой повести явилась мне после того, как Вы мне рассказали об Аленицыне (кстати, что он — жив? и посещает Вас?) и

[1] Часть листа отрезана.

Кадминой». С Владимиром Дмитриевичем Аленицыным (1846—1910), магистром зоологии, Тургенев встречался у Я. П. и Ж. А. Полонских. Что же касается Кадминой, то по поводу нее Тургенев писал той же Полонской еще 20 декабря 1881 г. (1 января 1882 г.): «Я, помнится, видел раз эту Кадмину на сцене (когда она была еще оперной певицей; у ней было очень выразительное лицо)». Но лично с Кадминой Тургенев знаком не был, на что он указывал в письме к Л. Б. Бертенсону от 19(31) января 1883 г.

Евлалия Павловна Кадмина (1853—1881), молодая талантливая певица (контральто), окончив Московскую консерваторию, в которой она была стипендиаткой Н. Г. Рубинштейна, сначала (с 1873 г.) с большим успехом пела на сцене Большого театра. Ее выступления (в частности, в «Иване Сусанине» и «Руслане и Людмиле» Глинки, «Русалке» Даргомыжского, «Опричнике» Чайковского, «Рогнеде» Серова) были тогда положительно оценены П. И. Чайковским [2]. В течение сезона 1875/76 года Кадмина была солисткой Мариинского театра в Петербурге, а затем уехала на два года в Италию [3] для совершенствования вокального мастерства. По возвращении оттуда Кадмина выступала в Киеве, Харькове и Одессе сначала на сценах оперных театров, а затем перешла в драму. 4 ноября 1881 г. талантливая артистка покончила жизнь самоубийством, приняв яд при исполнении роли Василисы Мелентьевой в одноименной пьесе А. Н. Островского, во время спектакля на сцене драматического театра в Харькове [4].

В. Д. Аленицын, увидев однажды Кадмину, влюбился в нее. После смерти артистки любовь его приняла форму психоза [5]. По

---

[2] См.: Чайковский П. И. Музыкально-критические статьи. М., 1953, с. 146, 150, 156, 172.

[3] Пребывание там дало Кадминой материал для незаконченной исторической повести «Диана Эмбриако», три главы которой были напечатаны в книге: «Помощь братьям. Литературный сборник в пользу пострадавших от наводнения в Галиции и Привислянском крае». Киев, 1884. В примечании к публикации этих глав указывалось, что это неоконченное произведение может «дать некоторое понятие и о степени образованности автора, его начитанности, знакомстве с языком и литературою Италии 〈. . .〉, его литературных дарованиях». См. также: Кауфман А. Е. Портреты и силуэты. (Из записной книжки старого журналиста).— Наша старина, 1917, вып. 2, с. 93.

[4] П. И. Чайковский писал Н. Ф. фон Мекк 26 ноября 1881 г.: «О смерти Кадминой я знал уже в Киеве из газет. Скажу Вам, что это известие меня страшно огорчило, ибо жаль талантливой, красивой, молодой женщины, но удивлен я не был. Я хорошо знал эту странную, беспокойную, болезненно самолюбивую натуру, и мне всегда казалось, что она не добром кончит» (Чайковский П. И. Переписка с Н. Ф. фон Мекк. П. 1879—1881. М.: Academia, 1935, с. 579). О служебных осложнениях в жизни Е. П. Кадминой упоминает А. Н. Глумов (см. его книгу: Музыка в русском драматическом театре. М., 1955, с. 290, 394).

[5] См.: С. У. 〈С. Уманец〉 Мозаика (из старых записных книжек).— *ИВ*, 1912, № 12, с. 1029—1030; Кауфман А. Е. Портреты и силуэты. (Из записной книжки старого журналиста).— Наша старина. 1917, вып. 2, с. 92.

свидетельству других мемуаристов, Аленицын влюбился в Кадмину только после ее смерти [6]. Вся эта жизненная драма в то время имела шумный резонанс. Тургеневу рассказывали о самоубийстве Кадминой и посмертной влюбленности в нее Аленицына не только Полонская, но также М. Г. Савина и Л. Ф. Нелидова. Об этом свидетельствует, в частности, письмо Тургенева к Савиной от 17(29) сентября 1882 г., в котором писатель благодарил ее за предложение «достать фотографию Кадминой» и прибавлял далее: «Теперь она ⟨фотография⟩ мне не нужна», так как повесть уже «окончена и переписана» [7]. Л. Ф. Нелидова в своих мемуарах «Памяти И. С. Тургенева» пишет: «Помню длинный разговор о том, в какой мере и каким путем художник может пользоваться действительностью как материалом для своего литературного творчества. Тургенев разрешил этот вопрос наглядным примером, написав „Клару Милич“. Я долго не знала, с какой целью он подробно и настойчиво расспрашивал меня о моем знакомстве с А⟨леницыным⟩, с певицей К⟨админой⟩. Те же вопросы предлагал он также Ж. А. Полонской. А затем мы обе прочли прекрасную повесть — и узнавали и не узнавали свои рассказы в художественном их претворении» (*ВЕ*, 1909, № 9, с. 225—226).

Наконец, можно предположить, что Тургеневу было известно (в пересказе кого-либо из знакомых) первое из художественных произведений, посвященных Е. П. Кадминой,— драматическая сцена с двумя действующими лицами (Она и Он), которая под заглавием «Я жду. Еще есть время (Дорогой памяти незабвенной артистки)» и за подписью *** была напечатана в киевской газете «Заря» (1881, № 286, 30 декабря) [8]. Заключительная реплика героини — «Не хотел любить меня живую, так мертвую полюбишь, может быть» — явно перекликается с изображенной Тургеневым «посмертной влюбленностью» Аратова в Клару.

Л. Поляк, подробно рассмотрев вопрос о прототипах в этом произведении, в заключение указывает, что Кадмина «послужила действительным прототипом Клары Милич — она была не только исходным пунктом для Тургенева при создании Клары, но в своих основных чертах, конечно творчески преображенных, перешла в художественный образ». Что же касается В. Д. Аленицына, то при создании образа Аратова он «являлся только исходным пунктом и контаминировался в творческой фантазии Тургенева с другими образами» (*Поляк*, с. 237, 232).

Что касается истории взаимоотношений Клары Милич и Аратова, то она целиком вымышлена Тургеневым (Кадмина не знала даже о существовании Аленицына) [9].

---

[6] Свидетельство Л. Ф. Нелидовой (Маклаковой).— См.: *Поляк*, с. 229—230.

[7] См. также: Философов Д. Запоздалый венок.— *Т и Савина*, с. 79.

[8] Предполагают, что автором этой драматической сценки был П. П. Сокальский — украинский музыкальный деятель, композитор и критик (см.: Яголим Б. «Комета дивной красоты». Жизнь и творчество Евлалии Кадминой. М., 1970, с. 145).

[9] Трагической смертью Е. П. Кадминой в той или иной степени навеяны также: пьеса А. С. Суворина «Татьяна Репина», 1886 (первоначальные названия: «Охота на женщин», затем «Женщины и мужчины»), обязанная своим успехом на сцене Московского

Как известно, многие из последних произведений Тургенева («Старые портреты», «Отчаянный», «Стихотворения в прозе») до появления их в печати читались в Париже (обычно самим автором) на литературно-музыкальных вечерах, устраиваемых им и П. Виардо. На одном из таких вечеров, который состоялся, очевидно, в конце ноября 1882 г., были прочитаны «первые главы» повести «Клара Милич», что, по мнению автора, «должно было показаться публике так же скучным, как и „Стихотворения в прозе"» (см. письмо Тургенева к Ж. А. Полонской от 2(14) декабря 1882 г.).

Неизвестно точно, кто именно присутствовал на этом чтении, но можно предположить, что там был, в частности, В. В. Верещагин, с которым Тургенев постоянно общался в Париже в последние годы жизни. В своей книге, вышедшей в свет после смерти Тургенева, художник писал: «Судя по последним работам, включая сюда и „Клару Милич", надобно думать, что вряд ли талант автора „Отцов и детей" поднялся бы до прежней высоты» (Верещагин В. В. Очерки, наброски, воспоминания. СПб., 1883, с. 132).

Однако мнения читателей, в том числе и представителей литературного мира, были иного рода.

Вскоре после появления произведения в печати Тургенев получил ряд откликов на него со стороны друзей. Так, Ж. А. Полонская в недатированном письме (по-видимому, от февраля 1883 г.) сообщала автору: «Ваш рассказ „Клара Милич" я прочла в ночь после первого дня нового года. Он мне очень понравился и произвел на меня сильное впечатление; долго я уснуть не могла ⟨. . .⟩ Аленицын пробежал Ваш рассказ, узнал Кадмину и остался недоволен — нашел, что Вы ее не поняли и не могли понять и что, кроме его, никто не только не поймет, но и не вправе ее понять, сам же он пишет драму „Актриса", где он ее выставил будто так, как следует ⟨. . .⟩ досадует на меня,— зачем я Вам писала о Кадминой, так как Кадмина его собственность» (*Звенья*, т. 8, с. 247).

Анненков 6 февраля н. ст. 1883 г. снова писал Тургеневу с восхищением: «Перечел „Клару Милич", еще раз облизался и остаюсь при прежнем мнении. Дело совсем не в разительном сходстве портрета с несчастной Кадминой, чем, кажется, всего более занята публика, а в психическом процессе, вызванном ее страстью у человека, не распознавшего ее при жизни» (*ИРЛИ*, ф. 7, № 13, л. 95—96). О том, что многие из современников склонны были видеть в повести Тургенева лишь изображение трагической судьбы этой артистки, свидетельствует категорический ответ писателя одному из них (Л. Б. Бертенсону) от 19(31) января 1883 г.: «История Кадминой (лично с которой, т. е. с Кадминой, я знаком не был) послужила

Малого театра замечательной игре М. Н. Ермоловой (см.: Дурылин С. Н. М. Н. Ермолова. М., 1953, с. 338—339); пьеса Н. Н. Соловцова-Федорова «Евлалия Рамина», 1884 (см. о ней: Данилов С. С. Русский театр в художественной литературе. М.; Л., 1939, с. 151—152); рассказ Н. С. Лескова «Театральный характер» (1884), опубликованный в газете «Театральный мирок» (СПб., 1884, № 11—14; в собрание сочинений не включено); рассказ А. И. Куприна «Последний дебют» (1889), стихотворение С. А. Андреевского «Певица» (*ВЕ*, 1883, № 1, с. 63—64), напечатанное рядом с повестью Тургенева; драма в одном действии А. П. Чехова «Татьяна Репина» (1889), и др.

мне только толчком к написанию моей повести. Биография Клары (Милич) мною вымышлена, а также и отношения ее к Аратову — типу, сохранившемуся в моей памяти еще со времен молодости».

Повесть произвела вполне благоприятное впечатление на некоторых из современных Тургеневу писателей. Так, Стасюлевич в письме к жене от 12(24) сентября 1883 г. сообщал, что Гончаров «говорил о Тургеневе без горечи и очень хвалил его „Клару Милич"» (*Стасюлевич*, т. 3, с. 235). О восторженном отношении к этому произведению Н. С. Лескова рассказывает его сын, А. Н. Лесков:

«Я помню появление „Клары Милич". В течение 2—3 месяцев отец никому не давал проходу и со всеми говорил только о новой тургеневской повести.

— Вы не читали „Клары Милич"?

Отрицательный ответ вызывал в нем чувство, смешанное из сострадания к вашему невежеству и глубокого недоумения» (Л е с к о в А. Н. Н. С. Лесков по воспоминаниям сына.— Вестник литературы, 1920, № 7/19, с. 6).

Другой младший современник Тургенева, И. А. Бунин, вспоминая о том, как символисты в конце восьмидесятых годов «утверждали, что в те годы русская литература „зашла в тупик", стала чахнуть, сереть, ничего не знала кроме реализма, протокольного описывания действительности», восклицал: «Но давно ли перед тем появились, например, „Братья Карамазовы", „Клара Милич", „Песнь торжествующей любви"?» (Б у н и н И. А. Воспоминания. Париж, 1950, с. 21).

Первые печатные отклики на повесть Тургенева были также положительными. И писатель имел все основания записать 15(27) января 1883 г. в своем дневнике: «Повесть моя появилась и в Петербурге и в Москве — и, кажется, и там и тут понравилась. Чего! даже Суворин в „Новом времени" расхвалил» (*Лит Насл*, т. 73, кн. 1, с. 398). Действительно, Незнакомец (А. С. Суворин), назвав это произведение «перлом», отмечал далее, что образ Клары Милич навеян Кадминой, которая подверглась идеализации под пером писателя, и что понять ее «глубокий талант ⟨. . .⟩ заставить жалеть об этом таланте, которого ждала лучезарная слава, об этой женщине, которая соединила в себе лучшие дары артистки, мог только большой талант и такой искренний гуманист, как Тургенев» (Новое время, 1883, № 2460, 3 января).

Арс. И. Введенский также причислил повесть к «поэтическим перлам, свидетельствующим о полной еще силе поэтического таланта автора» (Голос, 1883, № 6, 6 января).

В. В. Чуйко в «Литературной хронике», подобно Суворину, упомянул о Кадминой. Он также находил, что ее портрет у Тургенева «несколько идеализирован и почти наверное в нем существуют черты, не существовавшие в оригинале». Одно из замечаний критика показывает, что он совершенно не понял замысла писателя. По мнению Чуйко, повесть можно было бы кончить самоубийством Клары Милич, и тогда в ней было бы «больше художественного единства и даже, может быть, больше правды» (сцены «галлюцинаций и таинственных видений» он считал «вводными»). В заключение Чуйко все же писал, что повесть эта является «высоко поэтическим созданием» и принадлежит «к лучшим произведениям Тургенева». Особо отмечал он, что в «Кларе Милич» «форма изумительна и язык изящен в высшей степени» (Новости и Биржевая газета, 1883, № 6, 8(20) января).

Несомненные литературные достоинства и руку мастера, «не утратившего своей творческой силы под бременем пройденного жизненного пути», усматривал в повести Тургенева и анонимный рецензент «Одесского листка». Вспомнив о Кадминой, которая летом 1881 г. выступала в Одессе на драматической сцене, он справедливо писал: «Конечно, Клара — далеко не точный портрет Кадминой, изображенный реалистом, старающимся сделать верную копию действительности; это создание художника, проникающего в сердце, умеющего читать в душе» (Одесский листок, 1883, № 6, 9(21) января).

Вполне сочувственным оказался и отзыв, автором которого был А. М — в (А. П. Милюков)[10], отмечавший, что, «несмотря на некоторую эксцентричность в характере лиц и фантастическую исключительность в развязке рассказа, он приковывает к себе читателей своими подробностями и самостоятельностью взгляда, свойственного истинному дарованию» (*СПб Вед*, 1883, № 18, 18 января).

В отличие от газетных откликов оказались суровыми мнения о повести Тургенева критиков радикальных журналов. Так, в «Журнальных заметках» «Дела» выступил М. П. (М. А. Протопопов), обвинявший Тургенева в увлечении спиритизмом (1883, № 2, Современное обозрение, с. 33).

Критик «Русского богатства», Созерцатель (Л. Е. Оболенский), в статье, озаглавленной «Обо всем. (Критические этюды)», в шутовском тоне излагал содержание «Клары Милич»; повесть сравнивалась им с «Фаустом» Тургенева и предпочтение отдавалось последнему, где налицо «живая, светлая правда» и «поэзия деталей» (*Рус бог-во*, 1883, № 2, с. 464).

В защиту Тургенева от нападок критика «Русского богатства» выступил в «Неделе» П. М. (П. О. Морозов). Вполне сочувственно отнесясь к повести Тургенева, он усматривал в ней дальнейшее развитие темы, затронутой в «Песни торжествующей любви». По его мнению, «любовь Аратова к Кларе, вполне осознанная им только после утраты этой женщины, до тех пор любимой бессознательно,— то же торжествующее чувство, всецело захватывающее человека, с каким мы встретились в первой новелле» (Неделя, 1883, № 10, 6 марта, столб. 316).

Как уже указывалось выше, Тургенев, собираясь взяться за разработку темы «посмертной влюбленности», предполагал сначала написать рассказ «вроде Эдгара По» (см. с. 424). Однако тургеневские методы ввода в повествование «таинственного» иные, нежели у американского писателя. По мнению Л. В. Пумпянского, «Тургенев тщательно стушевывает таинственный характер явления, растворяет его в рассказе, обставляет рядом чужеродных элементов (например, комически-бытовых), вообще пользуется целым аппаратом средств для сплава таинственной части рассказа с нейтральным материалом» (*Т*, *Сочинения*, т. 8, с. XIII). Пумпянский отмечает, что у Тургенева почти всегда налицо введение элементов второго, естественного толкования таинственного явления. В качестве примера исследователь приводит конец XVIII главы повести «Клара Милич», где даются два толкования («таинственное» и естественное) причины нахождения в руке Аратова (после его кончины) пряди волос Клары.

---

[10] Псевдоним раскрыт Н. Т. Трофимовым в его статье: «„Клара Милич“. „Песнь торжествующей любви“. Статьи А. М — ва».— *Т сб*, вып. 3, с. 165—166.

Основная сюжетная линия повести взята Тургеневым из жизни. Но мотив любви после смерти, любви, которая сильнее смерти, занимал писателя и ранее, отчасти в «Несчастной» (1868), «Фаусте» (1855) и в заключительных строках романа «Отцы и дети» (1861) (см.: *Поляк*, с. 240).

Замысел повести «Клара Милич» возник у Тургенева независимо от Э. По, хотя у этого писателя подобные мотивы также имеются в ряде произведений («Элеонора», «Морэлла», «Леди Лигейя» и др.). Л. Поляк, сопоставив повесть Тургенева с рассказами Э. По, приходит к справедливому выводу, именно: наличие общих мотивов у обоих писателей (посмертная любовь, галлюцинация) не позволяет, однако, говорить о литературном влиянии Э. По на Тургенева, ибо этому препятствует «противоположность их стиля, отсутствие композиционного сходства» (*Поляк*, с. 244) [11].

Нет также оснований сближать «Клару Милич» с драмой Кальдерона «Любовь после смерти» (1651). Кроме заглавия и имени героини (у Кальдерона она названа доньей Кларой Малек), повесть Тургенева, первоначально названная им «После смерти», не имеет ничего общего с произведением испанского драматурга [12]. Значительно ближе «Клара Милич» (отчасти по сюжету, а также по общей тональности и сходству некоторых деталей) к рассказу французского писателя Вилье де Лиль Адана (Villiers de L'Isle-Adam A., 1840—1889) [13] под названием «Véra» (по имени героини) [14]. Это был оригинальный прозаик, произведения которого наполнены странными видениями и снами. С. И. Родзевич в статье «Тургенев и символизм» первым указал на элементы сходства между «Кларой Милич» и «Верой» Вилье де Лиль Адана. В то же время он отметил, что, хотя «иррациональная» стихия нашла в последней повести Тургенева «достаточно яркое выражение», с нею «соединяется доля врожденного скептицизма», чего не наблюдается в «Вере» Вилье де Лиль Адана [15].

«Клара Милич» связана с рядом более ранних произведений Тургенева. В последней повести писателя нашла отражение старая его мысль о воздействии на человека таинственных сил, лежащих вне его, в природе (ср. с «Поездкой в Полесье», «Фаустом», «Призраками»). Это не мистицизм в обычном его понимании, но некое «двоемирие», ведущее свое начало от романтизма.

---

[11] Ср.: Турьян М. Тургенев и Эдгар По. (К постановке проблемы).— Studia Slavica, Budapest, 1973, t. 19, fasc. 4, p. 411—415.

[12] О знакомстве Тургенева с его творчеством см.: Липовский А. Увлечение И. С. Тургенева Кальдероном.— Литературный вестник. 1903, т. VI, кн. 5, с. 33—37; Алексеев М. П. Тургенев и испанские писатели.— Литературный критик, 1938, № 11, с. 139.

[13] См. о нем: Pontavice de Heussey R. Villiers de L' Isle-Adam. Paris, 1893; рецензия — *ВЕ*, 1894, № 1, с. 442—445.

[14] Русский перевод («Вера») А. Мирэ см. в четвертом томе «Чтеца-декламатора» (Киев, 1909, с. 99—109).

[15] Родзевич С. И. Тургенев. К 100-летию со дня рождения... Статьи. 1. Киев, 1918, с. 134. Этот исследователь ошибочно предполагал, что в «Вере» отразилось знакомство с «Кларой Милич». Между тем скорее можно допустить обратное, так как до включения в сборник «Contes cruels» «Вера» неоднократно печаталась в других изданиях, например, в «La République des Lettres» (6 августа

По мнению Г. А. Бялого, «таинственное» у Тургенева (в частности, и в «Кларе Милич») связано с интересом писателя к «положительному», эмпирическому естествознанию (см.: Бялый Г. Тургенев и русский реализм. М.; Л., 1962, с. 209—213, 220—221).

Еще при жизни Тургенева его повесть была переведена на ряд западноевропейских языков.

Так, 15 января 1883 г. повесть появилась во французском переводе под заглавием «Après la mort» в «Nouvelle Revue». В этом французском переводе имеется пассаж, которого нет в русском тексте. После абзаца на с. 312, который оканчивается фразой: «Oh! ce baiser» (в оригинале: «О, этот поцелуй» — с. 115), следует текст: «Il y a des gens, pensait-il encore, qui, s'ils apprenaient tout ceci, me prendraient pour un fou. Si ces gens savaient quelle sérénité règne à présent dans mon esprit! Et il souriait de nouveau» («Существуют люди,— думал он еще,— которые сочли бы меня безумным, если бы узнали всё это. Если бы эти люди представляли себе, какое спокойствие царит сейчас в моем уме! И он снова улыбался»). Чем объясняется это отличие французского перевода от текста, напечатанного в «Вестнике Европы» и печатавшегося с тех пор во всех изданиях Сочинений Тургенева, сказать трудно. В конце повести во французском переводе (с. 314) опущена фраза, имеющаяся в русском тексте: «Смерть! Смерть, где жало твое?»

26 ноября (8 декабря) 1882 г. Тургенев, посылая Л. Пичу корректурные листы французского перевода, с которого тот должен был сделать перевод на немецкий язык, писал: «1.) Немецкий перевод *не должен появляться до* 15 января; 2.) о своем переводе Вы не должны ничего сообщать — ни заглавия, ни содержания и т. д. Во всем прочем сам перевод в полном Вашем распоряжении. „Berliner Tageblatt“ запрашивал меня об этом. Я отослал этого господина к Вам».

Л. Пич, ознакомившись с текстом французского перевода, указал на допущенную писателем ошибку, а именно: обыкновенную фотографию (глава XIV) технически невозможно превратить в стереоскопическую. 13(25) декабря 1882 г. Тургенев, отвечая Л. Пичу, писал ему: «Вы правы, я сделал изрядную ошибку со стереоскопом. В оригинале этого теперь, к сожалению, исправить нельзя. В переводе Вы легко можете это сделать. Например, вместо того, чтоб самому изготовлять стереоскопический снимок, Аратов может приобрести его у фотографа (Клара, будучи актрисой, снялась так в Москве — в той же позе, что и на фотографии), или же сестра вместо фотографии дает Аратову стереоскопический снимок. Предоставляю Вам, как говорят, carte blanche на этот счет». Появился ли в «Berliner Tageblatt» перевод повести Тургенева, осуществленный Л. Пичем, установить не удалось из-за отсутствия номеров этой газеты за 1883 г. в библиотеках Москвы, Ленинграда и Риги. Но в марте того же года был напечатан другой немецкий перевод повести. Он вышел в Мюнхене отдельным изданием: Turgenjew J. Klara Militsch. Novelle. Deutsch von Wilhelm Henkel.

На английском языке под заглавием «Clara Militch» повесть впервые была опубликована в «The independent» (1884, XXXVI,

---

1876 г.), «Beaumarchais» (9 октября 1880 г.) и др. (сообщил Ж.-В. Арменжон. См. также примечание к с. 105). Таким образом, Тургенев мог ознакомиться с этим произведением французского писателя до создания «Клары Милич».

oct. 9, 16, 23. p. 1306—1308, 1338—1340, 1370—1372). См. об этом: Y a c h n i n R. and S t a m David H. Turgenev in English. A Checklist of Works by and about him. New York. 1962. p. 26.

Под заглавием «Klára Miličova» был опубликован в 1883 г. и чешский перевод повести, выполненный И. Пенижеком (см.: P i ž l F. Список чешских переводов сочинений И. С. Тургенева и статей о нем, изданных на чешском языке.— Каталог выставки в память И. С. Тургенева. Составили Ф. А. Витберг и Б. Л. Модзалевский. 2-е изд. СПб., 1909, с. 306).

Перевод «Клары Милич» на болгарский язык был напечатан в пловдивской газете «Марица» (1883, №№ 461 и 464). В сербском переводе Милана Данина повесть появилась в 1884 г. под названием «Клара Милићева» (см.: Ч у и ч Г. Т. Русская литература на сербском языке.— Труды Воронежского гос. ун-та. Воронеж, 1926. Т. 3, с. 124).В 1880-х годах она была издана и на румынском языке (см. об этом в статье: В а л е р и у Чобану. Творчество Тургенева в Румынии.— Румынско-русские литературные связи второй половины XIX — начала XX века. М., 1964, с. 122).

Повесть Тургенева вдохновила композитора А. Д. Кастальского на создание в 1909 году оперы в четырех действиях под заглавием «Клара Милич»[16]. При этом отрывок (строфа XLV) из поэмы Тургенева «Андрей» (1846) положен был композитором в основу романса Клары Милич, а стихотворение «Весенний вечер» (1843) послужило текстом дуэта. Исполняемая в первом действии охотничья песня также была написана на слова стихотворения Тургенева — восьмого отрывка («Перед охотой») из цикла «Деревня» (1846) (см.: наст. изд., т. 1, с. 63). Наконец, в качестве мелодекламационного номера в оперу был введен текст одного из стихотворений в прозе — «Сфинкс» (1878). Впервые опера «Клара Милич» была поставлена в Москве 11 ноября 1916 г. В одной из рецензий на этот спектакль к достоинствам оперы критик (Вл. Держановский) относил ее инструментовку. «Сильным драматическим напряжением,— писал он,— отмечена смерть Клары», есть «интересные подробности» «в свидании Клары с Аратовым на бульваре. Но всё это меркнет перед 〈. . .〉 романсами, в законченной, выразительной и лаконичной музыке которых воплотился образ несчастной, безумной Клары» (Утро России, 1916, № 316, 12 ноября).

С т р. 67. *...прозвище получил «инсектонаблюдателя».*— «Наблюдателя за насекомыми».

...по методе Парацельсия.— Речь идет о знаменитом швейцарском враче и естествоиспытателе Парацельсе (Paracelsus) Теофрасте Бомбасте (1493—1541), который упоминается также в романе «Отцы и дети» (глава XX).

Имя «чернокнижника» он ∽ *знаменитого Брюса...*— Имеется в виду Брюс Яков Вилимович (1670—1735) — один из самых просвещенных сподвижников Петра I, который вскоре после смерти последнего «удалился от службы» и «со страстью» предался науке. И. Е. Забелин в статье «Библиотека и кабинет графа Я. В. Брюса» указывает, что «едва ли не в это время он 〈Брюс〉 утвердил за собою в народе имя величайшего чернокнижника, предсказателя и вообще колдуна, делавшего чудеса. До сих пор еще ходят эти предания и в

---

[16] См.: С т у п е л ь А. М. Опера «Клара Милич» А. Д. Кастальского.— *Т сб.* вып. 4, с. 223—231.

самой Москве, а особенно в околотке его подмосковной» (Летописи русской литературы и древности, издаваемые Николаем Тихонравовым. М., 1859. Т. I, отд. III, с. 29; см. также: Пекарский П. Наука и литература в России при Петре Великом. СПб., 1862. Т. I, с. 289—290).

Стр. 68. *...английский кипсэк ∽ Гюльнар и Медор...*— Кипсэк (англ. Keepsake) — альбом с гравюрами, подарочное издание для дам. Гюльнара и Медора — героини поэмы Байрона «Корсар» (1814).

Стр. 69. *...к постройке Храма Спасителя...*— Строительство этого храма в Москве (в ознаменование спасения от нашествия Наполеона в 1812 г.) продолжалось более 30 лет и было закончено в 1883 г.

Стр. 71. *...брал аккорды с уменьшенной септимой...*— Имеются в виду так называемые уменьшенные септаккорды — диссонирующие созвучия, служившие излюбленным средством для характеристики остродраматических ситуаций в операх XVIII—XIX веков. С середины XIX века широкое пользование уменьшенными септаккордами стало считаться избитым приемом.

Стр. 72. *...фантазию Листа на вагнеровские темы...*— Речь идет об одном из переложений Листа на темы из опер Вагнера. Пианистическая эффектность фантазий Листа требовала виртуозных качеств от исполнителя.

Стр. 73. *...Рашель она или Виардо?..*— Рашель (Rachel), настоящее имя Элиза Феликс (1820—1858) — знаменитая французская трагическая актриса, гастролировавшая в России в 1850-х годах (в Петербурге — в 1853 г., в Москве — в начале 1854 г.). Тургенев видел Рашель, в частности, в пьесе г-жи Жирарден «Клеопатра» в Париже в 1847 (см.: *Т*, *ПСС* и *П*, *Письма*, т. I, с. 270—271, 573). О выступлениях Рашели в «Баязете» Расина упоминается в романе «Новь» (глава XXVI). В данном случае вопрос заключается в том, является ли эта девушка (Клара Милич) драматической или оперной артисткой (но с драматическим талантом, как П. Виардо).

Стр. 75. *...щедринский очерк...*— Возможно, имеется в виду один из очерков «Современной идиллии» Салтыкова-Щедрина; они печатались в 1877—1878 гг. в «Отечественных записках» (действие повести Тургенева происходит весной 1878 г.).

Это была девушка ∽ даровитая — сказывалась во всем.— О сходстве между этим портретом Клары Милич и внешностью Е. П. Кадминой см.: Анненский Иннокентий. Книга отражений. М., 1979, с. 41.

Стр. 76. *...романс Глинки: «Только узнал я тебя...»* — Написан в 1834 г. на слова «Романса» А. А. Дельвига (1823); первая строфа его:

Только узнал я тебя —
И трепетом сладким впервые
Сердце забилось во мне.

...романс Чайковского: «Нет, только тот, кто знал свиданья жажду...» — Написан в 1869 г. на слова Гёте в переводе Л. А. Мея (1857); первая строфа:

Нет, только тот, кто знал
Свиданья жажду,
Поймет, как я страдал
И как я стражду.

Тургенев впервые слышал этот романс, вероятно, 16 марта 1871 г. в Москве на концерте из произведений Чайковского (см.: Шольп А. Е. И. С. Тургенев и «Евгений Онегин» Чайковского.— *Т сб*, вып. 1, с. 171). Е. Ардов (Апрелева) рассказывает о том, что П. Виардо исполняла этот романс «со свойственной ей страстью, выразительностью и безукоризненной дикцией» в 1875 г. на одном из литературно-музыкальных утренников, устраивавшихся Тургеневым в пользу русской библиотеки в Париже (из воспоминаний об И. С. Тургеневе.— *Рус Вед*, 1904, № 18, 18 января). О том, что знаменитая певица пела этот романс и в более поздние годы, свидетельствует также Г. А. Лопатин (см.: *Революционеры-семидесятники, с.* 131). Исполнение Кларой Милич одного из романсов Чайковского не случайно. Тургеневу, очевидно, было известно, что прототипу его героини, Е. П. Кадминой, Чайковский посвятил свой романс «Страшная минута», написанный им на собственный текст (см.: Глумов А. Н. Музыка в русском драматическом театре. М., 1955, с. 394).

Стр. 77. ...*в письме Татьяны послушаешь.*— Тургенев заставляет свою героиню после исполнения ею романса Чайковского выступить с декламацией. В предшествующей главе повести он подчеркнул, что Клара Милич «и поет превосходно, и декламирует, и играет». Писателю было известно, что прототип его героини — Е. П. Кадмина сначала была оперной артисткой, а затем перешла в драматическую труппу. Возможно также, что, заставляя Клару Милич читать с эстрады письмо Татьяны, Тургенев знал, что Кадмина однажды (15 апреля 1873 г.) с большим успехом прочитала его же на вечере в Московской консерватории (см.: Московская консерватория. 1866—1966. М., 1966, с. 100).

Стр. 79. ...*роман Вальтера Скотта: «Сен-Ронанские воды...»*— «St.-Ronan's Well» (1823); французский перевод напечатан был в Париже в 1824 г. и вскоре появился в книжных лавках Петербурга и Москвы. В 1828 г. издан был русский перевод под заглавием, указанным Тургеневым. Отклики на этот роман В. Скотта есть у Пушкина; о нем же писал, высоко его оценивая, Белинский. «Сен-Ронанские воды» — роман из жизни современной Англии (единственный среди исторических романов В. Скотта). Главная сюжетная линия его — трагическая судьба Клары Моврай (правильнее — Моубрей) и ее возлюбленного Тирреля.

«Цыганка» (Аратов не мог придумать худшего выражения) — что она ему? — «Цыганкой» мать писателя, В. П. Тургенева, называла Полину Виардо. На то, что внешний облик знаменитой певицы «близок, быть может, не случайно, к облику Клары Милич», указывает С. И. Родзевич в статье «Тургенев и символизм» (Родзевич С. И. Тургенев. К столетию со дня рождения. 1818—1918. Статьи. I. Киев, 1918, с. 130).

...*Красов ∽ Клара Мобрай!* — Имеется в виду стихотворение В. И. Красова (1810—1854) «Клара Моврай» (1839), написанное после чтения романа Вальтера Скотта «Сен-Ронанские воды». Тургенев цитирует его не точно. У Красова заключительные строки:

Ты, бедная Клара, безумная Клара,
Злосчастная Клара Моврай!

(см.: Красов В. И. Стихотворения. М., 1859, с. 111, а также примечания В. В. Гуры в кн.: Красов В. И. Стихотворения. Вологда, 1959, с. 160—161).

С т р. 86. *«С великим прискорбием ∽ страшного поступка».*— Этот отрывок (с незначительными изменениями) был включен Н. Н. Соловцовым-Федоровым в его драму «Евлалия Рамина», впервые поставленную в Москве на сцене «Нового театра» Лентовского 10 февраля 1884 г. Героиня пьесы (ее прообразом также была Кадмина) решается на самоубийство (отравление), услышав газетное известие о гибели Милич.

С т р. 90.— *Помнится, в «Груне» Островского.*— Пьесы под таким названием у Островского нет. Может быть, речь идет о драме «Не так живи, как хочется» (1855), в которой одну из героинь зовут Груша (то же самое, что и Груня — уменьшительное от имени Аграфена). Эта пьеса могла запомниться Тургеневу, так как в свое время на ее появление в «Москвитянине» (1855, т. V) откликнулся «Современник» в «Заметках о журналах», автором которых был Некрасов (напечатаны без подписи.— *Совр*, 1856, № 2, отд. V, с. 211). Тургенев, несомненно, читал тогда этот номер журнала, в котором, кстати, была напечатана вторая часть его романа «Рудин». Кроме того, он знал и оперу А. Н. Серова «Вражья сила» (1867), написанную на сюжет драмы Островского. А в период создания повести Тургеневу, возможно, было известно, что Е. П. Кадмина с успехом выступала в драмах Островского «Гроза» и «Бесприданница».

С т р. 91. *...а какое выразительное лицо!* — В письме к Ж. А. Полонской от 7(19) декабря 1881 г. Тургенев вспоминал, что у прототипа Клары Милич, Е. П. Кадминой, также «было очень выразительное лицо».

С т р. 92—93. *Ему снилось: Он шел по голой степи ∽ заалел венок из маленьких роз.*— См. стихотворение в прозе «Встреча. Сон» (1878), при жизни Тургенева не опубликованное. Сны вообще играют значительную роль в развитии сюжета и характеристиках героев многих произведений Тургенева (см.: «Накануне», гл. XXXIV, «Первая любовь», гл. XXI, «Призраки». «История лейтенанта Ергунова», «Несчастная», гл. XX, «Сон», «Старые портреты», «Песнь торжествующей любви»). Не случайно в одном из писем к П. Виардо 1849 г. Тургенев, удивляясь реальности ощущений, испытанных им во сне, сказал: «...жизнь есть сон, и сон есть жизнь» (*Т*, *ПСС и П*, *Письма*, т. I, с. 366, 493), перефразируя название драмы Кальдерона «Жизнь есть сон» (1631—1632). См. также: П е т р о в с к и й М. Таинственное у Тургенева.— В сб.: Творчество Тургенева/Под ред. И. Н. Розанова и Ю. М. Соколова. М., 1920, с. 81—83.

С т р. 95. *...дворник их о чем-то ∽ Как бы не подальше куда-нибудь!»* — Имеется в виду ссылка в Сибирь. Аресты и последующая ссылка молодежи, особенно студенчества, были обычным явлением в 1870-е годы, в частности, в Москве (см.:Т к а ч е н к о П. С. Московское студенчество в общественно-политической жизни России второй половины XIX века. М., 1958, с. 123). Об этих событиях прямо говорится в начале главы XIV — см. размышления Платониды Ивановны.

С т р. 105. *...Разве не сказано в библии: «Смерть, где жало твое?»* — По поводу этого места П. В. Анненков писал Тургеневу 1 октября н. ст. 1882 г.: «Справьтесь, пожалуйста, кажется, ни в одном Евангелии нет восклицания: „Смерть, где твое жало?“, а только в каком-то гимне или проповеди» (*ИРЛИ*, ф. 7, № 13, л. 84 об.). Действительно, в Евангелии нет этого изречения — оно содержится в «Слове Иоанна Златоуста», произносимом во время пасхаль-

ной заутрени, и взято из Библии (Книга пр. Осии, гл. 13, ст. 14).

А у Шиллера ∽ *sollen leben!* — Близкую по смыслу строку см. в стихотворении Шиллера «Siegesfest» (1803): «Und die Todten dauern immer» («А мертвецы продолжают жить», в переводе Жуковского — «Жизнь отживших неизменна»).

...у Мицкевича: «Я буду любить ∽ *по скончании века!»* — У Мицкевича эта мысль выражена в заключительных строках стихотворения «Разговор» («Rozmowa», 1825):

I tak rozmawiać godziny, dni, lata
Do końca świata i po końcu swiata.
⟨И говорить так часы, дни, годы
До конца мира и после конца мира.⟩

Ср. с письмом к М. М. Стасюлевичу от 22 июня (4 июля) 1876 г., где последняя строка стихотворения приведена в более близком к оригиналу переводе: «до конца света и после конца света».

...один английский писатель ∽ *«Любовь сильнее смерти!»* — Тургенев, видимо, ошибся. Словами: «L'amour est plus fort que la Mort, a dit Salomon...» («Любовь сильнее смерти, сказал Соломон...») — начинается рассказ «Véra» («Вера») французского писателя Вилье де Лиль Адана, впервые опубликованный в «Semaine Parisienne» 7 мая 1874 г.

С т р. 106. *...пробежали легкими арпеджиями...* — Арпеджио (итал. arpeggio — «как на арфе») — исполнение звуков аккорда вразбивку, большей частью начиная с нижнего тона. Применяется при игре на арфе, фортепьяно и других музыкальных инструментах.

С т р. 109. *...стклянку яду* ∽ *И в газетах об этом было!* — Прототип Клары Милич — Е. П. Кадмина, отравившись на сцене Харьковского театра во время спектакля, умерла не в театре, а дома, через несколько дней (см.: Заря, Киев, 1881, № 250. 13 ноября).

Называли мне эту пьесу... в ней является обманутая девушка... — Возможно, имеется в виду «Бесприданница» Островского, впервые поставленная в Москве на сцене Малого театра 10 ноября 1878 г. и в Петербурге — 22 ноября того же года (роль Ларисы здесь исполняла М. Г. Савина). В таком случае Тургенев допускает анахронизм: Е. П. Кадмина выступала в этой драме позднее, в 1881 г.

С т р. 111. *...верил в шиллеровский «мир духов».* — Может быть, имеется в виду незаконченный роман Шиллера «Духовидец» (1789).

ПЕРЕПЕЛКА

(с. 118)

ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА

«Рассказы и сказки для детей. Ив. Тургенева. I. Перепелка. Буживаль. 1882». Черновой автограф рассказа хранится в отделе рукописей: *Bibl Nat*, Slave 78, лл. 173—176; описание см.: *Mazon*, p. 99; фотокопия (неполная, 3 с.) — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 268.

Рассказы для детей И. С. Тургенева и графа Л. Н. Толстого. С картинками академиков В. М. Васнецова, В. Е. Маковского,

И. Е. Репина и В. И. Сурикова. М.: Изд. П. А. Берс и Л. Д. Оболенского, 1883, с. 9—19.

Впервые опубликовано в сборнике: Рассказы для детей. М., 1883. с подписью: Ив. Тургенев (ценз. разр. 10 декабря 1882 г.); изд. 2-е — М., 1886.

Печатается по тексту первой публикации.

В января 1881 г. С. А. Толстая обратилась к Тургеневу с просьбой написать что-либо для журнала «Детский отдых», издававшегося ее братом П. А. Берсом. Ответив согласием, Тургенев писал ей 27 января (8 февраля) 1881 г.: «. . .постараюсь это сделать как можно скорее. Я, вероятно, воспользуюсь тем рассказом об умирающей перепелке, на который намекает граф». Тургенев имел в виду случай на охоте, о котором он рассказал Полине Виардо в письме из Куртавнеля от 28 июля (9 августа) 1849 г. «Знаете ли вы,— писал Тургенев,— что куропатки отлично разыгрывают представления? Они очень хорошо умеют притворяться, будто они ранены, будто они насилу летают, они кричат, они пищат, и всё это, чтобы заманить за собою собаку и отвлечь ее от места, где находятся их птенцы. Материнская любовь третьего дня чуть не обошлась очень дорого одной из них: она так превосходно сыграла свою роль, что Султан схватил ее. Но так как он *perfect gentleman* [1], то он только смочил ее своею слюной и вырвал у нее несколько перьев; я возвратил свободу этой отважной матери и слишком хорошей актрисе». Видимо, то же Тургенев позднее сообщил и Л. Н. Толстому, который увидел в этом зерно сюжета будущего рассказа для детей. С. И. Лаврентьева, познакомившаяся с Тургеневым в мае 1881 г., вспоминая одну из своих бесед с ним, писала: «Вот я обещал Толстому,— говорил Тургенев,— написать что-нибудь для „Детского отдыха“, да и то не знаю, когда соберусь. Разве расскажу один случай, поразивший меня в детстве, когда охотник подстрелил птицу, и она, лежа у меня на руке, смотрела на меня таким взглядом, будто спрашивала: „За что же это?“» [2]

Сохранившийся в Париже черновой автограф свидетельствует о том, что у Тургенева возник замысел отдельного цикла «Рассказов и сказок для детей», который он собирался открыть «Перепелкой», помеченной цифрой «I» [3]. Черновой автограф, как позволяют судить имеющиеся у нас в фотокопии отрывки, изобилует тонкой стилистической правкой, но существенных отличий от основного текста не содержит. Ряд сокращений и вычеркиваний свидетельствует о том, что Тургенев стремился выдержать повествование о гибели перепелки в строгих и лаконичных тонах. (Например, на с. 121 после слова «пожертвовала» было зачеркнуто: «Очень я тут

---

[1] совершенный джентльмен *(англ.)*.

[2] Лаврентьева С. И. Пережитое. (Из воспоминаний). СПб., 1914, с. 140.

[3] О существовании подобного замысла сообщалось в 1881 г. в «Орловском вестнике»: «Говорят, И. С. Тургенев готовит к печати новое сочинение „Сказки для детей“» (Орловский вестник, 1881, № 157, 6(18) сентября). Аналогичное объявление было помещено и в «Одесском листке» (Одесский листок, 1881, № 137, 8(20) сентября). См. также: Алексеев М. П. По следам рукописей И. С. Тургенева во Франции.— Русская литература, 1963, № 2, с. 61—62.

задумался». На той же стр. вместо «Отец удивился» было: «Отец удивился и спросил: — Ты ее хочешь так близко похоронить?»).

Датирован автограф 23 сентября (5 октября) 1882 г. Затем он был, по всей вероятности, перебелен Тургеневым. Окончательно рассказ был завершен во второй половине октября 1882 г. 19(31) октября 1882 г. Тургенев предуведомлял Л. Н. Толстого: «На днях вышлю Вам прекоротенький рассказец „Перепелка" — помните, я обещался написать его для детского журнала». И, наконец, 26 октября (7 ноября) 1882 г. Тургенев выслал Толстому «Перепелку» с сопроводительным письмом: «Вот Вам, милый Лев Николаевич, тот небольшой рассказ, который я обещал графине для детского журнала, издаваемого ее братом. Если бы этот журнал уже прекратился, то Вы можете, буде рассказ окажется годным, отдать его в какой-нибудь другой детский журнал». Вслед за этим С. А. Толстая обратилась к Тургеневу с предложением о включении «Перепелки» в издаваемый ее братом и Л. Д. Оболенским сборник рассказов Толстого и Тургенева для детей. Тургенев отвечал ей 10(22) ноября 1882 г.: «...не только согласен на Ваше предложение, но искренне рад чести явиться вместе с рассказами Льва Николаевича, хотя подобное соседство и опасно для моего рассказца».

«Перепелка» была напечатана вместе с рассказами Л. Н. Толстого «Кавказский пленник», «Бог правду видит, да не скоро скажет» и «Чем люди живы» (последний публиковался также впервые). Иллюстрировать сборник взялись В. М. Васнецов, В. Е. Маковский, И. Е. Репин и В. И. Суриков. Узнав об этом, Тургенев писал Л. Н. Толстому 15(27) декабря 1882 г.: «Моей „Перепелке" Вы делаете слишком большую честь, снабжая ее рисунками таких художников, как Васнецов и Суриков. Она только тем и хороша, что послужила материалом для их таланта».

Получив в начале января 1883 г. уже изданную книгу, тяжело больной Тургенев благодарил Толстого в письме от 8(20) января 1883 г.: «Милый Лев Николаевич, хотя я еще принужден прибегать к помощи чужой руки, но не хочу откладывать своего спасибо за присланный Вами прекрасный подарок. Издание прекрасно, и рисунки тоже. Моей „Перепелке" оказана большая честь; поблагодарите от меня князя Оболенского, от которого я получил очень любезное письмо». Позднее Л. Н. Толстой в трактате «Что такое искусство?» (1897—1898) вспоминал о тургеневском рассказе и иллюстрациях к нему как о чем-то едином: «...Васнецов нарисовал к рассказу Тургенева „Перепелка" ∽ картину, в которой изображен спящий с оттопыренной верхней губой мальчик и над ним, как сновидение — перепелка. И эта картинка есть истинное произведение искусства» (*Толстой*, т. 30, с. 146).

Вскоре после выхода рассказа в свет появился перевод его на польский язык в газете «Kraj» (1883, № 46 — «Przepiórka»). Е. Дюран-Гревиль перевел его на французский язык: этот перевод был напечатан уже после смерти писателя, 8 сентября н. ст. 1883 г., в «Revue politique et littéraire» (р. 293—295) с подстрочным примечанием: «Этот маленький рассказ является последним рассказом Тургенева, опубликованным в России. Этот рассказ был написан по просьбе его друга графа Л. Толстого для сборника, предназначенного для детей, и появился на русском языке в Санкт-Петербурге несколько месяцев назад. В нем мы вновь находим ту особую утонченность чувств и то трогательное сострадательное отношение к животным, которые составляют очарование некоторых его стихотво-

рений в прозе, опубликованных нами в конце прошлого декабря» (перевод с французского). Этот перевод был, вероятно, знаком немецкому критику и историку литературы, другу Тургенева Юлиану Шмидту, когда он писал посвященную памяти Тургенева статью, предназначенную для русской печати. В этой статье строки, характеризующие Тургенева-пейзажиста, как бы прямо навеяны одним из его последних рассказов. «Всюду,— писал Ю. Шмидт.— Тургенев подмечал художественные образы, но самый богатый материал доставлял ему лес, который он, как страстный охотник, изучил во всех его типах. Тургенев не был пейзажистом по профессии; во время своих путешествий он много насмотрелся красот природы, но истинно чувствовал он только родную природу ⟨. . .⟩ Он изучал ее не как праздный гуляющий, а как охотник. Каждый звук в природе должен быть понятен охотнику; малейшее дрожание ветки, дуновение ветерка, каждая мимолетная тень может выдать присутствие добычи. Охотник должен привыкнуть к напряженности всех чувств — он обязан одинаково внимательно слушать, видеть, обонять. Голос каждой птицы знаком ему, он чувствует к каждой из них искренний интерес, что, однако, не мешает ему убивать их. Охотничьи картины Тургенева возбуждают безусловное доверие: все чувства его действуют одновременно, и изображаемый им ландшафт перестает быть просто картиной; от него веет живой действительностью. А как чудно хороши бывают иногда эти мимолетные световые воздушные картины!» (Новое время, 1883, № 2704, 8(20) сентября).

Косвенный отзыв о рассказе содержится и в воспоминаниях С. А. Толстой, написанных много лет спустя, к двадцатой годовщине смерти Тургенева. «Когда он был уже очень болен,— вспоминала С. А. Толстая,— он прислал мне маленькую фотографическую карточку с его подписью и написал мне доброе ласковое письмо. В то же время Иван Сергеевич прислал мне свой прелестный рассказ „Перепелка“, который он мне подарил для сборника детских рассказов, издаваемого моим братом» (Орловский вестник, 1903, № 224, 22 августа). В. В. Стасов, сообщая в письме к Н. А. Римскому-Корсакову от 6 августа 1903 г. о своем впечатлении от рассказа Мопассана «Любовь» писал «...что это за прелестный маленький бриллиантик, эта последняя вещица,— история застреленного чирка, птички-самки, и плачущего и стонущего над нею чирка, птички-самца, настоящий чудесный pendant к прелестной же вещице Тургенева „Перепелка“» (Римский-Корсаков Н. Полн. собр. соч. М., 1963. Т. 5, с. 436).

Вспоминал картину, воспроизведенную в тургеневской «Перепелке», в связи с собственными охотничьими наблюдениями — случаем с не улетевшей от раненой вороны другой птицей,— и М. М. Пришвин: «Быть может, эта раненая ворона была дочерью, и, как обыкновенно, мать прилетела к ребенку своему для защиты, как у Тургенева описана тетеревиха-матка: раненая, вся в крови прибежала на манок. Так постоянно бывает в куриной породе» (Пришвин М. М. Собр. соч. М., 1956. Т. 3, с. 425). Зарисовки, сделанные Тургеневым как будто непосредственно во время охотничьих блужданий, Пришвин называет «открытием им нового мира», когда «поэт» дает «сигнал» другому человеку и тот «повернет свои глаза в ту сторону, куда раньше он не смотрел» (там же, с. 568) [1].

---

[1] О «Перепелке» см. также: Громов В. А. Добрый великан. И. С. Тургенев и литература для детей. Тула, 1974, с. 50—57.

СТИХОТВОРЕНИЯ В ПРОЗЕ

(с. 123)

ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА

Черновые автографы шестидесяти восьми стихотворений в прозе, без заглавия, составляющие четыре группы в большой тетради среди автографов других произведений 1874—1879 годов: 1) 1 стихотворение, 1 с.; 2) 13 стихотворений, 6 с.; 3) 4 стихотворения, 2 с.; 4) 50 стихотворений, 38 с. с авторской пагинацией «1—40» (ошибочно пропущены цифры 37 и 38). Хранятся в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 86; описание см.: *Mazon*, p. 80, 83; фотокопии — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 258, 326, 262, 248.

«Я шел среди высоких гор...»—черновой первоначальный автограф. 1 с. почт. бум. Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 78; описание см.: *Mazon*, p. 95; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 234.

Черновой автограф стихов для «Двух четверостиший». Первоначальный набросок на обрывке листа почт. бум. Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 77; описание см.: *Mazon*, p. 101; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 241.

Беловой автограф восьмидесяти трех перенумерованных стихотворений, без заглавия, с предисловием «К читателю» и перечнем названий стихотворений под заглавием «Сюжеты». Тетрадь, 131 с. текста с авторской пагинацией «1—135» (ошибочно пропущены цифры 124—129 и не учтены первые 2 с.: «К читателю» и «Сюжеты»). Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 96; описание см.: *Mazon*, p. 90—91; фотокопии — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 316.

Перебеленные автографы на отдельных листах (с текстом на обеих сторонах) стихотворений: «Деревня», 2 с.; «Роза», 2 с.; «Лазурное царство (Сон)» и «Христос (Сон)», 2 с. Хранятся в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 77; описание см.: *Mazon*, p. 89—90; фотокопии — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 246, 245, 243.

«Senilia. [40] 50 стихотворений в прозе». Наборная рукопись; каждое стихотворение на отдельном листе (некоторые листы заполнены текстом и на обороте), без авторской пагинации; объединены и сброшюрованы в тетрадь с нумерацией по листам «1—55» (л. 2 — заглавие, л. 3 — «К читателю», л. 4 — перечень названий 40 стихотворений, л. 5—55 — текст 50-ти стихотворений). Хранится в *ИРЛИ*, собрание П. Я. Дашкова, ф. 93, оп. 2, № 260.

Корректура (гранки на папиросной бумаге) «Вестника Европы» с авторской правкой, 25 л. Гранки наклеены на чистые листы тетради вслед за наборной рукописью с нумерацией «56—106».

Письма к Стасюлевичу от 14(26) августа, 17(29) сентября, 29 сентября (11 октября), 3(15) октября, 4(16) октября, 13(25) октября,

14(26) октября 1882 г. с поправками к тексту «Стихотворений в прозе».

ВЕ. 1882, № 12, с. 473—520.

Первая часть стихотворений (см. с. 125—172) впервые опубликована: *ВЕ*, 1882, № 12, под заглавием: «Стихотворения в прозе И. С. Тургенева» и с предисловием «От редакции»; эта часть печатается по журнальному тексту с перечисленными ниже исправлениями по наборной рукописи и другим рукописным источникам, а также по письмам Тургенева к М. М. Стасюлевичу. В этом же разделе печатается (по наборной рукописи) и стихотворение «Порог» (с. 147—148), не помещенное в *ВЕ* по цензурным соображениям.

Вторая часть стихотворений (с. 173—189), при жизни автора не публиковавшихся, печатается по беловому автографу.

Исправления в первой части стихотворений:

Стр. 123, название цикла: «Senilia. Стихотворения в прозе» вместо «Стихотворения в прозе» (по наборной рукописи).

Стр. 125, строки 1—6 [1]*:* «К читателю» вместо «От редакции» (по беловому автографу и наборной рукописи).

Стр. 125, строка 3: «июня» вместо «июля» (по черновому и беловому автографам и перебеленным автографам на отдельных листах).

Стр. 125, строка 20: «дверями» вместо «дверьми» (по черновому и беловому автографам, перебеленным автографам на отдельных листах и наборной рукописи).

Стр. 128, строка 30: «что старушка» вместо «что эта старушка» (по черновому и беловому автографам и наборной рукописи).

Стр. 129, строка 3: «страшная неистовая буря» вместо «страшная буря» (по беловому автографу и наборной рукописи).

Стр. 129, строка 14: «махнет на него» вместо «махнет» (по беловому автографу и наборной рукописи).

Стр. 130, строка 18: «было ни темно, ни светло» вместо «не было ни темно, ни светло» (по черновому и беловому автографам).

Стр. 132, строка 11: «А нищий ждал» вместо «А нищий всё ждал» (по черновому и беловому автографам и наборной рукописи).

Стр. 132, строка 3: «Ты всегда говорил правду» вместо «„Услышишь суд глупца...“ Ты всегда говорил правду» (по черновому и беловому автографам и наборной рукописи).

Стр. 134, строки 19—20: «голоском» вместо «голосом» (по наборной рукописи).

Стр. 135, строка 36: «круча» вместо «кручь» (по *Письмам к Стасюлевичу*).

Стр. 136, строки 14—15: «армячишко на эти богатырские плеча» вместо «армячишка на эти богатырские плечи» (по черновому и беловому автографам и наборной рукописи).

Стр. 137, строка 36: «Злюка» вместо «Злюк» (по черновому и беловому автографам).

Стр. 137, строки 42—43: «не меняя ни манеры» вместо «не меняя манеры» (по черновому и беловому автографам).

Стр. 138, строка 45: «и юноши» вместо «а юноши» (по черновому и беловому автографам и наборной рукописи).

Стр. 141, строка 75: «Сообрази» вместо «Вообрази» (по черновому и беловому автографам и наборной рукописи).

---

[1] Строки здесь и ниже — по текстам каждого из стихотворений.

Стр. 142, строка 16: «ринулся» вместо «кинулся» (по черновому и беловому автографам и наборной рукописи).

Стр. 143, строки 1, 10—11 и 20: «Черепа», «черепов» и «черепа» вместо «Черепья», «черепьев» и «черепья» (по *Письмам к Стасюлевичу*).

Стр. 144, строка 27: «Вольно ж» вместо «Вольно же» (по черновому и беловому автографам и наборной рукописи).

Стр. 144, строки 30 и 45: «Петра́» вместо «Пётра» (по черновому и беловому автографам и наборной рукописи).

Стр. 144, строка 41: «Митряй» вместо «Митрий» (по черновому и беловому автографам и наборной рукописи).

Стр. 146, строка 1 (заглавие): «Памяти Ю. П. Вревской» вместо «Памяти Ю. П. В-вской» (по корректуре *ВЕ*).

Стр. 150, строка 14: «а богатство» вместо «и богатство» (по беловому автографу и наборной рукописи).

Стр. 152, строка 13: «небо» вместо «море» (по черновому автографу).

Стр. 160, строки 49—50: «я видел, как опустились и повисли ее руки, как окаменели ноги» вместо «я видел, как окаменели ее ноги» (по черновому и беловому автографам).

Стр. 162, строка 3: «в него» вместо «на него» (по черновому и беловому автографам).

Стр. 162, строки 3—4: «веселый день» вместо «весенний день» (по беловому автографу и наборной рукописи).

Стр. 165, строка 2: «в 1805 году» вместо «в 1803 году» (по беловому автографу и наборной рукописи).

Стр. 172, строка 3: «следующую» вместо «следующее» (по беловому автографу и наборной рукописи).

Стр. 177, строка 29: «Август, 1877» вместо «Август, 1878» (по черновому автографу).

Стр. 178: вставлены в двух случаях даты — «Январь, 1878» (по черновому автографу).

I

Первые черновые записи стихотворений 1877—1879 годов находятся в одной из тетрадей автографов Тургенева. В ней они еще не сформированы в единый цикл и разбросаны группами на листах между другими его произведениями, написанными в основном в середине и во второй половине 1870-х годов. На первом листе тетради — оглавление, составленное самим Тургеневым. В разных местах перечня произведений, содержащихся в этой тетради, трижды упоминаются: «6 страниц Posthuma», «2 стр. $^1/_2$ Posthuma» и «40 стр. Posthuma» [2]. «Posthuma» (лат.— «Посмертные») — первое заглавие цикла стихотворений, говорящее о том, что эти произведения не предназначались к печати при жизни автора. Это заглавие возникло после записи стихотворений в тетради, так как в самих черновиках оно нигде не встречается, но уже здесь есть оп-

[2] В описании этой тетради проф. А. Мазоном (*Mazon*, p. 80—84) зарегистрирована только последняя группа стихотворений (на с. 83), остальные им были пропущены.

ределение этого нового жанра: «Стихотворения без рифмы и размера» [3], отмеченное на полях перед стихотворением «Сон 1-й».

Раньше других, судя по датам, была написана группа стихотворений «2 стр. [1] 2 Posthuma», в которую вошли черновые тексты стихотворений «Дрозд I» и «Дрозд II», датированные августом 1877 г. Позднее на полях рукописи были записаны стихотворения «Соперник» и «Мне жаль...».

Следующая группа стихотворений — *6 страниц Posthuma* — заключала в себе сначала только восемь стихотворений без заглавий (каждое из них было обозначено крестиком и отделялось одно от другого пробелами), шесть из них датировано. Позднее над крестами некоторых стихотворений появились заглавия. К этой группе стихотворений относятся: *Без гнезда*, *Кубок*, без заглавия ⟨*Чья вина*⟩ — все три датированы январем 1878 г.; без заглавия и без даты ⟨*Деревня*⟩; [Сон 1-й] *Старуха (Сон)*, без даты; без заглавия ⟨*Разговор*⟩; *Враг и друг*, февраль 1878; «*Услышишь суд глупца и смех толпы холодной*», февраль 1878. Судя по почерку и цвету чернил, стихотворения записывались: сначала первые три и, возможно, четвертое и пятое; потом «Разговор»; наконец — седьмое и восьмое. Позднее, карандашом была поставлена нумерация около трех стихотворений: (1) Без гнезда, (2) Кубок, (3) Старуха. Помимо этих восьми стихотворений, на полях, более мелким почерком, позднее были набросаны еще пять: *Нищий*, *Близнецы*, *Собака*, *Проклятие*, *Довольный человек;* все они датированы февралем 1878 г. Наиболее трудными для чтения являются черновые тексты «Деревни» и «Старухи».

В оглавлении Тургенева не помечено одно стихотворение, без даты, набросанное отдельно, на оставшейся половине страницы после заключительных строк рассказа «Сон», который — как помечено тут же автором — был закончен 5(17) мая 1876 г. Это стихотворение, написанное вслед за стихотворениями «Дрозд. I. II», сначала, видимо, не имело и заглавия, так как надпись *Сон 1-й* ⟨Встреча⟩ сделана явно позднее. Тургенев думал им открыть серию «снов», судя по спискам, набросанным на полях тетради (см. с. 449).

Последняя группа — *40 стр. Posthuma* — черновики остальных пятидесяти стихотворений 1878—1879 годов. Ниже приводится перечень стихотворений в порядке их записи. В 1878 году записаны 34 стихотворения. С датой апрель: без заглавия ⟨Дурак⟩, без заглавия ⟨Чернорабочий и Белоручка⟩, *Черепья*, *Пир у Верховного Существа*, *Восточная легенда;* без даты: *Конец света* (Сон); апрель-май: *Два двустишия* ⟨Два четверостишия⟩; май: *Роза в грязи* ⟨Роза⟩, *Гад*, *Щи;* апрель-май: *Necessitas — Vis — Libertas (Барельеф)*, [Воробей] *Герой*, *Последнее свидание*, *Фантазия* ⟨Посещение⟩, *Житейское правило* ⟨«Хочешь быть...»⟩; май: *Порог*, *Насекомое* (Сон); апрель: *Маша!;* июнь: *Писатель и критик*, *С кем спорить;* июль: *Корреспондент*, *Старик*, *Два богача:* август: *Видение* ⟨Два брата⟩, Спасское; сентябрь: *Б. Ю. П. В.* ⟨Памяти Ю. П. Вревской⟩, [авг.], Спасское — Париж; декабрь: *Я шел среди высоких*

---

[3] Таким образом, надо критически отнестись к строкам в воспоминаниях М. М. Стасюлевича, якобы со слов самого Тургенева, о том, что эти стихотворения в прозе были лишь набросками его будущих больших произведений.

гор..., без заглавия ⟨Песочные часы⟩, *Христос (Сон)*, *Нимфы*, *Когда меня не будет...*, *Сфинкс*, *Эгоист* (2 редакции). Следующие 16 стихотворений записаны в 1879 году. С датой май: *Милостыня*, *Камень*, *Голубь* ⟨Голуби⟩[4], *Завтра... завтра...*; июнь: *Я встал ночью...*, *Лазурное царство;* август: *Сон* ⟨Природа⟩, *Повесить его!*, «Что я буду думать...»; сентябрь: «Как хороши, как свежи были розы...»; без даты: «Когда я один»; ноябрь: *Стой!*, без заглавия ⟨Мы еще повоюем, Н. Н., Морское плавание⟩; внизу страниц без даты и без заглавия — ⟨Монах⟩ и ⟨К***⟩; без даты — «О моя молодость!..»

На полях рукописи есть наброски неосуществленных замыслов. На с. 7, около текста «Двух двустиший» ⟨«Два четверостишия»⟩, написано заглавие и одна строка: ⟨*1 нрзб.*⟩. «Я еще не похоронен заживо, как он... но я» ⟨не закончено⟩. На с. 21 рядом со стихотворением «Б. Ю. П. В.» ⟨«Памяти Ю. П. Вревской»⟩ записан следующий текст, обведенный рамкой: «NB. Можно будет сделать когда-нибудь фантастический рассказ о человеке, убившем жену и которого потом преследует ее тень, привидение, которое *он сам никогда не видел*, но которое видят другие... Это должно довести его до отчаяния, до самообвинения, до самоубийства... Я видел такой сон,— из него можно нечто сделать».

Среди пачек других рукописей Тургенева есть два черновика, имеющих отношение к рукописям «Стихотворений в прозе»: первый черновой набросок стихотворения «Я шел среди высоких гор...» и черновик с вариантами стихов для «Двух четверостиший».

Черновые рукописи «Стихотворений в прозе» дают богатый материал для изучения их творческой истории, потому что все эти произведения очень тщательно отрабатывались писателем именно в черновиках. Не говоря уже об огромной работе стилистического характера, можно наблюдать, как первоначально скупая схема отражения какого-либо реального бытового факта обрастала фразами, сообщающими стихотворению особое настроение и глубокое смысловое обобщение. Той же цели служили и приписки заключительных фраз ко многим стихотворениям, сделанные позднее, уже после даты или рядом с датой (например, в стихотворении «Морское плавание», где конец увеличивался постепенно, в три приема, отчего содержание его все более приобретало окраску и настроение всего цикла «Senilia»). При всей тщательности стилистического и смыслового усовершенствования стихотворений, план и композиция каждого из этих маленьких произведений устанавливались сразу же и не менялись; каждое из них представлялось автору замкнутым и единым художественным целым.

Благодаря черновикам можно судить и о более точных датах, впоследствии измененных, некоторых стихотворений (см. ниже).

Последнее стихотворение в прозе в черновом автографе было помечено ноябрем 1879 г. С этого времени наступает перерыв в полтора года: следующая группа стихотворений появилась только в июне 1881 г. Однако писатель не перестает о них думать,— именно в это время он переписывает их набело. В парижском архиве Тургенева (Slave 96) сохранилась большая тетрадь, посвященная исключительно «Стихотворениям в прозе» (беловой автограф). Она

---

[4] В авторской дате к этому стихотворению описка: «Май 1878», исправленная в беловом автографе.

содержит в себе 83 стихотворения: 68, переписанных из чернового автографа, за 1877—79 годы и 15 новых, из которых семь написано в июне 1881 г., пять — в июне 1882 г., одно в октябре и два в ноябре 1882 г. Эта большая тетрадь особенно ценна для исследователей творчества Тургенева, являясь единственным полным собранием «Стихотворений в прозе», составленным самим автором в том порядке, какой представлялся ему в то время наиболее совершенным. По этой тетради, строго следуя композиции, определенной Тургеневым, «Стихотворения в прозе» впервые напечатал Шарль Саломон в переводе на французский язык в книге: T o u r g u é n e v. Poèmes en prose. Première traduction intégrale publiée dans l'ordre du manuscrit original autographe avec des notes par Charles Salomon. Gap. 1931. Там же в послесловии дано подробное описание de visu всей рукописи.

На первом листе тетради есть помета рукой Тургенева: «Эта книга куплена 12 фев./31 янв. 1878 в Париже»; тот же текст повторен и на французском языке. Вслед за ним, на другом листе, идет авторское обращение «К читателю». Над обращением в качестве эпиграфа цитировалась строка из стихотворения Шиллера «Текла» (см. комментарий, с. 476). Затем следуют 130 страниц текста стихотворений с авторской нумерацией «1—135», а в конце тетради — 23 чистых листа. Заглавия еще нет, но рукопись представляет собой законченный цикл «Стихотворений в прозе»; возможно, уже в 1880 году Тургенев мыслил видеть эти стихотворения напечатанными отдельной книгой, так как в этом варианте обращения «К читателю» было: «не читай этой *книжки* ⟨*курсив ред.*⟩ сподряд...»

На обороте первого листа Тургенев составил перечень стихотворений под заглавием «Сюжеты». Этот интересный документ нельзя считать оглавлением к тетради беловых автографов, потому что стихотворения здесь записаны в иной последовательности; вместе с тем он не является и списком стихотворений, составленным по черновой тетради, так как здесь нарушен хронологический порядок их написания. Впервые этот лист был воспроизведен фототипическим способом в указанной выше книге Ш. Саломона и к нему была дана расшифровка текста во французском переводе, не везде правильная.

Ниже приводится перечень стихотворений в порядке их авторской нумерации.

С ю ж е т ы

1. Черный дрозд. 1.2.
2. Без гнезда.
3. Кубок.
4. Чья вина?
5. На распутье (Герк⟨улес⟩).
6. Завидово.
7. Деревня. 1.2.
8. Разговор (две горы).
9. Памяти Ю. В.
10. 9 фев⟨раля⟩ 1821.
11. Два друга (Смерть, кот⟨орая⟩ приходит примирить).
12. Умирающая мать.
13. Нищий (руку пожал).
14. Черепья.
15. [К Н. Н. ⟨?⟩] Гад.
16. Капля.
17. Форум (с головой Цицерона).
18. Нимфы.
19. Соперник.
20. Мне жаль...
21. Собака.
22. Враг и друг.
23. Услышишь суд глупца...
24. Проклятие.
25. Довольный человек.
26. Близнецы.
27. Извозчик («Маша» ночью).

28. Роза (павшая в грязь).
29. Воробей (защ⟨ищает⟩ дет⟨ей⟩).
30. Елисейские поля (беспечальная).
31. Фантазия (Серо-розовая летучая мышь).
32. Порог.
33. Дурак (рец⟨ензент⟩).
34. Сила — [Право] — Свобода.— Необходимость.
35. [Восточная легенда] Пир у Верховного Существа.
36. Белоручка и Чернорабочий.
37. Восточная легенда.
38. [Двустишие] [Четверостишие] Два четверостишия.
39. Щи.
40. Писатель и критик.
41. Два плода.
42. Эгоизм и добродетель (Виардо).
43. Русский язык.
44. С кем спорить?
45. Корреспондент.
46. Старик.
47. Два богача.
48. О моя молодость!!!
49. Vagitus.
50. Любовь и Голод.
51. [Уходящая жизнь] Песочные часы.
52. Сфинкс.
53. Бедняк.
54. Камень.
55. Завтра, завтра!
56. Я встал ночью...
57. Природа.
58. Повесить его!
59. Что я буду думать...
60. Как хороши, как свежи были розы...
61. Светляк.
62. Стой!
63. Уистити.
64. Молитва.
65. Двойник.
66. Пришитые крылья (?). Две птичьих смерти.
67. Перепелка.
68. Встреча близ сада, 18-й и 20-й в.

Сны

1. Старуха.
2. Лазурное царство.
3. Конец света.
4. Женщина.
5. Христос.
6. Арабески.
   1. Дорога к солнцу.
   2. Планета.
7. Насекомое

Пейзажи

1. Морское плавание (Переезд в Англию из Гамбурга).
2. Тучи и белый голубь (в Спасском).

В этом перечне записано 80 названий стихотворений (если считать, что названия «Дрозд. 1.2» и «Деревня. 1.2» включают каждое по два стихотворения, что в «Арабесках» помечено два стихотворения под одним номером, что под № 66 написано два названия и что, вместе с тем, одно стихотворение повторяется дважды под разными наименованиями — «Морское плавание» и «Уистити»). Тургенев перенес из чернового автографа в перечень прежде всего названия стихотворений 1877—1879 годов, но не в порядке их создания; не вошли сюда следующие шесть названий: Житейское правило («Хочешь быть...»); К*** («То не ласточка...»); «Я шел среди высоких гор...»; «Когда меня не будет...» — все 1878 года; «Мы еще повоюем» и «Монах» — 1879 года. Пропуск их в перечне трудно объяснить. Девять стихотворений записаны под названиями, которые в черновом автографе не встречаются, но легко угадываются. Так, название: 11. Два друга (Смерть, которая приходит примирить) — соответствует содержанию стих. «Последнее свидание»; 27. Извозчик — стих. «Маша!»; 30. Елисейские поля (беспечальная) — вероятно, стих. «Н. Н.»; 42. Эгоизм и добродетель (Виардо) — стих. «Эгоист»; 49. Vagitus ⟨Крик⟩ — стих. «У-а...

У-а!..»: 50. Любовь и Голод — стих. «Два брата»; 53. Бедняк — стих. «Милостыня»; 63. Уистити — стих. «Морское плавание»; Тучи и белый голубь... (Пейзажи, 2) — «Голуби». Кроме стихотворений 1877—1879 годов, в список вошли и три стихотворения 1881—1882 годов, которые впервые были записаны в тетради беловых автографов: 43. Русский язык; 49. Vagitus ⟨У-а... У-а!⟩; 64. Молитва.

Большой интерес представляют 14 названий стихотворений, рукописи которых не обнаружены и которые большей частью, по-видимому, говорят о неосуществленных замыслах писателя. Это: 5. На распутье (Герк⟨улес⟩); 6. Завидово; 7. Деревня. 2. 10. 9 фев. 1821; 12. Умирающая мать; 16. Капля; 17. Форум (с головой Цицерона); 41. Два плода; 61. Светляк; 66. Пришитые крылья (?). Две птичьи смерти; 67. Перепелка; 68. Встреча близ сада, 18-й и 20-й в. Из раздела «Сны»: 6. Арабески. 1) Дорога к солнцу. 2) Планета. В этом списке встречается знакомое заглавие — «Перепелка». «Рассказ об умирающей перепелке», упоминаемый Тургеневым в письме от 27 января (8 февраля) 1881 г. к С. А. Толстой, вероятно, сначала в замыслах Тургенева и в его устных рассказах существовал как стихотворение в прозе: во всяком случае он близко примыкает и по теме и по настроению к циклу, почему Тургенев и внес его в этот список (как рассказ он возник позднее — автограф датируется 23 сентября (5 октября) 1882 г.). С замыслами под № 5 и 6 мы встречаемся еще в черновиках 1877—1878 годов. На полях страницы с записью «Сна 1-го» ⟨Встреча⟩ находится следующий список: «Черный дрозд. I. ⟨Черный дрозд⟩. II. Завидово (два лица). Геркулес». Едва ли возможно будет раскрыть содержание всех этих замыслов,— известные до сих пор рукописные материалы и переписка Тургенева не содержат на этот счет каких-либо данных. Однако упоминания о них или пересказ их содержания могут встретиться в мемуарах. Так, Я. П. Полонский в своих воспоминаниях («И. С. Тургенев у себя, в его последний приезд на родину») передает устные рассказы Тургенева,— в частности, «Капля жизни» и о планете (ср. в перечне — «Капля» и «Планета»).

Заслуживает внимания и попытка писателя выделить некоторые из стихотворений в разделы: «Сны» и «Пейзажи». Списки под названием «Сны» мы встречаем дважды на полях его черновых рукописей. В первый раз список из трех снов («Сон 1-й», «Лазурь» и «Конец света») дан на полях черновика «Сон 1-й»; второй раз — из четырех снов («Встреча», «Лазурное царство», «Старуха», «Насекомое») — на полях черновика «Старуха». В перечне мы встречаемся уже со списком из восьми снов.

Названия большей части стихотворений в списке отмечены крестиками; Тургенев ставил их, видимо, около названий тех стихотворений, которые им были уже написаны или переписаны в тетрадь. Крестиков нет прежде всего у тех стихотворений, которые так и остались для нас неизвестными: у № 5, 6, 10, 12, 16, 17, 41, 61, 66 (два названия), 67, 68. Исключением являются два названия «Арабесок», замысел которых, вероятно, был реализован, но рукописи их до нас не дошли. Названия «Черный дрозд. 1.2» отмечены двумя крестиками,— как два самостоятельных произведения, оба переписанные в тетрадь. Напротив, около названия «Деревня. 1.2» стоит только один крестик, свидетельствующий о том, что второе стихотворение под тем же заглавием осталось неосуществленным замыслом автора. Нет крестиков около двух

стихотворений, существующих тут же, в беловой рукописи: 43. Русский язык (июнь 1882 г.) и 49. Vagitus ⟨У-а... У-а!..⟩ (ноябрь 1882 г.). Очевидно, когда создавался перечень, они еще не были записаны. Из трех стихотворений 1881—1882 годов только одно — 64. «Молитва» (июнь 1881 г.) — сопровождено крестиком — к этому времени оно было уже написано.

Перечень названий Тургенев начал составлять раньше переписывания стихотворений из черновой тетради в беловую, судя по тому, что некоторые стихотворения носят еще свои первоначальные названия. Список составлялся в несколько приемов. Доведя его до 30-го, а потом до 38-го номера и записав в разделе «Сны» пять стихотворений, а в разделе «Пейзажи» — два, Тургенев в правом верхнем углу пометил: «6 апр. [45] 47 ст⟨ихотворений⟩». Это было, видимо, 6 апреля 1880 г. Потом, разными почерками в три приема, записи велись уже на свободных местах листа. Перечень продолжался, судя по названиям более поздних стихотворений, и в 1881 году [5]. Можно предположить, что переписка стихотворений набело также началась с первой половины 1880 года.

В беловом автографе стихотворения в прозе все перенумерованы и записаны в следующем порядке: 1. Деревня. 2. Старуха (Сон). 3. [Женщина] Встреча (Сон). 4. Нищий. 5. Соперник. 6. Мне жаль... 7. Разговор. 8. Собака. 9. Враг и друг. 10. «Услышишь суд глупца и смех толпы холодной...» (Пушкин). 11. Довольный человек. 12. [Манфред] Проклятие. 13. Близнецы. 14. Дрозд. I. 15. Дрозд. II. 16. Без гнезда. 17. Кубок. 18. Чья вина? 19. Дурак. 20. Чернорабочий и Белоручка (Разговор). 21. Пир у Верховного Существа. 22. Черепья. 23. Восточная легенда. 24. Конец света (Сон). 25. Два четырехстишия. 26. Роза. 27. Маша! 28. Necessitas, Vis, Libertas (Барельеф). 29. Воробей. 30. Последнее свидание. 31. Житейское правило («Хочешь быть спокойным...»). 32. [Фантазия] Посещение. 33. Порог. 34. Насекомое (Сон). 35. Гад. 36. Щи. 37. Писатель и критик. 38. С кем спорить? 39. Корреспондент. 40. Старик. 41. «О моя молодость! О моя свежесть!» (Гоголь). 42. К***. 43. Два богача. 44. Два брата. 45. Памяти Ю. П. В. 46. «Я шел среди высоких гор...» 47. Когда меня не будет... 48. Христос (Сон). 49. Песочные часы. 50. Нимфы. 51. Эгоист. 52. Сфинкс. 53. Милостыня. 54. Камень. 55. Голуб[ь]и. 56. Завтра! Завтра! 57. Я встал ночью... 58. Лазурное царство (Сон). 59. Природа (Сон). 60. Повесить его! 61. «Как хороши, как свежи были розы...» 62. Что я буду думать... 63. Когда я один... (Двойник). 64. Н. Н. 65. Морское плавание (Пейзаж). 66. Монах. 67. Стой! 68. Мы еще повоюем! 69. Путь к любви. 70. Фраза. 71. Простота. 72. Брамин. 73. Ты заплакал. 74. Любовь. 75. Молитва. 76. Истина и Правда. 77. Куропатки. 78. [Stoßseufzer] Nessun maggior dolore. 79. Русский язык. 80. Попался под колесо. 81. Житейское правило («Если вы желаете...»). 82. У-а... У-а!.. 83. Мои деревья.

Переписывая свои стихотворения в прозе с черновиков в тетрадь беловых автографов и тем самым впервые создавая цикл, Тур-

---

[5] На свободном месте посредине листа можно прочесть слабо намеченные штрихи карандашом: «Савина мне ⟨*1 нрзб.*⟩ цал⟨овала⟩ руку». Время наибольшей дружбы Тургенева с М. Г. Савиной приходится на февраль — июнь 1880 г. и на июль — август 1881 г., когда Тургенев жил в России.

тенев не разместил их по разделам. Стихотворения, значащиеся в Перечне под рубрикой «Сны», были включены в общий хронологический ряд с подзаголовком «Сон», так же как и «Морское плавание» с подзаголовком «Пейзаж».

В основном в тетради беловых автографов был соблюден хронологический порядок следования стихотворений (под каждым из них была поставлена дата, как и в черновом автографе), но в самом начале цикла были сделаны отступления. Сначала Тургенев переписал тринадцать стихотворений, созданных им в феврале 1878 г., стихотворения «Дрозд I и II» (1877 г.); дальше переписаны три стихотворения от января 1878 г. и затем, начиная с апреля 1878 г., идут стихотворения в хронологическом порядке. Однако Тургенев изменил здесь даты некоторых стихотворений.

По-видимому, эти переделки были вызваны заботой Тургенева об эстетическом восприятии будущими читателями всего цикла в целом. Об этом говорят отступления от хронологического принципа в начале рукописи, даже с изменением первоначальных дат; на это же указывают и замечания на полях о расположении некоторых стихотворений в композиции всего цикла (см. комментарий к стихотворениям «Близнецы», «Посещение», «Насекомое», «Гад»).

Мыслями о том, как будет выглядеть цикл «Стихотворений в прозе» в печати, объясняется и дальнейшая работа Тургенева над усовершенствованием, т. е. непосредственно над текстом этих произведений. Здесь впервые даны заглавия стихотворениям: «Деревня», «Чья вина?», «Разговор», «Дурак», «Чернорабочий и Белоручка», «Житейское правило» (1878 г.), «К***», «Песочные часы», «Мы еще повоюем!», «Н. Н.», «Морское плавание», «Монах». Получили другие заглавия стихотворения: «Встреча», «Роза», «Воробей», «Посещение», «Два брата», «Голуби», «Природа». Очень немногие стихотворения были переписаны почти без правки. В большую же часть текстов Тургенев продолжал вносить — чернилами, а затем карандашом — довольно многочисленные поправки стилистического характера, в частности, уничтожил случайно получившиеся ритмы стиха и рифмы. Очень существенны различные вставки в текст, способствовавшие созданию общего настроения для всего цикла при всем разнообразии его тематики (интересны, например, вставки в стихотворениях «Собака», «Порог», «Эгоист», «Что я буду думать...», «Монах»). Большой правке, как и в черновике, снова подверглась «Деревня».

Всё сказанное выше относится к первой, бо́льшей части рукописи — к стихотворениям 1877—1879 годов, которые в тетради в 130 страниц заняли 117 страниц текста. После перерыва в полтора года, с июня 1881 г. Тургенев стал записывать в эту тетрадь новые стихотворения — тетрадь с беловыми автографами с этого времени получила вид черновой рукописи. В июне 1881 г. Тургенев написал семь стихотворений (№ 69—75), дошедших до нас в единственной редакции, за исключением «Молитвы», отделкой которой Тургенев усиленно занимался, подготавливая ее к печати.

Еще целый год не вписывал Тургенев в тетрадь беловых автографов ни одного произведения. В июне 1882 г. он записал пять новых стихотворений в прозе (№ 76—80), над которыми, особенно над «Истиной и Правдой», он много работал, но только одно из них, «Русский язык», было напечатано при жизни писателя.

В августе 1882 г. Тургенев обещал Стасюлевичу дать «Стихотворения в прозе» в его журнал. Писатель стал активно готовить

их, и в беловой тетради появились еще три стихотворения: 81. «Житейское правило» (октябрь); 82. «У-а... У-а!..» (ноябрь); 83. «*Мои* деревья» (ноябрь). Над этими стихотворениями Тургенев тщательно работал, особенно над последними двумя, которые испещрены поправками. Он явно готовил их к печати, но при его жизни им (№ 82 и 83) не суждено было увидеть свет.

На последней странице рукописи карандашом обозначено: «1883!» — однако под этим годом уже ничего не было написано.

Три отдельных листа со стихотворениями «Деревня», «Роза», «Лазурное царство» и «Христос», сохранившиеся в парижском архиве Тургенева, представляют собой перебеленные автографы из беловой тетради с небольшой правкой, после которой «Лазурное царство» и «Роза» не имеют разночтений с наборной рукописью: в «Деревне» сохраняются самостоятельные варианты с некоторым сокращением текста белового автографа; стихотворение «Христос» имеет небольшие разночтения с окончательным текстом. Эти автографы являются промежуточным звеном между текстами беловой тетради и наборной рукописи. Возможно, они были приготовлены для каких-нибудь переводов на иностранные языки.

II

Появление «Стихотворений в прозе» в печати было следствием настойчивых просьб к Тургеневу со стороны редактора «Вестника Европы» М. М. Стасюлевича, посетившего писателя в Буживале 31 июля (12 августа) 1882 г. Сам Стасюлевич подробно рассказал об этой встрече:

«Среди разговора я спросил Тургенева, не читал ли он в английских газетах приятное известие, будто он дописывает большой роман. Он энергически отрицал этот слух. ⟨. . .⟩ „Впрочем,— прибавил он, подумав: — хотите я докажу вам на деле, что я не только не пишу романа, но и никогда не буду писать!“ Затем он наклонился и достал из бокового ящика письменного стола портфель, откуда вынул большую пачку написанных листков различного формата и цвета. На выражение моего удивления: что это такое может быть? — он объяснил, что это нечто вроде того, что художники называют эскизами, этюдами с натуры, которыми они потом пользуются, когда пишут большую картину. Точно так же и Тургенев, при всяком выдающемся случае, под живым впечатлением факта или блеснувшей мысли, писал на первом попавшемся клочке бумаги и складывал всё в портфель. „Это мои материалы,— заключил он: — они пошли бы в дело, если бы я взялся за большую работу; так вот, чтобы доказать вам, что я ничего не пишу и ничего не напишу, я запечатаю всё это и отдам вам на хранение до моей смерти“. Я признался ему, что я все-таки не хорошо понимаю, что это такое за „материалы“, и просил его, не прочтет ли он мне хоть что-нибудь из этих листков. Он и прочел сначала „Деревню“, а потом „Машу“. Мастерское его чтение последней подействовало на меня так, что мне не нужно было ничего к этому присоединять; он прочел еще две-три пьесы.— Нет, И. С.,— сказал я ему: — я не согласен на ваше предложение; если публика должна ждать вашей смерти для того, чтобы познакомиться с этою прелестью, то ведь придется пожелать, чтобы вы скорей умерли; на это я не согласен; а мы просто напечатаем всё это теперь же.— Тут он мне объяснил, что между этими фрагментами есть такие, которые никогда или

очень долго еще не должны увидать света: они слишком личного и интимного характера. Прения наши кончились тем, что он согласился переписать только те, которые он считает возможными для печати; и действительно, недели через две прислал мне листков 50, тщательно и собственноручно переписанных им, как это всегда бывало с его рукописями. При обратном моем проезде, когда я был у него 5 [6] сентября ⟨1882⟩ в последний раз, Тургенев выразил сомнение относительно только одной пьесы, особенно замечательной ⟨„Порог“⟩, и потом кончил тем, что в корректуре вынул ее и заменил другою» [7].

Тургенев прислал Стасюлевичу сначала не пятьдесят, а только сорок стихотворений, сопроводив их перечнем на отдельном листе, а затем, вместе с письмом от 5(17) августа 1882 г., послал «еще десяток», «для укомплектования полсотни», а именно: «Собака», «Нищий», «Услышишь суд глупца...», «Последнее свидание», «Два богача», «Корреспондент», «Стой!», «Монах», «Мы еще повоюем!», «Русский язык» [8].

В том же письме Тургенев просил Стасюлевича перечесть стихотворения, а затем переслать всю рукопись Анненкову,— «так как,— пишет Тургенев,— без его окончательного рассмотрения я до сих пор ничего не печатал и впредь не намерен». В Буживале 3(15) сентября 1882 г. состоялось второе свидание Тургенева со Стасюлевичем. А на другой день после встречи и заключительной беседы со Стасюлевичем Тургенев писал Анненкову, что «Стихотворения в прозе» он передал в «Вестник Европы» «с непременным условием, чтобы они были посланы Вам и чтобы Вы разрешили следующие вопросы: a) следует ли их вообще печатать? b) следует ли выставить мое имя? c) если печатать, то какие выкинуть? Это было мое conditio sine qua non ⟨обязательное условие⟩. Стасюлевич согласился...»

В архиве М. М. Стасюлевича сохранился чистовой автограф стихотворений в прозе на отдельных листах (наборная рукопись) и корректурные гранки с авторской правкой. Впоследствии все листы вместе с гранками были подклеены и переплетены в отдельную книгу в том порядке, в каком они напечатаны в «Вестнике Европы». Рукопись начиналась с титульного листа, на котором цикл впервые получил заглавие, данное ему автором — «Senilia».

О заглавии «Стихотворения в прозе» в трудах о Тургеневе нередко сообщались неверные или неточные сведения: некоторые исследователи ошибочно считали, что оно было дано не самим Тургеневым, а М. М. Стасюлевичем [9]. Рукописи Тургенева дают

---

[6] В дате допущена ошибка: правильно —3 (15) сентября. См. письмо Тургенева к П. В. Анненкову от 4(16) сентября 1882 г.

[7] Стасюлевич М. М. Из воспоминаний о последних днях И. С. Тургенева.— *ВЕ*, 1883, № 10, с. 849—850.

[8] Относительно выбора стихотворений для печати Тургенев писал позднее Д. В. Григоровичу 3(15) декабря 1882 г.: «...я никакого *выбора* не делал, я только откинул все личные, автобиографические, которые я никому не читал и не прочту — так как они предназначены к уничтожению вместе с моим дневником».

[9] Н. Энгельгардт (в статье «Мелодика тургеневской прозы» — *Творч путь Т*, с. 34) утверждал: «Заглавие „Стихотворения в прозе“ было дано издателем М. М. Стасюлевичем и взято им у Бодлера».

возможность проследить, как это заглавие менялось и когда оно возникло.

Ни в черновом, ни в беловом автографах заглавия цикла не было. Правда, уже в черновом автографе мы встречаем наименование его. В оглавлении к большой тетради чернового автографа, очевидно в 1879 г., Тургенев называет свои стихотворения «Posthuma» ⟨«Посмертные»⟩. В этой же тетради, на полях черновика «Сон 1-й», он указал на их жанровый признак: «Стихотворения без рифм и размера». Очевидно, уже после того, как Тургенев решил печатать цикл в «Вестнике Европы», в черновом автографе на полях наброска «Деревни» он написал: «Сор⟨ок⟩ стих⟨отворений⟩ в прозе». Однако на заглавном листе рукописи, посланной им для набора в «Вестник Европы» (наборная рукопись), было тщательно и узорно выведено: «Senilia», а ниже — «40 стихотворений в прозе» в качестве подзаголовка (цифра «40» Стасюлевичем переправлена на «50»)[10].

В письме к Анненкову из Буживаля от 4(16) сентября 1882 г. Тургенев засвидетельствовал, что стихотворения в прозе он озаглавил сперва «Posthuma», потом «Senilia», но что Стасюлевич желал бы дать им название «Зигзаги». Заглавие «Зигзаги» действительно некоторое время упоминалось в переписке Тургенева. В письме к А. Н. Пыпину от 31 июля (12 августа) 1882 г., рассказывая о стихотворениях в прозе, Стасюлевич, между прочим, объяснил, почему он выдумал для них заглавие «Зигзаги»: «...и все-таки я Вам не дал полного понятия об этих „зигзагах", которые коротки как молнии и как молния внезапно освещают пред Вами громадные перспективы» (*Лит Насл*, т. 73, кн. 1, с. 410)[11]; в этом же письме Стасюлевич, однако, сообщил также, что эти «листки, наброски, зигзаги, силуэты» «сам Тургенев называет ⟨. . .⟩ — „Стихотворения в прозе"».

Разрешение на заглавие «Стихотворения в прозе» Тургенев дал в своем письме к Стасюлевичу от 29 сентября (11 октября) 1882 г.: «Со всеми Вашими предложениями насчет заглавия и т. д. вполне согласен». Во французском переводе, появившемся в декабре 1882 г., цикл был назван «Petits poèmes en prose». Однако в письме к Л. Пичу от 13(25) декабря 1882 г. мы находим опять два названия. «За последние четыре года,— пишет Тургенев,— не написав ничего более или менее значительного и длинного, я набросал целый ряд „Маленьких стихотворений в *прозе*" (так как, к сожалению, я совсем не поэт) на отдельных листках. О напечатании их я никогда не думал. Но вот до моего русского издателя дошли какие-то слухи о них — и он уговорил меня дать ему около пятидесяти

М. К. Клеман (*Клеман, Летопись*, с. 316), неправильно толкуя одно из писем Тургенева от 29 сентября (11 октября) 1882 г., также утверждал, что Тургенев «соглашается на предложенное Стасюлевичем заглавие „Стихотворения в прозе" для отрывков „Senilia"».

[10] См. иллюстрацию на с. 131.

[11] Слово «зигзаги» было популярно в те годы. «Зигзагами» композитор Н. В. Щербачев назвал серию небольших пьес для фортепьяно (см. отзыв о них Тургенева в письме к В. В. Стасову от 12(24) декабря 1874 г.). Словом «Zigzags» Т. Готье назвал сборник своих небольших рассказов.

этих „Senilia“ (таково, собственно, было их *названис*) для его журнала — конечно, строжайшим образом очистив их от всего автобиографического и личного 〈...〉 Собственно говоря, это не что иное, как последние тяжкие вздохи (вежливо выражаясь) старика». В 1883 г. при жизни Тургенева в переводах существовали одновременно оба названия: например, сборник, изданный в Лейпциге, назывался «Senilia», а в Бреславле — «Gedichte in Prosa». В настоящем издании сохранено двойное название, которое было дано самим Тургеневым в наборной рукописи.

Кроме заглавия цикла, долго обсуждавшегося между Тургеневым и Стасюлевичем, перед публикацией «Стихотворений в прозе» возникали и другие вопросы. Так, например, Стасюлевич, видимо, хотел сначала печатать стихотворения без заглавий, о чем узнаём из письма Тургенева к нему от 17(29) сентября 1882 г.: «Кстати 〈...〉 не лучше ли оставить заглавия стихотворений? А то выходит немного *стадно*.— В случае нужды — их можно уничтожить на корректурах». Заглавия стихотворений Стасюлевич сохранил, зато предложил Тургеневу, вместо его обращения «К читателю», напечатать предисловие «От редакции» (см. комментарий на с. 476).

Переписывая стихотворения из тетради беловых автографов в наборную рукопись, Тургенев внес в текст незначительные исправления.

В журнале стихотворения были распределены в хронологическом порядке по двум разделам: «I. 1878-й год» (перед стихотворением «Деревня») и «II. 1879—1882 гг.» (перед стихотворением «Камень»). К стихотворениям «Житейское правило», «Враг и друг» и «Пир у Верховного Существа» даты были поставлены произвольно (см. об этом в комментариях к каждому из этих стихотворений).

Стасюлевич отправил Тургеневу в Буживаль корректуру «Стихотворений в прозе» 27 сентября (9 октября) 1882 г. (см.: *Стасюлевич*, т. 3, с. 209). Одновременно гранки были отправлены и Анненкову в Баден-Баден, и тот прислал 2(14) октября Тургеневу восторженный отзыв о стихотворениях: «Общий их характер просто ослепил меня: темные кружки пошли в глазах, а из этих кружков стал выделяться удивительно симпатичный образ автора — что за гуманность, что за теплое слово, при простоте и радужных красках, что за грусть, покорность судьбе и радость за человеческое свое существование. Вы написали себе панегирик, Иван Сергеевич, этими стихотворениями и очень ошиблись, думая, что в них нет ничего личного, субъективного. Личное-то в них и играет первую и самую блестящую роль; личное-то и составляет их parfum 〈аромат〉 и прелесть. Некоторые из рассказов мне показались бессодержательными или я их не понял. Таковы „Соперник“ и „Конец света“, но сохрани Вас бог дотронуться до них или выкинуть их: весь чудный аккорд будет нарушен, они необходимы в нем, как, пожалуй, неправильности в ином лице, которые составляют часто его красоту. Да и за один их язык они должны остаться там, где стоят,— и от них несется та же очаровательная нота, как и от всех других». Сделав несколько мелких замечаний частного характера (они приведены ниже в комментариях к отдельным стихотворениям). Анненков заканчивал свой отзыв наблюдением, что Тургенев злоупотребляет подзаголовком «Сон»: «Или всё сон, или ничего не сон в этих стихотворениях, и нет причин награждать одни из них *извинительной* надписью, а другие нет. Во всяком случае они,

повторяю, представляют оригинальное и обаятельное явление в высшей степени, и я жду с любопытством, какое впечатление произведут они на нашу публику» (*ИРЛИ*, ф. 7, ед. хр. 13, л. 85—86).

Получив это письмо, Тургенев ответил 5(17) октября 1882 г. Анненкову: «Ваш отзыв о моих „Стихотворениях“ меня искренне обрадовал и — успокоил. Теперь я уже не сомневаюсь в том, что следовало их напечатать». В тот же день, когда было написано письмо Тургеневу с приведенным отзывом, Анненков написал и Стасюлевичу: «Хочу Вас поблагодарить за эту ткань из солнца, радуги, алмазов, женских слез и благородной мужской мысли, которая называется „Стихотворения в прозе“ и которую Вы мне переслали. Я уже писал о ней автору...» (*Стасюлевич*, т. 3, с. 406).

Письмом от 3(15) октября Тургенев известил Стасюлевича о том, что он получил корректурные листы «Стихотворений в прозе». На следующий же день, вместе с своим письмом, он отправил корректуру обратно. В этом и следующих письмах Тургенев сообщает Стасюлевичу о заменах, произведенных им в тексте, и о выправленных опечатках. Сохранившаяся корректура с правкой Тургенева показывает, что писатель выполнил все предложения Анненкова, в частности вычеркнул подзаголовок «Сон» у стихотворений «Старуха», «Насекомое», «Лазурное царство», «Христос» и «Природа» (о других исправлениях текста и связанной с этим перепиской со Стасюлевичем см. комментарии к отдельным стихотворениям).

Еще декабрьский номер «Вестника Европы» не вышел в свет, как Стасюлевич начал просить Тургенева прислать ему для печати следующие пятьдесят стихотворений, на что писатель ответил ему 5(17) ноября 1882 г.: «...я едва ли буду в состоянии выслать Вам скоро вторую полсотню (сперва надо посмотреть, как публика проглотит первую) — так как бо́льшая часть *этих* „Стихотворений в прозе“ — характера автобиографического, то есть неудобного к публикации». Однако в то же время, 18(30) октября, Тургенев пишет А. В. Топорову, что к последнему тому своих сочинений, которые тогда печатались, он приложит ряд произведений «и „Стихотворения в прозе“ — в хронологическом порядке. (Также будет прибавлено, если я что-нибудь еще напишу в 83-м году.)». Позднее, 15(27) июля 1883 г., Тургенев обещал И. И. Глазунову, что он доставит в X том своих сочинений «и продолжение стихотворений в прозе». Однако в т. IX Сочинений 1883 г. «Стихотворения в прозе» были перепечатаны без изменений из «Вестника Европы» [12].

В конце 1920-х годов проф. А. Мазон, получивший доступ к бумагам Тургенева, хранившимся у наследников П. Виардо, нашел среди них рукописи «Стихотворений в прозе». Помимо тех, которые были напечатаны самим Тургеневым в «Вестнике Европы» или сообщены им Стасюлевичу («Порог», «С кем спорить»), рукописи содержали еще 31 стихотворение (*Mazon*, p. 35—36, 83, 89—91, 100, 101).

---

[12] Любопытно, что в Харькове в 1883 г. появилось следующее издание: «Стихотворения в прозе И. С. Тургенева. Печатано с разрешения и дозволения редактора „Вестника Европы“ и автора 3 января 1883 года» (*БАН*).

Первое сообщение о находке этих рукописей и перечень неопубликованных отрывков А. Мазон дал в небольшой статье: «Подлинный текст стихотворений в прозе И. Тургенева», напечатанной в 1927 г. в Праге, в сборнике в честь проф. В. Тилле [13]. Два года спустя французский перевод этих не известных ранее «Стихотворений в прозе», сделанный Шарлем Саломоном непосредственно с рукописи (до опубликования русского подлинника), А. Мазон напечатал со своей вводной статьей в журнале «Revue des Deux Mondes» [14]. Вскоре увидели свет и русские тексты указанных стихотворений, получивших произвольное название «новых»: они напечатаны отдельной книгой параллельно с французскими переводами, выполненными Ш. Саломоном, и со вступительной статьей А. Мазона [15].

Это издание вызвало к себе большой интерес как за рубежом, так и у нас и поставило перед необходимостью выпустить издание всего цикла «Стихотворений в прозе». Выполнение этой задачи, однако, замедлилось.

Первую попытку в этом отношении предпринял тот же Ш. Саломон, напечатавший в небольшом количестве экземпляров все 83 «Стихотворения в прозе» по беловому автографу, в собственных французских переводах, с описанием их рукописей и ценными, хотя и немногочисленными, примечаниями [16]. Французский читатель получил хороший перевод этого цикла произведений Тургенева. Ш. Саломон, бывший выдающимся переводчиком, вместе с А. Мазоном и его сотрудниками проделал огромную работу по прочтению рукописей ни разу не публиковавшихся стихотворений. Пользуясь, однако, черновыми рукописями Тургенева, переводчик несколько мест в них прочел неправильно, вследствие чего в истолковании и комментировании отдельных «стихотворений в прозе» утвердились некоторые искажения, из французских изданий перешедшие также в русские.

---

[13] Sbornik praci venovanych prof. Václavu Tillovi. Praha, s. 132—137.

[14] Tourguénev I. Nouveaux poèmes en prose.— Revue des Deux Mondes, 1929, vol. IV, 15 Novembre, p. 289—311. Эта публикация вызвала быстрый отклик А. Луначарского: в статье «Неизданные стихотворения в прозе Тургенева» (Огонек, 1930, № 1) он дал их первую характеристику на русском языке и привел некоторые отрывки из них «в обратном переводе с французского языка на русский», так как подлинный русский текст был еще недоступен. А. Луначарский хорошо понимал, что сделанные им обратные переводы «не могут дать сколько-нибудь полного отражения художественно-ритмической прелести подлинника», но спешил поделиться интересной находкой с читателями журнала в ожидании, когда эти «великолепные страницы» Тургенева будут обнародованы в русском оригинале.

[15] Tourguénev. Nouveaux poèmes en prose. Texte russe publié par André Mazon. Traduction de Charles Salomon. Editions de la Pléiade. Paris, 1930; Петухов Е. Новое о Тургеневе.— Изв. по рус. яз. и слов. АН СССР. 1930, т. III, кн. 2, с. 599—612.

[16] Tourguénev. Poëmes en prose. Première traduction intégrale publiée dans l'ordre du manuscrit original autographe avec des notes par Charles Salomon. Gap, 1931, 141 p. (Эта книга вышла в ко-

В 1931 г. под редакцией Б. В. Томашевского вышло отдельное издание «Стихотворений в прозе». В этом издании впервые объединены как те стихотворения, которые были опубликованы самим Тургеневым, так и «Новые стихотворения в прозе», извлеченные А. Мазоном из рукописей. Тексты их опубликованы в том порядке и в том их прочтении, какое было дано в названном выше французском издании 1930 года[17].

III

Современники свидетельствуют, что Тургенев долгое время держал в тайне свои «Стихотворения в прозе» и не готовил к печати до тех пор, пока они не сложились в целый цикл. Лишь немногие из его друзей знали об этих его произведениях. Летом 1881 г., в Спасском, Тургенев прочел пять стихотворений в прозе Я. П. и Ж. А. Полонским,— какие именно — остается неизвестным; с какими-то стихотворениями он познакомил также М. Г. Савину; о существовании их вскоре после того узнали в Буживале П. Л. Лавров[18], затем М. М. Стасюлевич. Познакомил он с некоторыми из них и своих зарубежных друзей. Л. Пич вспоминал, что в последние годы своей жизни, когда Тургеневым всё сильнее овладевала старческая тоска, «он написал много поэтических видений, воспоминаний и аллегорий глубоко пессимистического содержания, замечательных то грандиозной смелостью, то увлекательной грацией рисунка. Он называл эти произведения „Senilia"»[19].

В сентябре — ноябре 1882 г., пока шла подготовка рукописи «Стихотворений» к набору, о существовании цикла стало известно довольно широкому кругу литераторов; некоторым из них Стасюлевич давал рукопись на короткое время для ознакомления. А. Ф. Кони вспоминает, что он был одним из тех, кто имел рукопись в своих руках осенью 1882 г. «Рукопись дана была мне поздно вечером до утра, и я провел всю ночь, читая и несколько раз перечи-

---

личестве 150 экземпляров, являющихся оттисками из редкого провинциального издания: «Bulletin de la société d'Etudes des Hautes Alpes», 1931, p. 397—531.) Помимо переводов всех «Стихотворений в прозе» (p. 7—111) здесь дано описание белового автографа (p. 115—123), анализ рукописного текста (p. 123—133), хронологические таблицы и несколько воспроизведений рукописей.

[17] Тургенев И. С. Стихотворения в прозе. М.; Л.: Academia, 1931. Б. В. Томашевский учел описания рукописей «Стихотворений» и комментарии к ним, сделанные А. Мазоном и Ш. Саломоном. Благодаря любезности А. Мазона ему удалось получить фотокопии автографов двух стихотворений: «Путь к любви» и «Истина и Правда»,— конец которых не был напечатан в парижском издании со ссылкой на неразборчивость текста. Эти стихотворения были прочтены Б. В. Томашевским и напечатаны полностью как в этом издании, так и в последующих его перепечатках — в частности, в *Т. СС*, т. 8.

[18] В своих воспоминаниях о Тургеневе П. Л. Лавров говорит, что «на балконе в Буживале, поздним летом 1882 г.» Тургенев прочел ему «из своих „Стихотворений в прозе" — „Разговор", „Чернорабочий и белоручка", „Порог" и что-то еще» (*Революционеры-семидесятники*, с. 74).

[19] Иностранная критика о Тургеневе. СПб., 1884, с. 178.

тывая эти чудные вещи, в которых не знаешь, чему больше удивляться — могучей ли прелести русского языка или яркости картин и трогательной нежности образов. Я высказал все это в письме к Стасюлевичу ⟨. . .⟩ а он, как оказалось, послал мое письмо в подлиннике Тургеневу»[20].

В сентябре 1882 г. Стасюлевич ездил в деревню к К. К. Арсеньеву, видимо имея при себе рукопись «Стихотворений в прозе» и читал их хозяину. «Вчера,— писал Тургенев Стасюлевичу 17(29) сентября 1882 г.,— я получил Ваше письмо из деревни Арсеньева и очень обрадовался его отзыву ⟨. . .⟩ Он человек с верным и тонким вкусом. Желаю, чтобы его предсказанья хотя отчасти оправдались». В тот же день Тургенев извещал М. Г. Савину, что она, вероятно, сможет прочесть в декабрьской книжке «Вестника Европы» «штук пятьдесят тех „Стихотворений в прозе", из которых я Вам сообщил два, три в Спасском. *Только не те, которые я Вам сообщил.* Эти, как слишком личные, исключены совершенно». Об этом Тургенев написал тогда же и Ж. А. Полонской.

Чем ближе становился срок выхода декабрьской книжки «Вестника Европы», где «Стихотворения» должны были появиться, тем отчетливее было нетерпение Тургенева, всё чаще задававшего и себе и своим корреспондентам один и тот же тревожный вопрос: что скажет о них публика?

«Стасюлевич и его кружок очень довольны моими „Стихотворениями",— писал Тургенев Ж. А. Полонской 4(16) октября 1882 г.,— посмотрим, что скажет публика», и снова, в письме к ней от 17(29) октября: «„Стихотворениями в прозе» редакция „В⟨естника⟩ Е⟨вропы⟩" кажется весьма довольной. Посмотрим, что публика скажет?» Говоря то же самое о «Стихотворениях в прозе» в письме к А. В. Топорову от 5(17) ноября 1882 г., Тургенев прибавлял: «Очень уж эти „Стихотворения" не подходят к тому, что она ⟨публика⟩ привыкла читать», и снова ему же 7(19) декабря 1882 г.: «Надеюсь, что хотя некоторые из них Вам понравятся. Публика и критика отнесутся к ним или равнодушно, или презрительно, но я от этого не запла́чу».

В ноябре 1882 г. Тургенев разрешил Д. В. Григоровичу прочитать некоторые стихотворения в прозе на вечере в пользу Литературного фонда. По этому поводу он вел переписку с разными лицами. Д. В. Григоровичу он писал 13(25) ноября 1882 г.: «Что касается до прочтения Вами некоторых моих „Стихотворений в прозе" — то, разумеется, я лучшего чтеца и желать не могу, и мне остается благодарить Вас. Стасюлевич просил моего разрешения, и я, понятное дело, не мог не согласиться, хотя и думаю, что эти „Стихотворения" вовсе не пригодны для *публичного* чтения. Они могут иметь некоторый успех только в интимном кругу»[21].

---

[20] Кони А. Ф. Отрывки из воспоминаний.— *ВЕ*. 1908, кн. 5, с. 21—22.

[21] Те же опасения Тургенев высказывал и Стасюлевичу в письме от 7(19) ноября и Ж. А. Полонской —2(14) декабря 1882 г. Несмотря на это, сам Тургенев в Париже несколько раз выступал с публичными чтениями «Стихотворений в прозе», например, в «Обществе русских художников» на елке, в канун нового 1883 года (*Лит Насл*, т. 73, кн. 1, с. 398, 415), а также на литературно-музыкальных вечерах у Виардо (см. его письмо к Ж. А. Полонской от 2(14) декабря 1882 г.).

Публичное чтение нескольких «Стихотворений в прозе» Д. В. Григоровичем не состоялось, и Тургенев радовался этому, так как был уверен, что они покажутся «скучными» и не произведут никакого впечатления. Тургенев пытался объясниться по этому поводу с Д. В. Григоровичем, по-видимому, не зная еще, что отмена чтения произошла по инициативе именно Григоровича, которому «Стихотворения в прозе» не понравились не только в рукописи, но и в печати, в появившейся книжке «Вестника Европы». «Насчет самих „Стихотворений“,— писал ему Тургенев 3(15) декабря 1882 г.,— я нимало не ослеплен: нечего и говорить, что они не годятся для публичного чтения, они могут понравиться только самому тесному кружку литературных любителей ⟨. . .⟩ Некоторые из этих „Стихотворений“ останутся, надеюсь, в памяти нескольких десятков читателей; надо всеми пройдет игривое перо Буренина и др.— и „река времен в своем теченьи“ унесет в лоно забвенья эти легонькие листки...»

«О мнении публики и критики еще ничего не известно.— записал Тургенев в своем дневнике 5(17) декабря 1882 г.— Григорович сказал Полонскому, что он в них *ничего не понимает*,— другими словами, что они ему не нравятся. То же самое, по всем вероятиям, скажет и публика» [22].

Когда «Стихотворения в прозе» появились в декабрьской книжке «Вестника Европы» 1882 года, к Тургеневу чаще начали поступать отзывы о них читателей. В ответ на сообщенный ему отзыв М. М. Ковалевского Тургенев писал Стасюлевичу 8(20) декабря 1882 г.: «Мнение Ковалевского о „Ст⟨ихотворениях⟩ в пр⟨озе⟩“ очень для меня лестно. Подобные мнения — подобных людей — важны; а публика — en gros ⟨вообще⟩ — и критика — en grossier ⟨грубо говоря⟩ — могут говорить, что им угодно». «Благодарю вас за дружеский привет и доброе слово по поводу моих „Ст⟨ихотворений⟩ в пр⟨озе⟩“. Ваше одобрение служит мне ручательством в том, что их стоило напечатать»,— писал Тургенев В. П. Гаевскому 17(29) декабря 1882 г. Получено было также письмо от Ж. А. Полонской, которая сообщала ему 6(18) —7(19) декабря 1882 г.: «Ваши стихотворения в прозе я читала и перечитывала с великим наслаждением. Невольно они переносили меня в Ваше Спасское, в то время, когда Вы сами нам читали их. Невольно припоминались и Ваше лицо, и Ваши речи...» (*Звенья*, т. 8, с. 244). С некоторым удивлением и недоверием воспринял Тургенев известие, сообщенное ему Д. В. Григоровичем,— о том, что о «Стихотворениях» с «одобрением и похвалой» отозвался Гончаров. Тургенев писал об этом Ж. А. Полонской и А. В. Топорову (письма от 12(24) декабря 1882 г. и 28 декабря 1882 г./9 января 1883 г.); последнему он прибавлял «от себя», что похвала Гончарова «вероятно, доказательство слабого их успеха в публике». Напротив, искренне обрадовался Тургенев сочувственному отзыву Л. Н. Толстого

---

[22] *Лит Насл*, т. 73, кн. 1, с. 393. «„Стих⟨отворения⟩ в пр⟨озе⟩“ написаны мною для самого себя,— писал Тургенев Полонскому 22 ноября (4 декабря) 1882 г.,— а также и для небольшого кружка людей, сочувствующих такого рода вещам. Публика будет совершенно права, отбросив их в сторону. Я было ужаснулся, когда услыхал, что некоторые из этих „Стихотворений“ хотели прочесть публично. То-то было бы фиаско...»

(к сожалению, это письмо до нас не дошло). Толстому Тургенев ответил 15(27) декабря 1882 г.: «Ваше письмо доставило мне большую радость. Во-первых, мне очень приятно, что некоторые из моих „Ст⟨ихотворений⟩ в пр⟨озе⟩“ Вам понравились [23]; а главное: я снова почувствовал, что Вы меня любите и знаете, что и я Вас люблю искренне». А в своем дневнике (запись от 31 декабря 1882 г./12 января 1883 г.) Тургенев, подводя первые итоги впечатлениям от его нового произведения, особо выделял отзыв Л. Н. Толстого: «Стихотворения в прозе имели больше успеха, чем я ожидал — если не в публике вообще, то в кружках de lettrés ⟨просвещенных людей⟩». Далее записано в скобках: «Очень меня порадовало одобрение Льва Толстого» (*Лит Насл.* т. 73, кн. 1. с. 394).

Сразу же по выходе в свет книжки «Вестника Европы» со «Стихотворениями в прозе» стали появляться отклики на них в периодической печати. В «Новостях и Биржевой газете» отмечалось уже на другой день: «Многие из этих „заметок“ превосходны по мысли и языку, полны поэзии и глубоко западают в душу» [24]. В «Голосе» появилась статья Арс. Введенского, в которой, между прочим, говорилось: «„Стихотворения“ И. С. Тургенева — действительно стихотворения, проникнутые гуманною мыслью, которая постоянно и неумолчно звучит в каждом отрывке, если не считать нескольких „осенних отрывков“. Конечно, эти мелкие отрывки, уже по самому характеру и складу своему, не могут иметь того огромного значения, которое свойственно его произведениям, посвященным анализу общественной жизни. Но и короткие отзвуки душевной жизни поэта, выражающиеся в чрезвычайно поэтических, целостных, западающих в душу образах, не пройдут бесследно в душе читателя и вызовут чувства, не совсем обычные в наше беспощадное время». Критику особенно понравились стихотворения «Нищий», «Щи», «Деревня»; с похвалой отозвался он о необычной форме этих произведений: «Сам язык, известный, гармонический, образный тургеневский язык — производит впечатление скорее стихов, чем прозы...» [25]. Небольшую статью неизвестного критика, озаглавленную «Поэтические искры И. С. Тургенева», поместила также газета «Одесский листок»; в статье, между прочим, были следующие слова: «Нужно ли говорить об эстетической жажде, с которой бросится каждый к страницам „Вестника Европы“, на которых рассыпаны поэтические искры маститого художника,— искры дышат поэзией и глубиною мысли; нужно ли говорить о том высоком наслаждении, которое испытывает читатель, любуясь этими мимолетными набросками, этими художественными отрывками, от которых веет бодростью, свежестью, молодостью великого бессмертного таланта и глубоко любящего сердца» [26].

---

[23] Д. П. Маковицкий в своем дневнике «У Толстого. 1904—1910» (запись от 12 июня 1909 г.) рассказал, что Толстому читали некоторые из «Стихотворений в прозе» Тургенева и Льву Николаевичу понравились «Голуби». «Что я буду думать», «Русский язык», а «Морское плавание» он «очень похвалил»; это стихотворение, а также стихотворение «Воробей» Толстой включил в свой сборник «Круг чтения».— *Лит Насл*, т. 90, кн. 3, с. 438 и кн. 1, с. 489.

[24] Новости и Биржевая газета, 1882, № 321, 2(14) декабря.

[25] Голос, 1882, № 330, 8(20) декабря.

[26] Одесский листок, 1882, № 274, 8(20) декабря.

При жизни Тургенева появилось еще несколько более подробных разборов «Стихотворений в прозе», но они не отличались проницательностью, а временами были тенденциозными и несправедливыми. В статье о последних произведениях Тургенева Н. Невзоров назвал «Стихотворения в прозе» «калейдоскопом, составленным из разнообразных по величине и качеству бриллиантов»: по его мнению, «необычайная сила выраженных в этом калейдоскопе мыслей и чувств производит впечатление скорее стихов, чем прозы. Это — то элегии, то басни, то эпиграммы». Далее Невзоров сделал краткий обзор стихотворений, разбив их на четыре произвольно выбранные им группы: «1. стихотворения, в которых отразилась духовная физиономия Ивана Сергеевича как поэта-художника; 2. стихотворения, в которых он со свойственною ему тонкостью ума подмечает разные черты нашего общества, клеймя их ядовитой эпиграммой; 3. стихотворения, в которых поэт рисует картины приближающейся смерти, и наконец 4. стихотворения, в которых он всею силою своей души выражает симпатию к родному краю и заботится о благе народном». Вместе с тем критик выделил несколько «стихотворений», признанных впоследствии особо знаменитыми, и впервые сопоставил некоторые из них с другими произведениями Тургенева или современной ему литературы. Слова из стихотворения «Воробей» — «Только ею, только любовью держится и движется жизнь» — напомнили ему «одно из последних произведений Л. Н. Толстого» — «Чем люди живы»; основную мысль «Разговора» он в близкой формулировке нашел в «Довольно» Тургенева; отрывок «Чернорабочий и белоручка» сопоставлен критиком с тем эпизодом «Нови», где Нежданов рассказывает Марианне о своей деятельности по распространению агитационных брошюр вроде «Сказки о четырех братьях»; в параллель к «Двум четверостишиям» приведена цитата из полемической заметки Тургенева по поводу «Отцов и детей» [27].

Отзыв о «Стихотворениях в прозе» Л. Е. Оболенского, включенный в его критические заметки «Обо всем» в «Русском богатстве» за 1883 г., крайне тенденциозен. Возмущенный единодушными похвалами, которыми новое произведение было встречено читателями, Оболенский ставит вопрос, заслуживают ли прославления «Стихотворения в прозе» Тургенева («маститого ветерана»), и приходит к мысли, что они сильно переоценены: «Конечно,— говорит он,— эти наброски имеют известное художественное достоинство; они сделаны рукой опытной, сделаны эффектно, с привычным умением в двух-трех словах отчеканить мысль, чувство, образ»; однако именно эти мысли и образы критику глубоко чужды. Так, например, по его мнению, «чуть не в каждом отрывке автор вспоминает о своей грядущей близкой смерти ⟨. . .⟩ сделать мысль о смерти своей idée fixe, так конвульсивно, так судорожно трепетать от ужаса при ее приближении, это — явление вовсе не нормальное, это характеризует особый тип душевного склада, особую нравственную консистенцию, не возбуждающую чересчур глубо-

---

[27] Невзоров Н. И. С. Тургенев и его последние произведения: «Стихотворения в прозе» и «Клара Милич». Казань, 1883, с. 5—18 (отдельный оттиск из журнала «Волжский вестник»; брошюра представляет собой текст публичной лекции, читанной 26 марта 1883 г.).

кого эстетического впечатления в читателях». С другой стороны, Оболенскому казалось, что Тургенев, каким он предстает в «Стихотворениях», «не верит в будущее родной страны и родного народа. Здесь, у нас на Руси, всё возбуждает в нем только желчь и отрицание: и народ, и критики, обидевшие его, и всякие дураки, которые, по его словам, прославились тем, что кричали о новизне, и молодежь, которая не оценила его. Невольно удивляешься этому нравственному противоречию: человек не верит в жизнь и всё же с ужасом цепляется за нее холодеющими руками»[28].

Другие критики тех же лет воспринимали «Стихотворения в прозе» не столь одноцветно и тенденциозно; А. Незеленов, например, встречавшийся с Тургеневым и обменявшийся с ним несколькими письмами, в своих публичных чтениях о покойном писателе в 1883—1884 гг. утверждал (вслед за Стасюлевичем), что «Стихотворения в прозе» — это «небольшие заметки, в поэтической форме высказанные мысли, чувства, из которых, как из зерна, могли потом развиться целые произведения или эпизоды произведений», и что они очень противоречивы по своим мыслям и отраженным в них чувствованиям: «Самые разнородные настроения духа писателя нашли здесь, как и следовало ожидать, свое выражение, свой отзвук: здесь и мрачные 〈. . .〉 мечты и надежды, и любовь к родине, и сомнения в русском обществе, и мысли о себе самом и своей судьбе»[29].

Своеобразным откликом на «Стихотворения в прозе» была серия пародий, появившихся в журнале «Стрекоза» с таким примечанием от редакции: «Печатая эти, не лишенные остроумия, безделки, мы смотрим на них, как на безобидную пародию, напоминающую, конечно, только заголовками и внешнею формою своею, превосходные и возвышенные мечты и сказки маститого беллетриста». Пародированные стихотворения имеют следующие названия: «Товарищ», «Прохожий», «Рассказ без названия», «Свет не без добрых людей, или Парусиновые панталоны», «Стой!», «Молитва», «Деревня» и «Русский язык». В этих пародиях, используя тургеневские «стихотворения», пародист высмеивает отрицательные социальные и политические явления русской действительности[30].

---

[28] С о з е р ц а т е л ь 〈Оболенский Л. Е.〉. Обо всем. (Критические заметки).— *Рус Бог-во*. 1883, № 1, с. 214—218. Несмотря на крайне отрицательный характер, этот отзыв, вероятно, нашел сочувствие у читателей, даже у людей, знавших Тургенева. «Впечатление небольших его вещей, например „Стихотворений в прозе“,— писал В. В. Верещагин,— по большей части удручающее; так и слышится везде фраза, сказанная им мне однажды на вопрос, каково состояние его духа: „начинаю чувствовать глухой страх смерти!“» (В е р е щ а г и н В. Очерки, наброски, воспоминания. СПб., 1883, с. 132).

[29] Н е з е л е н о в А. Тургенев в его произведениях. СПб., 1885, с. 254.

[30] См.: М и л л и о н п е р в ы й с о т р у д н и к. Хорошего — понемножку (Подражание «Стихотворениям в прозе» Тургенева).— Стрекоза, 1883, № 3, 16 января, с. 3.

IV

«Стихотворения в прозе» ввели новый прозаический жанр малой формы в русскую литературу. Написанные в подражание Тургеневу произведения этого рода появлялись в русской литературе двух последующих десятилетий XIX века. Я. П. Полонский свой отрывок «Две фиалки» сам определил в подзаголовке как «Стихотворение в прозе» [31]; два стихотворения в прозе без заглавия напечатаны в собрании сочинений Я. П. Полонского: они носят на себе явные следы воздействия Тургенева [32]. В середине 1880-х годов старший сын Н. Г. Чернышевского, Александр Николаевич, пробовавший свои силы как поэт, несомненно под влиянием Тургенева пытался создавать «стихотворения в прозе» и посылал их отцу в Астрахань на критику. В двух ответных письмах (от 18 февраля и 5 марта 1885 г.) Чернышевский сопоставлял их с тургеневскими, отзываясь о последних резко отрицательно («. . . у нас вздумали хвалить „Стихотворения в прозе“ Тургенева. Похвалы им — „пленной мысли раздраженье“,— мысли, пленной раболепством к таланту Тургенева. Так немцы восхищались всякими пустяками, какие печатал Гёте. Ни одно из тургеневских „Стихотворений в прозе“ не стоило бы того, чтобы быть напечатанным») и, кстати, формулируя свои возражения против этого жанра вообще, как противозаконного с точки зрения теории литературы и «слишком наивного для нашего времени» [33]. Стихотворения в прозе писал также, отчасти, возможно, под влиянием Тургенева, В. М. Гаршин; такую форму приобрели, например, его автобиографические признания [34]. Впоследствии тургеневской манере «Стихотворений в прозе» подражал К. Д. Бальмонт [35]. И. А. Бунин в своих прозаических стихотворениях, которые занимают немаловажное место в его творчестве, даже тематически иногда был близок Тургеневу [36]. Цикл (как и у Тургенева), состоящий из 26-ти небольших стихотворений в прозе под заглавием «Autopsia», сохранился (в автографе) в архиве Иннокентия Анненского [37], и др.

---

[31] Полонский Я. П. Полн. собр. соч. СПб., 1886. Т. 2, с. 19—20.

[32] Полонский Я. П. Повести и рассказы (Прибавление к полному собранию сочинений). СПб., 1895. Ч. 1: «Стихотворения в прозе» (с. 277—280).

[33] *Чернышевский*, т. 15, с. 514, 519. А. Н. Чернышевский провел в Париже около года (между ноябрем 1879 и августом 1880 г.) и был лично знаком с Тургеневым (см.: *Т*, *ПСС* и *П*, *Письма*, т. XII, кн. 2, № 5023). См. также: Чернышевская Н. М. Тургенев и А. Н. Чернышевский.— *Лит Насл*, т. 76, с. 702.

[34] Впервые опубликовано: *Рус Мысль*, 1917, кн. 1, с. 62—65.

[35] Общество любителей Российской словесности. Историческая записка и материалы за сто лет. М., 1911, Приложение, с. 163.

[36] См. об этом: Иссова Л. Н. Жанр стихотворений в прозе у И. С. Тургенева и И. А. Бунина.—Литературное краеведение. (Сборник Воронежского гос. пед. ин-та). Воронеж, 1978, с. 70—78.

[37] Анненский Иннокентий. Книга отражений. М., 1979 (Литературные памятники), комментарий А. В. Федорова, с. 433—437. Об этом же жанре у А. Н. Толстого см.: Назарова Л. Н. Тургенев и молодой А. Н. Толстой.— Филологические науки [Научные доклады высшей школы], М., 1969, № 4 (52), с. 14—16.

В восприятии читателей 1870—90-х годов стихи и проза потеряли значительную часть своих различий. Делались попытки переложить стихами некоторые произведения Тургенева: С. А. Андреевский переложил «Довольно», и Стасюлевич послал текст на утверждение Тургенева, на что, впрочем, Тургенев ответил отказом [38]. В стихотворении «Бал королевы», известном в четырех вариантах, С. Я. Надсон переложил в стихи вставную новеллу из повести Тургенева «Первая любовь». Колебания в выборе стихотворной и прозаической формы повествования испытывал также В. М. Гаршин: известный его рассказ, приближающийся к стихотворению в прозе,— «Attalea princeps» (1880), в первоначальной редакции имел стихотворную форму [39]. Поэтому нас не должно удивлять, что вскоре после появления тургеневских «стихотворений в прозе» их начали перелагать в стихи, имеющие размер, а иногда и рифму. Так, в 1884 г. А. А. Марков, пользуясь текстами Тургенева как прозаическими подстрочниками, придал — очень примитивно — метрическую и строфическую форму следующим произведениям: «Старуха», «Собака», «Нимфы», «Черепья», «Как хороши, как свежи были розы...», «Камень», «Роза», «Мы еще повоюем», «Русский язык», «Разговор», «Посещение», «Воробей», «Нищий». «Старик» [40]. Стараясь придать тургеневскому «стихотворению» устойчивый метр, перелагатель должен был отточенные тургеневские фразы пополнять дополнительными, вялыми, ненужными словами, подбирая рифмы. Известны и другие, еще более беспомощные, переложения «Стихотворений в прозе» Тургенева, опубликованные К. И. Олениным, В. А. Мониным, Н. Муромцевой [41]; совершенно бесплодной затеей оказалась попытка передать «триолетами» два «Стихотворения в прозе» Тургенева: «Necessitas, Vis, Libertas» и «Воробей» [42].

Столь же ошибочной оказалась попытка сделать стихотворения в прозе более удобными для декламации с эстрады с помощью музыкального сопровождения. В начале XX века этот жанр, «мелодекламация», для которого писалась музыка иллюстративного характера, был в моде, но музыка лишь нескольких «мелодекламаций», написанных на тексты Тургенева, поднималась несколько выше крайне посредственного уровня. Таковы были мелодекламации,

---

[38] Это переложение увидело свет только после смерти Тургенева — см.: Андреевский С. А. «Довольно». На тургеневскую тему.— *ВЕ*, 1884. № 1, с. 8—15; вошло в его «Стихотворения 1878—1885» (СПб., 1886, с. 127—138).

[39] Стихотворение «Пленница» («Прекрасная пальма высокой вершиной в стеклянную крышу стучит») написано в 1876 г., но осталось в рукописи; опубликовано только после смерти писателя («Памяти В. М. Гаршина». СПб., 1889, с. 65—66).

[40] Марков А. А. Стихотворения и рисунки. СПб., 1895, с. 299—327: «Переложения стихотворений в прозе Тургенева». Все они выполнены в 1884 году, однако при жизни автора не печатались.

[41] Оленин К. И. Стихотворения. М., 1906. с. 58—60 и 85 («Вакханки. На мотив из Тургенева». т. е. «Нимфы», и «Как хороши, как свежи были розы...»); Монин В. А. Мечты и думы. Барнаул, 1908. с. 27—30 («Разговор»); Муромцева Нина. Стихотворения. СПб., 1914, с. 28 («Камень»).

[42] Чешихин В. Мудрость. Памяти Тургенева. Триолеты.— *Т и его время*, с. 26—28.

написанные в 1903 г. А. С. Аренским для чтения их В. Ф. Комиссаржевской в сопровождении симфонического оркестра (изданы в 1904 г.), но артистка неоднократно декламировала «Стихотворения в прозе» Тургенева («Как хороши, как свежи были розы...», «Лазурное царство» и «Нимфы») с музыкой Аренского, транскрибированной для рояля [43]. Мелодекламация на текст Тургенева «Сфинкс» написана была А. Д. Кастальским и включена в его оперу «Клара Милич» (1907) [44].

V

Современники Тургенева были уверены в том, что, несмотря на его подчеркнутое внешнее равнодушие к «Стихотворениям в прозе», писатель всё же придавал большое значение этому циклу своих произведений. Один из первых русских критиков «Стихотворений в прозе», Н. Невзоров, замечал по этому поводу, что Тургенев, по крайней мере, явно желал их широкого распространения, потому что «он одновременно с русским подлинником поместил их разом в двух иностранных журналах — во французском и немецком» [45].

Особый интерес имеет французский перевод тридцати «Стихотворений в прозе», осуществленный самим Тургеневым в сотрудничестве с П. Виардо и помещенный в двух номерах парижского журнала «Revue politique et littéraire» за 1882 год под заглавием «Petits poèmes en prose» [46]. В дневнике Тургенева есть запись от 5(17) декабря 1882 г. о выходе в свет первых пятнадцати «Стихотворений в прозе» в переводе, сделанном «с помощью Полины» [47]. На этот перевод Тургенев не раз ссылался в своих письмах. Так, в письме к Л. Пичу от 13(25) декабря 1882 г. он сообщал, что этот перевод сделан им с «помощью г-жи Виардо» и что достоинством его является то, что «он, по крайней мере, очень точен». Тургенев предлагал Пичу прислать оттиск перевода на тот случай, если бы у него возникла охота передать стихотворения по-немецки,— хотя, прибавлял Тургенев,— «такой перевод уже начал появляться в „St.-Petersburger Zeitung“». Об оригинале стихотворений Тургенев заметил в том же письме: «Я никогда не придавал им особенного значения и мало говорил о них. Эти маленькие наброски годятся лишь для немногих: для широкой массы — особенно в России — они трын-трава». Через два дня, посылая оттиск из французского журнала своему английскому приятелю В. Рольстону с очевидным намерением соблазнить его перспективой опубликовать английский перевод «Стихотворений в прозе», Тургенев прикрывался, однако,

---

[43] Письма В. Ф. Комиссаржевской. Публикация Л. Н. Назаровой.— *Театр Насл.* с. 513—516.

[44] Глебов Игорь. ⟨Асафьев Б. В.⟩. Русская поэзия в русской музыке. Пг., 1922, изд. 2-е, с. 119—120.

[45] Невзоров Н. И. С. Тургенев и его последние произведения: «Стихотворения в прозе» и «Клара Милич». Казань, 1883, с. 5.

[46] Revue politique et littéraire de la France et de l'étranger, 1882, № 25 (16 décembre, p. 769—776), № 26 (23 décembre, p. 809—816).

[47] *Т, ПСС и П, Сочинения*, т. XV, с. 210. См. также: наст. изд., т. 11.

напускным безразличием к судьбе их среди иностранных читателей, утверждая, в частности, нечто противоположное тому, что перед тем написал Л. Пичу: Тургенев считал их «слишком русскими для европейского вкуса» и выражал сомнение в том, что «эти маленькие вещички могут понравиться английской публике». «...Перевод их на французский язык,— говорит автор,— сделанный m-me Виардо, был напечатан согласно ее желанию, не моему. Только после выхода его из печати я начал думать, что она была права, а не я».

В парижском архиве Тургенева сохранилась рукопись французского перевода «Стихотворений в прозе», с которой производился набор для «Revue politique et littéraire», и черновые материалы к ней. Изучение всех этих рукописей приводит к неопровержимому заключению, что Тургенев принимал самое близкое участие в создании этих переводов, то диктуя их, то переписывая собственной рукой, то правя корректуры,— и делая всё это еще до появления в «Вестнике Европы» их русского подлинника [48].

В № 25 «Revue politique et littéraire» за 1882 г. помещено пятнадцать «Стихотворений в прозе», пронумерованных римскими цифрами, в следующем порядке: «Разговор», «Деревня», «Посещение», «Маша», «Старуха», «Восточная легенда», «Природа», «Морское плавание», «Конец света», «Пир у Верховного существа» (Une Fête chez le bon Dieu), «Сфинкс», «Воробей», «Нимфы», «Лазурное царство», «Щи» (это заглавие дано в транскрипции «Stchi» и с пояснительным подзаголовком: «Soupe aux choux», т. е. «Суп из капусты»). В следующем номере, вышедшем 23 декабря, напечатано еще пятнадцать стихотворений в прозе с продолжающейся нумерацией (от XVI до XXX). Это — «Милостыня», «Как хороши, как свежи были розы...», «Два четверостишия», «Нищий», «Стой!», «Что я буду думать», «Два голубя», «Два брата», «Эгоист», «Мы еще повоюем!», «Повесить его!», «Два богача», «Насекомое», «Собака», «Враг и друг». Стоит отметить, что № 26 названного журнала открылся обращением к читателям от редакции, в котором, между прочим,

---

[48] Краткое описание этих рукописей см.: *Mazon*, р. 98; подробнее в издании: T o u r g u é n e v. Poèmes en prose. Première traduction intégrale publiée dans l'ordre du manuscrit original autographe avec des notes par Charles Salomon, p. 120—121.— Наборная рукопись — на 92 листках белой бумаги (разм. 31×20 см); текст написан на одной стороне не рукою Тургенева, кроме стих. «Два брата» (Les deux frères), которое является автографом Тургенева. В левом углу первого листка на французском языке сделана надпись редактора «Revue», напечатанная в журнале в примечании: «Эти маленькие отрывки были написаны по-русски. Тургенев пожелал сделать их перевод для наших читателей». Ш. Саломон не был в состоянии определить, чьей рукою написана эта рукопись; почерк женский, но, очевидно, это не рука П. Виардо. Исправления, особенно во второй части рукописи, довольно многочисленны; исходя из того, что нередко они ухудшали сделанный перевод, Ш. Саломон заключал, что они не принадлежали самому Тургеневу, а сделаны были в редакции журнала. К черновым материалам относится пачка на 15 листках, где находятся оставшиеся неизданными переводы семи стихотворений в прозе: «Манфред», «Чернорабочий и белоручка», «Монах», «Корреспондент», «Роза», «Necessitas, Vis, Libertas», «Христос».

шла речь и о «Стихотворениях в прозе». Извещая читателей, что редакция не была в состоянии приступить к напечатанию обещанного романа А. Гревилля, редактор писал далее: «Вместо того мы печатаем сегодня пятнадцать новых „Маленьких стихотворений в прозе“ Тургенева. Наши читатели найдут в них то же очарование, тот же сплав поэзии и изящества, что и в первых пятнадцати. Мы можем сказать вам, как возникли эти тонкие фантазии (ces fantaisies délicates), пронизанные личными переживаниями. Тургенев имеет обыкновение отмечать время от времени замечания, мысли и образы, которые подсказывает или приносит ему текущая жизнь; очень интересно наблюдать за тем, как в сознании писателя эти замечания и мысли преображаются в живописные рассказы и волнующие описания. Тургенев набрасывает свои эскизы для фиксации испытанного впечатления, мимоходом, как это делает художник, когда им завладевает какая-либо мысль или его поражает какое-либо зрелище. Потребовались длительные и неотступные просьбы, чтобы Тургенев согласился предоставить нам некоторое их количество. Он удержал у себя другие, имеющие слишком интимный, личный характер. Он писал одному из своих друзей ⟨дальше следует текст обращения „К читателю“ Тургенева⟩». Редакционная заметка кончалась следующим замечанием: «Первоначальным заглавием рукописи было „Senilia“. Это заглавие было бы выбрано плохо, если бы оно осталось. Более удачное — „Стихотворения в прозе“ заимствовано из только что цитированного письма».

Нетрудно заметить, что данное предисловие соответствует тому, которое предпослано первой публикации их подлинника в «Вестнике Европы» М. М. Стасюлевичем. Очевидно, Э. Юнг, редактор «Revue politique et littéraire», воспользовался кое-какими данными, предоставленными ему, как и Стасюлевичу, Тургеневым или П. Виардо. Что касается французских переводов, то они заключают в себе некоторые подробности, отсутствующие в общеизвестном русском первопечатном тексте «Стихотворений». Характер этих отличий заставляет предположить, что переводы делались Тургеневым и П. Виардо по беловому автографу (а не по наборной рукописи). Так, в стихотворении «Деревня» вслед за фразой: «Безветрие, теплынь... воздух — молоко парное!» — во французском тексте напечатано: «Tout est doux, caressant: rien ne dort ni ne veut dormir», что соответствует черновому и беловому автографам: «Всё мягко, ласково [чутко], ничего не спит и спать не хочет». В том же стихотворении после слов: «красавица была в свое время» — во французском тексте читаем: «Elle en a vu de dures, mais ses souffrances ne l'ont pas brisée». Эта фраза находит себе полное соответствие в беловом автографе, где содержится впоследствии отброшенная фраза: «Потрудилась . . . что говорить! а не изнурилась». Лишь в редких случаях отличия французского текста от русского не находят себе обоснований ни в черновой рукописи, ни в беловой. Некоторые изменения, внесенные Тургеневым в перевод, сделаны были им в интересах французских читателей. Так, в стихотворении «Сфинкс», во фразе: «Да это ты, Карп, Сидор, Семен, ярославский, рязанский мужичок, соотчич мой, русская косточка!» — имя Карпа заменено Егором во избежание созвучия с французским «car», а непереводимая «русская косточка» искусно передана французским «mon sang et ma moelle russe». Прочие особенности французской редакции «Стихотворений в прозе» оговорены ниже — в комментариях к отдельным стихотворениям.

Французские переводы тридцати стихотворений в прозе были воспроизведены в томике «Последних произведений» Тургенева, напечатанных издательством Ж. Этцеля в Париже в 1885 г.[49], а в 1887 г. переводы стихотворений «Чернорабочий и Белоручка» и «Порог» напечатал И. Павловский в своих «Воспоминаниях о Тургеневе» [50].

В 1883 г. появилось четыре немецких перевода «Стихотворений в прозе», и с первым из них, В. Генкеля, Тургенев еще успел познакомиться. Л. Пичу он писал 11(23) февраля 1883 г.: «Что касается моих стихотворений в прозе, то в Лейпциге у Дункера вышел их перевод, сделанный В. Генкелем и озаглавленный „Senilia". Перевод довольно верный, но, конечно, не без неизбежных промахов. Сразу же на первой странице лошади „ржут", вместо того чтобы „фыркать" и т.д.— но, как я уже сказал, это неизбежно...» Последующие немецкие переводы принадлежали К. Юргенсу, Р. Левенфельду и В. Ланге [51].

Рано появились также переводы английский [52], датский и шведский [53]. Первые чешские переводы с разрешения Тургенева, полученного переводчиком И. Пенижеком, печатались первоначально в журналах (Krakonoš, 1883, Květy, 1883) и в том же году выпущены были отдельной книгой; перевод сделан по тексту «Вестника Европы» и воспроизводит не только все «Стихотворения в прозе», но и предисловие к ним [54]. В том же году появилось два сербохорватских

---

[49] Т о u r g u é n e f f I. Dernières œuvres. Paris: J. Hetzel, 1885.

[50] P a v l o v s k y I. Souvenirs sur Tourguéneff. Paris, 1887, p. 244—247.

[51] 1) Senilia. Dichtungen in Prosa. Leipzig, Muncker, 1883 (übersetzt von W. Henckel); 2) Die vier letzten Dichtungen Iwan Turgenev's (übersetzt von C. Jürgens). Mitau, Felsko, 1883; 3) Gedichte in Prosa, übersetzt von R. Löwenfeld. Breslau, Trewendt, 1883; 4) Gedichte in Prosa. Leipzig, F. Reclam's. Universal-Bibliothek, № 1710. 1883 (übersetzt von W. Lange).

[52] T o u r g u e n e f f. Poems in Prose. London, 1883. Это издание не зарегистрировано в указателе Maurice B. Line. A Bibliography of Russian Literature in English Translation to 1900. Lond. 1900, p. 55; однако здесь указано другое (американское) издание под тем же заглавием (Boston, Cupples, Upham, 1888) и второе издание (выпущенное ок. 1897 г. G. P. Putham's sons, N.Y.; London). Существует также издание, озаглавленное «Senilia: poems in prose, being meditations, sketches etc. English version, with introduction and biographical sketch of the author by S. J. Mac-Mullan». Bristol; London (1890). Этот перевод сделан на основе немецкого перевода В. Ланге (1883) и датского перевода (T. Heilbuth).

[53] T u r g e n j e w. Senilia. Digt i Prosa. Kjøbenhavn, 1883. Шведский перевод А. Пенсена (Senilia. Dikter på prosa) издан в Упсале (1883). О переводах «Стихотворений в прозе» на скандинавские языки и о воздействии их «на идейно-художественное сознание датских и шведских литераторов» см.: Ш а р ы п к и н Д. М. «Стихотворения в прозе» и скандинавские писатели.— *Т сб.* вып. 5, с. 318—329.

[54] T o u r g u é n e f f I. Basné v prose. Slovanska knihovna. Praha, 1883. В 1880-х годах появились также другие чешские переводы.— J. Koněrza, J. Nováček'a и др.

перевода «Стихотворений» [55] и несколько венгерских [56]. К началу XX века этот цикл произведений Тургенева прочно вошел в мировую литературу.

VI

Изучение «Стихотворений в прозе» началось поздно и далеко еще не закончено. Первые исследователи Тургенева пытались проследить истоки этого жанра в его собственном творчестве или указывали аналогии в русской литературе. Подводя итоги первым наблюдениям в этой области, сделанным критиками Тургенева, А. Е. Грузинский писал, что «по основным свойствам своего дарования, побудившим его начать творчество со стихов, он всегда был склонен к интенсивному лирическому переживанию отдельных моментов и к его кристаллизации в законченной форме. Поэтому в его произведениях с давних пор встречались места, очень разнообразные по тону и содержанию, которые все могли бы войти в „Senilia". Укажем одушевленную страницу о молодом счастье из „Поездки в Полесье", там же картинку стрекозы, сидящей на конце тонкой ветки, и вызванные ею мысли о законе жизни; место „О молодость, молодость!" в конце „Первой любви", там же вполне законченный и отделанный рассказ Зинаиды о вакханках и девушке; аллегорию жизни во вступлении к „Вешним водам". Иногда в крупных вещах Тургенева, как „Призраки" и „Довольно", легко выделить целый ряд отдельных стихотворений в прозе» [57].

«Призраки» и «Довольно» чаще других произведений Тургенева сопоставлялись с его «Стихотворениями в прозе». Так, Г. А. Бялый прямо утверждал, что именно «Призраками» и «Довольно» «подготовлена была и самая форма отрывков, эпизодов, размышлений и лирических монологов, вполне законченных каждый в отдельности и связанных друг с другом единством мысли и построения»; вообще, по мнению того же исследователя, «по содержанию, стилю и тону многие стихотворения в прозе представляют собою как бы ответвление прежних крупных произведений Тургенева. Иные восходят к „Запискам охотника" („Щи", „Маша", „Два богача"), иные к любовным повестям („Роза"), иные к романам. Так, „Деревня" напоминает главу XX „Дворянского гнезда", а „Порог", „Чернорабочий и белоручка" связаны с „Новью"; стихотворения в прозе, развивающие тему бренности жизни, тяготеют к „Довольно"; персонифицированные фантастические образы смерти

---

[55] Pojesuja у прози. С русског превео Милан Данин. Велики Бечкерек. 1883: Pjesme u prosi. Zagreb. 1883.

[56] См. об этом: Д е м к о Т. К венгерским переводам произведения Тургенева «Стихотворения в прозе».— Slavica, Debrecen, 1966, t. 6. p. 167—172; З е л ь д х е й и Жужанна. Стихотворения в прозе И. С. Тургенева в Венгрии.— Studia Slavica. Budapest, 1968. t. 14. fasc. 1—4, p. 394.

[57] *Грузинский*, с. 229. Сюда можно добавить указание на отрывок в конце романа «Накануне» («Как это жизнь так скоро прошла? Как это смерть так близко надвинулась?..» и т. д.— см.: наст. изд., т. 6, с. 299), который некоторые исследователи, например А. Мазон, также ставят в связь со «Стихотворениями в прозе» (T o u r g u é n e v. Nouveaux poèmes en prose. Paris, 1930, p. 20).

(„Насекомое“, „Старуха“) ведут свое начало от „Призраков“»[58]. Из образцов в русской литературе, которым мог следовать Тургенев, указывалось на некоторые страницы Гоголя — знаменитую «Тройку» в конце I тома «Мертвых душ», лирические картины природы в «Майской ночи» или ритмизованные отрывки из «Страшной мести»[59]. Обращалось внимание и на более ранние опыты создания русской лирической прозы, например у Карамзина[60]; утверждалось даже, будто бы идею создания небольших лирических фрагментов Тургеневу подал Л. Н. Толстой, что представляется спорным[61]. Не отрицая законности некоторых из названных выше сближений, следует, однако, признать, что вопрос о жанре «стихотворений в прозе» ими нисколько не проясняется, поскольку эти сопоставления делались по преимуществу по тематическому признаку и не принимали во внимание ни исторически сложившиеся формы поэзии и прозы, ни жанровые отличия в пределах одной художественной прозы: наличие даже текстового сходства между отрывками из того или иного произведения Тургенева и каким-либо «стихотворением в прозе» не объясняет возникновения жанра, к которому последние относятся. «Нам кажется,— писал по этому поводу Е. В. Петухов,— что эти сопоставления решительно ничего не выясняют в вопросе о генезисе тургеневских „Стихотворений в прозе“, поскольку они являются продуктом личного лирического настроения автора и, как отдельные произведения, имеют очень

[58] Бялый Г. А. Тургенев.— В кн.: История русской литературы. М.; Л., АН СССР, 1956, т. 8, кн. 1, с. 391.

[59] Schaarschuh F. J. Das Problem der Gattung «Prosagedicht» in Turgenew. «Стихотворения в прозе».— Zeitschrift für Slawistik, 1965, Bd. X, H. 4, S. 506.

[60] О первых «стихотворениях в прозе» у русских сентименталистов см.: Сиповский В. В. Н. М. Карамзин — автор «Писем русского путешественника». СПб., 1899, с. 134; Резанов В. И. Из разысканий о сочинениях В. А. Жуковского. СПб., 1906, с. 134.

[61] «Небезынтересно, что мысль о небольших беллетристических эскизах, появившихся потом в печати под названием „Стихотворений в прозе“, подал Тургеневу Л. Н. Толстой»,— утверждал, например, П. Сергеенко (в его кн.: Как живет и работает гр. Л. Н. Толстой. Изд. 2-е. М., 1903, с. 56); ему возражал Н. М. Гутьяр (*Гутьяр*, с. 375) прежде всего на том основании, что материал для «Призраков» у Тургенева «был уже готов до первых встреч его с Толстым». Однако в записи дневника Д. П. Маковицкого «У Толстого. 1904—1910» от 22 февраля 1907 г. в разговоре упоминается рассказ Л. Н. Толстого «Сон» (1857) как «стихотворение в прозе». «. . . Потом ⟨Л. Н.⟩ сказал, что стихотворения в прозе — это было его изобретение. Он дал эту мысль Тургеневу» (*Лит Насл*, т. 90, кн. 2, с. 381—382). Впоследствии параллель между отрывками Толстого, включенными Толстым в его «Книгу для чтения» (1872), и «Стихотворениями в прозе» Тургенева для доказательства той мысли, что подобное определение нового литературного жанра «носилось в воздухе», привел А. Мазон (Nouveaux poèmes en prose. Paris, 1930, p. 22). См. еще: Балашов Н. И. Элементы «стихотворений в прозе» у Льва Толстого в 1850—1860 годах.— В кн.: Славянские литературы. VIII Международный съезд славистов. М., 1978.

мало общего с лирическими отступлениями Гоголя, входящими в состав его большой „поэмы“, и тем менее — с морально-тенденциозными рассказами в педагогической книге Л. Толстого»[62].

Не менее общими и также имевшими в виду прежде всего не жанровое сходство, но идейную близость были делавшиеся исследователями сопоставления отдельных «стихотворений в прозе» Тургенева с «Диалогами» Леопарди, произведениями Гейне, Шопенгауэра, Э. Т. А. Гофмана и др.[63]

Из всех параллелей, указанных к «Стихотворениям в прозе», важнее всего те, которые ведут нас во французскую литературу,

---

[62] Петухов Е. Новое о Тургеневе.— Известия по русскому языку и словесности Академии наук СССР, 1930, т. 3, с. 610; ср. его же: Стихотворения в прозе И. С. Тургенева.— Slavia, 1934, Ročn. XIII, с. 699—717.

[63] Говоря о «Стихотворениях в прозе», Э. Оман находит к некоторым из них параллели в «Германии» Гейне (Haumant Emile. Ivan Tourguénief. La vie et l'œuvre. Paris, 1906, p. 276). Сближения произведений Тургенева с прозаическими «Диалогами» Джакомо Леопарди стали в русской критике традиционными с 1880-х годов прошлого века. Еще В. Буренин (Литературная деятельность Тургенева. СПб., 1884) сравнил «Довольно» Тургенева с «проникнутыми глубокой скорбью и сомнениями» произведениями Леопарди. Общие указания на близость Тургенева к Леопарди делали также Е. В. Петухов в статье «О пессимизме И. С. Тургенева» (Уч. зап. Юрьевского ун-та, 1896, № 4), А. Евлахов в статье «И. С. Тургенев — поэт мировой скорби» (*Рус Бог-во*, 1904, № 6). П. Коган (Очерки по истории новейшей русской литературы, т. I, вып. 2, М., 1909, с. 105. 107) сопоставил «Природу» Тургенева с «Диалогом» Леопарди «Природа и исландец»; та же параллель у Дионео в «Русских ведомостях» 1918 г. (см.: *Грузинский*, с. 231—233). Существует и отдельная работа, посвященная этой теме: Куприевич А. Стихотворения в прозе Тургенева и диалоги Леопарди. Киев, 1912. Несколько соображений о Тургеневе и Леопарди приведено также в книге А. Гранжара (Granjard H. Ivan Tourguénev et les courants politiques et sociaux de son temps. Paris, 1954, p. 451—452). Не лишено интереса указание Гранжара на то, что чешский критик Ф. Шалда в 1912 г. сопоставил диалог «Природа и исландец» Леопарди с «Природой» Тургенева (Granjard H. Mácha et la renaissance nationale en Bohême. Paris, 1957, p. 74). Попытка вновь пересмотреть этот вопрос сделана в статье В. М. Головко «О некоторых реминисценциях в „Стихотворениях в прозе“ И. С. Тургенева» (Четвертый межвузовский тургеневский сборник. [Научные труды, т. 17(110)], Орел, 1975, с. 285—304). По мнению И. С. Чистовой, сопоставившей «Senilia» и «Песни» Леопарди, можно обнаружить «явную близость философской позиции их авторов» (см.: Чистова И. С. Тургенев и Леопарди. (К вопросу о литературных источниках «Стихотворений в прозе»).— В сб.: Тургенев и его современники. Л., 1977, с. 148). Наиболее заслуживающие внимания сближения приведены в примечаниях к отдельным стихотворениям. Влияние на Тургенева Шопенгауэра всегда сильно преувеличивалось (см.: Walicki A. O «Shopenhauerizmie» Turgenjewa.— Osobowość a historia. Warszawa. 1959, s. 278—354; Turgenev and Schopenhauer.— Oxford Slavonic Studies. Oxford 1962. Vol. X. p. 1—17).

так как во Франции возник и самый термин, которым воспользовался Тургенев, и создано было наибольшее количество произведений, близких к его «Senilia» в жанровом отношении [64].

Жанр лирического «стихотворения в прозе» в том смысле, в каком этот термин употреблялся в XIX веке, был детищем романтизма. Родоначальником нового жанра во Франции считается Алоизиюс Бертран (1807—1841), автор книги «Гаспар из Тьмы. Фантазии в манере Рембрандта и Калло» (1842) [65], который, однако, этим термином еще не пользуется, говоря лишь о «новом жанре прозы». В современном смысле термин «стихотворение в прозе» вошел в употребление только после появления «Маленьких стихотворений в прозе» (Petits poèmes en prose) Шарля Бодлера (они возникли между 1855 и 1865 гг.), полное собрание которых отдельным изданием вышло в свет в 1869 г. в четвертом томе его посмертного «Полного собрания сочинений».

Термин «poème», избранный Бодлером, был компромиссным, закрепляющим новую жанровую промежуточную область между романтическими вольностями и присущими классицизму строгими разграничениями понятий «поэзия», «поэма» и «проза». Определение «маленькие» (petits) в применении к «стихотворениям в прозе» было употреблено Бодлером, видимо, для того, чтобы подчеркнуть, что под обозначением «poèmes» следует понимать «стихотворения», а не «поэмы». В посвящении своей книги Арсену Уссе — литератору, пробовавшему свои силы в этом же роде, Бодлер прямо ссылался на вдохновивший его эксперимент Алоизия Бертрана и на то, какие удобства представляет форма этого рода:

«Мы можем прервать в любой момент я — свои мечтания, вы — просмотр рукописи, читатель — свое чтение, ибо я не связываю своенравной воли его бесконечной нитью сложнейшей интриги. Выньте любой позвонок, и обе части этого капризно извивающегося вымысла соединятся между собой без малейшего затруднения ⟨. . .⟩ Я должен сделать вам маленькое признание. Перелистывая по меньшей мере в двадцатый раз знаменитую книгу Алоизия Бертрана „Гаспар из Тьмы“, ⟨. . .⟩ я набрел на мысль — попытаться сделать нечто в том же роде, применив к изображению современной жизни или, вернее, духовной жизни одного современного че-

---

[64] Rauhut F. Das französische Prosagedicht. Hamburg, 1929; Nies Fritz. Poesie in prosaischer Welt. Untersuchungen zum Prosagedicht bei A. Bertrand und Baudelaire. Heidelberg, 1964.

[65] Bertrand Aloysius. Gaspard de la Nuit. Fantaisies à la manière de Rembrandt et de Callot. Эта книга написана между 1827 и 1833 гг.; при жизни автора были опубликованы только отрывки; первое полное издание по неисправной копии появилось только через год после смерти Бертрана; второе издание — в 1868 г. (Париж — Брюссель). Полный перевод на русский язык, выполненный Е. А. Гунстом с парижского издания 1915 г., с послесловием и комментариями Н. И. Балашова, появился в 1981 г.: Бертран Алоизиюс. Гаспар из тьмы. Фантазии в манере Рембрандта и Калло. Издание подготовили: Н. И. Балашов, Е. А. Гунст, Ю. Н. Стефанов. (Литературные памятники). М.: Наука. В приложении («Из истории французского стихотворения в прозе XIX века») даны переводы стихотворений Э. Парни, Теодора де Банвилля, Лотреамона, А. Рембо, Ш. Кро, Ст. Малларме.

ловека тот самый прием, который был применен им к описанию жизни былых времен, столь странной для нас и столь живописной. Кто из нас не мечтал в часы душевного подъема создать чудо поэтической прозы, музыкальной без ритма и без рифмы, настолько гибкой и упругой, чтобы передать лирические движения души, неуловимые переливы мечты, содроганья совести?» Книгу Бодлера «Маленькие стихотворения в прозе» составляют 50 небольших фрагментов, полных то лиризма, то иронии и сарказма, тематически близких к его же стихотворному сборнику «Цветы зла». Их, однако, должно было быть много больше — Бодлер думал довести их общее количество до сотни.

Большинство исследователей Тургенева было убеждено, что «Маленькие стихотворения в прозе» Бодлера были ему хорошо известны, хотя Тургенев нигде не упоминает эту книгу [66], ставшую знаменитой только в конце XIX века, когда прозаические «стихотворения» малой формы стали жанром популярным и широко распространившимся [67].

Сопоставления отдельных «стихотворений в прозе» Бодлера и Тургенева, делавшиеся неоднократно, не представляются убедительными [68], речь может идти только об отдаленном сходстве отдельных мотивов у французского и русского писателей и более всего о жанровой (и до известной степени стилистической) близости их произведений.

В 1918 г. Л. П. Гроссман опубликовал свою работу о «Стихотворениях в прозе», озаглавив ее «Последняя поэма Тургенева» [69]. Автор выдвинул здесь тезис, что, несмотря на кажущуюся отрывоч-

---

[66] Благодаря своим французским друзьям Тургенев был, несомненно, широко осведомлен обо всем, что делается во французской литературе; поэтому знакомство его с произведениями Бодлера в 1870-х годах, когда посмертная слава французского поэта только начала возрастать, представляется несомненным. Возрождению популярности Бодлера во Франции много способствовал страстный почитатель творчества его и Флобера, А. И. Урусов, бывший также корреспондентом Тургенева и переводчиком некоторых стихотворений в прозе Бодлера (см.: Урусов А. И. Статьи его. Письма его. Воспоминания о нем. М., 1907. Т. 2, 3, с. 388—392).

[67] С. Бернар обращает внимание на расцвет жанра «стихотворений в прозе» во Франции после Бодлера, под пером Рембо, Лотреамона, Малларме и поэтов-символистов; по ее мнению, «стихотворения в прозе», несмотря на индивидуальные отличия их создателей, могут считаться одной из популярнейших форм «новейшей поэзии» (Bernard Suzanne. Le poème en prose de Baudelaire jusqu'à nos jours. Paris, 1959, p. 763).

[68] Пумпянский Л. В. Тургенев и Флобер.— *Т. Сочинения*, т. 10, с. 18; Багрий А. В. Литературные очерки.— Изв. вост. ф-та Азербайджанского ун-та. Баку, 1929. Т. 4, с. 159; Богданович Нана. Покушај једне књижевне параделе. Песма у прози И. Тургенева и Ш. Бодлера.— Летопис Матице српске. Нови Сад, 1955. Кн. 375, св. 6, с. 562—574.

[69] Впервые опубликовано в сб.: Венок Тургеневу. Одесса, 1918, с. 57—90. См. критику этой работы в статье Е. Петухова «„Стихотворения в прозе“ И. С. Тургенева».— Slavia, 1934, Ročh, XIII, Seš. 4, с. 699—717.

ность отдельных стихотворений тургеневского цикла, он представляет собою стройное композиционное целое: «Это строго согласованное, сжатое тисками трудной, искусной и совершенной формы, отшлифованное и законченное создание представляет в своем целом поэму о пройденном жизненном пути...» Однако дальше Гроссман высказывает произвольную мысль, будто в стихотворениях разработан ряд тем, из которых каждой посвящено по три отдельных этюда. Главные из этих «триптихов»: Россия, Христос, Конец света, Рок, Природа, Любовь, Смерть, Безверие. Первая часть работы Гроссмана, в которой он пытается установить ритмы в тургеневской прозе, вызвала споры и опыты дальнейшей разработки затронутого вопроса [70].

За последнее время явно повысился интерес к «Стихотворениям в прозе» Тургенева и ни одна монография о нем не обходится без более или менее полного их разбора. Следует отметить и ряд защищенных диссертаций и статей, посвященных изучению жанра, композиции, художественных особенностей «Стихотворений в прозе» [71].

К ЧИТАТЕЛЮ

(с. 125)

Впервые обращение «К читателю» было написано в качестве предисловия к «Стихотворениям в прозе» в тетради беловых автографов (1880). Оно предшествовало тексту всех 83 стихотворений.

---

[70] См.: Шенгели Г. О ритмике тургеневской прозы.— В его кн.: Трактат о русском стихе. Изд. 2-е. Пг., 1923, с. 178—181. Энгельгардт Н. А. Мелодика тургеневской прозы.— *Творч путь Т*, с. 9—63. Пешковский А. Ритмика «Стихотворений в прозе» Тургенева.— В сб.: Русская речь. Л., 1928. Т. 2, с. 69—83.

[71] Земляковская А. А. «Стихотворения в прозе» как лирический дневник последних лет И. С. Тургенева.— В кн.: Сборник материалов Второй научной сессии вузов Центрально-черноземной зоны. Литературоведение. Воронежский университет. Воронеж, 1967, с. 19—28; Исова Л. Н. Некоторые композиционные принципы «Стихотворений в прозе» И. С. Тургенева.— Там же, с. 29—35; Она же. Истоки жанра «Стихотворений в прозе» Тургенева.— В сб.: Вопросы литературы и фольклора. Воронеж, 1969, с. 5—13; Озеров Л. А. «Стихотворения в прозе» Тургенева.— Мастерство русских классиков. М., 1969, с. 153—218; Лимонова Е. А. Жанровое и стиховое своеобразие «Стихотворений в прозе» И. С. Тургенева.— Материалы X научной конференции литературоведов Поволжья. Ульяновск, 1969, с. 72—75; Левина Н. Р. Ритмическое своеобразие жанра стихотворений в прозе.— В сб.: Русская литература и общественно-политическая борьба XVII—XIX веков (Уч. зап. Ленингр. пед. ин-та, т. 414). Л., 1971, с. 217—236; Земляковская А. А. Жанрово-видовое своеобразие «Стихотворений в прозе» И. С. Тургенева.— В сб.: По законам жанра. Тамбов, 1976. Вып. 2, с. 3—14 (Тамбовский пед. ин-т); Балашов Н. И. Ритмический принцип стихотворений в прозе Тургенева и творческая индивидуальность писателя.— Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз., 1979, т. 38, вып. 6, с. 530—542; и др.

Над обращением в беловом автографе — эпиграф: «Wage Du zu irren und zu träumen...» («Дерзай заблуждаться и мечтать...») — строка из стихотворения Шиллера «Текла» (1802). Эта строка, очевидно, была дорога Тургеневу, и он повторял ее несколько раз в качестве цитаты или эпиграфа. В последующей рукописи (наборная рукопись) Тургенев эпиграф снял — вероятно, потому, что уже поставил его к рассказу «Песнь торжествующей любви» (см. с. 47).

Обращение «К читателю» было передано Тургеневым М. М. Стасюлевичу вместе с первыми сорока стихотворениями в прозе, которые предполагалось напечатать в «Вестнике Европы». Однако Стасюлевич дал вместо него предисловие «От редакции», в которое включил строки из обращения «К читателю» в виде цитаты из письма Тургенева к нему, хотя это письмо в действительности не было написано. В письме от 14(26) августа 1882 г. Тургенев среди других вопросов, о которых ему нужно было поговорить со Стасюлевичем «при свидании», упоминает и «предисловие» к стихотворениям в прозе. А 29 сентября (11 октября), соглашаясь на предложения Стасюлевича, Тургенев писал: «В предисловии от редакции я бы желал изменить одно слово: вместо „*богатую*“ коллекцию — я предложил бы: „целую“ коллекцию». В корректуре Стасюлевич выполнил просьбу писателя.

⟨I⟩

ДЕРЕВНЯ

(с. 125)

Первое из стихотворений в прозе, которым в беловой рукописи и в русских прижизненных изданиях открывается вся их сюита, «Деревня» неоднократно сопоставлялась с циклом лирических стихотворений Тургенева, напечатанных в «Современнике» 1847 г.— в той же книге, где появился первый рассказ из будущих «Записок охотника» [1]. Начальное стихотворение этого цикла, имеющее то же заглавие («Деревня»), открывается картиной сельской природы, родной ему орловщины.

Нетрудно заметить, что близость «Деревни» 1878 г. к одноименному произведению, написанному за тридцать лет перед тем,— преднамеренная. Об идеализирующей тенденции, которой проникнута представленная здесь картина русской деревни, свидетельствуют слова, первоначально написанные Тургеневым, но затем им отброшенные. В середине фразы: «О довольство, покой, избыток» — в черновике читаем: «*глухой*, *зажиточной*, вольной деревни!»; в концовке после слов «и думается мне» в черновике — «*будь так везде*». С односторонностью этого изображения связано, по-видимому, и намерение посвятить деревне не одно, а два стихотворения в прозе (в перечне стихотворений беловой рукописи стояло — «Деревня 1.2»). Тургенев прекрасно понимал, что за три десятилетия, протекших между обоими произведениями, русская деревня из крепостной стала «вольной», но столь же далекой от идиллии, ка-

---

[1] Об этом см.: Р о т Т. А. Деревня в лирике Тургенева.— Уч. зап. Моск. гор. пед. ин-та им. В. И. Ленина, № 213. М., 1964, с. 126; *Сакулин*, с. 52—53.

кою она была и в период создания «Записок охотника». Между тем в 1878 г. Тургенев искусственно подбирал светлые краски, чтобы подчеркнуть именно идиллический колорит живописуемой им картины — «довольство, покой, избыток русской вольной деревни». Более правдоподобную картину русской деревни той поры Тургенев дал за десятилетие перед тем в письме к брату Н. С. Тургеневу от 16(28) июля 1868 г. («Крыши *все* раскрыты, заборы повалились, нигде не видать нового строения, за исключением кабаков ⟨. . .⟩ Пыль стоит везде как облако ⟨. . .⟩ Только и видишь людей, спящих на брюхе плашмя врастяжку,— бессилие, вялость и невылазная грязь и бедность везде. Картина невеселая — но *верная*»), а также в 1874 г. в стихотворении, написанном Тургеневым от имени своего героя Нежданова в романе «Новь» (см.: наст. изд., т. 9, с. 328—329).

С «Деревней» 1878 г. имеет общее также изображенная в романе «Дворянское гнездо» (1858) картина безмятежной жизни, которую наблюдает Лаврецкий: здесь жизнь казалась ему «погруженной в ту тихую дрему, которой дремлет всё на земле, где только нет людской, беспокойной заразы». «. . . В других местах на земле кипела, торопилась, грохотала жизнь; здесь та же жизнь текла неслышно, как вода по болотным травам...» (наст. изд., т. 6, с. 63, 65). Как свидетельствует концовка «Деревни», стихотворение выросло из того же противопоставления. Во всех редакциях, особенно в черновой, «Деревня» подвергалась тщательной стилистической правке.

...крест на куполе Святой Софии в Царь-Граде...— Имеются в виду события русско-турецкой войны, когда русские войска, заняв в январе 1878 г. Адрианополь, готовились к вступлению в Константинополь («Царь-Град»).

РАЗГОВОР

(с. 127)

В первопечатном тексте «Разговора» в «Вестнике Европы» слова эпиграфа («Ни на Юнгфрау ∽ не бывало человеческой ноги») заключены в кавычки, т. е. эпиграфу придан вид цитаты; источник ее, однако, неизвестен. Ш. Саломон во французском издании «Стихотворений» «обратил внимание на то, что если указанные слова взяты из какого-нибудь путеводителя по Швейцарским Альпам, то он мог быть издан не позже самого начала XIX века, так как восхождение на вершины, о которых идет речь у Тургенева, совершено было — на Финстерааргорн в 1810 г., на Юнгфрау в 1811 г., т. е. задолго до того, как Тургенев видел эти горы, путешествуя по Швейцарии в 1840 г. Источником «Разговора», по мнению того же Саломона, могло быть следующее место в «Письмах русского путешественника» Карамзина (Лаутербруннен, 29 августа 1789 г.), где описан вид на Юнгфрау лунной ночью: «Светлый месяц блистает на вершине Юнгферы, одной из высочайших Альпийских гор, вечным льдом покрытой. Два снежные холма, девическим грудям подобные, составляют его корону. Ничто смертное к ним не прикасалося; самые бури не могут до них возноситься: одни солнечные и лунные лучи лобызают их нежную округлость; вечное безмолвие

царствует вокруг их — здесь конец земного творения!» И далее: здесь «смертный чувствует свое высокое определение, забывает земное отечество ⟨. . .⟩ смотря на хребты каменных твердынь, ледяными цепями скованных и осыпанных снегом, на которых столетия оставляют едва приметные следы». Более правдоподобным представляется, что, сочиняя эпиграф к «Разговору», Тургенев вспомнил драматическую поэму Байрона «Манфред» (1817), которую он, несомненно, перечитывал в конце 1870-х годов (см. далее «Проклятие», «У-а. ..У-а!»)' действие «Манфреда» развертывается в Швейцарских Альпах, в частности именно на «горе Юнгфрау» (акт I, сцена 2); третья сцена II акта сосредоточена «на вершине горы Юнгфрау» и открывается следующими словами, которые могли внушить Тургеневу эпиграф к «Разговору»:

And here on snows, where never human foot
Of common mortal trod, we nightly tread,
And leave no traces...[1]

«Пирамиды Шрекгорна и Финстерaагорна» упомянуты в книге Сенанкура «Оберон» (1804), о которой идет речь в «Дворянском гнезде» (наст. изд., т. 6, с. 88, 425). У Сенанкура также противопоставляется «однообразное убожество равнин» с «тяжкой, душной и беспокойной атмосферой человеческого общества» — «безмолвным вершинам гор», «где небо как бы раздвигает свои пределы, где воздух спокойнее, где время замедляет свой бег, а жизнь постоянна и незыблема, здесь вся природа являет куда бóльший порядок, куда более осязаемую завершенность и непреходящее единство» (письмо 700).

Тургеневу было также хорошо известно стихотворение А. де Мюссе «К Юнгфрау» («Chansons à mettre en musique»); в нем идет речь об ощущениях путешественника, которому удалось бы достигнуть вершины Юнгфрау.

Приведенные сопоставления значительно уменьшают вероятность догадки, что «Разговор» Тургенева возник под воздействием двух прозаических диалогов Леопарди: «Геркулес и Атлант» и «Домовой и гном» (см.: *Куприевич*, с. 7—12).

Л. Семенов в особой заметке «„Спор“ Лермонтова и „Разговор“ Тургенева» пытался обосновать еще одно предположение о зависимости «Разговора» от Лермонтова: Юнгфрау и Финстерааргорн ведут между собою беседу подобно Казбеку и Шату (Семенов Л. Лермонтов и Лев Толстой. М., 1914, с. 439—441; Гершензон М. О. Письма к брату. М., 1927, с. 109). Пессимистические выводы Тургенева о судьбах человека и всего земного шара см. в его произведениях «Призраки» и «Довольно» (Винникова И. А. Об идейных истоках «Призраков» и «Довольно» И. С. Тургенева (Тургенев и Шопенгауэр в 60-е гг. XIX в.).— Вопросы славянской филологии. К V Международному съезду славистов. Саратов, 1963, с. 93).

Из черновых рукописей Тургенева видно, что «Разговор» был задуман как беседа горных вершин Юнгфрау и Веттергорн (также высокая гора в Бернском кантоне Швейцарии), впоследствии замененной Финстерааргорном.

---

[1] Здесь, по снегам, где ни единый смертный Не проходил, мы ходим еженощно, Следов не оставляя... *(англ.)*.

СТАРУХА

(с. 128)

Л. Пич в своих воспоминаниях о Тургеневе обращает внимание на то, что многие из «стихотворений в прозе» представляли собой литературную обработку его снов. Таково же, по его словам, и происхождение стихотворения «Старуха», «в котором так наглядно изображается неизбежность смерти». «Однажды летом,— свидетельствует Л. Пич,— в Берлине, проведя вечер с Юлианом Шмидтом и мною, он нам рассказал этот сон. У нас выступил холодный пот. Я записал тогда же слышанный мною рассказ и напечатал его в фельетоне „Schlesische Zeitung" под заглавием „Сон"» (Иностранная критика о Тургеневе. СПб., 1884, с. 178). Хр. Гаеде принадлежит первая научная публикация этого фельетона, напечатанного, как она установила, в «Силезской газете» 15 августа 1878 г. (Beiträge und Skizzen zum Werk Turgenevs (Slavische Beiträge. B. 116). München, 1977, S. 109). См. об этом: Т и м е Г. А. Работы немецких славистов о И. С. Тургеневе.— Русская литература. 1979, № 2, с. 188. Вероятно, именно этот фельетон имел в виду Тургенев в своем письме к Пичу от 26 сентября (8 октября) 1878 г.: «Вы правильно пересказали мой „Сон"; меня только немного удивляет то, что Вы сочли его стоящим внимания любезной публики. Но, о ужасный друг, Вы низвергаете на меня целый поток комплиментов!» Этот фельетон значительно расходился в художественном отношении со стихотворением Тургенева, которое тщательно им правилось и в черновой и в беловой рукописях. Первоначально в черновой рукописи это стихотворение действительно имело заглавие «Сон 1-й», тут же переделанное на «Старуха. Сон». В черновой рукописи оно не датировано, но было записано в группе стихотворений января — февраля 1878 г. Встреча с Л. Пичем произошла 6 августа 1878 г. Лишь в корректуре «Вестника Европы» Тургенев сам снял подзаголовок «Сон», учитывая замечание П. В. Анненкова (см. выше, с. 455—456).

СОПЕРНИК

(с. 130)

Стихотворение набросано на полях черновика «Черный дрозд. 1» с большими вставками и поправками, как одно из «видений» бессонных ночей Тургенева. Вероятно, «соперник» — реально существовавшее лицо, кто-то из друзей Тургенева в 1840—50-е годы. Точных данных для указания его имени нет.

«УСЛЫШИШЬ СУД ГЛУПЦА...»

(с. 132)

Заглавие заимствовано Тургеневым из стихотворения Пушкина «Поэту» (1830):

Поэт! Не дорожи любовию народной.
Восторженных похвал пройдет минутный шум;
Услышишь суд глупца и смех толпы холодной,
Но ты останься тверд, спокоен и угрюм...

Стихотворение «Услышишь суд глупца...» переработано болгарским поэтом П. Р. Славейковым (см.: Велчев В. Тургенев в Болгарии.— Годишник на Софийския университет, 1961. Т. IV, 3, с. 133—135).

Но есть удары ∽ по самому сердцу.— Всё стихотворение отражает враждебное отношение к Тургеневу читателей разных общественных слоев после выхода в свет романа «Новь» (1877). Тургенев предвидел неблагоприятные отзывы о своем романе; Я. П. Полонскому он, например, писал (11(23) ноября 1876 г.), что ждет неминуемых ударов от критиков всех направлений: «Никакого нет сомнения, что, если за „Отцов и детей“ меня били палками, за „Новь“ меня будут лупить бревнами — и точно так же с обеих сторон». Особенно больно уязвило Тургенева неприязненное отношение к «Нови» русской молодежи. В черновом автографе строки 11—12 читались так: «И честные, хорошие, молодые души отворачиваются от него». О том же говорят и строки 14—17.

Тургенев датировал свое стихотворение февралем 1878 г. К этому же времени относятся его энергичные заявления об отказе от литературного творчества. Так, редактору журнала «Правда», просившему о сотрудничестве, Тургенев 7(19) февраля 1878 г. ответил, что прием, который встретили в публике его последние произведения, заставил его прекратить литературную деятельность: «... как бы то ни было, *я положил перо и уж больше за него не возьмусь*».

А. Луканина в воспоминаниях о Тургеневе приводит выдержку из своего дневника, в котором (под 30 марта 1878 г.) записано, что Тургенев советовал ей не обращать внимания на критику и цитировал стихотворение Пушкина «Поэту» (Луканина А. Мое знакомство с Тургеневым.— *Сев Вестн*, 1887, № 2, с. 57).

... проклинали путешественника, принесшего им картофель...— Первые известия о картофеле проникли в Европу из Америки в середине XVI века, в 1584 г. он был привезен в Ирландию, через два года — в Англию. В 1716 г. картофель появился в Швеции, в России — во время Семилетней войны; здесь он распространялся довольно медленно и встречал противодействие даже в начале XIX века. Эти сведения сообщаются в статье А. О. Подвысоцкого «Водворение и распространение картофеля в Архангельской губернии в 1765—1865 гг.» (*Рус Ст*, 1879, № 9, с. 85—100), которая могла быть известна Тургеневу еще до публикации стихотворений в прозе.

«Бей меня! но выслушай!» — говорил афинский вождь спартанскому.— Слова Фемистокла Еврипиаду перед морской победой греков над персами при Саламине. Эту фразу, ставшую крылатой, приводит Плутарх (Изречения царей и полководцев. Фемистокл, 3—5). Ср.: Ашукин Н. С., Ашукина М. Г. Крылатые слова. 3-е изд. М., 1966, с. 45.

ДОВОЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК

(с. 133)

Этому стихотворению Тургенев намеренно отвел место в непосредственном соседстве с «Услышишь суд глупца...» и выставил под ним ту же дату (февраль 1878), так как оно выросло из той

же досады и даже враждебности Тургенева к его критикам при чтении их отзывов о «Нови». Характерно, что это стихотворение записано на полях рядом со стихотворением «Услышишь суд глупца...» и на одном листе со стихотворением «Враг и друг». А. Луканина сообщает, что Тургеневу приходилось быть «мишенью гнуснейших сплетен», и она удивлялась «грязной изобретательности лиц, пускавших их в ход» (*Сев Вестн*, 1887, № 3, с. 78). Реальный повод создания данного стихотворения неизвестен; неясным остается также лицо, которое он имел в виду, создавая эту сатирическую характеристику.

Уж не возложили ли на его шею твой красивый осьмиугольный крест, о польский король Станислав! — Имеется в виду орден св. Станислава третьей степени, с которого обычно начиналось награждение русских чиновников. Орден св. Станислава, присоединенный к русским императорским орденам после 1831 года, учрежден был в Польше при короле Станиславе Понятовском в память краковского епископа Станислава, убитого в XI в. королем Болеславом в церкви во время богослужения; в XIII в. Станислав был причислен к святым и признан патроном Польши (см.: Спасский И. Г. Иностранные и русские ордена до 1917 года. Л., 1963, с. 69, 71 и табл. 38).

ЖИТЕЙСКОЕ ПРАВИЛО

(с. 133)

Стихотворение направлено против досаждавших Тургеневу критиков. Очень вероятно, что здесь подразумевался Б. М. Маркевич, как и в стихотворении «Гад», исключенном из цикла ввиду его большей прозрачности и сходства с лицом, которое Тургенев изображал с сильной неприязнью,— см. ниже, с. 520. «Житейское правило» сначала не входило в число пятидесяти стихотворений, посланных в «Вестник Европы». Тургенев отправил его позднее, одновременно с выправленной им корректурой, вместо изъятого «Порога» (см. письмо Стасюлевичу от 4(16) октября 1882 г.). Однако в письме к нему же от 13(25) октября Тургенев просит выкинуть «Порог», не заменяя его вновь присланным стихотворением («оно по тону не подходит к прочим»). И всё же «Житейское правило» было напечатано, причем с неправильной датой: вместо «октябрь 1882» в беловой рукописи — «апрель 1878» (дата другого «Житейского правила» — см. ниже, с. 520) и поэтому помещено хронологически неверно, в ряду стихотворений 1878 года.

Как и все стихотворения 1881—1882 годов (за исключением «Молитвы» и «Русского языка», находившихся в наборной рукописи «Вестника Европы»), «Житейское правило» имеет только один автограф, записанный в черновом виде в тетради беловых автографов. По сравнению с этим автографом в «Вестнике Европы» текст резче и острее: например, вместо «пьяница» стало — «ренегат», вместо «лакей... просвещения» — «лакей... социализма».

В. И. Ленин в своих полемических статьях не раз вспоминал это стихотворение в прозе и приводил из него отдельные фразы (см.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 6, с. 11, 14, 15, 22; полный свод этих упоминаний см.: Ипполит И. Ленин о Тургеневе. М., 1934, с. 11, 20—21).

КОНЕЦ СВЕТА (СОН)

(с. 134)

Воображение молодого Тургенева не раз поражали картины гибели мира, распространенные в русской романтической литературе 1830-х и 1840-х годов. Сам Тургенев перевел и напечатал в «Петербургском сборнике» (1846) стихотворение Байрона «Тьма» («The Darkness». 1816), в котором представлено постепенное угасание человечества на леденеющей земле:

Я видел сон... не всё в нем было сном.
Погасло солнце светлое — и звезды
Скиталися без света, без лучей
В пространстве вечном; льдистая земля
Носилась слепо в воздухе безлунном

(наст. изд., т. 1, с. 53, 458). Тургеневу были известны также многие русские произведения на ту же тему: «Последний день» А. В. Тимофеева (1835); ходившие в рукописях отрывок «Стихи о наводнении» (1827—1832 гг.), приписывавшийся декабристу А. И. Одоевскому, и мрачная поэма В. С. Печерина «Торжество смерти» (1834) о разрушении «древней столицы» мстительной водной стихией; грозная картина наводнения и гибели в неумолимой пучине в рассказе В. Ф. Одоевского «Насмешка мертвеца» (Русские ночи, 1844) и т. п. Может быть, сложившаяся у нас в XIX веке традиция истолковывать наводнение как политическое возмездие, восходящая к «Медному всаднику» Пушкина и ко второй части «Фауста» Гёте, подсказала комментаторам тургеневского «Конца света» истолкование этого стихотворения как аллегорического изображения. Еще бо́льшее значение для подобного же понимания «Конца света» имели строки, помещенные Герценом в «Колоколе» (1 ноября 1861 г.): «Прислушайтесь, благо тьма не мешает слушать: со всех сторон огромной родины нашей, с Дона и Урала, с Волги и Днепра, растет стон, поднимается ропот; это — начальный рев морской волны, которая закипает, чреватая бурями, после страшного утомительного штиля». В соответствии с этой традицией объяснял П. Н. Сакулин и тургеневское стихотворение в прозе (см.: *Сакулин*, с. 91; ср.: *Шаталов*, с. 25—27; Бобров Е. А. Мелочи из истории русской литературы. Тема о наводнении.— Русский филологический вестник, 1908, № 1—2. с. 282—286). Однако понимание «конца света» как политической аллегории неисторично и совершенно неправдоподобно. В последние годы жизни Тургенев особенно протестовал против подобного рода произвольных и надуманных истолкований его произведений. Л. Нелидова (Памяти Тургенева.— *ВЕ*, 1909, № 9. с. 221), утверждая, что Тургенев «решительно отвергал всё мистическое», с некоторым удивлением сообщала. что «в то же время он охотно и много говорил о . . . светопреставлении. ⟨. . .⟩ он рассказывал. как он воображает себе светопреставление. Я вспомнила эти разговоры, когда читала два стихотворения в прозе на эту тему». Следует напомнить также, что и в стихотворении в прозе «Дрозд» (I) упоминаются волны, уносящие человеческую жизнь, и что еще ранее в прологе к «Вешним водам» дана картина водной, морской стихии — враждебной

и неумолимой по отношению к человеку (см.: наст. изд., т. 8, с. 255—256).

Вполне реальная картина всеобщей гибели, данная в «Конце света», однако, не исключает творческих воздействий на Тургенева современной ему литературы. Незадолго до создания этого произведения Тургеневу, несомненно, стали известны «Poésies philosophiques» Луизы Аккерман, получившие широкую известность после статьи об этой книге в «Revue des Deux Mondes» (1874, t. III, 15 mai, p. 241—262). Среди стихотворений Л. Аккерман обращало на себя внимание большое стихотворение «Потоп» («Le Déluge») с эпиграфом из эпилога к «Страшному году» В. Гюго: «Ты думаешь, что я морской прилив, а я — потоп». У Аккерман: «Мы хотели света, а волны потопа создадут мрак. Мы мечтали о гармонии, а вот наступает хаос. И в этом приливе ненависти и дикой ярости самыми счастливыми будут те, которых поглотят волны».

Почти в то же самое время, когда Тургенев создавал «Конец света», А. А. Фет написал стихотворение «Никогда» (напечатано в журнале «Огонек» 1879, № 9), в котором представлена гибель земли:

Всё понял я: земля давно остыла
И вымерла . . . .
Куда идти, где некого обнять,
Там, где в пространстве затерялось время?
Вернись же, смерть, поторопись принять
Последней жизни роковое бремя,
А ты, застывший труп земли, лети,
Неся мой труп по вечному пути.

Это стихотворение Фет в рукописи послал Л. Н. Толстому, и они долго спорили между собой, обсуждая его во всех подробностях. Л. Толстой, между прочим, утверждал, что в его семье с интересом прочли «Никогда», потому что тревожно следили по газетам за внезапно вспыхнувшей осенью 1878 г. в Астраханской губ. эпидемией чумы. А. Фет в письме к Л. Н. Толстому от 3 февраля 1879 г. сопоставлял свое стихотворение «Никогда» с «Тьмой» Байрона (Толстой Л. Н. Переписка с русскими писателями. В 2 т. М., 1978. Т. 2, с. 45).

МАША

(с. 135)

Стихотворение «Маша», датированное апрелем 1878 г., сложилось значительно ранее: подробная запись его со слов Тургенева сохранилась в дневнике Э. Гонкура под 21 ноября 1875 г. Как в пересказе Э. Гонкура, так и в тексте Тургенева рассказ о ночном извозчике отнесен к юношеским воспоминаниям автора. До нас дошел относящийся к концу 1840-х годов незавершенный набросок Тургенева под заглавием «Ванька» (первоначальное название — «Разговор»), в котором должна была быть рассказана задушевная беседа с извозчиком зимней ночью (см.: наст. изд., т. 1, с. 415, 416, 561). Тема эта привлекала в те годы многих писателей (Н. Полевой, М. Погодин, Н. Некрасов, Г. И. Успенский) и к середине века стала

даже традиционной в русской литературе [1]. По словам Э. Гонкура, Тургенев рассказал свою историю в подтверждение мысли, что «порою совсем необразованные люди находят выражения истинно шекспировской силы». «В Петербурге,— рассказывал Тургенев,— существуют небольшие коляски с одной лошадью в упряжке; их можно нанимать за небольшую цену; и я пользовался ими, когда был молод. В такой коляске вы сидите позади кучера, его затылок совсем близко от вас; я беседовал с кучером. Кучерами на этих колясках бывают обычно крестьяне, приезжающие на несколько месяцев в столицу,— но вообще-то крестьяне редко уезжают из дома 〈. . .〉 Итак, я сел в коляску и, как я вам уже сказал, разговорился с кучером. Путь был дальний. Он стал рассказывать о своей жене, которая недавно умерла. Русские, как правило, не склонны к нежным чувствам, но в его словах о жене звучала необычайная нежность.— „Ну и что же с вами было, когда вы вошли в ее комнату?“ — спросил я его.— „Я взял ее за руку и назвал по имени!“ И Тургенев произносит по-русски уменьшительное от имени Мария.— „Ну, а потом?“ — „О, потом я совершил что-то очень глупое! Я сел на пол возле ее кровати 〈. . .〉“. И, сделав такой жест рукой, как если бы он ударял ладонью о землю, этот крестьянин добавил: — „И я сказал: откройся, ненасытная утроба!“ — „А еще потом?“ — „Потом я лег спать и заснул“» [2].

Важнейшее отличие пересказа Гонкура от текста «Маши» — в том, что в последнем извозчик возвращается в деревню уже после похорон жены и произносит свой монолог в пустой горнице избы. В черновом автографе заглавие написано со знаком восклицания: «Маша!»; в перечне стихотворений в прозе («Сюжеты») в беловом автографе заглавие рассказа иное: «Извозчик» и добавлено: («Маша» ночью). Во французском переводе (Revue politique et littéraire, 1888, № 25, p. 771) сохранено заглавие «Macha», а в тексте встречается также русское слово «isvostchik» (объясненное в примечании: «cocher de traineau», т. е. «кучер на санях»). В предшествующем номере того же журнала (№ 24, p. 755—762) напечатан рассказ В. Гаршина «Ночь» в переводе Э. Дюран-Гревиля, центральный эпизод которого — разговор с извозчиком зимней ночью. Несомненно, что этот рассказ был рекомендован для помещения в «Revue» Тургеневым.

ДУРАК

(с. 137)

В черновом автографе заглавия нет. В перечне названий («Сюжеты») в тетради беловых автографов оно названо: «Дурак (рец〈ензент〉)». Во всех рукописях и в тексте, посланном Тургеневым М. М. Стасюлевичу в качестве наборной рукописи, содержатся следующие строки: «Кончилось тем, что издатель распространенного

---

[1] См.: Гин М. М. Из истории борьбы Некрасова с ложной народностью. I. Стихотворение «Извозчик» и его источники.— Некрасовский сборник. М.; Л., 1960. Т. 3, с. 273—280.

[2] Goncourt Edmond et Jules de. Journal, t. 2. Paris, 1960, p. 1091—1092; Шор В. И. С. Тургенев — рассказчик в Дневнике братьев Гонкур.— Русская литература, 1966, № 3, с. 123—124.

журнала ⟨в первоначальном варианте чернового автографа — „известный издатель известного журнала“⟩ предложил дураку заведовать у него критическим отделом». Учитывая нападки русской реакционной критики на Тургенева в эти годы, современники могли принять это стихотворение за памфлет на какое-то определенное лицо. Так, вероятно, воспринял его и Стасюлевич, обратившийся к Тургеневу с просьбой о замене заглавия и цитированных выше строк. Возвращая корректуру, Тургенев ответил Стасюлевичу 14(26) октября 1882 г.: «Посылаю Вам обратно „Дурака“ с изменением. Так гораздо лучше — тем более, что никакого у меня личного намека не было. Но заглавие полагаю оставить». В сохранившихся гранках (корректура «Вестника Европы») рукою Тургенева заменены упомянутые выше строки.

ВОСТОЧНАЯ ЛЕГЕНДА

(с. 138)

Этому стихотворению в прозе Тургенев придал форму восточного аполога, широко распространенную как в западноевропейских, так и в русской литературах в конце XVIII — начале XIX веков. Условная рамка «восточной» повести, басни или сказки представляла известные удобства для писателей, стремившихся иносказательно изложить какую-либо морально-дидактическую идею или как-нибудь намекнуть на то, о чем по тем или иным обстоятельствам неудобно было говорить открыто. Подобные повести, нередко являвшиеся переделками с французского, например, из Вольтера, Мармонтеля или «Восточных басен» («Fables orientales») в прозе Флориана,— писали у нас М. Херасков, И. Крылов, А. Измайлов, И. И. Дмитриев, А. Бенитцкий и другие [1]. Многие из этих повестей усваивали мотивы из сказок «1001 ночи», ставшие весьма популярными после знаменитого, выполненного А. Галланом (1704), французского перевода этой книги, непрерывно переиздававшейся в XVIII и XIX веках. Из этого источника и последующих его адаптаций заимствованы были имена и отдельные мотивы, в частности, сильно идеализированные арабским фольклором образы багдадского халифа Гарун-ар-Рашида (786—809) и не менее знаменитого его визиря — Джафара Бармекида, весьма мало похожие на реальных исторических лиц (К р ы м с к и й А. История арабов и арабской литературы. М., 1912. Ч. 2, с. 145, 157—158). Из французского, английского или русского источника Тургенев заимствовал имя героя своей «Восточной легенды», мы не знаем; характерно, однако, что в черновом автографе имя визиря имеет написание Гиафар, лишь позднее всюду измененное на Джиаффар, как он обычно именовался в русских источниках. Возможно, что в соответствии с традициями восточного аполога Тургенев написал свою легенду для того, чтобы высмеять какой-либо конкретный факт русской придворной жизни, изображая своего героя, отличавшегося, по его словам, «благоразумием и обдуманностью» среди

---

[1] См.: К у б а ч е в а В. Н. «Восточная» повесть в русской литературе XVIII — начала XIX веков.— В кн.: XVIII век. М.; Л., 1962. Сб. 5, с. 295—315.

своих сверстников; однако попытки расшифровать этот намек (ср.: *Шаталов*. с. 37. 103) пока еще не привели к сколько-нибудь правдоподобным результатам.

«Восточная легенда» Тургенева сюжетно совпадает с произведением классика казахской поэзии Абая Кунанбаева поэмой «Масгуд» (1887); вся первая часть этой поэмы представляет собою пересказ стихотворения в прозе Тургенева: это тем более вероятно, что на рукописи легенды Абая ее издателями было помечено: «Тургеневтен» (из Тургенева). Однако у обоих произведений мог быть и общий источник из арабских легендарных сюжетов (см.: Ахметов З. А. «Восточная легенда» Тургенева и «Масгуд» Абая Кунанбаева.— *Т сб*. вып. 3, с. 163—165; а также: Озеров Л. А. «Стихотворения в прозе» Тургенева.— Мастерство русских классиков. М., 1969. с. 212). Вторая часть «Масгуда» принадлежит Абаю: Масгуд становится визирем и мудрым советником халифа, но их мудрость и власть беспомощны и жалки перед толпой народа, напившегося вредоносной воды (см. перевод поэмы в кн.: Кунанбаев Абай. Собр. соч. в 1 т. М., 1954, с. 297—302).

ДВА ЧЕТВЕРОСТИШИЯ

(с. 139)

В первоначальном замысле «Двух четверостиший», записанном со слов Тургенева в 1874 г. Н. А. Островской, речь шла о двух «цивилизаторах» в некоей фантастической стране. В «Воспоминаниях» Н. А. Островской устная импровизация Тургенева записана в следующем виде:

«Была дикая страна. Жители в ней были — как звери, даже религии не имели. Явились туда два цивилизатора. Один из них начал с того, что стал проповедовать религию — религию прекрасную, религию любви, милосердия, всепрощения. Его не слушали, смеялись над ним, считали сумасшедшим. Товарищ его был много ниже его и по уму, и по характеру, но хитрее, лукавее. Он прислушивался к его словам, запоминал и через несколько времени сам стал проповедовать то же самое, но при этом популярничая, опошляя прекрасные мысли. Над ним не смеялись, у него нашлись даже последователи. Один из этих последователей был человек ловкий — он догадался: распустил слух, что новый проповедник — пророк, настоящий пророк, и что у него огромная жемчужина вместо пупка! Тогда весь народ, вся чернь уверовала... Выстроили храм неведомому богу, лжепророка произвели в главные жрецы, его первых последователей сделали также жрецами, и посыпались на них деньги, приношения... А тот, первый-то проповедник, с ужасом увидал, что его благородные мысли искажаются... Он пробовал возражать, возражал публично; на него напали, как на богохульника, заковали в цепи, судили и приговорили к казни. На площади перед храмом толпа; у преддверья храма на троне сидит главный жрец. Посреди площади воздвигнут костер. На костер тащат несчастного; чернь ругается над ним, бросает в него камнями... Вот его втащили, привязали, дрова подожгли! Чернь рукоплещет; жрецы поют хвалебные гимны всемогущему существу, а главный жрец, подняв руки к небу, восхваляет бога милости, бога любви!..» (*Т сб(Пиксанов)*, с. 119). И. С. Розенкрапц

в статье «О происхождении некоторых „Стихотворений в прозе“ И. С. Тургенева» (Slavia. 1933. Ročn. XII, Seš. 3—4. s. 387), справедливо указавший на этот устный рассказ Тургенева как на источник, из которого четыре года спустя выросли «Два четверостишия», отмечал: «Когда Тургенев придавал окончательную форму данному стихотворению, он изменил содержание, но основа осталась та же: и там и здесь мы имеем двух лиц, из которых один является автором, другой же заимствует тему (проповедник — Юний, лжепророк — Юлий). В обоих случаях остается победителем второй — исказитель мыслей первого».

Процесс создания «Двух четверостиший», растянувшийся на несколько лет, имел, очевидно, несколько этапов и в результате от первоначального замысла в окончательном тексте этого произведения остались очень немногие подробности. «Дикая страна», в которой спачала сосредоточено было его действие, превратилась в некий гипертрофически цивилизованный город, жители которого превыше всего любили поэзию. Этому фантастическому городу придан условный античный колорит с намеками на античный Рим (имена Юния и Юлия, упоминание «ликторов» с их «жезлами»). Сложнее стал конфликт между поэтами-соперниками и восприятием их стихотворений толпой «любителей поэзии». Черновой автограф позволяет проследить, как складывалось у Тургенева это представление о двух поэтах и как менялся текст стихотворения, ставшегося поводом для конфликта. Первоначально Тургенев назвал свой отрывок «Двустишием» (затем — «Два двустишия»), так как строка: «Друзья! Товарищи! Любители стихов!» — являлась первоначально обращением к слушателям, а самое стихотворение было более кратким и состояло из двух строк (третья и четвертая окончательного текста). Потом Тургенев вписал вторую строку стихотворения, а затем двустишие превратил в четверостишие, сделав обращение первой строкой. На одном из разрозненных листков чернового первоначального автографа Тургенев записал черновик стихотворения, по которому можно проследить последовательность превращения двустишия в два двустишия и затем в два четверостишия. Существенно также, что в конце чернового текста своего стихотворения в прозе Тургенев проставил и другую дату: «Апрель — май 1878 г.» — и записал в качестве эпиграфа следующие стихи:

Ich sah des Ruhmes schönste Kränze
Auf der Gemeinen Stirn entweiht.

Это — стихи 65—66 из стихотворения Шиллера «Идеалы» (Die Ideale, 1795), записанные, очевидно, по памяти, с небольшим изменением (у Шиллера не «schönste», а «heil’ge» Kränze): «Я видел священные венки славы, Оскверненные на презренных лбах» (Gedichte von Schiller. Stuttgart, 1867, S. 154). В широко известном у нас вольном переводе «Идеалов» Жуковского (под заглавием «Мечты», 1812) приведенные стихи звучат так:

Я зрел, как дерзкою рукою
Презренный славу похищал.

В беловом автографе цитата из Шиллера исчезла — возможно, потому, что Тургенев уже напоминал эти стихи по другому, вполне конкретному поводу в письмах к друзьям и опасался, как бы они

не стали своего рода ключом к истолкованию «Двух четверостиший».

В письме к Я. П. Полонскому из Парижа от 11(23) января 1878 г. Тургенев делился с ним впечатлениями о тех откликах, которые смерть Некрасова вызвала в русской печати. «Ты знаешь мое мнение о Некрасове; и потому говорить о нем не стану. Пускай молодежь носится с ним. Оно даже полезно, так как, в конце концов, те струны, которые его поэзия ⟨. . .⟩ заставляет звенеть,— струны хорошие. Но когда г. Скабичевский, обращаясь к той же молодежи, говорит ей, что она права, ставя Некрасова *выше* Пушкина и Лермонтова.— и говорит это, „не обинуясь", я с трудом удерживаю негодование и только повторяю стихи Шиллера» (см. выше) [1].

Тургенев следил за откликами на эту статью, вырабатывая вместе с тем и собственную оценку деятельности Некрасова, с которым он виделся незадолго до его смерти (см. далее: «Последнее свидание»). Было бы, разумеется, неправильно видеть прямое отражение указанных выше событий в «Двух четверостишиях». Однако можно предположить, что именно в начале 1878 года, когда Тургенев приступил к переработке своего стихотворения в прозе, два «цивилизатора» превратились в двух поэтов, и в сознании писателя возникла новая формула, определившая смысл данного отрывка словами «седовласого старца», обращенными к «бедному поэту» Юнию: «Ты сказал свое — да не вовремя; а тот не свое сказал — да вовремя. Следовательно, он прав — а тебе остаются утешения собственной твоей совести» [2].

ВОРОБЕЙ

(с. 142)

В черновом автографе было другое заглавие: «Герой» и другая дата: «Апрель—май 1878». И в черновом и в беловом автографах Тургенев тщательно стилистически правил текст.

По записи Д. П. Маковицкого от 27 декабря 1904 г. Л. Н. Толстой был озабочен получением у Глазунова, издателя сочинений Тургенева, для воскресного «Круга чтения» двух стихотворений в прозе, особенно понравившихся ему, «Воробей» и «Морское плавание», которые и были напечатаны в этом издании (*Лит Насл*, т. 90, кн. 1, с. 114 и 489). Н. Невзоров утверждал, что строки стихотворения: «Только ею ∽ движется жизнь» напоминают ему «Чем люди живы» Толстого (см.: Невзоров Н. И. С. Тургенев и его последние произведения: «Стихотворения в прозе» и «Клара Милич». Казань, 1883, с. 10).

---

[1] Статья А. Скабичевского, возмутившая Тургенева, была озаглавлена «Несколько слов о том, выше ли Некрасов своих предшественников и чем именно» и напечатана в «Биржевых ведомостях» от 27 января 1878. № 27. Ср. об этом в «Дневнике писателя» Достоевского (1877, № 12).

[2] Ср. известные Тургеневу столкновения разъяренной толпы с поэтом Цинной в трагедии Шекспира «Юлий Цезарь» («...„Рвите его на клочки за плохие стихи",— ревела толпа...»). изменчивость настроения римской толпы в отношении поэта Торквато Тассо в одноименной драматической фантазии (1833) Н. В. Кукольника, имевшей шумный успех, и т. п.

ЧЕРЕПА

(с. 143)

Историю создания «Черепов» проясняют воспоминания Н. А. Островской: «Вот еще какая болезнь у меня была,— рассказывал Тургенев Островской,— целые месяцы преследовали меня эти скелеты; как сейчас помню, это было в Лондоне,— пришел я в гости к одному пастору. Сижу я с ним и с его семейством за круглым столом, разговариваю, а между тем мне всё кажется, что у них через кожу, через мясо, вижу кости, череп... Мучительное это было состояние. Потом прошло...» *(Т сб (Пиксанов)*. с. 78). Основу болезненных представлений, в свою очередь, составили впечатления от произведений литературы и искусства, не один раз пережитые Тургеневым. Не останавливаясь на традиционных от средних веков «плясках смерти», изображение которых Тургенев многократно видел на картинах и гравюрах, укажем лишь несколько произведений русской литературы, в которых встречается тот же мотив и которые он мог удерживать в своей памяти. Среди стихотворений декабриста А. И. Одоевского есть стихотворение «Бал», впервые напечатанное в альманахе «„Северные цветы“ на 1831 год» и содержащее, между прочим, такие строки:

Свет меркнул... Весь огромный зал
Был полон остовов... Четами
Сплетясь, толпясь, друг друга мча,
Обнявшись желтыми костями,
Кружася, по полу стуча,
Они зал быстро облетали.
Лиц прелесть, станов красота
С костей их — все покровы спали;
Одно осталось: их уста,
Как прежде, всё еще смеялись,
Но одинаков был у всех
Широких уст безгласный смех...

Тот же мотив обработан в рассказе В. Ф. Одоевского «Бал», напечатанном в альманахе «Новоселье» (1833) и вошедшем потом в цикл «Русские ночи» (1844): «Свечи нагорели и меркнут в удушливом паре. Если сквозь колеблющийся туман всмотреться в толпу, то иногда кажется, что пляшут не люди... в быстром движении с них слетает одежда, волосы, тело... и пляшут скелеты, постукивая друг о друга костями...» В популярных в России «Записках доктора» Гаррисона содержится рассказ «Сон» (СПб., 1835. Т. 6, с. 139—214), героиня которого видит во сне, что она танцует на балу с молодым человеком, который не дает ей отдохнуть. «Наконец,— рассказывает она,— совершенно выбившись из сил, я подняла на него умоляющий взор, и вдруг мне показалось, что глаза его становятся глубже и глубже, щеки бледнеют, губы страшно и отвратительно морщатся, и я очутилась в объятиях скелета». Повествователь объясняет этот сон воспоминанием о «танце смерти» — фреске в подземелье Дублинской церкви. В IX «Ямбе» О. Барбье (в переводе А. Подолинского — Литературная газета, 1841, № 41) читаем:

В объятья жаркие бросаешься напрасно,
Напрасный поцелуй в устах ее горит;

Сквозь нежный знойный пух атласистых ланит
Который негою румянится и млеет.
Кость мертвой головы предательски белеет...

Тот же мотив встречается в «Атта Троле» Г. Гейне (гл. 21) и во многих других произведениях русских и западноевропейских писателей.

В рукописях заглавие данного стихотворения — «Черепья». На необычность этого написания обратил внимание М. М. Стасюлевич, и в письме к нему от 14(26) октября 1882 г. Тургенев поспешил исправить случайно проскользнувший в текст диалектизм: «... чере*пья* вместо чере*пá* — орловское словцо. У нас говорят: воро*нья*, вместо воро*ны* и т. д.— конечно, надо черепá». Несмотря на это в первопечатном тексте «Вестника Европы» было напечатано: «Черепья».

ЧЕРНОРАБОЧИЙ И БЕЛОРУЧКА

(с. 143)

В этом диалоге, озаглавленном в перечне («Сюжеты») белового автографа (с. 448) «Белоручка и Чернорабочий», обозначение «чернорабочий» возникло первоначально по контрасту со словом «белоручка» и имеет в виду обобщенного представителя «физического труда» (а не труда тяжелого или неприятного), противопоставленного представителю труда «умственного», т. е. к физической работе непривычного. Не случайно, по-видимому, во всех автографах Тургенев писал Чернорабочий и Белоручка с большой буквы, подразумевая, что образы эти — типические. Строку 28 он в рукописях писал: «Один год спустя» и «Год спустя». Стихотворение написано приблизительно в то же время, что и «Порог». Тургенев одновременно показывал оба этих стихотворения (еще до их напечатания) П. Л. Лаврову и другим представителям русской эмиграции в Париже (см.: *Революционеры-семидесятники*, с. 74). То, что пропагандистское слово революционеров не всегда правильно доходило до народных масс, видно из собственных признаний агитаторов. Так, например, С. М. Кравчинский писал Вере Засулич: «Народ тоже живет своей умственной жизнью. В нем тоже происходят свои умственные движения. Какой-нибудь отставной солдат, баба еле грамотная увлекает за собою толпы, проповедуя белиберду, от которой ему ⟨народу⟩, в сущности, ни тепло ни холодно. Мы же, представители самых жизненных процессов, мы проходим непонятые, неуслышанные» (Красный архив, 1926, т. 19, с. 196). Ср. рассказ Нежданова Марианне о своей пропагандистской деятельности (гл. XXIX «Нови», наст. изд., т. 9, с. 322—323).

Первый французский перевод «Чернорабочего и Белоручки» напечатал (под заглавием «L'homme de peine et l'homme aux mains blanches») И. Павловский в своих «Воспоминаниях о Тургеневе» (Souvenirs sur Tourguéneff. Paris, 1887, p. 244—245).

РОЗА

(с. 144)

В черновом автографе это стихотворение называлось «Роза в грязи», в перечне («Сюжеты») беловой рукописи — «Роза (павшая в грязь)». Среди многочисленных исправлений стилистического

характера Тургенев в черновом автографе сделал много перемен, связанных с тем, что сначала это событие происходило летом, в жаркий вечер июня, а потом писатель перенес его ближе к осени, на август, что больше подходило и к настроению всего рассказа.

ПАМЯТИ Ю. П. ВРЕВСКОЙ

(с. 143)

Заглавие данного стихотворения в рукописях Тургенева несколько раз менялось: Тургенев пробовал различные варианты сокращения имени женщины, памяти которой оно было посвящено. В черновом автографе было «Б. Ю. П. В.»: в перечне «Сюжеты» — «Памяти Ю. В.». В рукописи, приготовленной для набора, он остановился на сокращенном заглавии: «Памяти Ю. П. В.». П. В. Анненков в письме с отзывом о «Стихотворениях» советовал Тургеневу: «Почему бы, кажется, не привести имени Вревской целиком? Ведь это трогательная надгробная надпись — кого может привести она в соблазн?» После этого Тургенев писал М. М. Стасюлевичу 4(16) октября 1882 г.: «Анненков также полагает, что можно пропечатать полное имя Ю. П. Вревской. Однако я с этим не вполне согласен.— Как Вы?» В корректуре сам Тургенев всё же раскрыл инициалы, хотя в «Вестнике Европы» почему-то появилось компромиссное заглавие — «Памяти Ю. П. В-вской»: по-видимому, Стасюлевич признал раскрытие их еще несвоевременным.

Баронесса Юлия Петровна Вревская (урожд. Варпаховская, 1841—1878) семнадцатилетней девушкой вышла замуж за генерала И. А. Вревского, вскоре убитого на Кавказе (1858). Тургенев был с нею знаком с 1873 г. и состоял в переписке вплоть до ее гибели. Летом 1874 г. Вревская приезжала к Тургеневу в Спасское и гостила там пять дней. В день отъезда Вревской Тургенев писал ей: «...в моей жизни с нынешнего дня одним существом больше, к которому я искренне привязался, дружбой которого я всегда буду дорожить, судьбами которого я всегда буду интересоваться». Тургенев виделся с Вревской также в 1875 г.— в Карлсбаде и в 1877 г.— в Петербурге. Характер своих отношений к Вревской Тургенев подробно обрисовал в письме к ней от 26 января (7 февраля) 1877 г., которое им самим с полным основанием названо «достаточно откровенной исповедью». Это письмо позволяет предположить, что он думал и о себе, говоря в тексте данного произведения о двух-трех людях, которые «тайно и глубоко любили ее». Последний раз Тургенев встретился с Вревской в конце мая 1877 г. на даче Я. П. Полонского в Павловске (под Петербургом), перед отъездом ее на Балканы в действующую армию, куда она отправлялась добровольно в качестве сестры милосердия (О б о д о в с к и й К. П. Рассказы об И. С. Тургеневе.— *ИВ*. 1893. № 2. с. 359). 24 января (5 февраля) 1878 г. Ю. П. Вревская умерла от тифа в госпитале в г. Бяле (Болгария) и была там же похоронена. «К несчастью, слух о милой Вревской справедлив,— извещал Тургенев П. В. Анненкова из Парижа 11(23) февраля того же года.— Она получила тот мученический венец, к которому стремилась ее душа, жадная жертвы. Ее смерть меня глубоко огорчила. Это было прекрасное, неописанно доброе существо. У меня около 10 писем, написанных

ею из Болгарии. Я Вам когда-нибудь их покажу. Ее жизнь — одна из самых печальных, какие я знаю» [1].

Военно-исторический музей в болгарском городе Плевен издал в 1958 г. брошюру с материалами и документами о жизни и смерти Ю. П. Вревской. Среди них напечатан русский текст стихотворения в прозе Тургенева, выдержки из его писем к ней и посвященное ее памяти стихотворение Я. П. Полонского «Под красным крестом» (1878). В черновом автографе данное стихотворение Тургенев датировал августом—сентябрем 1878 г. (Спасское — Париж); очевидно, оно написано в Спасском под воздействием охвативших писателя воспоминаний о ее приезде сюда, а окончательно отделано им по возвращении в Париж.

ПОСЛЕДНЕЕ СВИДАНИЕ

(с. 146)

Тургенев описывает здесь посещение им тяжело больного Некрасова на его петербургской квартире, состоявшееся в начале июня ст. ст. 1877 г.[1] Эта встреча Тургенева с Некрасовым была первой после разрыва их отношений в начале 1860-х годов, завершившегося взаимной многолетней неприязнью, и последней перед смертью Некрасова, умершего полгода спустя (27 декабря ст. ст. 1877 г.). В письме к М. М. Стасюлевичу от 24 мая 1877 г. А. Н. Пыпин сообщил, что Некрасов, узнав о приезде Тургенева в Петербург (известие об этом появилось на другой день после его приезда в «С.-Петербургских ведомостях», 1877, № 142, с. 102), просил передать ему, что всегда любил его. На предложение Пыпина повидаться с Тургеневым Некрасов ответил согласием и просил назначить встречу на 25 мая; однако состоялась она на неделю позже и в присутствии не Стасюлевича, как предполагалось, а П. В. Анненкова, приехавшего с Тургеневым. Узнав о смерти Некрасова, Тургенев писал Анненкову 9(21) января 1878 г.: «... вместе с ним умерла бо́льшая часть нашего прошедшего и нашей молодости. Помните, каким мы его с Вами видели в июне?» Незадолго до того, 1(13) января 1878 г., Тургенев писал в Петербург А. В. Топорову: «С немалым огорчением узнал я о смерти Некрасова; надо было ее ожидать и даже удивительно, как он мог так долго бороться. Никогда не выйдет у меня из памяти его лицо, каким я его видел нынешней весною». О безнадежном положении Некрасова Тургенев знал уже раньше из писем того же Топорова, хлопотавшего о при-

---

[1] Подробнее см.: Н а з а р о в а Л. И. С. Тургенев и Ю. П. Вревская.— Русская литература, 1958, № 3, с. 185—192; е е ж е: Письма Ю. П. Вревской. (Из истории русско-болгарских отношений 1877—1878 гг.).— Славянские литературные связи. Л., 1968, с. 231—245; Б р а й н и н а Б. На старой планине. М., 1971, с. 361—385; Z v i g u i l s k y T. A propos d'un centenaire: une correspondante de Tourguéniev, la baronne Vrevskaïa (1841—1878).— Cahiers I. Tourguéniev, P. Viardot, M. Malibran. Paris, 1978, № 2, Octobre, p. 23—38.

[1] О дате этой встречи см.: А ш у к и н Н. С. Летопись жизни и творчества Н. А. Некрасова. М.; Л., 1935, с. 509—510.

мирении обоих писателей. По этому поводу Тургенев сообщал Ю. П. Вревской 18(30) января 1877 г.: «Я бы сам охотно написал Некрасову: перед смертью всё сглаживается — да и кто из нас прав, кто виноват? ⟨. . .⟩ Но я боюсь произвести на него тяжелое впечатление: не будет ли ему мое письмо казаться каким-то предсмертным вестником». Отголосок слов «перед смертью всё сглаживается» мы находим и в «Последнем свидании» («Смерть нас примирила»). В статье о смерти Гоголя (1852) Тургенев писал, что «смерть имеет очищающую и примиряющую силу: клевета и зависть, вражда и недоразумения — всё смолкает перед самою обыкновенною могилой». В перечне («Сюжеты») беловой рукописи заглавие этого стихотворения записано так: «Два друга» («Смерть, кот⟨орая⟩ приходит примирить»). Дата в рукописях: «Апрель — май 1878».

Очевидицей встречи Тургенева с Некрасовым была жена больного поэта. Запись ее рассказа была напечатана (Евгеньев В. Зинаида Николаевна Некрасова.— Жизнь для всех, 1915, № 2, с. 337—338). «Тургенев,— рассказывала она,— с цилиндром в руках, бодрый, высокий, представительный, появился в дверях столовой, которая прилегала у нас к передней. Взглянул на Николая Алексеевича и застыл, пораженный его видом. А у мужа по лицу страдальческая судорога прошла; видимо, невмоготу ему было бороться с приступами невыразимого душевного волнения... Поднял тонкую исхудавшую руку, сделал ею прощальный жест в сторону Тургенева, которым как бы хотел сказать, что не в силах с ним говорить... Тургенев, лицо которого также было искажено от волнения, молча благословил мужа и исчез в дверях. Ни слова не было сказано во время этого свидания, а сколько перечувствовали оба!» Ч. Ветринский (см.: Тургенев и Некрасов. Заметки к их биографиям.— В кн.: Огни. История. Литература. Пг., 1916. Кн. 1, с. 283—284) справедливо заподозрил точность некоторых деталей рассказа З. Н. Некрасовой, в частности — ее утверждение, что Тургенев первый захотел повидать больного поэта, да и сам Тургенев в «Последнем свидании» утверждает обратное.

ПОРОГ

(с. 147)

Стихотворение «Порог» Тургенев отдал М. М. Стасюлевичу вместе с другими «стихотворениями в прозе», предназначавшимися к опубликованию в «Вестнике Европы». «Порог», видимо, сразу же вызвал у Стасюлевича опасения цензурного характера. В наборной рукописи он сделал карандашом несколько исправлений: 1) вставил подзаголовок «Сон» [1]; 2) легкими штрихами наметил исключение фраз: «„Готова ли ты на преступление?“ — Девушка потупила голову... „И на преступление готова“»; 3) на полях рядом с двумя последними фразами поставил две нотабены (NB) и сделал еле заметные исправления: вместо «проскрежетал» — «говорил»,

[1] Б. В. Томашевский, ошибочно предположив, что эти поправки принадлежат самому Тургеневу, напечатал: «Порог. Сон» (*Т, СС*, с. 478).

вместо «принеслось откуда-то в ответ» — «раздалось с другой стороны». Вероятно, Стасюлевич сообщил Тургеневу об этих заменах, но писатель с ними не согласился, считая, что лучше выбросить всё стихотворение, чем менять в нем отдельные строки. 29 сентября (11 октября) 1882 г. Тургенев писал Стасюлевичу: «В случае, если Вы найдете нужным исключить одно или два стихотворения (как, напр., „Порог“, в котором я не хотел бы, чтобы последние слова были изменены) — то я Вам пошлю один отрывок под заглавием „Нашим народникам“, который, мне кажется, не худо было бы поместить вместе с другими». Сомнения относительно возможности увидеть «Порог» в печати у Тургенева, однако, усиливались в связи с опасениями цензурного характера, высказывавшимися разными лицами, читавшими это стихотворение в рукописи. Так, например, в одно из писем к Тургеневу Стасюлевича вложен был восторженный отзыв А. Ф. Кони обо всем цикле, читанном им еще до набора, вместе с замечаниями об отдельных стихотворениях, в частности, вероятно, и о «Пороге», названном Кони «разговором Судьбы с русской девушкой» [2]. Отвечая на это письмо, Тургенев писал Стасюлевичу 13(25) октября 1882 г.: «... вчера вечером пришло Ваше письмо, и первым моим делом — просить Вас выкинуть „Порог“ ⟨. . .⟩ Через этот „порог“ Вы можете споткнуться... Особенно, если его пропустят. А потому лучше подождать». На другой день (в письме к Стасюлевичу от 14(26) октября), посылая поправки к нескольким «стихотворениям», Тургенев снова, настойчиво и тревожно, возвращался к «Порогу»: «И повторяю просьбу: исключить „Порог“. А то я не буду спокоен». Считая исключение «Порога» делом решенным, Тургенев еще раньше (3(15) октября), извещая Стасюлевича о получении корректур, писал: «Вместе с ними Вы получите одно новое стихотворение взамен „Порога“,— если, как оно следует ожидать, придется его выкинуть» [3].

По мнению П. Л. Лаврова, слышавшего «Порог» в чтении Тургенева летом 1882 г., это «стихотворение» «не вошло и не могло войти в состав того, что было напечатано в „Вестнике Европы“» (*Революционеры-семидесятники*, с. 68). Когда П. В. Анненков, также читавший «Стихотворения в прозе» по рукописи, не обнаружил «Порога» в публикации «Вестника Европы», он предположил, что изъятие произошло вследствие вмешательства цензуры, так как,— писал он тому же Стасюлевичу 4(16) декабря 1882 г.,— он не нашел здесь отрывка «о барышне, объявленной преступницей и святой в одно и то же время. Да оно, устранение это, и понятно — ибо упрощает сомнение, кто прав из двух голосов, а это спокойнее».

Текст «Порога» в списках, восходящих к автографу, бывшему в руках у Стасюлевича, стал обращаться в публике. По одному из этих списков «Порог» был напечатан вместе с прокламацией «Народной воли», написанной П. Ф. Якубовичем-Мельшиным ко дню похорон Тургенева 27 сентября 1883 г. в Петербурге. Листок

---

[2] Кони А. Ф. Отрывки из воспоминаний.— *ВЕ*, 1908, № 5, с. 20—21; Кони А. Ф. На жизненном пути. СПб., 1913. Т. 2, с. 95.

[3] Вместе с выправленными корректурами Тургенев послал замену «Порога», но не стихотворение «Нашим народникам» (текст его так и остался неизвестным), а «Житейское правило».

назывался: «И. С. Тургенев» и имел дату: «СПб., 25 сентября 1883 г.»; в нем давалась высокая оценка общественного значения творчества Тургенева. «Для нас важно,— говорилось здесь.— что он ⟨Тургенев⟩ служил русской революции сердечным смыслом своих произведений, что он любил революционную молодежь, признавая ее „святой" и самоотверженной». Прокламация-некролог и «Порог» были напечатаны на листе хорошей бумаги в нелегальной типографии «Народной воли» М. П. Шибалиным, приятелем Якубовича [4].

Несмотря на то, что траурное шествие за гробом Тургенева сопровождал усиленный наряд полиции, а на Волковом кладбище и среди публики рыскало свыше ста наблюдательных агентов охранки, народовольцам всё же удалось распространить прокламацию с текстом «Порога» [5]. Современники оставили свидетельства, что во время похорон «раскидывались подпольные листки. Между прочим, в них было помещено стихотворение в прозе „На пороге" (sic), якобы долженствовавшее быть напечатанным в „Вестнике Европы" и уже набранное в корректуре, в каковом виде и было добыто редактором подпольного листка» (Баландин А. И. Записка Н. М. Горбова о похоронах И. С. Тургенева.— Научные доклады высшей школы. Филологические науки. М., 1962, № 3, с. 140). Сведения об этой «прокламации» проникли вскоре даже в подцензурную печать: прозрачный намек на «Порог» сделан в «Петербургских письмах» в журнале «Русская мысль» (1883, кн. 11, с. 35). Вторая публикация «Порога» в русской нелегальной печати появилась в «Вестнике Народной Воли» (Женева, 1884, № 2).

В русской легальной печати «Порог» полностью был напечатан в 1905 г., сначала в журнале (Венгеров С. Тургеневский «Порог».— *Рус Бог-во*, 1905, № 11—12, с. 155—157) и затем отдельным изданием (Тургенев И. С. Неизданное стихотворение в прозе «Порог». СПб., 1906, изд. библиотеки «Светоча» под ред. С. А. Венгерова). До этого времени «Порог» неоднократно печатался и распространялся нелегально [6]. Изданный С. А. Венгеровым текст вызвал несколько откликов. Н. Гутьяр в заметке «По поводу

---

[4] История опубликования этого листка изложена в книге: Попов И. И. Минувшее и пережитое. Л., 1924. Ч. 1, с. 109—111, и по новейшим данным в статье: Двинянинов Б. Н. И. С. Тургенев и П. Ф. Якубович. Из истории оценки Тургенева «Народной волей».— Уч. зап. Орловского гос. пед. ин-та. т. 17. Орел, 1963, с. 218—233.

[5] См.: Никольский Ю. Дело о похоронах И. С. Тургенева.— Былое, 1917, № 4, с. 150—151; Утевский Л. С. Смерть Тургенева. Пг., 1923, с. 59.

[6] Существовало, например, издание «Порога» на гектографе, от руки — с датой: 22 августа 1883 г., но без обозначения места печатания. Б. Н. Двинянинов установил также, что «вся прокламация „И. С. Тургенев" с полным текстом „Порога" была переиздана в Москве 1 февраля 1884 г. гектографированным способом. Ее тщательно разыскивали жандармы» (Двинянинов Б. Н. Тургенев и Якубович, с. 227). Известны и более поздние нелегальные издания «Порога», например, выпущенное в 1903 г. в Гомеле (см.: Вольная русская печать в Российской публичной библиотеке (Под ред. В. М. Андерсона. Пг., 1920, с. 162, № 1685 и с. 312, № 3143).

стихотворения в прозе Тургенева „Порог“» (*ИВ*, 1906, № 6, с. 1045—1047) высказал ошибочное мнение относительно неточности опубликованного текста и для сопоставления предлагал другой текст, переданный ему «несколько лет назад одним из почитателей Тургенева» и произвольно названный «старой редакцией». Н. Гутьяр считал, что в общеизвестном тексте «Тургенев оправдывает „преступление“ ради хороших целей» и что это будто бы противоречит его «высоконравственным убеждениям». Он имеет в виду то место, где на вопрос: «Готова ли ты на преступление?» — девушка отвечает, потупив взор: «И на преступление готова». Хотя этих фраз действительно нет в черновом наброске «Порога» (в черновом автографе есть другие интересные варианты) [7], но они уже есть в беловом автографе, куда вписаны позднее карандашом самим Тургеневым, и в рукописи для набора. Столь же произвольны суждения Н. Гутьяра относительно художественного значения обеих редакций, поддержанные в особом редакционном примечании «Исторического вестника» (с. 1047).

С нашей точки зрения, напротив, «редакция» Гутьяра, ни одна строка которой не имеет себе соответствий ни в черновом, ни в беловом автографах Тургенева, представляет собой, по-видимому, неудачный обратный перевод с какого-либо иностранного перевода «Порога» [8].

Предположение, что редакция является «обратным переводом», может быть подтверждено тем, что «Порог» получил широкое распространение за рубежом в кругах русской революционной эмиграции и рано напечатан был в переводах. Первый и точный перевод «Порога» на французский язык, вероятно, с листовки «Народной Воли» сделан писательницей-социалисткой, другом П. Л. Лаврова В. Н. Никитиной и опубликован в ее статье «Poésie inédite de Tourguéneff» в «La Justice», 1883, 21 октября (см. об этом: *Лит Насл.* т. 87, с. 514, 516, 602). И. Павловский в своих воспоминаниях о Тургеневе (P a v l o v s k y Isaac. Souvenirs sur Tourguéneff. Paris, 1887, p. 246—248) приводит собственный перевод «Порога» на французский язык («Le seuil»). Еще раньше перевода Павловского появился английский перевод, приведенный С. М. Степняком-Кравчинским в его книге «The Russian Storm-Cloud or Russia in her relations to Neighbouring Countries» (London, 1886), которая сначала печаталась в лондонском журнале «Time» в 1885 г. Переводу «Порога» предшествовали такие строки: «Я хочу привести как образец русского суждения поэтическое изображение

---

[7] В черновом автографе были интересные варианты, например: вместо «громадное здание» — «высокое темное здание»; «мрачное тяжелое здание»; вместо «угрюмая мгла» — «темная ночь»; «мгла, чернее ночи»; «непроглядная тьма». В перечислении того, что ждет девушку, после слова «холод» было написано: «преследование»; после слова «одиночество» — «возмездие». Перед словами «чью память почтить» было: «кого благодарить», и др.

[8] Так называемая «старая» редакция «Порога», опубликованная «Историческим вестником» в 1906 г., впервые увидела свет раньше. Она была напечатана в газете «Орловский вестник» еще 22 августа 1903 г. (см.: А ф о н и н Л. Н. «Порог». К истории распространения в России стихотворения Тургенева.— *Т сб*, вып. 5, с. 331—332).

глубоко трагического положения русского человека, преданного своей родине; оно дано нашим великим романистом Иваном Тургеневым в его стихотворении в прозе под названием „Порог“». И в заключение: «Вы, конечно, не найдете это стихотворение в прозе в подцензурном собрании сочинений Ивана Тургенева. Оно появилось в подпольной печати, и П. Лавров, которому автор летом 1882 г. в Буживале прочел свой „Порог“, подтверждает его подлинность»[9]. В немецком переводе «Порог» («Die Schwelle») в первый раз появился в октябре 1890 г.— в органе немецкой социал-демократической партии «Neue Zeit»; спустя семь лет новый перевод «Порога» опубликован был в журнале немецких работниц, издававшемся под ред. К. Цеткин («Die Gleichheit», 1898, № 27); третий раз «Порог» был напечатан в центральном органе немецкой с.-д. партии «Vorwärts», 1905, № 42 (см.: С и н ж а р с к а я Н. В. «Порог» Тургенева и немецкое революционное движение.— *Орл сб, 1960*, с. 509—514). На болгарском языке «Порог» появился еще ранее, сначала в журнале «Искра», 1889, № 2, в переводе К. В. Друмева, затем в 1894 г., в приложении к переводу с английского книги Дж. Кеннана «Сибирь и ссылка», изданном в г. Рущуке («Прагът»). По свидетельству В. Велчева (Тургенев в Болгарии.— Годишник на Софийския университет. 1961. Т. LVI, 9, с. 752, 755—756), болгарские переводы сделаны по русскому тексту, напечатанному в прокламации 1883 г. (ср.: В е л ч е в В. П. Тургенев в Болгарии.— *Орл сб, 1960*, с. 411, 415).

В связи с этим следует напомнить указание В. Богучарского (Былое, 1905, № 5, с. 295—296), что «в революционной среде „Порог“ был уже известен... в 1883 и даже в 1882 г.» (ср.: М и ц к е в и ч С. Тургенев и революционное народничество.— Литературный критик, 1934, № 9, с. 185—186) и что с этим стихотворением в прозе был знаком С. Степняк-Кравчинский, писавший в своей книге «Подпольная Россия» (1882) о первом большом процессе революционных народников — «процессе 50-ти»: «Даже те, которые враждебно относились к революционерам, были поражены их изумительной готовностью к самопожертвованию. Да это святые! — восклицали все, кому удалось присутствовать на этом памятном суде» (С т е п н я к - К р а в ч и н с к и й С. Подпольная Россия. М., 1960, с. 34—35). В этих словах действительно отразилась последняя строчка «Порога».

Так как дата написания «Порога» (май 1878) стала известна лишь после 1905 г., высказывались различные, и в том числе ошибочные, предположения о поводах для его создания. Так, например, думая, что оно было создано Тургеневым в первой половине 1881 г., П. Л. Лавров, а также Н. С. Русанов высказывали догадку, что оно внушено писателю судьбой С. Перовской (см.: *Революционеры-семидесятники*, с. 8—13, 67—68, 295). В недавнее время высказано было предположение, что «Порог» близок к агитационной подпольной листовке, выпущенной петербургской вольной типографией в 1878 г. по случаю покушения В. И. Засулич на генерала Трепова 24 января 1878 г. Вся вторая часть этой листовки — «панегирик русской героической девушке, имя которой названо в конце»,— пишет А. И. Никитина и отмечает, что «Порог»

---

[9] См.: С т е п н я к - К р а в ч и н с к и й С. М. В лондонской эмиграции. М.: Наука. 1968, с. 36—37.

также «явно навеян образом Веры Засулич. Тургенев был в эти годы в Петербурге, присутствовал на одном из судебных заседаний (приговор был вынесен 31 марта (12 апреля) 1878 г.), и официальные лица даже опасались беспорядков в суде, чтобы не осрамиться перед лицом И. С. Тургенева. Весьма вероятно, что именно в это время прокламация могла быть передана Тургеневу. Как бы то ни было, близость стихотворения Тургенева и листовки ощущается в форме изложения, в интонационном строе, в стиле и в содержании. Мрачный перечень испытаний, ожидающих девушку на избранном ею пути, и сближает „Порог" с названным выше сочинением» (Из истории русской революционной поэзии 1870-х годов.— Уч. зап. Ленингр. гос. пед. ин-та им. А. И. Герцена. Л., 1963. Т. 245, с. 21—22). «Страшен и велик твой подвиг, и немногие могут вместить его,— говорится, между прочим, в указанной листовке.— Но слава русскому народу, что в нем нашлась хоть бы одна, способная на такой поступок. Страшна и славна твоя участь. Тебя ждут допросы „с пристрастием", пытки, и никто не услышит стонов твоих. Тебя ждут поругания и нравственные пытки ⟨. . .⟩ Тебя ждет суд палачей, который будет издеваться над тобой. Тебя ждет бесчеловечный судебный приговор. Ты сознательно пошла на все эти муки. Ты приняла еще горшую муку, решившись обрызгать кровью человека свои руки. Прими дань уважения, потомство причислит тебя к числу немногих светлых имен». Несмотря на известное сходство в ситуациях и во фразеологии прокламации и «Порога», едва ли можно доказать, что стихотворение Тургенева написано исключительно под впечатлением процесса В. Засулич, а не имеет в виду более обобщенный образ русской девушки, беззаветно преданной революционному делу. Помимо того, уже давно обращено внимание на близость «Порога» к той сцене романа «Накануне» (конец XVIII главы), в которой Инсаров как бы допрашивает Елену, готова ли она на подвиг, а она отвечает ему чистосердечной исповедью, которая одновременно служит также признанием в любви. Находили параллели в образах Марианны из «Нови» и героини «Порога» (см.: Белецкий А. В мастерской художника слова.— В кн.: Белецкий А. Избранные труды по теории литературы. М., 1964, с. 123; Лекция А. В. Луначарского о Тургеневе. (Предисловие и комментарий Вал. Щербины).— Русская литература. 1961, № 4, с. 56). Интересно сопоставлена с девушкой из «Порога» Машурина («Новь») [10].

ПОСЕЩЕНИЕ

(с. 148)

Заглавие этого произведения, основанного на поэтическом перевоплощении житейского случая («Проникла в дом летучая мышь...» — перечень названий «Стихотворений в прозе» под заглавием «Сюжеты»), установилось не сразу; первоначально оно

---

[10] См.: Фортунатов Н. М. Поиски героя. («Новь» и «Порог» И. С. Тургенева. К вопросу о генезисе стихотворения в прозе).— Русские писатели и народничество. Вып. 2. Межвузовский сборник. Горький, 1977, с. 99—103. [Горьковский гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского].

было названо «Фантазия». Близость ситуации «Посещения» к описанной в стихотворении «Насекомое» (при всем различии их настроенности и эмоциональной окраски), замеченная Тургеневым, вызвала на полях тетради белового автографа его отметку для себя — о необходимости при построении всего цикла поставить эти произведения подальше одно от другого. В «Стихотворениях в прозе» Тургенев несколько раз возвращался к горькой мысли о том, что вдохновение — случайная и редкая гостья писателя-старика и что оно посещает только молодых поэтов. «Посещение» датировано автором 1878 годом, а приблизительно год спустя Л. Ф. Нелидова (Маклакова) записала импровизацию Тургенева на эту тему, слышанную ею в Петербурге, и напечатала этот текст (вместе с двумя другими замыслами писателя) под заглавием «Поцелуй» (*ВЕ*, 1909, № 9, с. 231—232). В «Посещении» «богиня фантазии» случайно навестила писателя, а затем «полетела к молодым поэтам»; в «Поцелуе» ей соответствует «муза-вдохновительница», которая дарит поэтов-прозаиков «неполным даром вдохновения» и бережет свои поцелуи «беспечному, вдохновенному певцу-стихотворцу». В автографах писателя имеется много вариантов к отдельным словам и фразам.

NECESSITAS, VIS, LIBERTAS (БАРЕЛЬЕФ)

(с. 149)

Заглавие этого отрывка (русское) в перечне названий «Стихотворений в прозе» («Сюжеты») дано Тургеневым в вариантах: Сила — [Право] — Свобода.— Необходимость; в рукописях оно написано по-латыни — может быть, из цензурных опасений и во избежание произвольных и нежелательных злободневных применений этого девиза. Подзаголовок «Барельеф», вероятно, внушен был Тургеневу близким общением его с М. М. Антокольским (см. ниже, с. 508, примечание к стихотворению «Христос»), в творчестве которого был ряд «барельефов», в том числе и «сюжетных» и воплощавших в скульптурных образах абстрактные понятия. В черновом автографе дата: апрель 1878.

МИЛОСТЫНЯ

(с. 149)

В перечне названий «Стихотворений в прозе» («Сюжеты») заглавие — «Бедняк». В черновом автографе стихотворение датировано маем 1879 г., но, начиная с белового автографа, во всех его автографах и в *ВЕ* стоит дата: «Май 1878». Во всех рукописях «Милостыня» записана Тургеневым между стихотворениями «Сфинкс» и «Камень»; первое из них помечено декабрем 1878 г., второе — маем 1879 г. Из этого следует, что верна дата «Май 1879» («Милостыня» не могла быть написана раньше стихотворения «Сфинкс»); ошибка возникла механически при переписке произведений в беловом автографе, поскольку предыдущее стихотворение датиро-

валось 1878 годом. Во всех автографах — тщательная стилистическая правка.

О понимании Тургеневым образа Христа см. в комментарии к стих. «Христос» (с. 508).

НАСЕКОМОЕ

(с. 151)

В черновом и беловом автографах это стихотворение сопровождено подзаголовком «Сон», в перечне названий «Стихотворений в прозе» под заглавием «Сюжеты» оно помещено в разделе «Сны». Переписывая стихотворение для печати (наборная рукопись), Тургенев подзаголовок отбросил; так оно и было набрано, без подзаголовка. Но в гранках Тургенев сначала восстановил его на полях, а потом опять вычеркнул тут же; в *BE* стихотворение появилось без подзаголовка. С определением места стихотворения «Насекомое» в цикле у Тургенева тоже наблюдаются колебания. В черновом автографе хронологически оно записано между «Порогом» и «Машей». В беловом автографе «Насекомое» под № 34 получило место после «Посещения» (№ 32) и «Порога» (№ 33); вслед за ним было переписано стихотворение «Гад» (№ 35), но эта композиция не удовлетворила автора. К тексту «Посещения», в котором говорится о светлом гении — фантазии, в виде большой птицы посетившей писателя, Тургенев сделал сбоку приписку: «NB. № 32 подальше от № 34», а около заглавия стихотворения «Гад» тоже пометил: «подальше от № 34-го». Возможно, определяя для печати *(BE)* другое местоположение стихотворения «Насекомое» в цикле, М. М. Стасюлевич руководствовался дополнительными указаниями самого Тургенева.

ЩИ

(с. 151)

В стихотворении «Щи», так же как и в стихотворении «Два богача», мир богачей, бар, противопоставляется миру бедных, нищих крестьян, причем симпатии писателя-гуманиста на стороне последних. Одинаковое горе, казалось бы, должно было сблизить двух матерей, но социальное неравенство рождает бездну между женщинами, и одна мать, которая некогда пережила такое же горе, «не понимает и никогда не поймет другую» (см.: Величкина И. И. Крестьянская Россия в «Стихотворениях в прозе» И. С. Тургенева.— Вопросы русской литературы (Уч. зап. Моск. гос. пед. ин-та им. В. И. Ленина, № 389). М., 1970, с. 271).

Л. А. Озеров в статье «„Стихотворения в прозе" И. С. Тургенева» пишет, что «здесь в концентрированном виде передано всё существенное, что есть в деревенских рассказах и повестях Тургенева: его пристальное внимание к человеческому достоинству русского крестьянина, к его душевному миру. В этой миниатюре бытовая зарисовка приняла характер притчи, малого жанра сатирической или поучительной литературы, бытовавшей в России в XVII—XVIII и в начале XIX века» (см. в сб.: Мастерство русских классиков. М., 1969, с. 163).

ЛАЗУРНОЕ ЦАРСТВО

(с. 152)

Стихотворение «Лазурное царство» тематически связано с несколькими строками повести Тургенева «Яков Пасынков» (1855), герой которой в предсмертном бреду рассказывает о привидевшемся ему царстве «лазури, света, молодости и счастья»: «Что это? — заговорил он вдруг,— посмотри-ка: море... всё золотое, и по нем голубые острова, мраморные храмы, пальмы, фимиам...» (наст. изд., т. 5, с. 79). На близость этих строк повести к позднейшему стихотворению в прозе указал впервые П. Н. Сакулин (*Сакулин*, с. 101). Это стихотворение, вероятно, было связано с воспоминаниями стареющего писателя о его молодых годах, когда перед ним и его друзьями расстилалось впереди «лазурное», светлое море жизни.

И. М. Гревс (Тургенев и Италия. Л., 1925, с. 99) усмотрел в «Лазурном царстве» «истинный, хотя и претворенный собственною его зиждительной фантазиею», отклик на сонет Данте, обращенный к Гвидо Кавальканти, где поэт высказывает желание перенестись с друзьями и возлюбленными на корабль, который плавал бы по лазурному морю, покорный их желаниям.

«Лазурное царство», распространенное различными антологиями, пользовалось широкой популярностью в России, служило материалом для мелодекламаций с эстрады (под музыку А. С. Аренского, 1904 г., см. выше).

Стихотворение во всех автографах имело подзаголовок «Сон», вычеркнутый в корректуре *ВЕ* самим Тургеневым по совету Анненкова; на полях черновика стихотворения «Сон 1-й» ⟨Встреча⟩, в списке под названием «Сны», оно упоминается вторым номером с другим заглавием: «Лазурь (море Сиц⟨илии⟩)». И в черновом и в беловом автографах — многочисленная правка стилистического характера. Дата обоих автографов — июнь 1878.

ДВА БОГАЧА

(с. 153)

В стихотворении «Два богача» — тема социального неравенства. Один богач — миллионер, всё богатство другого — доброта, бескорыстие, человечность. В обездоленном, нищем мужике Тургенев показывает благородство и красоту души (см. подробнее: Величкина И. И. Крестьянская Россия в «Стихотворениях в прозе» И. С. Тургенева, с. 270—271).

богача Ротшильда...— Ротшильды — династия богатейших европейских банкиров, живших во Франции, Германии и Англии. Барон Д. Ротшильд (1792—1868) считался самым богатым человеком Франции; после его смерти главой парижского банкирского дома был барон Альфонс Ротшильд (1827—1905). В банке Ротшильдов у Тургенева был свой счет; с представителями этого дома он вел переписку по поводу своих картин.

СТАРИК

(с. 154)

Стихотворение «Старик» в *Т. СС* датировано не июлем, как в первопечатном тексте, а июнем 1878 г. (видимо, по наборной рукописи) и помещено перед стихотворением «Два богача». Однако это «исправление» принять нельзя: при неясности написания даты в беловом автографе и наборной рукописи она совершенно четко выписана в черновом автографе: «Июль 1878» (см. ниже комментарий к стихотворению «Корреспондент»).

КОРРЕСПОНДЕНТ

(с. 154)

В *Т. СС* (т. 8, с. 598) Б. В. Томашевский пишет, что дата этого стихотворения вызвала у него сомнение, так как «Корреспондент» «в черновой тетради датирован не июлем, а июнем» (ошибка объясняется сходством написания букв «л» и «н»). Но если можно сказать, что дата к тексту «Корреспондента» в черновом автографе действительно неясна, то в беловом автографе написано совершенно ясно: «Июль 1878». Кроме того, порядок следования записи текстов стихотворений — «Корреспондент», «Старик» и «Два богача» — в тетрадях чернового автографа и в беловом автографе один и тот же; поэтому датировка «Корреспондента» июлем решает вопрос о датировке и последующих двух стихотворений, написанных позже.

От болтовни и нескромности сотрудников газетной прессы, особенно реакционной, Тургенев имел в эти годы много неприятностей. Этим можно объяснить его несколько ироническое и пренебрежительное отношение к ним. Так, в письме к Л. Н. Толстому от 1(13) октября 1878 г. Тургенев, говоря о Рольстоне как серьезном и хорошем литераторе, прибавил: «не какой-нибудь корреспондент или фельетонист».

ДВА БРАТА

(с. 155)

Сначала это стихотворение имело еще два заглавия: «Видение» в черновом автографе и «Любовь и Голод» в перечне («Сюжеты») белового автографа. Первоначальная черновая рукопись очень сложна для чтения по количеству поправок, вставок на полях и между строк в три слоя — чернилами, карандашом и по карандашу опять чернилами; весь последний абзац приписан позднее, после даты, и тоже дважды переделывался чернилами и карандашом. Дата в черновой рукописи: «Авг. 1878. Спасское».

ЭГОИСТ

(с. 156)

Стихотворение имеет две черновые редакции в одной и той же тетради. Впервые, более кратко, оно записано в самом конце страницы, под стихотворением «Видение» ⟨«Два брата»⟩ с большим

количеством поправок. Текст разбросан по свободным местам страницы. Первоначальная редакция отличается более резкой характеристикой «эгоиста». Например, к абзацу «Не ведая за собой ∽ самим собою» печатного текста в первом черновом автографе было два варианта: «*а*. Он требовал уважения, ни разу за всю свою жизнь он не снисходил ни к одной слабости — он [ничего] никого никогда не любил и ничего [значит] [следовательно] потому не понимал. *б*. Он беспощадно требовал уважения [от низших] к нему, не ведая слабостей, он не ведал снисхождения». Три фразы совсем не попали в окончательный текст: они набросаны в нижнем уголке и в конце предыдущей страницы: «Его холодная кровь ни разу не согрелась и не взыграла, [Он никогда не отвечает ничем] Он ничего не любил — зачем же ему было увлекаться! Считая себя великим философом, он [однако] [трусил] боялся смерти — и» ⟨. . .⟩ Вместо слов печатного текста «особы — столь примерной» в черновике было: «особы — столь ничтожной», и т. п. Второй раз Тургенев переписал весь текст на предыдущей странице чернового автографа — на полях, рядом со стихотворением «Два богача». Запись эта дает вторую расширенную редакцию, ближе к печатному тексту; и здесь Тургенев усиленно правит стихотворение, зачеркивая и заменяя отдельные фразы и слова, делая значительные вставки в текст. В беловом автографе Тургенев продолжил свою работу над стихотворением: есть поправки и одна большая вставка («И в то же время ∽ его собственному» (см. текст, с. 156).

В перечне названий «Стихотворений в прозе» под заглавием «Сюжеты» стихотворение названо «Эгоизм и добродетель» с пометой в скобках: «Виардо». Это добавление дает ключ к раскрытию лица, которое имеется в виду. Видимо, Тургенев думал о Луи Виардо (1800—1883), муже Полины Виардо (Гарсиа). С семьей Виардо Тургенев был тесно связан и жил вместе в течение нескольких десятилетий. Луи Виардо — писатель, искусствовед, историк, художественный критик (см. о нем: *Т*, *ПСС и П*, *Письма*, т. I, с. 654—655; Z v i g u i l s k y Alexandre. Louis Viardot (1800—1883).— *T*, *Nouv corr inéd*, t. 2, p. XIII—XXXV).

ПИР У ВЕРХОВНОГО СУЩЕСТВА

(с. 157)

В печатном тексте стихотворение датируется (по наборной рукописи) декабрем 1878 г. Однако в черновом автографе оно впервые записано между стихотворениями «Черепья» ⟨«Черепа»⟩ и «Восточная легенда», которые датируются апрелем 1878 г. В тетради белового автографа, с которой переписывались стихотворения для печати, дата не указана; по-видимому, в наборной рукописи Тургенев поставил ее по памяти, не обращаясь к черновику.

Наименование «Верховное Существо» (у Тургенева оба слова написаны с большой буквы) дано автором, очевидно, из-за опасений вмешательства цензуры. Во французском переводе 1882 года, сделанном самим Тургеневым с помощью Полины Виардо, заглавие: «Le bon Dieu» («Господь бог»).

В воспоминаниях Б. Фори «Тургенев в доме Виардо» отражен, видимо, ранний замысел этого стихотворения в прозе: «Однажды

у господа бога явилась мысль устроить большой пир на небесах. Все Добродетели были приглашены — явились и большие, и маленькие. Можно представить себе, как очарователен был этот вечер, раз сами ангелы исполняли чудеснейшую музыку. Господь бог был в восторге, видя, как веселятся его гости. Вдруг он заметил в углу две большие Добродетели, которые смотрели друг на друга, как лица совершенно незнакомые. Господь бог сразу понял. Он подошел к этим Добродетелям и, взяв каждую за руку, представил их друг другу: „Благодарность", — назвал он одну; „Благодетельность", — прибавил он о другой. Обе эти большие Добродетели раскланялись, удивленно глядя друг на друга. Впервые с тех пор как мир существует — а существует он давно — встретились Благодетельность и Благодарность; и то для этого потребовалось, чтобы у господа бога явилась мысль созвать их в небесах на большой пир» (*Лит Насл*, т. 76, с. 494).

СФИНКС

(с. 157)

Образное выражение «загадка сфинкса», восходящее к античным преданиям и применяемое к чему-либо непонятному или трудно разрешимому (по древнегреческой мифологии, загадку сфинкса разгадал Эдип, сын фивского царя Лая и Иокасты), было широко распространено в русской литературе уже в первой половине XIX века (подобно тому, как и самое изваяние сфинкса было тогда очень популярно в русском прикладном искусстве). Мы находим это выражение в известном четверостишии Пушкина о Дельвиге, направленном ему «при посылке бронзового сфинкса» (1829), и в статье В. Г. Белинского (1842) о романе Н. Кукольника («деятельность Кукольника вовсе не сфинксова загадка, для решения которой был бы нужен новый Эдип»). Популяризации этого образа в русской поэзии содействовало стихотворение Г. Гейне «Das ist der alte Märchenwald» («Этот старый сказочный лес»), служившее прологом к 3-му изданию «Книги песен» (1839), много раз переводившееся на русский язык (первый раз в «Отечественных записках» — июль 1856 г.) — иногда под заглавием «Сфинкс», — в котором есть строки:

O, schöne Sphinx! O, löse mir
Das Räthsel, das Wunderbare!
Ich hab' darüber nachgedacht
Schon manche tausend Jahre [1].

Образ сфинкса не оставлял Тургенева на всем протяжении его литературной деятельности. Уподобление России сфинксу в первый раз встречается у Тургенева в его письме к П. Виардо от 4(16) мая 1850 г. из Куртавнеля: «Россия подождет — эта огромная и мрачная фигура, неподвижная и загадочная, как сфинкс Эдипа. Она поглотит меня немного позднее. Мне кажется, я вижу ее тяжелый, безжизненный взгляд, устремленный на меня с хо-

[1] О прекрасный сфинкс! Разреши мне /удивительную загадку!/ Я думал о ней/ уже многие тысячи лет.

лодным вниманием, как и подобает каменным глазам. Будь спокоен, сфинкс, я вернусь к тебе, и тогда ты можешь пожрать меня в свое удовольствие, если я не разгадаю твоей загадки! Но оставь меня в покое еще на несколько времени! Я возвращусь к твоим степям!» Об этом же Тургенев вновь вспоминает в письме к В. Делессер от 16(28) июля 1864 г. из Баден-Бадена: «Мои раздумья часто шли в том же направлении, что и ваши — и сфинкс, который будет всегда перед всеми возникать, смотрел на меня своими неподвижными, пустыми глазами, тем более ужасными, что они отнюдь не стремятся внушить вам страх. Мучительно не знать разгадки; еще мучительнее, быть может, признаться себе в том, что ее вообще нет, ибо и самой загадки не существует вовсе». Ср. стихотворение Ф. И. Тютчева, написанное в августе 1869 г.:

Природа — сфинкс. И тем она верней
Своим искусом губит человека,
Что, может статься, никакой от века
Загадки нет и не было у ней.

Стихотворение «Сфинкс» есть также у Я. П. Полонского; Тургенев писал о нем автору 6(18) декабря 1879 г.: «Твое стихотворение Сфинкс недурно — но как-то холодновато и отзывается деланностью».

Указанные параллели не исключают возможности предположить, что стихотворение Тургенева генетически связано с упоминаемым Герценом «неразгаданным сфинксом русской жизни». В главе XXX четвертой части «Былого и дум» Герцен писал о двух противоположных разгадках, которые давали этой неразрешимой задаче западники и славянофилы: «Чаадаев и славяне ⟨славянофилы⟩ равно стояли перед неразгаданным сфинксом русской жизни,— сфинксом, спящим под солдатской шинелью и под царским надзором; они равно спрашивали: „Что же из этого будет? Так жить невозможно: тягость и нелепость настоящего очевидны, невыносимы — где же выход?“ — „Его нет“,— отвечал человек петровского периода, исключительно западной цивилизации, веривший при Александре в европейскую будущность России. ⟨П. Я. Чаадаев⟩ ⟨. . .⟩ „Выход за нами,— говорили славяне,— выход в отречении от петербургского периода, в возвращении к народу, с которым нас разобщило иностранное образование, иностранное правительство; *воротимся* к прежним нравам!“» Далее, подробнее характеризуя пристрастия славянофилов «к старинным неуклюжим костюмам», Герцен приводит анекдот о «мурмолке» К. Аксакова: «„Во всей России, кроме славянофилов, никто не носит мурмолок. А К. Аксаков оделся так национально, что народ на улицах принимал его за персиянина“,— рассказывал, шутя, Чаадаев». Хотя эта же шапка — «мурмолка» упомянута была Тургеневым в выпущенной впоследствии сатирической XXVIII строфе его поэмы «Помещик» (наст. изд., т. 1, с. 478), но очень вероятно, что именно приведенные слова Герцена внушили Тургеневу заключительные строки данного стихотворения в прозе («... не довольно надеть мурмолку, чтобы сделаться твоим Эдипом, о всероссийский сфинкс»). Во французском переводе (Revue politique et littéraire. 1882, № 25, p. 774) вместо слова «мурмолка», непонятного французам, прямо сказано: «славянофильский колпак» (un bonnet de slavophile).

НИМФЫ

(с. 158)

В первой части этого произведения (до слов: «Мне вспомнилось это сказание») Тургенев воспроизводит в собственной поэтической обработке предание, сохраненное Плутархом в 17-й главе его трактата «Об ошибочности оракулов». Плутарх рассказывает о риторе Эмилиане, который в царствование императора Тиберия отправился на корабле в Италию. Во время плавания по Ионическому морю, мимо островов, однажды, когда ветер стих, путешественники, находившиеся на палубе, услышали громкий голос, несшийся со стороны островов; этот голос «с такой силой звал некоего Фамуса, что все были крайне поражены. А этот Фамус был египетский лоцман, которого мало кто знал 〈. . .〉. Два раза он не откликался, на третий зов откликнулся. Тогда голос еще громче крикнул ему: „Когда ты поравняешься с островом Паладесом, возгласи, что умер Великий Пан!“ Все путешественники в испуге обсуждали, следует ли повиноваться повелению или нет. Фамус же решил, что если на высоте Паладеса сильный ветер, то он минует его молча; но если удержит их затишье, то он исполнит услышанное приказание голоса. Когда корабль приблизился к острову Паладесу, ветер спал 〈. . .〉 Тогда Фамус поднялся на возвышение кормы и, обратившись лицом к земле, крикнул: „Умер великий Пан!“ Едва он вымолвил это, как послышались с берега стенанья, как будто сетовало и плакало несколько человек». Плутарх прибавляет, что в Риме всё случившееся дошло до сведения Тиберия, «который, призвав к себе корабельщика, пришел к убеждению в истинности рассказа» (А р с е н ь е в Н. С. Плач по умирающем боге.— Этнографическое обозрение, 1912, № 1-2, с. 2—3). Светоний также утверждал, что во времена Тиберия часто были слышны в лесах восклицания «Великий Пан умер!» (Энциклопедический лексикон. Изд. А. Плюшара. СПб., 1839, т. 16, с. 396). По рассказу Плутарха, римские жрецы при Тиберии истолковали предание о Пане, боге греческой мифологии, покровителе стад и пастбищ, а позднее — всей природы, в том смысле, что он не обладал бессмертием богов, так как рожден был от Гермеса и смертной женщины, Пенелопы. Ранние христианские писатели истолковали предание о смерти Пана по-своему, как свидетельство гибели язычества перед наступлением христианства. Вслед за отцами церкви такое толкование дал преданию Ф. Рабле, подробно изложивший его в «Гаргантюа и Пантагрюэле» (кн. IV, гл. 28). Возглас «Умер Великий Пан» стал крылатым выражением, употреблявшимся впоследствии для обозначения не только заката эллинской культуры, но и вообще завершения какого-либо исторического периода (А ш у к и н Н. С., А ш у к и н а М. Г. Крылатые слова. Литературные цитаты. Образные выражения. 3-е изд. М., 1966, с. 682—683).

Приведенные справки существенно корректируют утверждение французского исследователя Э. Омана, полагавшего, что «мысль и образы» стихотворения «Нимфы» навеяны несколькими отдельными местами «Германии» Гейне, которые русский писатель будто бы «сплавил в одну картину» (H a u m a n t E. Ivan Tourguénief. Paris, 1906). «Действительно, мы находим у Гейне и веселый хоровод нимф, и вакханок с Дианой во главе, и пугливый страх ан-

тичных богов перед христианством с его символом — крестом».— пишет по этому поводу А. Е. Грузинский, но справедливо отмечает далее, что эти картины находятся у Гейне не в поэме «Германия», а в отдельных его прозаических статьях и в поэме «Атта Троль»: «следует, однако, сказать, что нигде у Гейне мы не встретим ничего подобного той цельной картине, которую дал Тургенев» (*Грузинский*, с. 231). Сходной точки зрения придерживался Н. С. Розенкранц (О происхождении некоторых стихотворений в прозе И. С. Тургенева.— Slavia, 1933, Ročn. XII, Seš. 3—4, p. 489): «Сходство между Гейне и Тургеневым можно отметить только во второй половине „Нимф" 〈. . .〉. И у Гейне и у Тургенева мы можем найти веселый хоровод нимф и вакханок, предводительствуемый богиней Дианой, страх античных богов перед христианством (у Гейне это выражено звуками церковного колокола, у Тургенева символом — крестом, который увидела богиня Диана 〈. . .〉. Но надо полагать, что данное стихотворение в прозе создано независимо от Гейне, случайные же совпадения можно, пожалуй, объяснить невольными реминисценциями прочитанного».

Сходство «Нимф» с произведениями Гейне явно преувеличено; известные аналогии к «Нимфам» можно усмотреть у Г. Гейне в сценарии балета «Богиня Диана» (1848) и в работе «Боги в изгнании» (1853), но в обоих произведениях Гейне пытается изобразить «подземную Элладу» в рамках немецкого средневековья; а в главе 18 сатирико-полемической поэмы Гейне «Атта Троль» Диана («величавая богиня») появляется «среди призраков полночных» как злая сила. Возглас о «смерти великого языческого Пана» Герцен приводит в «Былом и думах» (ч. 1, гл. 6) со ссылкой именно на Гейне, имея в виду строки, которые находятся в его памфлете «Людвиг Берне» (кн. 2). В памяти Тургенева, несомненно, сохранялся и «хор нимф в честь Великого Пана» во второй части «Фауста» Гёте.

В черновом автографе — обилие вариантов стилистического характера; Тургенев тщательно отшлифовывал каждую фразу.

ВРАГ И ДРУГ

(с. 160)

В черновом автографе стихотворение датируется февралем 1878 г. и записано на одном листе со стихотворениями «Услышишь суд глупца...» и «Довольный человек». В тетради белового автографа дата не обозначена, но «Враг и друг» вписан там девятым по счету среди стихотворений, написанных в феврале 1878 г. Тем самым и устанавливается его правильная дата. В наборной рукописи Тургенев сам дату не поставил, она приписана карандашом чужой рукой, что и определило место стихотворения в композиции всего цикла, без воли автора. Однако в корректуре «Вестника Европы» Тургенев дату не исправил, и стихотворение было напечатано в том порядке, какой ему назначил М. М. Стасюлевич. Между тем это стихотворение отражает настроение Тургенева в феврале 1878 года (см. примечания к стих. «Услышишь суд глупца...» и «Довольный человек»). В черновом автографе много вариантов к отдельным словам и фразам; правка продолжалась в беловом автографе и в наборной рукописи.

ХРИСТОС

(с. 161)

Во всех авторских рукописях заглавие этого стихотворения в прозе имело подзаголовок «Сон» (за несколько лет перед тем в рассказе «Живые мощи» Тургенев изобразил сон Лукерьи о Христе). Ознакомившись со стихотворением «Христос» по тексту, предназначенному для публикации в «Вестнике Европы», Анненков писал Тургеневу 2(14) октября 1882 г.: «В чудном рассказе „Христос“ меня кольнула прибавка „Сон“. Какой же это сон, когда это лучезарное *видение*? Тут нечего просыпаться, а только констатировать исчезновение видения» (*ИРЛИ*, ф. 7, ед. хр. 13, л. 86). Тургенев согласился с Анненковым и, посылая обратно корректуру «Стихотворений», писал Стасюлевичу 4(16) октября 1882 г.: «По совету Анненкова я у иных стихотворений отнял заглавие „Сон“; особенно „Христос“ сделался у меня видением». В корректуре Тургенев для этого не только вычеркнул подзаголовок, но и произвел в конце стихотворения некоторые исправления. Вместо слов в наборной рукописи: «и я проснулся» — он написал: «и я пришел в себя», слова «Только проснувшись» заменил словами: «Только тогда».

Стихотворение «Христос» возникло у Тургенева, вероятно, в связи с широко обсуждавшейся в те годы философами и историками проблемой реально-исторической личности Христа. Начатое трактатом немецкого богослова Д. Штрауса («Жизнь Иисуса»), настаивавшего на реально-историческом объяснении возникновения христианской мифологии, обсуждение этой проблемы получило новый толчок благодаря книге Э. Ренана («Жизнь Иисуса», 1864), стремившегося написать реалистическую биографию Христа, в противовес каноническим евангельским текстам. Хотя такая точка зрения вступала в явное противоречие с церковной ортодоксией, она широко отразилась в русском искусстве и литературе 1870-х годов.

Произведения, в которых делалась попытка создать художественный образ Христа, были Тургеневу хорошо известны. Еще в 1850-х годах он видел, например, знаменитую картину А. Иванова «Явление Христа народу», созданную не без воздействия указанной книги Штрауса, которую в юности читал и Тургенев, знал картину И. Н. Крамского «Христос в пустыне» и полемику этого художника с М. М. Антокольским, создавшим скульптуру «Христос перед судом народа» (1875). Эта скульптура, в которой Антокольский, по его собственным словам, пытался изобразить Христа «как можно проще, покойнее, народнее», была создана в 1878 г., т. е. как раз в год, когда была организована всемирная выставка скульптуры в Париже (см.: *Антокольский*, с. 75, 125, 175. 373; см. также: К у з ь м и н а Л. И. Тургенев и М. М. Антокольский. — *Т сб*, вып. 5, с. 395—397). Тургенев в это время общался с Антокольским и принимал самое горячее участие в выставке его работ. Об этом свидетельствует его письмо Антокольскому от 7(19) апреля 1878 г. с обещанием подобрать для горельефа его работы «Последний вздох» цитату из евангельского текста по латинской Библии. Восхищение этой скульптурой Тургенев не раз высказывал в своих письмах, называя ее вещью «бессмертной» (письмо к М. М. Стасюлевичу от 11(23) февраля 1878 г.) и признаваясь в письме к П. В. Анненкову от 7(19) февраля 1878 г.: «Давно ни одно произ-

ведение искусства так сильно на меня не действовало! Это вполне гениальная вещь». Тургеневу были хорошо известны также образы Христа, как они представлялись другим русским писателям-современникам, в частности Ф. Достоевскому («Мальчик у Христа на елке», 1876), Л. Н. Толстому и Н. С. Лескову («Христос в гостях у мужика», 1881).

КАМЕНЬ

(с. 162)

В примечании к французскому переводу этого стихотворения Ш. Саломон высказал предположение, что оно возникло в связи с мыслями Тургенева о М. Г. Савиной, которая исполнила в 1879 г. роль Верочки в «Месяце в деревне» и с которой Тургенев в том же году читал сцену из «Провинциалки» (см.: Tourguénev. Poèmes en prose. Première traduction intégrale publiée dans l'ordre du manuscrit original autographe avec des notes par Charles Salomon. Gap, 1931, p. 123). А. Е. Грузинский с большим правдоподобием догадывался, что в стихотворении «Камень» Тургенев «поэтически передает отрадные впечатления от своей поездки в Россию весной 1879 г. Тогда он несколько раз публично читал в Петербурге и в Москве свои произведения, и каждое его выступление неизменно встречалось дружными чествованиями многочисленных слушателей; в частности, стихотворение, по-видимому, говорит о женской учащейся молодежи, которая тогда горячо приветствовала любимого романиста от имени всех русских женщин» (*Грузинский*, с. 230).

Чествования Тургенева начались в Москве, сразу же по его приезде туда, 15 февраля, о чем он сам писал 20 февраля (4 марта) А. В. Топорову: «... в четверг мне здешние молодые профессора давали обед с сочувственными „спичами“ — а третьего дня в заседании любителей русской словесности студенты мне такой устроили небывалый прием, что я чуть не одурел — рукоплескания в течение 5 минут, речь, обращенная ко мне с хоров, и пр. и пр. Общество меня произвело в почетные члены. Этот возврат ко мне молодого поколения очень меня порадовал, но и взволновал порядком». Затем 4 марта состоялся литературно-музыкальный вечер в пользу недостаточных студентов Московского университета, где появление Тургенева было встречено стоя и долгими громовыми рукоплесканиями, от имени студентов произнесена была приветственная речь и поднесен ему большой лавровый венок. Были и еще встречи Тургенева с учащейся молодежью и у него в гостинице, и на квартире сестер Калиновских и др. Встречи с молодежью продолжались в Петербурге в марте 1879 г. «Чтения, овации и т. д. продолжаются и здесь, как в Москве»,— писал Тургенев Л. Я. Стечькиной 14(26) марта 1879 г. из Петербурга. По свидетельству современников, «Молодежь шла к Тургеневу вереницами. У него в номере нередко появлялись депутации за депутациями» (Стечькин Н. Я. Из воспоминаний об И. С. Тургеневе. СПб., 1903, с. 20—21). Особенно горячо приветствовали Тургенева 15 марта на литературно-музыкальном вечере в пользу недостаточных слушательниц Женских педагогических курсов, где ему преподнесли два венка — от этих курсов и от Высших женских курсов (Бестужевских). На чтении в пользу Литературного фонда 16 марта Тур-

генев получил венок и адрес от слушательниц Медицинских курсов. Его также приглашали на литературно-музыкальный вечер с благотворительной целью студенты Петербургского университета и студенты Горного института; от этих выступлений Тургенев отказался, так как его встречи с молодежью вызвали неудовольствие правительственных кругов [1].

ГОЛУБИ

(с. 163)

В перечне «Сюжеты» стихотворение названо «Тучи и белый голубь», с добавлением в скобках «в Спасском», и помещено в разделе «Пейзажи». В черновом автографе «Голуби» датированы маем 1878 г.; эту дату Тургенев поставил и в беловом автографе, но потом переправил ее на 1879 г. и поместил стихотворение при переписке в тетради среди других стихотворений, датирующихся маем 1879 г. Помета в перечне: «в Спасском» — говорит о том, что этот «пейзаж» навеян воспоминанием о Спасском-Лутовинове, а не указывает на место его написания: Тургенев в мае 1878 г., равно как и в мае 1879 г., находился за границей. В «Яснополянских записках» Д. П. Маковицкого (12 июня 1909 г.) говорится о чтении Л. Н. Толстому некоторых стихотворений в прозе Тургенева. О стихотворении «Два голубя» Толстой сказал: «Это хорошо».— «И Л⟨ев⟩ Н⟨иколаевич⟩ добавил, что у Тургенева описания природы художественны. В этом он мастер» (*Лит Насл*, т. 90, кн. 3, с. 438).

ПРИРОДА

(с. 164)

Мысль о «равнодушной природе», сияющей вечной красой «у гробового входа», могла быть внушена Тургеневу стихотворением Пушкина. Тот же круг представлений получил отражение и в письме Тургенева к П. Виардо от 16(28) июля 1849 г., где, рассуждая на тему «что же такое эта жизнь», Тургенев, между прочим, писал: «Эта штука — равнодушная, повелительная, прожорливая, себялюбивая, подавляющая — это жизнь, природа или бог; называйте ее как хотите ⟨. . .⟩, но не поклоняйтесь ей ни за ее величие, ни за ее славу!» Сходные мысли высказаны Тургеневым в «Поездке в Полесье» (1857): «Мне нет до тебя дела,— говорит природа человеку,— я царствую, а ты хлопочи о том, как бы не умереть» (наст. изд., т. 5, с. 130).

Неоднократно высказывалось предположение, что, создавая свое произведение, Тургенев находился в известной зависимости от прозаического диалога итальянского поэта Джакомо Леопарди «Исландец и Природа», в котором в ответ на слова исландца-путешественника о разрушительной работе Природы против человека

---

[1] См. об этом: А л е к с е е в а Н. В. Воспоминания П. В. Викторова о Тургеневе.— *Орл сб, 1960*, с. 309—328, а также: А с а т у р о в и ч Андрей. Автограф Тургенева.— Советский учитель, 1967, 12 апреля (Ленингр. гос. пед. ин-т им. А. И. Герцена).

Природа. олицетворенная в образе гигантской женщины. лицо которой прекрасно и в то же время ужасно. отвечает ему с удивлением: «Может быть. ты думаешь. что мир был создан ради вас? Так знай же, что в своем творчестве. в своих порядках и в своей деятельности. за очень немногими исключениями. я всегда имею в виду нечто совсем другое. а вовсе не счастье и страдание людей. Когда я поражаю кого-нибудь каким бы то ни было способом и каким бы то ни было средством. я не замечаю этого ⟨. . .⟩ Также я не знаю обыкновенно и того. что я благодетельствую вам или даю вам радость. И я делаю все эти вещи и всегда работаю отнюдь не для того. чтобы помогать вам и давать вам счастье. как вы думаете...» [1]

А. И. Белецкий указал также на два стихотворения из цикла «Философских поэм» французской поэтессы Луизы Аккерман: «Природа к Человеку» (1867) и «Человек к Природе» (1871), представляющие интересную аналогию как к диалогу Леопарди. который Л. Аккерман много раз читала, так и к «Природе» Тургенева. Белецкий нашел здесь «одни и те же мысли. выраженные в сходных словах; но у Тургенева — декоративное обрамление (сон. подземная храмина). которого нет у поэтессы. дающей два монолога вместо сжатого тургеневского диалога; у Тургенева человек отдает почтительный поклон Природе, не говорит, а лепечет свои слова, только собирается возражать; у поэтессы он бросает Природе в ответ на звуки ее железного голоса гневные проклятия. пророча ее конечную гибель» (*Творч путь Т*, с. 151). Создавшийся у Тургенева образ Природы — «величавая женщина в волнистой одежде зеленого цвета» — не оставлял его и позже. В 1880 г., в Спасском, рассказывая детям Я. П. Полонского сказку «Самознайка», Тургенев описывал сумрачный грот в заброшенном саду и сидящую в нем «зеленую женщину» или фею (Бродский Н. Замыслы И. С. Тургенева. М., 1917, с. 49).

В черновом автографе стихотворение озаглавлено «Сон»; в беловом автографе, наборной рукописи и в корректуре *ВЕ* — «Природа (Сон)». В *ВЕ* стихотворение напечатано без подзаголовка, однако в начале его осталось: «Мне снилось», а в конце: «И я проснулся». В черновом автографе были варианты. *Вместо:* как ему дойти ∽ и счастья — *было:* как дойти ему до возможного счастья? до новой мудрости и власти? *Вместо:* темные грозные глаза — *было:* *а*. большие, тусклые и тупые глаза *б*. [длинные] темные, зоркие, грозные глаза. *Вместо:* Женщина ∽ брови — *было:* Женщина опустила было [голову] свои глаза — но тут подняла их снова; *вместо:* человеческие слова — *было:* Пустые человеческие слова, и др.

«ПОВЕСИТЬ ЕГО!»

(с. 165)

В тексте стихотворения внимание М. М. Стасюлевича привлекло употребленное Тургеневым сравнение: «а сам бел, как глина!» В ответ на его сомнения Тургенев писал 3(15) октября

[1] *Куприевич*, с. 12—16; *Грузинский*, с. 231—232; Розенкранц И. С. О происхождении некоторых «Стихотворений в прозе», с. 489—490. См. также о работах А. Гранжара на эту тему на с. 472.

1882 г.: «...„бел, как глина“ — у нас в Орле говорят — только про побледневшего (с испуга) человека, ибо такая белизна смахивает, точно, на глину. Впрочем, и это можно переменить». Однако на следующий день, посылая обратно правленую корректуру, Тургенев писал ему: «„бел, как глина“ — я оставил». См. также: наст. изд., т. 9, с. 80 («Часы»).

Аустерлиц — городок в Моравии, близ которого войска Наполеона выиграли сражение с союзными армиями Австрии и России 2 декабря 1805 г.

«КАК ХОРОШИ, КАК СВЕЖИ БЫЛИ РОЗЫ...»

(с. 167)

Как свидетельствует черновой автограф, Тургенев первоначально хотел дать другую концовку стихотворению. Оборвав наполовину заключительную цитату «Как хороши, как свежи...», Тургенев стал писать дальше: «Нет, не стану думать о розах», но, не закончив фразу, зачеркнул ее и дописал цитату: «были розы», очевидно, не желая нарушать общий меланхолический тон стихотворения.

Стихотворение, первая строка которого дала заглавие данному произведению и повторяется затем несколько раз в его тексте в качестве лейтмотива, принадлежит И. П. Мятлеву и было впервые напечатано в 1835 г. под заглавием «Розы». Начальная строфа его читается так:

Как хороши, как свежи были розы
В моем саду! Как взор прельщали мой!
Как я молил весенние морозы
Не трогать их холодною рукой!..

Первый раз на это стихотворение, начальная строка которого долгие годы звучала в памяти Тургенева, указал А. Ф. Кони в заметке «Певица Полина Виардо Гарсия» (*Рус Ст*, 1884, май, с. 403). Впоследствии Н. А. Янчук в «Литературных заметках» (Известия ОРЯС, 1907, кн. 4, с. 251—255), процитировав полностью это стихотворение по рукописному альбому 1840-х годов, напомнил о том, что строка, популяризированная Тургеневым, стала крылатой фразой и заглавием для вдохновленных им произведений скульптуры и музыки. Так озаглавлена, например, скульптура В. А. Беклемишева (Третьяковская галерея в Москве), изображающая молодую женщину с розой на коленях. На ту же тургеневскую тему с варьирующимся лейтмотивом («Как хороши тогда, Как свежи были розы», «Как хороши теперь, Как свежи эти розы» и т. п.) в 1886 г. написал стихотворение К. Р. («Новые стихотворения К. Р.». 2-е изд. СПб., 1900, с. 11—12). Популярность этой фразы-цитаты в словесном обиходе подтверждает В. В. Маяковский («Писатели мы») (см.: Ашукин Н. С., Ашукина М. Г. Крылатые слова. М., 1955, с. 250—251).

Ланнеровский вальс.— Вальсы И. Ф. К. Ланнера (1780—1843), дирижера, скрипача и композитора, были по манере близки к вальсам Штрауса-старшего и завоевали популярность благодаря

мелодичной выразительности и изяществу. В повести «Ася» Тургенев упоминает звуки старинного ланнеровского вальса: «...я почувствовал, что все струны сердца моего задрожали в ответ на те заискивающие напевы» (наст изд., т. 5, с. 156). Вальс Ланнера упомянут также в поэме А. Григорьева «Видения» (1846):

Ланнера живой
Мотив несется издали, то тих,
Как шепот страсти, то безумья полн
И ропота, как шумный говор волн...

МОРСКОЕ ПЛАВАНИЕ

(с. 169)

В черновой рукописи заглавия не было. В перечне названий «Стихотворений в прозе» («Сюжеты») это стихотворение упомянуто дважды: в одном месте под заглавием «Уистити», в другом, где оно отнесено в раздел «пейзажей», «Морское плавание», с добавлением в скобках: «переезд в Англию из Гамбурга», что соответствует начальным словам произведения. В черновом тексте стихотворение заканчивалось описанием вида застывшего моря; конец (строки 37—50) — о капитане и обезьянке — был приписан позднее, ниже даты: «пейзаж» превратился в стихотворение лирико-философского содержания.

Из признания Тургенева его французским друзьям, записанного в дневнике Э. Гонкура под 1 февраля 1880 г., явствует, что в основу «Морского плавания» Тургенев положил воспоминание юности. На обеде, устроенном перед поездкой в Россию, на котором присутствовали, кроме Гонкура, Доде и Золя, Тургенев говорил, что «его тянет вернуться на родину труднообъяснимое чувство потерянности — чувство, испытанное им, когда в дни ранней юности он плыл по Балтийскому морю на пароходе, со всех сторон окутанном пеленой тумана, и единственной его спутницей была обезьянка, прикованная цепью к палубе» (G o n c o u r t Edmond et Jules de. Journal-Mémoires de la vie littéraire. Paris, 1959. T. 3, p. 59; Г о н к у р Э. и Ж. де. Дневник. М., 1964. Т. 2, с. 275).

Стихотворение «Морское плавание» очень нравилось Л. Н. Толстому; он напечатал его в своем «Круге чтения» и неоднократно вспоминал (см.: «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого.— *Лит Насл*, т. 90, кн. 1, с. 114; кн. 2, с. 79; кн. 3, с. 438).

Н. Н.

(с. 170)

Кого Тургенев имел в виду, выставляя инициалы вместо заглавия, остается не раскрытым. Возможно, впрочем, что автор в данном случае не обращался к конкретному лицу. В черновом автографе заглавия не было; *после слов:* равнодушным вниманием — *было:* Ты ничего не ищешь и ни от чего не уклоняешься. В авторском перечне («Сюжеты» в беловой рукописи) это стихотворение, очевидно, отмечено под номером 30 под заглавием: «Елисейские поля (беспечальна)». Слово «беспечальна», выделенное Тургене-

вым для памяти, как опорное в целой характеристике, может быть, ведет нас к тому описанию Елисейских полей (в греческой мифологии — часть загробного мира, где находятся праведники), которое дается в «Одиссее» (перевод В. Жуковского, песнь 4, стихи 565—568):

Где пробегают светло беспечальные дни человека,
Где ни метелей, ни ливней, ни хладов зимы не бывает,
Где сладкошумно летающий веет Зефир Океаном,
С легкой прохладой туда посылаемый людям блаженным.

Говоря о «важных звуках глюковских мелодий» (в черновой рукописи варианты: «задумчивые звуки», «сладостные звуки»), Тургенев имеет в виду оперу Х. В. Глюка «Орфей» (1774), одно из действий которого происходит в «Елисейских полях». Эта опера была возобновлена в Париже в конце 1850-х годов и имела большой, длительный успех (в 1859—1861 гг. ставилась 150 раз) прежде всего благодаря П. Виардо, исполнявшей главную партию. О «благородных звуках „Орфея“» Тургенев вспоминал в письме к П. Виардо от 15(27) марта 1868 г.; позднее (14(26) июня 1872 г.) Тургенев писал В. В. Стасову: «Я восторгаюсь от глуковских речитативов и арий не потому, что авторитеты их хвалят — а потому, что у меня от первых их звуков навертываются слезы...»

СТОЙ!

(с. 170)

Заглавие представляет собою реминисценцию известных слов в последнем монологе Фауста Гёте («Фауст», ч. II, д. 5): «Мгновению мог бы я сказать: остановись же, ты так прекрасно!» Эти слова Тургенев вспоминал неоднократно: в поэме «Андрей» (ч. II, строфа X) он с горечью утверждал, что человек, хотя и «владыко мира», но

. . . ничему живому
Сказать не может: стой здесь навек!

В «Довольно» Тургенев, напротив, утверждал: «Красоте не нужно бесконечно жить, чтобы быть вечной,— ей довольно одного мгновения». Давняя традиция связывает возникновение стихотворения «Стой!» с П. Виардо. Об этом свидетельствовала, например, Л. Нелидова, упоминая, как в том же 1879 г. Тургенев «превосходно и с увлечением» рассказывал об исполнении П. Виардо знаменитых оперных ролей (Нелидова Л. Памяти И. С. Тургенева.— *ВЕ*, 1909, № 9, с. 224). А. Луканина вспоминает о музыкальном собрании, состоявшемся у Виардо 15(27) мая 1879 г. Когда г-жа Виардо спела «И сладко, и больно» Чайковского, Тургенев «совершенно воодушевился: „Замечательная старуха какая!“ ⟨. . .⟩ И действительно, когда m-me Виардо поет, она — сама жизнь, сама страсть, само искусство. Она не чужое передает, она сама как будто свое переживает» (*Сев Вестн*, 1883, № 3, с. 65). И. Павловский также вспоминает об одном из утренников у Виардо в 1879 г.: «Г-жа Виардо сначала спела один из русских романсов. Ее голос, не слишком сильный и несколько жесткий, обеспечил ей лишь посредственный успех. Тургенев, бывший некогда свиде-

лем триумфов великой артистки, казалось, всё еще находился под чарами своих воспоминаний. Он испытывал самый искренний восторг. Его глаза сверкали; пряди седых волос падали на его лоб. Он аплодировал сильнее и дольше всех остальных. Он обращался лицом к публике и непрестанно повторял: „О! что за старуха! О! что за старуха!“»[1].

Французский перевод этого стихотворения в прозе под заглавием «Arrête» самим Тургеневым помещен в «Revue politique et littéraire», 1882, № 26, p. 812; первоначальная (более дословная) редакция этого перевода сохранилась в парижском архиве Тургенева в рукописи, писанной не его рукой, вместе с копией русского текста (также не почерком Тургенева)[2].

МОНАХ

(с. 171)

В черновом автографе нет ни заглавия, ни даты. В беловом автографе, готовя стихотворение к печати, Тургенев значительно его расширил. Так, в начале стихотворения добавил фразу: «Он их не чувствовал, стоял — и молился». В конце приписал два предпоследних абзаца. От слов: «Мое *я* мне»... до слов — «не так постоянно».

МОЛИТВА

(с. 172)

«Молитва» была впервые записана Тургеневым в беловой рукописи под № 75, последней в ряду других шести коротких стихотворений (см. ниже) июня 1881 года философского характера — записей отдельных мыслей «для себя». Из них лишь стихотворение «Молитва», выправив его стилистически, Тургенев послал Стасюлевичу для печати в группе пятидесяти стихотворений 1878—79 годов. После слов «Что есть истина?» в беловой рукописи было (потом зачеркнуто): «да кстати вспомнит изречение, что всякий человек есть ложь».

В письме к Е. Е. Ламберт от 26 августа (8 сентября) 1864 г. Тургенев признавался: «... я не христианин, в Вашем смысле, да, пожалуй, и ни в каком...» «Молитва» подтверждала полное равнодушие писателя к христианской религии и ко всем формам обрядности, и, несмотря на пропуск стихотворения цензурой, оно получило соответствующую оценку в России в официальных кругах. Вскоре после появления всего цикла «Стихотворений в прозе» в

---

[1] Pavlovsky I. Souvenirs sur Tourguéneff. Paris, 1887, p. 150—151; то же в статье Н. К-ко «Полина Виардо».— *Рус Сл*, 1910, № 107, 12 мая; Чешихин Всев. Виардо и любовь к ней Тургенева.— Русская музыкальная газета, 1916, № 12, столб. 277—280. Ср.: Ромм С. Из далекого прошлого. Воспоминания о Тургеневе.— *ВЕ*, 1916, № 12, с. 113—114.

[2] *Bibl Nat*, Slave 78, *Mazon*, p. 84, M. 31; фотокопия: *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 264.

«Вестнике Европы» заметка о «Молитве» была доставлена К. П. Победоносцеву. В письме от 13(25) декабря 1882 г. С. А. Рачинский спрашивал Победоносцева, читал ли он «Стихотворения в прозе» Тургенева, и прибавлял: «Какая виртуозная стилистика — и какое мальчишеское содержание! Читаешь — и краснеешь за автора. Прилагаю заметку по поводу одного отрывка („Молитва"), особенно меня возмутившего» (*Лит Насл*, т. 73, кн. 1, с. 411).

Тут Шекспир придет ему на помощь.— Тургенев приводит цитату из трагедии «Гамлет» (д. 1, сц. 5) в переводе Н. А. Полевого (1837); как ходовая крылатая фраза эта цитата неоднократно употреблялась Тургеневым (см., например, «Дым», гл. II).

«Что есть истина?» — Цитата из евангельского текста (Евангелие от Иоанна, 18, 37), рассказывающего о допросе Иисуса Пилатом. Этот вопрос Пилата Иисусу остался без ответа.

РУССКИЙ ЯЗЫК

(с. 172)

М. М. Стасюлевич, делясь впечатлениями от чтения «Стихотворений в прозе» по рукописи, писал А. Н. Пыпину (13(25) августа 1882 г.), что они невелики по объему и что, например, «Русский язык» имеет величину «ровно в пять строк, но,— прибавлял он,— это золотые строки, в которых сказано более, чем в ином трактате; с такой любовью мог бы Паганини отозваться о своей скрипке» (*Лит Насл*, т. 73, кн. 1, с. 410—411). Так как «Русский язык» заключал всю серию «стихотворений в прозе», опубликованных в «Вестнике Европы» 1882 г., и долгое время считался последним звеном составляющего их цикла, то современники считали эти «слова о нашем родном языке лебединой песнью Тургенева» (*Звенья*, т. 1, с. 506).

Связь судеб русского народа с его языком не раз отмечалась Тургеневым. Так, в письме к Е. Е. Ламберт от 12(24) декабря 1859 г. он писал о русском языке: «... для выражения многих и лучших мыслей — он удивительно хорош по своей честной простоте и свободной силе. Странное дело! Этих четырех качеств — честности, простоты, свободы и силы нет в народе — а в языке они есть... Значит, будут и в народе». Тем современникам, которые скептически относились к будущему России, Тургенев — по воспоминаниям Н. В. Щербаня — говорил: «И я бы, может быть, сомневался в них ⟨. . .⟩ — но язык? Куда денут скептики наш гибкий, чарующий, волшебный язык? Поверьте, господа, народ, у которого такой язык,— народ великий» (*Рус Вестн*, 1890, № 7, с. 12—13). По свидетельству С. И. Лаврентьевой (Пережитое. Из воспоминаний. СПб., 1914, с. 142), Тургенев говорил с нею о «нашем прекрасном богатом языке», «который до времен Петра был так тяжел и который с Пушкина развился так богато, сложился так поэтично». «По тому самому,— прибавлял Тургенев,— я верю, что у народа, выработавшего такой язык, должно быть прекрасное будущее». Н. А. Юшкова в письме к В. Микулич (Л. И. Веселитской), вспоминая о встрече с Тургеневым в Петербурге в 1880 г., также рассказывала: «Любовь к родине ярко выразилась у него в его любви к самому художественному произведению русского народа, к русскому языку» (*Звенья*, т. 1, с. 506).

Стихотворение в прозе «Русский язык» приобрело широкую популярность. «Русский язык, как справедливо заметил Тургенев,— писал П. И. Чайковский 26 августа ст. ст. 1888 г., имея в виду это стихотворение в прозе,— есть нечто бесконечно богатое, сильное и великое» (Дни и годы П. И. Чайковского. Летопись жизни и творчества. М.; Л., 1940. с. 452). По словам К. Д. Бальмонта (1918), Тургенев «спел такой гимн русскому языку, что он будет жить до тех пор, пока будет жить русский язык, значит всегда» (*Т и его время*, с. 23). Ср. статью Бальмонта «Русский язык», в которой стихотворение Тургенева он называет «благоговейной молитвой» (Русские записки, 1924, т. 19, с. 231). Об этом «подлинном гимне» Г. О. Винокур заметил, что он «известен каждому русскому школьнику и вошел в ежеминутное сознание русского грамотного человека» (Русский язык. М., 1945, с. 187—188).

Под воздействием Тургенева создано стихотворение словенского поэта второй половины XIX века, А. Ашкерца (Рыжова М. И. Стихотворение Антона Ашкерца «Русский язык».— Международные связи русской литературы. М.; Л., 1963, с. 396—397).

⟨II⟩

ВСТРЕЧА (СОН)

(с. 173)

В черновом автографе это стихотворение под заглавием «Сон 1-й» без даты, но записанное до январских стихотворений 1878 года, со вставками и большой правкой было набросано на том же листе, что и конец рассказа «Сон» (1876 г.). Включенное впоследствии в беловой автограф под № 3, оно получило название «Женщина», потом переправленное на «Встреча (Сон)». Стихотворение это должно было открывать задуманный Тургеневым цикл из стихотворений под названием «Сны», куда оно и было внесено дважды первым по счету, судя по спискам на полях черновиков, а также в перечне «Сюжеты» беловой рукописи.

Рядом с заглавием стихотворения в беловом автографе Тургенев пометил: «Употр⟨ебить⟩ в повесть». Действительно, в повести «Клара Милич (После смерти)» оно пересказано, с сокращениями и изменениями стилистического характера, как сон, привидевшийся Аратову (см. в этом томе с. 93).

ПРОКЛЯТИЕ

(с. 174)

Первоначальное заглавие «Проклятие» в черновом автографе Тургенев в беловой рукописи изменил на «Манфред», но потом зачеркнул его и восстановил прежнее. Слова: «Да будут без сна ∽ собственным адом» — должны восприниматься как вольный перевод четырех стихов из того «заклинания» (incantation), которое в драматической поэме Байрона таинственный *Голос* произносит над Манфредом, лишившимся чувств (акт I, сц. 4). В оригинале

«Заклинание» имеет 7 строф (по 10 стихов каждая); Тургенев пересказывает лишь начальные стихи второй строфы:

Though the slumber may be deep,
Yet the spirit shall not sleep,

и заключительные стихи строфы шестой:

I call upon thee! and compel
Thyself to be the proper Hell!

Перевод приведенных стихов не сразу дался Тургеневу; в черновике он ближе к подлиннику: «Да будут ночи твои без сна, да вечно чувствует твоя душа мое незримое присутствие, [да] будь [она] [твоим] собственным своим адом». В беловом автографе к слову «чувствует» были варианты: *а* «знает», *б* «осознает». А последняя строка звучала так: «да будет она собственным своим адом».

В юности, по свидетельству самого Тургенева (письмо к А. В. Никитенко от 26 марта (7 апреля) 1837 г.), он перевел «Манфреда» полностью, но перевод этот не сохранился. Собственный ранний опыт Тургенева — драматическая поэма «Сте́но» (1834) имеет эпиграф из «Манфреда», и в ней многое навеяно этим произведением Байрона. Автобиографическое значение имеют слова, вложенные Тургеневым в уста Лежневу («Рудин», гл. VI): «Вы, может, думаете, я стихов не писал? Писал-с, и даже целую драму сочинил в подражание „Манфреду". В числе действующих лиц был призрак с кровью на груди, и не с своей кровью, заметьте, а с кровью человечества вообще». Еще более критически Тургенев отзывался о байроновском Манфреде в старости, когда он писал, например, Л. Фридлендеру (письмо от 14(26) декабря 1878 г.) об этом герое: «...мне лично мало симпатичный чудак...» В этом письме Тургенев приводит цитату из «Манфреда» в английском подлиннике, поэтому можно предположить, что он перечитывал его в том же году, когда было написано «Проклятие». «Манфреда» Тургенев вспоминает также в стихотворении «У-а... У-а!» (с. 187—189).

БЛИЗНЕЦЫ

(с. 175)

В беловой рукописи, где это стихотворение значится под № 13, рядом с заглавием Тургенев сделал отметку: «NB. Подальше от 12-го», т. е. от стихотворения «Проклятие», вероятно потому, что в каждом из них говорится о споре между близкими людьми, хотя и содержание и сущность обоих рассказов имеют мало общего.

ДРОЗД (I)

(с. 175)

В черновом автографе сначала написано другое заглавие (здесь же и зачеркнутое): Черный дрозд. Стихотворение подверглось очень тщательной стилистической правке со множеством больших вставок в тексте. Под стихотворением — инициалы: «И. Т.» и дата (8 июля 1877 г.), которая является наиболее ранней из всех стоящих под отдельными стихотворениями цикла. Недаром

перечень стихотворений («Сюжеты») в беловом автографе начинается именно с этого названия: «Дрозд. 1.2». К тому же это единственная полная дата, в которой отмечены не только год, месяц и число, но даже час (6 $^1/_4$ утра) и место его создания (Les Frênes, Буживаль), что приближает данный отрывок к дневниковой записи. Вероятно, эта запись связана с каким-то особенно памятным для Тургенева днем. Трудно сказать определенно, о каком сердечном увлечении идет здесь речь (в словах «я, бедный, смешной, влюбленный, личный человек...»); скорее всего он вспоминал о Ю. П. Вревской, с которой виделся в конце мая того же года (см. выше, с. 491). В черновом автографе над заглавием был эпиграф:

Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt
Gab' mir ein Gott, zu sagen, wie ich leide.
Göthe. «Torquato Tasso» [1].

Этот эпиграф был потом отброшен Тургеневым. Метафора о «холодных волнах», уносящих в безбрежный океан человеческую жизнь, встречается и в других произведениях Тургенева (см. выше «Конец света»).

ДРОЗД (II)

(с. 177)

В черновом автографе вместо заглавия стояла цифра II. Оба стихотворения («Дрозд» I и II), судя по цвету чернил и почерку, были записаны одновременно, хотя поправки и вставки были сделаны не сразу. Там же дата стихотворения была исправлена — «Август, 1878» на «Август 1877 года». В беловике восстановлен 1878 год. Между тем стихотворение едва ли могло быть написано после фактического завершения русско-турецкой войны, заключения Сан-Стефанского мирного договора (19 февраля (3 марта) 1878 г.) и соглашения с Англией (18(30) мая 1878 г.). Напротив, именно в августе 1877 г. Тургенев с чрезвычайной остротой воспринимал ряд поражений, нанесенных русским войскам турками, и огромные жертвы, которые война потребовала от русского народа. Слова стихотворения: «Тысячи моих братий, собратий гибнут теперь там, вдали, под неприступными стенами крепостей; тысячи братий, брошенных в разверстую пасть смерти неумелыми ⟨*в черновике*: безмозглыми⟩ вождями» — имеют близкие параллели в письмах Тургенева, писанных им в августе 1877 г. Так, П. Л. Лаврову он писал 22 июля (3 августа): «Не могу скрыть, что до безумия огорчен нашим поражением в Турции: вот что значит поручать великим князьям армии — точно игрушки детям! Но чем провинились наши бедные солдаты, которых башибузуки призрезывали, как баранов?» То же горькое чувство отражено в письмах Тургенева к П. В. Анненкову от 1(13) августа 1877 г. и к Я. П. Полонскому от 14(26) августа 1877 г.: «. . . мне ужасно скверно на душе — по милости наших неслыханных глупостей на Востоке — и мне хотелось бы забиться в какую-либо пору, чтобы не видеть никого и ничего не слышать!» Приведенные цитаты позволяют считать, что исправление

[1] И когда человек немеет в своем страдании, Дай мне бога, чтобы сказать, как я страдаю.— Гёте. «Торквато Тассо» *(нем.)*.

даты, сделанное Тургеневым в черновом автографе, имело полное основание. В черновом автографе вместо слов: «Что это? Слезы... или кровь?» написано — «Что это? Мои слезы или та родная кровь?»

БЕЗ ГНЕЗДА

(с. 178)

Стихотворение развертывает в поэтическую картину одно из излюбленных Тургеневым уподоблений, которым он пользовался на протяжении всей своей жизни — в лирических стихотворениях («Гроза промчалась», 1844, стих 25; «Один, опять один я», 1844, стихи 47—48), в прозаических произведениях («Дневник лишнего человека», «Накануне», гл. XXVII) и письмах разных лет (свод цитат из всех этих произведений и писем см.: *Т*, *ПСС и П*, *Письма*, т. 1, с. 41). В цикле стихотворений в прозе отрывок «Без гнезда» занимал одно из первых мест и по времени написания и в перечнях, составлявшихся Тургеневым для себя. В черновой рукописи, после заглавия «Без гнезда», написано карандашом: (I). В перечне названий «Стихотворений в прозе» под заглавием «Сюжеты» (см. выше, с. 447) оно поставлено на втором месте, после «Дрозд I и II». В беловой рукописи эти стихотворения шли в одной группе: «Дрозд I.II», «Без гнезда», «Кубок», «Чья вина?» (последние три датируются январем 1878 г.). Во всех этих стихотворениях отражено угнетенное душевное состояние, вызванное смертями разных близких Тургеневу людей: «. . . нравственно я хуже, чем калека,— пишет он Я. Полонскому 2(14) января 1878 г.,— я совсем старик; ко всему охладел — и только воспоминания о прежних друзьях и временах немного шевелят меня» (ср. другие письма этого месяца).

ЖИТЕЙСКОЕ ПРАВИЛО

(с. 179)

Во всех автографах это стихотворение датируется Тургеневым апрелем 1878 г. Под таким же названием и с той же датой в «Вестнике Европы» было напечатано другое стихотворение, на самом деле написанное в октябре 1882 г. (см. выше, с. 133—134).

ГАД

(с. 179)

В этом отрывке Тургенев, несомненно, метил в Б. М. Маркевича, романиста и реакционного публициста, этого «клеврета ренегата» (так он назван в одном из конспектов «Нови»), в течение нескольких лет ведшего клеветническую кампанию против Тургенева в газетах, возглавлявшихся М. Н. Катковым[1]. Узнав себя

[1] Подробнее см.: Трофимов И. Т. И. С. Тургенев и общественно-литературная борьба 70-х — начала 80-х годов.— Научные доклады высшей школы. Филологические науки, 1959, № 4, с. 138—147.

в памфлетическом портрете, данном Тургеневым в «Нови», Маркевич собирался вызвать Тургенева на дуэль (см. наст. изд., т. 9, с. 511), о чем сказано и в данном отрывке. В письмах второй половины 1870-х годов, когда их вражда достигла крайнего напряжения, Тургенев не скупился на резкие определения Маркевича, называя его «мерзавцем», «допрыгавшимся до помойной ямы, которая так давно звала его в свои объятия» (письмо к М. М. Стасюлевичу от 1(13) марта 1875 г.), и «гадиной» (в письме к А. С. Суворину от 14(26) февраля 1875 г.).

ПИСАТЕЛЬ И КРИТИК

(с. 180)

Стихотворение имеет явно автобиографическую основу. Характеризуя своего «критика», Тургенев имел в виду прежде всего В. П. Буренина, критика и публициста газеты «Новое время», на страницах которой он резко отзывался о последних произведениях Тургенева. В частности, Буренин нападал на Тургенева за то, что он «забыл родной язык» и что его писания пестрят галлицизмами (см. в этом томе с. 533) [1].

... известна ли вам басня о лисе и кошке? — Тургенев имеет в виду басню Лафонтена (кн. IX, басня 14).

Гомер пустил на вечные времена своего Ферсита... — Ферсит (в русской традиции чаще — Терсит) изображен в «Илиаде» как наглый и злой крикун, которого Одиссей ко всеобщему восторгу осыпал ударами, когда он поносил Агамемнона (песнь II, стихи 212—222). Начало этого эпизода в переводе Н. И. Гнедича читается так:

Все успокоились, тихо в местах учрежденных сидели;
Только Терсит меж безмолвными каркал один, празднословный;
В мыслях вращая всегда непристойные дерзкие речи,
Вечно искал он царей оскорблять, презирая пристойность,
Все позволяя себе, что казалось смешно для народа... и т. д.

С КЕМ СПОРИТЬ...

(с. 180)

Впервые опубликовано в кн.: XXV лет. 1859—1884. Сборник, изданный комитетом общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым. СПб., 1884, с. 272, со следующим примечанием редактора (В. П. Гаевского): «Сообщено, по нашей просьбе, М. М. Стасюлевичем, с объяснением обстоятельств, при которых эта шутка Тургенева была получена из Буживаля, в октябре 1882 г. Редактор „Вестника Европы“ нашел, что одно из „Стихотворений в прозе“, напечатанных в журнале (декабрь, 1882) [1], легко могло

[1] В своей книге, вышедшей уже после смерти Тургенева (Буренин В. Литературная деятельность Тургенева. Критический этюд. СПб., 1884). Буренин убрал нападки на писателя.

[1] Стихотворение «Дурак».

быть истолковано как личный намек, и сообщил свое опасение их автору. Тургенев, отрицая это, заключает свое письмо от 14(26) октября 1882 г. таким образом: „В доказательство, что я не делаю намеков,— а говорю *прямо*, прилагаю ⟨. . .⟩ одно стихотвореньице — не для печати, разумеется, а чтобы сорвать с Вас улыбку“»— и затем непосредственно следует текст самой шутки. «В. В. Стасов, с согласия которого печатается „стихотвореньице“,— добавлял В. П. Гаевский,— обещает когда-нибудь рассказать в своих воспоминаниях о знакомстве с покойным и тот случай, который, очевидно, пришел на память Тургеневу, горячо поспорившему с ним по какому-то чисто художественному вопросу». Через несколько лет, публикуя свои воспоминания о Тургеневе, В. В. Стасов снова воспроизвел весь текст этого стихотворения в прозе и сопроводил его следующим своим замечанием: «Несмотря однако же на такой строгий приказ другим, сам Тургенев никогда его не исполнял в отношении к самому себе, и много лет своей жизни проспорил со мною и *до* и *после* этого своего „Стихотворения в прозе“. Наши письма служат тому доказательством ⟨. . .⟩ Ни Тургеневу, ни мне молчание вовсе не казалось великим благом, и мы при каждом новом случае, почти при каждом новом свидании или письме втягивались в ярые, долгие споры. Худого от этого для нас не вышло» (С т а с о в В. В. Двадцать писем Тургенева и мое знакомство с ним.— *Сев Вестн*, 1888, № 10, с. 145—146).

Впоследствии «С кем спорить?» по первопечатному тексту воспроизвел М. О. Гершензон (*Рус Пропилеи*, т. 3, с. 53), но в состав всего цикла оно не включалось и печаталось лишь в приложении или в комментариях на том основании, что Тургенев сообщил его Стасюлевичу «не для печати». Однако стихотворение «С кем спорить?», набросанное Тургеневым в черновике одновременно с другими стихотворениями этого года, было переписано им набело в тетрадь белового автографа со всеми стихотворениями под № 38, между «Писатель и критик» и «О моя молодость!..» Поэтому у нас есть все основания печатать его в основном корпусе на точно определенном самим Тургеневым месте.

Многолетнее знакомство Тургенева с В. В. Стасовым, длившееся с 1869 г. до смерти Тургенева, отражено в их переписке (сохранилось двадцать писем Тургенева к Стасову и всего лишь четыре письма Стасова к Тургеневу; см.: *Т сб*, вып. 1, с. 446—453). При встречах и в письмах Тургенев и Стасов то мирно беседовали друг с другом, то вступали в яростные споры, касавшиеся русской музыки, изобразительного искусства и литературы. Так как они придерживались зачастую противоположных точек зрения на развитие русского искусства и литературы, для возникновения ожесточенного спора между ними достаточно было незначительного повода, а самый спор приводил к охлаждению и разрыву. Наиболее враждебными были отношения Тургенева и Стасова между 1875 и 1880 годами. «Впрочем — к чему спорить? — писал Тургенев Стасову 16(28) августа 1875 г. о дискуссии, возникшей между ними по поводу проекта памятника Пушкину, предложенного М. М. Антокольским для Москвы.— У меня до сих пор краска стыда жжет лицо, когда я вспомнаю, что мы, старые, седые люди, могли до крику, до изнеможения спорить — о чем? О пьэдестале! Одни русские в целом мире способны впасть в такое пустое младенчество! Сошлись — и давай жевать сухую траву, да еще задыхаться и сверкать глазами во время жевания». На то же пятилетие, к кото-

рому относится стихотворение «С кем спорить?», пришлись также три весьма враждебные статьи Стасова против Тургенева, напечатанные (под псевдонимом) в «Новом времени» в 1877, 1878 и 1879 гг.[2], а также несправедливый выпад против Тургенева в воспоминаниях Стасова об училище правоведения, напечатанных в «Русской старине» 1880 года.

В своей «Художественной автобиографии», которая должна была служить вступительной главой к книге «Разгром» и вместе с тем итогом его критической деятельности, Стасов утверждает: «Споры, т. е. обмен мнений и притом со специально нападательским характером, всегда были не только моей потребностью, но просто страстью» (Каренин Вл. Владимир Стасов. Л., 1927. Ч. 1, с. 120). Это подтверждает, что в стихотворении «С кем спорить?» Тургенев, говоря о Стасове-спорщике, представлял себе его как своего рода типическое обобщение спорщика, в своем увлечении по-своему истолковывающего слова противника.

«О МОЯ МОЛОДОСТЬ! О МОЯ СВЕЖЕСТЬ!»

(с. 180)

Заглавие представляет собою слегка измененную цитату из «Мертвых душ» Гоголя (ч. 1, гл. 6). Приведя эту концовку на память, Тургенев имел, конечно, в виду и всю предшествующую лирическую тираду: «Прежде, давно, в лета моей юности, в лета невозвратно мелькнувшего моего детства, мне было весело подъезжать в первый раз к незнакомому месту 〈. . .〉 Теперь равнодушно подъезжаю ко всякой незнакомой деревне 〈. . .〉 то, что пробудило бы в прежние годы живое движенье в лице, смех и немолчные речи, то скользит теперь мимо, и безучастное молчание хранят мои недвижные уста. О моя юность! о моя свежесть!»

К***

(с. 181)

Тургенев писал П. Виардо 4(16) ноября 1852 года: «Как вам понравится этот конец одной старой русской песни (дело идет об убитом молодце, который лежит „под кустом“):

То не ласточка, не касаточка
Круг тепла гнезда увивается 〈. . .〉»

Дальше Тургенев цитирует продолжение песни — о том, как «увиваются» и плачут около убитого мать, сестра и жена [1]. «Вы не по-

---

[2] Каренин Влад. Владимир Стасов, ч. 2, с. 576—586: Письма В. В. Стасова к гр. А. А. Голенищеву-Кутузову.— Русская музыкальная газета, 1916, № 41; Кузьмина Л. И. И. С. Тургенев и В. В. Стасов.— В сб.: И. С. Тургенев. Вопросы биографии и творчества. Л., 1982, с. 61—80.

[1] Письмо на франц. яз. Для перевода песни был использован текст русской песни по кн.: Соболевский А. И. Великорусские народные песни. СПб., 1895. Т. 1, с. 444—445, № 359. У Тургенева: «Ce n'est pas un hirondelle /Qui s'agite autour de son nid:» (*Т, ПСС и П, Письма*, т. II, с. 84).

верите,— продолжает Тургенев,— сколько поэзии, свежести и нежности в этих песнях; я пришлю вам некоторые из них в переводе».

Похожую по содержанию песню, начинающуюся словами: «Ах ты, поле, поле чистое», с описанием убитого молодца и плачем над ним матери, сестры и жены, Тургенев мог прочесть в «Собрании русских стихотворений из сочинений лучших стихотворцев российских и из многих русских журналов, изд. В. Жуковским». М., 1810. Ч. 2, с. 312, № XI. Там есть и следующие строки: «Не ласточки увивалися Вкруг родима тепла гнездышка, Увивается тут матушка» ⟨. . .⟩ и т. д.

С другой стороны, Н. В. Измайлов в комментариях к письму Тургенева к П. Виардо (*Т*, *ПСС и П*, *Письма*, т. II, с. 454—455) утверждает, ссылаясь на А. И. Соболевского, что эта песня была известна в различных вариантах в разных местах России, а также «бытовала в местах, окружавших Спасское», и, возможно, Тургенев «записал ее текст непосредственно от крестьян-исполнителей».

Однако работа писателя в черновой рукописи, варианты отдельных слов и фраз показывают, что в стихотворении «К ***» Тургенев взял только зачин давно ему известной и полюбившейся песни и потом уже в беловой рукописи постарался на свой лад стилизовать это стихотворение под старую народную песню, вложив туда другое содержание и продолжив ее применительно к неизвестному адресату. Возможно, что здесь идет речь о дочери Тургенева Полине, воспитывавшейся в семье Виардо и вышедшей замуж за Г. Брюэра (*Т*, *ПСС и П*. *Письма*, т. II, с. 400).

Я ШЕЛ СРЕДИ ВЫСОКИХ ГОР

(с. 181)

Из всех «стихотворений в прозе» настоящее является единственным, не соответствующим этому видовому наименованию, так как оно представляет собою лирическое стихотворение в прямом смысле этого слова, имеющее свой размер (четырехстопный ямб, которым Тургенев широко пользовался в ранний период своего поэтического творчества) и перекрестные рифмы. Однако принадлежность его к общему циклу стихотворений в прозе — по положению в рукописи — сомнений не вызывает, и это еще усиливает загадку его происхождения. Впервые (черновой автограф) оно было набросано на почтовом листе бумаги с довольно большим количеством поправок отдельных слов и строк; время его возникновения неизвестно. Затем Тургенев переписал его в тетрадь с черновиками (без поправок, но как прозаическое, т. е. без разделения на стихотворные строки; строфы отделялись друг от друга красными строками), между стихотворениями «Памяти Ю. П. Вревской» и «Песочные часы» с датой: «Декабрь 1878». Наконец, переписывая с черновиков все 83 стихотворения в прозе в беловую тетрадь, Тургенев включил туда и это произведение (под № 46), снова разделенное на строки и строфы, между стихотворениями «Памяти Ю. П. Вревской» и «Когда меня не будет». В черновом автографе, кроме более мелких разночтений, были колебания в написании строки: «Едва себя я сознавал» — *а)* Я утопал... я исчезал... *б)* Я не желал... не вспоминал... *в)* Я ничего не понимал... После строки

«Мне целый мир принадлежал!» в черновике следовала целая строфа, потом зачеркнутая:

Я был царем природы всей!
Она моим смеялась смехом,
На каждый звук груди моей
[Она гремела странным эхом]
[Она звучала чутким эхом]
Она ответила приветом.
И этот царь, и этот бог
Связать двух мыслей бы не мог!

Несмотря на то, что во всех других произведениях цикла, готовя их к печати, Тургенев тщательно отделывал текст, устраняя из него все случайно рифмующиеся созвучия и тем самым сознательно добиваясь впечатления, что они созданы «в прозе», рифмованное и ритмически упорядоченное стихотворение «Я шел среди высоких гор» было им самим вставлено в общий корпус цикла.

В качестве предположения, требующего дальнейших подтверждений, можно высказать догадку, что это стихотворение, не блещущее особыми достоинствами, было дорого Тургеневу по каким-либо субъективным причинам: «высокие горы», может быть, указывают на швейцарский пейзаж (и, следовательно, на воспоминания молодости), несколько раз возникавший в сознании Тургенева именно в «стихотворениях в прозе»,— см. выше «Разговор», «Проклятие» и ниже «У-а... У-а!»

КОГДА МЕНЯ НЕ БУДЕТ...

(с. 182)

Из всех стихотворений в прозе, не опубликованных Тургеневым при жизни, данное стихотворение чаще других служило примером того, что многие лирические отрывки цикла сам писатель не мог напечатать по причинам их глубоко интимного характера. А. Мазон отметил, что оно «без сомнения посвящено Полине Виардо» (*Mazon*, р. 35, *Мазон*, с. 41). То же утверждают новейшие биографы П. Виардо (Розанов А. Полина Виардо-Гарсиа. Изд. 2-е дополн., Л., 1973, с. 155; Fitzlyon A. The Prire of Genins. A life of Pauline Viardot. London, 1964, p. 449). О существовании этого стихотворения было известно еще раньше из устных сообщений, опубликованных в кн.: Гревс И. М. История одной любви. М., 1927, с. 260. Это «посмертное» письмо представляет большой интерес для биографии Тургенева, так как указывает на одну из причин его глубокой привязанности к Полине Виардо,— на их интеллектуальную близость и общую их любовь к искусству в широком смысле слова.

ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ

(с. 183)

В черновом автографе заглавия нет, в перечне «стихотворений в прозе» («Сюжеты»), составленном Тургеневым, этот лирический отрывок назван иначе — «Уходящая жизнь». В черновом тексте олицетворение Смерти, держащей в своей костлявой руке песочные часы, отождествлено с «безжалостной фигурой Времени». Эти образы ведут нас к аллегорическому и мифологическому языку XVIII века, в таинства которого Тургенев был посвящен в детские годы книгой «Емблемы и символы» Н. Максимовича-Амбодика (см. наст. изд., т. 6, с. 39—40). В европейском искусстве нового времени Хронос (греч.— олицетворение времени), иногда отождествлявшийся с Сатурном, изображался в виде старца с крыльями и косой в руках, что позволяло объединить этот образ с олицетворением Смерти, изображавшейся с тем же атрибутом — косой; другим атрибутом Хроноса были песочные часы — символ быстротечности и ограниченности времени. Фигуру умирающего Хроноса с выпавшей из рук косой, возле которой стоят песочные часы, Тургенев, несомненно, видел на знаменитой предсмертной гравюре английского художника XVIII века В. Хогарта, неоднократно воспроизводившейся под заглавием «Finis» (Конец; подлинное название — «Низменное, или Падение возвышенного»), 1764.

КОГДА Я ОДИН... (ДВОЙНИК)

(с. 184)

В черновом автографе заглавия нет, в перечне названий «стихотворений в прозе» («Сюжеты») заглавие — «Двойник». В беловой рукописи слово «Двойник» стало подзаголовком и приписано позднее. Ш. Саломон во французском издании «Стихотворений в прозе» (с. 132) делает глухую ссылку: «Сравни А. де Мюссе. La nuit du décembre». Стихотворение «Декабрьская ночь», написанное А. де Мюссе в ноябре 1835 г., представляет собою длинный диалог поэта с «Видением» («La Vision»), неотступно следовавшим за ним на всех путях жизни от юношеских лет. В заключительных стихах на вопрос поэта «Кто ты?» Видение отвечает:

Je te suivrai sur le chemin;
Mais je ne puis toucher ta main,
Ami, je suis le Solitude [1].

ПУТЬ К ЛЮБВИ

(с. 185)

Это — первое стихотворение 1881 г., написанное Тургеневым после долгого перерыва (все предшествующие датируются 1877—1879 гг.). В отличие от более ранних произведений, переписывав-

[1] Я буду следовать за тобой по дороге. Но не коснусь твоей руки; Друг, я — Одиночество.

шихся в беловую тетрадь с черновиков, «Путь к любви» и последующие стихотворения 1881—1882 годов записаны были прямо в эту тетрадь и дошли до нас в единственной редакции.

За весь год лишь в июне 1881 года Тургенев написал семь стихотворений: 69. Путь к любви. 70. Фраза. 71. Простота. 72. Брамин. 73. Ты заплакал... 74. Любовь. 75. Молитва. Все они резко отличаются от стихотворений 1877—79 годов. Кроме «Молитвы». выправленной и напечатанной самим Тургеневым, это очень короткие записи на отвлеченные вопросы, наброски мыслей философского характера, не предназначавшиеся к печати. «Неизданные „Ст⟨ихотворения⟩ в пр⟨озе⟩“,— писал Тургенев Б. А. Чивилеву 17(29) декабря 1882 года,— неизвестны даже самым близким мне людям. Они предназначены на сожжение после меня, вместе с моим дневником». Стихотворения «Фраза», «Простота», «Ты заплакал...» не имеют вариантов, в стихотворении «Путь к любви» последняя, важная для смысла стихотворения фраза, была приписана позднее.

БРАМИН

(с. 185)

«Индийские брамины», т. е. люди, принадлежащие к высшей жреческой касте, упомянуты также в повести «Песнь торжествующей любви» (см. выше, с. 52). Слово «Ом» у индусов — священное слово, употребляемое при торжественном воззвании, при утверждении чего-либо, в молитвах и заклинаниях. Впервые слово это появляется в «Упанишадах», где ему приписывается особое могущество, и оно объявляется заслуживающим глубочайшего размышления; в позднейшее время слово «Ом» (санскр. «Аум») обозначало индийскую троицу: А — посвящено богу Вишну, У — Шиве, М — Браме. Нет сомнения, что Тургенев в это время чувствовал большой интерес к индийским религиям и, в частности, к буддизму. «Веды» и «Пураны» упоминаются в романе «Дым» (см.: наст. изд., т. 7, с. 258). См. далее «Попался под колесо» (с. 187).

ИСТИНА И ПРАВДА

(с. 186)

Целый год Тургенев не писал стихотворений в прозе. В июне 1882 г. он записал в свою беловую тетрадь под № 76 «Истину и Правду». Этому стихотворению в беловой рукописи предшествует стихотворение «Молитва», в котором ставятся вопросы того же плана — о религии, боге, человеческом разуме, истине. Рукопись «Истины и Правды» испещрена многочисленными поправками. Судя по почерку, Тургенев не раз возвращался к этой рукописи, правя ее то чернилами, то карандашом, но так и не довел своих поправок до конца. Характер исправлений дает возможность заметить, что вопросы, первоначально поставленные Тургеневым, он пытался из абстрактно-философских сделать социально-философскими, не забывая, однако, о необходимости считаться с цензурными условиями. Очевидно, Тургенев не оставлял мысли напечатать это стихотворение; поэтому искал лучших возможностей

сделать доступными для печати заключительные строки стихотворения, но оно осталось не отделанным до конца.

Приводим варианты заключительных строк стихотворения. *После слов:* «Правда и Справедливость!» *зачеркнуто:* «А Истина пребывает там, на небе, в вечности... Она пребывает в царстве законов ⟨*1 нрзб* — знания?⟩... Там, где человеческого нет ничего». *После слов:* «и умереть согласен» — *зачеркнуто:* «А за Истину?» *Вместо конца:* «На знании Истины ∽ в этом блаженство?» *было:* «На знании Истины вся жизнь построена, но [люди-то живут для Правды] жить можно только для Правды и умереть за нее! а как это „обладать Истиной?“ — Так вы не верите в бессмертие души?»

КУРОПАТКИ

(с. 187)

Написано в начале предсмертной болезни Тургенева, причинившей ему тяжелые физические страдания и в следующем году приведшей его в могилу. Сохранились четыре «Скорбных листа» — дневниковых записей о ходе болезни Тургенева (*Mazon*, p. 176—178), которые он вел вскоре после того, как набросал стихотворение «Куропатки»,— со 2 августа по 25 октября (н. ст.) 1882 г.

NESSUN MAGGIOR DOLORE

(с. 187)

Заглавие — полустишие из «Божественной комедии» Данте («Ад», V, 121—123), представлявшее ходовую цитату, употреблявшуюся и в русской литературе без перевода со времен Пушкина и П. А. Вяземского. Цитата заимствована из эпизода о Паоло и Франческе и представляет собою начало рассказа тени Франчески о своей судьбе:

Ed ella a me: Nessun maggior dolore
Che ricordarsi del tempo felice
Nella miseria, eció sa il tuo dottore.

⟨И она сказала мне: «Нет большей скорби, чем вспоминать о счастливых временах в несчастии; твой учитель знает это»⟩. Первоначально отрывок был назван в рукописи немецким заглавием: «Stoßseufzer» («Тяжкий вздох»); так в письме к Л. Пичу от 13(25) октября 1882 г. Тургенев характеризовал ему все свои «Senilia».

ПОПАЛСЯ ПОД КОЛЕСО

(с. 187)

Заглавие связано с образом «колесницы Джаггернаута», несколько раз упоминавшейся Тургеневым. См., например, слова Паклина в романе «Новь», гл. IV, и самого Тургенева в его письме к А. Ф. Отто-Онегину от 9(21) октября 1872 г.: «...что за охота подражать индийским факирам, которые бросаются под колесо

Джаггернаутовой колесницы? Те, по крайней мере, полагают, что, будучи раздавлены, попадают прямо в божественную «нирвану», но мы, не разделяющие подобного образа мнения, будем просто раздавлены — и баста» [1].

У-А... У-А!

(с. 188)

В перечне названий «Стихотворений в прозе» под заглавием «Сюжеты» это стихотворение отмечено под названием «Vagitus» (лат. «Крик»). Рукопись имеет большое количество авторских поправок стилистического характера; некоторые сделаны позднее, другими чернилами. Фраза: «Я проживал тогда в Швейцарии...» и свидетельство: «Байрон был моим идолом, Манфред моим героем» — указывают, что в основе этого отрывка лежит воспоминание юности Тургенева. В «Манфреде» Байрона вторая сцена I акта, местом действия которого является гора Юнгфрау, заканчивается попыткой героя броситься со скалы в пропасть, но его удерживает Охотник за сернами. О Манфреде см. выше — «Разговор» и «Проклятие».

МОИ ДЕРЕВЬЯ

(с. 189)

Стихотворение впервые опубликовано по рукописи в оригинале и во французском переводе в каталоге парижских рукописей Тургенева (*Mazon*, p. 35—36), откуда перепечатано в издании: *Т*, *Сочинения*, т. 10, с. 349.

В стихотворении, если судить о нем по рукописи, речь идет о каком-то знакомце Тургенева еще по его студенческим годам. В автографе после слов «и на похвальбу больного» Тургенев начал было писать: «това⟨рища⟩», но не закончил этого слова и зачеркнул его, по-видимому, потому, что этот человек уже был слишком далек от него по духу, образу мыслей и привычкам.

Н. С. Никитина в своей статье «О реальной основе „стихотворения в прозе“ И. С. Тургенева „*Мои* деревья“» (Русская литература, 1982, № 1, с. 176—180) убедительно доказывает, что Тургенев имел здесь в виду историка, театрального деятеля и, в дальнейшем, директора Эрмитажа С. А. Гедеонова (1815—1878). С ним Тургенев учился в Петербургском университете, потом встречался в литературно-театральных кругах в Петербурге и за границей и написал отрицательную рецензию на пьесу Гедеонова «Смерть Ляпунова» (см. наст. изд., т. 1, с. 236—250).

Стихотворение записано последним под № 83 в беловой тетради. После него стояло подчеркнутое: «1883!», но под этим годом уже ничего не написано.

---

[1] См. также: Чистова И. С. О прототипе главного героя романа И. С. Тургенева «Новь».— Русская литература, 1964, № 4, с. 176—177.

ПЕРЕВОДЫ ИЗ Г. ФЛОБЕРА

⟨ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРЕВОДАМ ПОВЕСТЕЙ Г. ФЛОБЕРА «ЛЕГЕНДА О СВ. ЮЛИАНЕ МИЛОСТИВОМ» и «ИРОДИАДА»⟩

(с. 193)

Печатается по тексту первой публикации: *BE*, 1877, № 4, с. 603, с подписью Иван Тургенев.

В собрание сочинений впервые включено: *Т*, *Сочинения*, т. 11, с. 646 (в примечаниях).

Автограф неизвестен.

Написанное в форме письма к редактору «Вестника Европы» М. М. Стасюлевичу, предисловие Тургенева к сделанному им переводу двух повестей Г. Флобера явилось своеобразной рекомендацией их русскому читателю.

Вместе с тем Тургенев изложил в нем свое понимание творчества французского писателя [1].

Замысел предисловия возник у Тургенева в связи с завершением перевода «Легенды о святом Юлиане Милостивом» и с намерением писателя перевести вторую повесть Флобера, «Иродиаду» (см. наст. том, с. 220). 17 февраля (1 марта) 1877 г. Тургенев писал по этому поводу Стасюлевичу: «Мне бы очень хотелось, чтобы обе эти легенды появились в *апрельской* книжке ⟨*BE*⟩ — с небольшим предисловием от моего лица».

Однако предисловие предваряло лишь перевод «Легенды о св. Юлиане Милостивом». Перевод «Иродиады» был опубликован в майской книжке «Вестника Европы».

27 февраля (11 марта) 1877 г. Тургенев отправил Стасюлевичу из Парижа письмо вместе с «небольшим предисловием к флоберовским легендам», датированным февралем 1877 г.

Как перевод повести Флобера, так и предисловие Тургенева вызвали критические отклики. Отрицательная оценка предисловия была высказана в статье Тора (псевдоним В. П. Буренина) «Литературные очерки», напечатанной в «Новом времени» (1877, № 397, 8(20) апреля). По словам Буренина, «краткой запиской» «к какому-то любезнейшему М. М.» Тургенев «сбивает читателей с толку». «При всей великости авторитета Ив. С. Тургенева,— писал критик,— читателям отнюдь не подобает верить ему на слово ⟨. . .⟩, следует, напротив, вместо бессознательного аханья и восхищения ⟨. . .⟩ отнестись несколько скептически к „поэме в прозе“ г. Флобера» (*Н Вр*, 1877, № 397, 8(20) апреля). На выпады Буренина Тургенев ответил письмом в редакцию газеты «Наш век» от 11(23) апреля 1877 г. В ответной статье, направленной против Тургенева, Буренин вновь обратился к его предисловию, обвинив Тургенева в том, что он «поразился разнообразными красотами легенды, „гармонически

---

[1] См.: Мостовская Н. Н. Флобер в оценке Тургенева и Золя на страницах «Вестника Европы».— В кн.: Тургенев и его современники. Л., 1977, с. 154—161.

стройной ее поэзией", не указывая, в чем заключаются эти прелести и эта поэзия» (*Н Вр*, 1877, № 418, 29 апреля (11 мая)).

Стр. 193. *Пусть они взглянут ∽ как на переданную прозой поэму...* — выражение, текстуально совпадающее с некоторыми формулировками чернового автографа незаконченной рецензии Тургенева на русский перевод «Искушения святого Антония» Флобера (1874) (см. наст. изд., т. 11).

...*«love's labour lost»*.— Игра слов: «Love's labour lost» («Бесплодные усилия любви») — заглавие комедии Шекспира.

ЛЕГЕНДА О СВ. ЮЛИАНЕ МИЛОСТИВОМ

(с. 194)

ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА

«Легенда о св. Юлиане Милостивом». Наборная рукопись (беловой автограф). 50 л.; после текста помета: (с французского Г. Флобера перевел Ив. Тургенев). Хранится в *ИРЛИ*, ф. 293, оп. 3, № 132; описание см.: *ПД*, *Описание*, с. 16, № 41.

ВЕ, 1877, № 4, с. 603—628.

Т, *Соч*, *1880*, т. 1, с. 381—412.

Впервые опубликовано: *ВЕ*, 1877. № 4, с подписью: Г. Флобер.

Печатается по тексту *Т*, *Соч*, *1880* с учетом списка опечаток, приложенного к тому 1 названного издания, с устранением явных опечаток, не замеченных Тургеневым, а также со следующими исправлениями по другим источникам текста:

Стр. 194, *строки 1—2:* «Легенда о св. Юлиане Милостивом» вместо «Католическая легенда о Юлиане Милостивом» (по наборной рукописи).

Стр. 195, *строка 12:* «или заставлял» вместо «и заставлял» (по наборной рукописи и *ВЕ*).

Стр. 197, *строка 32:* «скончаньем» вместо «окончаньем» (по наборной рукописи и *ВЕ*).

Стр. 199, *строки 23—24:* «биглей» вместо «битлей» (по наборной рукописи и *ВЕ*).

Стр. 202, *строка 40:* «Наступала ночь» вместо «Наступила ночь» (по наборной рукописи и *ВЕ*).

Стр. 204, *строка 30:* «становятся неясными» вместо «становились неясными» (по наборной рукописи и *ВЕ*).

Стр. 206, *строка 6:* «избавлял королев» вместо «избавлял королей» (по наборной рукописи и *ВЕ*).

В письме к Тургеневу от 3 октября н. ст. 1875 г. Гюстав Флобер сообщил, что он оставляет затянувшуюся и ставшую для него слишком мучительной работу над романом «Бувар и Пекюше» и, «чтобы чем-нибудь заняться», намерен написать «небольшую повесть», легенду, изображенную на одном из витражей Руанского собора (Flaubert, Correspondance. Suppl. 3, p. 212—213). Однако и это сравнительно небольшое произведение потребовало от Флобера огромных усилий (см. его письмо к Тургеневу от 21 октября н. ст. 1875 г.— там же, с. 224): «La légende de Saint-Julien l'Hospitalier»

(«Легенда о святом Юлиане Страннопримце») была завершена лишь около 18 февраля н. ст. 1876 г. (см. там же, с. 238, 243). Вскоре Тургенев ознакомился с повестью, и тогда же, по-видимому, у него возникла мысль сделать ее известной русскому читателю,— мысль, продиктованная преклонением перед творчеством французского писателя и глубокой личной симпатией к нему, а также стремлением оказать ему некоторую материальную поддержку. 9(21) марта 1876 г. Тургенев сообщил о своем намерении М. М. Стасюлевичу: «Я забыл Вам сказать, что Флобер написал иреоригинальную *легенду* („La légende de St-Julien l'Hospitalier". Она мне до того понравилась, что я решился ее перевести (она прекоротенькая: 20 или 25 стран., не более). Я думаю представить Вам ее в „Вестник Европы"; но мы еще об этом переговорим». Стасюлевич ответил не сразу: в памяти у него была еще свежа долгая переписка с Тургеневым в связи с предполагавшейся публикацией в его журнале русского перевода философской драмы Флобера «Искушение святого Антония», от которой ему в конце концов пришлось отказаться из боязни неминуемых цензурных затруднений (об этом см.: Мостовская Н. Н. Тургенев об «Искушении святого Антония».— *Т сб*, вып. 3). Тургенев понял это и в письме от 23 марта (4 апреля) 1876 г., напоминая Стасюлевичу о своем предложении, отметил: «...ее ⟨легенду Флобера⟩ можно прочесть в женском пансионе — так она нравственна!»

Получив согласие Стасюлевича, Тургенев принялся за работу и предполагал выполнить ее в короткий срок: в письме к Стасюлевичу от 8(20) апреля 1876 г. он обещал ему привезти легенду Флобера «самолично»; поездка же его намечалась на май — июнь. Но в Россию Тургенев привез, в лучшем случае, лишь черновые наброски перевода — и в собственное обещание представить повесть в октябрьский выпуск «Вестника Европы» уже тогда едва ли верил, хотя и успокаивал всячески на этот счет Флобера (см. письма к нему Тургенева от 6(18) июня и 22 июня (4 июля) 1876 г.). Всё лето и осень 1876 г. он с необычайной интенсивностью трудился над романом «Новь», возвращаясь к «Святому Юлиану» изредка и ненадолго (письма от 27 июля (8 августа) и 11(23) августа 1876 г.). Так обстояло дело до конца 1876 г. Испытывая чувство неловкости перед Флобером, Тургенев принужден был даже несколько исказить настоящее положение вещей: «„Вестник Европы" уведомил меня, что он не может поместить „Св. Юлиана" с *указанием* моего имени *раньше* моего романа ввиду обещания не печатать ничего мной написанного или подписанного до появления этого сочинения»,— писал он Флоберу 27 октября (8 ноября) 1876 г., а в письме к Стасюлевичу от 30 октября (11 ноября) 1876 г. просил «не выдавать его».

Через два с половиной месяца 13(25) января 1877 г. Тургенев писал Стасюлевичу: «На днях Вы ⟨. . .⟩ получите переведенную мною легенду Флобера. Хорошо бы, если б она успела попасть в мартовскую книжку». Но работа подвигалась медленно, и уже очень скоро Тургенев начал сомневаться в том, что сдержит обещание, хотя Стасюлевич и подтвердил свое намерение «втиснуть» Флобера в мартовскую книжку, даже если перевод придет в самую последнюю минуту (см. письмо Тургенева к нему от 22 января (3 февраля) 1877 г.). 28 января (9 февраля) 1877 г., окончательно убедившись в том, что, несмотря на усиленную работу, он всё же не успеет переписать легенду к намеченному сроку, Тургенев по-

просил оставить для нее место в апрельском номере (см. письмо от 28 января (9 февраля) 1877 г.).

Перевод повести Флобера появился в апрельской книжке «Вестника Европы» под заглавием, предложенным Стасюлевичем, который стремился обезопасить свой журнал от возможных придирок цензуры: «Католическая легенда о Юлиане Милостивом», вместо бывшего в наборной рукописи и вполне соответствующего французскому — «Легенда о св. Юлиане Милостивом». Цензурный вариант заглавия был сохранен и в издании 1880 года. При публикации «Легенды» в журнале она была снабжена предисловием Тургенева в виде письма к М. М. Стасюлевичу. Предисловие это было снято в издании *Т*, *Соч*, *1880* (см. его в наст. т., с. 193).

Долгая работа Тургенева над переводом сравнительно короткого произведения объяснялась параллельной работой писателя над «Новью» и тем, что к стоявшей перед ним задаче Тургенев отнесся с необычайной добросовестностью; он с огромной настойчивостью стремился «передать краски и тон подлинника» (письмо от 18, 21 февраля (2, 5 марта) 1877 г.), иными словами — воссоздать на русском языке так восхитившую его легенду во всем ее художественном своеобразии.

Наиболее ценный материал, относящийся к работе Тургенева над переводом, мог бы дать его черновой автограф, но он до нас не дошел. Однако немалый интерес с этой точки зрения представляет и беловая (она же наборная) рукопись, весьма рельефно отражающая напряженную работу Тургенева на ее заключительном этапе. Переписывая набело в сущности уже совершенно готовый перевод, Тургенев вносит в него все новые и новые поправки. Он устраняет пропуски (в текст вписан ряд слов) и повторения, избавляется от буквализмов, перестраивает фразы и т. д.; иначе говоря, добивается большей стилистической точности, большего соответствия оригиналу (об этом см. подробнее: *Клеман*, с. 136—137).

Эту работу Тургенев не прекратил и после появления легенды в печати. Правда, отчасти этому способствовал критический отзыв о переводе, опубликованный в газете «Новое время» (от 8(20) апреля 1877 г., № 897), автором которого был В. П. Буренин. В целом глубоко несправедливый как по отношению к Флоберу («писать поэмы с таким содержанием и складом в наши дни можно только из праздного аматерства в искусстве», «ненужная, бесполезная и праздная работа»), так и по отношению к Тургеневу, которого, не стесняясь в выражениях, он обвинял в слабом владении русским литературным языком, отзыв Буренина содержал, однако, и несколько справедливых конкретных замечаний, подсказанных ему В. В. Стасовым: речь шла о допущенных Тургеневым галлицизмах [1]. Больно задетый этой чрезвычайно резкой критикой, Тургенев ответил Буренину специальным письмом в редакцию газеты «Наш век» (19 апреля ст. ст. 1877, № 48), в котором заявил о своем отказе «входить» с ним «в препирательство ⟨...⟩ насчет достоинств самого произведения», но с некоторыми его поправками принужден был согласиться. Об этом свидетельствует и окончательный текст перевода *(Т, Соч, 1880)*, где наиболее существенные из отмеченных Бу-

[1] Об этом см.: Каренин В. Владимир Стасов. Очерк его жизни и деятельности. Л., 1927. Ч. 2, с. 579—582. Ср. письмо В. В. Стасова к А. А. Голенищеву-Кутузову от 31 июля ст. ст. 1877 г. (Русская музыкальная газета, 1916, № 42, с. 771).

ренином погрешностей журнального текста устранены (см.: *Клеман*, с. 137).

Вместе с тем. рядом суждений Буренина писатель пренебрег ввиду несогласия с ним, а отнюдь не в силу убежденности, что перевод не нуждается в дальнейшем совершенствовании: при подготовке издания 1880 г. он не только выправил вкравшиеся в журнальный текст и давно им замеченные опечатки, но и внес множество новых исправлений, не желая «оставить ни одного пятнышка» на этой так «старательно отчеканенной» вещи. «Изо всей моей литературной карьеры,— признавался Тургенев Стасюлевичу в письме от 29 марта (10 апреля) 1877 г.,— я ни на что не гляжу с большей гордостью — как на этот перевод. Это был tour de force ⟨чудо мастерства — *франц.*⟩ заставить русский язык схватиться с французским — и не остаться побежденным. Что бы ни сказали читатели — я сам собой доволен и глажу себя по головке».

Действительно, не лишенный погрешностей и просто ошибок, а также отклонений от текста оригинала (об этом см.: *Клеман*, с. 141) [2], тургеневский перевод верно передавал общий дух старинного сказания, чертами которого наделил свою повесть Флобер (см.: Веселовский А. Н. Легенда об Евстратии-Юлиане и сродные с ней. Известия ОРЯС, 1901, т. 6, кн. 2, с. 14—16; Реизов Б. Г. Творчество Флобера. М., 1955, с. 476—479). Ориентируясь на русскую житийную литературу и в то же время на былину, Тургенев с замечательным мастерством, кстати, неоднократно отмечавшимся современниками, а также некоторыми поздними исследователями его творчества [3], «транспонировал» для русского читателя «средневековую» легенду о жестоком человеке, совершившем тяжкое и бессмысленное преступление, раскаявшемся и искупившем свою вину праведной жизнью и служением людям.

ИРОДИАДА

(с. 220)

ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА

Черновой автограф. 40 с. Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 77; описание см.: *Mazon*, p. 89; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 244.

ВЕ, 1877, № 5, с. 258—288.

Т, Соч, *1880*, т. 1, с. 413—450.

Впервые опубликовано: *ВЕ*, 1877, № 5, с подзаголовком: Вторая легенда. Перевел И. С. Тургенев — и подписью: Гюстав Флобер.

---

[2] Поскольку в «Вестнике Европы» «Легенда о св. Юлиане Милостивом» должна была появиться до ее издания на французском языке, Тургенев переводил с рукописной копии, приготовленной для него Флобером. В дальнейшем французский писатель внес в текст ряд изменений, но в русском переводе и даже при его доработке, в связи с переизданием в 1880 г., они никакого отражения не получили (см.: *Клеман*, с. 138).

[3] См.: Pavlovsky I. Souvenirs sur Tourguéneff. Paris, 1877, p. 71—72; Бибиков В. Три портрета. Стендаль. Флобер. Бодлер. СПб., 1890, с. 80; Розенкранц И. Тургенев как переводчик.— Slavia, 1939, Ročn. 16, Seš. 4, s. 596—597.

Печатается по тексту *Т, Соч, 1880* с учетом списка опечаток, приложенного к т. 1 названного издания, с устранением явных опечаток, не замеченных Тургеневым, а также со следующими поправками по другим источникам текста:

Стр. 231, строка 7: «Давида» вместо «Давыда» (по черновому автографу).

Стр. 241, строка 20: «Птолемаиды» вместо «Птоломаиды» (по черновому автографу и *ВЕ*).

Стр. 242, строка 28: «повторяли» вместо «повторили» (по черновому автографу и *ВЕ*).

Завершив «Легенду о св. Юлиане», Флобер погрузился в работу над «Простым сердцем» («Un cœur simple»), второй из трех задуманных им повестей. Через полгода повесть была готова (см.: *Flaubert*, *Correspondance*, s. 7, p. 339), и 17 августа н. ст. 1876 г. он сообщил об этом Тургеневу. В том же письме Флобер просил Тургенева поскорее приехать к нему в Круассе и ознакомиться с произведением, имея при этом в виду и его перевод на русский язык для последующей публикации в «Вестнике Европы» (*Flaubert*, *Correspondance*. Suppl. 3, p. 274).

Тургеневу повесть «Простое сердце» не понравилась, переводить ее сам он не захотел, так как еще не выполнил обещания относительно «Святого Юлиана», и начал подыскивать для нее переводчика, предполагая затем перевод отредактировать и поставить под ним свое имя (см. письмо его к Флоберу от 7(19) декабря 1876 г.).

Так же он собирался поступить и с другой повестью этого цикла — «Иродиада» («Hérodias»), над которой Флобер трудился с августа 1876 г. по февраль 1877 г. (см.: *Flaubert*, *Correspondance*, s. 7, p. 341; Suppl. 3, p. 313). Однако в действительности всё получилось иначе. От публикации «Простого сердца», предвидя цензурные осложнения, Тургенев отказался вовсе (см. письмо к Стасюлевичу от 17 февраля (1 марта) 1877 г.). Что же касается «Иродиады», то повесть эта привела его в восторг, и он решил не только добиться ее появления в «Вестнике Европы», но и взяться за ее перевод. 1(13) февраля 1877 г. он сообщил М. М. Стасюлевичу: «Флобер вернулся на днях из Руана (где у него дом) в Париж — и привез другую легенду — „Иродиаду“, которую он мне прочел — и которая меня поразила как совершенный chef-d'œuvre! Я непременно хочу перевести и ее».

В письме к Стасюлевичу от 17 февраля (1 марта) 1877 г. Тургенев уже извещал его о ходе работы и снова характеризовал повесть — с точки зрения ее возможного восприятия в России: «„Иродиаду“ я начал переводить — и надеюсь доставить Вам ее через 10 дней — положим, две недели (это последний срок!) — т. е. около 8-го марта ⟨. . .⟩ Я уверяю Вас, что это прелесть — хотя, конечно, не во вкусе Буренина и $К^0$».

Первоначально Тургенев надеялся, что оба его перевода будут помещены в апрельской книжке «Вестника Европы», и даже просил об этом Стасюлевича (там же). Однако вскоре он понял, что «Иродиада» «не поспеет к апрельской книжке» и «придется ее тиснуть в майской» (письмо от 27 февраля (11 марта) 1877 г.). 7(19) марта 1877 г. Тургенев сообщил Стасюлевичу, что он непременно получит «Иродиаду» через две недели; 12(24) марта известил его, что «2-я легенда Флобера уже подвигается к концу»; 15(27) марта подтвердил это известие, а две недели спустя повторил его вновь: «„Иро-

диада» (перевод которой представил такие трудности, что, без хвастовства скажу — не знаю, кто бы лучше меня это сделал) переписывается по ночам и приближается к концу». Наконец, 29 марта (10 апреля) 1877 г., уже почти завершив работу, он с уверенностью назвал точный срок ее получения в редакции «Вестника Европы»: «Ослепительную по краскам „Иродиаду" вы получите через 3 дня после 1-го апреля — т. е. 4-го или 5-го числа. Времени для печатания хватит за глаза».

Таким образом, в отличие от перевода «Святого Юлиана», работа над которым растянулась почти на год, перевод «Иродиады» отнял у Тургенева всего около двух месяцев. Это не означает, однако, что Тургенев переводил ее поспешно или менее тщательно. Сохранившийся в Национальной библиотеке (Париж) черновой автограф перевода свидетельствует о большой и подчас весьма мучительной работе. Особенно это касается дескриптивной части произведения, изобилующей историческими и археологическими подробностями,— пространных описаний Махерусской цитадели, ее подземелий и высеченных в скале конюшен, великолепного зала, где происходит пиршество в честь тетрарха, и т. д. В равной мере относится это и к обоим эпизодам, в которых фигурирует Саломея, прежде всего к ее танцу в финальной сцене. Многочисленные и притом неоднократные замены отдельных слов и целых фраз, колеблющаяся орфография имен, вопросы и другие пометы на полях,— всё это характеризует напряженные поиски Тургенева-стилиста.

В то же время речь флоберовских героев давалась русскому писателю со значительно большей легкостью; страницы, где она преобладает, несут на себе сравнительно мало серьезных исправлений и даже помарок, но относится это преимущественно к речи, стилистически почти не окрашенной. В тех же немногих случаях, когда прямой речи в повести Флобера придан ярко выраженный исторический колорит, работа переводчика вновь усложнялась. Так, например, обстояло дело с заклинаниями Иоаканама во второй главе повести, стилизованными под «речи древних пророков». Первоначально Тургенев передал их с большой осторожностью, опасаясь перенасытить русский текст архаизмами (этому принципу он следовал на протяжении всего перевода), но постепенно, пробуя различные — лексические и синтаксические — средства, он все усиливал библейское звучание фрагмента (об этом см. подробнее: З а б о р о в П. Р. Из творческой лаборатории Тургенева-переводчика («Иродиада» Г. Флобера).— В кн.: Тургенев и его современники. Л., 1977, с. 129—135).

В целом свою задачу Тургенев и на этот раз выполнил весьма удачно, хотя ему и здесь не удалось избежать некоторых неточностей и ошибок. Правда, самая грубая из них (перевод слова «fille» как «сын»), которую обычно с укоризной отмечают критики (см.: *Клеман*, с. 148; Ч у к о в с к и й К. И. Высокое искусство. М., 1964, с. 51), вероятно, была вызвана опиской Флобера в изготовленной им для Тургенева копии «Иродиады». Особенностями этой не дошедшей до нас копии объясняются и некоторые другие кажущиеся погрешности перевода (об этом см. подробнее: *Клеман*, с. 139).

Однако, как это было и со «Святым Юлианом», Тургенев в дальнейшем, уже после выхода французского издания в свет (сборник «Trois contes» зарегистрирован в «Bibliographie de la France» 5 мая 1877 г.), не внес в свой перевод соответствующих исправлений, да и вообще подверг его минимальной правке, ограничившись улучшением всего лишь нескольких незначительных деталей. Он был явно удовлетворен результатом своего труда.

СТАТЬИ И РЕЦЕНЗИИ

Литературно-критическая деятельность Тургенева в конце 1850-х — начале 1880-х годов не была столь интенсивной, как в более ранний период его творчества. В 1840-х годах и до середины 1850-х годов Тургенев писал в основном такого рода рецензии, которые фактически являлись статьями. Они имели существенное значение для понимания как литературно-эстетических воззрений самого писателя, так и, в известной степени, позиций «Современника», в котором Тургенев сотрудничал в то время.

Иной, нередко случайный, характер имеют статьи и рецензии, относящиеся к рассматриваемому периоду. Статей в собственном смысле этого слова в конце 1850-х — начале 1880-х годов Тургенев написал всего четыре («Обед в Обществе английского Литературного фонда», 1858; «Пятьдесят недостатков ружейного охотника и пятьдесят недостатков легавой собаки», 1876; ⟨Предисловие к переводам повестей Г. Флобера «Легенда о св. Юлиане Милостивом» и «Иродиада»⟩, 1877; «Alexandre III», 1881).

Статьи, написанные в этот период, обычно очень невелики по размеру, но разнообразны в жанровом отношении. Это — краткие отзывы Тургенева об английских переводах произведений русских писателей (Крылова, Салтыкова-Щедрина, Лермонтова) [1] и о книге немецкого писателя А. Больца, отклик на произведение искусства (о статуе Ивана Грозного М. М. Антокольского), театральная рецензия («Первое представление оперы г-жи Виардо в Веймаре»).

Неоднократно делались попытки доказать принадлежность Тургеневу ряда рецензий, относящихся к 1859 г. и помещенных в «Отечественных записках» с подписью «Т. Л.» (на «Очерки и рассказы И. Т. Кокорева», «Провинциальные воспоминания» И. Селиванова и роман Г. В. Кугушева «Постороннее влияние») [2]. Неубедительность этих атрибуций достаточно обоснована Г. В. Степановой и Н. Н. Мостовской [3].

Имеются свидетельства самого Тургенева, а также его современников о задуманных, но оставшихся неосуществленными литературно-критических произведениях. В частности, из письма Турге-

---

[1] См.: Алексеев М. П. И. С. Тургенев — пропагандист русской литературы на Западе.— В кн.: Труды отдела новой русской литературы, I. М.; Л., 1948, с. 53, 70—71.

[2] См.: Белецкий А. И. Из материалов для изучения И. С. Тургенева *(Центрархив, Документы*, с. 39—41); Розенкранц И. С. И. С. Тургенев. Сочинения, т. 12.— Slavia, 1938, т. 16, № 1, s. 117—118.

[3] См.: О приписываемых Тургеневу статьях 1850-х годов.— *Т сб*, вып. 3, с. 100—106.

нева к Е. М. Феоктистову от 11(23) ноября 1860 г. известно, что писатель обещал в «Русскую речь» (изд. Е. В. Салиас и Е. М. Феоктистова) статью «Русские в Париже», в которой собирался изобразить своих соотечественников «если не с сатирической, то с критической точки зрения». Эта статья, однако, не была написана Тургеневым.

О том, что в журнале «Русское слово» будет опубликована в 1860 г. статья «Кольцов и Бернс»[4], задуманная Тургеневым, извещала редакция этого журнала (см.: *Рус Сл*, 1860, № 3, первая страница обложки). Эту статью Тургенев также не написал. «„Кольцов и Бернс“ — даже не начат»,— сообщал он Е. М. Феоктистову 19(31) июля 1860 г.

На обложке одной из парижских тетрадей Тургенева сделан перечень его работ, который по содержанию может быть датирован 1871 г. В этом списке наряду с художественными значатся и литературно-критические произведения, задуманные Тургеневым, но не написанные им. К их числу относятся следующие (под номерами 3, 4 и 6 в списке): статья о «дроздах», Приметы для Вас⟨ильева⟩[5] и Письмо о «Princesse Georges»[6] (см.: *Bibl Nat*, Slave 86; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 254).

В течение нескольких лет Тургенев собирался обработать в форме статьи свои лекции о Пушкине, прочитанные в Петербурге в 1860 г. Частично эти лекции были использованы писателем в 1862 г. в предисловии к французскому переводу драматических произведений поэта (см. наст. том, с. 333—338; «История русской критики», т. 1, М.; Л., 1958, с. 523), а в 1869 г. в «Воспоминаниях о Белинском» (наст. изд., т. 11). Тем не менее Тургенев не оставлял намерения написать статью о Пушкине, о чем свидетельствует, в частности, его письмо к М. М. Стасюлевичу от 21 января (2 февраля) 1878 г. Замысел этой статьи в какой-то мере был осуществлен в речи Тургенева по поводу открытия памятника Пушкину в Москве в 1880 г. (наст. изд., т. 12). Среди неосуществленных статей Тургенева 1875—1880 гг. три он собирался посвятить французским писателям. О его статье о бр. Гонкурах, предназначавшейся для «Вестника Европы», известно из письма к Э. де Гонкуру от 5(17) мая 1875 г. В другом письме — к М. М. Стасюлевичу от 15(27) июля 1876 г.— Тургенев обещал для того же журнала статью о Жорж Санд. А для «Нового обозрения» предполагал написать статью

---

[4] Характеристику Кольцова и Бернса Тургенев дал впоследствии, 7(19) октября 1866 г., в письме к В. Рольстону. Писатель выразил здесь свое мнение об этих поэтах, которое, очевидно, ранее он предполагал изложить в более развернутом виде в форме статьи.

[5] Обе эти статьи, по-видимому, должны были быть «охотничьего» характера. П. П. Васильев (псевдоним П. Библиограф, 1840 или 1843—1883) — казанский библиограф и краевед, автор работ о Тургеневе. Известны пять писем Тургенева к Васильеву (1869—1881) и два письма Васильева к Тургеневу (1869, 1879), хранящиеся в *Bibl Nat* (фотокопии — в *ИРЛИ*). См. также: В а с и л ь е в М. А. Из переписки казанского литератора П. П. Васильева.— Уч. зап. Казанского гос. пед. ин-та. Историч. ф-т, вып. 4, Казань, 1941, с. 180; *ПД*, *Описание*, № 407, с. 42; *Т*, *ПСС и П*, *Письма*, т. 8, с. 579.

[6] Пьеса А. Дюма-сына (1824—1895), написанная им в 1871 г.

о подписке на памятник Флоберу, о чем писал 1(13) декабря 1880 г. А. И. Урусову, принимавшему деятельное участие в создании этого журнала.

Наконец, в начале 1881 г. Тургенев собирался написать статью-некролог, посвященную Ф. М. Достоевскому и А. Ф. Писемскому (первый из них умер 21 января, второй —23 января). Об этом неосуществленном замысле известно из писем Тургенева к А. Н. Пыпину от 4(16) и 6(18) февраля 1881 г. Еще об одном нереализованном замысле писателя — статье о М. А. Бакунине см.: Окунев Б. Г. Тургенев и литературный сборник «Отклик» (Русская литература, 1968, № 1, с. 186—187).

ОБЕД В ОБЩЕСТВЕ АНГЛИЙСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ФОНДА

(Письмо к автору статьи «О литературном фонде»)

(с. 253)

Впервые опубликовано: *Б-ка Чт*, 1859, № 1, отд. II, с. 81—86, с подписью: Ив. Тургенев.

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, Соч, 1891*, т. 10, с. 232—239.

Автограф неизвестен.

Печатается по тексту первой публикации.

В 1857 г. А. В. Дружинин предложил образовать в России Общество для пособия нуждающимся литераторам и ученым. Свою точку зрения на характер деятельности такого Общества он изложил в статье, напечатанной в «Библиотеке для чтения» (1857, № 11, отд. 3, с. 1—28). Желая заручиться поддержкой широкой публики, Дружинин 10(22) августа 1858 г. обратился к Тургеневу с просьбой рассказать русским читателям о существовавшем уже английском литературном фонде: «На днях читал я где-то, что Вы, в бытность свою в Лондоне, присутствовали на обеде учредителей literary fund ⟨. . .⟩ Не возьметесь ли Вы, в свободный вечер, описать (в виде частного письма, путевой заметки и т. п.) обед, на котором Вы были ⟨. . .⟩ Мне помнится, что прошлый год Вас интересовала мысль *о нашем* литературном фонде. Теперь она начинает осуществляться, и толчок со стороны такого лица, как Вы, еще более подготовит публику к знакомству с вопросом» (*Т и круг Совр*, с. 213—214).

В ответном письме от 25 августа (6 сентября) 1858 г. Тургенев сообщил, что он исполнит просьбу Дружинина. «Я рад содействовать успеху такого доброго дела, каково основание Фонда у нас,— писал он,— и мне еще приятнее было бы, если б Фонд этот основался дружным и бескорыстным участием литераторов, а не по милости какого-нибудь капризного мецената».

Литературный фонд был учрежден в Петербурге в 1859 г. Устав Общества был составлен А. П. Заблоцким-Десятовским и К. Д. Кавелиным. 8(20) ноября 1859 г. Тургенев в числе прочих был избран членом первого комитета Общества, председателем которого стал Ег. П. Ковалевский. На протяжении своей жизни Тургенев восемь раз избирался членом комитета и неизменно принимал участие в литературных чтениях в пользу Общества. Первое лите-

ратурное чтение происходило 10 января ст. ст. 1860 г., в зале Пассажа. Тургенев выступил с речью «Гамлет и Дон-Кихот». Деятельность Дружинина в качестве основателя Литературного фонда охарактеризована Тургеневым в статье «Памяти А. В. Дружинина» (см. наст. изд., т. 12)[1].

С т р. 253. *...обед ∽ на котором я присутствовал...*— Обед этот состоялся 23 апреля ст. ст. 1858 г. в лондонском ресторане «Freemason's Tavern» (см.: *Mérimée*, II, 8, p. 514).

...какой-то джентльмен...— Официальной датой создания Литературного фонда считается 18 мая 1790 г., когда благодаря энергичным действиям Давида Вильямса (им же выдвинута была еще в 1773 г. самая мысль об этом) удалось собрать необходимый капитал для создания фонда. С 1818 года Литературный фонд стал называться Королевским литературным фондом (Royal Literary Fund).

...под председательством лорда Пальмерстона...— Пальмерстон (Palmerston) Генри Джон Темпл (1784—1865) — английский консервативный государственный деятель, премьер-министр с 1855 по 1865 г. (за исключением 1858—1859 гг.).

...г-на Монктона Мильнса...— Монктон Милнс (Milnes) лорд Хаутон (1809—1885) — английский политический деятель и поэт, с которым Тургенев познакомился в 1856 г. во время своего пребывания в Лондоне (см. письмо Тургенева к Милнсу от 28 февраля (12 марта) 1858 г. и примеч. к нему; см. также: П а р т р и д ж М. Новые материалы для изучения круга английских друзей Тургенева.— В кн.: Сравнительное изучение литератур. Л., 1976, с. 441—449).

С т р. 254. *...г-на Ривса...*— Тургенев, очевидно, имеет в виду английского журналиста Генри Рива (Henry Reeve, 1813—1895), который был издателем «Эдинбургского обозрения» с 1855 по 1895 г.

Теккерей (Thackerey) — Уильям Мейкпис (1811—1863), английский романист. Тургенев был представлен Теккерею во время его пребывания в Лондоне в мае 1857 г. (см.: письмо Тургенева к П. В. Анненкову от 27 июня (9 июля) 1857 г.).

Диккенса тоже не было...— О взаимоотношениях Чарлза Диккенса с комитетом Королевского литературного фонда см.: F i e l d i n g K. J. Dickens and the Royal Literary Fund — 1858.— The Rewiew of English Studies, v. 6, N 24, October 1955, p. 383—394.

Комитет возразил ему брошюрой (по-английски: памфлетом) ...— Речь идет о специальной брошюре, вышедшей под названием: Royal Literary Fund. A Summary of Facts, Drown from Records of the Society, and Issued by the Committee in Answer to Allegetions Contained in a Pamphlet entitled «The Case of Reformers of the Literary Fund: Stated by Charles W. Dilke, Charles Dickens and John Forster». Together with a Report of the Proceedings at the last Annual Meeting, March 12, 1858 ⟨Королевский литературный фонд. Материалы, извлеченные из отчетов Общества и изданные Комитетом в ответ на заявления, содержащиеся в памфлете под названием «Дело о реформаторах Литературного фонда. Изложение Чарлза У. Дилка, Чарлза Диккенса и Джона Форстера». Вместе с протоколами последнего годичного собрания, 12 марта 1858⟩.

---

[1] Ср.: Г а е в с к и й В. П. Дружинин как основатель Литературного фонда.— В кн.: XXV лет. Сборник Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым. СПб., 1884, с. 423—434.

...по милости последней войны... — Речь идет о Крымской войне 1853—1856 гг., одним из главных организаторов которой был Пальмерстон, требовавший захвата Севастополя и отторжения ряда областей Российской империи.

Дизраели (Disraeli) — Бенджамин, с 1876 г. лорд Биконсфилд (1804—1881) — английский консервативный государственный деятель и писатель. Тургенев познакомился с ним во время пребывания в Лондоне в мае 1857 г. (см.: письмо Тургенева к П. В. Анненкову от 27 июня (9 июля) 1857 г.).

Стр. 255. *Фан де Вейер* — Сильвен (1802—1874); занимал пост посланника в Лондоне с 1832 до 1867 г.

..наследник громадного именья герцогов Бриджватерских... — На обеде Литературного фонда присутствовал, очевидно, маркиз Стеффорд (Stafford), наследник герцога Бриджватерского.

...за излишнюю угодливость соседнему правительству подать в отставку... — После покушения на жизнь Наполеона III, произведенного в январе 1858 г. итальянцем Орсини, Пальмерстон, будучи премьер-министром, предложил провести в Англии билль о заговорах, угрожавший прежде всего деятелям революционной эмиграции, пользовавшимся в Англии правом убежища. Недовольство, возникшее внутри страны в связи с тем, что в действиях Пальмерстона усмотрели, с одной стороны, сервилизм по отношению к Наполеону III, а с другой — посягательство на демократические свободы, вынудило его уйти в отставку.

...королевы Виктории... — Виктория (1819—1901) была королевой Великобритании с 1837 по 1901 г.

...о принце Альберте... — Альберт (Франц Август Карл Эммануил) (1819—1861) — муж королевы Виктории с 1840 г.

Стр. 256. *...Фокс, Питт и Шеридан...* — Тургенев называет имена английских политических и государственных деятелей, прославившихся ораторским мастерством: *Фокс* (Fox) Чарлз Джеймс (1749—1806); *Питт* (Pitt) Младший, Уильям (1759—1806); *Шеридан* (Sheridan) Ричард Бринсли (1751—1816), автор комедии «Школа злословия» (1777).

Известный геолог Мурчисон... — Родерик Импи Мурчисон (Murchison) (1792—1871), баронет, один из авторов капитального труда по геологии Европейской части России («The Geology of Russia in Europe and the Ural mountains», 1845); во время Крымской войны выступал в защиту России и против войны с ней.

Кризи ∽ *написал небольшую книжку о самых замечательных сражениях, начиная с Марафона.* — Эдвард Шеферд Кризи (1812—1878) — профессор истории Лондонского университета. Книга, которую имеет в виду Тургенев, вышла первым изданием в 1851 г. в Лондоне под названием: «Fifteen Desisive Battles of the World». В районе древнегреческого поселения Марафон 13 сентября 490 г. до н. э. произошло сражение, в котором греческие войска под командованием полководца Мильтиада победили более многочисленную персидскую армию.

Стр. 257. *...пришлось ему отвечать небольшим заученным спичем...* — Проспер Мериме писал по этому поводу 8 мая н. ст. 1858 г.: «Меня пригласили на обед Литературного фонда, под председательством лорда Пальмерстона; в момент, когда нужно было идти, я получил предупреждение, что должен быть готов произнести речь, так как предполагается, что имя мое будет названо в тосте за литературу европейского континента. Я говорил глу-

ности на плохом английском языке в течение доброй четверти часа, перед сборищем трех сотен литераторов или считающих себя таковыми» (*Mérimée*, II, 8, p. 514—515).

...даже щедростью не походил он на Мецената...—Гай Цильний Меценат, римский государственный деятель I в. до н. э., щедрый покровитель поэтов. Так, он спас Вергилия от разорения, а Горацию подарил одно из своих поместий. Имя Мецената стало нарицательным.

Гарпагон — главное действующее лицо комедии Мольера «Скупой» (1668).

ЗАМЕТКА ⟨О СТАТУЕ ИВАНА ГРОЗНОГО М. АНТОКОЛЬСКОГО⟩

(с. 259)

Впервые опубликовано: *СПб Вед*, 1871, 19 февраля, № 50; с подписью: Ив. Тургенев.

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т*, *Соч*, *1891*, т. 10, с. 239—243.

Автограф неизвестен.

Печатается по тексту первой публикации.

Знакомство Тургенева с М. М. Антокольским произошло 14(26) февраля 1871 г. в Петербурге, в мастерской скульптора, только что завершившего в глине скульптуру «Иван Грозный». В тот же день в письме к П. Виардо он восторженно отозвался как о скульптуре, так и о ее создателе.

Об обстоятельствах первой встречи с Тургеневым рассказал и Антокольский в своих записках «Из автобиографии»: «Наконец, дождался великого дня, когда бросил стек и сказал: „Довольно“. В этот день первый, кто пришел в мастерскую, был И. С. Тургенев. Я сейчас узнал его по фотографической карточке, имевшейся у меня в альбоме. „Юпитер!“ — было первое мое впечатление. Его величественная фигура, полная и красивая, его мягкое лицо, окаймленное густыми серебристыми волосами, его добрый взгляд имели что-то необыкновенное; он напоминал дремлющего льва: одним словом, Юпитер. Я глазам своим не верил, что передо мною стоит — нет, вернее, что я стою перед Иваном Сергеевичем Тургеневым. Я боготворил его...» (*Антокольский*, с. 953).

Статья о скульптуре «Иван Грозный» была написана Тургеневым 18 февраля (2 марта) 1871 г. и на следующий день напечатана в «С.-Петербургских ведомостях» (№ 50). Первым по времени откликом на это произведение была статья В. В. Стасова в № 44 «С.-Петербургских ведомостей» от 13 февраля ст. ст. 1871 г. под названием «Новая русская скульптура», где критик назвал скульптуру Антокольского «капитальным художественным произведением», которое, по его мнению, «начинает собою новую эру русской скульптуры».

Начало популярности скульптуры «Иван Грозный» сам автор связывает с появлением в печати откликов на нее Тургенева и Стасова: «...после посещения И. С. Тургенева появилась его сочувственная заметка, возбудившая немало интереса. В. В. Стасов тоже горячо откликнулся. И затем народ хлынул в мою мастерскую»

(см.: *Антокольский*. с. 953). О том же свидетельствует ученик Антокольского И. Я. Гинцбург, который в это время жил вместе со скульптором и помогал ему в работе над его новым произведением — «лепил орнаменты на кресле ⟨Ивана Грозного⟩ по рисункам академика Солнцева» (Гинцбург И. Я. Статуя Ивана Грозного.— Искусство, 1936, № 2, с. 122). Вслед за статьями Тургенева и Стасова в газетах и журналах появился целый ряд отзывов о скульптуре Антокольского. В подписанном «Гамаббит» (псевдоним А. Е. Ландау) «Петербургском письме» была упомянута «Заметка» Тургенева (см.: День, 1871, № 12, 19 марта). Вопросы, поставленные в «Заметке» Тургенева, занимали и корреспондента «С.-Петербургских ведомостей» (1871, № 64, 5(17) марта; см. также № 46 от 15 февраля за тот же год).

Знакомство Тургенева со скульптурой Антокольского послужило началом их многолетней дружбы. Существует немало свидетельств того, что Тургенев высоко ценил творчество Антокольского; одно из них — воспоминания П. А. Кропоткина, который писал: «...когда он ⟨Тургенев⟩ увидал в Антокольском действительно великого художника, он с восторгом говорил о нем. „Я не знаю, встречал ли я в жизни *гениального человека* или нет, но если встретил, то это был Антокольский“,— говорил мне Тургенев» (Кропоткин П. А. Записки революционера. М., 1966, с. 376). О скульптуре «Последний вздох» («Голова Христа на кресте», 1878) Тургенев писал 11(23) февраля 1878 г. М. М. Стасюлевичу: «Это вещь бессмертная». Антокольскому Тургенев заказал надгробный памятник для могилы Н. В. Ханыкова (см. письмо к Антокольскому от 21 июня (3 июля) 1879 г.).

Тургенев, в свою очередь, был для Антокольского высшим авторитетом и первым советчиком в вопросах искусства: с ним скульптор обсуждал вопрос о возможно лучшем размещении своей скульптуры на Всемирной выставке в Париже в 1878 г. (см. письмо от 7(19) апреля 1878 г.); его просил отредактировать различные деловые бумаги и письма (см. письма от 7 или 14(19 или 26) января 1879(?) г.; 7(19) января 1881 г.); к нему обращался с просьбой выбрать наиболее удачный библейский текст к горельефу «Последний вздох» (см. письмо от 7(19) апреля 1878 г.).

Большое значение придавал Антокольский своей работе над бюстом Тургенева. «...первая моя работа в Париже будет бюст Тургенева»,— писал он С. И. Мамонтову 23 сентября 1877 г. (*Антокольский*, с. 330). В процессе работы над бюстом между скульптором и писателем возникали серьезные споры об искусстве (см. письмо от 7 или 14 (19 или 26) января 1879 (?) г.). Их связывало, кроме того, большое общее дело по популяризации русского искусства во Франции: именно Тургенев и Антокольский в 1877 г. явились инициаторами и главными организаторами Общества взаимного вспоможения и благотворительности русских художников в Париже (см.: Кузьмина Л. И. Тургенев и «Русская касса взаимного вспоможения в Париже».— *Т сб*, вып. 3, с. 254—261).

4(16) сентября 1883 г., сообщая в письме к Стасову о смерти Тургенева, Антокольский писал: «Многие потеряли в нем многое, а я больше всех» (*Антокольский*, с. 513).

Стр. 260. *...царь с ног до головы...*— Слова Лира из 6 сцены IV акта трагедии Шекспира «Король Лир» (1608).

...родился в 1842 году...— Неточность: М. М. Антокольский родился 21 октября 1843 г.

Стр. 261. *В 1864 году ∽ получил серебряную медаль.*— За горельеф из дерева «Еврей-портной, вдевающий у окна нитку в иголку» (1864) Антокольский получил малую серебряную медаль от Академии художеств (см.: *Антокольский*, с. XII и 908).

Первым, вполне серьезным ∽ «Христос и Иуда»...— Имеется в виду барельеф «Поцелуй Иуды» (1867), первый экземпляр которого приобрел И. Н. Крамской (см.: *Антокольский*, с. 925).

...он получил заказ ∽ из бронзы.— Александр II, посетив мастерскую Антокольского, заказал скульптуру бронзовый отлив «Ивана Грозного» для Эрмитажа (см.: *Антокольский*, с. XXII).

...фигура Вольтера в Париже ∽ тоже из мрамора.— Статуя Вольтера работы Ж. А. Гудона (1781) известна во многих вариантах: один из них, подаренный скульптором родственникам Вольтера, был передан ими театру Comédie-Française в Париже, другой — отправлен в Россию (хранится в Государственном Эрмитаже в Ленинграде).

HISTORY OF A TOWN. Edited by M. E. Saltykoff

(с. 262)

Впервые опубликовано: The Academy (Лондон), 1871, № 19, March 1, p. 151—152, с подписью: Ivan Tourguéneff. Перепечатано: *Рус Пропилеи*, т. 3, с. 219—222. Первый русский перевод: Книжки Недели, 1897, апрель, с. 8—10 [1].

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т*, *Сочинения*, т. 12, с. 169—172.

Автограф неизвестен.

Печатается по тексту первой публикации.

Отношение Тургенева к М. Е. Салтыкову-Щедрину претерпело значительную эволюцию. В пору издания сатириком «Губернских очерков» (1856—1857) взгляд Тургенева на его творчество был резко отрицательным. «...если г. Щедрин имеет успех,— писал Тургенев 8(20) марта 1857 г. Е. Я. Колбасину,— то, говоря его словами, писать уже не для че. Пусть публика набивает себе брюхо этими пряностями». На следующий день он сообщал П. В. Анненкову свое впечатление от «Губернских очерков»: «А г. Щедрина я решительно читать не могу ⟨. . .⟩ Это грубое глумление, этот топорный юмор, этот вонючий канцелярской кислятиной язык...» (см. также письма к В. П. Боткину от 17 февраля (1 марта) 1857 г. и к Л. Н. Толстому от 25 ноября (7 декабря) 1857 г.).

В 1860-е годы отношение Тургенева к Щедрину постепенно меняется; он признает значение творчества сатирика и пишет в «Воспоминаниях о Белинском» (1869), перечисляя лучших писателей этого времени: «Как бы порадовался он ⟨Белинский⟩ поэтическому дару Л. Н. Толстого, силе Островского, юмору Писемского, сатире Салтыкова, трезвой правде Решетникова!» (наст. изд., т. 11).

---

[1] Другой русский перевод (Н. М. Гутьяра) с цензурными изъятиями: Орловский вестник, 1899, № 115, 1 мая, с. 2; перепечатан: *СПб Вед*, 1899, № 119, 4(16) мая, с. 1.

«История одного города» с первых же ее очерков вызвала восхищение Тургенева. 27 января (8 февраля) 1870 г. он писал Анненкову: «Во втором нумере „Отечественных записок" я уже успел прочесть продолжение „Истории одного города" Салтыкова и хохотал до чихоты. Он нет, нет, да и заденет меня [2]; но это ничего не значит: он прелестен». В письме к И. П. Борисову от 1(13) апреля 1870 г. Тургенев называет «Историю одного города» «преуморительной вещью».

В том же году в письме от 30 ноября (12 декабря) к Салтыкову, который прислал ему «Историю одного города», Тургенев высказал некоторые суждения, получившие в дальнейшем развитие в английской статье: «Душевно благодарю Вас за память обо мне и за великое удовольствие, которое доставила мне Ваша книга: прочел я ее немедленно. Не говоря уже о прочих ее достоинствах, эта книга в своем роде драгоценный исторический материал, который ни одним нашим будущим бытописателем обойденным быть не должен. Под своей резко сатирической, иногда фантастической формой, своим злобным юмором напоминающей лучшие страницы Свифта, „История одного города" представляет самое правдивое воспроизведение одной из коренных сторон российской физиономии...»

В 1870—1880-е гг. Тургеневу были уже вполне ясны масштабы творчества Салтыкова-Щедрина, которому он писал 9(21) апреля 1873 г.: «Вы отмежевали себе в нашей словесности целую область, в которой Вы неоспоримый мастер и первый человек», и 12(24) сентября 1882 г.: «...Вы Салтыков-Щедрин, писатель, которому суждено было провести глубокий след в нашей литературе — вот Вас и ненавидят — и любят, смотря кто». «Как сатирик он не имеет себе равного»,— говорил Тургенев М. М. Ковалевскому о Салтыкове-Щедрине (Минувшие годы, 1908, № 8, с. 14), а в разговоре с С. Н. Кривенко в 1881 г. заметил о сатирике: «Знаете, что мне иногда кажется: что на его плечах вся наша литература теперь лежит» (*Революционеры-семидесятники*, с. 236).

15(27) мая 1879 г. Тургенев прочел на литературно-музыкальном утре в пользу русской колонии в Париже «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» [3], а в 1881 г. явился инициатором издания трех сказок Салтыкова-Щедрина во французском переводе [4].

27 февраля ст. ст. 1871 г., встретясь с Салтыковым-Щедриным в Петербурге на вечере в пользу французов, раненных во франко-прусской войне, Тургенев подарил ему оттиск своей статьи из «The Academy». Этот эпизод настолько запомнился Салтыкову-

---

[2] Е. И. Покусаев считал, что Тургенев обнаружил в главе «Войны за просвещение» обличение той самой «цивилизации», которую он пропагандировал устами Потугина в «Дыме» (Покусаев Е. И. Революционная сатира Салтыкова-Щедрина. М., 1963, с. 55). По мнению А. П. Могилянского, Тургенев нашел в этой главе скрытое пародирование некоторых страниц «Призраков» (см.: *Т, ПСС и П, Письма*, т. 8, с. 498).

[3] См. об этом в воспоминаниях А. Н. Луканиной.— *Сев вестн*, 1887, № 3, с. 64.

[4] Ковалевский М. Воспоминания о И. С. Тургеневе.— Минувшие годы, 1908, № 8, с. 14.

Щедрину, что в конце жизни он рассказывал о нем Л. Ф. Пантелееву [5].

Информация об опубликовании в «The Academy» «небольшой статейки И. С. Тургенева по поводу книги Салтыкова (Щедрина) „История одного города“» появилась в «Русском архиве» (1872, № 3-4, столб. 776—777).

KRILOF AND HIS FABLES. By W. R. S. Ralston Third edition, greatly enlarged

(с. 266)

Впервые опубликовано: The Academy, 1871, № 28, 15 july. p. 345, с подписью: Tourguéneff. Русский перевод: Книжки Недели, 1899, декабрь, с 13—15; *Рус Арх*, 1902, кн. 3, с. 569—570. Перепечатано: *Рус Пропилеи*, т. 3, с. 222—225.

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т. Сочинения*, т. 12, с. 172—173.

Автограф неизвестен.

Печатается по тексту и датируется по времени первой публикации.

Третье издание книги «Krilof and his Fables. By W. R. S. Ralston of the British Museum. Third edition, greatly enlarged» вышло в 1871 г., в Лондоне. Замысел перевода басен Крылова на английский язык возник у Рольстона, по-видимому, в 1868 г., когда он в журнале «Good Words» (1868, № 1, 4,7) опубликовал ряд статей о русском баснописце. В письмах к Рольстону от 26 сентября (8 октября) и 19 ноября (1 декабря) 1868 г. Тургенев горячо одобрил это намерение Рольстона. Ознакомившись с книгой Рольстона, Тургенев дал высокую оценку ей в письме к переводчику от 22 января (3 февраля) 1869 г. и высказал ряд мыслей, позднее развитых им в рецензии: «Я только что с большим вниманием и живейшим интересом прочел любезно присланный Вами том Крылова. Он великолепен и не оставляет желать лучшего — ни в смысле перевода, ни с точки зрения издания... Точные и изящные переводы с русского на английский так редки, что на них необходимо обращать внимание публики». Высокую оценку получил перевод в английской и русской критике [1]. Этот успех обусловил два переиздания книги. Готовясь к 3-му изданию, Рольстон писал Я. К. Гроту: «Я перевел более 50 басен Крылова и надеюсь вскоре предпринять дополненное издание без иллюстраций ⟨. . .⟩, испортивших книгу» (ЛО Архива АН СССР, ф. 137, оп. 3, ед. хр. 793, л. 12).

---

[5] Пантелеев Л. Ф. Воспоминания. М., 1958, с. 451—452.

[1] См.: The Athenaeum, 1869, № 2154, 6 february, p. 203—204; Saturday Review, 1869. 13 february, p. 222—223; Грот Я. К. О новом переводе Крылова.— В кн.: Сборник статей, читанных в Отделении русского языка и словесности императорской Академии наук. СПб., 1869, т. 6, с. 286. См. также: Alexeyev M. P. William Ralston and Russian Writers of the Later Nineteenth Century.— Oxford slavonic papers, 1964, vol. 11, p. 87—88.

Стр. 268. *...у него больше оригинальной выдумки, чем у Лафонтена.*— Лафонтен (1621—1695) — французский баснописец, соединивший в своем басенном творчестве античные образцы с народной традицией.

...добавленные им в этот сборник басни лишь послужили его украшением.— В специальном предисловии к 3-му изданию Рольстон отмечал, что количество переведенных басен в этом издании по сравнению с каждым из предыдущих увеличено на 55. Среди вновь включенных басен были «Лев и Волк», «Обезьяны», «Ягненок», «Крестьянин и лисица», «Крестьянин и змея», «Парнас», «Лебедь, рак и щука».

Коротенькое предисловие ᔕ сделаны добросовестно и даже с любовью.— Помимо «Предисловия к 3-му изданию», переводам предшествовало общее предисловие, в котором Рольстон, давая высокую оценку басен Крылова, останавливается на прозаической форме собственных переводов басен в отличие от формы стихотворной, бытовавшей в Западной Европе. Автор одной из рецензий на перевод Рольстона писал по этому поводу: «Ни один читатель не может не признать, что г. Рольстон поступил мудро, решив передавать в переводе точный смысл оригинала, не жертвуя смыслом басен в угоду ритма и рифм» (The Athenaeum, 1869, № 2154, 6 february, p. 204). До перевода Рольстона были известны прозаические переводы нескольких басен Крылова на английский язык, выполненные Сатерлендом Эдвардсом (см.: Edvards Sutherland. The Russians at home: unpolitical sketches. London, 1861). Текст ряда басен Рольстон сопроводил объяснительными примечаниями исторического и этнографического характера.

Стр. 269. *...Пишущий эти строки ᔕ никогда не собирался поведать миру.*— О встрече с Крыловым Тургенев вспоминает также в очерке «Гоголь», включенном в состав «Литературных и житейских воспоминаний» (см. наст. изд., т. 11).

Мы слышали от очевидца ᔕ продолжал спокойно сидеть под ней.— Этот же факт отмечается как реальный П. А. Плетневым (см.: Плетнев П. А. Жизнь и сочинения И. А. Крылова.— В кн.: Крылов И. Полное собрание сочинений. СПб., 1847, т. 1, с. 71 и в книге «Из жизни русских писателей. Рассказы и анекдоты». СПб., 1882, с. 83).

О КНИГЕ БОЛЬЦА

(с. 270)

Впервые опубликовано: *СПб Вед*, 1871, № 278, 6 октября, с подписью: Ив. Тургенев. Перепечатано: *Рус Пропилеи*, т. 3, с. 226.

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, Сочинения*, т. 12, с. 175.

Автограф неизвестен.

Печатается по тексту первой публикации.

Книга, рецензированная Тургеневым, имела следующее заглавие: Lehrgang der russischen Sprache für Schul-Privat-und Selbstunterricht, von A. Boltz. 4-te Auflage. Berlin, 1871. Автором ее является Аугуст Константин Больц (р. 1819). Свою педагогическую

деятельность он начал в Гамбурге в Торговой школе, затем жил некоторое время в Петербурге, преподавая немецкий язык в военно-учебных заведениях. В 1852 г. Больц вернулся на родину и получил должность преподавателя русского языка в военной школе в Берлине. В том же году первым изданием вышел в свет его учебник русского языка, неоднократно затем переиздававшийся (последнее, пятое издание этого учебника вышло в 1884 г.). Эта книга являлась первым опытом приложения метода Робертсона к изучению русского языка иностранцами. «Д-р Август Больц, преподаватель в одном из кадетских корпусов в Берлине, учит своих соотечественников русскому языку тем же способом, какой издавна употребляется в Париже Робертсоном и у нас многими учителями в отношении к преподаванию английского языка.— отмечалось в газете „С.-Петербургские ведомости" в рецензии на первое издание учебника Больца.— ...учащиеся по методе Робертсона с самого первого урока читают, переводят, учат наизусть выбранный текст, составляют десятки новых фраз, пишут и сочиняют на иностранном языке» (*СПб Вед*, 1853, № 119, 31 мая, с. 489—490). В первом издании учебника Больца за основу упражнений принят был русский текст «Тамани» Лермонтова, в последующих — отрывки из «Повестей Белкина» Пушкина. В книге дается сначала дословный перевод русского текста, потом перевод литературно обработанный; отдельные слова русского текста становятся также материалом для различных грамматических и стилистических экспериментов. Больц много переводил с русского языка. В 1855 г. в Берлине в его переводе вышел второй том «Записок охотника» Тургенева (2-е изд., 1858), значительно уступавший по своим литературным достоинствам переводу первого тома, выполненному А. Видертом.

В переводе Больца вышло также «Слово о полку Игореве», с комментарием и словарем к древнерусскому тексту (Berlin, 1854); при подготовке переиздания этого труда ему оказывал помощь Ф. И. Буслаев, прислав переводчику свою «Историческую хрестоматию» (1861), что, может быть, имел в виду и Тургенев в своей рецензии. Однако это издание не осуществилось. Больцу принадлежит также полный перевод «Героя нашего времени» Лермонтова (1859), стихотворные переводы из Лермонтова, Фета, Майкова, Тютчева (Beiträge zur Völkerkunde aus Wort und Lied, Oppenheim, 1868), ряд критических работ о новой русской литературе, напечатанных в журнале «Magazin für die Literatur des Auslandes» и в 10-м издании «Энциклопедического словаря» Брокгауза (Conversations-Lexikon, 1854) и др. Последние годы своей жизни Больц занят был исключительно изучением новогреческого языка и литературы. См. заметку о нем: W i n k e l zum H. J.— Zeitschrift für slavische Philologie, 1962, Bd. 30, Hf. 1, S. 124—127.

⟨ПЕРЕВОД «ДЕМОНА» НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК⟩

(с. 271)

Впервые опубликовано: *СПб Вед*, 1875, № 208, 8 августа, в отделе «Хроника», с подписью: Ив. Тургенев, с пометой после текста: «Париж. Июль 1875 г.» и редакционной справкой: «Мы получили следующее письмо от И. С. Тургенева о новом переводе „Демона" на английский язык». Перепечатано: *Рус Пропилеи*, т. 3, с. 230.

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т*, *Сочинения*, т. 12, с. 176.
Автограф неизвестен.
Печатается по тексту первой публикации.

Переводчик — Стифен (Stephen) Александр Конди (1850—1908), английский дипломат, в 1877—1878 гг. атташе английского посольства в Петербурге. В письме от 8(20) марта 1877 г. Тургенев рекомендовал его Ю. П. Вревской: «Это очаровательный молодой человек, хорошо знающий русский язык (он опубликовал отличный перевод „Демона" Лермонтова)...» Ранее, в письме от 30 декабря 1871 г. (11 января 1872 г.) Тургенев писал о нем и В. Рольстону.

Перевод «Демона» Стифен посвятил Тургеневу: «Dedicated to Ivan Sergeievitch Tourguéneff, with feelings of affection and esteem ⟨Посвящается Ивану Сергеевичу Тургеневу с чувством приязни и уважения⟩».

Включая в предисловие к переводу «Демона» основные факты биографии Лермонтова, Стифен использовал письма поэта, высказывания Белинского и некоторые мемуарные свидетельства. Однако, несмотря на свое знакомство с лермонтовской литературой, Стифен не избежал отдельных ошибочных утверждений; в частности он писал, что «Демон» был закончен в 1834 г. и опубликован еще при жизни Лермонтова.

Анонимный рецензент перевода Стифена писал, что русские по праву гордятся поэмой «Демон», отличающейся силой и гибкостью языка, красочностью описания кавказской природы, мелодичностью ритмического рисунка. Далее рецензент добавлял: «Мы полагаем, что иностранную поэзию часто бывает лучше переводить прозой, нежели стихами, но Стифен, наверное, найдет много читателей, которые придерживаются противоположной точки зрения» (The Athenaeum, 1875, № 2481, 15 may, p. 652).

В России перевод «Демона» рецензировал А. Н. Пыпин. Ошибочно считая поэму юношеским произведением поэта, критик полагал, что «если б переводчик впоследствии прибавил еще некоторые из более зрелых произведений Лермонтова, то и „Демон" представился бы английской публике в более правильном освещении» (*ВЕ*, 1875, кн. 10, с. 885). Подчеркивая, что английские критики «приняли труд г. Стифена с большим интересом», и ссылаясь на рецензии в «The Athenaeum» и «Saturday Review», Пыпин заметил: «Сколько можем судить по отзывам английских критиков и собственным впечатлениям, передача русской поэмы в английском стихе вообще очень удачна и свежа, что есть большая заслуга, когда речь идет о передаче лермонтовского стиха».

ПЯТЬДЕСЯТ НЕДОСТАТКОВ РУЖЕЙНОГО ОХОТНИКА И ПЯТЬДЕСЯТ НЕДОСТАТКОВ ЛЕГАВОЙ СОБАКИ

(с. 272)

ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА

Черновой автограф, 2 л., без подписи. Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 77, описание см.: *Mazon*, p. 88—89; фотокопия— *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 224.

Беловой автограф. 4 л., без подписи. Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*. Slave 77; описание см.: *Mazon*, р. 88—89; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 224.

Журнал охоты. Орган имп. Общества размножения охотничьих и промысловых животных и правильной охоты, 1876, т. 4, № 6, с. 1—5.

Впервые опубликовано в «Журнале охоты», с подписью: Ив. Тургенев. Перепечатано: *Рус Пропилеи*, т. 3, с. 240—246.

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т*, *Сочинения*, т. 12, с. 176—182.

Печатается по тексту первой публикации с устранением явных опечаток, не замеченных Тургеневым, и с исправлением по беловому автографу на с. 274, строка 44: «Во время жары», вместо «Во время жаров».

Датируется 1876 годом по времени опубликования. В черновом автографе (л. 2) статья имела заголовок «Письмо к редактору». В беловом автографе и в тексте первой публикации он отсутствует. По своему содержанию и тональности статья-очерк «Пятьдесят недостатков...» сближается с такими произведениями Тургенева «охотничьего» характера, как «О соловьях», «Пэгаз», с задуманной в 1871 г. и неосуществленной статьей «О дроздах». На смысловую связь заметки «Пятьдесят недостатков...» с рассказом «Пэгаз» обращал внимание сам Тургенев в письме к издателю В. В. Думнову от 4(16) ноября 1879 г.

Источником для создания заметки о недостатках ружейного охотника и легавой собаки послужил собственный опыт Тургенева, страстного охотника. Возможно писатель учел и «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии» С. Т. Аксакова, в частности, главу «Легавая собака», в которой перечислялись достоинства легавой собаки и советы охотникам для усовершенствования в стрельбе (см.: Аксаков С. Т. Собр. соч. М., 1956, т. 4, с. 160—167). Известно, что Тургенев одним из первых высоко оценил «Записки ружейного охотника» (см. наст. изд., т. 4, с. 500—522).

Печатные отклики на «Пятьдесят недостатков...» были немногочисленны. Анонимный рецензент «Биржевых ведомостей» (1876, № 207, 29 июля) в разделе «Изо дня в день» оценивал статью с точки зрения ее «охотничьего» содержания: «Заметка г. Тургенева показывает в нем знатока охотничьего дела». Газета «Голос» (1876, № 219, 10(22) августа) охарактеризовала ее как «хорошенькую безделку», написанную с юмором и свидетельствующую, что автор — «опытный и наблюдательный охотник».

Тургенев намеревался включить «Пятьдесят недостатков...» в 1 том Сочинений 1880 г. По этому поводу он писал своему издателю В. В. Думнову 1(13) октября 1879 г.: «...статью о „Недостатках“ Вы будьте так любезны (если пожелаете ее поместить) и востребуйте ее от редакции „Журнала охоты“, издающегося в Москве Л. П. Сабанеевым. Статья эта была напечатана в одной из книжек первого полугодия 1876-го года в томе IV-м. ⟨. . .⟩ Если вы поместите статью о „50 недостатках“, пришлите мне также корректуру ее, хотя она и будет набрана с печатного, так как я желаю кое-что прибавить да и в тексте вкрались опечатки». Месяц спустя Тургенев напоминал об этом своем желании в письме к тому же Думнову от 4(16) ноября 1879 г., рекомендуя отвести место заметке «Пятьде-

сят недостатков...» в первом томе, после рассказа «Пэгаз». «Если Вы решаетесь напечатать статью о „50 недостатках“ и т. д.,— писал он своему издателю,— то следует упомянуть об этом в предисловии и прибавить заглавие там, где я поставлю +, после „Пэгаза“». Однако «Пятьдесят недостатков...» в издание Сочинений 1880 г. включены не были.

С т р. 272. «*Аппорт! шерш!*» — от франц.: apporter — приносить, chercher — искать, охотничье приказание принести, искать дичь.

С т р. 275. ...*ей командуют «Пиль!»* — охотничий термин от франц.: piller — хватать, означающий повелительное обращение к собаке, сделавшей стойку.

С т р. 276. *Не «аппелиста»*...— от франц.: appel — зов, призыв. Аналогичный охотничий термин встречается в статье Тургенева о «Записках ружейного охотника Оренбургской губернии» С. Т. Аксакова: «...приучите дома собаку к послушанию, к апелю, к слову: назад!..» (наст. изд., т. 4, с. 512).

С т р. 277. *Когда на сворке*...— Сворка уменьшительное от свора, в данном контексте в значении: ремень, шнур, на котором водят охотничьих собак.

...*охотник скомандовал ей: «Куш!»* — от франц.: coucher — лежать, приказание собаке смирно лежать на месте.

ALEXANDRE III

(с. 278)

Впервые опубликовано: La Revue politique et littéraire, 1881, № 13, 26 марта, с подписью: XXX [1]. В русском переводе впервые (с цензурными изъятиями): *Т сб (Пиксанов)*, с. 5—12 (в статье С. П. Петрашкевич «Тургенев об императоре Александре III (Новооткрытая статья И. С. Тургенева)». Перепечатано: *Рус Пропилеи*, т. 3, с. 261—268. При напечатании были сделаны следующие цензурные изъятия: в главе первой — «Seul de sa race, peut-être ∽ profonde répugnance pour l'inconduite» и «Et il pousse si loin ∽ de concorde et d'affection persévérante»; в главе третьей — «et les grands-ducs ∽ aucune influence d'aucune sorte» [2].

В собрание сочинений статья впервые включена в издании: *Т, Сочинения*, т. 12, с. 182—194.

Автограф неизвестен.

Печатается по тексту первой публикации [3].

---

[1] Статье было предпослано несколько строк от редакции журнала, в которых говорилось о значении, какое имеет статья об Александре III, выражалось сожаление, что автор «не разрешил назвать себя», и утверждалось, что читатель все же «увидит с первого взгляда, что это человек, который глубоко знает нового государя».

[2] «Единственный, пожалуй, из всего своего рода ∽ глубокое отвращение к распущенности» (с. 286, строки 19—22); «И в правилах своей искренности ∽ удивительное по согласию и постоянству привязанности» (с. 286, строки 24—33); «...а великие князья ∽ никакого влияния в каких бы то ни было делах» (с. 291, строки 13—17). Ссылки даны на текст русского перевода статьи.

[3] Русский перевод, выполненный С. П. Петрашкевич, печатается по *Т Сб (Пиксанов)*, с. 12—20.

Об авторстве Тургенева впервые было упомянуто после смерти писателя в той же «La Revue politique et littéraire» (1883, 8 septembre, v. 32, 3-e série, p. 293). Основываясь на этом, В. Жаклар, парижский корреспондент петербургской газеты «Новости» (вышедшей в день похорон Тургенева), в статье «И. С. Тургенев и французская литература» (подписанной буквой «Ж»), упомянул о принадлежности Тургеневу статьи «Александр III» (Новости, 1883, № 177, 27 сентября (9 октября). с. 9). В 1920 году упомянул об этом же М. М. Клевенский в своей статье «Общественно-политические взгляды И. С. Тургенева» (в сб.: Творчество Тургенева. /Под ред. И. Н. Розанова и Ю. М. Соколова. М., 1920, с. 168—194).

О том, что статья «Александр III» принадлежит перу Тургенева, вскоре после ее опубликования узнал П. Л. Лавров. В письме к нему (от 31 марта (12 апреля) 1881 г.) Тургенев писал: «Статья об Александре III-м, действительно, принадлежит мне. Не ожидал, что она наделает столько шуму». Письмо это стало известно спустя несколько лет после смерти Лаврова (Минувшие годы, 1908, № 8, с. 24). Об авторстве Тургенева был осведомлен и С. М. Степняк-Кравчинский, популяризировавший эту статью в своем памфлете «Царь-чурбан, царь-цапля» (Пг., 1921, гл. 2, с. 15).

Статья «Александр III» была не первым обращением Тургенева к новому царю. Несколько раньше, в марте того же 1881 года, Тургенев стал автором адреса, написанного вскоре после принесения присяги новому государю, от имени Общества взаимного вспоможения и благотворительности русских художников в Париже. Адрес этот был связан с известным инцидентом, возникшим после того, как Тургенев пригласил (в феврале 1881 г.) на литературно-музыкальный вечер Общества вспоможения... революционера-эмигранта П. Л. Лаврова. Это едва не привело к закрытию Общества. Чтобы спасти положение и опасаясь за дальнейшую судьбу Общества, художники решили преподнести адрес Александру III и обратились к Тургеневу. Глава русских художников в Париже А. П. Боголюбов вспоминал впоследствии: «...мы попросили Ив. Серг. Тургенева составить нам адрес к новому императору, что он и исполнил в коротких, но весьма прочувствованных словах» (*ГПБ*, ф. 32, ед. хр. 4, л. 58 об. и 68). Тургенев, в частности, писал: «Комитет, который имел счастье видеть в Вашей особе, августейший государь, своего покровителя, дерзает надеяться, что и впредь Ваше величество удостоите наше общество своим высоким вниманием, которое все мы надеемся заслужить» [4].

Однако статья Тургенева «Александр III» в «La Revue politique et littéraire» решительно отличается от верноподданнического адреса Общества вспоможения... и носит иной характер, преследует иные цели. Статья эта написана не по частному вопросу, а является своеобразным политическим обращением писателя к царю в период, когда политика нового царствования еще не определилась и в либеральных кругах была надежда на продолжение того курса реформ, который наметился в конце правления Александра II [5].

---

[4] См.: Кузьмина Л. И. Тургенев и художник Н. Д. Дмитриев-Оренбургский.— *Т сб*, вып. 3, с. 267; Гитлиц Е. А. Тургенев и «Лавровская история».— *Т сб*, вып. 4, с. 270—275.

[5] Подробнее см.: Рабинович М. Б. О статье Тургенева «Alexandre III».— *Т сб*, вып. 4, с. 207—212.

Тургенев проявил большую осведомленность не только в вопросах внутренней и внешней политики (которые всегда его интересовали), но показал, что ему хорошо были знакомы личные, общественные, придворные отношения и даже взгляды, интересы и быт Александра III. Это можно объяснить тем, что Тургенев использовал в статье также широкую устную информацию, какую получил от лиц, достаточно близких к двору и царю. К таким людям принадлежал и давний знакомец писателя князь Н. А. Орлов (1827—1885), тогдашний русский посол во Франции, тесно связанный с армейскими и придворными верхами конца 1870-х — начала 1880-х годов. Сведениями, советами, опытом Н. А. Орлова несомненно пользовался Тургенев (подробнее об этом см.: *Т*, *Сочинения*, т. 12, с. 530).

Кроме того, в Париже в 1879 году произошло и личное знакомство Тургенева с Александром III, когда тот был еще наследником престола. Об этом вспоминали М. М. Ковалевский (Минувшие годы, 1908, кн. VIII, с. 19), Д. Н. Садовников (Русское прошлое, 1923, кн. III, с. 102) и П. Л. Лавров (*Революционеры-семидесятники*, с. 41). М. И. Семевский, со слов А. В. Топорова и И. И. Глазунова, записал рассказ Тургенева об этой встрече (Красная панорама, 1928, № 28, с. 14). Не упоминая имени наследника, Тургенев 7(19) ноября 1879 г. писал Лаврову о встречах «с высокопоставленными лицами». Одно время ставилась под сомнение вероятность личного знакомства Тургенева с Александром III. Так, в примечаниях к статье «Александр III», напечатанных в 12-томном собрании сочинений Тургенева (изданном в 1928—1934 гг.) сказано, что «возможность личного знакомства Тургенева с Александром III не исключена, но мало вероятна» (*Т*, *Сочинения*, т. 12, с. 530). Однако опубликованное в 1940 году письмо Тургенева к П. В. Анненкову (от 27 октября (8 ноября) 1879 г.) положило конец сомнениям. В этом письме Тургенев писал: «Недавно за завтраком у Орлова познакомился с цесаревичем и его женой. Он мне понравился: честное и открытое лицо.— А впрочем...»

В других случаях Тургенев, характеризуя наследника, не ограничивался многозначительным: «А впрочем...», а пользовался более определенными выражениями. Лавров вспоминал, с какой «неподражаемою добродушной иронией говорил он о личностях из царской фамилии, с которыми ему пришлось встречаться в Париже», об их «ограниченности, невежестве и неловкостях» (*Революционеры-семидесятники*, с. 41). «Наследник произвел на него впечатление очень посредственного человека»,— свидетельствовали А. В. Топоров и И. И. Глазунов (Красная панорама, 1928, № 28, с. 14). Таким образом, Тургенев имел довольно ясное представление о характере, кругозоре, взглядах нового царя, но в статье ему пришлось несколько покривить душою, сгладить углы, многое смягчить, чтобы представить Александра III в лучшем для него свете («ум его широк и светел») в тот период, когда новый царь еще, казалось, не избрал пути, по которому пойдет. Потому хорошо известную ограниченность Александра III, шовинистический характер его национализма, Тургенев мягко характеризует в статье как симпатии, которые царь «испытывает к одним нациям», и антипатии, которые «ему приписывали в отношении других», и лишь более определенно говорит о враждебности царя к «русским немцам».

Напряженное положение внутри страны, страх перед революционным движением и личные опасения Александра III за свою

жизнь повлекли за собой колебания в установлении правительственного курса. Характеризуя обстановку того времени, В. И. Ленин писал: «Если говорить не о том, что могло бы быть, а о том, что было, то придется констатировать несомненный факт колебания правительства» (Ленин В. И. Полн собр. соч.. т. 5. с. 43).

В период, когда правительство еще находилось на перепутье, Тургенев стремился содействовать проведению желанных либеральных реформ в духе «либералов-конституционалистов», к числу которых он принадлежал.

О желании Тургенева написать царю, «который недавно вступил на престол и колебался еще, какой политике последовать, указать ему на необходимость дать России конституцию», вспоминал П. А. Кропоткин: «Тургенев говорил мне: „Чувствую, что обязан это сделать"» (Кропоткин П. А. Записки революционера. М., 1966, с. 365)[6].

Надежды Тургенева и тех, кто разделял его взгляды, не оправдались. 29 апреля 1881 г. был опубликован манифест, написанный К. П. Победоносцевым. В нем царь оповещал, что вступает в дела правления «с верою в силу и истину самодержавной власти», которую он призван «утверждать и охранять для блага народного и всяких на нее поползновений». Не оставалось сомнений в реакционном характере будущей политики царя. Последовала отставка деятелей прошлого царствования — М. Т. Лорис-Меликова, А. А. Абазы, Д. А. Милютина — и надолго укрепилось влияние Победоносцева и других реакционеров[7].

Действия Александра III глубоко разочаровали Тургенева. В январе 1882 г. он говорил Лаврову: «Прежде я верил в реформы сверху, но теперь в этом решительно разочаровался: я сам с радостью присоединился бы к движению молодежи, если бы не был так стар и верил в возможность движения снизу» (*Революционеры-семидесятники*, с. 70).

Не все политические прогнозы Тургенева, сделанные им в статье, оправдались. Писатель предугадал общий внешнеполитический курс правительства («царь будет придерживаться политики совершенно мирной»). Известно, что в правление Александра III внешняя политика была осторожной и, кроме незначительного столкновения в Средней Азии, не происходило вооруженных конфликтов, что дало повод придворным историкам именовать впоследствии царя Миротворцем.

Сбылись (к концу царствования) надежды Тургенева на сближение России с Францией. Но не оправдались, например, предположения об улучшении в будущем англо-русских отношений, которые, как известно, в последней четверти XIX века сделались чрезвычайно напряженными.

Хотя в целом статья не достигла поставленных писателем целей, она осталась в его литературном наследии как память о попытке способствовать проведению либеральных реформ в России.

---

[6] Кропоткин ошибочно относил свою встречу с Тургеневым к июлю или осени 1881 года: в действительности она могла произойти в конце марта — начале апреля того же года.

[7] О событиях, последовавших в результате провала программы либеральных реформ, предложенных группой Лорис-Меликова, Милютина и Абазы. см. в кн.: Зайончковский П. А. Кризис самодержавия на рубеже 1870—1880 гг., М., 1964.

С т р. 278. *...он в расцвете сил...*— В момент вступления на престол Александру III было 36 лет.

С т р. 279. *Став наследником престола после смерти своего брата...*— Наследником престола Александр стал после смерти (12 апреля 1865 г.) своего старшего брата Николая (род. в 1843 г.).

...в жены невесту своего покойного брата, он не скрыл, что любит ∞ княжну М.... которая впоследствии становится женой знаменитого богача г. Д...— 28 октября (9 ноября) 1866 г. Александр женился на дочери датского короля Христиана IX принцессе Луизе Софии Фредерике Дагмаре, принявшей имя Марии Федоровны (1847—1928); *княжна М...*— фрейлина Мария Элимовна Мещерская, о которой сам Александр упоминает в своем дневнике (под прозрачными инициалами «М. Э.»). В 1867 г. княжна Мещерская вышла замуж за Павла Павловича Демидова — с 1872 г. князя Сан-Донато (1839—1885), и 26 июня 1868 г. умерла от родов.

...в его жилах течет едва несколько капель русской крови...— Последней русской по крови царицей была дочь Петра I Елизавета Петровна (1741—1761), после смерти которой российский престол занимали иноземцы (голштинец Петр III, немка Екатерина II и их потомки).

Уверяют, что Францию он любит больше всех других наций.— Французские симпатии Александра III проявились еще в бытность его наследником. В отличие от Александра II, во время франко-прусской войны 1870—1871 гг. он сочувственно относился не к немцам, а к французам (см.: Вопросы истории, 1966, № 8, с. 131).

С т р. 280. *...отвращение к императору Наполеону...*— к Наполеону III (1808—1873); с 1852 по 1870 гг. императору французов.

...когда наступила Коммуна...— Об отношении Тургенева к возникновению во Франции диктатуры пролетариата — Парижской коммуны (18 марта — 26 мая 1871 г.) см. его письма этой поры (*Т, ПСС и П, Письма*, т. IX).

Он основал в Москве большой национальный музей.— В 1872 г., по инициативе И. Е. Забелина, А. С. Уварова и других историков, положено было начало организации Исторического музея Александра III. Здание музея (на Красной площади) строилось в 1875—1881 гг. Первые десять его залов открыты 27 мая 1883 г.

...о крестьянах думал он ∞ в момент издания своего первого указа, напоминая о том, что впервые поселяне, ставшие свободными, призваны принести присягу.— Первый указ «О приведении крестьян к присяге» был дан Сенату 1 марта 1881 г. (Собр. узак. 1881 г., 2 марта, с. 132). Указ этот был продиктован не «любовью» к крестьянам, освобожденным от крепостной зависимости, а заботой об укреплении положения нового царя.

...уже поговаривали о конституции...— В последние недели царствования Александра II министр внутренних дел граф М. Т. Лорис-Меликов разработал проект довольно широких государственных преобразований, носивших объективно буржуазный характер (Тургенев перечисляет в статье эти проекты). К участию в дальнейшей разработке проекта предполагалось привлечь представителей цензовой общественности. Это и была так называемая «лорис-меликовская конституция», которая в урезанном виде получила предварительное одобрение. Утром 1 марта 1881 г. Александр II передал проект Лорис-Меликова для рассмотрения на ближайшем заседании Совета министров. Смерть царя приостановила дальнейшее движение проекта, окончательно отвергнутого Алек-

сандром III 8(20) марта 1881 г. См.: Г о т ь е Ю. В. Борьба правительственных группировок и манифест 29 апреля 1881 г. (Исторические записки, 1938, № 2, с. 240—299).

...он все более будет удаляться от Германии.— Действительно, в результате экономических и политических противоречий, в 1880-х годах происходило постепенное ухудшение русско-германских отношений и сближение с Францией, завершившееся созданием франко-русского союза (1891—1894 гг.).

С т р. 281. *Его весьма близкие отношения с ультра-национальной партией...*— Наиболее близкие в то время Александру III люди принадлежали к крайним реакционерам. Это обер-прокурор святейшего синода К. П. Победоносцев, бывший министр народного просвещения граф Д. А. Толстой, редактор «Московских ведомостей» М. Н. Катков, редактор еженедельника «Гражданин» князь В. П. Мещерский. Особенно значительной была роль Победоносцева (см.: З а й о н ч к о в с к и й П. А. Александр III и его окружение.— Вопросы истории, 1966, № 8, с. 136—138).

Совокупность этих реформ ∽ они ∽ совершенно неотложны, и возможно, что будут приведены в исполнение ранее конца этого года.— Надежды Тургенева не оправдались, и манифестом 29 апреля 1881 г. был определен твердый реакционный курс, постепенно усиливавшийся. Из реформ, перечисленных в статье, в первой половине 1880-х гг. под влиянием экономического развития и революционной ситуации правительство Александра III провело лишь отмену подушной подати, введение обязательного выкупа и понижение выкупных платежей.

С т р. 282. *...Скандальное расхищение удельных земель...*— Удельные земли — земли, выделенные по указу 1777 г. («Учреждение об императорской фамилии») вместе с живущими на них крестьянами в собственность царской семьи. Распоряжалось ими с 1797 г. Удельное ведомство и департамент уделов (с 1892 г.— Управление уделов). В результате сенаторской ревизии 1880—1881 гг. установлены были многочисленные хищения представителями высшей администрации части этих земельных угодий на территории Оренбургского генерал-губернаторства.

...большую свободу старообрядцам...— Старообрядцы (староверы) — приверженцы церковных обрядов, существовавших в России до реформ, проведенных в XVII веке патриархом Никоном. Поскольку староверы (старообрядцы) выступали против официальной церкви, они всегда преследовались царским правительством. Надежды, выражавшиеся Тургеневым, на улучшение правового положения старообрядцев частично оправдались. 25 декабря 1882 г. в Государственном совете рассмотрено было представление министра внутренних дел гр. Д. А. Толстого «О даровании раскольникам некоторых общегражданских прав и прав на отправление ими духовных требований». 3 мая 1883 г. это представление было утверждено царем (Полн. собр. законов: третье собрание, т. 3, № 1545). Но преследования противников официальной церкви (в том числе и старообрядцев) продолжались; они были связаны с деятельностью К. П. Победоносцева, занимавшего (с 1880 по 1905 гг.) пост обер-прокурора святейшего синода и не признававшего никакого религиозного инакомыслия.

Собранию такого рода было, например, предложено высказать свое мнение об освобождении крепостных крестьян.— Тургенев имеет в виду заседания Главного комитета по крестьянскому делу,

на которые в октябре 1859 г. и в феврале 1860 г. были вызваны «для словесных объяснений» депутаты губернских комитетов, чтобы высказать свои соображения и пожелания относительно проекта Положения о крестьянах.

Много говорят о предупредительных мерах, которые он может принять против нигилистов, и о репрессиях, которым он их подвергнет.— После 1 марта 1881 г. продолжались аресты лиц, подозреваемых в причастности к убийству Александра II, и были приняты меры по усилению охраны нового царя. Страх Александра III перед революционерами был так велик, что он 27 марта 1881 г. тайно переехал в Гатчину, где, окруженный усиленной охраной, чувствовал себя безопаснее. «В Гатчине.— записал в своем дневнике Д. А. Милютин.— поражает приезжего вид дворца и парка, оцепленного несколькими рядами часовых, с добавлением привезенных из Петербурга полицейских чинов, конных разъездов, секретных агентов и проч. и проч. Дворец представляет вид тюрьмы» (Дневник Д. А. Милютина. М., 1950, Т. 4, с. 51). Искоренение крамолы продолжалось и после назначения министром внутренних дел графа Н. П. Игнатьева (май 1881 г.). 14 августа 1881 г. утверждено было «Положение о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия», свидетельствовавшее о дальнейшем усилении правительственных репрессий.

С т р. 283. *...царь будет придерживаться политики совершенно мирной...*— Первые внешнеполитические шаги правительства Александра III это подтвердили. Так, 4(16) марта 1881 г. всем русским дипломатическим представителям была разослана циркулярная депеша, в которой говорилось, что «государь император посвятит себя прежде всего делу внутреннего государственного развития», что Россия «достигла своего естественного развития; ей нечего желать, нечего домогаться от кого бы то ни было: ей остается только упрочивать свое положение, сохранять себя от внешней опасности и развивать внутренние силы». Вероятно, русский посол в Париже Н. А. Орлов ознакомил Тургенева с этой депешей.

...сохранить добрые связи с Германией...— Правительство Александра III пыталось добиться урегулирования отношений с Германией и Австро-Венгрией, с целью создать противовес Англии и оплот против революционного движения. Начатые еще при Александре II переговоры завершились 18 июня 1881 г. подписанием австро-русско-германского договора, известного (по аналогии с договором 1872 г.) как «Союз трех императоров». Связи с Австро-Венгрией и Германией не стали такими тесными, как мечтали прогерманские политики, однако договор сыграл положительную роль в годы, когда — после Берлинского конгресса — европейская конъюнктура сложилась неблагоприятно для России.

Франция может рассчитывать ∽ на более ярко выраженную симпатию...— См. примеч. 4 к с. 279. Тесное сближение с Францией осуществилось лишь в конце царствования Александра III, когда был заключен франко-русский союз (1891—1894 гг.).

...с так называемым тройственным союзом покончено ∽ Ему не суждено более возродиться.— Тройственный союз (Германия, Австро-Венгрия, Италия) оформился год спустя. По-видимому, Тургенев неточно именует тройственным союзом «Союз трех императоров» (русского, германского и австрийского), созданный в 1872 г. Надежда Тургенева не оправдалась: «Союз трех императоров» был возобновлен в 1881 г. и просуществовал до 1887 г.

...отношения России с Англией примут почти наверное характер большей сердечности... — Этот прогноз не оправдался. Англо-русские противоречия продолжали расти, и особенно в Средней Азии. В марте 1885 г. в районе Кушки произошло вооруженное столкновение русского отряда с афганским, руководимым английскими офицерами. Инцидент едва не привел к войне. Соглашение 1887 г., определившее русско-афганскую границу, не улучшило отношений с Британией, остававшихся до 1907 г. враждебными.

...дружбе, которая соединяет его с принцем Уэльским. — Сын королевы Виктории и наследник английского трона (принц Уэльский) — Эдуард (1841—1910), с 1901 г. король Эдуард VII, был родственником Александра III: они были женаты на сестрах — дочерях датского короля Христиана IX. Связи Эдуарда с русским двором укрепились после посещения им в 1866 и 1874 гг. России.

...только одно лицо, советы которого всегда будут выслушаны ∾ это господин Победоносцев. — Константин Петрович Победоносцев (1827—1907) — автор известного манифеста 29 апреля 1881 г. об укреплении самодержавия, вдохновлявший реакционную политику Александра III, его ближайший советник и наставник. В конце 1880-х гг. влияние Победоносцева несколько уменьшилось.

В последний год царствования Александра II новый император очень сблизился с графом Лорис-Меликовым и графом Милютиным, высокие достоинства которых он оценил. Можно думать, что эти два лица сохранят свои посты. — В первые недели правления Александра III М. Т. Лорис-Меликов и члены либеральной группировки в правительстве (к ней принадлежал и военный министр Д. А. Милютин) оставались на своих местах и казались весьма влиятельными. Это впечатление укрепилось после заседания Совета министров (8 марта 1881 г.), на котором большинство выступавших высказалось за конституционные проекты Лорис-Меликова. Однако царь склонялся к мнению Победоносцева, настойчиво убеждавшего принять твердый курс и отстранить Лорис-Меликова. После опубликования манифеста 29 апреля 1881 г. произошли немедленные изменения в правительстве: 29 апреля подал в отставку Лорис-Меликов, 30 апреля — Абаза, а 12 мая — Милютин.

Великий князь Владимир ∾ займет в начинающемся царствовании могущественное положение... — Брат царя, вел. кн. Владимир Александрович (1847—1909) с 17 августа 1880 г. командовал гвардейским корпусом, а с воцарением Александра III назначен был командующим войсками гвардии и Петербургского военного округа. Характеристику его как человека «умного, сердечного, более других образованного», но «склонного к лени, рассеянности и обжорству», а потому и не оказавшего никакого влияния на политику Александра III, см. в «Дневнике государственного секретаря А. А. Половцева», т. 1 и 2 (ред. и комментарии П. А. Зайончковского), М., 1966 (по указателю).

Стр. 285. *...в первом своем манифесте Александр III говорит о тяжелой задаче...* — Речь идет о манифесте 1 марта 1881 г. «О восшествии его императорского величества государя императора Александра Александровича на прародительский престол всероссийския империи и нераздельные с ним престолы Царства Польского и Великого княжества Финляндского» (Собр. узак. 1881, 1 марта, с. 131). Тургенев имеет в виду слова манифеста: «Подъемлем тяжкое бремя, богом на нас возложенное».

ПЕРВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОПЕРЫ Г-ЖИ ВИАРДО В ВЕЙМАРЕ

(с. 293)

Впервые опубликовано: *СПб Вед*, 1869, № 110, 23 апреля (5 мая), с. 1—2, с подписью: И. Тургенев и пометой после текста: Баден-Баден, 11-го (23-го) апреля. Перепечатано: *Рус Пропилеи*, т. 3, с. 176—185.

Автограф на русском языке неизвестен.

Французский автограф (3 л.) хранится в частном собрании г-жи Боннье де ля Шапель (Севр); фотокопия: *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 309.

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т*, *Сочинения*, т. 12, с. 333—342.

Печатается по тексту первой публикации с исправлением на *с. 299, строка 11*: «гидроцефала» вместо «дидроцефала».

8 и 11 апреля н. ст. 1869 г. в Веймаре впервые была поставлена оперетта «Последний колдун» («Der letzte Zauberer») — слова Тургенева, музыка П. Виардо[1]. Воодушевленный успехом оперетты, Тургенев поделился своими впечатлениями от ее постановки в статье, облеченной в форму письма к П. В. Анненкову.

При публикации этого «письма» Анненков сопроводил его особым «примечанием» с целью ускорить постановку оперетты в России: «М. г.,— писал Анненков.— Посылаю письмо И. С. Тургенева для напечатания в нашей газете. Несмотря на его интимный, домашний, так сказать, характер, мне кажется, что оно не будет лишено интереса и для публики как первое известие о музыкальной новости, получившей восторженное одобрение Листа и других знатоков дела и любопытной по именам авторов, участвовавших в ее создании. Опера г-жи Виардо на текст И. С. Тургенева обойдет, вероятно, множество европейских сцен, и желательно было бы, чтобы она не миновала и русской, хотя бы для того, чтобы убедить публику в возможности соединить глубокое творчество, свежее вдохновение, поэзию и грацию в произведении без всяких претензий, без колоссальных сложных замыслов, без громадных требований от постановки и певцов и без многого прочего. Кстати будет заметить также, что это первая опера, написанная женщиной и публично исполненная в Германии»[2].

Осуществить постановку «Последнего колдуна» в России и на русском языке, на что надеялся Тургенев, не удалось (см. письмо к П. Виардо от 18 февраля (2 марта) 1871 г.).

1(13) апреля 1869 г., в день приезда из Веймара в Карлсруэ, Тургенев сообщил Ж. Этцелю: «...оперетта г-жи Виардо очень понравилась и вовсе не оказалась слишком маленькой для настоящего театра: я расскажу Вам об этом подробно в письме, которое Вы получите через 4—5 дней». Очевидно, Тургенев тогда же решил перевести задуманную статью на французский язык для публикации ее в какой-либо парижской газете с помощью Этцеля. 14(26) ап-

---

[1] См.: Розанов А. С. Полина Виардо-Гарсиа. 2-е изд., доп. Л., 1973, с. 128.

[2] За это «примечание» Тургенев поблагодарил Анненкова в письме от 27 апреля (9 мая) 1869 г.

реля он уже выслал Этцелю перевод статьи с просьбой поместить «где-нибудь без промедления». Этцель предложил статью в «Journal des Débats», но она была отклонена редакцией газеты как слишком длинная и несколько суховатая. Попросив Этцеля вернуть ему рукопись, Тургенев 28 апреля (10 мая) обещал сократить ее наполовину (особенно пересказ либретто) и добавить в статью «немного перцу и соли». Сокращенная, с некоторыми изменениями и исправлением даты на 20 мая н. ст., статья была вновь послана Этцелю 8(20) мая, но опять не была одобрена. Французский перевод напечатан не был (рукопись осталась среди бумаг Ж. Этцеля).

Первоначально французский автограф был датирован 25 апреля н. ст. 1869 г. Затем Тургенев исправил дату на 20 мая н. ст. Французский текст представляет собой перевод русского оригинала с незначительными изменениями, сокращениями и добавлениями. Вычеркнув в общей сложности три с половиной страницы, Тургенев содержание исключенного текста кратко резюмировал в нескольких фразах, вписанных на полях и между строк. Текст на обороте последнего листа он обвел рамкой и на полях сделал примечание: «NB. Это можно выбросить, если хотят».

Стр. 293. *...вернувшись оттуда в мое баденское гнездышко.*— В Баден Тургенев вернулся около 8(20) апреля 1869 г.

«Последний колдун» — вторая из трех опереток, уже написанных ею.— Кроме «Le dernier sorcier» («Последнего колдуна»), П. Виардо написала оперетты «Trop de femmes» («Слишком много жен») и «L'Ogre» («Людоед»). Текст «Последнего колдуна» см.: *Лит Насл*, т. 73, кн. 1, с. 177—207.

...подобие театра ∽ *первоклассные музыкальные авторитеты...*— О постановке оперетт П. Виардо в баденском доме Тургенева см. Швирц Г. Представление оперетты «Последний колдун».— *Лит Насл*, т. 73, кн. 1, с. 208—210. Среди слушателей оперетт Г. Швирц называет И. Брамса, Ф. Листа, К. Шуман (см. там же, с. 208—212). Тургенев в письме к В. П. Боткину от 24 сентября (6 октября) 1867 г. упоминает, кроме вышеперечисленных, К. Леви, Я. Розенгайна, А. Г. Рубинштейна.

Особенно горячо принялся за это дело находившийся тогда в Веймаре Лист.— Тургенев сообщал об интересе Ф. Листа к оперетте «Последний колдун» и о помощи в ее постановке в письмах к Ж. Этцелю 8(20) февраля, Л. Пичу 12(24) февраля, В. П. Боткину 18 февраля (2 марта), Н. А. Милютину 27 февраля (11 марта).

...Лассен Эдуард (1830—1904), немецкий композитор и дирижер, с 1861 г.— веймарский придворный капельмейстер.

Музыкальный критик и литератор Рихард Поль...— Поль Рихард (1826—1896) — немецкий поэт, композитор, музыкальный критик. Три его стихотворения («Загубленная жизнь», «Лесная тишь», «Ожидание») переведены на русский язык Тургеневым и положены на музыку Полиной Виардо (см. наст. изд., т. 12).

Стр. 294. *...посольство от подвластных ему кохинхинских духов...*— Намек на Наполеона III, карикатурой на которого во многом является образ колдуна Кракамиша. В 1866—1867 годах французские колониальные войска захватили область Кохинхина в Индокитае. См. об этом подробнее: *Лит Насл*, т. 73, кн. 1, с. 212.

...с веткой травы Моли́, уже известной грекам и упомянутой в Одиссее.— Моли — сказочная волшебная трава, вроде разрыв-травы в русских сказках. Она упоминается в десятой песне «Одис-

сеи»: Эрмий (Гермес) вручает эту траву Одиссею, чтобы он с ее помощью противостоял чарам Цирцеи.

Стр. 296. *Кракамиш произносит нечто вроде тронной речи ∽ о своем желании сохранить мир и т. д.*— Намек на Наполеона III не мог не понравиться прусскому королю Вильгельму. Вероятно, имеется в виду представление «Последнего колдуна» на любительской сцене в его доме, где присутствовал и сам король. Об этом Тургенев писал 7(19) октября 1867 г. Анненкову.

...мага «Мерлина».— Мерлин — герой средневековой сказочной литературы, волшебник при дворе короля Артура.

Стр. 298. *...мне, как заклятому гётеанцу.*— Об отношении Тургенева к Гёте см.: Rosenkranz E. Turgenev und Goethe — Germanoslavica, Jhr. 2, 1932—1933, Hf. 1, S. 76—90; Жирмунский В. М. Гёте в русской литературе. Л., 1982, с. 276—284; Schütz K. Das Goethebild Turgeniews. Sprache und Dichtung. Hf. 75, Bern — Stuttgart, 1952, S. 155; Гутман Д. С. Тургенев и Гёте.— Уч. зап. Елабужского пед. ин-та, 1959, № 5, с. 149—183.

Стр. 299. *... где жила г-жа Штейн.*— Шарлотта фон Штейн (1742—1827) — подруга Гёте, оказавшая благотворное влияние на его творчество. Тургенев упоминает о ней в письмах 1874 г.

...великий герцог Карл Август.— Великий герцог саксенвеймар-эйзенахский Карл Август (1757—1828), друг Гёте.

...двойная статуя, воздвигнутая Ритчелем...— Памятник Шиллеру и Гёте, воздвигнутый в 1857 г. на Театральной площади в Веймаре, работы скульптора Э. Ритчеля (1804—1861).

...статуя бедного Виланда...— Кристоф Мартин Виланд (1733—1813) — немецкий писатель, автор многочисленных произведений, в том числе романтической поэмы «Оберон»; поселился в Веймаре в 1772 г. На площади Виланда в Веймаре ему был воздвигнут памятник работы скульптора Г. Гассера (1817—1868).

...с головою гидроцефала...— Гидроцефал — человек, больной головной водянкой (гидроцефалией).

...и нет следа той вялой искусственности ∽ пригляделись в Карлсруэ.— Ср. отрицательный отзыв Тургенева о театре в Карлсруэ в «Вешних водах», гл. 39 (наст. изд., т. 8, с. 361).

...баритон, игравший роль Кракамиша...— Роль Кракамиша исполнял артист Мильде. Об исполнителях ролей в «Последнем колдуне» см.: *Лит Насл*, т. 73, кн. 1, с. 213.

Стр. 300. *...в числе их находится и сын Серве, виолончелист, восемнадцатилетний юноша, обещающий идти по стопам отца...*— Бельгийский виолончелист А.-Ф. Серве (1807—1866) с успехом концертировал в Европе, в основном в Париже и Лондоне. В 1839, 1841, 1843 и в середине 1860-х годов он приезжал в Россию. В последние годы его сопровождал старший сын Жозеф, виолончелист.

Стр. 301. *...известного певца Дюпре...*— Речь идет о Ж.-Л. Дюпре (1806—1896), певце парижской Большой оперы, авторе нескольких опер и ряда других музыкальных произведений.

...русских романсов, написанных г-жою Виардо...— «Пять стихотворений Лермонтова и Тургенева, положенные на музыку Полиною Виардо-Гарсиа». СПб., изд. А. Иогансена, 1868.

Стр. 302. *...очень милая одноактная опера самого капельмейстера Лассена...*— Одновременно с «Последним колдуном» была поставлена одноактная опера «Der Gefangene» («Пленник») Э. Кормона, в переводе П. Корнелиуса, музыка Э. Лассена (см.: *Лит Насл*, т. 73, кн. 1, с. 212—213).

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ

Письмо первое

(с. 303)

Черновой автограф. 5 л. Помета в конце текста: «Рим, 19/31 дек. 57» и подпись: «И. Т.» Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 88; описание см.: *Mazon*, p. 59; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 203.

Беловой автограф, 3 л. Помета в конце текста: «Рим, 19/31 декабря 1857», подпись: «Ив. Тургенев». Хранится в *ГБЛ*, ф. 306, карт. 2, № 26.

Впервые опубликовано: Атеней, 1858, № 6, с. 373—377.

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т*, *Сочинения*, т. 12, с. 324—328.

Печатается по тексту первой публикации.

Во второй половине 1856 г. и в 1857 г. Тургенев совершил длительное путешествие по Западной Европе, завязав ряд знакомств с французскими и английскими общественными и литературными деятелями. Это обстоятельство навело П. В. Анненкова на мысль попросить его поделиться своими заграничными впечатлениями с русскими читателями. Воспользовавшись тем, что Е. Ф. Корш, порвав с «Русским вестником», основал журнал «Атеней», Анненков писал Тургеневу 15(27) октября 1857 г.: «Мне кажется, вы должны будете написать статью для нового журнала Корша: „Атеней“ (выходит с генваря) и именно статью о ваших парижских и английских знакомствах. Простите ли вы меня, что я ее от вашего имени обещал Коршу?» (*Труды ГБЛ*, вып. 3, с. 70). 31 октября (12 ноября) 1857 г. Тургенев писал в ответ: «Постараюсь исполнить ваше желание и напишу для Корша письмо, то есть — два или три письма, не знаю, будет ли интересно». Закончив повесть «Ася», Тургенев принялся за первое письмо «Из-за границы», но работа шла с затруднениями и, видимо, не удовлетворяла писателя. «...я сел за письмо Коршу,— писал он Анненкову 1 (13) декабря 1857 г.,— которое оказывается затруднительнее, чем я предполагал. Впрочем, непременно одолею все затруднения— и дней через 5 или 6 надеюсь выслать это письмо на ваше имя». Работа над «письмом» длилась, однако, не 5—6 дней, а более полумесяца: в черновом и беловом автографах окончание письма датировано 19(31) декабря 1857 г.

Получив рукопись первого письма «Из-за границы», Анненков 8(20) января 1858 г. писал Тургеневу: «Программка писем, вами приложенная, до чрезвычайности любопытна: писать за границей о заграничных русских — мысль счастливейшая. Тут и Европа и Москва рядком идут, и я только желал бы, чтоб вы бросили в крапиву всякую осторожность и поверку самого себя. Говорите, как вы уже начали, что только на ум взойдет — и кроме ума тут ничего другого быть не может: всякая отсечка при этом лишает дерево

или свежей тени, или прута, чтоб шалуну пригрозить» (*Труды ГБЛ*, вып. 3, с. 76). Письмо Тургенева и приложенная к нему программа не сохранились. Но Анненков не замедлил отправить полученные материалы Коршу, который 19(31) января 1858 г. отвечал ему: «Вы 〈. . .〉 обрадовали меня присылкою письма Тургенева и обещанием дальнейших» (*ИРЛИ*. ф. 7, № 57, л. 19). О том, что он еще «не переписал совсем конченные два письма (№ 2 и 3) для Корша». Тургенев сообщил Анненкову в тот же день, т. е. 19(31) января 1858 г. Однако сохранившиеся рукописные материалы заставляют предположить, что работа Тургенева не пошла далее начала второго письма (см. примеч. 1 к с. 304).

Текст первого письма из-за границы был напечатан Коршем в «Атенее» без «программы» дальнейших писем. 9(21) февраля 1858 г. Корш писал Анненкову: «С Вашего благословения я тиснул письмо Тургенева, но без постскриптума, о котором Вы говорили: боялся обнародованием программы писем скомпрометировать почтенного автора в случае, если он раздумает писать» (*ИРЛИ*, ф. 7, № 57, л. 23).

«В „Атенее" было помещено письмо из-за границы г. Тургенева. Вероятно, не мы одни пожалели, что оно осталось единственным»,— писал Б. А〈лмазов〉 во «Взгляде на русскую литературу в 1858 году» [1].

С т р. 303. *Е〈вгений〉 Ф〈едорович〉* — Корш (1810—1897), журналист и переводчик; в 1858—1859 годах редактировал журнал «Атеней».

С т р. 304. *Париж. О нем речь будет впереди, во втором моем письме.*— Сохранился набросок начала этого письма (черновой автограф, л. 5 об.) с заглавием: «Письмо второе» и пометою: «Рим, 1 (13-го) янв〈аря〉 1858»: «В Париже притягательная сила.— Париж — это волшебное слово,— слышите вы часто в России и за границей. Действительно, Париж привлекает к себе иноплеменников [не тем, так другим], хотя должно сознаться, что [напр〈имер〉] в нынешнее время он, вероятно, привлек бы к себе немногих из тех, которые стремились [к нему] в него 80 или 50 или даже 30 лет тому назад. Но одно несомненно: тем или другим, развитием ли [общественной] политической жизни...» 〈*не окончено*〉.

...как арестант в «Мертвых душах» удовольствовался замечаньем, что в Весьёгонске тюрьма почище будет...— Тургенев вспоминает размышления о беглых крестьянах (эпизод «Попов, дворовый человек») в главе седьмой 1 тома «Мертвых душ» (*Гоголь*, т. 6, с. 138—139).

С т р. 307. *...как Пушкин сказал, «ленивы и нелюбопытны»...*— Мысль Пушкина по поводу смерти Грибоедова в «Путешествии в Арзрум» (1829): «...замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов. Мы ленивы и нелюбопытны...»

...Мне остается сказать, почему в Париже не скучают русские...— Намерение написать статью «Русские в Париже» не оставляло Тургенева и позднее. В 1860—1861 годах он собирался писать ее для журнала «Русская речь», издававшегося Е. М. Феоктистовым и Е. В. Салиас. Однако эта статья, по-видимому, написана не была.

---

[1] Утро. Литературный сборник. М., 1859, с. 96.

⟨О КОМПОЗИТОРЕ В. Н. КАШПЕРОВЕ⟩

(с. 308)

Печатается по тексту первой публикации: *СПб Вед*, 1860, № 38, 19 февраля (2 марта).

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, ПСС и П, Сочинения*, т. XV, с. 13.

Автограф неизвестен.

Принадлежность этого текста Тургеневу установлена по его переписке с русским композитором В. Н. Кашперовым (1827—1894), длительное время проживавшим в Италии. Известны семь писем Тургенева к Кашперову за 1857—1864 гг. и одиннадцать писем Кашперова к Тургеневу (см.: *Т сб*, вып. 1, с. 382—406). В письме из Петербурга от 17(29) декабря 1859 г. Тургенев поздравил композитора с успехом его оперы «Мария Тюдор», поставленной на сцене театра Каркано в Милане, и обещал напечатать «во всех здешних журналах» статью о деятельности Кашперова, если он пришлет «обещанные отрывки из газет», характеризующие отношение итальянской прессы к новой опере. 12(24) февраля 1860 г. Тургенев извещал А. А. Краевского о том, что на следующий день пошлет ему «статьи о Давыдове и Кашперове».

До последнего времени считалось, что Тургенев имел в виду в своем письме поэта Д. В. Давыдова и композитора Кашперова, что статья о втором из них вовсе не была им написана, а напечатанная в «Отечественных записках» (1860, кн. 4) статья «Сочинения Д. В. Давыдова» была, как принадлежащая Тургеневу, перепечатана в издании *Рус Пропилеи*, т. 3, и включена в изд. *Т, Сочинения*, т. 12 (с. 167—168), хотя и с рядом оговорок о сомнительности его авторства (см. там же, с. 525).

Между тем через неделю после приведенного письма Тургенева к Краевскому, в газете «С.-Петербургские ведомости», в фельетоне «Искусство», анонимно были опубликованы сообщения о гастролях виолончелиста К. Ю. Давыдова в Германии и о постановке оперы Кашперова «Мария Тюдор» в Милане. Относительно Кашперова в статье сообщались подробности, фигурирующие и в переписке Тургенева с Кашперовым, что не оставляет сомнений в принадлежности ее Тургеневу (см.: *Т сб*, вып. 1, с. 385—387); заметку же о К. Ю. Давыдове Тургенев, по-видимому, переслал Краевскому от другого, не известного нам автора.

⟨ПИСЬМА О ФРАНКО-ПРУССКОЙ ВОЙНЕ⟩

(с. 309)

Печатаются по тексту первой публикации: *СПб Вед*, 1870, № 216, 219, 231, 252 и 265 —8(20), 11(23) и 23 августа (4 сентября), 13(25) и 26 сентября (8 октября) — с исправлением опечатки («15 июля» вместо «15 июня») на с. 18.

В собрание сочинений впервые включены в издании: *Т, Сочинения*, т. 12, с. 343—359.

Автограф неизвестен.

Первая корреспонденция составляет часть письма Тургенева к П. В. Анненкову от 27 июля (8 августа) 1870 г. С разрешения Тур-

генева Анненков передал письмо в газету, исключив из него в начале и в конце несколько строк, не имеющих прямого касательства к теме статьи, а также постскриптум письма, хотя в нем и содержались некоторые сведения, связанные с военными действиями.

Последующие корреспонденции Тургенев также посылал через Анненкова, который, как обычно, просматривал их, прежде чем передать в редакцию «С.-Петербургских ведомостей». Одно из писем к Анненкову, о котором упоминает Тургенев в самом начале своей первой статьи, неизвестно, другое (от 3 (15) сентября 1870 г.) не было отослано в газету по просьбе Тургенева. «Я пропустил время,— писал он Анненкову,— написать вам письмо, которое могло бы попасть в „С.-Петербургские ведомости“, и теперь уже поздно и потому считайте это письмо лично вам адресованным». Посылку корреспонденций в газету Тургенев прекратил, по-видимому, после письма Анненкова, из которого он сделал заключение о неудаче повести «Степной король Лир». Текст этого письма неизвестен, но в своем ответе Тургенев писал: «...я потерял камертон русской публики ⟨. . .⟩. Есть пословица: „Старый слуга — как старый пес: либо со двора, либо под лавку“.— Я отправляюсь под лавку, и пусть П. Д. Боборыкин услаждает публику!» В последних словах выражается недовольство писателя содержанием обширных корреспонденций о военных действиях П. Д. Боборыкина, печатавшихся в тех же «С.-Петербургских ведомостях».

После появления в газете письма Тургенева более сорока лет оставались забытыми. Впервые напомнил о них и привел из них выдержки М. О. Гершензон в статье «Тургенев-корреспондент» (*Рус Вед*, 1912, № 204, 4 сентября, с. 3—4). Он же впервые перепечатал их полностью — сначала: *Рус Мысль*, 1914, 8—9, с. 100—111, затем: *Рус Пропилеи*, т. 3, с. 202—219 (подробнее см.: Рабинович М. Б. И. С. Тургенев и франко-прусская война 1870—1871 гг.— В кн.: И. С. Тургенев. Вопросы биографии и творчества. Л., 1982, с. 99—108). О глубоком интересе Тургенева к событиям 1870 года свидетельствует самый факт появления в печати пяти его корреспонденций о франко-прусской войне. В этом не свойственном ему жанре Тургенев выступил лишь дважды (в 1847 и 1858 годах), но оба раза ограничился только одним письмом, несмотря на обещание продолжения. Конечно, в появлении писем о франко-прусской войне сыграла роль территориальная близость Тургенева к театру военных действий. Живя в пограничном Баден-Бадене, он как бы сделался очевидцем первых недель войны. Однако Тургенев не стал обычным военным корреспондентом; его внимание сосредоточивалось на бо́льших исторических и этических вопросах, на причинах войны и на возможных последствиях кровавого столкновения, в которое были вовлечены народы двух близких ему стран.

Свои корреспонденции Тургенев довел до конца сентября 1870 г., когда уже стал ясен исход войны. Позиция его во время войны, хотя в течение первых двух ее месяцев и претерпела некоторые изменения, определилась, прежде всего, резкой враждебностью к бонапартистскому режиму Франции. Справедливо считая режим Второй империи наиболее реакционным в Европе, но реалистически оценивая и обстановку в Пруссии, Тургенев 17(29) июля 1870 г. писал А. М. Жемчужникову: «Пруссия тоже не бог знает какое либеральное государство, но с победой Франции — аминь всякой свободе в Европе!» Позднее, когда уже произошли первые сражения, Тургенев, сообщая о них И. П. Борисову, 12(24)

августа 1870 г. писал: «...я. „не мудрствуя лукаво“, радуюсь поражению Франции — ибо вместе с нею поражается насмерть наполеоновская империя, существование которой несовместимо с развитием свободы в Европе».

После падения наполеоновской империи Тургенев чутко уловил изменения в характере войны, происшедшие с сентября 1870 г. Если в начале войны ненависть к полицейской, милитаристской, бюрократической наполеоновской системе помешала Тургеневу понять истинную суть прусской политики, то после Седана и ввиду открытых аннексионистских претензий Германии он писал Анненкову (3(15) сентября 1870 г.): «Падение гнусной империи не изменило моих симпатий, но несколько переставило их. Теперь немцы являются завоевателями, а к завоевателям у меня сердце особенно не лежит». Впоследствии отношение Тургенева к позиции Германии стало еще более отрицательным (см. письмо к Я. П. Полонскому от 30 декабря 1876 г. (11 января 1877 г.)).

Стр. 309. *Баден-Баден* — популярный курорт в южной Германии (входил в Великое герцогство Баденское), с которым Тургенев был связан с 1862 по 1871 год. В 1870 году Тургенев прибыл в Баден-Баден вскоре после начала франко-прусской войны и прожил там до конца октября того же года. См.: Schwirtz G. Baden im Leben und Schaffen Turgenev.—I. S. Turgenev und Deutschland, Materielen und Untersuchungen, v. 1, Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1965, S. 247—270.

В прошлый четверг... — 4 августа н. ст. 1870 г. В этот день германская армия, перейдя границу, начала боевые действия. Письмо, о котором говорит Тургенев, неизвестно.

Виссамбур — Вейсенбург, город в Эльзасе, который был атакован немцами 4 августа 1870 г. Французы потеряли много убитыми, ранеными, пленными и отступили. После этой неудачи Наполеон III сложил с себя верховное командование, подчинив основные войска маршалам Мак-Магону и Базену.

...началось исполнение плана Мольтке... — План начальника прусского генерального штаба Хельмут фон Мольтке Старшего (1800—1891) сводился к тому, чтобы, вторгнувшись во Францию между Мецом и Страсбургом, отбросить французские войска к северу, изолировать их от остальной Франции и захватить Париж. Во время франко-прусской войны Мольтке был, фактически, главнокомандующим немецкими вооруженными силами; по окончании войны он получил фельдмаршальский жезл.

...император французов показывал своему сыну ∽ как действуют митральезы, и ∽ брал город Саарбрюкен... — Император Наполеон III, вопреки общественному мнению Франции, возглавил армию и отправился на театр военных действий со своим единственным сыном Евгением-Луи Наполеоном, известным под прозвищем «принц Лулу» (1856—1879). Стремясь успокоить французов подобием наступательных действий, Наполеон приказал 2 августа 1870 г. атаковать пограничный прусский город Саарбрюкен, двинув на штурм две дивизии. Эта бесплодная операция в официальных сводках прославлялась как большая победа. Общее возмущение вызвала не только бессмысленность штурма, но и поведение императора, сделавшего из сражения зрелище для своего четырнадцатилетнего сына. *Митральеза* — многоствольное орудие, стрелявшее картечью.

...армию кронпринца прусского...— Фридрих Вильгельм Карл (1831—1888), наследный принц и будущий император Германии Фридрих III (с 1888 г.), во время франко-прусской войны командовал III армией, действовавшей в Эльзасе. Упоминание, что кронпринц «разрубил французскую армию надвое», связано с тем, что после первых неудач Рейнская армия была разделена на две группы под командованием Мак-Магона и Базена.

...победе кронпринца над Мак-Магоном ∽ Мак-Магон ранен! — Мари Эдмон Патрик Мак-Магон, герцог Маджентский (1808—1893), бонапартистский генерал и реакционный политический деятель; в начале франко-прусской войны командовал Эльзасской, а затем Шалонской армией; 2 сентября 1870 г. сдался вместе с Наполеоном III под Седаном. В письме Тургенева речь идет о сражении при Фрешвиллере (Верте) 6 августа 1870 г., когда, несмотря на мужественное сопротивление французских солдат, корпус Мак-Магона был разбит. Сведения о ранении Мак-Магона в этом сражении были неверными. В дальнейшем он командовал Шалонской армией при Седане (см. примеч. к с. 313).

С т р. 309—310. *Изумлению самих немцев нет границ...*— Для большинства немцев (не военных), а также для Тургенева поражение французских войск в самом начале войны было неожиданностью. «...На первых порах — в успехах французского оружия сомневаться невозможно»,— писал Тургенев М. А. Милютиной 20 июля (1 августа) 1870 г. Позднее, в письме к Анненкову от 3(15) сентября 1870 г., Тургенев признавался, что «не предвидел ⟨...⟩ что Наполеон даст себя взять, как в мышеловке. Не ожидал также, чтобы вся армия Мак-Магона так постыдно погибла; я полагал, что она, по крайней мере, в Бельгию уйдет».

С т р. 310. *...как при Кенигсгреце...*— Во время австро-прусской войны (1866 г.), 3 июля, при Садовой, близ города Кенигсгреца (ныне Градец Кралов в Чехословакии) австрийская армия была разбита, после того как армия кронпринца подоспела на поле битвы.

Не говоря уже о журналах вроде «Фигаро» или презреннейшей «Liberté» ∽ Э. де Жирардена, но даже в таких дельных газетах, как, например, «Temps»...— «*Фигаро*» («Le Figaro») — французская консервативная газета (выходила в 1826—1833 гг. и с 1854 г.), связанная с правительством Второй империи. «*La Liberté*» — вечерняя газета, в 1866—1872 гг. принадлежала Эмилю де Жирардену. «*Temps*» — газета, выходившая в 1861—1943 гг., орган крупной французской буржуазии. Газета была в оппозиции режиму Второй империи и выступала против войны с Пруссией. Эмиль *де Жирарден* (1806—1881) — французский журналист, драматург, буржуазный республиканец, после государственного переворота 2 декабря 1851 г. ставший бонапартистом. Тургенев, отрицательно относясь к Жирардену, писал 6(18) сентября 1871 г. А. А. Фету, что «презирал только трех людей: Жирардена, Булгарина и издателя „Моск⟨овских⟩ ведомостей“», т. е. Каткова.

...между Францией и Пфальцем (Palatinat) п р о т е к а е т Р е й н...— Пфальц, который часто называли латинским термином Палатинат (от Palatinum, т. е. принадлежащий княжескому или императорскому двору), расположен по обе стороны Рейна.

...уверенность французов, что Южная Германия останется нейтральной...— Уверенность французского правительства в нейтральности южногерманских государств (т. е. Баварии, Бадена, Вюртемберга и Гессена) была ошибочной, т. к. эти государства уже

были связаны тайными оборонительными и наступательными соглашениями с созданным в 1867 г. Северогерманским союзом.

С т р. 311. *Шасспо* — нарезное ружье, изобретенное в 1866 г. Антуаном Шасспо (1833—1905).

...(чуть ли не в «Soir»)... — «Le Soir» — оппозиционная газета, основанная в 1870 г.

...фразой принца Петра Бонапарта насчет парижан, сопутствовавших гроб убитого им Нуара... — Принц Пьер Наполеон Бонапарт, двоюродный брат Наполеона III, поместил в корсиканской газете «L'Avenir de la Corse» оскорбительное для республиканцев Корсики письмо. В ответе газета назвала Пьера Бонапарта ренегатом. Газета левых республиканцев «Marseillaise», редактируемая Анри Рошфором (1830—1913), перепечатала эту полемику, за что принц вызвал Рошфора на дуэль. В свою очередь один из сотрудников газеты Рошфора — Паскаль Груссе, корсиканец по происхождению, счел себя оскорбленным и послал принцу вызов. Когда секунданты Груссе, журналисты Ульрик де Фонвиль и Виктор Нуар, 10 января 1870 г. явились, чтобы передать вызов принцу, он застрелил двадцатидвухлетнего Виктора Нуара. Похороны последнего (12 января 1870 г.) превратились в крупнейшую в истории Второй империи антимонархическую демонстрацию. По поводу этой демонстрации и произнес Пьер Бонапарт фразу, которая произвела (как и всё дело Нуара) такое впечатление на Тургенева, что он несколько раз приводит ее в своих письмах (напр., в письмах от 21 марта (2 апреля) 1870 г. к А. А. Фету и Н. В. Ханыкову).

...«Gaulois», например, сообщает... — «*Le Gaulois*» — ежедневная умеренно-либеральная газета, выходившая в Париже с 1867 г.

...в присутствии императрицы Евгении... — Евгения Монтихо (Eugénie Montijo), урожденная графиня Тэба (1826—1920), жена Наполеона III и императрица Франции с 1853 по 1870 г. Вокруг нее группировались наиболее ярые сторонники войны с Германией. После начала войны и отъезда Наполеона III к армии императрица Евгения, чрезвычайно непопулярная в народе, была назначена регентом Франции.

С т р. 312. *...урок, какой получили пруссаки под Иеной...— и ∽ мы под Севастополем.* — Под Иеной Наполеон I 14 октября 1806 г. наголову разбил прусско-саксонскую армию, и в тот же день маршал Даву разгромил пруссаков под Ауэрштедтом (близ Иены). О битве при Садовой см. примеч. к с. 310. Тургенев имеет в виду реформы, проведенные в России после смерти Николая I и поражения (несмотря на героическую оборону Севастополя) в Крымской войне.

Палата созвана к 11-му числу... — Законодательный корпус (Тургенев называет его Палатой) был созван 8, а не 11 августа.

...графу Л. Н. Толстому, который уверяет, что ∽ сражение как-то и где-то проигрывается или выигрывается... — Тургенев имеет в виду историко-философские рассуждения Толстого в «Войне и мире», находясь под впечатлением незадолго до того (декабрь 1869 г.) вышедшего последнего тома романа. То же мнение Тургенев высказал в письме к И. П. Борисову от 12 (24) августа 1870 г.

Андерсен Адольф (1818—1879) — немецкий шахматист, участник турнира в Баден-Бадене (18 июня — 2 августа 1870 г.), вице-президентом которого был избран Тургенев.

С т р. 313. *...Наполеон — не Людовик XIV: тот ∽ сносил неудачи и преданность к нему его подданных не поколебалась.* —

В правление Людовика XIV (правил с 1643 по 1715 г.), с именем которого связан апогей французского абсолютизма, велись многочисленные войны, которые во второй половине его царствования были неудачными. Однако замечание Тургенева, что «преданность к нему его подданных не поколебалась», не точно. В последние десятилетия правления Людовика XIV (бывшем очень тяжким для народа) вспыхивали многочисленные восстания, достигавшие значительных размеров.

...Лебеф, Фроссар, Базен, Фальи... — Эдмон *Лебеф* (1809—1888) — маршал Франции; с 1869 г. военный министр, один из главных виновников войны с Германией. Командовал корпусом в армии маршала Базена и был взят в плен при капитуляции Меца. Шарль Огюст *Фроссар* (1807—1875) — генерал; командовал одним из корпусов Рейнской армии; взят в плен при капитуляции Меца. Франсуа Ашиль *Базен* (1811—1888) — маршал Франции, ярый бонапартист; во время франко-прусской войны, после ряда поражений, был заперт в крепости Мец и 27 октября 1870 г. предательски сдал ее со всем гарнизоном. Пьер Луи *Фальи* (1810—1892) — генерал, капитулировавший при Седане (2 сентября 1870 г.).

Единственный дельный между ними, Мак-Магон... — Высказанное Тургеневым мнение о Мак-Магоне ошибочно. От прямой ответственности за катастрофу при Седане Мак-Магона спасло полученное накануне капитуляции ранение. О позднейшем резко отрицательном отношении Тургенева к Мак-Магону и его политике в бытность главою государства известно из писем. «Приходится же ⟨. . .⟩ Франции пропадать за Мак-Магоном»,— писал Тургенев Анненкову 19 ноября (1 декабря) 1873 г. В письме к А. А. Фету от 27 сентября (9 октября) 1874 г. он назвал установившийся во Франции режим «царством пошляков — Мак-Магонов». Особенно резкими отзывы Тургенева о нем сделались в 1874—1879 гг., когда Мак-Магон (тогда президент республики) пытался уничтожить республиканский режим в стране.

...в самый день объявления Францией войны (15 июля)... — Законодательный корпус 15 июля 1870 г. вотировал военные кредиты и принял ряд решений, означавших начало войны. Официально же война была объявлена Францией 19 июля н. ст. 1870 г.

...не бездарный идиот, Гиулай, как в Италии в 1859 году. — Австрийский генерал Ференц Гиулай (Дьюлаи, 1798—1863) — участник подавления революции 1848 г. в Италии; во время австро-франко-итальянской войны 1859 г. был разбит 4 июня при Мадженте.

...сообщили сведения о начавшихся там волнениях... — Вслед за первыми поражениями французской армии в Париже 7—9 августа 1870 г., а затем и в других городах Франции вспыхнули стихийные демонстрации, участники которых — главным образом рабочие — требовали немедленного провозглашения республики и вооружения граждан для защиты отечества.

...эти Оливье & Кассаньяки... — Эмиль *Оливье* (1825—1913) — французский историк и политический деятель; умеренный республиканец, с конца 1860-х гг. бонапартист, сторонник войны с Пруссией. 2 января 1870 г. возглавил кабинет министров, который пал (9 августа) после первых военных поражений. *Кассаньяки:* Бернар Адольф Гранье де Кассаньяк (1808—1880), французский реакционный публицист, орлеанист до 1848 г., потом ярый бонапартист, редактор газеты «Le Pays», черпавший «свое вдохновение из ...августейшей кассы» (см.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд.,

т. 14, с. 578); Поль Гранье де Кассаньяк (1849—1904), сын предыдущего, бонапартистский журналист, сотрудник газеты «Le Pays».

Стр. 314. *...заняла Нанси...* — 12 августа 1870 г.

Подобного варварского нарушения международного права Европа не видала со времени первого Наполеона... — Тургенев имеет в виду изданный императором Наполеоном I 21 ноября 1806 г. декрет о континентальной блокаде Англии, по которому полностью прекращалась торговля с нею, подлежали конфискации английские товары, а все англичане на землях, подвластных Наполеону, объявлялись военнопленными.

Стр. 315. *Тюркосы* — род легкой пехоты, комплектовавшейся в начале 1840-х гг. XIX в. из коренного населения Алжира.

...женевскому международному комитету... — Женевский международный комитет (Красного Креста) был создан на конференции 1863—1864 гг., выработавшей конвенцию «Об улучшении участи больных и раненых в действующих армиях», к которой тогда же присоединилось 16 европейских государств.

«Paris-Journal» — газета, основанная журналистом-монархистом Анри де Пеном (1830—1888) в декабре 1868 г. Поддерживала политику Второй империи; выходила до 1874 г.

Военный министр (маршал Лебеф), уверявший, что всё готово... — Эдмон Лебеф (см. примеч. к с. 313) на заседании Законодательного корпуса 15 июля 1870 г. в ответ на запрос оппозиции о готовности Франции к войне заявил: «Мы готовы, мы совершенно готовы; хотя бы война продлилась целый год, у нас и тогда не будет недостатка даже в пуговицах на гетрах солдат» (см.: Грегуар Л. История Франции в XIX в. М., 1897, т. 4, с. 219—220).

Стр. 315—316. *Графом Паликао ∽ (Он, как известно, командовал французской экспедицией 1860 года).* — После падения министерства Оливье (см. примеч. к с. 313) императрица Евгения, исполнявшая обязанности регента, назначила главой правительства генерала Шарля Гийома Кузена де Монтобана, графа Паликао (1796—1878), убежденного бонапартиста, реакционера. В грабительской войне Англии и Франции в Китае (1856—1860) генерал Монтобан командовал французскими войсками. За победу на подступах к Пекину у моста Балицяо (Паликао) Монтобан получил титул графа Паликао. После взятия Пекина французские войска разграбили и сожгли знаменитый дворец китайских императоров.

Стр. 316. *...внуки победителей при Иене, Аустерлице, Ваграме!* — *Иена* — см. примеч. к с. 312. *Аустерлиц* — ныне город Славков в Чехословакии; здесь 2 декабря н. ст. 1805 г. Наполеон I нанес поражение русско-австрийской армии. *Ваграм* — местечко близ Вены, у которого 5—6 июля н. ст. 1809 г. Наполеон I разбил австрийцев, принудив Австрию к миру, сделавшему его, фактически, властелином Европы.

...прокламация короля Вильгельма ∽ отличается благородной гуманностью... — Вильгельм I (1797—1888) — прусский король с 1861 г., император Германии с 1871 г. Тургенев имеет в виду его обращение к армии от 2 августа 1870 г., в котором говорилось: «Вся Германия единодушно стала под ружье для борьбы против соседнего государства, которое неожиданно и без всякого повода объявило нам войну. Дело идет о защите находящейся под угрозой отчизны, нашей чести и родных очагов».

...о сражениях под Мецом, о движении кронпринца на Париж... — Речь идет о сражении 18 августа 1870 г. при Гравелот-Сен Прива

(близ Меца), в котором армия маршала Базена была разбита и отброшена к Мецу. где вскоре блокирована. Другая — Шалонская армия маршала Мак-Магона, при которой был Наполеон III,— отступила к Седану. Ф. Энгельс писал тогда в «The Pall Mall Gazette» (20 августа 1870 г.): «Военная мощь Франции, по всей вероятности, полностью уничтожена...» (см.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т. 17, с. 58).

Стр. 317. *...воскликнул с трибуны честный Гамбетта...* — 24 августа 1870 г. Леон Мишель *Гамбетта* (1838—1882), один из влиятельнейших ораторов левого крыла республиканской оппозиции, выступил в Законодательном корпусе с запросом об истинных результатах битвы при Гравелоте (18 августа). По-видимому, эту интерпелляцию имеет в виду Тургенев.

...заткнул за пояс всех Мюнхгаузенов... — Барон Мюнхгаузен, герой немецких анекдотических рассказов (народные книги конца XVIII в. и юмористический сборник Р. Э. Распе (1785 г.), роман К. Иммермана (1838—1839 гг.) и другие). Его имя стало нарицательным для бахвала и враля.

...заставляет принца Генриха сказать Фальстафу, что ничего не может быть противнее старца-шута... — Фальстаф — персонаж исторической хроники Шекспира «Генрих IV», обжора, пьяница, хвастун и обманщик, приятель и собутыльник принца Генриха, сына короля. Тургенев имеет в виду заключительную сцену второй части «Генриха IV», акт V, сцена 5, в которой принц Генрих, став королем Генрихом V, говорит Фальстафу: «Старик, с тобой я не знаком. Покайся. Седины вовсе не к лицу шутам» и т. д.

Стр. 317—318. *...спросить вместе с Фигаро: «Qui trompe-t-on ici?»* — *Фигаро* — персонаж комедий Бомарше «Севильский цирюльник, или Тщетная предосторожность» и «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Реплику из «Севильского цирюльника» Тургенев приводит неточно и приписывает ее Фигаро. Эти слова произносит дон Базиль: «Qui diable est-ce donc qu'on trompe ici?» («Что за чёрт. кого же здесь обманывают?» — Акт III, сцена 11).

Стр. 318. *...Эпернэ* — город на р. Марне, в 120 км к северо-востоку от Парижа.

...Трошю, единственный дельный, честный и трезвый человек ∽ готовит Париж к выдержанию осады... — В своей оценке личности Трошю Тургенев ошибался. Генерал Луи Жюль Трошю (1815—1896) в последние годы империи не разделял официальных взглядов на готовность французской армии к войне. Свои мнения он изложил в брошюре «Французская армия в 1867 г.», где подверг критике состояние и организацию французских вооруженных сил. Брошюра доставила ему широкую популярность, выросшую во время войны. 18 августа 1870 г. Трошю был назначен военным губернатором Парижа, чтобы подготовить его к обороне, однако оказался бездеятельным и был убежден в невозможности отстоять город. Возглавив после свержения империи правительство республики и оставаясь военным губернатором осажденного Парижа, он, опасаясь движения народных масс, готовил сдачу Парижа немцам.

...как, например, «Революция» Э. Кине... — Эдгар *Кине* (1803—1875), историк и публицист, участник революции 1848 года. Двухтомная работа его «Революция» (1865 г.) проникнута крайним недоверием к политической активности масс, отрицательным отношением к якобинской диктатуре, преувеличенными представлениями о роли личности в истории и т. д. Однако Тургенев высоко ценил

книгу Кине (см. письмо к П. В. Анненкову от 20 декабря 1865 г. (1 января 1866 г.). В России книга Кине была переведена в 1908 г. («Революция и критика»).

...последний роман Флобера — «Воспитание чувств» («L'Education Sentimentale»), вышедший в 1869 г.

...не поют Марсельезы (!) под знаменами императора Наполеона... — «Марсельеза» — гимн Первой республики (с 1792 г.), оставалась гимном Франции и в последующие годы, хотя слова ее звучали кощунственно при деспотическом режиме Наполеона I. В годы Реставрации и Второй империи «Марсельеза» была запрещена.

...«СПб. ведомости» (в 214 №) приводят письмо корреспондента ꩜ будто в Бадене кричат: смерть французам... — В газете «С.-Петербургские ведомости» 6(18) августа 1870 г. (№ 214) была перепечатана корреспонденция из «Биржевых ведомостей» об инциденте с несколькими русскими дамами, которые разговаривали между собой по-французски, что вызвало резкое недовольство патриотически настроенной немецкой толпы.

Стр. 319. *Бомбардирование Страсбурга всё продолжается...* — 10 августа началась бомбардировка Страсбурга, которая продолжалась в течение всей 46-дневной осады. (Страсбург был взят 26 сентября 1870 г.) Ф. Энгельс назвал эту бомбардировку «бессмысленной и бесполезной жестокостью» (см.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т. 17, с. 92).

...громадными событиями, совершившимися в начале этого памятного месяца... — Имеются в виду капитуляция французской армии у Седана (2 сентября 1870 г.), где был взят в плен император Наполеон III, и революция 4 сентября 1870 г., установившая во Франции республику.

Стр. 320. *...появление республики их даже смутило.* — Падение империи и установление во Франции республики изменило характер войны для Германии, превратив ее в захватническую войну против французского народа. Это внесло затруднения в политические планы Германии и вызвало враждебное отношение к республике немецких господствующих кругов. Отразилось и в декларации прусских оккупационных властей, опубликованной от имени короля Вильгельма, в которой было объявлено, что прусское правительство «не признает и в настоящее время никакой другой власти во Франции, кроме власти императора Наполеона», и что «до установления нового порядка эта власть является в глазах Пруссии единственной властью, правомочной начать на национальной основе переговоры о мире» (Парижская Коммуна, т. 1/Под ред. Э. А. Желубовской и др. М., 1961, с. 159).

...один Виктор Гюго мог возыметь эту мысль ꩜ предлог произвести обычное словоизвержение. — 9 сентября 1870 г. Гюго обратился с «Воззванием к немцам», в котором призывал их не продолжать войну против республики. «Остановитесь же! Немцы, страшитесь Парижа! Остановитесь в раздумье у его стен», — писал Гюго (см.: Гюго В. Собрание сочинений, т. 15, Дела и речи. М., 1956, с. 493—498). Об отношении Тургенева к Гюго см.: Алексеев М. П. Виктор Гюго и его русские знакомства, гл. 4. — *Лит Насл*, т. 31—32. Русская культура и Франция. М., 1937, т. 2.

Стр. 321. *...рисунок «Кладдерадатча»* — «Kladderadatsch» («Кладдерадатч») — немецкий сатирический журнал, основанный в 1848 г. и издававшийся в Берлине. Тургенев имеет в виду карикатуру, помещенную в № 40 от 28 августа 1870 г. под названием

«Самосохранение» («Selbsterhaltung»). На рисунке изображены прусский король Вильгельм I и кронпринц, держащие волка, на пасть которого надет намордник. Стоящий здесь же Бисмарк обрезает волку когти, на которых написано: «Эльзас» и «Лотарингия», а под рисунком подпись: «Чтобы в будущем обрести покой, мы должны обрезать зверю когти».

...помогли в Великом герцогстве Познанском, в прирейнских и саксонских областях, в самом Ганновере и даже во Франкфурте.— Тургенев напоминает исторические факты, связанные с ростом Прусского королевства, когда к нему насильственно присоединялись эти территории.

Стр. 322. *...зародыша новых, еще более ужасных войн.*— Это замечание Тургенева показывает, насколько верно во многом он представлял себе тогдашнюю международную обстановку. Любопытно, что эта фраза почти текстуально совпадает с мыслью К. Маркса о франко-прусской войне, высказанной во Втором воззвании Генерального совета Международного товарищества рабочих (9 сентября 1870 г.), в котором рабочие всех стран предупреждались, что «настоящая ужасная война станет предтечей новых, еще более ужасных международных войн» (см.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т. 17, с. 281). Еще определеннее высказался по этому поводу Энгельс. Подробнее см.: Рабинович М. Б. И. С. Тургенев и франко-прусская война 1870—1871 гг.— В кн.: И. С. Тургенев. Вопросы биографии и творчества. Л., 1982, с. 105.

...по выражению Гарибальди...— Национальный герой Италии Джузеппе Гарибальди (1807—1882) приветствовал установление республики во Франции и предложил свои услуги в борьбе против интервентов; в дальнейшем, командуя Вогезской армией, добился ряда успехов (освобождение Бельфора и др.).

...прочтите речь ~ И. Якоби...— Иоганн Якоби (1805—1877) немецкий демократ, противник бисмарковской политики объединения Германии «железом и кровью». В 1870 г. выступил в Кенигсберге с речью против намерений правительства аннексировать Эльзас и Лотарингию и за это был заключен в крепость.

Катон Утический — Марк Порций Катон Младший (ок. 96—46 до н. э.), римский политический деятель, убежденный республиканец, враг Цезаря, против войск которого защищался в Утике (северная Африка). Покончил с собой, не желая пережить гибель республики.

...исполняет теперь сознательно то, что у других народов совершилось гораздо ранее,— т. е. создание единого национального государства. Во время франко-прусской войны завершилось объединение Германии, и южные немецкие государства (Бавария, Вюртемберг, Баден, Гессен), которым были гарантированы некоторые особые права, вошли в состав Германской империи, провозглашенной в Версале 18 января 1871 г.

Стр. 323. «*Ватерлоо можно еще простить ~, но Седан никогда!*» — *Ватерлоо* — местечко близ Брюсселя, где в последнем сражении (18 июня 1815 г.) Наполеон I был разбит английскими и прусскими войсками. Почти то же Тургенев писал 3(15) сентября 1870 г. П. В. Анненкову: «...французы-парижане были бы ангелами или чурбанами (как угодно), если бы равнодушно приняли такой позор, какова капитуляция при Седане; скорее можно простить Ватерлоо, чем это».

...приходили в голову начальные стихи гётевской поэмы «Герман и Доротея».— Эпическая поэма Гёте «Герман и Доротея» (1797) открывается картиной бегства жителей левого берега Рейна, занятого осенью 1792 г. французскими войсками. Тургенев приводит в переложении 11-й и 12-й стихи первой песни поэмы.

...защитою Антверпена в 1832 году...— Начавшаяся в 1830 г. борьба бельгийских патриотов за отделение Бельгии от Голландии закончилась признанием независимости Бельгии ведущими европейскими державами. Однако цитадель в Антверпене оставалась занятой голландским гарнизоном под начальством генерала барона Шассе (1765—1849), и голландский король отказывался ее очистить. Вследствие этого в 1832 г. англо-французский флот блокировал берега Нидерландского королевства, а французские войска осадили Антверпенскую крепость. 14 декабря ими был взят форт св. Лаврентия, а 25 декабря 1832 г. голландский гарнизон сдался.

Стр. 324. *...генерал Урих...*— Жан Жак Алексис Урих (1802—1886), французский генерал, во время франко-прусской войны комендант Страсбурга.

Зуавы — род легкой пехоты во французской армии, несшей службу в Алжире; название — от одного из арабских племен Северной Африки.

...после сдачи Туля.— Крепость Туль была в осаде с 23 августа по 25 сентября 1870 г., когда капитулировала.

Стр. 324—325. *Выборы в это собрание были отсрочены ∽ под влиянием телеграммы Фавра ∽ и последовавшей затем прокламации Кремьё.*— Правительство «национальной обороны» декретом от 8 сентября 1870 г. назначило выборы в Учредительное собрание на 16 сентября. Выборы, однако, были отложены, так как начатые министром иностранных дел Жюлем *Фавром* (1809—1880) переговоры с Бисмарком о заключении мира (19—20 сентября) не привели к положительным результатам. Исаак Адольф *Кремьё* (1796—1880) — адвокат, министр юстиции Турской делегации правительства «национальной обороны». Прокламация, о которой пишет Тургенев, касалась отсрочки выборов и была подписана Кремьё как главой Турской делегации.

Стр. 325. *...доставил испанцам победу над Наполеоном.*— Речь идет о сопротивлении испанского народа войскам Наполеона I в 1808—1812 гг. в «малой» войне (гверилья, или герилья — партизанская война). Партизаны-герильясы вынудили французские войска в конце концов уйти из Испании. Во Франции также, с осени 1870 г., развилось партизанское движение «вольных стрелков» (франтиреров), наносивших немецким войскам большие потери.

...Трошю в известной своей брошюре...— См. примеч. к с. 318.

ПЕРГАМСКИЕ РАСКОПКИ

Письмо в редакцию

(с. 326)

Печатается по тексту первой публикации: *ВЕ*, 1880, № 4, с. 767—771, с подписью: Ив. Тургенев. Датировано: С.-Петербург, 18 марта 1880 г.

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, ПСС, 1883*, т. 1, с. 206—212.

Автограф неизвестен.

Раскопки алтаря Зевса, одного из крупнейших памятников

античного мира, производились в 1878—1879 гг. на территории древнего города Пергама в Мизии (Малой Азии). Фрагменты алтаря были доставлены в Берлин и помещены сначала в Берлинском музее, где велась многолетняя кропотливая работа по реставрации памятника, а затем в специально построенном для алтаря Зевса помещении — Пергамон-музее.

Тургенев познакомился с алтарем Зевса в Берлинском музее в первый период его демонстрации, когда плиты с горельефами, изображающими битву богов с гигантами, еще не были реставрированы и, видимо, даже не было окончательно установлено расположение многих из них.

Очевидно, Тургенев посетил Берлинский музей по пути в Россию в начале февраля н. ст. 1880 г. О впечатлении, произведенном на него пергамскими горельефами, Тургенев рассказал сразу же по приезде в Петербург в литературном кружке М. М. Стасюлевича на одной из «пятниц» у Я. П. Полонского (см.: Садовников Д. Н. Встречи с И. С. Тургеневым. «Пятницы» у поэта Я. П. Полонского в 1880 году.— Русское прошлое, 1923, № 3, с. 99—100). По свидетельству Д. Н. Садовникова (дневниковая запись от 9 марта 1880 г.), Тургенев «давно обещал написать Стасюлевичу статью о барельефах, которые видел в Берлине» (там же, с. 114).

В связи с отсутствием рукописных источников творческая история «Пергамских раскопок» восстанавливается на основании мемуарных и эпистолярных материалов. Судя по воспоминаниям Стасюлевича и А. Ф. Кони, очерк создавался почти экспромтом. «Весною 1880 г., приехав в Пушкинский праздник прямо из Берлина, Тургенев за завтраком у редактора журнала заинтересовал всех своим рассказом о пергамских раскопках, которые в том году только что начали приводиться в порядок в берлинском музее,— вспоминал редактор „Вестника Европы“.— Кто-то из присутствовавших заметил ему, что он непременно должен написать статью об этом; Тургенев тотчас же пообещал, но редактор выразил сомнение, чтобы это когда-нибудь было исполнено им, если его не запереть в комнату. Тургенев торжественно встал, напомнил, как в старину в Сенате снимали сапоги с неблагонадежных писарей, чтоб они не убежали со службы, извинился, что подагра не позволяет ему прибегнуть к такому способу удостоверения в его благонадежности, и тут же снял с себя галстук, в виде залога, заметив, что порядочному человеку без галстука нельзя уйти так же, как и без сапог,— и ушел в кабинет. Мы продолжали беседу, а через час времени он уже вынес написанный им этюд: „Пергамские раскопки“ — один из прелестнейших его этюдов в области искусства» (*ВЕ*, 1884, № 5, с. 421—422). Тот же эпизод излагается другим мемуаристом, А. Ф. Кони: «Я помню его ⟨Тургенева⟩ рассказы о впечатлении, произведенном на него скульптурами, найденными при пергамских раскопках. Восстановив их в том виде, в каком они должны были существовать, когда рука времени и разрушения их еще не коснулась, он изобразил их нам с таким увлечением, что встал с своего места и в лицах представлял каждую фигуру. Было жалко сознавать, что эта блестящая импровизация пропадает бесследно. Хотелось сказать ему словами одного из его „Стихотворений в прозе“: „Стой! Каким я теперь тебя вижу — останься навсегда таким в моей памяти!“ Это желание, по-видимому, ощутил сильнее всех сам хозяин ⟨Стасюлевич⟩ и тотчас же привел его в исполнение завися-

щими от него способами. Он немедленно увел рассказчика в свой кабинет и запер его там, объявив, что не выпустит его, покуда тот не напишет всё, что рассказал. Так произошла статья Тургенева о пергамских раскопках, очень интересная и содержательная, но, к сожалению, все-таки не могущая воспроизвести того огня, которым был проникнут устный рассказ» (К о н и А. Ф. На жизненном пути. СПб., 1913. Т. 2, с. 80; о н ж е: Воспоминания о писателях. Л., 1965, с. 143—144).

По-видимому, статья «Пергамские раскопки», начатая у Стасюлевича как «блестящая импровизация», заканчивалась уже дома. Она приобрела характерную для тургеневских корреспонденций форму «письма в редакцию» и была отправлена для апрельского номера «Вестника Европы», который выходил в свет без опозданий первого числа каждого месяца. Из письма Тургенева к Стасюлевичу от 1(13) апреля 1880 г. явствует, что писатель уже получил гонорар за «Пергамское письмо», который он расценивал «как *задаток* за какую-либо будущую статью».

Очерк «Пергамские раскопки» не привлек к себе внимания печати. В. П. Буренин в «Журнальных заметках» за подписью Z (в газете «Новороссийский телеграф») довольно подробно остановился на «Пергамских раскопках», отметив, что описание их Тургеневым «не вполне удовлетворяет читателя», ибо «описывать художественные произведения, конечно, чрезвычайно трудно, почти невозможно» (Новороссийский телеграф, 1880, № 1555, 3(15) мая).

Один из самых проницательных отзывов принадлежит Анненкову, почувствовавшему в небольшом очерке глубокие философско-эстетические раздумья Тургенева о природе античного искусства, о вечности и власти над сознанием человека искусства, красоты. «Две странички „Пергамских раскопок“ принадлежат сами к изящнейшим горельефам русской литературы. Статейка так и просится в образцы стиля, чувства, красоты мысли и выражения»,— писал он Стасюлевичу 4(16) апреля 1880 г. (*Стасюлевич*, т. 3, с. 383). По поводу некоторых фактических неточностей статьи Тургенева писал в своих воспоминаниях В. В. Стасов. Настаивая на том, что «пергамские скульптуры — это есть только рококо греческого искусства»,— Стасов утверждал, что «Тургеневу это не было известно, и он только понапрасну усердствовал, наивно воображая, что эти мраморы — самая что ни на есть высота и глубина греческого искусства» (*Сев Вестн*, 1888, № 10, с. 161).

В «Яснополянских записках» Д. П. Маковицкого сообщается о чтении Толстым 1 февраля 1906 г. статьи А. М. «Малоизвестные воспоминания об И. С. Тургеневе» (Иллюстрированное приложение к «Новому времени», 1906, № 10735, 1 февраля); в нее вошли отрывки из воспоминаний Л. Фридлендера, в которых упомянуто об увлечении Тургенева пергамскими барельефами. По свидетельству Д. П. Маковицкого, Л. Толстой заметил по этому поводу: «Он ⟨Тургенев⟩ мне показывал их. Я старался вникнуть, но ничего не понял» (*Лит Насл*, т. 90, кн. 2, с. 39—40).

С т р. 326. *...лучшей эпохи аттического ваяния (III-го столетия до Р. Х.).* Аттика — в древности область в Средней Греции с центром в Афинах. Горельефы алтаря Зевса относятся ко II в. до н. э.

...в Пергаме (не в древней Трое)...— Согласно греческому эпосу, Пергам существовал еще во времена Троянской войны (XII в. до н. э.) и также имел акрополь.

...воздвигнутых кем-то из царствовавшей династии Атталов...— Алтарь Зевса был сооружен при царе из династии Атталов Евмене II (197—159 гг. до н. э.).

...одного довольно, впрочем, темного писателя II столетия...— Об алтаре Зевса упоминается в книге римского историка Луция Ампелия (III в. н. э.): «В Пергаме большой мраморный алтарь, высотой 40 футов, с очень большими скульптурами, изображающими гигантомахию» (см.: Белов Г. Д. Алтарь Зевса в Пергаме. Л., 1959, с. 6).

...честь открытия ᔓ германскому консулу в Смирне Гуманну...— Инициатива раскопок и открытия алтаря Зевса принадлежит немецкому инженеру К. Хуману (Humann) (1839—1896), строившему по поручению турецкого правительства дороги и мосты в Малой Азии. К. Хуман был в Смирне не консулом, а директором прусского музея (см.: Wigand T. I. Turgenev und die Skulpturen des Altars von Pergamon.— Zeitschrift für slavische Philologie, 1932, Bd. IX, Heft 1—2, S. 70).

...алтаря, посвященного Зевесу и Палладе...— Пергамский алтарь был посвящен одному Зевсу. Кроме него, в Пергаме было и святилище, посвященное Афине Палладе.

Стр. 327. *...останки Парфенона.*— Парфенон — храм Афины Парфенос на Акрополе в Афинах. Разрушен в 1687 г., частично восстановлен.

...какое поразительное зрелище ᔓ в своей бессмертной красоте.— Ср. с аналогичной мыслью в «Речи о Пушкине»: «Что нам осталось от Греции? Ее душа осталась нам! Религиозные формы, а за ними научные, также переживают народы, в которых они проявились, но в силу того, что в них есть общего, вечного; поэзия, искусство — в силу того, что в них есть личного, живого» (см. наст. изд., т. 12).

Стр. 328. *...человеческая нога ᔓ на мертвого гиганта.*— Здесь речь идет о двух эпизодах: лев, терзающий гиганта; Афродита и убитый гигант. Позднее было установлено, что «идеально прекрасная нога» принадлежит изображению Афродиты (см.: Zeitschrift für slavische Philologie, 1932, Bd. IX, Hf. 1—2, S. 71).

Стр. 329. *...по поводу, например, Лаокоона...*— Скульптурная группа Лаокоона была создана между III и I вв. до н. э.

...или умирающего Гладиатора...— Вероятно, речь идет о статуе «Умирающий галл», произведении пергамской школы, связанном с алтарем Зевса.

...фарнезского Быка...— Скульптурная группа, известная в римской копии с греческого оригинала второй половины II в. до н. э., изображающая, по греческой мифологии, смерть Дирки, привязанной Амфионом и Зетом к рогам быка.

...толковали о границах живописи и ваяния...— Речь идет о труде Г. Э. Лессинга «Лаокоон, или О границах живописи и поэзии» (1766).

...после Фидиаса? — Фидий (нач. V в. до н. э.— около 432—431 гг. до н. э.) — древнегреческий скульптор; реконструировал Акрополь в Афинах, под его руководством выполнялось скульптурное убранство Парфенона.

Стр. 330. *Эта прелестная голова ᔓ Гейне читала и знает Шумана...*— Впоследствии выяснилось, что эта голова принадлежит изображению молодого Диониса, одной из фигур малого фриза.

ПРЕДИСЛОВИЯ

⟨ПРЕДИСЛОВИЕ К «СТИХОТВОРЕНИЯМ А. А. ФЕТА, 1856 г.»⟩

(с. 331)

Печатается по тексту первой публикации: Стихотворения А. А. Фета. Санкт-Петербург, 1856, где опубликовано без подписи.

В собрание сочинений впервые включено в изд.: *Т*, *ПСС и П*, *Сочинения*, т. XV, с. 79.

Автограф неизвестен.

О принадлежности предисловия Тургеневу свидетельствует Фет в своем предисловии к сборнику «Вечерние огни». М., 1888. Вып. 3.

⟨ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРЕВОДУ «УКРАИНСКИХ НАРОДНЫХ РАССКАЗОВ» МАРКА ВОВЧКА⟩

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

(с. 332)

Печатается по тексту первой публикации: Украинские народные рассказы Марка Вовчка. Перевод И. С. Тургенева. СПб., 1859, с. I—II.

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т*, *Сочинения*, т. 12, с. 276.

Автограф неизвестен.

В конце 1857 г. вышло в свет украинское издание рассказов М. А. Маркович (Марко Вовчок), осуществленное в Петербурге П. А. Кулишом (на титуле указан 1858 год). Рассказы молодой писательницы получили в критике чрезвычайно высокую оценку как выдающееся явление украинской народной культуры (см.: *Рус Вестн*, 1857, № 12. Современная летопись, с. 232).

В июне 1858 г. «Русский вестник» приступил к печатанию этих рассказов в собственном переводе автора на русский язык. Однако русский читатель не мог быть удовлетворен несовершенными авторскими переводами [1]. За новый перевод взялся Тургенев. Потребность сделать творчество украинской писательницы, как выразился Тургенев в своем предисловии, «дорогим и домашним для русской публики» объяснялась художественной самобытностью рассказов и их идейной созвучностью «Запискам охотника».

---

[1] Подробнее об этом см.: Сиваченко М. Е. До питання про канонічний текст «Народних оповідань» Марка Вовчка.— В кн.: Марко Вовчок. Статті і дослідження. Київ: АН УРСР, 1957, с. 11.

Обращение переводчика к читателю помечено мартом 1859 г. Дата же цензурного разрешения (9 февраля 1859 г.) свидетельствует о том, что рассказы были переведены уже к началу февраля. Очевидно, Тургенев спешил с этой работой к приезду автора (М. А. Маркович появилась в Петербурге 4 февраля н. ст., а 10 февраля Тургенев уже сообщил в письме к Боткину о знакомстве с ней).

При переводе рассказов Тургенев пользовался не только авторским русским переводом, имеющим пропуски и неточности, но и украинским оригиналом текста или подстрочным его переводом, отредактированным и авторизованным писателем так же, как это было, когда Тургенев переводил повесть Марка Вовчка «Институтка» [2]. Это обстоятельство, а также сохранившаяся рукопись подстрочного перевода «Институтки» с правкой рукой Тургенева противостоят версии, по которой переводы Тургенева считались литературной фикцией, поскольку писатель не знал украинского языка [3].

«Народные рассказы» Марка Вовчка в переводе Тургенева имели большой успех в самых широких литературных кругах. Многочисленные отклики на книгу появились в русской и зарубежной печати [4].

«Московские ведомости», в корреспонденции Ол. Гатцука, сообщили о новом «весьма хорошем» переводе украинских рассказов Марка Вовчка, исполненном И. С. Тургеневым (*Моск Вед*, 1859, № 98, 26 апреля).

В «Современнике» с большой критической статьей о переводе «Украинских народных рассказов» выступил Н. И. Костомаров, отметивший, что только Тургенев из всех русских писателей «способен к совершенно удовлетворительному исполнению подобной задачи» и что «...русская публика получает теперь перевод украинских рассказов Марко Вовчка, не уступающий оригиналу» (*Совр*, 1859, № 5, с. 103—113).

Не менее высокую оценку встретила книга в «Колоколе»: «Рассказы эти ⟨. . .⟩ остановили нас именем переводчика,— писал А. И. Герцен.— Прочитавши, мы поняли, почему величайший современный русский художник — И. Тургенев перевел их» (Колокол, 1860, л. 71, 15 мая н. ст.).

Мастерство перевода Тургенева было отмечено даже в отрицательных рецензиях на книгу, в частности, в статье А. В. Дружи-

---

[2] См. об этом в названной выше статье М. Сиваченко, с. 112—115.

[3] На это намекал в своем «Дневнике» А. В. Никитенко (*Никитенко*, запись от 19 марта 1859 г., т. 2, с. 77). О том, что Тургенев не знал украинского языка и только поставил свое имя под переводом по просьбе издателя, писала сама Марко Вовчок в 1894 г. в письме к Г. А. Фальборку (Твори Марка Вовчка. Київ, 1928. Т. 4, с. 481). Лучшим опровержением этого позднего заявления служат письма самого Тургенева к Марко Вовчок, к Н. Я. Макарову и к В. Я. Карташевской о работе над переводом «Институтки» по подстрочнику и по оригиналу.

[4] См. библиографический указатель в изд.: Твори Марка Вовчка. Київ, 1928. Т. 4, с. 651—652; ср. в сб.: Марко Вовчок в критиці. Упорядкування, вступна стаття і примітки М. Д. Бернштейна. Київ, 1955, с. 53.

нина (см.: *Б-ка Чт*, 1859, т. 11, с. 1—14). Рецензия Дружинина встретила достойную отповедь в статьях: А. И. Герцена «Библиотека, дочь Сенковского» («Колокол») и К. Н. Леонтьева «За Марко Вовчка» (*Отеч Зап*, 1859, № 12, с. 112—120).

Тургеневский перевод произведений Марка Вовчка лег в основу последующих русских изданий.

⟨ПРЕДИСЛОВИЕ К ФРАНЦУЗСКОМУ ПЕРЕВОДУ «ДРАМАТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА»⟩

(с. 333)

Печатается по тексту первой публикации: Poèmes dramatiques d'Alexandre Pouchkine. Traduits du russe par Ivan Tourguéneff et Louis Viardot. Paris, 1862, p. 1—7. В русском переводе впервые опубликовано Н. О. Лернером: Красная газета, вечерний выпуск (1926, № 2, 3 января).

В собрание сочинений впервые включено в изд.: *Т*, *ПСС и П*, *Сочинения*, т. XV, с. 81.

Автограф неизвестен.

Предисловие предпослано прозаическим переводам на французский язык драматических произведений Пушкина, выполненным Тургеневым при участии Луи Виардо и изданным отдельной книгой. В книгу вошли: «Борис Годунов», «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Русалка» и «Каменный гость» [1].

В конце апреля 1860 г. Тургенев прочитал в Петербурге две публичные лекции о Пушкине (см. о них наст. изд., т. 11). Эти лекции не были напечатаны, но материал их частично вошел впоследствии в «Воспоминания о Белинском» (наст. изд., т. 11), а некоторые страницы Тургенев использовал для комментируемого предисловия (см.: *Т*, *Сочинения*, т. 12, с. 563). Предисловие адресовано к французским читателям, что и определило его содержание.

В годы жизни за границей Тургенев был одним из самых деятельных и неутомимых популяризаторов Пушкина среди писателей Западной Европы (см. об этом: *Алексеев*, с. 60). Одним из них он читал произведения поэта в подлиннике и тут же бегло переводил их, другим рассказывал о Пушкине, толковал его произведения, оказывал помощь при его изучении. Так, например, к 1860—1861 гг. относятся несколько писем П. Мериме к Тургеневу, посвященных в основном вопросам, связанным с переводом на французский язык произведений Пушкина (см.: Parturier M. Une amitié littéraire. Prosper Mérimée et Ivan Tourguéniev. Paris, 1952, p. 62, 63—66, 67, 69—71). Можно предполагать, что Тургенев рассматривал свою помощь Мериме в восприятии и истолковании творчества Пушкина не только как личную дружескую услугу, но и как часть своей широко задуманной программы популяризации за рубежом наследия великого русского поэта.

---

[1] Более подробный комментарий к предисловию см. в статье: Назарова Л. Н. К истории творчества И. С. Тургенева 50—60-х годов. II. Тургенев О Пушкине-драматурге.— *Орл сб*, *1960*, с. 146—153, 156—158.

Сведения о том приеме, который был оказан во Франции сборнику переводов драматургии Пушкина, были тогда же помещены в русской печати. Так, Н. В. Щербань в письме «Из Парижа» сообщал, что «перевод драматических поэм Пушкина, принадлежащий перу гг. Тургенева и Виардо ⟨. . .⟩ имел успех, после которого имя Пушкина, до сих пор звучавшее для Франции совершенно чуждо, стало ей вполне знакомым, а его произведения, известные публике лишь платонически, прочитаны каждым образованным французом. Издание сразу вошло в библиотеки ⟨. . .⟩ вызвало статьи в уважаемых критических органах, подняло всеобщий говор. Этого мало, оно возбудило в публике желание узнать еще ближе русского поэта» (*Рус Вестн*, 1862, ноябрь. Современная летопись, № 48, с. 8). Щербаню вторил корреспондент «Современного слова» (1862, № 155, 9 декабря): «Если существует совершенство в человеческих делах, то мы можем утвердительно сказать, что перевод этот совершенен, в нем сохранены все красоты подлинника». Несколько более сдержанным был отзыв, появившийся в 1864 г. в «Еженедельном прибавлении к „Русскому инвалиду“» (№ 40, 9 ноября) и представляющий собою пересказ статьи A. Claveau, помещенной в «Journal des Débats» (1864, 13 и 14 октября). В нем отмечалось, что «нелегкая задача», которую поставили перед собой переводчики драм Пушкина, была разрешена ими «довольно удачно», особенно если иметь в виду, что «французская проза представляла немало трудностей при передаче красот пушкинского стиха». Рецензии более позднего времени носили в основном критический характер (см.: *Орл сб*, *1960*, с. 152).

С т р. 333. *...незадолго до того он написал ∽ я могу творить».* — Тургенев, очевидно, по памяти и потому не совсем точно цитирует фразу из письма Пушкина к Н. Н. Раевскому-сыну от второй половины июля 1825 г. (*Пушкин*, т. 13, № 193). Точный текст: «Je sens que mon âme s'est tout-à-fait développée — je puis créer» («Чувствую, что духовные силы мои достигли полного развития — я могу творить»). О происхождении ошибки Тургенева, считавшего, что Пушкин написал это незадолго до смерти, см. подробно в примеч. Н. В. Измайлова к ⟨Речи по поводу открытия памятника А. С. Пушкину в Москве⟩ — наст. изд., т. 12.

...в одном возрасте с Рафаэлем и Моцартом... — Рафаэль Санти (1483—1520) прожил 37 лет, В. А. Моцарт (1756—1791)—35.

...мы сами попытались перевести на французский язык ∽ «Капитанская дочка». — Тургенев имеет в виду издание, вышедшее впервые в Париже в 1853 г.: «La Fille du capitaine» par Alexandre Pouchkine. Roman traduit du russe par Louis Viardot. Paris: Hachette et C-ie, 1853. Переиздания (при жизни Тургенева): 1854, 1866, 1869, 1871, 1873, 1876, 1879 гг. (см.: П у ш к и н А. С. Капитанская дочка. Серия «Литературные памятники». М.: Наука, 1964, с. 274).

Пушкин никогда ничего не писал для сцены ∽ прежде всего, «Борис Годунов». — Ошибочное мнение о несценичности «Бориса Годунова» и о том, что Пушкин писал его не для сцены, неоднократно высказывалось как современной Пушкину критикой (В. Г. Белинский, Н. А. Полевой, Н. И. Надеждин), так и позднее, о чем было известно Тургеневу. В действительности же Пушкин желал увидеть свою трагедию поставленной на сцене, о чем свидетельствуют и наброски предисловия к трагедии (см.: *Пушкин*,

т. 11, с. 141) и то, что поэт через П. А. Катенина думал поручить А. М. Колосовой роль Марины Мнишек (см. письмо П. А. Катенина к Пушкину от 6 июня 1826 г.— *Пушкин*, т. 13. с. 282).

Стр. 334. *Драма «Борис Годунов» была написана в 1825 г. и, немного спустя, издана.*— В действительности «Борис Годунов» был полностью напечатан лишь в 1831 г.

...*«Моцарт и Сальери» и «Русалка» также были опубликованы при жизни Пушкина.*— «Моцарт и Сальери» был напечатан впервые в альманахе «Северные цветы на 1832 год», а «Русалка» появилась в печати только после смерти Пушкина (*Совр*, 1837, т. 6).

...*«Скупой рыцарь» ∽ лишь в его посмертных сочинениях.*— «Скупой рыцарь» впервые был напечатан самим Пушкиным в 1 томе «Современника» за 1836 г.

Что касается до драмы «Каменный гость» ∽ ни с своим замыслом.— «Каменный гость» впервые был напечатан в сборнике «Сто русских литераторов. Том первый». СПб., 1839. Утверждение Тургенева, что «Каменный гость» не был известен друзьям Пушкина, неточно: о драме знали и ее читали Плетнев, Вяземский, Жуковский (см.: *Пушкин*, т. 14, с. 133 и 203; Вяземский П. А. Записные книжки (1813—1848). Серия «Литературные памятники». М.: АН СССР, 1963, с. 208). Из перечисленных Тургеневым произведений западноевропейской литературы для Пушкина наибольшее значение имели в качестве источников пьеса Мольера «Дон-Жуан» и опера Моцарта под тем же названием.

Стр. 335. *...по испанскому выражению, смело хватает быка за рога.*— В речи по поводу открытия памятника А. С. Пушкину в Москве (см. т. 12) Тургенев отмечает, что это выражение характерно и для французского языка.

⟨ПРЕДИСЛОВИЕ К «ДНЕВНИКУ ДЕВОЧКИ» С. БУТКЕВИЧ⟩

(с. 339)

Печатается по тексту первой публикации в книге С. М. Буткевич, напечатанной под псевдонимом: «Дневник девочки. Сочинение С. Буташевской, с предисловием И. С. Тургенева». СПб., 1862, с. 1—3. Второе и третье издания этой книги вышли в 1881 и 1897 гг. с измененным титулом под настоящей фамилией автора: С. Буткевич.

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т*, *Сочинения*, т. 12, с. 277—278.

Автограф неизвестен.

В конце мая (30 или 31 ст. ст.) 1862 г. Тургенев обратился к владельцу книжного магазина в Петербурге, пользовавшемуся издательскими правами, Н. А. Серно-Соловьевичу (одному из организаторов тайного общества «Земля и воля») с предложением издать сочинение, написанное одной его знакомой и предназначенное для детей (см. также письма Тургенева к М. А. Маркович от 4(16) июня и 15(27) августа 1862 г.). Серно-Соловьевич согласился, и Тургенев написал предисловие к книге.

Позднее, 22 марта (3 апреля) 1863 г., Тургенев на обращенный к нему вопрос Сенатской следственной комиссии об отношениях его с Н. А. Серно-Соловьевичем показал: «С г. Серно-Соловьевичем

я ⟨. . .⟩ не был знаком лично и обратился к нему как книгопродавцу и издателю. Одна знакомая мне дама поручила мне продать рукопись сочиненной ею детской книжки под заглавием „Дневник девочки". Г-н Серно-Соловьевич, к которому я пришел после отказа двух или трех других книгопродавцев, купил у меня эту рукопись и напечатал ее впоследствии вместе с моим предисловием».

Сохранилась копия перлюстрированного письма С. М. Буткевич к И. С. Тургеневу от 1 ноября 1862 г. из Женевы, из которого видно, что автор «Дневника девочки» была осведомлена о том, что публикация книги через Серно-Соловьевича была связана для Тургенева с некоторым риском: «Как Вам не наскучило,— писала она,— хлопотать обо мне, милый, дорогой мой Ив⟨ан⟩ Сер⟨геевич⟩. Не хочу переводить на заразу благодарности то, что есть для Вас в душе моей и что бы, впрочем, хотела, чтобы Вы знали, но только так, как-нибудь нечаянно... Но Вы и без того можете обойтись. Не правда ль? А потому предоставляю Вам свободу делать мне добро, сколько Вам угодно,— а я свое выдержу в смысле той благодарности — ни гу-гу! Мне писали из Петербурга, что Вы будете в Женеве? Было бы просто прелесть, если бы это случилось. Как бы я наговорилась с Вами, а лучше сказать, наслушалась бы Вас и пр. пр.» (Лобач-Жученко Б. Б. Тургенев и М. А. Маркович.— *Т сб*, вып. 5, с. 376).

Сформулированные Тургеневым в его небольшом предисловии требования к детской литературе перекликаются с педагогическими и эстетическими взглядами Белинского (ср.: *Белинский*, т. 4, с. 89; т. 10, с. 139).

«Дневник девочки» С. Буткевич привлек значительное внимание критики. Этому особенно способствовала рекомендация Тургенева. Критики большей частью соглашались или спорили с оценкой книги, данной в предисловии.

Рецензент «Отечественных записок», возражая Тургеневу, находил, что замысел книги не соответствует исполнению, так как «способ изложения» в ней «отвлеченный и скучный для ребенка», характерный для Буткевич прием олицетворения предметов предупреждает «процесс ⟨. . .⟩ воображения у ребенка», мотивы приключений самой девочки «сентиментальны и лишены всякого движения» (*Отеч Зап*, 1862, № 12, с. 187—191). «Отзыв г. Тургенева,— по мнению рецензента,— не более, как любезность светского человека» (там же, с. 191). Подобные же суждения были высказаны в библиографическом обозрении «Книжного вестника» (1862, № 23, с. 471).

Положительно отозвался о «Дневнике девочки» и солидаризировался с Тургеневым библиограф «Учителя» Е. Кемниц. Отметив такие особенности книги, как описание «в форме разговора ⟨. . .⟩ самых простых ежедневных явлений и предметов природы», благородную простоту рассказа, «сквозь которую слышится высокое нравственное чувство», Кемниц сослался на предисловие Тургенева (Учитель, 1863, № 17).

В 1880—1882 гг., в связи с выходом в свет второго издания книги (на титульном листе: 1881 г.; дата цензурного разрешения — 10 мая 1880 г.), появилось еще несколько откликов. Отрицательную оценку второе издание книги получило в газетах «Россия» (1880, № 30, 15 октября) и «Русь» (1880, № 3, 29 ноября), а также в «Педагогическом сборнике» (1882, вып. 4, с. 602—603).

Рецензент «Женского обозрения» Е. С. отметил, что предисловие Тургенева — «отличная критическая мерка» для 1860-х годов, когда оно было написано к 1-му изданию, но что в 1880-е годы более четко определилось уже новое, реалистическое направление в детской литературе, чуждое «всякой фальши, как и всякой шаблонной морали». и «Дневник девочки», «хотя и придерживается этого же пути, но стоит на низших ступенях его» (Женское обозрение, 1881, № 4, с. 248—249).

В «Русском курьере» автор заметки о книге Буткевич, В. А., писал о предисловии Тургенева: «Независимо от того, что подобное предисловие как нельзя более служит ручательством за хорошие достоинства книги, оно в высшей степени интересно по тем взглядам, которые вообще высказывает несомненно авторитетный голос относительно детских книг». Процитировав основные положения Тургенева, В. А. напоминал о них «многочисленным охотникам писать книги для детей, охотникам, подобным Авенариусу или Смирнову». Разбор «Дневника девочки» сопровождался выводом: «Что касается г-жи Буткевич, то мы можем смело сказать, что ее книга вполне заслуживает как лестного предисловия известного писателя, так и внимания публики» (Русский курьер, 1881, № 54, 25 февраля).

⟨ПРЕДИСЛОВИЕ К ФРАНЦУЗСКОМУ ПЕРЕВОДУ ПОЭМЫ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА «МЦЫРИ»⟩

(с. 341)

Печатается по тексту первой публикации: Revue moderne, 1865, 1 juillet, t. 34, p. 31.

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т*, *Сочинения*, т. 12, с. 279.

Автограф неизвестен.

Предисловие было напечатано перед французским прозаическим переводом поэмы «Мцыри», выполненным Тургеневым. Перевод Тургенева был первым переводом «Мцыри», появившимся во Франции, хотя на французский язык поэма была переведена уже в 1862 году Анри Ришаром и напечатана в Швейцарии (Bibliothèque universelle et Revue suisse, 67-e année, nouvelle période, t. 13. Genève, 1862).

Об отношении Тургенева к творчеству Лермонтова см.: Назарова Л. Н. Тургенев и Лермонтов.— В сб.: Лермонтов и литература народов Советского Союза. Ереван, 1974, с. 129—147.

Стр. 342. *...он издал ᔕ здесь читателям.*— Поэма «Мцыри» впервые была напечатана в сб.: Стихотворения М. Лермонтова. СПб., 1840.

Небольшая поэма ᔕ в стену своей темницы.— Эта оценка поэтического своеобразия «Мцыри» близка к оценке Белинского, данной в статье «Стихотворения М. Лермонтова» (см.: *Белинский*, т. 4, с. 543).

Г-н Мериме ᔕ нашу благодарность.— В письмах Мериме к Тургеневу нет упоминаний о переводе «Мцыри» и о совместной работе над ним писателей; письма Тургенева к Мериме полностью ут-

рачены. В первой публикации перевод был напечатан за подписью Тургенева, хотя там же, на титульном листе, стояли два имени: Тургенев и Мериме.

⟨ПРЕДИСЛОВИЕ К ИЗДАНИЮ СОЧИНЕНИЙ 1865 г.⟩

(с. 343)

Печатается по тексту первой публикации: *Т*, *Соч*, *1865*, ч. 1, вкладной лист. В позднейшие прижизненные издания не входило.

В посмертные собрания сочинений впервые включено в издании: *Т*, *Сочинения*, т. 12, с. 278.

Автограф неизвестен.

В начале 1864 г. выяснилось, что вышедшее в 1860—1861 годах четырехтомное собрание сочинений Тургенева раскуплено; в связи с этим возникла необходимость нового издания.

Собрание сочинений 1865 г. Тургенев дополнил произведениями, написанными им после выхода в свет предыдущего издания (1860—1861 гг.). Это: роман «Отцы и дети», напечатанный в «Русском вестнике» (1862, № 2) и отдельным изданием (1862), «Призраки», появившиеся в 1864 г. в журнале Достоевского «Эпоха» (№ 1-2), и нигде еще не печатавшийся отрывок «Довольно».

Пьеса «Завтрак у предводителя», впервые напечатанная Тургеневым в этом издании в составе собрания сочинений, была написана в 1849 г. и тогда же запрещена цензурой. В 1856 г. Тургенев опубликовал в «Современнике» (№ 8) вторую редакцию пьесы, приспособленную к требованиям цензуры. Готовя «Завтрак у предводителя» для издания 1865 г., писатель подверг текст пьесы значительной литературно-стилистической правке (см.: наст. изд., т. 2, с. 622).

Из произведений, к тому времени уже написанных и опубликованных, Тургенев по-прежнему не включил в собрание сочинений драматический очерк «Неосторожность» (*Отеч Зап*, 1843, № 10), поэму «Параша» (отдельное издание 1843 г.) и речь «Гамлет и Дон-Кихот» (*Совр*, 1860, № 1), что с сожалением было отмечено критикой (см.: Книжный вестник, 1865, № 12, с. 237).

Появление нового издания сочинений Тургенева 1865 г. было встречено рядом рецензий [1].

ПРЕДИСЛОВИЕ ⟨К ПЕРЕВОДУ «ВОЛШЕБНЫХ СКАЗОК» ШАРЛЯ ПЕРРО⟩

(с. 344)

Печатается по тексту первой публикации: Волшебные сказки Перро, перевод с французского Ивана Тургенева. СПб., 1866, вкладной лист.

---

[1] См.: Сын отечества, 1865, № 219, 13 сентября; Русский инвалид, 1865, № 161, 24 июля; *СПб Вед*, 1865, № 178, 14(26) июля; Книжный вестник, 1865, № 12, с. 236.

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т*, *Сочинения*, т. 12, с. 280—281.

Черновой автограф хранится в *Bibl Nat*, Slave 74, описание см.: *Mazon*, p. 67; микрофильм — *ИРЛИ*.

В 1862 г. парижский издатель Ж. Этцель (J. Hetzel) выпустил издание сказок Перро с иллюстрациями Гюстава Доре. Тогда же он обратился к Тургеневу с предложением перевести сказки Перро на русский язык и написать к ним предисловие, обращенное к русским читателям. Книгу взялся издать петербургский книгопродавец М. О. Вольф. «Спешу сообщить вам,— писал 9(21) июля 1862 г. Тургенев Ж. Этцелю,— что с большим удовольствием принимаю ваше предложение: переводить Перро — это подлинно счастливый случай, и вы можете уведомить г. Вольфа, что я за это берусь». В том же письме Тургенев обещал закончить работу к осени 1862 г.; однако и через три года, в феврале 1865 г., перевод еще не был готов. Нарушив все сроки, Тургенев выпужден был обратиться за помощью к другим лицам. В результате писатель перевел сам только «Волшебниц» («Les Fées») и «Синюю бороду» («La Barbe-bleu»). В парижском архиве Тургенева хранятся черновики переводов этих двух сказок (см.: *Mazon*, p. 67). Остальные семь сказок (из девяти вошедших в книгу) были переведены Н. В. Щербанем (см.: *Рус Вестн*, 1890, № 8, с. 18—24) при участии Н. Н. Рашет, о чем Тургенев ей напомнил в письме от 23 августа (4 сентября) 1866 г.

За недостатком времени Тургенев не смог отредактировать переводы, сделанные другими участниками издания, о чем писал 16(28) марта 1867 г. И. П. Борисову, сообщившему о стилистических погрешностях, вкравшихся в текст сказок и замеченных А. А. Фетом.

Стр. 345. *«Дети ∽ им нужно».*— Перевод фразы из предисловия Ж. Этцеля (см.: Les Contes de Perrault. Dessins par Gustave Doré, Préface par P.-J. Stahl. Paris, 1862, p. XI).

...умер там же в 1697.— Тургенев ошибается, Шарль Перро (Perrault), французский поэт и критик, член Французской академии, умер в 1703 г.

...В 1693 году ∽ первое издание своих сказок...— Первый сборник сказок Шарля Перро «Сказки моей матушки Гусыни, или Истории и сказки былых времен с поучениями» вышли в свет в 1697 году.

...смешивать с его братом...— Клод Перро (ок. 1613—1688) французский архитектор, врач по образованию, занимался математикой, физикой и археологией. По его проекту построены парадный, украшенный парными коринфскими колоннами, восточный и более скромный южный фасады Лувра (1667—1674).

ПРЕДИСЛОВИЕ ⟨К ПЕРЕВОДУ РОМАНА МАКСИМА ДЮКАНА «УТРАЧЕННЫЕ СИЛЫ»⟩

(с. 346)

Печатается по тексту первой публикации: Собрание иностранных романов, повестей и рассказов в переводе на русский язык, издаваемое Е. Н. Ахматовой. СПб., 1868. Т. 1, с. 5—11.

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т*, *Сочинения*, т. 12. с. 282—286.

Черновой автограф хранится в *Bibl Nat*, Slave 75; описание см.: *Mazon*, p. 71; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 328.

Осенью 1866 г. на страницах парижского журнала «Revue Nationale» появился новый роман французского писателя Максима Дюкана (1822—1894) «Утраченные силы» («Les Forces perdues»). В середине марта 1867 г. роман вышел отдельно, а вскоре после этого Дюкан обратился к Тургеневу, находившемуся тогда на родине, с письмом (до нас не дошедшим), в котором просил его порекомендовать «Утраченные силы» для перевода и издания на русском языке. Тургенев откликнулся на просьбу Дюкана, но выполнил ее, по-видимому, только в середине апреля н. ст. того же года, когда он побывал в Петербурге: именно там выходило «Собрание иностранных романов, повестей и рассказов», куда он предназначал роман Дюкана. Тогда же, в ответ на предложение издательницы «Собрания» Е. Н. Ахматовой, Тургенев обещал написать к русскому изданию «Утраченных сил» специальное предисловие. Возвратившись в Баден-Баден, он известил Дюкана (в письме от 17(29) апреля 1867 г.) о результатах своих хлопот и сообщил, что предисловие «должно быть готово к 1 июня».

В действительности оно было написано полностью лишь к середине октября н. ст. и 7(19) октября 1867 г. отправлено П. В. Анненкову вместе с письмом, в котором, между прочим, говорилось: «...предисловие окончено мною только теперь (Дюкану я, тайно краснея, сказал, что давно его послал) и теперь препровождается к Вам 〈. . .〉. Не теряйте, пожалуйста, времени и попросите г-жу Ахматову поспешить печатаньем, так как я здесь пропадаю от стыда перед Дюканом».

Изучение чернового автографа предисловия показывает, что на заключительном этапе работы в текст была внесена значительная правка. Так, в печатный текст не попала фраза, которой оканчивался биографический раздел предисловия: «Дюкан не только писатель — он человек в лучшем смысле этого слова — и это чувствуется в его произведениях». Характерно для работы над рукописью обширное дополнение, состоящее сплошь из названий «продуктов французской беллетристики». Первоначально Тургенев привел всего несколько случайных примеров, при обработке же, добиваясь наибольшего эффекта, вписал на полях не менее пятнадцати, причем работа над этим фрагментом не прекратилась и позднее: в окончательную редакцию не попали, например, такие названия, как «Bonjour et bonsoir» (роман Л. Лакруа, 1864) и «L'Homme à l'oreille cassée» (роман Э. Абу, 1862). Наконец, стремясь привлечь внимание читателей к роману Флобера «Госпожа Бовари» (1856), не имевшему в России успеха, Тургенев ввел лаконичный, но необычайно выразительный отзыв о нем: «бесспорно, самое замечательное произведение новейшей французской школы».

Говоря о «новейшей французской школе», Тургенев не имел в виду единого художественного направления. По всей вероятности, речь шла о реализме 1840—50-х годов, тенденции которого отчасти получили воплощение в знаменитом романе Флобера. К этому же течению Тургенев относил и роман Дюкана, хотя между «школой здравого смысла», к которой тот принадлежал, и позицией

автора «Госпожи Бовари» было значительно меньше сходства, чем различий.

В представлении Тургенева, творчество этих писателей, столь несходных по художественным ориентациям и масштабам дарований, сближает одна общая черта, или точнее — тенденция. Это «объективность», по терминологии Тургенева — «жизненная правда». С этой точки зрения, едва ли не самым выдающимся среди писателей был для него Лев Толстой. Вообще твердая убежденность в том, что русская литература уже давно поднялась до уровня наиболее развитых европейских и обрела право на полную независимость, лежит в основе предисловия. Этой мыслью продиктована тургеневская критика французской беллетристики (и драматургии) эпохи Второй империи и его желание преградить им путь к русскому читателю. Однако и в данном случае достаточно отчетливо проявилось то глубокое сочувствие идее духовного общения народов, которое Тургенев пронес через всю свою жизнь: неприязненно-раздраженное отношение к французской литературе 1850—60-х годов в целом не помешало ему по достоинству оценить не только роман Флобера, но и новую книгу Дюкана. Рекомендуя «Утраченные силы» русским читателям, Тургенев руководствовался стремлением вводить в поле зрения своих соотечественников любой, пусть самый скромный, новый факт культурной жизни европейских стран, способный — так или иначе — принести им реальную пользу. Предисловие к «Утраченным силам» явилось началом деятельности Тургенева по ознакомлению русской читающей публики с современной французской литературой — с творчеством Флобера, Золя, Э. Гонкура, Доде, Л. Кладеля и других. Наибольшего размаха деятельность эта достигла уже после переселения писателя во Францию, в 1870-х годах.

Стр. 347. *...В. Гюго ∽ головою вниз...* — Тургенев имеет в виду поэтический сборник В. Гюго «Песни улиц и лесов» (1865), его роман «Труженики моря» (1866), а также его книгу «Вильям Шекспир» (1865), особенно главу V книги.

Абу и Фейдо ∽ Фелье? — Эдмон *Абу* (1828—1885), Эрнест *Фейдо* (1821—1873), Октав *Фелье* (1821—1890) — французские романисты.

Стр. 348. *...Дюсис и Делилль ∽ Парнаса...* — Жан Франсуа *Дюсис* (1733—1816) и Жак *Делилль* (1738—1813) — французские писатели-классики; период их наибольшей известности в России — первая четверть XIX века.

...«Фанни ∽ издателя... — Нашумевшая повесть Э. Фейдо (1858); в русском переводе издана в 1870 г.

...все эти «Griffes roses» ∽ «Le nez d'un notaire»... — Тургенев приводит, иногда неточно, названия романов следующих авторов: А. Рено («La Griffe rose», 1862), А. де Кока («L'amour et le diable», 1858), П. Феваля («Le fils du diable», 1847 и «Le tueur de tigres», 1854), А. Роллана («Le fils de Tantale», 1863), А. Николя («Le tueur de mouches», 1861), Г. Шодена («Palsambleu!», 1856), Э. де Лонле («Ce que vierge ne doit lire», 1867), А. де Понмартена («Entre chien et loup», 1866), графини Даш («La poudre et la neige», 1845), Э. Абу («Le nez d'un notaire», 1862) и других.

Мы уже не упоминаем о книжицах вроде мемуаров Терезы, Могадоры, Коры, Леотара... — Речь идет о «Mémoires de Thérèse écrits par elle-même» (Paris, 1865) и других сочинениях со сходными на-

званиями (например, «Mémoires d'une femme de chambre», 1864; «Mémoires d'une honnête fille», 1865; «Mémoires d'une modiste», 1866; «Mémoires de Finette», 1867).

...в столице «Фигаро».— «Le Figaro» — бульварная газета, выходившая в Париже; основана в 1854 г. Вильмессаном.

Оффенбах Жак (1819—1880) — французский композитор, автор многочисленных оперетт; расцвет его деятельности приходится на эпоху Второй империи.

⟨ПРЕДИСЛОВИЕ К НЕМЕЦКОМУ ПЕРЕВОДУ «ОТЦОВ И ДЕТЕЙ»⟩

(с. 351)

Печатается по тексту первой публикации: Väter und Söhne, von Ivan Turgenjew. Autorisierte Ausgabe mit einem Vorwort des Verfassers. Mitau: E. Behre's Verlag, 1869.

В собрание сочинений включено впервые в издании: *Т, ПСС и П*, *Сочинения*, т. XV, с. 101 (в русском переводе приведено — не полностью — там же, т. VIII, с. 612).

Автограф неизвестен.

Немецкий перевод «Отцов и детей» был издан Э. Бере, годом раньше опубликовавшим в Митаве немецкое издание романа «Дым», о котором Тургенев отозвался резко отрицательно, назвав его «грандиознейшим, возмутительным по своей тупости свинством» (письмо к Л. Пичу от 15(27) мая 1868 г.).

Дав разрешение Э. Бере на издание избранных сочинений, которое открывалось бы романом «Отцы и дети», и считая себя «слишком мало знакомым с немецкой стилистикой», Тургенев просил Л. Пича 3(15) января 1869 г. взять на себя правку немецкого перевода.

Л. Пичу Тургенев предоставил не только полную свободу распоряжения переводом, но отдал ему на редакцию и свое предисловие. 12(24) февраля 1869 г. Тургенев писал ему: «С предисловием дело обстоит так. Я обещал ему *несколько* строк, где я *ручаюсь* за перевод. Эти строки Вы найдете „ci-joints“; придайте им более немецкий вид и отправьте их с богом в Рудольштадт».

От высокой оценки перевода, данной в предисловии к немецкому изданию «Отцов и детей», Тургенев несколькими годами позже отказался. В письме от 11(23) февраля 1873 г. он писал об этом Ю. Шмидту, прося пересмотреть перевод для готовившегося нового издания. «Несмотря на то, что я в предисловии с неслыханным энтузиазмом расхвалил перевод, в нем попадаются совершенно недопустимые неточности и сокращения».

ОБРАЗЧИК СТАРИННОГО КРЮЧКОТВОРСТВА

Из письма к издателю ⟨«Русского архива»⟩

(с. 352)

Печатается по тексту первой публикации: *Рус Арх*, 1870, № 1, с. 270, где помещено как предисловие к «Прошению секунд-майора Аленина» (Оленина) от 16 марта 1796 г. на имя правителя тамбовского наместничества генерал-майора С. В. Неклюдова.

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т*, *Сочинения*, т. 12, с. 287—288.

«Письмо к издателю» адресовано П. И. Бартеневу и входит в состав частного письма к нему Тургенева от 18(30) ноября 1869 г.

Черновой автограф первоначальной редакции письма, обращенной к издателю «Московского сборника» И. С. Аксакову, хранится в *ЦГАЛИ*, ф. 509, оп. 1, № 13.

Подготовкой к печати «Образчика старинного крючкотворства» Тургенев занялся в конце 1851 — самом начале 1852 г. в связи с просьбой И. С. Аксакова прислать что-либо для издаваемого им совместно с К. С. Аксаковым в 1852 г. первого тома «Московского сборника» (см.: *Рус Обозр*, 1894, № 8, с. 458). В ответном письме к Аксакову от 4(16) декабря 1851 г. Тургенев писал: «На днях Вы получите от меня копию с прошения из записной книжки моего деда». Высылая 31 декабря 1851 г. (12 января 1852 г.) И. С. Аксакову копию, Тургенев высказывал опасение, что цензура найдет эти документы слишком еще современными, и просил Аксакова сохранить их «как любопытный памятник недавней старины». На оборотной стороне копии прошения Оленина Тургенев набросал вчерне «Письмо к издателю» сборника, т. е. к И. С. Аксакову.

Однако ни это письмо, ни прошение Оленина в «Московском сборнике» напечатаны не были. 4 января ст. ст. 1852 г. И. С. Аксаков писал Тургеневу: «„Просьбы Оленина“ я получил. Все советуют напечатать, но все сомневаются, пропустит ли цензура. Если отдел смеси устроится, то я отдам их цензору. А в самом деле, какой замечательный язык в этих „просьбах“!» (*Рус Обозр*, 1894, № 8, с. 461). Отдел «Смесь» в сборнике не сформировался (см.: Московский сборник, 1852, т. 1) и вследствие этого, по-видимому, остались неопубликованными и «Просьбы Оленина».

В середине 1860-х годов Тургенев давал тетрадь с тремя «просьбами» Оленина Е. М. Феоктистову, который предполагал их использовать для задуманного им «археологического издания» (см. письмо Тургенева к Феоктистову от 7(19) октября 1869 г.). Издание это осуществлено не было.

18(30) ноября 1869 г. Тургенев отправил Бартеневу вторую, на его взгляд наиболее замечательную, «просьбу» Оленина с примечанием, что он в копии «сохранил довольно правильное правописание подлинника». Заглавие «Образчик старинного крючкотворства» было, по-видимому, предложено Бартеневым, так как 6(18) декабря 1869 г. Тургенев писал ему: «Заглавие присланных мною Вам просьб совершенно уместно».

Стр. 352. *...пожара нашего деревенского дома (в 1840 году)...* — Большая часть дома в Спасском-Лутовинове сгорела 1(13) мая 1839 г. В письме к сыну В. П. Тургенева сообщала: «Дом спасский сгорел и обрушился» (см.: Богданов Б. Спасское-Лутовиново. Гос. музей-усадьба И. С. Тургенева. Путеводитель. Тула, 1977, с. 40).

...известных прошений (как-то Искры, Румянцова) на высочайшее имя... — *Искра* Иван Иванович (ум. в 1708 г.) — полтавский полковник. Совместно с Кочубеем донес Петру I об измене Мазепы. Под пытками был вынужден признать якобы ложность доноса и казнен. Изображен в «Полтаве» Пушкина.

Содержание доноса излагалось неоднократно. Вот образец слога доноса Искры, записанного ахтырским полковником Ф. Осиповым: Мазепа «в большее же еще смущение народы расславил, будто бы государь все козацкое войско хочет преобразить в солдатское строевое, и которое де так уже озлилось на монарха, что ждут только знаку от него, Мазепы, к бунту, а в то же время тайными подсылками к запорожцам внушает им, что государь, не любя их, решился жилище их Сечь разорить и всех их истребить, приготовляя их сим способом к своему намерению, пока, совокупяся с единомышленными своими и с польскими войсками, повелит им приниматься за оружие» (Г о л и к о в И. Дополнения к Деяниям Петра Великого. М., 1795. Том 15, с. 51). *Румянцев* Александр Иванович (1680—1749) — граф, генерал-аншеф. Начал службу солдатом и благодаря расположению Петра I, у которого был денщиком, достиг высших чинов, отличившись в походах. Выполняя дипломатические поручения, участвовал в возвращении царевича Алексея в Россию. Позднее по проискам Бирона был сослан и лишен чинов; возвращен в 1735 г. Под прошением Румянцева «на высочайшее имя» Тургенев, вероятно, подразумевал письма А. И. Румянцева (совместно с П. А. Толстым) Петру I с известиями о царевиче Алексее, скорее даже составленное именно в «крючкотворном стиле» так называемое «мнимое письмо» его о деле царевича Алексея и его казни некоему значительному при Петре лицу Д. И. Титову. По словам первого публикатора этих документов, оно «распространялось в многочисленных списках» (см.: У с т р я л о в Н. История царствования Петра Великого. СПб., 1859, т. 6, с. 392—395, 402—404, 405—406, 416—418, 619—628).

...прадед мой вписал в свою тетрадку три просьбы некоего секунд-майора Аленина.— В черновом автографе первоначальной редакции письма (см. наст. том, Приложения, с. 384) речь идет о деде Тургенева. Однако дед писателя — Лутовинов Петр Иванович (род. в 1743 г.) — умер в 1787 г. А прадед — Лутовинов Иван Андреевич (род. в 1707 г.) — скончался незадолго до 1787 г. (см.: *Гутьяр*. с. 13; Ч е р н о в Н. Лутовиновская старина.— Литературная газета, 1968. № 35, 28 августа). Таким образом, указывает Н. М. Чернов в статье «Из разысканий о Тургеневе», тетрадка с прошением Аленина, датированным 1796 г., не могла принадлежать ни деду, ни прадеду Тургенева — их в то время уже не было в живых. По предположению этого исследователя, владельцем тетрадки мог быть подпоручик Иван Соколов — «многолетний ходатай по делам И. И. Лутовинова» (см. в сб.: Тургенев и его современники. Л., 1977, с. 218—220), или тетрадка принадлежала И. И. Лутовинову (1753—1813), дяде матери Тургенева, который, как правильно отмечает Н. М. Чернов, «вряд ли сам занимался сочинением прошений», но переписать их как любопытные документы своего времени мог, даже если копию с них для него снял кто-либо, кто часто бывал в приказных канцеляриях, подобно И. И. Соколову.

Особенно замечательна вторая нижеприводимая просьба, в которой проводится сравнение между тамбовским наместником и «нашим общим праотцем Адамом».— Просьбы Оленина касались вопроса о неоплаченных ему капитаном Вышеславцовым векселях и взыскании с последнего долга из суммы его описанного имения. Объясняя задержку окончательного решения по делу происками секретаря тамбовского «правителя» Змиева, Оленин писал: «Ползет супостат в кабинет ваш! Шепчет чрез те же пути, как и древле:

„Не бойся ничего! Сан твой для великолепия тебе дан; обрати монаршую доверенность на собственный прибыток, нарушай закон, гони правду; карай невинного, угнетай справедливого, покровительствуй плутов, посылай меня почаще за контрибуциями в уезды; не запинайся и сам брать разными круглыми металлами, белыми, красными и синими бумажками, сервизами, перстнями, линейками, лошадьми, коровами и всякою мелкою рухлядью; заводи по городам свои трактиры, подряжай подушный провиант!" И еще повторяет: „Не бойся, не бойся; у тебя подпора велика — родной брат обер-прокурор в Сенате»; и так всё всегда будет у нас гладко! Таковыми-то ядовитыми внушениями, питая в себе к Вашему превосходительству дьявольское коварство, ухитрится искушать вас дотоле, доколе уже постигнет вас равный с Адамом и Евою жребий...» (*Рус Арх*, 1870, № 1, с. 278—279). Таков один из образцов «ябеднического слога» Оленина, поразивший Тургенева, по формулировке в черновом варианте «письма», «смелостью и живостью оборотов и каким-то неподдельным и горячим красноречием».

⟨ПРЕДИСЛОВИЕ К ИЗДАНИЮ СОЧИНЕНИЙ 1874 Г.⟩

(с. 353)

Печатается по тексту первой публикации: *Т*, *Соч*, *1874*, ч. 1, вкладной лист. В позднейшие прижизненные издания не входило.

В посмертные собрания сочинений впервые включено в издании: *Т*, *Сочинения*, т. 12, с. 288—289.

Автограф неизвестен.

21 февраля (5 марта) 1873 г. Тургенев обратился к брату, Н. С. Тургеневу, с просьбой поручить издателю Ф. И. Салаеву выслать ему в Баден-Баден полный экземпляр его сочинений, изданных в 1868—1871 гг., чтобы начать подготовку нового собрания сочинений.

В мае 1874 г. подготовительная работа была завершена, и Тургенев написал предисловие к новому изданию. В конце того же года все восемь частей собрания сочинений были напечатаны, и оно поступило в продажу.

Тургенев остался недоволен этим изданием. В письме к Н. С. Тургеневу от 6(18) ноября 1874 г. он писал: «Что касается до Салаева и его оправданий, то они не имеют смысла: я не думал требовать аккуратности, как от логарифмических таблиц; я желал (и мое желание было очень умеренное), чтобы новое издание, *сделанное с печатного*, было бы по крайней мере *не хуже* прежнего, *самим Салаевым напечатанного*. А вышло следующее: в старом издании было около 150 опечаток, а в новом *с лишком 2000*».

Выход в свет нового издания был замечен критикой. В рецензиях обсуждались главным образом произведения, впервые включенные писателем в собрание сочинений.

Обзор критических отзывов о повестях «Вешние воды» и «Пунин и Бабурин» см. в наст. изд., т. 8, с. 508—512; т. 9, с. 439—443, а об очерках «Конец Чертопханова», «Живые мощи» и «Стучит» — там же, т. 3, с. 505, 514, 516—517.

С т р. 353. ...*статья: «Семейство Аксаковых и славянофилы»*...— Очерк о славянофилах был задуман Тургеневым еще в начале

1869 г. В парижском архиве писателя сохранился черновой отрывок без даты, который, вероятно, является началом статьи «Семейство Аксаковых и славянофилы» (см. наст. изд., т. 11). Автограф заканчивается ссылкой Тургенева: «См. продолжение на отд. листах». Несмотря на то, что, готовя последующие издания своих сочинений (1880 и 1883 годов), Тургенев неоднократно упоминал о намерении ввести в состав «Литературных и житейских воспоминаний» статью о славянофилах, в печати она не появилась. Не удалось обнаружить и «отд⟨ельные⟩ листы» с продолжением публикующегося в т. 11 наст. изд. отрывка (см. примеч. там же).

⟨ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРЕВОДУ КНИГИ Г. ГЕЙНЕ «ГЕРМАНИЯ. ЗИМНЯЯ СКАЗКА»⟩

(с. 354)

Печатается по тексту первой публикации: Германия. Зимняя сказка Г. Гейне. Перевод Заезжего, просмотренный И. С. Тургеневым и исправленный по его замечаниям. Лейпциг, 1875 г.

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т*, *Сочинения*, т. 12, с. 289.

Черновой автограф хранится: *Bibl Nat*, Slave 74. Описание см.: *Mazon*, p. 68. Микрофильм — в *ИРЛИ*.

Перевод поэмы Г. Гейне «Deutschland. Ein Wintermärchen» (1844), выполненный в стихах В. М. Миха́йловым[1] (в издании псевдоним — «Заезжий»), стал известен Тургеневу в рукописи, полученной от самого переводчика весной 1873 г. Тургенев «два раза вместе с переводчиком прошел всю поэму от стиха до стиха, сверяя ее с подлинником», после чего 23 апреля (5 мая) 1873 г. рекомендовал перевод М. М. Стасюлевичу для напечатания в «Вестнике Европы». Вместе с тем, однако, Тургенев сознавал, что провести поэму Гейне через цензуру будет нелегко — если не невозможно. Когда Стасюлевич отказался от помещения перевода «Заезжего» в «Вестнике Европы», Михайлов стал готовить отдельное бесцензурное издание за границей, для которого Тургенев в ноябре — декабре ст. ст. 1874 г. и написал предисловие (см. письмо к П. В. Анненкову от 6(18) ноября 1874 г.). Поэма Гейне была опубликована в 1875 г. в Лейпциге — городе, известном многими изданиями русских книг, которые по цензурным условиям нельзя было напечатать в России.

⟨ПРЕДИСЛОВИЕ К ФРАНЦУЗСКОМУ ПЕРЕВОДУ ПОВЕСТИ Л. Н. ТОЛСТОГО «ДВА ГУСАРА»⟩

(с. 355)

Печатается по тексту первой публикации: Le Temps, 1875, № 5047, 10 février, p. 1; в русском переводе: *Моск Вед*, 1875, № 34, 5(17) февраля.

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т*, *Сочинения*, т. 12, с. 289—290.

Автограф неизвестен.

---

[1] О В. М. Михайлове и его переводе см.: *Алексеев*, с. 53—55; *Т сб (Бродский)*, с. 55—57.

Первая попытка Тургенева познакомить французского читателя с творчеством Толстого относится к 1857 году, когда у него возник план перевода «Детства» на французский язык (см. письмо к П. В. Анненкову от 3(15) января 1857 г.).

12 января п. ст. 1874 г. Тургенев просил Фета получить у Толстого разрешение на право перевода его повестей на французский язык, а 24 апреля (6 мая) сообщал ему: «„Три смерти“ на днях появятся в „Temps“, а к зиме приготовлены „Казаки“ и „Два гусара“». «Три смерти» и «Казаки» в печати тогда не появились, а в начале 1875 г., вместе с письмом от 29 января (10 февраля) —18 февраля (2 марта), Тургенев послал Толстому номер «Le Temps» с публикацией французского перевода «Двух гусаров» и письмо от третьего лица с просьбой сообщить о получении перевода.

Написав предисловие к переводу «Двух гусаров», Тургенев принял участие в его редактировании: перевод, выполненный Шарлем Роллина́, Тургенева не удовлетворял (см.: *Алексеев*, с. 63—76).

Стр. 356. *Автор рассказа ∽ нашего великого поэта.*— О преемственности творчества Толстого от традиций «гоголевского» направления Тургенев писал И. Ф. Миницкому еще 1(13) ноября 1854 г. в связи с появлением «Отрочества». Возвращение Тургенева к этой теме в 1874 г. свидетельствовало о том основополагающем значении, которое он придавал творчеству Гоголя и писателей «натуральной школы» в общественно-литературной и идейной жизни России.

...появились военные рассказы...— Имеются в виду рассказы «Набег», «Рубка леса» и севастопольские рассказы, напечатанные в журнале «Современник» в 1853—1856 годах.

...одна из них ∽ «Казаки», представляет самую живую и самую верную картину Кавказа и его жителей.— Тургенев считал «Казаков» «лучшей повестью», написанной на русском языке. О его длительных и активных попытках ознакомить с этим произведением французских читателей см. письма к А. А. Фету от 3(15) марта 1874 г. и к Л. Н. Толстому от 1(13) октября 1878 г.; *Алексеев*, с. 73—74.

...новый большой роман...— Имеется в виду «Анна Каренина».

⟨ПРЕДИСЛОВИЕ К ФРАНЦУЗСКОМУ ПЕРЕВОДУ СТИХОТВОРЕНИЙ ПУШКИНА⟩

(с. 357)

Печатается по воспроизведению текста первой публикации (La République des Lettres, 1876, Janvier, p. 36) в кн.: Meynieux André. Trois stylistes, Traducteurs de Pouchkine. Mérimée, Tourguénev, Flaubert. Paris, 1962, p. 27.

В собрание сочинений включено в изд.: *Т*, *ПСС и П*, *Сочинения*, т. XV, с. 109.

Беловой автограф хранится в *Bibl Nat*, Slave 78. Описан и опубликован: *Mazon*, p. 97.

Предисловие Тургенева предшествует публикации прозаических переводов на французский язык четырех стихотворений Пуш-

кина: «Поэту» —1830, «Пророк» —1826, «Анчар»[1]—1828, «Опричник» —1827. Помета после текста стихотворений: «Trad⟨ucteur⟩ Ivan Tourguéneff» («Переводчик Иван Тургенев»).

Переводы стихотворений Пушкина, выполненные Тургеневым, были просмотрены Г. Флобером, внесшим ряд поправок стилистического рода, по большей части принятых Тургеневым. Анализ их совместной работы, в сопоставлении ее с предшествующими переводами «Анчара», «Пророка» и «Опричника» П. Мериме, см. в указ. книге André Meynieux. Рассказ Э. Золя о том, что он видел у Флобера Тургенева, «занятого несколько вечеров подряд переводом нескольких стихотворений Учителя», передает И. Я. Павловский. «Флобер,— продолжает он рассказ Золя,— пересмотрел эти переводы, нанес последние завершающие штрихи, и они были напечатаны в „La République des Lettres“, любопытном журнале, комплекты которого теперь очень редки» (P a v l o v s k y Isaac. Souvenirs sur Tourguéneff. Paris, 1887, p. 154).

О «небольшом журнальчике», в котором появились переводы, Тургенев говорит в письме к М. М. Стасюлевичу от 29 марта (10 апреля) 1877 г.: «...этот журнальчик даже здесь не читают — а в России он, чай, совершенно безвестен» (см. также: *Алексеев*, с. 50). Публикация Тургенева прошла в России незамеченной.

С т р. 357. *...и если бы смерть не настигла ⟨его⟩ готовой к творчеству...*— См. наст. том, с. 335 и примечание к ней.

ПРЕДИСЛОВИЕ ⟨К ПЕРЕВОДУ «ОЧЕРКОВ И РАССКАЗОВ» ЛЕОНА КЛАДЕЛЯ⟩

(с. 358)

Печатается по тексту первой публикации: К л а д е л ь Леон. Очерки и рассказы из жизни простого народа. Перевод с франц. А. Успенской с отзывом И. С. Тургенева. СПб., 1877, с. I—III.

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, Сочинения*, т. 12, с. 291—292.

Автограф неизвестен.

8 июня 1875 г. Гл. И. Успенский, приехавший в декабре 1874 г. в Париж, писал оттуда А. В. Каменскому, возглавлявшему журнал «Библиотека дешевая общедоступная»: «...относит⟨ельно⟩ переводного отдела с фран⟨цузского⟩, будьте сов⟨ершенно⟩ уверены, что получите лучшее, что есть. Тургенев дал мне слово указывать всё, что есть замечательного» (*Успенский*, т. 13, с. 163). По всей вероятности, именно Тургенев рекомендовал А. В. Успенской обратиться к произведениям Л. Кладеля для перевода их на русский язык. В 1875 г. ее переводы рассказов Кладеля «Нази», «Три брата», «Дровосек» появились в печати[1]. По-видимому, по просьбе Успенской Тургенев написал и предисловие к задуманному ею сборнику этих переводов. Предисловие Тургенева появилось со следующим

[1] В автографе вместо «Анчара» — «Бессонница» — перевод стихотворения «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы» (1830).

[1] См.. Библиотека дешевая и общедоступная, 1875, № 4, с. 153—167; № 5, с. 179—184; № 6, с. 193—238 и № 7, с. 239—312.

примечанием А. В. Успенской: «Считаю нужным упомянуть, что Ив. С. Тургенев читал переводы не всех помещенных в этой книге очерков Кладеля. Рассказы „Монтобан", „Тряпичник", „Брат и сестра" и „Сержант" переведены мною уже после тех рассказов („Атлет". „Дровосек", „Назп" и „Три брата"), по поводу перевода которых И. С. написал свой снисходительный отзыв» [2].

Предисловие Тургенева было написано не позднее июня 1876 г., что следует из сообщения в письме Гл. Успенского от мая—июня этого года к А. В. Каменскому: «Тургенев написал уже предисловие к рассказам Кладеля...» (*Успенский*, т. 13, с. 195). Начались поиски издателя для этого сборника, в результате которых Успенские передали его петербургскому книгопродавцу и издателю Н. П. Карбасникову (см. там же, с. 197, 200, 205, 206, 208).

Леон Кладель (1835—1892) — один из выдающихся представителей революционной литературы Франции 1860—80-х годов, автор нескольких социальных романов, множества повестей и рассказов, драм и стихотворений [3]. Активный участник Парижской Коммуны, он лишь случайно избежал расправы со стороны версальцев. Его творчество, несомненно, отвечало общественно-политическим симпатиям Успенских и интересу Тургенева к революционно-демократическим движениям в России и Западной Европе.

Рекомендуя русскому читателю рассказы Кладеля, Тургенев подчеркнул реализм и демократизм его творчества. Глубокое сочувствие, которым пронизано изображение простого люда Франции в произведениях Кладеля, делало его близким создателю «Записок охотника». Сближало писателей и резко враждебное отношение обоих к империи Наполеона III.

Сборник рассказов Кладеля в переводе А. В. Успенской с предисловием Тургенева был переиздан в 1895 г. Предисловие Тургенева, по утверждению В. А. Гальперина, было «единственной полностью положительной, глубокой и справедливой в своей спокойной объективности оценкой творчества Кладеля, которой он удостоился при жизни» (см. указ. выше работу В. Гальперина, с. 160).

С т р. 358. *Л. Кладель, происхождение* ∽ *близко стоящий к народу...*— Л. Кладель был сыном шорника.

⟨ПРЕДИСЛОВИЕ К ОЧЕРКУ Н. В. ГАСПАРИНИ «ФИОРИО»⟩

(с. 359)

Печатается по тексту первой публикации: Северный вестник (газета), 1877, № 38. 7 июня, где помещено в виде предисловия к очерку: «Фиорио. (Очерк из северо-итальянской жизни)» Н. Г...рини.

---

[2] К л а д е л ь Л. Очерки и рассказы из жизни простого народа. СПб., 1877, с. II.

[3] Подробно об Л. Кладеле см.: Г а л ь п е р и н В. А. Литературная судьба Леона Кладеля.— Уч. зап. Коми пед. ин-та, 1950, вып. 2 (гуманитарные науки), с. 119—170; Д а н и л и н Ю. Поэты Парижской Коммуны. М., 1966 (по указателю имен).

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т*, *Сочинения*, т. 12, с. 292.

Автограф неизвестен.

Редактором газеты «Северный вестник» в это время был В. Л. Рычков.

Автор очерка — Надежда Валериановна Гаспарини, дочь итальянского генерала, участника наполеоновского похода в Россию. Попав в плен, он остался в России и, женившись впоследствии на дочери помещика Орловской губернии, стал соседом Тургенева по имению.

Очерк Гаспарини получил в печати отрицательную оценку, а то, что он был напечатан по рекомендации Тургенева, вызвало нарекания и на него самого (см.: Новое время, 1877, № 462, 12(24) июня. Ч и т а т е л ь ⟨В. В. Стасов⟩. Рекомендации и рекомендатели; Голос, 1877, № 140, 1(13) июля, Литературная летопись).

НОВЫЕ ПИСЬМА А. С. ПУШКИНА.

Июль 1830 — май 1836 г.

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

(с. 360)

Печатается по тексту первой публикации: *BE*, 1878. № 1, с. 7—8.

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т*. *ПСС*, *1883*, т. 1, с. 430—432.

Автографы — конспект и часть чернового текста — хранятся в *Bibl Nat*, Slave 77; описание см.: *Mazon*, р. 89; фотокопии — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 225; беловой автограф — *ЦГАЛИ*, ф. 2681, оп. 1, ед. хр. 21.

Переговоры Тургенева с младшей дочерью Пушкина, гр. Н. А. Меренберг (1836—1913), о публикации находившихся в ее руках писем поэта к невесте, потом жене, Н. Н. Пушкиной, урожд. Гончаровой (1812—1863), начались весною 1876 г. (переписка их по этому вопросу не сохранилась и подробности неизвестны). 23 марта (4 апреля) 1876 г. Тургенев сообщил П. В. Анненкову, что получил от дочери Пушкина «большой пакет писем ее отца к ее матери». У Анненкова возникли сомнения, можно ли издать полностью тексты этих интимно-семейных писем. Сомнения эти разделял, ознакомившись с письмами, и Тургенев, предложивший их для публикации «Вестнику Европы»: «Они крайне любопытны,— писал он М. М. Стасюлевичу 8(20) апреля,— но насколько удобны к печати — это другой вопрос. Надо было бы выкинуть самое интересное, ибо П⟨ушкин⟩ не церемонился со своей женою — и высказывался очень резко насчет своих и ее родных, знакомых и т. д.». После долгих переговоров, затянувшихся из-за колебаний гр. Меренберг, а затем вследствие того, что Тургенев был занят завершением и печатанием романа «Новь»,— тексты писем, отредактированные им, только в октябре 1877 г. поступили в набор. К началу ноября ст. ст. первые два листа корректуры, полученные

из редакции «Вестника Европы», были прочтены Тургеневым (см. письма от 24 сентября (6 октября) и 2(14) ноября 1877 г.). Письма его к Стасюлевичу от 15(27) и 16(28) ноября, а также сохранившиеся корректурные гранки текстов писем с его правкой (*ИРЛИ*, ф. 293, оп. 3, № 133) показывают, насколько внимательно отнесся Тургенев к своим обязанностям «издателя» (т. е. редактора) писем, выправляя орфографию и устраняя самые интимные детали, а также то, что могло вызвать цензурные затруднения (резкие упоминания о Николае I и т. п.). Тогда же, по просьбе Стасюлевича, было написано Тургеневым предисловие к письмам и отправлено ему в Петербург 21 ноября (3 декабря) 1877 г. Смысл предисловия он сам видел в том, чтобы объяснить значение писем для читателей, оправдать появление этих семейных документов в печати и устранить возможность кривотолков. «Вы,— писал он Стасюлевичу 24 ноября (6 декабря) 1877 г.,— может быть найдете, что я слишком уже мало повымарал из пушкинских писем ⟨. . .⟩. Но полагаю, что, вследствие объяснений и captatio benevolentiae [1] в предисловии, всё обойдется благополучно». В другом же письме (от 10(22) декабря) он, выражая радость по поводу того, что редактор «Вестника Европы» доволен его предисловием, отмечал, что в нем он является «более дипломатом, чем литератором».

Первая часть писем Пушкина была напечатана в «Вестнике Европы», 1878, № 1, с. 11—46. За предисловием Тургенева следует здесь второе, редакционное предисловие, справочно-биографического характера. Вторая часть писем появилась в № 3 журнала, с. 5—38. При печатании Стасюлевич восстановил — полностью или частично — почти все пропуски в текстах, сделанные Тургеневым, на что последний жаловался П. В. Анненкову в письме от 9(21) января 1878 г.

Несмотря на предисловие Тургенева, письма Пушкина были плохо поняты современниками и даже вызвали возмущение в кругах дворянских читателей. «Первая половина ⟨писем⟩,— писал Тургенев Анненкову 7(19) февраля 1878 г.,— в публике не имела успеха. Письма, видишь, нашли слишком бесцеремонными и грубыми». Тургенев получил даже сообщение, что, как он писал Стасюлевичу 25 марта (6 апреля) 1878 г., «сыновья Пушкина нарочно едут в Париж, чтобы поколотить меня за издание писем их отца! Почему же меня — а не родную сестру, разрешившую печатание?..»

Отзывы критики на публикацию писем Пушкина были разноречивы и по большей части отрицательны (см.: Голос, 1878, № 40, 9(21) февраля — статья Евг. Маркова; Новое время, 1878, № 674, 13(25) января, и № 729, 10(22) марта,— статьи В. П. Буренина). Резко отрицательный отзыв представителя демократической журналистики — Г. Е. Благосветлова содержится в его письме к А. П. Пятковскому от 2 марта 1878 г. (*Рус Ст*, 1915, № 3, с. 645); см. также: Пушкин. Письма. Л.; М., 1926. Т. 1, с. XII.

Стр. 360. ...*Пушкин был не только самым талантливым, но и самым русским человеком своего времени*...— Эту мысль Тургенев повторил и развил в речи о Пушкине 7 июня 1880 г. (см.: наст. изд., т. 12).

Vestigia semper adora.— Цитата из поэмы «Фиваида» (песнь XII, ст. 817) римского поэта I века н. э. Папиния Стация (см. то же в письме Тургенева к Стасюлевичу от 15(27) марта 1874 г.).

---

[1] старания снискать расположение ⟨читателя⟩ *(лат.)*.

⟨ПРЕДИСЛОВИЕ И ПОСЛЕСЛОВИЕ К ОЧЕРКУ И. Я. ПАВЛОВСКОГО «EN CELLULE. IMPRESSIONS D'UN NIHILISTE» («В ОДИНОЧНОМ ЗАКЛЮЧЕНИИ. ВПЕЧАТЛЕНИЯ НИГИЛИСТА»)⟩

(с. 362)

Печатается по тексту первой публикации: Le Temps. 1879, 12 и 25 Novembre. Перепечатано в русском переводе: *Моск Вед*, 1879, № 313, 9 декабря, без указания на то, что предисловие принадлежит Тургеневу: *Рус Пропилеи*, т. 3, М., 1916, с. 258—259 (без послесловия).

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т*, *Сочинения*, т. 12, с. 294—295 (без послесловия).

Автограф неизвестен.

Письмо Тургенева от 5(17) октября 1879 г. редактору парижской газеты «Le Temps» французскому писателю Адриену Эбрару было помещено в качестве предисловия к очерку И. Я. Павловского «En cellule. Impressions d'un nihiliste» («В одиночном заключении. Впечатления нигилиста»), печатавшемуся в «Le Temps» с 12 по 25 ноября н. ст. 1879 г. Публикация очерка завершалась послесловием без подписи, принадлежность которого Тургеневу устанавливается на основании его письма к И. Я. Павловскому (см.: Русский курьер, 1884, № 224. 15 августа).

И. Я. Павловский (1853—1924), студент медико-хирургической академии, участник революционного движения, судился в 1875 г. по «делу 193-х» и содержался в предварительном заключении в течение двух лет, после чего был оправдан. В апреле 1878 г. вторично арестован и выслан под надзор в Архангельскую губернию, откуда бежал за границу и в эмиграции написал автобиографический очерк «В одиночном заключении», рукопись которого передал Тургеневу. По воспоминаниям самого Павловского, писатель ответил на очерк «восторженным отзывом» (P a v l o v s k y I. Souvenirs sur Tourguéneff. Paris, 1887, p. 121). По приезде Павловского в Париж в 1879 г. состоялось его личное знакомство с Тургеневым, происшедшее, вероятно, через П. Л. Лаврова (см.: С е м е н о в Е. П. В стране изгнания. СПб., 1911. с. 93). Я. Батесен в своих «Воспоминаниях о Тургеневе» также упоминает о знакомстве Тургенева с Павловским: «Несколько раз я встречал в доме Тургенева молодых людей из России, которые более или менее прямо были связаны с нигилистским движением. Особенно запомнился мне молодой человек с необычайно растерянным лицом... Ужасные лишения, перенесенные им, почти полностью разрушили в нем все человеческое. Тургенев пытался вновь пробудить в нем интерес к жизни... Жизнь его была погублена.— он не знал, куда идти. Единственным его прибежищем стало общество нигилистов, с которыми ранее он не был связан. Каким-то образом он получил от них деньги на поездку в Париж, где и сделался одним из многих иждивенцев Тургенева. По просьбе последнего он начал писать рассказ о себе — просто для тренировки памяти, с тем чтобы вернуться к жизни. Когда этот человек закончил главу, то прочитал ее Тургеневу и получил советы и критические замечания. Именно в это время я

вошел в кабинет писателя, и, когда молодой человек ушел, мне была поведана печальная история его загубленной жизни» (Б а т е с е н Я. Воспоминания о Тургеневе. Вступит. заметка, публикация и перевод В. Александрова.— Вопросы литературы, 1981, № 6, с. 194—195). Тургенев охарактеризовал очерк как «простой, весьма наивный и трогательный рассказ о содержании в тюрьме заключенного» (письмо к Я. П. Полонскому от 10(22) ноября 1879 г.) и сделал попытку опубликовать его в России. Об этом свидетельствует Каталог рукописей «Вестника Европы» за 1879 г., где имеется запись о поступлении и отклонении рукописи (см.: *ИРЛИ*, ф. 293, оп. 3, № 4. лл. 66 об.—67). 3 мая 1879 г. А. Н. Луканина записала в своем дневнике: «Сегодня я пошла к Ивану Сергеевичу по его зову. Я застала у него П⟨авловско⟩го, с которым Иван Сергеевич и познакомил меня, прося меня взяться за перевод на французский язык статьи его „В одиночном заключении“. Я взялась» (*Сев Вестн*, № 3, с. 62). Перевод Луканиной и был предложен Тургеневым в газету «Le Temps». Еще до публикации французского перевода состоялось первое публичное чтение французского оригинала очерка в «Обществе вспоможения и благотворительности русских художников в Париже», секретарем которого в 1870-е годы был Тургенев. 6(18) апреля 1879 г. он писал Г. О. Гинзбургу: «Кстати, я в нашем Обществе во вторник хочу прочесть небольшой, но чрезвычайно интересный рассказ одного молодого писателя, русского еврея, в котором я принимаю истинное участие». Позднее Павловский читал на литературных вечерах, организованных при участии Тургенева, и другие свои произведения. Об одном из таких вечеров, состоявшемся 2(14) февраля 1881 г., упоминается в воспоминаниях Луканиной (*Сев Вестн*, № 3, с. 76) и его собственных (см.: Русский курьер, 1884, № 137, 20 мая; P a v l o v s k y I. Souvenirs sur Tourguéneff, p. 166—167). Тургенев способствовал также публикации и других произведений Павловского. В февральском номере «Вестника Европы» за 1881 г. была опубликована его повесть «Приемыши» (под псевдонимом И. Полоцкий), о которой Тургенев осведомлялся у М. М. Стасюлевича в письме от 7(19) декабря 1880 г.: «Прочли ли в редакции „В⟨естника⟩ Е⟨вропы⟩“ повестушку Полоцкого — и какой результат?» В Каталоге рукописей «Вестника Европы» от 8(20) ноября 1880 г. имеется запись: «Приемыши», повесть И. Полоцкого, рек⟨омендована⟩ Тург⟨еневым⟩» (*ИРЛИ*, ф. 293, оп. 3, № 4, с. 114). 1(13) февраля 1882 г. Тургенев послал М. Е. Салтыкову повесть Павловского «Политическое дело». Соглашаясь с мнением, что повесть написана «не без таланта», Салтыков намеревался опубликовать ее в «Отечественных записках» и сам написал к ней «Эпилог», сохранившийся в архиве сатирика, однако публикация не состоялась по цензурным соображениям (см.: *Салтыков-Щедрин*, т. 19, кн. 2, с. 91, 92).

При содействии Тургенева Павловский поступил в 1879 г. в Высшую сельскохозяйственную школу в Монпелье, которую окончил в 1881 г., после чего писатель продолжал заботиться о его дальнейшем образовании и материальных средствах. Их отношения продолжались до 1883 г.

Впоследствии Павловский написал воспоминания о Тургеневе, печатавшиеся отдельными фельетонами в «Русском курьере», 1884, № 137, 150, 163, 164. 196, 199, 224. 20 мая, 2, 15, 16 июня, 18, 21 июля, 15 августа. подпись: И. П., и в «С.-Петербургских ведомостях», 1887, № 356, а затем вышедшие отдельной книжкой

в переводе на французский язык — «Souvenirs sur Tourguéneff». Paris, 1887. По мнению И. С. Зильберштейна, Павловскому принадлежит и очерк о смерти Полины Виардо за подписью Н. К-ко (см.: *Лит Насл*, т. 73, кн. 1, с. 374) [1].

Предисловие Тургенева к «En cellule» вызвало широкий общественный резонанс и резкие нападки реакционной печати, воспринявшей его как демонстрацию солидарности с нигилистами (см. открытое письмо Тургенева редактору «Вестника Европы» от 2 января 1880 г.). Не было оно одобрено и в демократических кругах. Так, М. Е. Салтыков-Щедрин в письме к П. В. Анненкову от 10 декабря 1879 г. оценил предисловие как неразборчивое заигрывание с революционной молодежью, продиктованное заботой «о рукоплесканиях и почестях», и опасался неблагоприятных последствий этого политического шага (*Салтыков-Щедрин*, т. 19, кн. 1, с. 121).

В своей переписке Тургенев неоднократно подтверждал высказанное им в «Предисловии» отношение к революционной молодежи. «В моем коротеньком предисловии я прямо говорю, что, нисколько не разделяя мнений гг. нигилистов и революционеров, полагаю, что рассказ этот может служить доказательством неуместности предварительного одиночного заключения»,— писал он Я. П. Полонскому 10(22) ноября 1879 г. в ответ на сообщение о выпадах против него корреспондента «Journal de St. Pétersbourg» М. А. Загуляева.

ПРЕДИСЛОВИЕ ⟨К ИЗДАНИЮ СОЧИНЕНИЙ 1880 Г.⟩

(с. 364)

Печатается по тексту первой публикации: *Т*, *Соч*, *1880*, т. 1, с. V—VI.

В собрание сочинений включается впервые [1].

Автограф неизвестен.

---

[1] В воспоминаниях И. С. Семенова дана резко отрицательная характеристика Павловского как политического ренегата, беспринципного журналиста, мистификатора и ловкого дельца, обманом втершегося в доверие к П. Л. Лаврову, Тургеневу и другим видным русским и французским литераторам и общественным деятелям (см. в названной выше книге Е. П. Семенова, с. 88—110, а также в кн.: Delines M. [Ашкинази М. О.]. Tourguéneff inconnu. Paris, ⟨1887⟩).

[1] На пропуск его в *Т*, *ПСС и П*, *Сочинения*, т. XV справедливо указано было в рецензии: Антонова Г., Белова Н., Винникова И. «Академический Тургенев».— Вопросы литературы, 1970, № 2, с. 206.

Является общим предисловием к изданию 1880 г. Содержание предисловия впервые было изложено в газете «Современные известия» (1879, № 66, 8(20) марта). В письме к В. В. Думнову от 1(13) октября 1879 года Тургенев писал, что «прилагаемое предисловие должно стоять в начале 1-го тома» и что «порядок статей во всех томах должен быть в точности соблюдаем и согласоваться с указаниями предисловия». Подробно см.: Громов В. А. «Записки охотника» в структуре прижизненных изданий сочинений Тургенева.— В кн.: Восьмой межвузовский тургеневский сборник. И. С. Тургенев и русская литература. [Научные труды Курского гос. пед. ин-та, т. 204], Курск, 1980, с. 94—104.

⟨ПРЕДИСЛОВИЕ К ПУБЛИКАЦИИ: «ИЗ ПУШКИНСКОЙ ПЕРЕПИСКИ. ТРИ ПИСЬМА»⟩

(с. 366)

Печатается по тексту первой публикации: *ВЕ*, 1880, № 12, с. 819, где напечатано в виде примечания к публикации трех документов из архива бр. Тургеневых.

В собрание сочинений включено впервые в изд.: *Т*, *ПСС и П*, *Сочинения*, т. XV, с. 118.

Автограф, послуживший для примечания,— письмо к М. М. Стасюлевичу от 28 октября (9 ноября) 1880 г.,— хранится в *ИРЛИ*, ф. 293, оп. 1, ед. хр. 1465.

Публикация Тургенева — один из последних его откликов на Пушкинские торжества в Москве, происходившие в июне 1880 г. Тургенев послал М. М. Стасюлевичу два письма Пушкина и одно — С. Л. Пушкина к Тургеневым, «сообщенных» ему — очевидно в копиях — сыновьями Н. И. Тургенева, приложив к ним комментируемое примечание.

В своем письме-примечании к публикации Тургенев не совсем точен: первое из посланных им писем Пушкина обращено к С. И. Тургеневу и написано в Кишиневе 21 августа 1821 г. (см.: *Пушкин*, т. 13, с. 31—32); второе адресовано А. И. Тургеневу и написано в Одессе 14 июля 1824 г. (см.: там же, с. 102—103). Ошибки в адресатах исправлены в тексте публикации, но второе письмо — к А. И. Тургеневу — датировано ошибочно 1823 годом вместо 1824. Письмо С. Л. Пушкина к А. И. Тургеневу от 4 июня 1837 г. хранится в *ИРЛИ* (ф. 244, оп. 20, № 25).

⟨ПРЕДИСЛОВИЕ К ОЧЕРКУ А. БАДЕНА «UN ROMAN DU COMTE TOLSTOÏ» («РОМАН ГРАФА ТОЛСТОГО»)⟩

(с. 367)

Печатается по тексту первой публикации: La Nouvelle Revue, 1881, 15 août, t. 11, p. 820—822.

В собрание сочинений впервые включено в издании:
Т, *СС*, т. 11, с. 411—413.

Автограф неизвестен.

Данная заметка Тургенева является вводной к очерку А. Бадена (A. Badin) «Un roman du comte Tolstoï avec préface de M. Ivan Tourguéneff» и сопровождается следующим примечанием от редакции журнала: «Notre illustre collaborateur, M. Ivan Tourguéneff, veut bien présenter lui-même à nos lecteurs le comte Tolstoï et donner ainsi à l'étude sur „La Guerre et la Paix" une approbation que nous sommes fiers de faire remarquer» («Наш выдающийся сотрудник, г. Иван Тургенев, желает сам представить нашим читателям графа Толстого и таким образом одобрить этот очерк о „Войне и мире", что мы и отмечаем с гордостью»).

В своей заметке Тургенев допустил неточности биографического порядка; во время работы над нею у него отсутствовали документальные или печатные биографические материалы о Толстом.

С т р. 369. *...от графа Петра Толстого...*— П. А. Толстой (1645—1729) — сначала противник, потом сподвижник Петра I; в 1701—1714 гг. посланник в Константинополе, позднее — начальник Тайной канцелярии: в 1724 г. получил графское достоинство; родоначальник графов Толстых, прапрадед Л. Н. Толстого.

Из Казани ∾ в чине капитана.— Толстой выехал на Кавказ в конце апреля 1851 г. С его братом, Н. Н. Толстым, умершим от туберкулеза в 1860 г., Тургенев был знаком, высоко ценил его как человека и как автора очерков и рассказов (см.: *Толстой*, т. 34, с. 384—385; *Фет*, ч. 1, с. 217—218; П у з и н Н. П. Тургенев и Н. Н. Толстой.— *Т сб*, вып. 5, с. 419—428).

Став офицером, граф Лев ∾ чуть не погиб.— Пребывание Толстого на Кавказе продолжалось с 30 мая 1851 г. по январь 1854 г. 18 февраля 1852 г. в стычке с чеченцами Толстой едва не был убит снарядом, ударившим в колесо пушки, которую он наводил (см.: *Толстой*, т. 59, с. 237; т. 76, с. 103).

Когда началась Крымская война ∾ хладнокровием и отвагой.— Весной 1854 г. Л. Толстой был назначен в Дунайскую армию, затем перевелся в Крымскую армию, которой командовал кн. А. С. Меньшиков (а не Горчаков, как пишет Тургенев: М. Д. Горчаков сменил Меньшикова лишь в феврале 1855 г.), и 7 ноября 1854 г. приехал в Севастополь, где находился до оставления крепости 27 августа 1855 г., почти все время служа в одном из опаснейших пунктов обороны — на 4-м бастионе, которому посвящен очерк «Севастополь в декабре».

Первые его литературные опыты...— Первые наброски сделаны Толстым до отъезда на Кавказ в 1851 г. В феврале этого года им начато «Детство», в марте — рассказ «История вчерашнего дня».

⟨ПРЕДИСЛОВИЕ К ФРАНЦУЗСКОМУ ПЕРЕВОДУ НЕИЗДАННОЙ ГЛАВЫ ИЗ «КАПИТАНСКОЙ ДОЧКИ»⟩ UN ÉPISODE DE GUERRE CIVILE EN RUSSIE

(с. 371)

Печатается по тексту первой публикации: La Revue Politique et Littéraire, 1881, № 5, 29 Janvier, p. 131, где напечатано в качестве предисловия к переводу «Пропущенной главы» «Капитанской дочки», с пометой после текста: «Traduit par M. M. Ivan Tourguéneff et Louis Viardot» («Переведено гг. Иваном Тургеневым и Луи Виардо»).

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т*, *Сочинения*, т. 12, с. 302.

Автограф неизвестен.

Узнав о публикации П. И. Бартеневым «Новой главы из „Капитанской дочки" Пушкина» (*Рус Арх*, 1880, т. 3, с. 218—227) и ее перепечатках, Тургенев 25 ноября ст. ст. 1880 г. писал М. М. Стасюлевичу: «Просьбы ⟨. . .⟩ 2. Выслать ⟨. . .⟩ немедленно тот № „Нового времени", в котором была помещена *ненапечатанная глава* из „Капитанской дочери"; если же № этот достать нельзя, то велеть эту главу переписать с быстротою молнии — и доставить ее сюда». В письме от 11(23) декабря он сообщил Стасюлевичу о получении № «Нового времени» (1880, № 1657, 8(20) октября)

с перепечатанной из «Русского архива» публикацией главы, снабженной предисловием П. Б. (П. И. Бартенева).

Указания Тургенева в комментируемом предисловии на то, что эта глава «запрещена царской цензурой» и «является частью» «знаменитой» исторической повести Пушкина, не вполне соответствуют действительности; но Тургенев не имел данных для суждения о месте главы в творческой истории «Капитанской дочки», которая тогда была совершенно не исследована. Во-первых, глава не была запрещена цензурой, а изъята самим Пушкиным до представления в цензуру. Во-вторых, глава относится не к окончательной редакции романа, а к более ранней. На это указывают еще не установившиеся фамилии персонажей: позднейший Гринев называется здесь Буланиным, а Зурин — Гриневым; упоминается и слуга Буланина (Гринева) Ванька, которого нет в окончательном тексте.

Гораздо важнее, однако, то, что Тургенев увидел в напечатанном отрывке прежде всего его политический элемент, на который он хотел обратить внимание французских читателей: изображение крестьянского восстания в помещичьей усадьбе, хотя бы и данное Пушкиным в очень смягченных чертах, неизбежно должно было сопоставляться с тогдашним положением в России, с ее непрестанными крестьянскими волнениями и особенно с недавними движениями революционных народников, давшими материал для романа «Новь» и вылившимися в ряд судебных процессов 1870-х годов (см. наст. изд., т. 9, с. 484 и сл., а также *Т сб*, вып. 2, с. 182 и 195). Именно эта чрезвычайная актуальность, даже злободневность новой главы «Капитанской дочки» поразила Тургенева и заставила его так поспешить с обнародованием перевода отрывка. Характерно также, что он назвал восстание Пугачева (по официальной терминологии — «Пугачевский бунт») «гражданской войной в России».

⟨ПРЕДИСЛОВИЕ К «РУССКИМ НАРОДНЫМ СКАЗКАМ В СТИХАХ» А. БРЯНЧАНИНОВА⟩

(с. 372)

Печатается по тексту первой публикации: Брянчанинов А. Русские народные сказки в стихах, с предисловием И. С. Тургенева, I. Рисунки М. Малышева. СПб., 1885.

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т*, *Сочинения*, т. 12, с. 303.

Автограф неизвестен.

С А. А. Брянчаниновым (1839—1918) Тургенев познакомился в 1878 г. в Орле и неоднократно хлопотал о публикации произведений начинающего писателя (см. об этом в его письмах к Брянчанинову от 14(26) августа, 13(25) сентября, 20 октября (1 ноября) 1878 г.). В августе 1881 г. Брянчанинов послал Тургеневу рукопись переложенных им стихами народных сказок (см. подтверждение в ответном письме Тургенева от 20 августа (1 сентября) 1881 г.), а через год, 26 июля (7 августа) 1882 г., Тургенев написал к ним обещанное предисловие. При жизни Тургенева сказки напечатаны не были. Появились они в 1885 г. в издании Ф. Павленкова.

Желая помочь Брянчанинову с публикацией сказок, Тургенев явно переоценил художественные достоинства его стихотворных переделок, что было отмечено комментатором «Предисловия» М. К. Азадовским (см.: *Т*, *Сочинения*, т. 12, с. 615).

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

SENILIA
СТИХОТВОРЕНИЯ В ПРОЗЕ

⟨I⟩

ПЕРЕВОДЫ ИЗ Г. ФЛОБЕРА

СТАТЬИ И РЕЦЕНЗИИ

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

ПРЕДИСЛОВИЯ

Печатается по решению
Редакционно-издательского совета
Академии наук СССР

*

Тексты подготовили и примечания составили:

М. П. Алексеев, *Н. В. Алексеева*, *А. И. Батюто*, *И. А. Битюгова*, *Г. Я. Галаган*, *М. И. Гиллельсон*, *Т. П. Голованова*, *Р. М. Горохова*, *П. Р. Заборов*, *Н. В. Измайлов*, *Е. И. Кийко*, *Д. М. Климова*, *Л. И. Кузьмина*, *Т. А. Лапицкая*, *Ю. Д. Левин*, *Н. Н. Мостовская*, *А. Б. Муратов*, *Л. Н. Назарова*, *Н. С. Никитина*, *Т. И. Орнатская*, *Г. Ф. Перминов*, *М. Б. Рабинович*, *Л. И. Ровнякова*, *Г. В. Степанова*, *Е. М. Хмелевская*

Редакторы десятого тома
Н. В. Измайлов, *Л. Н. Назарова*

*

Редактор издательства *М. Б. Покровская*
Оформление художника *М. В. Большакова*
Художественный редактор *С. А. Литвак*
Технический редактор *Н. П. Кузнецова*
Корректоры *Л. И. Кириллова*, *Г. М. Котлова*

ИБ № 26938

Сдано в набор 12.03.82. Подписано к печати 15.09.82. Формат $84 \times 108^{1}/_{32}$. Бумага типографская № 1. Гарнитура обыкновенная. Печать высокая. Усл. печ. л. 32. Усл. кр.-отт. 32,1. Уч.-изд. л. 37,4. Тираж 400 000 экз. (1-й завод 1—200 000). Тип. зак. № 43. Цена 4 р. 10 к.

Издательство «Наука» 117864 ГСП-7, Москва, В-485, Профсоюзная ул., 90

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова
Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
Москва, М-54, Валовая, 28